

# ДЭВИД МИТЧЕЛЛ



## ТЫСЯЧА ОСЕНЕЙ ЯКОБА ДЕ ЗУТА

НОВЫЙ РОМАН ОТ СОЗДАТЕЛЯ «ОБЛАЧНОГО АТЛАСА»

## Annotation

Конец XVIII века. Молодой голландец Якоб де Зут приплывает в Дэдзиму — голландскую колонию в Японии. Ему необходимо заработать деньги — отец его возлюбленной Анны не дает согласия на брак дочери с бедняком. Якоб уверен, что скоро вернется на родину, станет мужем Анны и годы, проведенные в Японии, будет вспоминать как небольшое приключение. Но судьба распорядилась иначе — ему предстоит провести на чужбине почти всю жизнь, многое испытать, встретить и потерять любовь. Митчелл умело сплетает воедино множество судеб, наполняя созданный им мир загадочными символами и колоритными деталями, приглашая читателя вместе с героем пережить все испытания, что выпали на его долю.

---

- [Дэвид Митчелл. Тысяча осеней Якоба де Зута](#)
  - [Авторское предисловие](#)
  - [Часть первая. Невеста, для которой мы танцуем](#)
    - [Глава 1. ДОМ КАВАСЕМИ, НАЛОЖНИЦЫ, НАД НАГАСАКИ](#)
    - [Глава 2. КАЮТА КАПИТАНА ЛЕЙСИ НА КОРАБЛЕ «ШЕНАНДОА», БРОСИВШЕМ ЯКОРЬ В ГАВАНИ НАГАСАКИ](#)
    - [Глава 3. НА САМПАНЕ, ПРИШВАРТОВАННОМ К «ШЕНАНДОА» В ГАВАНИ НАГАСАКИ](#)
    - [Глава 4. РЯДОМ С УБОРНОЙ У САДОВОГО ДОМИКА НА ДЭДЗИМЕ](#)
    - [Глава 5. СКЛАД «КОЛЮЧКА» НА ДЭДЗИМЕ](#)
    - [Глава 6. КОМНАТА ЯКОБА В ВЫСОКОМ ДОМЕ НА ДЭДЗИМЕ](#)
    - [Глава 7. ВЫСОКИЙ ДОМ НА ДЭДЗИМЕ](#)
    - [Глава 8. ПАРАДНЫЙ ЗАЛ В РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА ДЭДЗИМЕ](#)
    - [Глава 9. АПАРТАМЕНТЫ КЛЕРКА ДЕ ЗУТА В ВЫСОКОМ ДОМЕ](#)
    - [Глава 10. ОГОРОД НА ДЭДЗИМЕ](#)
    - [Глава 11. СКЛАД «ДУБ»](#)

- [Глава 12. ПАРАДНЫЙ ЗАЛ В РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА ДЭДЗИМЕ](#)
- [Глава 13. ФЛАГОВАЯ ПЛОЩАДЬ НА ДЭДЗИМЕ](#)
- [Часть вторая. Горная твердыня](#)
  - [Глава 14 НАД ДЕРЕВНЕЙ КУРОЗАНЕ В ФЕОДЕ КИОГА](#)
  - [Глава 15. ДОМ СЕСТЕР В МОНАСТЫРЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ](#)
  - [Глава 16. АКАДЕМИЯ ШИРАНДО В РЕЗИДЕНЦИИ ОЦУКИ В НАГАСАКИ](#)
  - [Глава 17. АЛТАРНАЯ КОМНАТА В ДОМЕ СЕСТЕР ХРАМА НА ГОРЕ ШИРАНУИ](#)
  - [Глава 18. ОПЕРАЦИОННАЯ НА ДЭДЗИМЕ](#)
  - [Глава 19. ДОМ СЕСТЕР, ХРАМ НА ГОРЕ ШИРАНУИ](#)
  - [Глава 20. ДВЕСТИ СТУПЕНЕЙ К ХРАМУ РЮГАДЗИ В НАГАСАКИ](#)
  - [Глава 21 КЕЛЬЯ ОРИТО В ДОМЕ СЕСТЕР](#)
  - [Глава 22. КОМНАТА ШУЗАИ В ЕГО ДОДЗЁ В НАГАСАКИ](#)
  - [Глава 23. КЕЛЬЯ ЯИОИ В ДОМЕ СЕСТЕР ХРАМА НА ГОРЕ ШИРАНУИ](#)
  - [Глава 24. КОМНАТА ОГАВЫ МИМАСАКУ В РЕЗИДЕНЦИИ ОГАВЫ В НАГАСАКИ](#)
  - [Глава 25. АПАРТАМЕНТЫ ВЛАДЫКИ — НАСТОЯТЕЛЯ В ХРАМЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ](#)
  - [Глава 26. ЗА ГОСТИНИЦЕЙ ХАРУБАЯШИ, К ВОСТОКУ ОТ ДЕРЕВНИ КУРОЗАНЕ ФЕОДА КИОГА](#)
- [Часть третья. Мастер го Седьмой месяц тринадцатого года эпохи Кэнсей](#)
  - [Глава 27. ДЭДЗИМА](#)
  - [Глава 28. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА НА БОРТУ КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ», ВОСТОЧНО — КИТАЙСКОЕ МОРЕ](#)
  - [Глава 29. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО](#)
  - [Глава 30. КОМНАТА ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ НАГАСАКИ](#)
  - [Глава 31. У ПОРУЧНЕЙ БАКА КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ»](#)
  - [Глава 32. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ ДЭДЗИМЫ](#)
  - [Глава 33. ЗАЛ ШЕСТИДЕСЯТИ ЦИНОВОК В МАГИСТРАТУРЕ](#)

- [Глава 34. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА НА БОРТУ КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ»](#)
- [Глава 35. МОРСКАЯ КОМНАТА РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА ДЭДЗИМЕ](#)
- [Глава 36. КОМНАТА ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ](#)
- [Глава 37. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА](#)
- [Глава 38. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ НА ДЭДЗИМЕ](#)
- [Глава 39. С ВЕРАНДЫ КОМНАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ](#)
- [Часть четвертая. Сезон дождей](#)
  - [Глава 40. ХРАМ НА ГОРЕ И НАСА НАД НАГАСАКИ](#)
- [Часть пятая. Последние страницы](#)
  - [Глава 41. КВАРТЕРДЕК «ПРОРОКА», НАГАСАКСКАЯ БУХТА](#)
- [Выражение признательности](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)

- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)

- [101](#)
  - [102](#)
  - [103](#)
  - [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)
  - [110](#)
  - [111](#)
  - [112](#)
  - [113](#)
  - [114](#)
  - [115](#)
  - [116](#)
  - [117](#)
  - [118](#)
  - [119](#)
  - [120](#)
  - [121](#)
  - [122](#)
  - [123](#)
  - [124](#)
  - [125](#)
  - [126](#)
  - [127](#)
  - [128](#)
-

# Дэвид Митчелл. Тысяча осеней Якоба де Зута

*К, Х и Т с любовью*



## Авторское предисловие

Порт Батавия на острове Ява был штаб-квартирой голландской Ост-Индской компании, или ОИК (на голландском — *Vereenigde Oostindische Compagnie*, или *VOC*, буквально «Объединенная Ост-Индская компания»). Отсюда корабли ОИК уходили в Нагасаки, сюда же и возвращались. Во Вторую мировую войну японцы, оккупировавшие Индонезийский архипелаг, переименовали Батавию в Джакарту.

Даты в романе приводятся по лунному календарю, который может отставать от григорианского от трех до семи недель, в зависимости от года. Поэтому «первый день первого месяца» соответствует не 1 января, а другой дате между концом января и началом февраля. Годы упоминаются под японскими названиями.

В тексте, в соответствии с обычаями японцев, сначала указывается имя рода.

# Часть первая. Невеста, для которой мы танцуем

*Одиннадцатый год  
эпохи Кэнсей 1799 год*

# Глава 1. ДОМ КАВАСЕМИ, НАЛОЖНИЦЫ, НАД НАГАСАКИ

*Девятая           ночь  
пятого месяца*

— Госпожа Кавасеми? — Орито встает коленями на потертый грязный матрас. — Вы меня слышите?

Из рисовой заводи за садом доносится лягушачья какофония.

Орито протирает влажной тряпкой блестящее от пота лицо наложницы.

— Она почти не говорит. — Служанка держит лампу. — Уже много часов...

— Госпожа Кавасеми, меня зовут Аибагава. Я акушерка. Я хочу помочь.

Глаза Кавасеми раскрываются. Она еле слышно издыхает. Глаза закрываются.

«Она очень устала, — думает Орито, — даже боится умереть сегодня». Доктор Маено шепчет через муслиновые занавески:

— Я бы хотел сам проверить предлежание ребенка, но... — Старый врач выбирает слова очень осторожно. — Но, видимо, это запрещено.

— У меня четкие указания, — заявляет мажордом. — Ни один мужчина не имеет права касаться ее.

Орито поднимает окровавленные простыни и видит, как ей и говорили, обмякшую ручку младенца, по плечо торчащую из влагилица Кавасеми.

— Вы когда-нибудь видели подобное предлежание? — спрашивает доктор Маено.

— Да, на гравюре в голландской книге, которую переводил отец.

— Это я и хотел услышать! «Наблюдения Уильяма Смелли»?

— Да. Доктор Смелли называет это... — Орито переходит на голландский... — «выпадение руки».

Орито обхватывает вымазанное слизью запястье плода в поисках пульса.

Маено спрашивает ее, опять на голландском:

— Ваше мнение?

Пульса нет.

— Ребенок мертв, — отвечает Орито на том же языке, — и мать тоже

скоро умрет, если ребенок не выйдет. — Она касается кончиками пальцев вздутого живота Кавасеми и ощупывает бугор вокруг запавшего пупка. — Это был мальчик. — Она становится на колени между раздвинутых ног Кавасеми, мимоходом отметив, какой узкий у нее таз, и принюхивается к разбухшим половым губам: она чувствует солодовый запах смеси свернувшейся крови и экскрементов, но не вонь разлагающегося плода. — Он умер час-два тому назад.

Орито спрашивает служанку:

— Когда отошли воды?

Дар речи еще не вернулся к служанке: она была потрясена, услышав иностранный язык.

— Вчера утром, в час Дракона, — каменным голосом отвечает экономка. — И вскоре после этого у нашей госпожи начались роды.

— А когда в последний раз ребенок бил ножкой?

— Сегодня около полудня.

— Доктор Маено, вы согласны с тем, что младенец находится... — она опять использует голландский термин:

— ...в «поперечном тазовом предлежании»?

— Может быть, — отвечает доктор на загадочном языке, — но без осмотра...

— Ребенок припозднился на двадцать дней или больше. Должен был повернуться.

— Ребенок отдыхает, — убеждает экономку служанка. — Правда, ведь, доктор Маено?

— Что вы такое говорите... — Честный доктор колеблется. — Может, и правда...

— Мой отец сказал мне, — говорит Орито, — что доктор Урагами наблюдал за беременностью.

— Да, наблюдал, — бурчит Маено, — из комнаты, где принимает больных. После того, как ребенок перестал брыкаться, Урагами установил по геомантийским <sup>[1]</sup> приметам, понятным лишь таким же, как он, гениям, что душа ребенка сопротивляется рождению. Посему рождение зависит лишь от материнской силы воли. — «Негодяй, — этого Маено не стал добавлять к сказанному, — который никогда не решится нанести урон своей репутации, принимая мертворожденного ребенка такого уважаемого человека». — Тогда мажордом Томине убедил магистрата вызвать меня. Увидев руку, я вспомнил о вашем докторе из Шотландии и позвал вас на помощь.

— Мой отец и я гордимся вашим доверием, — говорит Орито...

«...а я проклиная Урагами, — добавляет он про себя, — за его стремление не потерять лицо, приведшее к смерти ребенка».

Внезапно лягушки перестают квакать, словно невидимая стена отсекает их, и тут же слышится доносящийся из Нагасаки шум: там празднуют благополучное прибытие голландского корабля.

— Если ребенок мертв, — говорит Маено на голландском, — мы должны его сейчас вытащить.

— Согласна.

Орито просит у экономки теплой воды и порезанную на лоскуты простыню, откупоривает банку с лейденской солью и сует под нос наложницы, чтобы хоть на несколько мгновений привести ее в чувство.

— Госпожа Кавасеми, мы собираемся принять вашего ребенка через несколько минут. Но до этого я могу прощупать вас изнутри?

Наложницу сотрясает очередная схватка, и она теряет способность отвечать.

Теплую воду приносят в двух медных тазах, как раз, когда стихают схватки.

— Мы должны признать, — доктор Маено предлагает Орито на голландском, — что ребенок мертв. Потом ампутировать ему руку, чтобы вытащить тело.

— Сначала я хочу пальпировать роженицу изнутри, чтобы узнать — находится тело в выпуклом или вогнутом положении.

— Если вам это удастся, не отрезая руки, — Маено имеет в виду — «без ампутации», — тогда делайте.

Орито обмазывает правую руку маслом из рапсового семени и поворачивается к служанке:

— Сложи один кусок простыни в толстую прокладку... да, так. Будь готова вставить ее между зубов хозяйки, иначе она откусит себе язык. Оставь место по краям рта, чтобы она могла дышать. Доктор Маено, начинаю обследование.

— Вы мои глаза и уши, госпожа Аибагава, — говорит доктор.

Орито проникает пальцами между плечом плода и разорванными малыми половыми губами матери, пока ее запястье не входит во влагалище Кавасеми. Наложница дрожит и стонет.

— Извините, — говорит Орито, — извините...

Ее пальцы проскальзывают между теплой слизистой оболочкой и кожей младенца, и мышцы все еще мокры от околоплодных вод, и перед мысленным взором акушерки возникает гравюра, прибывшая из той

просвещенной и варварской части света, Европы...



Если поперечное положение выпуклое, вспоминает Орито, тогда позвоночник младенца выгнут назад так сильно, что голова находится между лодыжек, словно у китайского акробата, тогда она должна ампутировать руку плода, разделить тело на куски зубчатыми щипцами и вытащить их наружу — один ужасный кусок за другим. Доктор Смелли предупреждал, что даже самый маленький кусочек, оставленный в матке, вызовет воспаление и может убить мать. Если поперечное положение вогнутое, — Орито продолжает читать по памяти, — тогда колени плода прижаты к его груди, и я могу отпилить руку, перевернуть плод, ухватиться крючками для удаления плода за глазницы и произвести экстракцию тела головой вперед. Указательный палец акушерки находит позвонки ребенка, спускается к нижнему ребру и далее, к тазовой кости, нащупывает крошечную ушную раковину, ноздрю, рот, пуповину, пенис, размером с креветку.

— Вогнутое, — докладывает Орито доктору Маено, — но пуповина вокруг шеи.

— Как вы думаете, ее можно освободить от пуповины? — Маено забывает, что говорить надо на голландском.

— Ну, я должна попробовать. Вставь прокладку, — Орито обращается к служанке. — Пожалуйста, прямо сейчас.

Когда полотняная прокладка вставлена между зубами Кавасеми, Орито продвигает кисть дальше, зацепляет большим пальцем пуповину, просовывает оставшиеся четыре пальца под нижнюю челюсть младенца,

отталкивает голову назад и стягивает пуповину по лицу, лбу и макушке. Кавасеми кричит, горячая моча течет по предплечью Орито, но все получается с первого раза: петли на шее младенца больше нет. Она вынимает руку и докладывает:

— Пуповина свободна. Вы принесли с собой... — Нет такого японского слова...

— ...щипцы?

— Принес, — Маено легонько постукивает по медицинскому сундуку, — на всякий случай.

— Мы можем попробовать вытащить младенца, — она переходит на голландский, — без ампутации руки. Меньше крови — всегда лучше. Но мне потребуется ваша помощь.

Доктор Маено поворачивается к мажордому:

— Чтобы спасти жизнь госпожи Кавасеми, я обязан нарушить приказ магистрата и присоединиться к акушерке за занавеской.

Мажордом Томине оказывается в крайне затруднительном положении.

— Обвините меня, — предлагает Маено, — в нарушении приказа магистрата.

— Решение мое, — качает головой мажордом. — Делайте, что должны, доктор.

Шустрый пожилой человек проползает под муслиновую занавеску, держа выгнутые щипцы.

Когда служанка видит чужеземное приспособление, она тревожно вскрикивает.

— Щипцы, — говорит доктор, без дальнейших объяснений.

Экономка поднимает занавеску, чтобы тоже увидеть.

— Нет, не нравится мне эта штукавина! Иноземцы могут рубить, резать и называть все это «медициной», но совсем неслыханно, чтобы...

— Даю ли я советы экономке, — рычит Маено, — где покупать рыбу?

— Щипцы, — объясняет Орито, — не режут: они поворачивают и тянут, точно так же, как пальцы акушерки, только сильнее... — Она вновь подносит лейденскую соль. — Госпожа Кавасеми, я воспользуюсь этим инструментом... — она показывает щипцы, — чтобы вытащить младенца. Не бойтесь и не сопротивляйтесь. Европейцы пользуются ими постоянно — даже для принцесс и королев. Мы вытащим ребенка наружу, осторожно и быстро.

— Сделайте это... — голос Кавасеми — приглушенный всхлип. — Сделайте...

— Спасибо, тогда я попрошу госпожу Кавасеми тужиться...

тужиться... — Роженица вымотана донельзя, почти не реагирует. — Тужиться...

— Как часто, — за занавеску заглядывает Томине, — вы использовали этот способ?

Орито замечает впервые, что у мажордома сломанный нос: такой же заметный физический изъян, как и ожог у нее самой. «Часто, и никто не пострадал». Только Маено и его ученица знают, что эти пациентки — пустотелые дыни, чьи младенцы — обмазанные маслом тыквочки. В последний раз — если все пойдет хорошо — она вводит кисть в матку Кавасеми. Ее пальцы находят шею младенца, проворачивают его голову к шейке матки, скользят, находят более надежную опору, подводят к выходу и совершают третий поворот беспомощного тела.

— Пожалуйста, сейчас, доктор.

Маено вставляет щипцы, огибая введенную в матку кисть.

Зрители ахают; Кавасеми издает сдавленный вскрик.

Орито чувствует в ладони округлые зажимы: маневрирует ими, устанавливая вокруг мягкого черепа младенца.

— Сводите.

Осторожно, но без малейших колебаний, доктор сжимает ручки щипцов.

Орито берет левой рукой за рукоятки щипцов: сопротивление упругое, но достаточно сильное, словно это не череп, а желе из конниаку [2]. Ее правая кисть попрежнему в матке, поддерживает голову младенца.

Костлявые пальцы доктора Маено обхватывают запястье Орито.

— Чего вы ждете? — спрашивает экономка.

— Следующей схватки, — отвечает доктор, — которая будет очень...

Дыхание Кавасеми начинает учащаться от новой боли.

— Раз и два, — считает Орито, — и... тужьтесь, Кавасеми-сан!

— Тужьтесь, госпожа! — выдыхают служанка и экономка.

Доктор Маено тянет за щипцы; правой рукой Орито подталкивает голову младенца к родовому каналу. Она говорит служанке, чтобы та схватила его за ручку и тянула, тянула. Орито чувствует, как нарастает сопротивление, когда голова достигает родового канала. «Раз и два... сейчас!» — придавив пуговку клитора, появляется волосатая макушка маленького тельца.

— Вот он! — ахает служанка сквозь звериные крики Кавасеми.

Макушка, лицо, блестящее от слизи...

...и остальное: склизкое, влажное, безжизненное тело.

— Ох, но... ох, — шепчет служанка. — Ох. Ох. Ох...



Вой Кавасеми переходит в стоны и потом смолкает.

Она знает. Орито раздвигает зажимы, откладывает типцы, поднимает недвижимого младенца за щиколотки и шлепает. У нее нет никакой надежды на чудо: она действует по заведенному порядку, как учили. После десяти тяжелых шлепков она останавливается. Пульса нет. Она не чувствует на своих щеках его дыхания из губ и ноздрей. Нет никакой необходимости объявлять очевидное. Зажав пуповину у пупка, она перерезает хрящевидную трубку ножом, обмывает безжизненное тело водой в медном тазу и кладет его в колыбельку. «Кроватка вместо гроба, — думает она, — а пеленки — саван».

Снаружи комнаты мажордом Томине отдает поручения слуге. «Сообщи Его чести, что сын родился мертвым. Доктор Маено и его акушерка старались, как могли, но оказались бессильны перед волей Судьбы».

Орито уже волнуется о родильной горячке. Необходимо полностью вытащить плаценту, на промежность нанести якумосо, с разрывов смыть кровь.

Доктор Маено покидает тент из муслина, чтобы не мешать акушерке.

Ночная бабочка, размером с птицу, влетает под тент и задевает лицо Орито.

Отмахиваясь от нее, акушерка сшибает щипцы на один из медных тазов.

Они гремят, ударившись о крышку, звук пугает какое-то небольшое животное, неведомым образом прокравшееся под тент; оно вякает и пищит.

«Щенок? — в недоумении гадает Орито. — Или котенок?»

Загадочное животное вновь жалобно пищит и очень близко: под матрасом?

— Прогони его отсюда! — говорит экономка служанке. — Прогони его!

Животное вновь мяукает, и Орито понимает, что звук доносится из колыбельки.

«Конечно же, нет, — думает акушерка, отказываясь поверить. — Конечно же, нет...»

Она сдергивает пеленку в тот самый момент, когда ребенок открывает рот.

Он вдыхает раз, другой, третий, его сморщенное личико перекашивается...

...и содрогающийся, розовый, будто сваренный, новорожденный деспот взывает к Жизни.

## Глава 2. КАЮТА КАПИТАНА ЛЕЙСИ НА КОРАБЛЕ «ШЕНАНДОА», БРОСИВШЕМ ЯКОРЬ В ГАВАНИ НАГАСАКИ

Вечер 20 июля  
1799 г.

— Как же еще, — настаивает Даниэль Сниткер, — человек может вознаградить себя за каждодневное унижение, от которого мы страдаем по милости этих узкоглазых пиявок? Как говорят испанцы: «Если слуге не платят, он имеет право заплатить себе сам», — и в этот единственный раз, черт возьми, испанцы правы. Откуда такая убежденность, что компания просуществует следующие пять лет и будет платить нам?! Амстердам на коленях; наши верфи простаивают; на наших мануфактурах тишина; наши зернохранилища разграблены; Гаага — сцена для надменных марионеток, которых дергают за ниточки в Париже; прусские шакалы и австрийские волки хохочут у наших границ: Святой Боже, после стрельбы по птицам в Кампердауне <sup>[3]</sup>мы стали морской страной без флота. Британцы захватили Кейптаун, Коромандельский берег <sup>[4]</sup>и Цейлон безо всяких усилий, нас просто пнули под зад, и ясно, как божий день, что Ява — их следующий жирный рождественский гусь! Без нейтральных территорий, таких, как здесь, — он кривит нижнюю губу, глядя на капитана Лейси, — Батавия вымрет от голода. В такие времена, Ворстенбос, единственное спасение — это ходовые товары на складе. Зачем же еще, Боже ты мой, вы здесь?

Старая лампа на китовом жиру качается и шипит.

— Это ваше последнее слово? — спрашивает Ворстенбос.

Сниткер скрещивает на груди руки:

— Я плюю на ваше тупоголовое судилище.

Отрыжка капитана Лейси сделала бы честь Гаргантюа.

— Чеснок, господа...

Ворстенбос обращается к своему клерку: «Мы можем записать наш вердикт...»

Якоб де Зут кивает головой и окунает в чернильницу перо: «... тупоголовое судилище».

— В этот день, двадцатого июля 1799 года, я, Унико Ворстенбос, назначенный директор торговой фактории Дэдзима в Нагасаки, действуя по

праву, данному мне Его превосходительством П. Г. ван Оверстратеном, генерал-губернатором Голландской Восточной Индии, в присутствии Ансельма Лейси капитана «Шенандоа», нахожу Даниэля Сниткера, исполнительного директора вышеупомянутой фактории, виновным в следующем: преступной халатности...

— Я выполнял, — настаивает Сниткер, — все возложенные на меня обязанности!

— Обязанности! — восклицает Ворстенбос и дает знак Якобу остановиться. — Наши склады выгорели дотла, тогда как вы развлекались со шлюхами в борделе: факт, не указанный в этой мешанине лжи, которую вы соизволили назвать ежедневным реестром. И мы бы не узнали о нем, если бы не случайная оговорка японского переводчика...

— Сортирные крысы очернили мое имя, потому что я знаю все их трюки!

— «Очернение вашего имени» состоит в том, что в ночь пожара на Дэдзиме не оказалось пожарного насоса?

— Возможно, обвиняемый увез этот насос в «Дом Глициний», — добавляет капитан Лейси, — чтобы произвести впечатление на женщин толщиной его шланга.

— За насос отвечал ван Клиф, — возражает Сниткер.

— Я расскажу вашему помощнику, как самоотверженно вы защищали его честное имя. Следующий пункт, господин де Зут: «Не проследил, чтобы три высших чиновника подписали транспортную накладную погрузки «Октавии».

— Ох, Боже ты мой. Простая административная оплошность!

— «Оплошность», которая позволяет вороватым директорам обманывать компанию сотнями разных способов. По этой самой причине Батавия требует тройную подпись. Следующий пункт: «Воровство фондов компании для оплаты частных перевозок».

— А это, — Сниткер плюется в гнев, — это наглая ложь!

Из дорожного мешка, лежащего у его ног, Ворстенбос достает две фарфоровые статуэтки, сработанные на Востоке. Одна — палач, топор нацелен на шею второй фигуры: приговоренный к смерти стоит на коленях, руки связаны, взор устремлен в иной мир.

— Почему вы показываете мне эти... — бесстыже спрашивает Сниткер, — ...безделушки?

— Два гросса <sup>[5]</sup>обнаружилось в вашем личном грузе, двадцать четыре дюжины статуэток «Арита», говоря языком документа. Моя покойная жена питала слабость к произведениям японского искусства, поэтому у меня есть

кое-какие познания по этой части. Не откажите в любезности, капитан Лейси, прикиньте, какова их цена, скажем, на венском аукционе.

Капитан Лейси задумывается: «Двадцать гульденов за штуку?»

— Только эти небольшие — по тридцать пять гульденов; за позолоченных куртизанок, лучников и вельмож — по пятьдесят. Какова стоимость двух гроссов? Сбавим цену — Европа нынче воюет, и спрос неустойчив — ограничимся тридцатью пятью гульденами за штуку... умножим на два гросса. Де Зут?

Абак Якоба идет в ход: «Десять тысяч восемьдесят гульденов».

— Ух ты! — вырывается у потрясенного Лейси.

— И это только чистая прибыль, — уточняет Ворстенбос. — Товары, купленные на деньги компании, записаны в транспортной накладной — никем, естественно, не заверенной — как «фарфоровые статуэтки личной коллекции исполнительного директора». Вашей рукой, Сниткер.

— Предыдущий директор, упокой Господь его душу, — меняет версию Сниткер, — отписал их мне в завещании, до того, как отбыл с посольством к императорскому двору.

— Выходит, господин Хеммей предвидел, что его ждет на обратном пути из Эдо?

— Гейсберт Хеммей был необычно предусмотрительным человеком.

— Тогда покажите нам его необычно предусмотрительное завещание.

— Документ, — Сниткер вытирает рот, — сгорел при пожаре.

— Кто засвидетельствовал завещание? Господин ван Клиф? Рыбак? Обезьяна?

Сниткер недовольно выдыхает:

— Мы напрасно теряем время. Отрежьте свою десятину, но не больше шестнадцатой части, или я, клянусь Богом, выброшу эти проклятые статуэтки в гавань.

Шум разгульного веселья доносится от Нагасаки.

Капитан Лейси сморкается в капустный лист.

Почти стертая перо Якоба мчится по бумаге; кисть руки его болит.

— Я, похоже, чего-то не понимаю, — на лице Ворстенбоса читается недоумение. — Что это за разговор о «десятине»? Господин де Зут, может, вы прольете свет?

— Господин Сниткер пытается дать вам взятку.

Лампа начинает раскачиваться; она дымит, притухает, опять разгорается.

Матрос на нижней палубе настраивает скрипку.

— Вы полагаете, — Ворстенбос моргает, глядя на Сниткера, — что

моя честь продается? Как у какого-нибудь изъеденного оспой и червями капитана порта на Шельде, который незаконно вымогает деньги с каждой баржи?

— Тогда — одна девятая, — рычит Сниткер. — Клянусь, это мое последнее предложение.

— Завершите перечень обвинений, — Ворстенбос щелкает пальцами, повернувшись к своему клерку, — фразой: «Попытка подкупа финансового проверяющего», — и перейдем к вынесению приговора. Смотрите сюда, Сниткер: это касается вас. Пункт первый: Даниэль Сниткер снят с должности и лишается всего... да, всего... жалованья, начиная с 1797 года. Пункт второй: по прибытии в Батавию Даниэль Сниткер заключается в тюрьму Старого форта за содеянное. Пункт третий: его частный груз выставляется на аукцион. Поступления от продажи пойдут на компенсацию убытков Компании. Я вижу, вы уже слушаете внимательно.

— Вы... — дерзкий Сниткер раздавлен, — ...разоряете меня.

— Этот процесс послужит назиданием для каждого паразита — директора, жирующего за счет Компании. «Даниэль Сниткер получил по заслугам», — предупредит их JTOT вердикт, и они подумают: «Возмездие может настичь и меня». Капитан Лейси, благодарю вас за участие в этом неприятном деле; господин Вискерк, надеюсь, вы найдете господину Сниткеру гамак на полубаке. Ему придется отработать проезд на Яву: как не моряк, он будет подчиняться общей дисциплине. Более того...

Сниткер вскакивает из-за стола и бросается к Ворстенбосу. Якоб краем глаза замечает кулак Сниткера над головой патрона и пытается его перехватить: горящие павлины кружатся перед глазами, стены каюты поворачиваются на девяносто градусов, пол бьет по ребрам, металлический привкус во рту, конечно же, кровь. Пыхтение, сопение и стоны доносятся до него. Якоб видит, как первый помощник наносит сокрушительный удар в солнечное сплетение Сниткера, отчего лежащий клерк вздрагивает в непроизвольном сочувствии. Еще два моряка врываются в помещение как раз в тот момент, когда Сниткер сгибается пополам и падает на пол.

Где-то на нижних палубах скрипка наигрывает мелодию песенки «Моя темноглазая девочка из Твенте».

Капитан Лейси наливает себе стакан черносмородиночного виски.

Ворстенбос лупит Сниткера по лицу тростью с серебряным набалдашником, пока не устает рука.

— Заковать это насекомое в кандалы и бросить в самый грязный угол жилой палубы, — приказывает Ворстенбос.

Первый помощник и двое матросов утаскивают стонущее тело.

Ворстенбос опускается на колени рядом с Якобом и похлопывает его по плечу:

— Благодарю, что приняли удар на себя, мой мальчик. Ваш нос сейчас, боюсь, яйцо всмятку.

Боль в носу Якоба говорит о переломе, руки и колени липкие, но не в крови. В чернилах, осознает клерк, поднимаясь с пола.

Чернила из его разбитой чернильницы, синие ручейки и расплзшиеся озерца...

Чернила, которые впитываются сухим деревом, затекают в щели и в трещины...

«Чернила, — думает Якоб, — более плодovитой жидкости не найти...»

## Глава 3. НА САМПАНЕ, ПРИШВАРТОВАННОМ К «ШЕНАНДОА» В ГАВАНИ НАГАСАКИ

Утро 26 июля  
1799 г.

Без шляпы, изнывая от жары в синем парадном мундире, Якоб де Зут мыслями уходит на десять месяцев в прошлое. В тот день разгневавшееся Северное море бросалось на дамбы Домбурга, и брызги разлетались по всей Церковной улице, падая на дом пастора, где дядя как раз вручал ему промасленный парусиновый мешок. В нем лежал потрепанный Псалтырь в переплете из оленьей кожи, и Якоб мог — более — менее — восстановить в памяти речь дяди. «Лишь небеса знают, племянник, сколько раз ты выслушивал эту историю. Твой прапрадедушка находился в Венеции, когда туда пришла чума. Его тело покрылось опухолями размером с лягушку, но он читал молитвы из этого Псалтыря, и Бог исцелил его. Пятьдесят лет спустя твой дедушка Тис служил солдатом в Германии, и его отряд попал в засаду. Этот Псалтырь остановил мушкетную пулю, — он касается пальцем свинцовой пули, застрявшей в коже переплета, — не позволив пробить сердце дедушки. Чистая правда и я, твой отец, и ты, и Герти — обязаны этой книге нашими жизнями. Мы не паписты, не приписываем волшебной силы гнутым гвоздям или старым тряпкам, но ты же понимаешь, насколько эта книга священна: благодаря нашей вере она связана с нашей родословной. Она — подарок твоих предков и ссуда твоим потомкам. Что бы ни случилось с тобой в грядущие года, никогда не забывай: этот Псалтырь, — он касается парусинового мешка, — твой пропуск домой. Псалмы Давида — Библия внутри Библии. Молись по нему, внимай написанному в нем — и ты никогда не заблудишься. Защищай книгу своей жизнью, и она даст пищу твоей душе. Ступай, Якоб, и да пребудет с тобой Господь».

— Защищай книгу своей жизнью, — бормочет Якоб себе под нос...  
«...а в ней, — думает он, — сейчас главная загвоздка».

Десятью днями ранее «Шенандоа» бросила якорь у Папенбург-Рок — скалы, названной так в честь мучеников истинной веры, сброшенных с ее вершины, — и капитан Лейси приказал сложить все символы христианской веры в бочку и наглухо забить гвоздями, чтобы сдать японцам и получить

назад лишь перед самым отплытием корабля из Японии <sup>[6]</sup>. Исключения не сделали ни для назначенного директора Ворстенбоса, ни для его протезе-клерка. Матросы «Шенандоа» недовольно бурчали, что они скорей расстанутся с яйцами, чем с крестами, и скоро все кресты и медальоны святого Кристофера исчезли в укромных тайниках, которых не обнаружили японские инспекторы и вооруженные охранники, когда обыскивали все палубы. Бочку же заполнили четками и молитвенниками, специально привезенными для этого капитаном Лейси: Псалтырь де Зута туда не попал.

«Как я могу предать своего дядю, — волнуется Якоб, — мою Церковь и моего Бога?»

Псалтырь запрятан среди других книг в его матросском сундуке, на котором он сидит.

«Риск, — подбадривает он себя, — не столь уж велик...» Там нет никаких пометок или иллюстраций, по которым можно опознать в Псалтыре церковную книгу, а японские переводчики с голландского, конечно же, слишком неумелы, чтобы распознать архаичный библейский язык. «Я чиновник голландской Ост-Индской компании, — убеждает себя Якоб. — К какому наихудшему наказанию могут приговорить меня японцы?»

Якоб не знает этого, и, если по правде, Якоб боится.

Проходит четверть часа, но ни директор Ворстенбос, ни двое его слуг-малайцев еще не вернулись.

Бледная веснушчатая кожа Якоба поджаривается, как бекон.

Летающая рыба выскакивает из воды и скользит над поверхностью.

— Тобиуо! — говорит один из гребцов другому, указывая на нее. — Тобиуо!

Якоб повторяет слово, и оба гребца смеются, пока не начинает раскачиваться лодка.

Их пассажиру все равно. Он смотрит на лодки охраны, кружащиеся вокруг «Шенандоа», на рыболовные шхуны, на плетущееся вдоль берега японское грузовое судно — массивное, как португальский каррак, только с более плоским днищем; на прогулочную яхту аристократа, сопровождаемую несколькими лодками слуг, с парусами, цвет которых свидетельствует о благородной крови владельца яхты: черный по небесно-голубому; на джонку с клювовидным носом — на таких плавают китайские купцы в Батавии...

Сам Нагасаки, деревянно — серый и грязно-коричневый, напоминает гной, вытекший между раздвинутых зеленых пальцев гор. Запахи морских



водорослей, жидких стоков и дыма от бесчисленных труб плывут над водой. Рисовые плантации террасами поднимаются по склонам почти до самых иззубренных вершин.

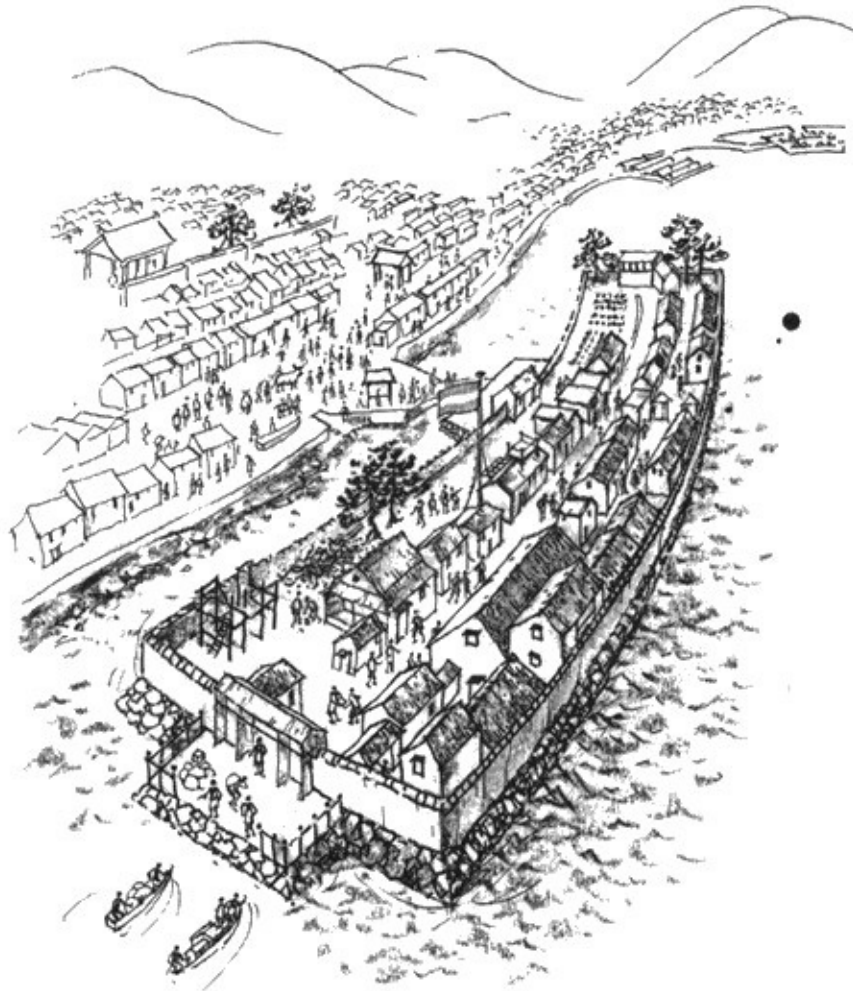
«Безумец, — фантазирует Якоб, — мог бы представить себе, что находится в наполовину треснутой нефритовой миске».

Прямо перед собой он видит свой будущий дом на целый год: Дэдзима, окруженный высокими стенами, в форме веера, искусственный остров, «около двухсот шагов по периметру, — оценивает Якоб, — и где-то восемьдесят шагов в ширину», воздвигнутый, как и большая часть его родного Амстердама, на торчащих из воды сваях. Рисуя торговую факторию с фок-мачты «Шенандоа» всю прошедшую неделю, он насчитал около двадцати пяти крыш: несколько складов японских купцов; резиденции директора и капитана; дом заместителя директора со смотровой башней на крыше; Гильдия переводчиков; небольшая больница. Из четырех складов — «Роза», «Лилия», «Колючка» и «Дуб» — только два последних пережили, как называет случившееся Ворстенбос, «пожар Сниткера». Склад «Лилия» уже восстанавливается, а выгоревшей дотла «Розе» придется подождать, пока фактория не рассчитается по самым неотложным долгам. За Сухопутными воротами каменный мост в один пролет, переброшенный через ров с приливной грязью, соединяет Дэдзиму с берегом. Морские ворота, возвышающиеся над коротким наклонным трапом, у которого разгружаются и загружаются сампаны Компании, открыты только на время торгового сезона. Рядом с ними — Дом таможи, где все голландцы, за исключением директора и капитана, обыскиваются на предмет запрещенных к провозу вещей.

«В этих головах имеется и список, — думает Якоб, — именуемый «Артефакты христианской веры».

Он возвращается к своему рисунку и начинает углем ретушировать море.

Любопытные гребцы наклоняются к нему, Якоб показывает им страницу:



Гребец постарше корчит гримасу, показывая всем своим видом: неплохо.

С лодок охранников доносятся крики: гребцы тут же отшатываются от иноземца.

Сампан покачивается под весом Ворстенбоса: мужчина он сухощавый, но сегодня его шелковый сюртук бугрится от рогов «единорога» или нарвала, высоко ценимых в Японии: истолченный в порошок, рог считается лекарством от всех болезней.

— Всю эту клоунату, — директор стучит костяшками кулаков по буграм сюртука, — я искореню. «Почему, — спросил я у этого хитрого змея Кобаяши, — нельзя положить товар в ящик, законно перевезти на берег и продать на частном аукционе, тоже законно?» Его ответ? «Не было прецедента». Я надавил на него: «Тогда почему не создать такой прецедент?» Он уставился на меня, как будто я объявил себя отцом его

детей.

— Господин директор? — кричит первый помощник. — На берегу вам понадобятся ваши рабы?

— Пришлите их с коровой. А пока мне послужит черный Сниткера.

— Очень хорошо. И переводчик Секита молит о разрешении перевезти его на берег.

— Пусть этот идиот спускается сюда, господин Вискерк.

Внушительный зад Секиты показывается над фальшбортом. Ножны меча цепляются за трап: за такую заминку его слуга тут же получает хлесткую оплеуху. Как только переводчик и его слуга благополучно усаживаются, Ворстенбос приветственно приподнимает свою изящную треугольную шляпу: «Божественное утро, господин Секита, не так ли?»

— Ага, — кивает Секита, не понимая, о чем речь. — Мы, японцы, островные люди...

— Действительно, море — куда ни посмотри, повсюду глубокая синева.

Секита декламирует очередную вызубренную фразу: «У высоких сосен глубокие корни».

— Зачем мы должны тратить наши скудные деньги на ваше непомерно высокое жалованье?

Секита поджимает губы, словно в раздумье: «Как поживаете?»

«Если он будет проверять мои книги, — думает Якоб, — все мои волнения напрасны».

Ворстенбос приказывает гребцам: «Вперед!» — и указывает на Дэдзиму.

Без надобности и непрошенный, Секита переводит команду.

Сампан плавно набирает ход, гребцы опускают весла в воду, имитируя движения плывущей водяной змеи, успевая напевать матросскую песню.

— Может, они поют, — гадает Ворстенбос, — «Отдай Нам Твое Золото, О, Вонючий Голландец»?

— Лучше не озвучивать свои мысли вслух, в присутствии переводчика.

— Очень лестная характеристика этого человека. И все же лучше он, чем Кобаяши: возможно, это наш последний шанс для разговора наедине на какое-то время. По прибытии я, прежде всего, займусь тем, чтобы в торговый сезон выжать максимальную прибыль из наших дешевых товаров. Вам, де Зут, поручается следующее: разберитесь со счетами, и Компании, и частных лиц с девяносто четвертого года. Не зная, что покупалось, продалось и экспортировалось чиновниками и на какие суммы,

нам не понять уровня коррупции, с которой нам предстоит иметь дело.

— Сделаю все, что в моих силах, господин директор.

— Заключение Сниткера под стражу — мое заявление о намерениях, но, если поступать так с каждым контрабандистом на Дэдземе, тогда боюсь, скоро мы на острове останемся вдвоем. Скорее, мы должны показать, что честный труд вознаграждается продвижением по службе, а воровство наказывается позором и тюрьмой. Так, и только так, мы очистим эти авгиевы конюшни. Ага, вот и ван Клиф, пришел приветствовать нас.

Заместитель директора спускается по трапу от Морских ворот.

«Каждое прибытие, — цитирует Ворстенбос, — это маленькая смерть».

Заместитель директора Мельхиор ван Клиф, сорока лет от роду, уроженец Утрехта, снимает шляпу. Пиратское смуглое лицо, борода. Друг назвал бы его сощуренные глаза «наблюдательными», враг «мефистофельскими».

— Доброе утро, господин Ворстенбос, и добро пожаловать на Дэдзиму, господин де Зут. — Его рукопожатие может сокрушать камни. — Пожелание «приятного времяпрепровождения», пожалуй, прозвучит чрезмерно оптимистично... — Он замечает свежие следы драки на носу Якоба.

— Весьма признателен, господин ван Клиф. — Твердая почва плышет под привыкшими к морской качке ногами Якоба. Кули уже выгружают его матросский сундук и тащат к Морским воротам. — Я бы предпочел, чтобы мой багаж оставался у меня на виду...

— Так и должно быть. До недавнего времени мы поправляли ошибки портовых грузчиков кулаками, но магистрат решил, что избитый кули — оскорбление всей Японии, и запретил рукоприкладство. Так что сейчас их воровство не знает границ.

Переводчик Секита нерасчетливо спрыгивает с носа сампана и одной ногой по колено погружается в воду. Выбравшись на трап, он бьет своего слугу веером по носу и спешит обогнать трех идущих голландцев, понукая:

— Идти! Идти! Идти!

Ван Клиф объясняет: «Он хочет сказать «пойдемте».

Морские ворота остаются позади, и их ведут в таможенную комнату. Здесь Секита спрашивает имена иностранцев и выкрикивает их пожилому писцу — регистратору, который повторяет имена молодому помощнику, а тот, в свою очередь, записывает их в книгу. «Ворстенбос» превращается в Борусу Тенбошу, «ван Клиф» становится Банкурейфу, а «де Зут» — Дазуто.

Сырные круги и бочки с маслом, привезенные с «Шенандоа», протыкаются пиками команды инспекторов.

— Эти чертовы негодяи, — жалуется ван Клиф, — готовы разбить все яйца, лишь бы не прокралась курица.

К ним приближается дюжий охранник.

— Вот и досмотрщик, — добавляет ван Клиф. — Директор освобожден от этого, но, увы, не клерки.

Подходят и несколько молодых мужчин: с такими же выбритыми впереди головы волосами и узлом волос на макушке, как у инспекторов и переводчиков, побывавших на «Шенандоа» на этой неделе, но в более простой одежде. «Рядовые переводчики, — объясняет ван Клиф. — Они надеются попасть в любимчики к Секите, делая за него всю работу».

Досмотрщик говорит Якобу, а те переводят хором:

— Руки поднять! Открыть карманы!

Секита взмахом руки затыкает им рты и приказывает Якобу: «Руки поднять. Открыть карманы».

Якоб подчиняется, и досмотрщик прохлопывает его под мышками и обследует карманы.

Находит альбом с рисунками Якоба, быстро пролистывает и отдает очередной приказ.

— Показать обувь охране! — командует самый проворный из переводчиков.

Секита хмыкает: «Показать обувь сейчас».

Якоб замечает, что даже грузчики перестали работать, наблюдая за ним.

Некоторые показывают пальцами на клерка, безо всякого смущения разглядывая его: «Комо, комо».

— Они говорят о ваших волосах, — объясняет ван Клиф. — Комо-так здесь часто называют европейцев: ко значит красный, а мо — волосы. Однако редко у кого из нас волосы такого цвета, так что настоящий «рыжий варвар» стоит того, чтобы поглазеть на него.

— Вы изучаете японский, господин ван Клиф?

— Это запрещено законом, но я учусь кое-чему от моих жен.

— Не могли бы вы научить меня тому, что вы знаете? Я буду вам крайне признателен.

— Учитель из меня никакой, — признается ван Клиф. — Доктор Маринус разговаривает с малайцами, словно сам родился желтокожим, но японский язык, по его словам, дается с большим трудом. Переводчика, пойманного за тем, что он учит нас, могут запросто обвинить в измене.

Досмотрщик возвращает обувь Якобу с новым приказом.

— Снять одежду! — говорят переводчики. — Снять одежду!

— Одежда остается! — возражает ван Клиф. — Клерки не раздеваются, господин де Зут. Эти говнюки хотят от нас еще одной уступки. Подчинитесь ему сегодня, и каждому клерку, приезжающему в Японию, придется волей-неволей проделывать то же самое до Судного дня.

Досмотрщик протестует, хор голосит: «Снять одежду!»

Переводчик Секита чувствует, что назревает скандал, и скрывается из виду.

Ворстенбос стучит тростью по полу, пока не воцаряется тишина.

— Нет!

Недовольный досмотрщик решает уступить.

Таможенный охранник постукивает пикой по сундуку Якоба и что-то говорит.

— Откройте, пожалуйста, — вторит ему рядовой переводчик. — Откройте этот большой ящик!

«Это ящик, — терзает Якоба внутренний шепот, — в котором лежит Псалтырь».

— Пока мы тут все не состарились, де Зут, — говорит Ворстенбос.

С подкатывающей к горлу тошнотой Якоб открывает замки сундука, как и приказано.

Один из охранников говорит, а хор переводит: «Назад! Отойдите на шаг!»

Больше двадцати любопытных шей вытягиваются, когда досмотрщик поднимает крышку и разворачивает пять полотняных рубашек Якоба, достает шерстяное одеяло, чулки, вязаный мешочек с пуговицами и пряжками, дешевый парик, перья для письма, пожелтевшие подштанники, детский компас, полкуска виндзорского мыла, несколько писем от Анны, перевязанных ее лентой от волос, бритву, дельфтскую курительную трубку; треснутый стакан; папку нот; поеденный молью, бутылочного цвета бархатный жилет; оловянную тарелку, нож и ложку; и, на самом дне — лежат около пятидесяти штук разных книг. Досмотрщик что-то говорит своему подчиненному, и тот выбегает из таможенной комнаты.

— Он приведет дежурного переводчика, — поясняет молодой рядовой переводчик. — Чтобы посмотреть книги.

— Разве не... — у Якоба перехватывает дыхание, — не господин Секита проводит диссекцию?

Коричневозубая ухмылка пробивается сквозь бороду ван Клифа: «Диссекцию?»

— Инспекцию, я хотел сказать, инспекцию моих книг.

— Отец Секиты просто купил сыну место переводчика в Гильдии, а борьба с... — ван Клиф беззвучно, одними губами произносит «с христианством», — ...слишком важна для мерзавцев. Книги проверяет более сведущий человек: Ивасе Банри, скорее всего, или один из Огав.

— Кто эти... — Якоб захлебнулся своей слюной, — Огавы?

— Огава Мимасаку — один из четырех переводчиков первого ранга. Его сын, Огава Узаемон — третьего ранга, и... — Входит молодой человек. — Ах, помяни дьявола, так он уже здесь! Доброе утро, господин Огава.

У Огавы Узаемона, лет двадцати пяти от роду, открытое умное лицо. Все переводчики без ранга склоняются перед ним как можно ниже. Он кланяется Ворстенбосу, ван Клифу и, наконец, — новоприбывшему.

— Добро пожаловать, господин де Зут.

У него прекрасное произношение. Он протягивает руку в европейском приветствии как раз в тот момент, когда Якоб отвечает ему азиатским поклоном; Огава Узаемон переходит в поклон, а рука Якоба тянется к нему. Сценка забавляет всех в комнате.

— Мне сказали, — говорит переводчик, — что господин де Зут привез много книг... а вот и они.

Он указывает на сундук:

— Много, много книг. «Изобилие» книг, так говорится?

— Несколько книг, — отвечает Якоб, от волнения тошнота подступает к горлу. — Или довольно много, да.

— Могу ли я вытащить книги, чтобы посмотреть их? — Огава начинает быстро доставать их, не ожидая ответа. Весь мир для Якоба сужается в тонкий тоннель между ним и псалтырем, выглядывающим между двумя томами «Сары Бургерхарт» <sup>[7]</sup>.

Огава хмурится:

— Здесь много, много книг. Пожалуй, мне нужно некоторое время. Когда закончу, я сообщу вам. Согласны? — Он неверно истолковывает нерешительность Якоба. — С книгами ничего не случится. Я тоже... — Огава накрывает свое сердце ладонью, — ...библиофил. Это правильное слово? Библиофил?

На Весовом дворе солнце жарит, словно раскаленное железо.

«Сейчас, в любую минуту, — думает контрабандист поневоле, — мой Псалтырь будет найден».

Небольшая группа японских чиновников ждет Ворстенбоса.

Малайский раб замер в поклоне, держит в руках бамбуковый зонтик, тоже ждет директора.

— У нас с капитаном Лейси, — говорит директор, — длинная череда встреч в Парадном зале, до самого ленча. Ты выглядишь больным, де Зут. Пусть доктор Маринус выцедит из тебя полпинты крови после того, как господин ван Клиф покажет тебе остров, — он кивком головы прощается со своим заместителем и уходит к резиденции.

На Весовом дворе внимание, прежде всего, привлекают треножные весы Компании высотой с два человеческих роста. «Сегодня мы взвешиваем сахар, — объясняет ван Клиф, — чтобы узнать, сколько стоит этот мусор. Батавия прислала отбросы со своих складов».

Небольшой квадрат двора заполнен суетой сотни торговцев, переводчиков, инспекторов, слуг, соглядатаев — шпионов, носильщиков паланкинов, грузчиков. «Вот они, какие, — думает Якоб, — японцы». Их цвет волос, от черного до серого, и оттенки кожи более единообразны, чем у голландцев, а стиль одежды, обуви и причесок строго ограничен положением в табели рангов. Пятнадцать или двадцать почти обнаженных плотников сидят на каркасе строящегося склада. «Работают медленнее, чем опившиеся джином финны... — еле слышно бормочет ван Клиф. С крыши Дома таможни за всем наблюдает обезьянка с розовой мордочкой, белая с черным, одетая в матросскую безрукавку. — Вижу, углядели Уильяма Питта».

— Простите?

— Первого министра короля Георга, да. Он не откликается ни на какое другое имя. Один матрос купил его шесть-семь сезонов тому назад, но в день отплытия хозяина обезьяна исчезла, чтобы появиться на следующий день, свободной от всех, здесь, на Дэдзиме. А если говорить о человеческих обезьянах, вон там... — ван Клиф указывает на мужчину с выступающей челюстью и волосами, заплетенными в косичку, который открывает ящики с сахаром, — ...Вибо Герритсзон, один из нас.

Герритсзон собирает гвозди, которые здесь — драгоценность, в карман жилета. Мешки с сахаром проносятся мимо японского инспектора и красивого молодого человека — иностранца семнадцати-восемнадцати лет: кудрявые золотистые волосы, полные губы, как у уроженцев Явы, глаза с восточным разрезом.

— Иво Ост: сынок кого-то из наших, но с огромной примесью азиатской крови.

Мешки с сахаром прибывают на широкий стол, укрепленный на деревянных козлах, который стоит рядом с весами Компании.



За взвешиванием наблюдает троица японских чиновников, переводчик и два европейца чуть старше двадцати лет.

— Слева, — указывает ван Клиф, — Петер Фишер, пруссак из Брунсвика. — У Фишера загорелое лицо, каштановые волосы, и он лысеет. — Он бухгалтер-клерк... правда, господин Ворстенбос говорит мне, что ваша квалификация весьма высока и вы можете потрясти нас всех своим умением. Компаньон Фишера — Кон Туоми, ирландец из Корка. — Лицо Туоми напоминает луну с акульей улыбкой. Волосы коротко стриженные, матросская одежда на нем чуть ли не лопается по швам. — Не волнуйтесь, если забудете их имена: как только «Шенандоа» отплывет, у нас будет унылая вечность, чтобы выучить друг о друге все.

— Разве японцы не подозревают, что не все из нас голландцы?

— Мы объясняем жуткий акцент Туоми, говоря, будто он родом из Гронингена. Когда такое было, чтобы в такой компании служили только чистокровные голландцы?! Особенно сейчас... — нажим на последнее слово намекает на неприятное для всех заключение под стражу Сниткера. — Нам приходится обходиться теми, кто есть под рукой. Туоми — наш плотник, но работает инспектором в Дни взвешивания, эти чертовы кули умыкнут мешок сахара в мгновение ока, если не следить за ними ястребом. И охранники тоже умыкнут, а самые вороватые — торговцы: вчера один такой сукин сын сунул камень в мешок, который потом «нашел» и попытался использовать как «вещественное доказательство», чтобы занизить вес груза.

— Могу ли я приступить к выполнению своих обязанностей, господин ван Клиф?

— Пусть доктор Маринус сначала пустит вам кровь, и беритесь за дело, как только обустроитесь. Маринуса вы найдете в его больничке в конце Длинной улицы — этой улицы — под лавром. Потеряться вы не должны. Ни один человек еще не был потерян на Дэдзиме, если, конечно, его мочевой пузырь не лопнул от грога.

— Как здорово, что я оказался рядом, — хриплый голос настигает его, едва он успел пройти десять шагов. — Новичок потеряется на Дэдзиме быстрее, чем гусь просрется. Ари Грот меня зовут, а вы, знач, будете... — он хлопает Якоба по плечу, — ... Якоб де Зут из Зеландии, Храбрый — из — Храбрых и... ай-ай-ай... Сниткер свернул вам нос набок, так?

Улыбка Ари Грота зияет множеством пустот, на голове — шляпа из акульей кожи.

— Нравится шляпа, да? Была боа — констриктором в джунглях

Тернате [8]. Однажды ночью он потихоньку заполз в хибару, которую я делил с тремя туземными служанками. Сначала я подумал: ну, одна из моих постельных подружек нежно будит меня, чтобы покувыркаться, понимаете? Но, нет-нет-нет, чтой-то вдруг зажимает мне грудь, и дышать я не могу, и три ребра у меня — бряк! кряк! хрясть! — и в свете Южного Креста я вижу, как он, знач, пялится в мои выпученные глаза, и это, господин де З., решило его судьбу. Руки мои зажало сзади, а челюсти-то — нет, и я ка-ак куснул эту голову со всей дури... Крик змея — такого до конца жизни не забудешь! Эта тварь сжимает меня сильнее — он не хотел сдаваться, — и тогда я добираюсь до яремной вены этого червя и прокусываю прям сквозь. Благодарные селяне сшили мне халат из его кожи и короновали меня — выбрали Владыкой Тернате... этот змей наводил ужас на их джунгли, но... — Грот тяжело вздыхает, — ... сердце моряка рвется в море, понимаете? Потом в Батавии модистка перешила халат на шляпы, за которые я брал по десять риксдалеров за штуку... но с этой, последней, меня ничто не разлучит, нумож, отдам, как знак доброй ноли, молодому орлу, который должен быть одет лучше меня, да — а? Эта красотища, знач, ваша, и не за десять риксдалеров, нет-нет-нет, не за восемь, а всего за пять. Почти даром.

— Увы, змеиную кожу вам модистка подменила плохо выделанной акульей.

— Ставлю все свои деньги, вы выйдете из-за карточного стола, — Ари Грот довольно улыбается, — с набитым кошельком. Большинство наших собирается вечерком в моей скромной конуре — посидеть теплой, дружеской компанией, а коль вы определенно не высокомерный зазнайка, чего бы не присоединиться к нам?

— Боюсь, с племянником пастора вы быстро заскучаете: пью мало, играю еще меньше.

— А кто ж не играет на этом восхитительном Востоке, где ставка — жизнь? Из каждых десяти молодых парней, которые приплывают сюда, шесть выживут, заработав то, что смогут, ну а четырех затащит болотная могила, сорок на шестьдесят — неважнецкие шансы. Кстати, из двенадцати драгоценных камней или золотых дукатов, зашитых в подкладку, одиннадцать забирают у Морских ворот, и лишь один уплывает. Умеют они проверять все дырки в теле, и, если вы хотите, знач, чтоб у вас ничего не нашли, господин де З., я могу пронести все по лучшей цене...

На Перекрестке Якоб останавливается: Длинная улица тянется дальше, чуть загибаясь влево.

— Это переулок Костей, — Грот указывает направо, — ведет к аллее

Морской стены, а это... — Грот указывает налево, — ... Короткая улица, к Сухопутным воротам...

«...а за Сухопутными воротами, — думает Якоб, — простирается закрытая империя».

— Те ворота перед нами не откроются, господин де З., нет-нет-нет. Директор, его заместитель и доктор Эм иной раз проходят туды — сюды, да уж, но не мы. «Заложники сегуна» — так нас местные кличут, и это чистая правда, да — а. Но слушайте, — Грот ведет Якоба дальше, — я торгую не только камешками — монетками, скажу вам правду. Только вчера, — шепчет он, — я доставил одному клиенту на «Шенандоа» коробку кристаллов чистойшей камфары в обмен на дешевенькие вольты, а дома их не выудишь со дна канала.

«Он подбирает наживку для меня», — думает Якоб и отвечает:

— Я не занимаюсь контрабандой, господин Грот.

— Чтоб мне сдохнуть, ежели я стану обвинять вас в чем-то противозаконном, господин де З.! Просто, знач, информирую, что моя доля — четверть с продажной цены, но для такого парня, как вы, семь кусков пирога из десяти — ваши, раз уж я сам такой дерзкий зеландец, да? Будрад помочь вам и с сифилисным снадобьем, — Грот говорит об этом как бы между прочим, однако прекрасно понимая, что речь, наконец, зашла о самом важном для другого человека. — Есть у меня нужные торговцы, они зовут меня Братом, и я добиваюсь лучшей цены быстрее, чем у жеребца встанет, господин де З., добиваюсь сразу и знаете почему?

Якоб останавливается:

— Откуда вы можете знать о моей ртути?

— На то у нас уши и глаза, чтобы знать, да — а? Один из бесчисленных сыновей сегуна, — Грот понижает голос, — пролечился ртутью этой весной. Лечение это известно тут уж двадцать лет, да никакого доверья не было, но у этого принца огурчик сгнил до того, что позеленел, а один курс голландским порошком от сифилиса плюс молитва Богу — и он, бац, излечился! Известие распространилось лесным пожаром; каждый аптекарь в стране мечется в поисках чудесного эликсира, да — а, а вы с восемью ящиками! Позвольте мне поторговаться, и вы заработаете на тысячу шляп. Сами возьметесь — они с нас кожу сдерут и шляпу из нее сделают, друг мой.

— Откуда, — Якоб уже идет дальше, — вы знаете о моей ртути?

— Крысы, — шепчет Ари Грот. — Да — а, крысы. Кормлю крыс тем — сем, и крысы говорят мне, что да как. í опля, так? Вот и больница. Дорога вдвоем в два раза короче, да — а? Так что по рукам? Я теперь ваш

агент, так? Нет нужды контракты писать и всякое такое: джентльмен свое слово никогда не нарушит. Пока, знач...

Ари Грот направляется по Длинной улице к Перекрестку.

Якоб кричит ему вслед: «Но я не давал вам слова!»

За дверью в больницу — узкий коридор. В конце — лестница, ведущая вверх, к поднятой крышке люка, направо по проходу — операционная, широкая комната, в которой царит скелет, покрытый пятнами от древности, распятый на Т-образной раме. Якоб пытается заставить себя не думать о том, как Огава находит Псалтырь. Стол для операций снабжен ремнями, в нем проделаны отверстия, на поверхности — кровавые пятна. Рядом стоят стеллажи, на которых разложены хирургические пилы, ножи, ножницы и зубила. Тут же — ступки и пестики. В большом шкафу, полагает Якоб, перевязочные материалы и сосуды для сбора крови. Есть еще несколько скамей и столов. Запах свежих опилок перемешан с ароматами воска, трав и железистыми эманациями сырой печени. За дверью в дальней стене — лазарет с тремя пустыми койками. При виде глиняного кувшина с водой Якоб вдруг понимает, что ему очень хочется пить. Зачерпывает ковшиком воду: она прохладная и сладкая.

«Почему здесь никого нет? — удивляется он. — Кто охраняет больницу от воров?»

Появляется молодой слуга или раб, он подметает пол: босоногий, симпатичный, в тунике из тонкой материи и просторных индийских шароварах.

Якоб чувствует, что должен объяснить свое присутствие в больнице. «Ты раб доктора Маринуса?»

— Доктор нанял меня, — голландский у молодого человека хорош. — Ассистентом.

— Да? Я новый клерк, де Зут, и как тебя зовут?

Тот кланяется: почтительно, но не как слуга;

— Мое имя Илатту, господин де Зут.

— Из какой части мира ты попал сюда, Илатту?

— Я родился в Коломбо, на острове Цейлон.

Якобу немного не по себе от его обходительности.

— Где же сейчас твой хозяин?

— В кабинете, наверху. Желаете, чтобы я представил вас ему?

— В этом нет нужды: я поднимусь по лестнице и представлюсь сам.

— Да, но только доктор предпочитает никого не принимать...

— Он не будет возражать, когда узнает, что я ему привез...

Поднявшись по лестнице, Якоб оглядывает длинный, хорошо обставленный чердак. Середину занимает клавесин доктора Маринуса, о котором несколько недель тому назад рассказывал Якобу его знакомый, господин Звардекрон, — судя по всему, единственный клавесин, добравшийся до Японии. В дальнем конце чердака рыжеватый, медведеподобный европеец лет пятидесяти с тронутыми сединой, зачесанными назад и перевязанными ленточкой волосами, сидит на полу за низким столиком в колодце света и рисует яркую, огненно-оранжевую орхидею. Якоб стучит по крышке люка:

— Добрый день, доктор Маринус.

Доктор, в расстегнутой рубашке, не реагирует.

— Доктор Маринус? Я очень рад, что наконец-то познакомился с вами...

По доктору и не скажешь, что он услышал хоть слово.

Клерк чуть повышает голос:

— Доктор Маринус? Я извиняюсь за вторж...

— Из какой мышиной норы... — Маринус бросает на Якоба свирепый взгляд, — ...вы выпрыгнули?

— Четверть часа тому назад прибыл с «Шенандоа». Меня зовут...

— А я спрашивал, как вас зовут?! Нет, я спросил о *fons et origio* <sup>[9]</sup>.

— Я родился в Домбурге, городке на побережье острова Валхерен, в Зеландии.

— Валхерен, да? Я однажды заезжал в Мидделбург.

— Если на то пошло, доктор, я учился в Мидделбурге.

Маринус смеется:

— Никто еще не обучился ничему путному в этом гнезде работоторговцев.

— Возможно, в будущем мне удастся изменить к лучшему ваше мнение об уроженцах Зеландии. Я буду жить в Высоком доме, так что мы — почти соседи.

— То есть близость проживания предполагает добрососедство, да?

— Я... — Якоб удивлен агрессивностью Маринуса. — Я... ну...

— Эта «Цимбидиум коран» выросла на корме для коз: когда вы суетитесь, она вянет.

— Господин Ворстенбос предположил, что вы могли бы пустить мне кровь...

— Средневековое мракобесие! Флеботомия — и вся гуморальная теория, на которой она основывается, — уже двадцать лет, как

опровергнута Хантером [\[10\]](#).

«Но пускать кровь, — думает Якоб, — это же хлеб любого хирурга».

— Но...

— Но-но-но? Но-но? Но? Но-но-но-но-но?

— Мир состоит из людей, которые верят в это.

— Подтверждая, что мир состоит из пустоголовых. Ваш нос, похоже, опух.

Якоб поглаживает появившийся изгиб. «Бывший директор Сниткер замахнулся и...»

— Вы не созданы для драк, — Маринус встает и ковыляет к откинутой крышке люка, опираясь на толстую трость. — Мойте нос холодной водой дважды в день и подеритесь с Герритсзоном, только подставьте выпуклую сторону носа, чтобы он вам ее выпрямил. И доброго вам дня, Домбуржец, — точным ударом трости доктор Маринус вышибает podporку, удерживавшую крышку люка открытой.

Выйдя наружу, под ослепительное солнце, негодующий клерк видит перед собой переводчика Огаву, его слугу и пару инспекторов: все четверо вспотевшие и суровые.

— Господин де Зут, — говорит Огава, — я хотел бы поговорить с вами о книге, которую вы привезли. Это очень важное дело...

Якоб пропускает начало следующей фразы из-за нахлынувшей тошноты и сосущего ужаса.

«Ворстенбос не сможет спасти меня, — думает он, — да и зачем ему это?»

— ...и потому я крайне удивился, найдя такую книгу... господин де Зут?

«Моя карьера загублена, — думает Якоб, — меня ждет тюрьма, и Анна потеряна навеки...»

— Куда, — удается выдать из себя будущему узнику, — меня препроводят?

Длинная улица качается из стороны в сторону. Клерк закрывает глаза.

— Пре — водят? — пытается повторить последнее слово Огава. — Мой голландский часто подводит меня.

Сердце клерка стучит, как сломанный насос.

— Разве это по-человечески, так играть со мной?

— Играть? — замешательство Огавы нарастает. — Это пословица, господин де Зут? В сундуке господина де Зута я нашел книгу господина... Адаму Сумиссу.

Якоб широко открывает глаза: длинная улица больше не качается.

— Адама Смита?

— Адама Смита, простите. «Богатство народов» <sup>[11]</sup>... так, ведь?

«Именно так, да, — думает Якоб, — но пока что я не могу поверить своему счастью».

— На английском языке читать мне довольно-таки сложно, а потому я купил голландский перевод в Батавии.

Огава удивляется:

— Адам Смит — не голландец? Англичанин?

— Ему бы не понравилось, если бы вы его так нашали, господин Огава! Смит — шотландец, живет в Эдинбурге <sup>[12]</sup>. Но вы точно говорите о книге «Богатство народов»?

— О какой же еще? Я — рангакуша, изучаю голландскую науку. Четыре года тому назад я попросил на время «Богатство народов» у директора Хеммея. Начал переводить, чтобы принести в Японию «теорию политической экономики». Но правитель Сацумы предложил за нее директору Хеммею много денег, и я вернул книгу. Книгу продали до того, как я ее дочитал.

Раскаленное солнце закрыто тенью лаврового дерева, которое как будто пылает в его лучах.

«И воззвал к нему Бог, — думает Якоб, — из середины куста...»

Крючкоклювые чайки и потрепанные воздушные змеи прочерчивают голубое небо.

«...и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!»

— Я пытаюсь раздобыть другой экземпляр, но... — Огава пожимает плечами, — ...но слишком велики трудности.

Якоб прилагает невероятные усилия, чтобы не расхохотаться радостным детским смехом.

— Я понимаю.

— И вдруг этим утром в вашем сундуке я нахожу Адама Смита! К моему огромному удивлению! И, честно говоря, господин де Зут, я бы хотел купить у вас эту книгу или арендовать...

На другой стороне улицы, в саду, верещат и верещат цикады.

— Книга Адама Смита не продается, и не сдается в аренду, — отвечает голландец, — но вам, господин Огава, я отдаю ее, и отдаю с радостью, во временное пользование. Можете держать ее у себя, сколько пожелаете.

## Глава 4. РЯДОМ С УБОРНОЙ У САДОВОГО ДОМИКА НА ДЭДЗИМЕ

До завтрака 29  
июля 1799 г.

Якоб выходит из жужжащей насекомыми темноты и видит, как его домашнего переводчика Ханзабуро допрашивают два инспектора. «Они требуют от вашего боя, — младший клерк Понк Оувеханд словно материализуется из воздуха, — чтобы тот поковырялся в ваших какашках, посмотрел, чем вы сplete. Три дня тому назад я пытками свел в раннюю могилу моего первого шпики, и Гильдия переводчиков прислала мне эту шляпную вешалку, — Оувеханд мотает головой в сторону худого и высокого молодого человека, стоящего позади него. — Его зовут Кичибей, но я прозвал его Лишаем за то, что вечно липнет ко мне. Но, в конце концов, я возьму над ним верх. Грот поставил десять гульденов, что я не смогу измотать его до ноября. Так я еще не начинал, а пора бы, так?»

Инспекторы замечают Кичибея и подзывают его.

— Я иду на работу, — говорит Якоб, вытирая ладони.

— Мы должны приходиться до того, как остальные нассут вам в кофе.

Два клерка идут по Длинной улице мимо двух беременных оленей.

— Отменное мясо, — комментирует Оувеханд, — рождественский ужин.

Доктор Маринус и раб Игнатиус поливают водой грядку с дынями.

— Еще один день в печке, доктор, — говорит Оувеханд через забор.

Маринус, конечно же, его слышит, но не утруждает себя поворотом головы в их сторону.

— Он вежлив лишь со своими учениками, — жалуется Оувеханд Якобу, — и с его красавцем индийцем, а также являл собой саму доброту, как рассказывал ван Клиф, когда умирал Хеммей, а уж если его ученые друзья принесут ему какую-нибудь траву или мертвую морскую звезду, тут он рассыпается в любезностях! И чего он ведет себя с нами, как Старый Хрыч?! В Батавии даже французский консул — заметьте, французский консул — называл его *un buffalo insufferable* [\[13\]](#), — Оувеханд откашливается.

Группа грузчиков — японцев собирается на Перекрестке, готовясь переносить с сампанов на сушу чугунные чушки. Заметив Якоба, они вновь



начинают подталкивать друг друга и ухмыляться. Клерки сворачивают в переулок Костей, чтобы избежать пристальных взглядов.

— Только не говорите мне, что вам не нравится повышенное внимание, — поворачивается к нему Оувеханд, — господин Рыжеволосый.

— Но мне точно не нравится, — возражает Якоб. — Мне совсем не нравится.

Два клерка поворачивают на аллею Морской стены и подходят к Кухне.

Ари Грот ощипывает птицу, сидя под навесом из сковород и кастрюль. Масло шипит, горка блинов растет, а прибывшие издалика разрезанный пополам круг эдамского сыра и кислые яблоки лежат на двух трапезных столах. Пиет Баерт, Иво Ост и Герритсзон едят за столом работников; Петер Фишер, старший клерк, и Кон Туоми, плотник — за столом чиновников. Сегодня понедельник, и Ворстенбос, ван Клиф и доктор Маринус завтракают в комнате для совещаний.

— А мы тут гадаем, — говорит Грот, — куды вы, ребята, пропали, а?

— Начнем с горшочка соловьиных языков, маэстро, — отвечает Оувеханд, тыкая пальцем в слипшийся хлеб и прогорклое сливочное масло, — потом продолжим пирогом из рябчиков и голубики с артишоками в сметане и закончим айвой и бело-розовым бисквитом со взбитыми сливками.

— Вечнозеленые шутки господина О., — говорит Грот, — веселят нас каждый день.

— А это, — всматривается Оувеханд, — не фазанья ли задница у вас в руках?

— Зависть, — осуждающе цыкает повар, — один из семи смертных грехов, так ведь, господин де З.?

— Так говорят, — Якоб стирает кровавый след с яблока. — Да.

— Мы только что сварили вам кофе, — Баерт протягивает чашку, — душистый и свежий.

Якоб смотрит на Оувеханда, который мимикой отвечает ему: «Что я говорил».

— Спасибо, господин Баерт, но сегодня воздержусь.

— Так мы же старались, — протестует антверпенец. — Для вас.

Ост зевает в полный рот. Якоб старается придерживаться рамок вежливости:

— Плохая ночь?

— Думаете, контрабандил и грабил Компанию до самой зари, так повашему?

— Не могу знать, господин Ост. — Якоб разламывает хлеб. — Так и было?

— Я-то думал, что вы заготовили все ответы еще до высадки.

— Вежливый человек, — предупреждает Туоми на своем ирландско — голландском, — не...

— Это он расселся тут судьей, Кон, и ты тоже так думаешь.

Из работников только Ост, совершенно не задумываясь о последствиях и даже не заправившись грогом, смеет столь открыто выказывать свою неприязнь к новоприбывшему клерку, но Якоб прекрасно понимает, что и ван Клиф видит в нем шпиона Ворстенбоса. На Кухне все ожидают его ответа.

— Чтобы нанять матросов на корабли, обслуживать гарнизоны и платить десяткам тысяч людей жалованье, господин Ост, в том числе и вам, Компания должна получать прибыль. В торговых факториях должен вестись бухгалтерский учет. На Дэдзиме за последние пять лет такой учет если и велся, то курам на смех. Господин Ворстенбос обязан был приказать мне навести порядок в бухгалтерии. Собрать все в единое целое. А я обязан ему подчиняться. И за это меня надо считать Искаротом?

Желающих ответить не находится. Петер Фишер ест, громко чавкая.

Оувеханд подхватывает ломтем хлеба немного тушеной капусты.

— Сдается мне, — говорит Грот, вытаскивая птичьи потроха, — все зависит от того, как посмотрит Директор на все эти... несуразности, м-да, найденные, когда это... в одно целое. Или погрешил-но-больше-ни-ни или же, знач, крепкий, может, и по делу, пинок под зад, или тюрьма в Батавии...

— Если... — Якоб останавливается, не сказав: «Если вы не сделали ничего противоправного, вам нечего бояться». И так понятно, что каждый из них, так или иначе, нарушает правила Компании частной торговли. — Я не... — Якоб останавливается, не сказав: «Я не личный исповедник директора». — А вы не пробовали спросить господина Ворстенбоса напрямую?

— Правильно ли это, — отвечает Грот, — задавать вопросы начальству?

— Тогда вы должны подождать и увидите, что решит директор.

«Плохой ответ, — понимает Якоб, — означающий, что я знаю больше, чем говорю».

— Гав-гав, — бормочет Ост. — Гав.

Смех Баерта может сойти за икоту.

Кожура яблока спускается с лезвия ножа Фишера одной длинной спиралью.

— Следует ли нам ожидать вашего визита в нашу контору сегодня? Или вы продолжите заниматься собиранием «одного целого» на складе «Колючка» с вашим другом Огавой?

— Я буду делать то, — Якоб слышит, как поднимается его голос, — что прикажет директор.

— Ой? Я наступил на большую мозоль?! Мы с Оувехандом просто хотим знать...

— Разве я, — консультируется Оувеханд с потолком, — произнес хоть одно слово?

— ...знать, поможет ли нам сегодня наш так называемый третий клерк.

— Клерк — стажер, — уточняет Якоб, — не «так называемый» и не «третий», как и вы у нас — не «старший».

— О? Значит, вы и господин Ворстенбос обсуждали вопросы подчиненности?

— Так ли уж обязательна эта грызня в присутствии нижних чинов? — влезает с вопросом Грот.

Покоробленная входная дверь распахивается, и входит слуга директора Купидо.

— Тебе чего тут надо, грязный пес? — спрашивает Грот. — Тебя накормили раньше.

— У меня послание для клерка де Зута: директор просит вас прибыть в Парадный зал.

Смех Баерта возникает, продолжается и затихает в его вечно заложенном носе.

— Я приберегу ваш завтрак, — Грот отрубает ножки фазана. — Все будет в полной сохранности.

— Эй, бой! — шепчет Ост невидимому песику. — Сидеть, бой! Служить, бой!

— Глоток кофе, — Баерт протягивает кружку, — чтобы подкрепиться, значит.

— Не думаю, что мне понравится, — Якоб встает. — С вашими то примесями.

— Никто не обвиняет вас в блюде [\[14\]](#), — бурчит Баерт, — просто...

Племянник пастора ногой выбивает кофейную чашку из рук Баерта.

Она разбивается о потолок, осколки разбиваются об пол.

Зеваки изумленно замирают, Ост перестает гавкать, Баерт — весь промокший.

Даже Якоб удивлен тем, что произошло. Он кладет в карман хлеб и уходит.

В Бутылочной приемной Парадного зала вдоль стен действительно выстроились пятьдесят или шестьдесят стеклянных бутылей в оплетке, накрепко закрепленные на случай землетрясения. В этих сосудах — необычные существа, собранные со всех концов когда-то необъятной территории, где торговала Компания. Оберегаемые от разложения раствором из спирта, свиной мочи и свинца, они предупреждают не столько о том, что всякая плоть тленна — а кто в здравом уме позабудет об этой истине? — но и говорят, что у бессмертия слишком высокая цена.

Замаринованный варан из Канди невероятным образом похож на отца Анны, и Якоб вспоминает судьбоносный разговор с этим господином в его роттердамской гостиной. Где-то внизу проезжали кареты, а фонарщик одну за другой зажигал лампы.

— Анна рассказала мне, — начал говорить ее отец, — о неожиданных фактах в сложившейся ситуации, де Зут...

Соседка варана с Цейлона — гадюка с острова Сулавеси, застывшая с открытой пастью.

— ...и, соответственно, я всесторонне обдумал ваши достоинства и недостатки.

Детеныш-аллигатор с острова Хальмахера чему-то радовался, его челюсти разошлись в демонической улыбке.

— В колонке положительных качеств: вы — прекрасно разбирающийся в тонкостях своей работы клерк с добрым характером...

Пуповина аллигатора навеки связывала его со скорлупой яйца, из которого он вылупился.

— ...который не злоупотребляет нежными чувствами Анны.

Именно с острова Хальмахера Ворстенбос и вытащил Якоба.

— Теперь о минусах. Вы — всего лишь клерк. Не купец, не владелец корабля...

Черепаша с острова Диего-Гарсия выглядит плачущей.

— ...даже не директор склада, а клерк. Я не ставлю под сомнение ваши чувства.

Сломанным носом Якоб касается сосуда с барбадосской миногой.

— Но чувства — лишь слива в пудинге: а сам пудинг — это богатство.

Открытая О — образная пасть миноги щетинится острыми, как лезвия, буквами V и W.

— Я, однако, хочу предложить вам шанс заработать ваш пудинг, де Зут, — лишь из уважения к выбору Анны. Директор Ост-Индского дома ходит в мой клуб. Если вы хотите стать моим зятем так же сильно, как

говорите об этом, он может устроить вас на должность клерка на Яве. На пять лет. Официальное жалованье незначительно, но молодой человек со способностями может многого добиться. Ответ вы должны дать сегодня: «Фадреландет» отплывает из Копенгагена через две недели...

— Новые друзья? — Ван Клиф смотрит на него из двери в зал.

Якоб отворачивается от миноги:

— К сожалению, я не могу позволить себе роскошь выбора, господин заместитель директора.

Ван Клиф хмыкает, услышав искренние слова.

— Господин Ворстенбос желает видеть вас.

— Вы присоединитесь к нам?

— Чугунные чушки сами по себе не взвешаются и не погружаются, де Зут, о чем мне остается только сожалеть.

Глядя на термометр, висящий рядом с портретом Вильгельма Молчаливого, Унико Ворстенбос щурится. Он порозовел от жары и блестит от пота.

— Я попрошу Туоми сделать мне полотняный веер наподобие тех, что англичане привезли из Индии... ох, это слово никак не приходит на ум...

— Может, вы думаете о слове «пунка», господин директор?

— Точно. Пунка, вместе с пунка-валлой, чтобы затягивать шнур.

Входит Купидо, неся на подносе знакомый чайник из нефрита и серебра.

— Переводчик Кобаяши должен прийти в десять, — говорит Ворстенбос, — вместе со сворой чиновников, чтобы познакомить меня с придворным этикетом для так долго откладывающейся аудиенции с магистратом. Античный фарфор должен сигнализировать, что этот директор — человек тонкого вкуса: на Востоке надо все время посылать какие-то сигналы, де Зут. Напомните-ка мне, для какого высокородного изготовили этот набор, по рассказам того еврея в Макао?

— Он утверждал, что набор из приданого жены последнего императора династии Мин [\[15\]](#), господин директор.

— Последнего императора династии Мин, точно. И я бы желал, чтобы вы присоединились к нам попозже.

— Для встречи с переводчиком Кобаяши и чиновниками?

— Для встречи с магистратом Шираи... Шило... Помогайте мне.

— Магистратом Широямой, господин директор... Я поеду в Нагасаки?

— Если, конечно, вы не хотите остаться здесь и считать чугунные чушки.

— Попасть на японскую землю мне... — «Петер Фишер, — думает Якоб, — сдохнет от зависти», — ... будет необычайно интересно. Спасибо вам.

— Директор нуждается в личном секретаре. А сейчас, позвольте продолжить наш разговор в моем кабинете...

Солнечный свет падает на секретера в маленькой соседней комнате.

— Итак, — Ворстенбос усаживается, — после трех дней на берегу — как вы находите жизнь на самом далеком аванпосту Компании?

— Более полезной для здоровья, — стул Якоба скрипит под ним, — чем на Хальмахере.

— Да уж, жуткое там местечко! Что раздражает вас больше всего: соглядатаи, ограниченность места, недостаток свободы... или невежество наших соотечественников?

Якоб подумывает: а не рассказать ли Ворстенбосу о сегодняшней стычке за завтраком, но решает, что ничего этим не добьется. «Уважение, — думает он, — не завоевывается по команде сверху».

— Работники смотрят на меня с некоторым... подозрением, господин директор.

— Естественно. Приказ «частная торговля отныне запрещена» лишь добавит изощренности их планам, а намеренная неопределенность ситуации сейчас — самая лучшая профилактика. Местным это, конечно же, не нравится, но они не посмеют выплеснуть свою злость на меня. Основной удар придется выдержать вам.

— Я не хочу выглядеть неблагодарным в ответ на ваше покровительство, господин директор.

— Нет нужды опровергать утверждение, что Дэдзима — унылое, скучное место. Дни, когда человеку хватало прибыли всего после двух торговых сезонов на то, чтобы отойти от дел на покой, канули в Лету. Болотная лихорадка и крокодилы здесь, в Японии, вас не погубят, а монотонность — может. Но мужайтесь, де Зут: через год мы вернемся в Батавию, где вы узнаете, как я вознаграждаю преданность и усердие. И, говоря об усердии, как идет процесс восстановления бухгалтерских книг?

— Книги — абсолютно жуткое месиво, но господин Огава — замечательный помощник, и данные по девяносто четвертому и девяносто пятому годам по большей части восстановлены.

— Безобразия, конечно, что мы должны полагаться на японские архивы! Но подойдите сюда, нам предстоит заняться более срочными делами. — Ворстенбос отпирает ящик стола и достает слиток японской

меди. — Самая красная во всем мире, богатая золотом и, уже сотню лет — невеста, для которой мы, голландцы, танцуем в Нагасаки, — он бросает слиток Якобу, тот ловко ловит его. — Эта невеста, однако, с каждым годом все худеет и мрачнеет. Согласно вашим цифрам... — Ворстенбос заглядывает в листок бумаги, лежащий на столе, — ...в 1790-м мы экспортировали восемь тысяч пикулей [\[16\]](#). В девяносто четвертом — шесть тысяч. Гейсберт Хеммей, который проявил деловое чутье только в одном — умер до того, как его сняли за некомпетентность, — уменьшил нашу квоту до менее чем четырех тысяч, а за год сниткеровской вакханалии мы получили ничтожные три тысячи двести, и все слитки ушли на дно с «Октавией», где бы сейчас ни лежали ее обломки.

Часы «Альмело» отмеряют время тонкими стрелками, украшенными драгоценными камнями.

— Помните, де Зут, мой визит в Старый форт перед нашим отплытием?

— Помню, господин директор, да. Генерал-губернатор беседовал с вами два часа.

— Это была очень тяжелая беседа, ни больше ни меньше — о будущем голландской Явы. И вы держите его в ваших руках, — Ворстенбос указывает на медный слиток. — Вот оно.

Смятение на лице Якоба отражается на металлической поверхности.

— Я не понимаю...

— Унылая картина будущего Компании, нарисованная Сниткером, увы, не гипербола. Не упомянул он только одного, потому что никто за пределами Совета этого не знает: сокровищница Батавии пуста.

Плотники стучат молотками на другой стороне улицы. Свернутый нос Якоба ноет от боли.

— Без японской меди Батавия не сможет чеканить монеты, — пальцы Ворстенбоса крутят вырезанный из слоновой кожи нож для бумаг. — Без монет батальоны дикарей вернутся назад, в свои джунгли. Не буду приукрашивать действительность, де Зут: правительство сможет удержать наши гарнизоны на половине жалованья лишь до июля. Наступит август — побегут первые дезертиры. Придет октябрь — вожди племен почувствуют нашу слабость; а к Рождеству Батавия станет жертвой анархии, грабежей, убийств и Джона Буля.

Воображение де Зута невольно рисует картины катастрофического будущего.

— Каждый директор за всю историю Дэдзимы, — продолжает Ворстенбос, — пытался выжать как можно больше драгоценного металла

из Японии. Все, что они получали — это лишь выкручивание рук и невыполненные обещания. Колеса коммерции буксуют от подобного безразличия, но, если и мы потерпим неудачу, де Зут, Нидерланды потеряют Восток.

Якоб кладет медный слиток на стол. «Как мы можем преуспеть, если...»

— Столько людей ничего не добились смелостью, дерзостью и этим историческим письмом, — Ворстенбос сдвигает к клерку письменный прибор. — Сделайте черновую копию.

Якоб кладет перед собой доску, откупоривает чернильницу и погружает в нее перо.

— «Я, генерал-губернатор голландской Ост-Индии П. Г. ван Оверстратен... — Якоб смотрит на директора, но нет никакой ошибки, — ...в этот...» Мы покинули Батавию шестнадцатого мая?

Племянник пастора сглатывает слюну.

— Четырнадцатого, господин директор.

— «...в этот... девятый день мая 1799 года салютую святейшим превосходительствам Совета Старейшин и, как верный друг, доверяю самые сокровенные мысли своим друзьям без никакой лести, страха и неприязни, заботясь об освященной веками гармонии отношений между Японской империей и Батавской Республикой», точка.

— Японцы не были уведомлены о революции.

— Тогда пусть будет «Объединенные провинции Нидерландов» — пока. «Много раз слуги сегуна в Нагасаки меняли условия торговли, пользуясь бедностью компании...» — нет, напишите «невыгодным положением». Далее: «Так называемый цветочно — денежный налог превратился в ростовщический; риксдалер трижды девальвировался за последние десять лет, тогда как квота на медь уменьшилась до ручейка...» Точка.

Кончик пера ломается под нажимом Якоба, он достает другое перо.

— «В то же самое время прошения компании отклоняются под бесконечными предложениями. Опасности путешествия из Батавии к вашей отдаленной империи продемонстрировало крушение «Октавии», когда двести голландцев потеряли свои жизни. Без справедливой компенсации торговля в Нагасаки теряет всякий смысл». Новый абзац. «Руководство Компании в Амстердаме издало окончательный меморандум касательно Дэдзимы. Содержимое документа вкратце можно описать следующим образом...»

Перо Якоба проскакивает мимо отверстия в чернильнице.



— «Без увеличения медной квоты до двадцати тысяч пикулей... — подчеркните эти слова, де Зут, и напишите их еще цифрами, — семнадцати директорам голландской Ост-Индской компании придется сделать вывод, что их японские партнеры более не заинтересованы в поддержании иностранной торговли. Мы эвакуируем Дэдзиму, вывезем наши товары, наш скот и содержимое наших складов, и незамедлительно». Вот так. Думаю, переполох начнется, как от лисы в курятнике, ведь так?

— Не от одной, господин директор, а целых шести. Значит, генерал-губернатор решил взять их на испуг?

— Азиатский менталитет уважает *force majeure* <sup>[17]</sup>. Это наилучший способ убедить их согласиться.

А ответ будет, Якоб это видит, отрицательным.

— Вдруг японцы назовут письмо блефом?

— Блефом называют то, что пахнет, как блеф. Отныне вы участник этой стратегии, так же, как ван Клиф, капитан Лейси и я, и более никого. Так, в заключение: «С квотой в двадцать тысяч пикулей на следующий год я пришлю еще один корабль. Если же Совет сегуна предложит... — подчеркните — ...на один пикуль меньше двадцати тысяч, тем самым они, по существу, возьмут топор и срубят древо торговли, согласятся с тем, что главный порт Японии прекратит свое существование, и заложат кирпичами единственное окно Японии, открытое в мир»... так?

— Кирпичи здесь не в ходу. «Забьют досками»?

— Напишите, как надо. «Такая потеря лишит сегуна возможности следить за прогрессом в Европе, к радости русских и других врагов, не спускающих жадных глаз с вашей империи. Ваши еще не рожденные потомки просят вас в этот час сделать правильный выбор, как прошу и я». — С новой строки: «Ваш преданный союзник, и т. д. и т. д., П. Г. ван Оверстратен, генерал-губернатор Ост-Индии, кавалер Ордена Оранжевого Льва», и любые другие титулы, которые придут вам в голову, де Зут. Две чистые копии к полудню — достаточно времени для Кобаяши. Закончите обе подписью ван Оверстратена — поточнее, как сможете — и на одной поставьте вот эту печать, — Ворстенбос передает ему перстень с выгравированной аббревиатурой «VOC», голландской *Vereenigde Jost-indische compagnie*.

Якоб поражен последними двумя указаниями.

— Мне подписывать письма и заверять печатью, господин директор?

— Вот... — Ворстенбос находит образец, — ...подпись ван Оверстратена.

— Подделка подписи генерал-губернатора... — Якоб знает, что это

такое: преступление, караемое смертной казнью.

— Не надо делать такого мученического лица, де Зут! Я бы подписал сам, но наша хитрость требует мастерской работы над росписью ван Оверстратена, а не мою криворукую мазню. Думайте о генерал — губернаторской благодарности, когда мы вернемся в Батавию с трехкратным увеличением экспорта меди: мое место в совете уже никто не поставит под сомнение. Разве я тогда забуду о моем верном секретаре? Конечно, если... сомнения и нервная дрожь не позволяют вам исполнить мою просьбу, я могу позвать господина Фишера.

«Делай сейчас, — думает Якоб, — волнуйся потом».

— Я подпишу, господин директор.

— Тогда нет времени на болтовню: Кобаяши будет здесь... — директор смотрит на часы, — ...через сорок минут. Нам хочется, чтобы сургуч на письмах к тому времени засох, так?

Досмотрщик у Сухопутных ворот заканчивает работу, и Якоб залезает в свой паланкин. Петер Фишер щурится от безжалостного полуденного солнца. «Дэдзима на два часа ваша, господин Фишер, — говорит ему Ворстенбос из директорского паланкина. — Вернете ее мне в прежнем виде».

— Конечно, — пруссак надувает щеки в комичной натуге. — Конечно.

Гримаса Фишера становится злой, когда мимо него проносят паланкин Якоба.

Процессия минует Сухопутные ворота, следует по Голландскому мосту.

В море отлив: Якоб видит мертвую собаку на илистом дне...

...и вот он уже парит на высоте трех футов над запретной территорией Японии.

Они на широкой площади, под ногами носильщиков песок и гравий, вокруг никого, если не считать нескольких солдат. Называется она, ван Клиф ему говорил, площадь Эдо, чтобы напомнить населению Нагасаки, где находится настоящая власть. На одной стороне площади — Башня сегуна: камни — валуны, высокие стены и лестницы. Пройдя еще одни ворота, процессия углубляется в тенистую улицу. Лоточники заывают, нищие просят, жестянщики гремят кастрюлями, десять тысяч деревянных колодок стучат по булыжникам. Охрана голландцев громко кричит, отгоняя жителей в сторону. Якоб старается запомнить каждую мелочь, чтобы описать их в письмах к Анне, своей сестре Герти и своему дяде. Сквозь решетку паланкина до него доносятся запахи вареного риса, сточных вод,

благовоний, лимонов, опилок, дрожжей и гниющих водорослей. Он видит сторбленных старух, монахов с оспенными следами на лицах, незамужних девушек с выкрашенными в черный цвет зубами. «Если бы у меня был альбом для рисования, — думает иноземец, — и три дня здесь, чтобы его заполнить». Дети, сидящие на глиняной стене, делают совиные глаза большим и указательным пальцами, приговаривая: «Оранда — ми, Оранда — ми, Оранда — ми». Якоб понимает, что они дразнятся, изображая круглые глаза европейцев, и вспоминает, как малолетние беспризорники ходили по пятам за китайцем в Лондоне. Беспризорники пальцами растягивали глаза в узкие щелочки и пели: «Китаец, сиамец или ты японец».

Люди толпятся у входа в небольшой храм, ворота которого напоминают знак «пи».

Ряд каменных идолов, листки бумаги, привязанные к веткам сливового дерева.

Неподалеку уличные артисты громко поют и бьют в барабаны, заывают на свое представление.

Паланкины переносят по мосту через реку с берегами — дамбами: вода воняет.

Подмышки, пах, кожа под коленями Якоба зудят от пота, он обмахивается рабочей папкой.

Девушка в окне верхнего этажа; красные фонари свисают с карнизов, а она лениво щекочет шею гусиным пером. Тело десятилетней девочки, но глаза женщины, которая намного старше.

Глициния в цвету пенится на крошащейся стене.

Волосатый нищий стоит на коленях, кажется, у лужи блевотины. Потом Якоб понимает, что «лужа» — это дворняга.

Минуту спустя процессия останавливается перед воротами из дуба и железа.

Они открываются, и охрана салютует паланкинам, которые заносят во двор.

Двадцать копейщиков маршируют под неистовым солнцем.

В тени широкого навеса паланкин Якоба опускают на землю.

Огава Узаемон открывает дверцу:

— Добро пожаловать в магистратуру, господин де Зут.

Длинная галерея заканчивается темным вестибюлем. «Здесь мы ждем», — говорит им переводчик Кобаяши, и слуги приносят напольные подушки, чтобы они могли присесть. С правой стороны вестибюля — ряд

раздвижных дверей, украшенных полосатыми бульдогами с чрезмерно длинными ресницами. «Тигры, наверное, — комментирует ван Клиф. — За этими дверями цель нашего прихода: Зал шестидесяти циновок». Слева более скромная дверь с хризантемой. Якоб слышит доносящийся из глубины дома плач младенца. Впереди — вид поверх стены магистратуры и раскаленных крыш: панорама бухты, где в синеватой дымке стоит на якоре «Шенандоа». Запах лета смешан с запахами пчелиного воска и чистой бумаги. Голландцы сняли обувь у входа, и Якоб благодарен ван Клифу за своевременный совет надеть чулки без дырок. «Если бы отец Анны увидел меня сегодня, — думает он, — ожидающим приема у высшего представителя сегуна в Нагасаки!» Чиновники и переводчики напряженно молчат. «Половые доски, — доверительно шепчет ван Клиф, — скрипят, чтобы выдать наемных убийц».

— Убийцы, — спрашивает Ворстенбос, — серьезная опасность в этих местах?

— Сейчас, скорее всего, — нет, но старые привычки умирают с трудом.

— Напомните-ка мне, — просит директор, — почему у одной магистратуры два магистрата?

— Когда магистрат Широяма при должности в Нагасаки, магистрат Омацу находится в Эдо, и наоборот. Они меняются каждый год местами. Если один из них совершит неосторожный поступок, его двойник тут же объявит об этом. Каждая властная должность в империи разделена на двоих, и потому, в определенном смысле, кастрирована.

— Как я понимаю, Никколо Макиавелли ничему не смог бы научить сегуна.

— Это точно. Флорентийца, возможно, разве что взяли бы здесь в ученики.

На лице переводчика Кобаяши, услышавшего мелькающие в разговоре знакомые августейшие имена, отражается неудовольствие.

— Позвольте мне обратить ваше внимание, — ван Клиф меняет тему разговора, — на тот античный пугач от ворон, который висит в нише, вон там.

— Боже мой, — пристально вглядывается Ворстенбос, — это же португальская аркебуза.

— Мушкетеры изготавливались на острове в Сацуме после того, как португальцы прибыли сюда. Позже, когда стало понятно, что десять мушкетов у десяти крестьян с твердой рукой и острым глазом могут убить десять самураев, сегун свернул их производство. Легко представить судьбу

какого-нибудь европейского монарха, который решился бы издать подобный указ...

Украшенная тиграми дверь раздвигается, и из нее выходит чиновник высокого ранга со сломанным носом и приближается к переводчику Кобаяши. Переводчики низко кланяются, и Кобаяши представляет чиновника директору Ворстенбосу как мажордома Томине. Голос Томине неприветлив, как и его манеры.

— Господа, — переводит Кобаяши, — в Зале шестидесяти чиновников магистрат и много советников. Вы должны выказывать такое же почтение магистрату, как сегуну.

— И магистрат Широяма его получит, — заверяет переводчика Ворстенбос. — Ровно в той мере, в какой заслуживает.

По лицу Кобаяши видно, что он сомневается в этом...

Зал шестидесяти чиновников просторен и укрыт от солнечных лучей. Пятьдесят или шестьдесят истекающих потом, обмахивающихся веерами официальных лиц — все важного вида самураи, — сидят точным прямоугольником. Магистрата Широяму узнать легко: он по центру на специальном возвышении. Пятидесятилетнее лицо выглядит уставшим от долгого пребывания на высоком посту. Свет попадает в зал из залитого солнцем двора, усыпанного белой галькой. В южной его части растут миниатюрные сосны и высятся покрытые мхом скалы. Кольшутся занавески, закрывающие выходы на восток и запад. Охранник с могучей шеей выкрикивает: «Оранда Капитан!» — и проводит голландцев в прямоугольник придворных к трем алым напольным подушкам. Мажордом Томине говорит, Кобаяши переводит: «Пусть голландцы выкажут почтение».

Якоб опускается коленями на подушку, кладет папку сбоку и кланяется. Справа, чувствует он, ван Клиф делает то же самое, но, выпрямившись, видит, что Ворстенбос по-прежнему стоит.

— Где, — директор поворачивается к Кобаяши, — мой стул?

Вопрос, как и рассчитывал Ворстенбос, вызывает молчаливый переполох.

Мажордом о чем-то коротко спрашивает переводчика Кобаяши.

— В Японии, — краснеющий Кобаяши отвечает Ворстенбосу, — сидение на полу не считается позором.

— Приятно слышать. Но мне более удобно на стуле.

Кобаяши и Огава должны умиротворить рассерженного мажордома и утихомирить упрямого директора.

— Пожалуйста, господин Ворстенбос, — говорит Огава, — в Японии

стульев нет.

— Неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы улажить высокого гостя? Ты!

Чиновник, на кого указал голландец, замирает и касается кончика своего носа.

— Да! Принеси десять подушек. Десять. Ты понимаешь, что значит «десять»?

Оцепеневший чиновник переводит взгляд с Кобаяши на Огаву и обратно.

— Смотри! — Ворстенбос поднимает с пола подушку, трясет, бросает на пол и показывает десять пальцев. — Принеси десять подушек! Кобаяши, объясните этому головастику, чего я хочу.

Мажордом Томине требует ответа. Кобаяши объясняет, почему директор отказывается от поклона, а в это время на лице Ворстенбоса играет снисходительно — пренебрежительная улыбка.

Зал шестидесяти чиновков замирает в молчании, ожидая реакции магистрата.

Широяма и Ворстенбос какие-то мгновения смотрят друг на друга.

Затем на губах магистрата появляется легкая улыбка победителя, и он кивает. Мажордом хлопает в ладоши: двое слуг приносят подушки и укладывают друг на друга. Ворстенбос сияет от удовольствия.

— Видите, — говорит директор своим спутникам, — решительность вознаграждается. Директор Хеммей и Даниэль Сниткер унизили наше достоинство, пресмыкаясь перед ними, и теперь мне приходится добиваться утерянного уважения! — Он плюхается на горку подушек.

Магистрат Широама что-то говорит Кобаяши.

— Магистрат спрашивает, удобно ли вам теперь? — переводит тот.

— Спасибо, Ваша честь. Теперь мы сидим лицом к лицу, как равные.

Якоб предполагает, что Кобаяши опускает последние два слова Ворстенбоса.

Магистрат Широама кивает и выдает длинную тираду.

— Он говорит, — начинает Кобаяши, — «поздравляю нового директора с прибытием» новому директору и «добро пожаловать в Нагасаки», и «добро вновь пожаловать в магистратуру» заместителю директора, — Якоб, простой клерк, не устаивается внимания, то есть отдельной приветственной фразы. — Магистрат надеется, что путешествие выдалось не слишком «утомительным», а также надеется, что солнце не слишком сильное для нежной голландской кожи.

— Благодарю вашего хозяина за заботу, — отвечает Ворстенбос, — но

будьте уверены, по сравнению с Батавией в июле, нагасакское лето — детская забава.

Широяма согласно кивает головой, выслушивая перевод, словно подтвердились все его давнишние подозрения.

— Спросите, — приказывает Ворстенбос, — наслаждается ли его честь подаренным мной кофе?

После этого вопроса, замечает Якоб, придворные переглядываются. Магистрат не торопится с ответом.

— Магистрат говорит, — переводит Огава, — что «вкус кофе не похож ни на какой другой».

— Скажите ему, что наши плантации на Яве могут поставить достаточно кофе, чтобы насытить бездонный желудок Японии. Скажите ему, что будущие поколения будут благословлять Широяму как человека, открывшего этот волшебный напиток для своей родной страны.

Огава надлежащим образом переводит, но предположение директора энтузиазма не вызывает.

— Магистрат говорит, — объясняет Кобаяши, — что «у Японии нет аппетита к кофе».

— Ерунда! Когда-то кофе не признавали в Европе, но теперь на каждой улице в наших великих столицах есть своя кофейня... а то и десять! На этом сколачивают огромные состояния.

Широяма намеренно меняет тему разговора, прежде чем Огава успевает перевести.

— Магистрат выражает сочувствие, — говорит Кобаяши, — в связи с гибелью «Октавии» на обратном пути прошлой зимой.

— Это любопытно, так и скажите ему, — отвечает Ворстенбос, — что наша дискуссия о кофе вдруг повернула к потерям, которые понесла всеми уважаемая Компания в своем стремлении принести процветание в Нагасаки...

Огава чувствует приближение беды, но ничего не может поделать, продолжая переводить.

Лицо магистрата Широямы недовольно вытягивается.

— Я привез срочное коммюнике от генерал-губернатора на ту же тему. Огава поворачивается к Якобу: ему требуется помощь.

— Что такое «коммюнике»?

— Письмо, — шепотом отвечает Якоб. — Дипломатическое послание.

Огава переводит; Широяма показывает руками: «Давайте его сюда».

С горы подушек Ворстенбос согласно кивает головой своему секретарю.

Якоб развязывает тесемки папки, вытаскивает только-только законченное письмо от «Его превосходительства П. Г. ван Оверстратена» и двумя руками протягивает мажордому.

Мажордом Томине кладет письмо перед своим хозяином, на лице которого нет и тени улыбки.

Зал шестидесяти циновок следит за всем с нескрываемым любопытством.

— Самое время, господин Кобаяши, — говорит Ворстенбос, — предупредить этих господ — и, особенно, магистрата, — что наш генерал-губернатор шлет ультиматум.

Кобаяши смотрит на Огаву, который спрашивает: «Что такое «ультим»?»

— Ультиматум, — поясняет ван Клиф, — это угроза, требование, жесткое предупреждение.

— Очень неудачное время, — Кобаяши качает головой, — для жесткого предупреждения.

— Но ведь магистрата Широяму надо уведомить как можно раньше, — заботливость в голосе директора Ворстенбоса прямо-таки приторная, — что Дэдзима будет заброшена после нынешнего торгового сезона, если только Эдо не даст нам двадцать тысяч пикулей.

— «Заброшена», — повторяет ван Клиф, — означает оставлена, покинута, закончена.

Лица двух переводчиков бледнеют на глазах.

В душе Якобу становится неловко, ему жаль Огаву.

— Пожалуйста, — Огава глотает слюну, — не надо таких новостей сейчас, здесь...

Лишившись терпения, мажордом требует перевода.

— Лучше не заставляйте его честь ждать, — говорит Ворстенбос Кобаяши.

Слово за словом, запинаясь, Кобаяши передает ужасную новость.

Вопросы летят со всех сторон, но ответы Кобаяши и Огавы тонут в новых криках. Во время этой суматохи Якоб замечает человека, сидящего в трех подушках слева от магистрата Широямы. Его лицо настораживает клерка, пусть он и не может определить почему. Также Якоб не может угадать его возраст. Бритая голова и морского цвета одежда говорят о том, что он — монах или даже духовник. У него плотно сжатые губы, нос крючком, а глаза полны сверкающего ума. Якобу так же трудно оторваться от яростного взгляда этого человека, как книге самой по себе избежать интереса читателя. Молчаливый наблюдатель резко отворачивает голову,



словно охотничий пес, вслушивающийся в звуки, издаваемые дичью.

## Глава 5. СКЛАД «КОЛЮЧКА» НА ДЭДЗИМЕ

*После ленча 1  
августа 1799 г.*

В жару шестерни и рычаги времени разбухают и цепляются друг за друга. В душном сумраке Якобу слышится, как шипит сахар в ящиках, превращаясь в слипшиеся комки. Когда придет День аукциона, сахар продадут торговцам пряностей за гроши: как им прекрасно известно, в противном случае сахар вернется в трюмы «Шенандоа», чтобы бесприбыльным грузом проследовать на склады Батавии. Клерк выпивает чашку зеленого чая. Горечь отстоя на дне заставляет его поморщиться, усиливает головную боль, но прочищает мозги.

На кровати, сооруженной из ящиков с корицей и пеньковых мешков, спит Ханзабуро.

Сопли, вытекающие из его ноздри, уже добрались до большущего адамова яблока.

К царапанью пера Якоба присоединяется похожий звук, доносящийся с потолка.

Это ритмичное поскребывание, на которое иногда накладывается тихий визгливый писк.

«Крыс, — догадывается молодой человек, — покрывает крысу».

Он прислушивается, и его захватывают воспоминания о женских телах.

Этими воспоминаниями он не гордится, никому не собирается их рассказывать...

«Я бесчещу Анну, — думает Якоб, — размышляя о подобном».

...но образы накидываются на него, и сердце ускоряет бег.

«Сосредоточься, осел, — приказывает себе клерк, — на работе».

С трудом он возвращается к поискам пятидесяти риксдалеров, пролетевших сквозь чащобу поддельных чеков и накладных, найденных в сапоге Даниэля Сниткера. Якоб пытается налить еще чаю в чашку, но чайник пуст. Он зовет: «Ханзабуро?»

Юноша не реагирует. Крысы на потолочной балке затихают.

— Да! — По прошествии долгих секунд парень вскакивает. —  
Господин Дазуто?

Якоб поднимает испачканную чернилами чашку:

— Пожалуйста, принеси еще чаю, Ханзабуро.

Ханзабуро щурится, потирает голову и бормочет:

— Чего?

— Еще чаю, пожалуйста, — Якоб качает на весу чайник. — Чаю.

Ханзабуро вздыхает, поднимается, берет чайник и бредет наружу.

Якоб заостряет перо, но вскоре его голова падает на грудь...

...карлик-горбун прорисовывается силуэтом в белом сиянии света, заливающего переулочек Костей.

Сжимает в волосатой руке дубинку... нет, это — окровавленная длинная часть свиной ноги.

Якоб поднимает тяжелую голову. Трещат затекшие мышцы шеи.

Горбун входит на склад, хрюкая и сопя.

Свиная нога на самом деле — отрезанная человеческая голень длиной в фут, с лодыжкой и ступней.

Горбун — не горбун: это Уильям Питт, дэдзимская обезьяна.

Якоб вскакивает и стучается коленом. Боль пронзает ногу и растекается по телу.

Уильям Питт вскарабкивается со своей кровавой добычей на гору ящиков.

— Где, во имя Господа, — Якоб трет колено, — ты это раздобыл?

Ответа нет, слышится спокойное и ровное дыхание моря... и Якоб вспоминает: доктора Маринуса позвали вчера на «Шенандоа», где эстонцу — моряку раздавило ногу упавшим ящиком. В японском августе гангрена развивается быстрее, чем скисает молоко, и доктор предписал ампутацию. Операцию проводили сегодня в больнице, чтобы четверо учеников доктора и местные врачи могли наблюдать за процессом. Как бы это ни звучало невероятно, Уильям Питт, должно быть, проник в операционную и стащил отрезанную конечность: по-другому не объяснить.

Появляется вторая фигура, мгновенно ослепшая от складского сумрака. Грудь тяжело вздымается от бега. На голубое кимоно надет ремесленный фартук, забрызганный чем-то темным, и прядки волос торчат из-под головного платка, скрывающего левую часть лица. Лишь когда человек попадает в узкий луч света от высокого окна, Якоб видит, что гналась за обезьяной молодая женщина.

Кроме прачек и нескольких «тетушек», которые служили в Гильдии переводчиков, через Сухопутные ворота разрешается входить только проституткам, которых нанимают на ночь, и «женам», остающимся у лучше оплачиваемых чиновников подольше. Эти более дорогие куртизанки появляются со служанками: Якоб решает, что его гостья — одна из таких

служанок, которая вступила в схватку с Уильямом Питтом за украденную конечность, не сумела вырвать ее из цепких рук обезьяны и бросилась в погоню, приведшую обеих на склад.

Голоса — голландские, японские, малайские — накатывают по Длинной улице от больницы.

В дверном проеме видны силуэты людей, бегущих по переулку Костей. Якоб пытается подобрать что-нибудь подходящее из своего небогатого японского словарного запаса.

Женщина испуганно ахает, заметив рыжего, зеленоглазого иностранца. — Госпожа, — умоляет Якоб на голландском, — я-я-я-пожалуйста, не волнуйтесь... я...

Женщина всматривается в него и решает, что он не так уж и опасен. — Плохая обезьяна, — спокойствие возвращается к ней. — Украла ногу.

Он кивает головой, потом до него доходит: «Вы говорите на голландском, госпожа?»

В ответ пожатие плеч: «Немного». Она продолжает:

— Плохая обезьяна... забежала сюда?

— Да-да. Волосатый дьявол там, наверху, — Якоб указывает на Уильяма Питта, сидящего на ящиках. Желая произвести впечатление на женщину, он громко кричит, вскинув голову: — Уильям Питт, брось ногу! Отдай ее мне. Отдай!

Обезьяна кладет ногу рядом с собой, хватая розовый пенис одной рукой, вытягивает, подергивает другой, как арфист в сумасшедшем доме, радостно кудахча сквозь оскаленные зубы. Якобу становится неловко перед женщиной, но она отворачивается, скрывая смех, и Якоб видит след ожога на левой стороне лица. След темный, бугорчатый и вблизи сразу бросающийся в глаза. «Как служанка куртизанки, — удивляется Якоб, — может зарабатывать на жизнь с таким уродством?» Слишком поздно он понимает, что она заметила, как он таращится на нее. Снимает головной платок и вскидывает подбородок, глядя прямо на Якоба. На, говорит этот жест, утоляй любопытство!

— Я... — Якоб пристыжен, — пожалуйста, простите мою бестактность, госпожа...

Опасаясь, что она не понимает, он сгибается в глубоком поклоне, выпрямляется, лишь досчитав до пяти.

Женщина повязывает головной платок и переключается на Уильяма Питта. Игнорируя Якоба, зовет обезьяну напевными японскими фразами.

Воришка прижимает к себе ногу, как девочка — сирота —

единственную куклу.

Чтобы показать себя с лучшей стороны, Якоб подходит к гряде ящиков. Запрыгивает на стоящий рядом сундук: «Послушай меня, блохастая тварь...»

Что-то теплое и мокрое бьет по лицу, с запахом ростбифа, стекает по щеке.

В стремлении увернуться от теплой струи, Якоб теряет равновесие...  
...валится с сундука вверх тормашками, приземляется на утопанную землю.

«Унижение, — думает Якоб под утихающую боль от падения, — подразумевает, как минимум, наличие толики гордости...

Женщина привалилась к импровизированной койке Ханзабуро.  
...а во мне не осталось никакой гордости, потому что меня обоссал Уильям Питт».

Она трет глаза и конвульсивно дергается от ее почти беззвучного смеха.

«Анна смеется так же, — думает Якоб. — Анна смеется точно так же». — Извините, — она глубоко вдыхает, а ее губы дрожат. — Простите мою... распутность?

— Бестактность, госпожа, — он идет к ведру с водой. — Слова похожие [\[18\]](#), но значения разные.

— Бестактность, — повторяет она. — В этом нет ничего смешного.  
Якоб умывает лицо, но, чтобы смыть обезьянью мочу с льняной рубашки — не самой лучшей, но и не из плохих, — ее надо сначала снять, а здесь это никак не возможно.

— Вы желаете... — она лезет в карман на рукаве, вытаскивает сложенный веер и кладет его на ящик сахара — сырца, затем достает квадратный кусок бумаги, — ...вытереть лицо?

— Премного благодарен, — Якоб берет бумагу и промокает лоб и щеки.

— Поторгуюемся с обезьяной, — предлагает она. — Предложим ей что-нибудь за ногу.

Якоб находит идею здоровой.  
— Это животное все отдаст за табак.  
— Та — ба — к? — Она радостно хлопает в ладоши. — Есть у вас?  
Якоб протягивает ей кисет с последний яванским листом, который в нем остался.

Она насаживает наживку на метлу и поднимает к тому месту, где угнезвился Уильям Питт.

Обезьяна тянется к кисету, но женщина отводит метлу в сторону, шепчет: «Давай, давай, давай...»

И Уильям Питт отпускает ногу, чтобы обеими руками схватить новую добычу.

Человеческая конечность падает на землю, подпрыгивает и застывает рядом с ногой женщины. Она победоносно улыбается Якобу, оставляет метлу и берет ампутированную голень так же небрежно, как фермер поднял бы репу. Отпиленная кость торчит из окровавленных мышц-ножен, пальцы черны от грязи. Сверху доносится шум: Уильям Питт выскочил с добычей в окошко и на крыши Длинной улицы. «Кисета вам не видать, — говорит женщина. — Сожалею».

— Неважно, госпожа. Вы получили свою ногу. Ну, не вашу ногу...

В переулке Костей выкрикивают вопросы и ответы.

Якоб и женщина отступают друг от друга на несколько шагов.

— Простите меня, госпожа, но... вы служите у куртизанки?

— Кучи-занзи? — Она озадачена. — Что это?

— А... э... — Якоб ищет нужное слово, — ...у блудницы...  
помощница?

Она заворачивает голень в кусок полотна.

— Зачем кобылице помощница?

Охранник появляется в дверном проеме: видит голландца, молодую женщину и украденную ногу. Улыбается и кричит, повернувшись к переулку Костей, и через несколько мгновений появляются другие охранники, инспекторы и чиновники, а с ними — заместитель директора ван Клиф, затем напыщенный дэдзимский полицейский, Косуги, ассистент Маринуса Илатту, в таком же окровавленном, как у женщины, фартуке, Ари Грот и японский торговец с бегающими глазками, несколько студентов и Кон Туоми с плотницким метром, который тут же и спрашивает Якоба на английском: «Чем это от тебя так воняет, а?»

Якоб вспоминает о своем наполовину воссозданном гроссбухе на столе, широко открытом для всеобщего обозрения. Быстрым движением убирает гроссбук, как раз перед прибытием четырех молодых японцев с бритыми головами — учеников врача, и в таких же фартуках, как и у обожженной женщины, которые начинают засыпать ее вопросами. Клерк полагает, что они «семинаристы» <sup>[19]</sup>доктора Маринуса, и вскоре незваные гости позволяют женщине рассказать им историю происшедшего. Она показывает на груди ящиков, где сидел Уильям Питт, а потом на Якоба, который краснеет под взглядами двадцати или тридцати человек, уставившихся на него. Она говорит на японском тихим голосом, держится

уверенно. Клерк ожидает громкого смеха, вызванного подробным описанием окатившей его струи обезьяньей мочи, но женщина, похоже, опускает этот эпизод, и ее рассказ заканчивается одобрительными кивками. Туоми выходит с отрезанной ногой эстонца, чтобы заняться изготовлением деревянного протеза той же длины.

— Я все видел! — Ван Клиф хватается охранника за рукав. — Ты паршивый вор!

Ярко-красные мускатные орехи раскатываются по полу.

— Баерт! Фишер! Выпроводите этих чертовых грабителей из нашего склада! — Заместитель директора размахивает руками, словно загоняя стадо к двери, кричит:

— Вон! Вон! Грот, обыщи любого, кто вызывает подозрения — да, точно так же, как они обыскивают нас! Де Зут, последите за нашим товаром, или он отрастит ноги, на которых и уйдет.

Якоб запрыгивает на ящик — так легче наблюдать за уходящими.

Он видит, как женщина с обожженным лицом выходит на залитую солнцем улицу, помогая хрупкого вида студенту.

Совершенно неожиданно для него она поворачивается и машет ему рукой.

Якоб рад этому тайному знаку внимания и отвечает тем же.

«Нет, — видит он, — она просто закрывает глаза от солнца...»

Зевая, у двери появляется Ханзабуро, несет полный чайник.

«Ты даже не спросил ее имени, — осознает Якоб. — Якоб Дубовый Лоб».

Он замечает, что она оставила сложенный веер на ящике с сахаром — сырцом.

Разъяренный ван Клиф выходит последним, оттолкнув в сторону Ханзабуро, который замирает на пороге с чайником в руках. «Что-то случилось?» — спрашивает Ханзабуро.

К полночи столовая директора полна дымом трубочного табака. Его слуги Купило и Филандер играют «Яблоки Делфта» на виоле да гамба <sup>[20]</sup> и флейте.

— Президент Адамс — наш «сегун», да, господин Гото. — Капитан Лейси смахивает крошки от пирога с усов. — Но он был избран американским народом. В этом и есть смысл демократии.

Пятеро переводчиков осторожно переглядываются. Якоб уже понимает, что это за взгляды.

— Великие властители, et cetera <sup>[21]</sup>, — уточняет Огава Узаемон, —

выбирают президента?

— Не властители, нет, — Лейси ковыряет в зубах. — Граждане. Каждый из нас.

— Даже... — переводчик Гото останавливает взгляд на Коне Туоми, — ...плотники?

— Плотники, пекари, — Лейси рыгает, — и свечных дел мастера.

— Рабы Джефферсона и Вашингтона, — спрашивает Маринус, — тоже голосуют?

— Нет, доктор, — Лейси улыбается. — Также не голосуют быки, пчелы и женщины.

«А стала бы эта младшая гейша, — гадают Якоб, — драться с обезьяной из-за ноги?»

— А если, — спрашивает Гото, — люди делают неправильный выбор и президентом оказывается плохой человек?

— Придут следующие выборы, максимум через четыре года, и мы выгоним его с должности.

— Прежнего президента, — переводчик Хори покраснел от выпитого рома, — казнят?

— Просто выбирают нового, господин Хори, — отвечает Туоми. — Народ решает, кому быть лидером.

— Эта система, конечно же, гораздо лучше, — Лейси протягивает свой стакан Ве, рабу ван Клифа, чтобы тот наполнил его, — чем ждать, пока помрет зажавшийся, глупый или рехнувшийся сегун, чтобы поменять его на нового?

На лицах переводчиков тревога: ни один соглядатай не знает достаточно хорошо голландский, чтобы понять преступные разговоры капитана Лейси, но также нет никакой гарантии, что магистратура не наняла одного из них, чтобы доносить на своих коллег.

— Думаю, демократия, — говорит Гото, — не тот цветок, который распустится в Японии.

— Азиатская земля, — соглашается переводчик Хори, — не подходит для европейских и американских цветов.

— Господин Вашингтон, господин Адамс, — переводчик Ивасе меняет тему, — королевской крови?

— Наша революция, — капитан Лейси щелкает пальцами, чтобы раб Игнатиус принес плевательницу, — в которой и я принимал участие, когда у меня еще не отросло такое брюхо, проводилась для того, чтобы очистить Америку от королевской крови. — Он сплевывает сгусток слизи. — Человек может быть великим лидером — как генерал Вашингтон, — но



разве из этого следует, что его дети унаследуют отцовские качества? Разве от королевского кровосмешения идиоты и ничтожества — можно сказать, достойные «короли Георги» — не рождаются чаще, чем у тех, кто поднимается в мире, пользуясь лишь дарованным Богом талантом? — Он поворачивается к единственному на Дэдзиме тайному подданному британского монарха и шепчет на английском: — Не обижайтесь, господин Туоми.

— Я бы был последним козлом, — громко заявляет Туоми, — если б обиделся.

Купидо и Филандер начинают наигрывать «Семь белых роз моей любви».

Пьяный Баерт падает лицом в тарелку со сладкими бобами.

«Чувствует ли ее ожог, — размышляет Якоб, — прикосновение горячим или холодным или никак не реагирует?»

Маринус берет трость.

— Господа, прошу извинить меня: я оставил Илатту приглядывать за раной эстонца. Без надзора специалиста она не будет заживать должным образом. Господин Ворстенбос, мое почтение... — Он кланяется переводчикам и, прихрамывая, покидает комнату.

— Законы Японии, — на лице капитана Лейси появляется похотливая улыбка, — разрешают полигамию?

— Что это за по-ри — га — ми? — Хори набивает трубку. — Зачем для этого нужно разрешение?

— Объясните, господин де Зут, — просит ван Клиф. — Слова — ваш конек.

— Полигамия — это... — Якоб задумывается. — Один муж — много жен.

— А-а. О-о, — Хори ухмыляется, остальные переводчики кивают. — Полигамия.

— Магометанам разрешается иметь четырех жен, — капитан Лейси подкидывает миндальный орех в воздух и ловит его ртом. — Китайцы могут втиснуть семерых под одну крышу. Скольких японцев может собрать в персональной коллекции, а?

— Во всех странах одинаково, — отвечает Хори. — В Японии, в Голландии, в Китае, все одинаково. Я скажу почему. Все мужчины женятся на первой жене. Он... — Хори демонстрирует неприличный жест, вставляя указательный палец правой в кольцо, образованное большим и указательным пальцами левой, — ... пока она не... — он руками показывает большой живот, имитируя беременность. — Да? После этого

мужчина содержит столько жен, сколько позволяет его кошелек. Капитан Лейси планирует взять дэдзимскую жену на сезон, как господин Сниткер и господин ван Клиф?

— Я бы предпочел, — Лейси обгрызает ноготь большого пальца, — заглядывать в знаменитый район Маруяма.

— Господин Хеммей, — вспоминает переводчик Ионекизу, — приглашал куртизанок на свои пиршества.

— Директор Хеммей, — мрачно говорит Ворстенбос, — ни в чем себе не отказывал за счет Компании, как и господин Сниткер. Сами видите, сегодня мы ужинаем небогато, зато на честно заработанные деньги.

Якоб бросает взгляд на Иво Оста: тот хмурится в ответ.

Баерт поднимает испачканное соусом лицо и восклицает: «Но она же не моя тетя!» — хихикает, как школьница, и падает со стула.

— Я предлагаю тост, — заявляет заместитель директора ван Клиф, — за всех наших отсутствующих дам.

Пьющие и обедающие наполняют друг другу стаканы.

— За всех наших отсутствующих дам!

— Особенно, — Хори ахает, потому что джин обжигает ему пищевод, — за даму господина Огавы. Господин Огава женился в этом году на красивой женщине. — Локоть Хори испачкан муссом из ревеня. — Каждую ночь, — он изображает скачущего всадника, — три, четыре, пять заездов!

Смех оглушительен, но на лице Огавы кислая улыбка.

— Вы попросили голодного, — говорит Герритсзон, — напиться до пуза.

— Господин Герритсзон хочет девушку? — Хори сама любезность. — Мой слуга приведет. Скажите, какую хотите? Толстую? Худую? Тигрицу? Нежную сестру?

— Нам бы всем нежную сестрицу, — жалуется Ари Грот, — но где деньги, а? Можем только заплатить в сиамском борделе за кувырок с нагасакской шлюшкой. Вы уж не обижайтесь, господин Ворстенбос, но Компания могла бы выдавать субсидии на это дело. Взять беднягу Оста: с его официальным жалованьем, немного, знач... женского утешение обойдется ему аккурат в ту сумму, которую он получает за год.

— Воздержание, — отвечает Ворстенбос, — никому не повредит.

— Но, господин директор, вы же понимаете, на какие грехи может пойти голландец с бурлящей кровью, лишенный возможности удовлетворить естественные потребности.

— Скучаете по своей жене, господин Грот? — спрашивает Хори. —

Она дома, в Голландии?

— «Южнее Гибралтара, — цитирует капитан Лейси, — все мужчины становятся холостяками».

— Широта Нагасаки, — указывает Фишер, — конечно же, гораздо севернее Гибралтара.

— Никогда бы не подумал, — говорит Ворстенбос, — что ты женат, Грот.

— Он бы предпочел оставаться холостяком, — объясняет Оувеханд, — коль об этом зашел разговор.

— Мычащая стерва из Западной Фрисландии, — повар облизывает свои коричневые клыки. — Когда я о ней думаю, господин Хори, то молюсь, чтобы Османская империя захватила Западную Фрисландию и увела ее в рабство.

— Если не нравится жена, — спрашивает переводчик Ионекизу, — почему не развестись?

— Легко сказать, трудно сделать, — вздыхает Грот, — в этих так называемых христианских странах.

— Зачем тогда вообще жениться? — Хори выкашливает табачный дым.

— О-о, это длинная и печальная сага, господин Хори, совершенно неинтересная...

— В последний приезд господина Грота домой, — вступает Оувеханд, — он обхаживал одну молоденькую богатую наследницу, которая жила в городском доме в Ромоленстрате [\[22\]](#), и она рассказала ему, что ее больной, не имеющий наследников папаша желает увидеть свою молочную ферму в руках честного и благородного зятя, но везде, ворковала она, ей встречались лишь прохиндеи, прикидывающиеся добропорядочными холостяками. Господин Грот согласился с ней, что в море Романтики полно акул, и пожаловался на предвзятое отношение, с которым приходится стакиваться молодому человеку из колоний: как будто ежегодный доход, который приносят плантации на Суматре — деньги второго сорта по сравнению с заработанными в Голландии! Голубков обвенчали за одну неделю. На следующий день после свадьбы хозяин таверны представил им счет, и они одновременно сказали друг другу: «Оплати счет, сердце мое». Но к их общему ужасу, ни один не мог, потому как и невеста, так и жених потратили свои последние гульдены на ухаживания друг за другом! Плантации господина Грота испарились; дом в Ромоленстрате служил силком; больной тесть оказался разносчиком пива, и очень даже здоровым, и при этом с наследниками, но зато без волос, и...

Рассказ прерывает отрывок Лейси: «Прощенья просим, это яйца с пряностями».

— Заместитель директора ван Клиф? — Гото в тревоге. — Османцы вторглись в Голландию? Этой новости нет в последнем отчете фусецуки...

— Господин Грот... — ван Клиф стряхивает крошки с салфетки, — выражался образно.

— «Образно»? — Самый усердный молодой переводчик хмурится и моргает глазами. — «Образно»...

Купидо и Филандер начинают играть «Тихий воздух» Боккерини.

— Становится грустно, — в размышлении произносит Ворстенбос, — когда начинаешь думать, что эти комнаты навсегда опустеют, если Эдо не разрешит увеличить медную квоту.

Ионекизу и Хори изображают скорбь; лица Гото и Огавы остаются безразличными.

Большинство голландцев уже спросили Якоба: а не блеф ли этот необычный ультиматум? Он отвечал каждому, что с этим вопросом надо обращаться к директору, зная, что никто не осмелится на подобное. После того как в прошлом сезоне «Октавия» затонула вместе с грузом, многие могут вернуться в Батавию более бедными, чем до отплытия в Нагасаки.

— Что за странная женщина, — вопрошает ван Клиф, выжимая лимон в стакан из венецианского стекла, — появилась на складе «Колючка»?

— Госпожа Аибагава, — отвечает Гото, — дочка врача и сама изучает медицину.

«Аибагава, — Якоб растягивает каждый слог. — А-и-ба-га-ва».

— Магистрат разрешил ей, — говорит Ивасе, — учиться у голландского доктора.

«А я назвал ее помощницей блудницы», — вспоминает Якоб, и его передергивает.

— Как спокойно вела себя эта странная Локуста, — говорит Фишер, — во время операции.

— Прекрасный пол, — изрекает Якоб, — может продемонстрировать не меньшую выдержку, чем непрекрасный.

— Господин де Зут должен издать в печати, — пруссак ковыряет в носу, — свои блестящие изречения.

— Госпожа Аибагава, — вносит свою лепту Огава, — акушерка. Она привыкла к виду крови.

— Но, насколько мне ведомо, — говорит Ворстенбос, — женщине запрещено ступать на Дэдзиму, если только она не куртизанка, не ее служанка или не закадычная подруга кого-то в гильдии.

— Запрещается, — негодуяще подтверждает Ионекизу. — Не было прецедента. Никогда.

— Госпожа Аибагава, — продолжает Огава, — очень хорошая акушерка, принимает роды и у богатых, и у бедных, кто не может платить. Недавно она помогла родиться сыну магистрата Широямы. Роды были тяжелые, и другой доктор отказался их принимать, но она не отступилась, и женщина благополучно разрешилась от бремени. Магистрат на радостях согласился выполнить одно желание госпожи Аибагавы. Она пожелала учиться у доктора Маринуса на Дэдзиме. Магистрат выполнил обещание.

— Женщина учится в больнице, — восклицает Ионекизу. — Это не к добру.

— Крови не испугалась, — вспоминает Кон Туоми, — говорила на хорошем голландском с доктором Маринусом и погналась за обезьяной, когда студенты-мужчины выглядели так, будто сейчас упадут в обморок.

«Я бы задал дюжину вопросов, — думает Якоб, — если б осмелился: дюжину дюжин».

— Разве женщина, — спрашивает Оувеханд, — не возбуждает мужчин, оказавшись в их компании?

— Не с таким куском бекона, — Фишер осушает стакан с джином, — прилипшим к ее лицу.

— Как грубо, господин Фишер, — говорит Якоб. — Вам должно быть стыдно за такие слова.

— Нельзя же притворяться, будто кожа у нее на лице чистая и гладкая, де Зут! В моем родном городе мы называли таких «поводырккой», потому что, конечно же, только слепец может дотронуться до нее.

Якоб представляет себе, как ломает челюсть пруссаку делфтским кувшином.

Свеча мерцает, воск стекает по подсвечнику; капли застывают.

— Я уверен, — говорит Огава, — придет день, когда госпожа Аибагава выйдет замуж и обретет счастливую семью.

— Какое самое верное средство от любви? — спрашивает Грот. — Женитьба, разумеется.

Мотылек влетает в пламя свечи, падает на стол, бьются крылышки.

— Бедный Икар, — Оувеханд давит мотылька кружкой. — Так он ничего и не понял.

Ночные насекомые трещат, скрипят, тикают, сверлят, звенят, пилят, жалят.

Ханзабуро храпит в крошечной нише за дверью Якоба.

Якоб лежит без сна, завернутый в простыню, под сетчатым пологом.  
Аи — открывается рот, ба-встречаются губы, га-кончиком языка, ва-  
губами.

Он вновь и вновь вспоминает сегодняшнее происшествие.

Он корчится, кляня себя за то, что предстал перед нею хамом, и переписывает сцену заново.

Открывает веер, оставленный ею на складе «Колючка». Обмахивается им.

Бумага — белая. Ручка и распорки из адамова дерева.

Ночной сторож стучит деревянной колотушкой, отбивая японский час.

Разбухшая луна в клетке его наполовину японского, наполовину голландского окна...

...стеклянные панели растапливают лунный свет; бумажные — фильтруют его, выбеливают пыль.

Скоро рассвет. Бухгалтерские книги 1796 года ожидают его на складе «Колючка».

«Это же дорогая Анна, которую я люблю, — повторяет Якоб, — и я, которого любит Анна».

Он потеет, и без того покрытый потом. Простыни мокрые насквозь.

«Госпожу Аибагаву нельзя представлять себе, как ту женщину... — Якобу кажется, что он слышит звуки клавесина. — ...за которой он следил через замочную скважину в доме, такое выпадает лишь раз в жизни...»

Звуки неторопливы, воздушны и отражаются от стекла.

Якоб точно слышит звуки клавесина: это играет доктор на своем длинном чердаке.

Благодаря ночной тишине и чистоте воздуха Якоб удостоивается счастья и чести слушать его музицирование: обычно Маринус отвергает все просьбы сыграть что-нибудь, даже для коллег — врачей и высокородных гостей.

От музыки возникает острая тоска, которую сама же музыка и успокаивает.

«Как может такой сухарь, — удивляется Якоб, — играть так божественно?»

Ночные насекомые трещат, скрипят, тикают, сверлят, звенят, пилят, жалят...

## Глава 6. КОМНАТА ЯКОБА В ВЫСОКОМ ДОМЕ НА ДЭДЗИМЕ

*Очень раннее утро  
10 августа 1799 г.*

Свет обтекает оконные переплеты: Якоб наблюдает, как архипелаг пятен плывет по низкому деревянному потолку. Слышны голоса: снаружи рабы д'Орсаи и Игнатиус болтают друг с другом, кормя животных. Якоб вспоминает празднование дня рождения Анны за несколько дней до его отплытия. Ее отец пригласил полдюжины весьма достойных неженатых молодых людей и устроил в честь дочери роскошный ужин, приготовленный так искусно, что курица вкусом напоминала рыбу, а рыба — курицу. Он поднял ироничный тост: за удачу Якоба де Зута, принца — купца Индии. Анна вознаградила терпение Якоба улыбкой: ее пальцы гладили ожерелье из шведского белого янтаря, привезенное им из Гетеборга.

На далеком краю Земли Якоб вздыхает от тоски и печали.

Неожиданно голос Ханзабуро зовет его: «Господин Дазуто чой-то хочет?»

— Ничего, нет. Слишком рано, Ханзабуро: спи дальше, — Якоб имитирует храп.

— Свинья? Хотеть свинья? А — а-а, сурипу! Да... да, мне нравится сурипу...

Якоб встает, пьет из треснутой кружки и взбивает мыльную пену.

В испещренном крапинками зеркале он видит зеленые глаза на веснушчатом лице.

Тупое лезвие дерет щетину и режет кожу в ямочке на подбородке.

Красная, как тюльпан, струйка крови сочится, смешивается с мылом, и пена розовеет.

Якоб раздумывает: может, борода избавит его от всех этих хлопот...

...но вспоминает вердикт своей сестры Герти, когда он вернулся из Англии, отрастив усы: «О-о, повози их в копоты от лампы, братец, и начинай чистить ими нашу обувь!»

Он касается своего носа, недавно сломанного бесчестным Сниткером.

Шрам у уха: напоминание о псе, укусившем его.

«Бреясь, — думает Якоб, — человек перечитывает свои самые честные

мемуары».

Проведя пальцем по губам, он вспоминает утро отплытия. Анна убедила отца отвезти их в карете в роттердамский порт. «Три минуты, — сказал он Якобу, вылезая из кареты, чтобы поговорить со старшим клерком, — и ни секундой больше». Анна знала, что сказать: «Пять лет — срок немалый, но большинство женщин ждут всю жизнь, пока не найдут себе доброго и честного мужчину. — Якоб хотел ответить, но она остановила его. — Я знаю, как ведут себя мужчины там, за морями, и, возможно, так они должны вести себя... молчи, Якоб де Зут... поэтому я прошу только одного: будь осторожен на Яве, чтобы твое сердце принадлежало только мне. Я не дам тебе ни кольцо, ни медальон, потому что кольца и медальоны теряются, но это, по крайней мере, не потеряется никогда».

И Анна поцеловала его — в первый и последний раз. Долгим и печальным поцелуем. Потом они смотрели на дождевую воду, стекающую по окнам, на корабли и серо-серое море, пока не прошли три минуты.

Бритье Якоба закончено. Он умывается, одевается и протирает яблоко. «Госпожа Аибагава, — он надкусывает фрукт, — студентка, а не куртизанка...»

Из окна он наблюдает, как д'Орсаи поливает водой побеги бобов. «...тайные встречи, тайные романтические увлечения здесь невозможны».

Он съедает сердцевину яблока и сплевывает косточки на ладонь. «Я просто хочу поговорить с ней, — уверяет себя Якоб, — узнать ее чуть лучше».

Он снимает цепочку с шеи и открывает ключом замок своего матросского сундука.

«Дружба между противоположными полами возможна, как у меня с сестрой».

Назойливая муха жужжит над его мочой в горшке. Он заглядывает в сундук и глубоко на дне, почти рядом с Псалтырем, находит перевязанные ноты.

Якоб развязывает ленты и проглядывает первый нотный лист. Нотные знаки развешаны, как виноградные грозди на шпалерах. Экскурсия Якоба по миру нот заканчивается на «Гимне реформистской церкви».

«Возможно, — думает он, — именно сегодня мне удастся наладить отношения с доктором Маринусом».

Якоб отправляется в короткую прогулку по Дэдзиме, где все прогулки



— короткие, чтобы отшлифовать свой план и тщательно проработать сценарий. Чайки и вороны ссорятся друг с другом на коньке крыши Садового дома.

Кремовые розы и красные лилии в саду уже увядают.

У Сухопутных ворот провиантмейстеры выгружают хлеб.

На Флаговой площади Петер Фишер сидит на ступеньках Сторожевой башни. «Потеряете час утром, клерк де Зут, — выговаривает ему пруссак, — и будете искать его весь день».

В окошке верхнего этажа дома ван Клифа последняя «жена» заместителя директора расчесывает волосы.

Она улыбается Якобу. Рядом с нею появляется Мельхиор ван Клиф с волосатой, как у медведя, грудью. «Не обмакни, — цитирует он, — свое перо в чернильницу другого мужчины».

Заместитель директора опускает шторку, прежде чем Якоб успевает заявить о своей полной невинности.

Рядом с Гильдией переводчиков сидят в тени носильщики паланкинов. Их взгляды неотрывно следуют за рыжеволосым иноземцем.

Уильям Питт оседлал Морскую стену и глазеет на напоминающие китовые ребра облака.

Возле Кухни Ари Грот говорит Якобу: «В вашей бамбуковой шляпе вы чисто китаец, господин де З. Не решили еще...»

— Нет, — обрывает его клерк и уходит.

Полицейский Косуги кивает Якобу из своего маленького домика на аллее Морской стены.

Рабы Игнатиус и Ве доят коз и жарко спорят о чем-то друг с другом на малайском.

Иво Ост и Вибо Герритсзон молча перекидываются мячом.

— Гав-гав, — говорит один из них, когда Якоб проходит мимо: он делает вид, будто ничего не услышал.

Кон Туоми и Понк Оувеханд курят трубки под соснами.

— Кто-то высокородный, — ворчит Оувеханд, — умер в Мияко, так что плотницкие работы и музыка запрещены на два дня. Ничего нельзя делать, и не только здесь — по всей империи. Ван Клиф клянется, что это заговор, цель которого — затянуть строительство склада «Лилия» на максимально долгий срок, чтобы нам пришлось продавать еще дешевле...

«Я не шлифую свой план, — признается себе Якоб, — а только понапрасну нервничаю...»

В операционной на большом столе с закрытыми глазами лежит доктор

Маринус. Бубнит себе под нос какую-то барочную мелодию.

Илатту кисточкой смазывает нижнюю челюсть учителя пахучим маслом и каким-то женским кремом.

Пар поднимается от кувшина с водой; огонь отражается от острого лезвия бритвы.

На полу тукан склевывает бобы из оловянной миски.

Сливы горкой высятся в терракотовой миске — цвета чуть затуманенной синевы.

Илатту оповещает малайским бормотанием о прибытии Якоба, и Маринус открывает один недовольный глаз.

— Чего?

— Мне хочется посоветоваться с вами о... об одном деле.

— Продолжай бритье, Илатту. Советуйтесь, Домбуржец.

— Я бы предпочел наедине, доктор, как...

— Илатту — это и есть наедине. В нашем крохотном уголке Мироздания его знания анатомии и патологии уступают только моим. Разве что вы не доверяете тукану?

— Ну, тогда... — Якоб понимает, что ему придется рассчитывать на молчание ассистента так же, как молчание Маринуса. — Меня немного заинтересовал один из ваших учеников...

— Какое вам дело, — открывается другой глаз, — до госпожи Аибагавы?

Якоб смотрит в пол:

— Никакого. Я просто... хотел поговорить с ней...

— Тогда почему вы здесь и говорите со мной?

— ...поговорить с ней без десятка соглядатаев, следящих за нами.

— Так. Так. Так. То есть вы хотите, чтобы я устроил вам тайное свидание?

— Вы намекаете на какую-то интригу, доктор, а на самом деле...

— Ответ: «Никогда». Первая причина: госпожа Аибагава — не продажная Ева для снятия зуда от вашей адамовой чесотки, а дочь джентльмена. Вторая причина: даже если бы госпожа Аибагава согласилась пойти в дэдзимские «жены», а на это она никогда...

— Я знаю, доктор, и, клянусь честью, пришел сюда не...

— ...не согласится, то шпионы доложили бы об этой связи через полчаса, после чего мое, с таким трудом полученное разрешение обучать, собирать экспонаты и проводить исследования здесь, в Нагасаки, будет отозвано. Так что проваливайте. Опорожняйте яйца *comme a la mode* [\[23\]](#): через деревенских сводников или предаваясь греху Онана.

Тукан стучит клювом по оловянной миске и произносит: «Гр-рубый!» — или что-то похожее.

— Господин Маринус, — Якоб краснеет, — вы, к сожалению, неправильно истолковали мои намерения. Я никогда бы...

— На самом-то деле, похоть вызывает у вас даже не сама госпожа Аибагава. Вы теряете голову от одного только вида «восточной женщины». Да-да, загадочные глаза, камелии в волосах, то, что вы принимаете за кротость. Я повидал не одну сотню одурманенных белокожих мужчин, погружающихся в эту же самую сладостную пучину.

— Но в моем случае вы не правы, доктор. У меня нет...

— Естественно, я не прав. Домбуржец обожает свою Жемчужину Востока лишь как благородный рыцарь: приходит на помощь обезображенной деве, отвергнутой ее соотечественниками! Славный Рыцарь Запада, единственный, кто пришел в восторг от ее внутренней красоты!

— Доброго дня, — Якоб более не в силах выдерживать это словесное бичевание. — Доброго вам дня.

— Уходите так скоро? Даже не предложив взятки, которая у вас под мышкой?

— Это не взятка, — полуложь, — а подарок из Батавии. Я надеялся, — теперь понимаю, что глупо и напрасно, — завязать дружеские отношения со знаменитым доктором Маринусом, и потому Хендрик Звардекрон из Батавского общества порекомендовал мне привезти вам ноты. Но, как я сейчас вижу, невежественный клерк недостоин вашего августейшего внимания. Я более не побеспокою вас.

Маринус пристально смотрит на Якоба.

— Что это за подарок, если даритель не предлагает его, пока ему что-то не понадобится от одариваемого?

— Я пытался отдать его вам при нашей первой встрече. Вы захлопнули крышку люка перед моим носом.

Илатту обмакивает лезвие в воду и протирает его клочком бумаги.

— Вспыльчивость, — признается доктор, — иной раз берет верх надо мной. А кто... — Маринус нацеливает палец на нотную папку, — ...композитор?

Якоб читает заглавие: «Шедевры Доменико Скарлатти для клавесина или фортепиано, избранное из коллекции манускриптов, собранной Муцио Клементи... Лондон, которые можно приобрести у господина Броудвуда, изготовителя клавесинов, на Грэйт-Палтни-стрит, Голден-сквер».

Кричит дэдзимский петух. Громкий топот доносится с Длинной улицы.

— Доменико Скарлатти, да? Долгий он прошел путь, чтобы попасть сюда.

Безразличие Маринуса, подозревает Якоб, слишком нарочитое, чтобы быть искренним.

— Теперь ему предстоит не менее долгий обратный путь, — Якоб поворачивается к двери. — Не смею больше вас тревожить.

— О-о, подождите, Домбуржец. Дуться вам не к лицу. Госпожа Аибагава...

— Не куртизанка, я знаю. Не представляю ее себе такой. — Якоба так и подмывает рассказать Маринусу об Анне, но он не доверяет доктору до такой степени, чтобы открыть ему свое сердце.

— А какой, — спрашивает Маринус, — вы ее себе представляете?

— Как... — Якоб ищет подходящее сравнение. — Как книгу, обложка которой завораживает и очень хочется посмотреть страницы. Ничего более.

Сквозняк распахивает скрипучую дверь лазарета.

— Тогда позвольте сделать вам предложение: вернитесь сюда к трем часам, и у вас будет двадцать минут в лазарете на знакомство со страницами, которые госпожа Аибагава соблаговолит вам показать, — но дверь при этом останется открытой все время, и как только вы выкажете хоть на йоту меньше уважения, чем выказали бы своей сестре, Домбуржец, мой гнев будет вселенским.

— Тридцать секунд встречи за каждую сонату... слишком уж дешево.

— Тогда вам и вашему подарку известно, где находится дверь.

— Сделка не состоялась. Доброго вам дня, — Якоб выходит и щурится от поднимающегося к зениту солнца.

Он идет по Длинной улице к Садовому дому, останавливается и ждет, стоя в тени.

В это жаркое утро цикады стрекочут очень уж громко и пронзительно.

Под соснами сменяются Туоми и Оувеханд.

«Дорогой Иисус, — думает Якоб, — как же мне здесь одиноко!»

Илатту не послан ему вслед. Якоб сам возвращается в больницу.

— Ну что же, по рукам. — Бритье Маринуса закончено. — Но мы должны обдурить шпиона. Моя лекция после обеда будет о человеческом дыхании, и я предполагаю наглядно иллюстрировать свои слова. Я попрошу Ворстенбоса прислать вас в качестве демонстратора.

Якоб слышит собственный голос: «Согласен».

— Поздравляю, — Маринус вытирает руки. — Маэстро Скарлатти, если позволите?

— Но вознаграждение выплачивается по исполнению.

— О? Моего слова джентльмена недостаточно?

— Буду у вас без пятнадцати три, доктор.

Фишер и Оувеханд замолкают, как только Якоб входит в бухгалтерию.

— Приятно и прохладно, — говорит вошедший, — здесь, по крайней мере.

— А по мне, — Оувеханд поворачивается к Фишеру, — жарко и муторно.

Фишер фыркает, как конь, и удаляется к своему столу, самому большому.

Якоб, надев очки, оглядывает полку, где должны лежать гроссбухи последнего десятилетия.

Только вчера он вернул туда тома с записями, начиная с 1793 года и заканчивая 1798-м, а теперь их там нет.

Якоб смотрит на Оувеханда; Оувеханд мотает головой в сторону сгорбившейся спины Фишера.

— Вы не знаете, где находятся тома с девяносто третьего по девяносто восьмой годы, господин Фишер?

— Я знаю, где что находится в моем кабинете.

— Тогда соблаговолите сказать, где найти гроссбухи с девяносто третьего по девяносто восьмой годы?

— Зачем они вам понадобились... — Фишер оглядывает кабинет, — конкретно?

— Чтобы продолжить работу, порученную мне директором Ворстенбосом.

Оувеханд нервно бубнит себе под нос мелодию какой-то веселенькой песенки.

— Ошибки, — Фишер выделяет каждое слово, — здесь, — пруссак с грохотом кладет перед собой кучу книг, — случаются не потому, что мы обманывали Компанию, — он запинается, — а потому, что Сниткер запретил нам вести точные записи.

Дальнозоркий Якоб снимает очки, и лицо Фишера чуть расплывается.

— Кто обвинил вас в обмане Компании, господин Фишер?

— Мне надоело... вы слышите? Надоело! Это нескончаемое следствие!

Сонные волны мерно бьются о Морскую стену.

— Почему директор, — спрашивает Фишер, — не поручил мне восстановить бухгалтерские книги?

— Но это же логично: назначить проверяющим человека, никак не

связанного с правлением Сниткера.

— Значит, я тоже вор? — ноздри Фишера раздуваются. — Признайтесь! Вы копаете под нас всех! Только попробуйте это отрицать!

— Директор хочет только одного, — отвечает Якоб. — Достоверности.

— Моя логика, — кричит Фишер, угрожающе тыча указательным пальцем в сторону Якоба, — уничтожит вашу ложь! Берегитесь, в Суринаме я застрелил больше чернокожих, чем клерк де Зут сможет сосчитать на своем абаке. Нападете на меня, и я раздавлю вас, как таракана.

Вот так. — Вспыльчивый пруссак передает гору гроссбухов в руки Якоба. — Вынюхивайте, ищите «ошибки». Я иду к господину ван Клифу, чтобы обсудить... увеличение прибыли для Компании в этом торговом сезоне!

Фишер нахлобучивает шляпу и уходит, хлопнув дверью.

— Это комплимент, — говорит Оувеханд. — Вы заставили его занервничать.

«Я лишь хочу исполнить свой долг», — думает Якоб.

— Занервничать из-за чего?

— Из-за десяти дюжин ящиков, помеченных «Камфора из Кумамото», отгруженных в девяносто шестом и девяносто седьмом годах.

— В них перевозили совсем не камфору из Кумамото?

— Камфору, но на четырнадцатой странице наших книг указаны двенадцатифунтовые ящики, а в японских книгах, как скажет вам Огава, записано тридцатидесятифунтовые, — Оувеханд идет к кувшину с водой. — В Батавии, — продолжает он, — некий Иоханнес ван дер Брок, таможенник, продает излишек. Зять члена совета Ост-Индской компании ван дер Брока. Легко и изящно. Воды?

— Да, пожалуйста. — Якоб пьет. — И вы рассказываете мне об этом, потому что...

— Инстинкт самосохранения, ничего больше. Господин Ворстенбос здесь на пять лет, да?

— Да, — Якоб врет, потому что должен. — И я отработаю с ним свой контракт.

Жирная муха неторопливо выписывает овал сквозь свет и тени.

— Когда Фишер прозреет и сообразит, что обхаживать и умамливать надо Ворстенбоса, а не ван Клифа, он вонзит нож в мою спину.

— И каким ножом, — Якоб уже знает следующий вопрос, — он сможет это сделать?

— Можете ли вы обещать, — Оувеханд чешет шею, — что со мной не поступят, как со Сниткером?

— Обещаю, — у власти неприятный привкус, — заверить господина Ворстенбоса, что Понк Оувеханд помогал, а не скрывал.

Оувеханд обдумывает слова Якоба.

— В прошлом году в записях частной торговли указано, что я привез пятьдесят рулонов индийского ситца. Записи с японской стороны покажут при этом продажу мной ста пятидесяти рулонов. С разницы капитан «Октавии» Хофстра взял половину, хотя, конечно же, доказать я не могу, да и он тоже: упокой Господь его утонувшую душу.

— Вы помощник, — жирная муха приземляется на пресс-папье Якоба, — а не укрыватель, господин Оувеханд.

Студенты доктора Маринуса прибывают ровно в три.

Дверь лазарета приоткрыта, но Якобу не видно, что происходит в операционной.

Четыре мужских голоса хором: «Добрый день, доктор Маринус».

— Сегодня, семинаристы, — говорит Маринус, — у нас практическое занятие. Пока Илатту и я подготовимся к нему, каждый из вас прочитает разные тексты на голландском и переведет их на японский. Мой друг, доктор Маено, согласился проверить ваши записи в конце недели. Тексты будут очень близки вашим интересам: господину Мурамото, нашему главному костоправу, я предлагаю «*Tabulae sceleti et musculorum corporis humani*» <sup>[24]</sup>Альбинуса; господину Кадзиваки — материал о раковом заболевании Жан-Луи Пети, в честь которого часть тела названа «треугольником Пети». Что это и в каком месте?

— Углубление в мышцах на спине, доктор.

— Господин Яно, вам достается доктор Олаф Акрель, мой учитель в Упсале; его статья о катаракте, которую я перевел со шведского. Господину Икемацу — страница из «Хирургии» Лоренца Хайстера о нарушениях кожного покрова, и госпожа Аибагава займется превосходным доктором Смелли. Этот отрывок весьма сложен. В лазарете вас ожидает доброволец для сегодняшней демонстрации, который также сможет помочь вам с переводом, объяснив значения некоторых слов на голландском... — Большая голова Маринуса появляется в дверном проеме.

— Домбуржец! Я представляю вам госпожу Аибагаву и предупреждаю: *orate ne intretis in tentationem* <sup>[25]</sup>.

Госпожа Аибагава узнает рыжеволосого зеленоглазого иностранца.

— Добрый день, — в горле пересыхает, — госпожа Аибагава.

— Добрый день, — звонкий голос, — господин... Дом-буггер?

— Домбуржец... это доктор шутит. Моя фамилия де Зут.  
Она опускает доску для записей: подставку с ножками.  
— Дом — бужжец — это смешная шутка?  
— Доктор Маринус полагает, что да: я родом из города, который называется Домбург.  
— М-м-м... — на ее лице читается неуверенность. — Господин де Зут болен?  
— О-о... надо сказать... немного, да. У меня болит... — он похлопывает себя по животу.  
— Стул как вода? — Акушерка берет ситуацию под контроль. — Плохо пахнет?  
— Нет, — Якоб удивлен ее естественностью. — Боль в моем... да, в моей печени.  
— В вашей... — она тщательно выговаривает букву «п», — ...печени?  
— Именно так: меня донимает печень. Полагаю, у госпожи Аибагавы все хорошо?  
— Да, я в порядке. Надеюсь, и у вашего друга — обезьяны тоже все хорошо?  
— Моего... а-а, Уильям Питт? Мой друг — обезьяна... ну, его больше нет.  
— Извините, не понимаю. Обезьяна... как это, больше нет?  
— Больше нет в живых. Я... — Якоб показывает, как он сворачивает куриную шею, — ...убил негодяя, видите ли, высушил его шкуру и сделал из нее новый табачный кисет.  
В ужасе ее рот и глаза широко открываются.  
Если бы у Якоба был пистоль, он бы тут же застрелился.  
— Я шучу, госпожа! Обезьяна всем довольна и радуется жизни, где-то болтается... ворует...  
— Исправьте, господин Мурамото, — из операционной долетает голос Маринуса. — Сначала выпаривают подкожный жир и лишь потом вводят в вену цветной воск...  
— Может... — Якоб проклиная свою неудачную шутку, — мы откроем ваш текст?  
Она размышляет, как они смогли бы это сделать, сохраняя дистанцию.  
— Госпожа Аибагава может сесть там, — он показывает на конец больничной кровати. — Читайте текст вслух, и, если встретится трудное слово, мы его обсудим.  
Кивком головы она соглашается с предложенным вариантом, садится и начинает читать.



Куртизанка ван Клифа разговаривает пронзительно высоким голосом, похоже, воспринимаемым здесь, как женственный, а голос, которым читает госпожа Аибагава, низкий, тихий, успокаивающий. Якоб рад возможности изучить ее частично обожженное лицо и четко очерченные губы.

— «Вскоре после сего пр-роис-шествия...» — она прерывает чтение. — Что это, пожалуйста?

— Происшествие — это э-э... случай или событие.

— Благодарю вас. «... сего происшествия, консультируясь с Рюйшем обо всем, что он предписывал касательно женщин... я нашел, что он находит неприемлемым преждевременную экстракцию плаценты, и его авторитет подтвердил мнение, ранее высказанное мною... и воодушевил меня на продолжение более естественным способом. Когда я отсек пуповину... и отделил ребенка... я ввел палец во влагалище...»

За всю жизнь Якоб никогда не слышал подобных слов, сказанных вслух.

Она чувствует его потрясение и смотрит на него, охваченная тревогой.

— Я ошиблась?

«Доктор Лукас Маринус, — думает Якоб, — вы садист и монстр».

— Нет, — отвечает он.

Нахмурившись, она продолжает:

— «...чтобы почувствовать, достигла ли плацента os uteri <sup>[26]</sup>, ощутив ее... я уверен, что она выйдет сама в любом случае... пережидая какое-то время, и, обычно, через десять, пятнадцать или двадцать минут... женщина начинает испытывать послеродовые схватки... с которыми плацента постепенно отделяется и покидает тело... при легком вытягивании за пуповину, она перемещается во... — она бросает короткий взгляд на Якоба — ...влагалище. Затем, по-прежнему держась за пуповину, я вывожу ее через... os externum <sup>[27]</sup>». Вот, — она отрывает глаза от текста. — Я закончила чтение. Печень доставляет вам сильную боль?

— Язык доктора Смелли, — Якоб сглатывает слюну, — довольно-таки... прямой.

Она говорит:

— Голландский для меня — иностранный язык. Слова не имеют той же силы, запаха, вкуса. Акушерка — это мое... — она хмурится, — прозвание или призвание... как правильно?

— Рискну предположить, призвание, госпожа Аибагава.

— Акушерка — это мое призвание. Акушерка, которая боится крови, помочь не может.

— Дистальная фаланга, — доносится голос Маринуса, — средняя и проксимальная фаланги...

— Двадцать лет тому назад, — Якоб решает рассказать ей, — когда родилась моя сестра, акушерка не смогла остановить кровотечение у моей матери. Мне поручили греть воду на кухне. — Он боится наскучить ей, но госпожа Аибагава смотрит на него со спокойным вниманием. — «Ах, если я нагрею достаточно воды, — думал я, — моя мать выживет». Я ошибался, к сожалению, — теперь хмурится Якоб, не понимая, почему он заговорил о столь личном.

Большая оса садится на широкое изножье койки.

Госпожа Аибагава достает из рукава кимоно квадратный листок бумаги. Якоб знает, что на Востоке верят в путешествие души от клопа до святого, и ожидает, что она взмахами бумаги выгонит осу в высокое окно. Вместо этого она давит ее листком, скатывает небольшой шарик и, точно прицелившись, выбрасывает бумагу в окно.

— У вашей сестры тоже рыжие волосы и зеленые глаза?

— Ее волосы еще рыжее, к великому смущению нашего дяди.

Еще одно новое слово для нее:

— «Сму-ще-нию»?

«Позже не забудь спросить Огаву об этом слове на японском, — говорит он себе. — Смущение или стыд».

— Почему дяде стыдно из-за того, что у сестры рыжие волосы?

— Согласно верованиям простых людей... или суевериям... вы понимаете?

— Мейшин — на японском. Доктор называет это «враг здравого смысла».

— Согласно суевериям... в общем, у Иезавелей... это женщины легкого поведения, то есть проститутки... считается, что у них, так их описывают, рыжие волосы.

— Легкого поведения? Проститутки? Как куртизанка и помощница блудницы?

— Простите меня за это, — в ушах Якоба шумит стыд. — Теперь смущен я.

Ее улыбка и ранит, и лечит.

— Сестра господина де Зута — честная девушка?

— Герти... очень дорога мне как сестра. Она добрая, терпеливая и смышленная.

— Пястные кости, — вещает доктор. — А эта хитрая косточка...

— У госпожи Аибагава, — Якоб решает на вопрос, — большая

семья?

— Семья была большая, теперь маленькая. Отец, новая жена отца, сын новой жены отца, — она замолкает. — Мать, братья и сестры умерли от холеры. Давным-давно. Многие тогда умерли. Не только моя семья. Многие, многие пострадали.

— Но ваше призвание — акушерство, я имею в виду... это же... искусство дарить жизнь.

Прядь черных волос выбивается из-под головного платка: Якобу хочется коснуться ее.

— В прежние дни, — говорит госпожа Аибагава, — много лет тому назад, раньше, когда еще не построили большие мосты через большие реки, путники часто тонули. Люди говорили: «Они умирают, потому что бог реки сердится». Люди не говорили: «Они умирают, потому что большие мосты еще не придуманы». Никто не говорит: «Люди умирают, потому что мы слишком невежественные». Но в один день наши умные предки присмотрелись к паутине и сплели мосты из лозы. Или увидели сваленные деревья, лежащие над быстрой рекой, и построили каменные острова на широких реках, и соединили один остров с другим. Теперь везде такие мосты. Люди больше не тонут в опасных реках или тонут гораздо реже. Пока вы понимаете мой плохой голландский?

— Прекрасно, — заверяет ее Якоб. — Каждое слово.

— Ныне в Японии, когда мать или младенец, или мать и младенец умирают при родах, люди говорят: «А-а... они умерли, потому что так решили боги». Или: «Они умерли, потому что плохая карма». Или: «Они умерли, потому что о-мамори — магия из храма — слишком дешевая». Господин де Зут понимает — это так же, как с мостами. Настоящая причина многих, многих смертей — от невежества. Я бы хотела построить мост от невежества... — ее руки изображают мост, — ...к знанию. Это, — она с большим почтением поднимает лист с текстом доктора Смелли, — часть моста. Когда-нибудь я овладею этим знанием... организую школу... появятся студенты, которые научат других студентов... и в будущем в Японии меньше матерей будут умирать от невежества. — Ее глаза сверкают, мысленным взором она видит осуществление своей мечты, но через мгновение уже смотрит в пол. — Глупый план.

— Нет-нет-нет! Я не могу представить себе более благородных стремлений.

— Извините, — она хмурится. — Что такое «благородные ремления»?

— Стремления, госпожа, планы, я хотел сказать. Цель в жизни.

— А-а, — белая бабочка садится ей на руку. — Цель в жизни.

Она сдувает бабочку, которая улетает к бронзовому подсвечнику на полке.

Складывает и расправляет крылья, складывает и расправляет.

— Называется монширо, — говорит она, — на японском.

— В Зеландии мы называем такую же бабочку белой капустницей.

Мой дядя...

— Жизнь коротка, искусство вечно. — Доктор Маринус врывается в лазарет хромой седовласой кометой. — Случай мимолетен, опыт... ну, госпожа Аибагава? Закончите первый афоризм Гиппократа?

— «Опыт обманчив, — она встает и кланяется, — а суждение — трудно».

— Все сущая правда, — он подзывает к себе остальных студентов, которых Якоб с трудом узнает, припоминая склад «Колючка». — Домбуржец, посмотрите на моих семинаристов: господин Мурамото из Эдо, — кланяется самый старший и самый серьезный из них. — Господин Кадзиваки, посланный двором Чошу из Хаги. — Улыбающийся хрупкий юноша склоняется в поклоне. — Следующий — господин Яно из Осаки. — Яно неотрывно смотрит в зеленые глаза Якоба. — И последний — господин Икемацу, уроженец Сацумы. — Икемацу, со следами на лице от перенесенного в детстве скрофулеза, приветливо кланяется. — Семинаристы, Домбуржец — наш сегодняшний бравый доброволец. Пожалуйста, поприветствуйте его.

Произнесенное хором: «Добрый день, Домбуржец», — заполняет белоснежный лазарет.

Якоб никак не может поверить, что предоставленное ему время пролетело так быстро.

Маринус демонстрирует семинаристам металлический цилиндр длиной восемь дюймов. С одной стороны — ручка поршня, а с другой — наконечник.

— Это что, господин Мурамото?

Самый старший отвечает:

— Этот инструмент называется клистир, доктор.

— Клистир, — Маринус крепко хватает Якоба за плечо. — Господин Кадзиваки, для чего он служит?

— Его вставляют в прямую кишку и вложат... нет, влезут... нет, ааа нан'даттака? В... в...

— ...вводят, — подсказывает Икемацу театральным шепотом.

— ...вводят через него лекарство от запора или боли в животе, или от других заболеваний.

— Так, так, и в чем же преимущество, господин Яно, анального ввода лекарства перед оральным?

Юноши — студенты пытаются разобраться в разнице между анальным и оральным, потом Яно отвечает:

— Тело гораздо быстрее впитывает лекарство.

— Хорошо, — на лице Маринуса появляется зловещая кривая ухмылка. — Теперь, кто знает, что такое дымовой клистир?

Юноши совещаются между собой, игнорируя госпожу Аибагаву. После чего Мурамото говорит: «Мы не знаем, доктор».

— Вы и не должны знать, господа: дымовой клистир никогда в Японии не видели, до этого дня. Илагту, прошу вас! — Ассистент Маринуса входит, неся кожаный шланг, длиной с человеческую руку от кончиков пальцев до локтя, и пузатую дымящуюся курительную трубку. Шланг он передает своему учителю, который тут же начинает расхваливать его достоинства, словно лоточник:

— У нашего дымового клистира, джентльмены, посередине корпуса находится клапан, вот здесь, к нему подсоединяется шланг из кожи, благодаря которому цилиндр можно заполнить дымом. Пожалуйста, Илагту... — цейлонец вдыхает дым из курительной трубки и выдыхает его в кожаный шланг. — Интуссусцепция — кишечная непроходимость — вот что лечится подобным инструментом. Давайте повторим название вместе, господа семинаристы, что лечится и что нам никак не произнести? Ин-тус — сус — цеп — ция! — Он назидательно поднимает палец, словно дирижерскую палочку. — И — раз, и — два, и — три...

— Ин-тус — сус — цеп — ция, — нерешительно повторяют студенты. — Ин-тус — сус — цеп — ция.

— Опасное для жизни состояние в том месте, где верхняя часть кишечника переходит в нижнюю, — доктор сворачивает кусок парусины, сшитой в форме штанины. — Это прямая кишка, — он зажимает один конец штанины кулаком и засовывает внутрь матерчатого куска с другого конца. — Оуч и итаи. Диагностировать — трудно, симптомы — классическая пищеварительная триада. Назовите их, господин Икемацу?

— Боль в животе, набухание паха... — он массирует голову, из которой вылетает третий симптом. — Ага! Кровь в экскрементах.

— Хорошо. Смерть от интуссусцепции или... — он смотрит на Якоба, — если по-простому, «высераения собственных кишок», как вы можете себе представить, процесс длительный и болезненный. На латинском такая смерть называется *miserere mei*, переводится как «помилуй, Господи!». Дымовой клистир, однако, может эту смерть

предотвратить, — доктор вытягивает наружу конец полотняной штанины, зажатой кулаком, — вдуванием такого густого дыма, что «заворот» выправляется, и работа кишечника восстанавливается. Домбуржец в обмен на оказанную услугу предложил использовать его *gluteus maximus* [\[28\]](#) в интересах медицинской науки. Таким образом, я продемонстрирую прохождение дыма «сквозь неисчислимы́е пещеры человеческого нутра», от ануса до пищевода, и далее наружу через ноздри, словно фимиам из каменного дракона, хотя при этом, увы, не так приятно пахнущий, принимая во внимание весь зловонный путь, который ему предстоит пройти.

Якоб начинает понимать:

— Нет, вы же не собираетесь...

— Снимайте штаны. Мы все здесь, и мужчины, и женщина — служители медицины.

— Доктор, — лазарет вдруг становится страшно холодным. — Я никогда не соглашался на это.

— Лучшее лекарство от волнения, — Маринус укладывает Якоба на койку с ловкостью, непонятно откуда взявшейся у хромца, — не обращать на него внимания. Илатту, пусть семинаристы рассмотрят аппарат. Затем мы начнем.

— Хорошая шутка, — хрипит Якоб под тяжестью четырнадцати докторских стоунов [\[29\]](#), — но...

Маринус расстегивает крючки бриджей извивающегося клерка.

— Нет, доктор! Нет! Ваша шутка зашла слишком далеко...

## Глава 7. ВЫСОКИЙ ДОМ НА ДЭДЗИМЕ

*Утро вторника, 27  
августа 1799 г.*



Качается кровать и будит спящего в ней; две ножки кровати ломаются, сбросив Якоба — он больно ударяется челюстью и коленом — на пол. Первая мысль: «Милостивый Боже, спаси и сохрани». Должно быть, взорвался арсенал «Шенандоа». Но дрожь Высокого дома все усиливается. Стонет балка; штукатурка разлетается на куски картечью; штора окна слетает, и комнату заливают абрикосовый свет, противомоскитная сетка падает на лицо Якоба, а неприятная тряска набирает и набирает обороты: кровать ползет сама по себе по комнате, словно раненое чудовище. «Фрегат дал бортовой залп, — думает Якоб, — или какой-то другой военный корабль». Подсвечник неистово описывает дифирамбические круги, пачки бумаги с верхних полок одна за другой летят вниз. «Не дай мне умереть здесь», — молится Якоб, уже видя свой череп, расколотый потолочной балкой, и мозги, выплеснутые в дэдзимскую пыль. Молитва рвется из души племянника пастора, произвольная молитва Иегове из ранних псалмов: «Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался: обратись к нам. — Ответ Якобу приходит бьющейся черепицей на Длинной улице, мычанием коров и бляением коз. — Ты потряс землю, разбил ее: исцели повреждения ее, ибо она колеблется» <sup>[30]</sup>. Стеклопанели крошатся фальшивыми бриллиантами, бревна трещат, как кости, сундук Якоба прыгает, подброшенный полом, кувшин разбрызгивает воду, ночной горшок перевернут, все созданное рушится. «Боже, Боже, Боже, — молит Якоб, — останови это, останови это, останови это!»

«Иегова с нами, Бог наше прибежище». Якоб закрывает глаза. Тишина — это мир. Он благодарит провидение за то, что землетрясение закончилось, и думает: «Дорогой Иисус, склады! Моя хлористая ртуть!» Клерк хватает одежду, переступает через упавшую дверь и видит Ханзабуро, выскочившего из своего закутка. Якоб рычит: «Охраняй комнату!» — но юноша не понимает. Голландец встает в дверной проем и замирает с раскинутыми в разные стороны ногами и руками, живая буква «Х». «Никто не входит! Понятно!»

Ханзабуро нервно кивает головой, словно желая успокоить безумца.

Якоб сбегает вниз по лестнице, открывает защелку, распахивает дверь и видит Длинную улицу, по которой — такое впечатление — только что прошла армия британских мародеров. Ставни разбиты в щепки, плитка — вдребезги, садовая стена лежит в руинах. В воздухе столько пыли, что ее не могут пробить солнечные лучи.

На востоке клубится черный дым, и где-то в голос кричит женщина. Клерк направляется к резиденции директора, но на перекрестке сталкивается с Вибо Герритсзоном. Моряк качается и ругается: «Сволочь французская, сволочь высадилась, сволочи везде!»

— Господин Герритсзон, встаньте у складов «Колючка» и «Дуб». Я проверю остальные.

— Ты, — покрытый татуировками здоровяк сплевывает, — сдаешься мне, месье Жак?

Якоб обходит его и пробует открыть ворота «Колючки»: заперто.

Герритсзон хватает клерка за горло и рычит: «Убери свои грязные французские руки от моего дома и убери свои грязные французские пальцы от моей сестры! — Он ослабляет хватку, чтобы как следует замахнуться: если б попал, Якоб упал бы замертво, но вместо этого инерция замаха роняет Герритсзона на землю. — Французские сволочи подстрелили меня! Подстрелили!»

На Флаговой площади начинает звенеть сборный колокол.

— На колокол внимания не обращай! — Ворстенбос — по бокам Купидо и Филандер — бежит по Длинной улице. — Шакалы собирают нас в одном месте, чтобы в это время растащить все! — Он замечает Герритсзона. — Стукнуло по голове?

Якоб растирает горло.

— Разве что грогом, господин директор.

— Оставь его. Мы должны организовать оборону от наших защитников.

Урон, причиненный землетрясением, большой, но не катастрофичный. Если говорить о четырех голландских складах, то у «Лилии», которую восстанавливали после «пожара Сниткера», возведенный каркас уцелел; ворота «Колючки» остались запертыми; ван Клиф и Якоб сумели защитить пострадавший «Дуб» от мародеров, и вскоре Кон Туоми и плотник с «Шенандоа», худой и бледный, как привидение, канадец из Квебека, повесили упавшие ворота на положенное место. Капитан Лейси доложил, что землетрясения на борту корабля они не почувствовали, но грохот был ужасен, будто началась битва между Богом и дьяволом. Десятки ящиков



попадали на землю на всех складах. Теперь все предстояло проинспектировать: сколько разбито, сколько пролито. Десяткам черепичных крыш требовалась замена, предстояло закупить новые глиняные сосуды, отстроить заново здание бани, починить голубятню, все за счет Компании. С северной стены Садового дома обвалилась штукатурка, но с этим особых проблем возникнуть не могло. Переводчик Кобаяши сообщил, что рухнули навесы, под которыми стояли сампаны Компании, и озвучил, по его словам, «превосходную цену», за которую их могли починить. «Превосходную для кого?» — в ответ заорал на него Ворстенбос и поклялся не потратить и гроша до того, как он и Туоми не осмотрят повреждения. Переводчик ушел с каменным лицом, кипя от злости. Со Сторожевой башни Якоб увидел, что не все в Нагасаки отделались так же легко, как на Дэдзиме: насчитал двадцать обрушившихся зданий и четыре крупных пожара, выбрасывающих клубы черного дыма в августовское небо.

На складе «Дуб» Якоб и Ве проверяют ящики с венецианскими зеркалами: каждое вытаскивается из соломы и учитывается как неповрежденное, треснутое или разбитое. Ханзабуро сворачивается калачиком на куче мешков и вскоре уже спит. Все утро на складе слышатся только звуки перекладываемых зеркал, чавканье жующего бетель Ве, шорох царапающего бумагу пера и долетающий издалека, от Морских ворот, грохот: на берегу сваливают слитки олова и свинца. Плотники, обычно работающие на складе «Лилия» по другую сторону Весового двора, похоже, заняты более нужным делом в Нагасаки.

— Тут не семь лет невезения, господин де З., а все семь сотен?

Якоб не заметил прихода Ари Грота.

— Думаю, никого не удивит, знач, если парень собьется со счета и парочка целых зеркал из-за этого «разобьется», только за счет ошибки...

— Это что, можно сказать, неприкрытое приглашение, — Якоб зевает, — совершить подлог?

— Пусть дикие псы сначала сожрут мою голову! Я, знач, тут встречу для нас устроил. Ты, — Грот смотрит на Ве, — можешь исчезнуть: сейчас придет один господин, так его воротит от твоей говняно — коричневой шкуры.

— Ве никуда не идет, — отвечает Якоб. — И кто этот «господин»?

Грот что-то слышит и поворачивается на доносящиеся звуки.

— Ох, клянусь кровью, они раньше, — он указывает на стену ящиков и приказывает Ве:

— Прячься за ними! А вы, господин де З., оставьте ваши сантименты о нашем бедном цветном брате, потому что на кону горы, горы и горы денег.

Юноша — раб смотрит на Якоба: тот, соглашаясь, кивает. Ве повинуется.

— Я здесь, знач, посредник между вами и...

В дверях появляются переводчик Ионекизу и полицейский Косуги.

Не обращая внимания на Якоба, они предлагают кому-то зайти.

Сначала появляются четверо молодых, стройных, сурового вида охранников.

Затем входит их хозяин: мужчина постарше, походка нетороплива, он словно рассекает воду.

На нем плащ небесно-голубого цвета, голова выбрита, из-за пояса торчит рукоять меча.

Из всех присутствующих на складе только у него лицо не блестит от пота.

«Откуда, из какого сна, — гадают Якоб, — я помню его лицо?»

— Владыка-настоятель Эномото из феода Киога, — представляет величавого незнакомца Грот. — Мой компаньон, господин де Зут.

Якоб кланяется: губы настоятеля кривятся в полуулыбке узнавания.

Он обращается к Ионекизу требовательным, непререкаемым голосом.

— Настоятель, — переводит Ионекизу, — говорит, он верил, что вы с ним чем-то близки, схожи, — понял это с первого раза, когда увидел вас в магистратуре. Сегодня он знает, что прав.

Настоятель Эномото просит Ионекизу научить его голландскому слову «сходство».

Теперь Якоб узнает гостя: человек, сидевший рядом с магистратом Широямой в Зале шестидесяти циновок.

Ионекизу произносит по требованию настоятеля три раза фамилию Якоба.

— Да — зу-то, — эхом повторяет настоятель. — Я говорю правильно?

— Ваше преосвященство, — отвечает Якоб, — произносит мою фамилию очень хорошо.

— Настоятель, — добавляет Ионекизу, — перевел Антуана Лавуазье на японский.

Якоб поражен:

— Может, ваше преосвященство знакомы с доктором Маринусом?

Ионекизу переводит ответ настоятеля: «Настоятель часто встречается с доктором Маринусом в академии Ширандо. Он очень уважает голландского ученого, говорит он. Но у настоятеля есть много обязанностей, поэтому он

не может посвятить всего себя одной лишь химии».

Якоб осознает, какой властью должен обладать этот гость, чтобы запросто появиться на Дэдзиме в тот день, когда все перевернуто землетрясением, и беседовать с иностранцами не под присмотром толпы соглядатаев и стражников сегуната. Эномото проводит большим пальцем вдоль ящиков, словно освящая их содержимое. Он замечает спящего Ханзабуро и делает над его головой какие-то пассы, словно тот стоит перед ним, преклонив колени. Ханзабуро что-то сонно бормочет, просыпается, видит настоятеля, испуганно ахает и скатывается на пол. Выбегает за дверь со скоростью жабы, преследуемой водяной змеей.

— Молодые люди, — Эномото говорит на голландском, — спешат, спешат, спешат...

Свет снаружи, пройдя щель между створками ворот, меркнет.

Настоятель берет неразбитое зеркало.

— Это ртуть?

— Оксид серебра, ваше преосвященство, — отвечает Якоб. — Итальянского производства.

— Серебро более правдиво, — отмечает настоятель, — чем медные зеркала в Японии. Но правду легко разбить. — Он наклоняет зеркало так, чтобы увидеть отражение Якоба, и задает вопрос Ионекизу на японском. Ионекизу переводит: «Его преосвященство спрашивает, правда ли, что в Голландии тоже верят, что у живых мертвецов нет отражения?»

Якоб вспоминает, что его бабушка говорила то же самое.

— Старые женщины верят в это, да.

Настоятель понимает речь Якоба и доволен его ответом.

— На мысе Доброй Надежды есть племя, — Якоб решает поделиться своими знаниями, — которое называется басуто, и они верят, что крокодил может убить человека, проглотив его отражение на воде. В другом племени, зулу, избегают подходить к темным прудам, чтобы призрак не поймал отражение и не отнял бы душу у того, кто решил посмотреться в пруд.

Ионекизу в точности переводит и передает ответ Эномото.

— Настоятель говорит: идея прекрасная, и желает знать, верит ли господин де Зут в душу?

— Сомневаться в наличии души, — говорит Якоб, — для меня более чем странно.

Эномото спрашивает: «Верит ли господин де Зут, что у человека можно забрать душу?»

— Привидению или крокодилу такое не под силу, но дьявол может.

«Ха» Эномото означает его удивление тем, что и он, и иностранец могут верить в одно и то же.

Якоб отступает на шаг, чтобы более не отражаться в зеркале.

— Ваше преосвященство, ваш голландский превосходен.

— На слух я понимаю не все, и рад, — Эномото поворачивается, — что есть переводчики. Когда-то я говорю... говорил... на испанском, но теперь это знание утеряно.

— Минуло два столетия, — замечает Якоб, — с тех пор, как испанцы пришли в Японию.

— Время... — Эномото не спеша поднимает крышку одного из ящичков: Ионекизу тревожно вскрикивает.

Свернутая клубком, словно маленький кнут, на дне лежит змея хабу. Она рассерженно поднимает голову...

...два ее клыка блестят белизной, голова отклоняется назад, готовясь к броску.

Два охранника настоятеля бросаются к ней, обнажив мечи...

...но Эномото делает странное движение кистью руки, словно что-то сдавливает.

— Не дайте ей укусить его! — кричит Грот. — Он еще не заплатил...

Но хабу не атакует руку настоятеля: шея змеи обмякает, и она падает на дно коробки. Ее челюсти застыли в широком оскале.

Рот Якоба тоже широко раскрыт. Клерк смотрит на испуганного Грота.

— Ваше преосвященство, вы... заколдовали змею? Она... она спит?

— Змея мертва, — Эномото приказывает охранникам вынести ее наружу.

«Как он это сделал?» — гадают изумленный Якоб, пытаясь понять, что это за трюк.

— Но...

Настоятель не сводит глаз с потрясенного голландца и обращается к Ионекизу.

— Владыка-настоятель говорит, — начинает Ионекизу, — что это «не трюк и не магия». Он говорит: «Это китайская философия, и ученые европейцы слишком умные, чтобы ее понять». Он говорит... извините, очень трудно. Он говорит: «Вся жизнь есть жизнь, потому что обладает силой ки».

— Силой ключа? <sup>[31]</sup> — Ари Грот показывает движение ключа, отпирающего замок. — И как это понимать?

Ионекизу отрицательно качает головой.

— Не ключа — ки. Ки. Владыка-настоятель объясняет, что его учение,

его Орден, объясняет, как... какое слово? Как использовать силу ки, чтобы лечить болезни et cetera [32].

— Как я понимаю, господину Змею, — бормочет Грот, — досталось что-то из et cetera.

Принимая во внимание статус настоятеля, Якоб решает, что необходимо извиниться.

— Господин Ионекизу, пожалуйста, скажите его преосвященству: я очень сожалею о том, что змея угрожала его жизни в голландском складе.

Ионекизу переводит; Эномото качает головой.

— Укус неприятный, но не очень ядовитый.

— ...и скажите, — продолжает Якоб, — что все, виденное здесь, останется со мной до конца моей жизни.

Эномото отвечает неопределенным: «Хм-м-м-м».

— В следующей жизни, — говорит настоятель Якобу, — родитесь в Японии, приходите в храм, и... простите, голландский труден, — он адресует Ионекизу несколько длинных предложений на их родном языке. Тот переводит:

— Настоятель говорит, господин де Зут не должен думать, что у него столько же власти, как у владыки провинции Сацума. Феод Киога — это всего двадцать миль в ширину, двадцать миль в длину, очень много гор и только два города — Исахая и Кашима, и селения по дороге к морю Ариаке. Но, — добавляет Ионекизу, скорее всего, по собственной инициативе, — владение феодем дает владыке — настоятелю более высокий ранг: в Эдо он может встречаться с сегуном, а в Мияко — с императором. Храм владыки — настоятеля стоит высоко на горе Ширануи. Он говорит: «Весной и осенью там очень красиво, зимой немного холодно, но летом прохладно». Настоятель говорит: «Можно дышать и не стареть». Настоятель говорит: «У меня две жизни. В высоком мире, на горе Ширануи — это мир духов, молитвы и ки. И в нижнем — это люди, и политики, и ученые... и импорт лекарств, и деньги».

— Ох, чтоб тебя, наконец, — бормочет Ари Грот, — господин де З., наш выход.

Якоб неуверенно смотрит на Грота, на настоятеля и снова на повара.

— Возникает, — вздыхает Грот, — тема, знач, сделки.

Одними губами он произносит: «Ртуть».

Якоб, к счастью, понимает.

— Простите мою прямооту, ваше преосвященство, — он обращается к Эномото, поглядывая на Ионекизу, — но, возможно, сегодня мы можем оказать вам какую-то услугу?

Ионекизу переводит.

Короткий взгляд на Якоба, и Эномото снова вопросительно смотрит на Грота.

— Факты, господин де З., таковы: настоятель Эномото желает приобрести, знач, все наши восемь ящичков ртутного порошка и готов заплатить сто шесть кобанов за ящик.

Первая мысль Якоба: «Наш порошок?» Вторая: «Сто шесть?»

Третья — число: «Восемьсот сорок восемь кобанов».

— В два раза дороже, — напоминает ему Грот, — чем аптекарь в Осаке.

Восемьсот сорок восемь кобанов — огромное состояние, почти половина нужной ему суммы.

«Подожди, подожди, подожди, — думает Якоб. — Почему такая высокая цена?»

— Господин де Зут, знач, счастлив, — Грот убеждает Эномото. — Даже не может говорить.

«Трюк со змеей поразил меня, но больше не теряй головы».

— Такой порядочный парень, — говорит Грот, хлопая Якоба по плечу. — Вот уж не думал...

«Монополия, — предполагает Якоб. — Ему нужна временная монополия».

— Я продам шесть ящичков, — объявляет клерк. — Не восемь.

Эномото понимает: почесывает ухо и смотрит на Грота.

Улыбка Грота говорит: «Волноваться не о чем».

— Одну минуточку, ваше преосвященство.

Повар уводит Якоба в угол, к тому месту, где прячется Ве.

— Послушайте, Звардекрон берет по восемнадцать кобанов с ящика.

«Откуда он знает, — удивленно спрашивает себя Якоб, — о моем помощнике в Батавии?»

— Это неважно, откуда я знаю, но я знаю. Нам дают в шесть раз больше, но вы хотите еще поднять цену? Лучшей не будет, и мы говорим не о шести коробках. Восемь, знач, или ничего.

— В таком случае, — отвечает Якоб Гроту, — я выбираю ничего.

— Мы чой-то не понимаем? Наш клиент — благородный вельможа, да? У него все схвачено: в магистратуре, в Эдо, у каждого ростовщика, у каждого аптекаря. Говорят, что он даже... — Якоб улавливает запах куриных потрохов в дыхании Грота, — одалживает деньги магистрату до прибытия следующего корабля из Батавии! Так что, раз я обещал ему всю ртуть, это означает...

— Выходит, вам придется разобещать ему всю ртуть.

— Нет, нет, нет, — Грот чуть ли не визжит. — Вы никак не поймете, что...

— Это вы заключили сделку с моим частным товаром. Я отказываюсь танцевать под вашу дудку. И теперь вам придется смириться с потерей комиссионных. Что же я еще не понимаю?

Эномото что-то говорит Ионекизу. Голландцы прекращают спор.

— Настоятель говорит, — Ионекизу откашливается, — если сегодня продается шесть коробок, тогда он покупает сегодня шесть коробок.

Эномото продолжает. Ионекизу кивает головой, уточняя несколько слов, и переводит:

— Господин де Зут, настоятель Эномото переводит на ваш личный счет в Казначействе шестьсот тридцать шесть кобанов. Писец магистратуры приносит подтверждение о продаже для занесения в гроссбух Компании. После этого, если будет на то ваше согласие, его люди унесут шесть коробок ртути со склада «Дуб».

Подобная скорость беспрецедентна для торговых сделок.

— Ваше преосвященство не желает сначала взглянуть на них?

— Э-э-э, — говорит Грот, — господин де З. такой, знач, занятый, что я позволил себе попросить ключ у заместителя директора ван К. и показал нашему гостю образец...

— «Позволил себе», — шипит Якоб. — Очень много вы себе позволяете.

— Сто шесть кобанов за ящик, — вздыхает Грот, — стоят того, чтобы проявить инициативу, так?

Настоятель ждет.

— Так мы свершаем сделку с ртутью сегодня, господин Дазуто?

— Свершаем, ваше преосвященство, — Грот улыбается, как акула. — Конечно, проводим.

— Но бумаги, — спрашивает Якоб, — залог, документ о продаже?..

Эномото небрежным жестом отмахивается от этих сложностей, с губ срывается: «П-ф-ф-ф».

— Я же говорю, — Грот улыбается, как святой, — такой благородный человек.

— Тогда, — у Якоба больше нет возражений, — да, ваше преосвященство. По рукам.

Вздых избавленного от мук страдальца исторгается из груди Ари Грота.

Настоятель, с написанным на лице спокойствием, произносит еще

одну фразу, предназначенную для перевода.

— Те ящики, которые вы не продаете сегодня, — говорит Ионекизу, — вы продадите скоро.

— В этом случае, Владыка-настоятель, — Якоб продолжает гнуть свое, — знает меня лучше, чем я сам.

Настоятель Эномото произносит последнее слово: «Сходство».

Затем он кивает головой Косуги и Ионекизу, и вся свита, не оглядываясь, покидает склад.

— Ты можешь выйти, Ве. — Якоба не отпускает необъяснимая тревога, несмотря на то, что сегодня ляжет спать гораздо более богатым человеком, чем был до того момента, как утреннее землетрясение сбросило его с кровати. «При условии, — думает он, — что настоятель-владыка Эномото окажется верен своему слову».

Владыка-настоятель Эномото слово держит. В половине третьего Якоб выходит из резиденции директора с сертификатом депонирования на руках. Заверенный подписями свидетелей, Ворстенбоса и ван Клифа, документ может быть обращен в наличные в Батавии или даже в офисах компании в Зеландии — во Флиссингене, на острове Валхерен. Сумма, равная пяти или даже шестилетнему жалованью на его предыдущей работе, клерком в порту. Ему предстоит отдать долг своему знакомому, другу дяди, в Батавии, который одолжил деньги на покупку ртути. «Самая большая удача в моей жизни, — думает Якоб, — а ведь чуть не вложил в покупку трепанга — и, без сомнения, Ари Грот тоже получил выгоду от сделки». Но, в любом случае, продажа ртути загадочному настоятелю оказалась исключительно выгодной. «А оставшиеся ящики, — рассчитывает Якоб, — должны уйти за еще большую цену, после того, как другие торговцы увидят, какую прибыль получит Эномото». К Рождеству на следующий год он намерен вернуться в Батавию с Унико Ворстенбосом, чья звезда к тому времени должна разгореться еще ярче — после того, как он очистит Дэдзиму от зловонной коррупции. И он сможет посоветоваться со Звардекроном или с коллегами Ворстенбоса и инвестировать ртутные деньги в еще более прибыльные товары — кофе, скорее всего, или тиковое дерево, — чтобы накопить состояние, которое поразит отца Анны.

На Длинной улице появляется Ханзабуро, выходящий из дома Гильдии переводчиков. Якоб возвращается и Высокий дом, чтобы положить драгоценный сертификат в матросский сундук. Он колеблется, но все-таки достает веер с ручкой из адамова дерева и кладет в карман камзола. Затем спешит на Весовой двор, где сегодня взвешиваются и проверяются на



наличие примесей свинцовые слитки, которые потом следует уложить в те же ящики и запечатать. Даже под навесом жара усыпляет и обжигает контролеров, но их пристальное око должно внимательно следить и за показаниями весов, и за кули, и за количеством ящиков.

— Как благородно с вашей стороны, — шипит Петер Фишер, — появиться на рабочем месте.

Все уже знают о выгодной сделке с ртутью новоприбывшего клерка.

Якоб не находится с ответом, поэтому утыкается носом в учетный лист.

Переводчик Ионекизу наблюдает за происходящим из-под соседнего навеса. Работа идет медленно.

Якоб думает об Анне, стараясь вспомнить, какая она, и представить себе ее не как рисунок в альбоме.

Загорелые под солнцем кули прибывают крышки ящиков.

Четыре часа, согласно карманным часам Якоба, приходят и уходят.

В какой-то момент Ханзабуро покидает Весовой двор безо всякого объяснения.

Без четверти пять Петер Фишер говорит: «Это двухсотый ящик».

Без пяти пять старший купец теряет сознание от жары.

Тут же посылают за доктором Маринусом, и Якоб принимает решение.

— Позвольте на минутку отлучиться? — спрашивает он Фишера.

Фишер намеренно долго набивает свою трубку.

— Насколько долгая ваша минута? У Оувеханда она пятнадцать или двадцать минут. У Баерта — дольше часа.

Якоб встает. Мышцы ног покалывает от долгого сидения.

— Я вернусь через десять минут.

— Значит, ваша одна равняется десяти. В Пруссии джентльмен всегда выражается определенно.

— Я пойду, — бормочет Якоб едва слышно, — пока не передумал.

Якоб ждет на оживленном Перекрестке, наблюдая, как мимо него взад и вперед проходят рабочие. Доктор Маринус появляется довольно скоро: он ковыляет с двумя переводчиками, которые несут его медицинский саквояж, чтобы помочь потерявшему сознание купцу. Он видит Якоба и просто проходит мимо, чему Якоб только рад. Дым, пахнувший экскрементами, выходящий из его пищевода в завершающей стадии эксперимента с дымовым клистиром, отбил всякое желание искать дружбы доктора Маринуса. Из-за позора, испытанного им в тот день, он избегает и госпожу Аибагаву: естественно, что она — да и другие семинаристы — теперь

видит в нем полуобнаженный агрегат с жировыми клапанами и трубками из плоти!

«Шестьсот тридцать шесть кобанов, — признается он себе, — повышают самоуважение».

Семинаристы покидают больницу: как и рассчитывал Якоб, вызов Маринуса оборвал их сегодняшние занятия. Госпожа Аибагава выходит последней, прикрываясь зонтиком от солнца. Он отступает на пару шагов в переулок Костей, будто направляется к складу «Лилия».

«Все, что я делаю, — убеждает себя Якоб, — так это возвращаю потерянную вещь владельцу».

Четыре молодых человека, два охранника и акушерка сворачивают на Короткую улицу.

Якоб теряет самообладание; Якоб берет себя в руки.

— Простите, пожалуйста!

Процессия поворачивается к нему. Госпожа Аибагава смотрит на него.

Мурамото, старший студент, приветствует Якоба:

— Домбага-сан!

Якоб снимает соломенную шляпу:

— Еще один жаркий день, господин Мурамото.

Тот рад, что Якоб вспомнил его имя; другие присоединяются к поклону. «Жарко, жарко, — охотно соглашаются они. — Жарко!»

Якоб кланяется акушерке:

— Добрый день, госпожа Аибагава.

— Как... — ее глаза весело поблескивают, — ...печень господина Домбуржца?

— Гораздо лучше сегодня, благодарю вас. — Он сглатывает слюну. — Благодарю вас.

— А как, — говорит Икемацу с нарочитой серьезностью. — Как интус — сус — цеп — ция?

— Волшебство доктора Маринуса излечило меня. Что вы сегодня изучали?

— Кан — соми — шан, — отвечает Кадзиваки. — Когда кровяной кашель из легких.

— А, туберкулез. Ужасная болезнь, и довольно распространенная.

Инспектор приближается от Сухопутных ворот: один из охранников что-то говорит.

— Вы извините, — Мурамото поворачивается к Якобу, — но он говорит, что мы должны уйти.

— Да, я не буду вас задерживать. Я просто хочу вернуть это... — он

достаёт веер из кармана, — госпоже Аибагаве: она оставила его в больнице.

Ее глаза вспыхивают тревогой. Вопросы: «Что вы делаете?»

Его смелость улечивается.

— Веер, вы забыли его в больнице доктора Маринуса.

Подходит инспектор. Раздуваясь от важности, говорит с Мурамото.

Мурамото переводит: «Инспектор желает знать, что это, господин Домбага».

— Скажите ему... — Какая ужасная ошибка! — Госпожа Аибагава забыла свой веер. В больнице доктора Маринуса. Я возвращаю.

Инспектора этот ответ не устраивает. Он отдаёт короткий приказ и протягивает руку, желая, чтобы веер передали ему, совсем как директор школы требует от школьника оправдательную записку.

— Он просит: «Пожалуйста, покажите», — господин Домбага, — переводит Икемацу. — Чтобы проверить.

«Если я послушаюсь, — понимает Якоб, — вся Дэдзима, весь Нагасаки узнает, что я нарисовал ее портрет и вставил в веер». Этот дружеский знак внимания, догадывается Якоб, могут истолковать неправильно. Он даже может стать причиной местного скандала.

Пальцы инспектора никак не могут справиться с тугой защелкой.

Краснея от ожидания, Якоб молится, чтобы все хоть как-то образовалось.

Госпожа Аибагава что-то тихо говорит инспектору.

Инспектор смотрит на нее, его суровое лицо чуть-чуть, но смягчается...

...затем он весело фыркает и передает ей веер. Она кланяется.

У Якоба возникает ощущение, будто он только что прошел по лезвию ножа.

Вечером веселье царит и на Дэдземе, и на берегу, словно всем захотелось прогнать подальше ужасные воспоминания утреннего землетрясения. Бумажные фонарики развешаны по главным улицам Нагасаки, и, чтобы сбросить напряжение, люди собираются в самых разных местах: в доме полицейского Косуги, в резиденции заместителя директора ван Клифа, в Гильдии переводчиков и даже в комнате охранников Сухопутных ворот. Якоб и Огава Узаемон встретились в Сторожевой башне. Огава привел инспектора, чтобы снять обвинение в чрезмерно тесном общении с иноземцами, но тот уже так набрался, что глоток sake отправил его в глубокий сон. Ханзабуро сидит несколькими

ступенями ниже с очередным, насильно навязанным домашним переводчиком Оувеханда. «Я вылечил себя от герпеса», — похвалился Оувеханд на вечерней поверке. Разбухшая луна перевалила через гору Инаса, и Якоб наслаждается прохладным бризом, несмотря на сажу и запах нечистот. «Что это за скопища огоньков? — спрашивает он, указывая. — Там, над городом?»

— Вечеринки... как сказать? Место, где хоронят тела.

— Кладбища? Какие могут быть вечеринки на кладбищах? — Якоб представляет себе gavottes <sup>[33]</sup> на домбургском кладбище и с трудом удерживает смех.

— Кладбище — врата мертвых, — говорит Огава. — Подходящее место для того, чтобы позвать души в мир жизни. Завтра ночью маленькие кораблики с огоньками плывут по морю, чтобы направить души домой.

На «Шенандоа» вахтенный офицер четырежды отбивает склянки.

— Вы действительно верите, — спрашивает Якоб, — что душа путешествует подобным образом?

— Господин де Зут не верит тому, что ему говорили, когда был мальчиком?

«Но у меня настоящая вера, — Якоб жалеет Огаву, — тогда как твоя — идолопоклонство».

Внизу, у Сухопутных ворот, офицер отчитывает подчиненного.

«Я сотрудник компании, — напоминает себе Якоб, — а не миссионер».

— Ладно, — Огава достает из рукава фарфоровую фляжку.

Якоб уже немного пьян.

— Сколько у вас там еще припрятано?

— Я ведь не на службе... — Огава наполняет чашки, — ...так что выпьем за вашу сегодняшнюю удачную сделку.

Якобу приятны воспоминания и о деньгах, и о sake, летящем в желудок.

— Кто-нибудь в Нагасаки еще не знает о том, сколько я получил за мою ртуть?

Фейерверк взрывается у китайской фактории на другом берегу бухты.

— Есть один монах в самой, самой, самой высокой пещере, — говорит Огава, указывая на горы, — который не слышал, пока. Если рассуждать логично, цена пойдет вверх, это хорошо, но продайте оставшуюся ртуть владыке — настоятелю Эномото, а не кому-то еще. Пожалуйста. Он опасный враг.

— Ари Грот тоже боится его преосвященства.

Ветер доносит запах китайского пороха.

— Господин Грот мудрый. Феод настоятеля маленький, но он... — Огава раздумывает. — Он очень влиятельный. Кроме храма в Киоге у него резиденция в Нагасаки, дом в Мияко. В Эдо он — гость Мацудайры Суданобу. У Суданобу-сана влияния еще больше. «Создатель королей», так говорят у вас? Любой его близкий друг, такой, как Эномото, — тоже человек влиятельный. И опасный враг. Пожалуйста, запомните.

Якоб выпивает.

— Я, будучи голландцем, могу не бояться этих «опасных врагов».

Огава не отвечает, и голландец чувствует, что он слишком уповает на собственную безопасность.

Огоньки расползлись по всему побережью, до самого устья бухты.

Якобу интересно, что думает госпожа Аибагава о ее разрисованном веере.

Кошки орут на крыше дома ван Клифа, ниже наблюдательной площадки Сторожевой башни.

Якоб оглядывает усеянные крышами холмы на том берегу и задает себе вопрос: где может быть ее крыша?

— Господин Огава, как в Японии джентльмен делает предложение даме?

Переводчик истолковывает вопрос по-своему:

— Господин де Зут хочется «умаслить свой артишок»?

Изо рта Якоба фонтаном вылетает только что выпитое саке.

Огава в затруднительном положении.

— Я ошибся с произношением на голландском?

— Капитан Лейси продолжает обогащать ваш словарь?

— Он бесплатно обучает меня и переводчика Ивасе «джентльменскому голландскому».

Якоб возвращается к интересующей его теме:

— Когда вы попросили руки вашей будущей жены, вы сначала обратились к ее отцу? Или просто подарили ей кольцо? Или цветы? Или?..

Огава наполняет обе чашки.

— Я не видел жену до дня свадьбы. Все сделала наша накододэ. Как сказать, накододэ? Женщина, которая знает семьи, которые хотят, чтобы сыграли свадьбу...

— Назойливая тетка, сующая нос в чужие дела? Нет, простите меня: посредница.

— Посредница? Забавное слово. Посредница... ходит между нашими семьями, ачи — кочи. — Рука Огавы движется взад-вперед. — Описывает невесту отцу мужа. Ее отец — богатый торговец краской из саппанового

дерева <sup>[34]</sup> в Карацу, три дня дороги. Мы наводим справки о семье... нет ли сумасшедших, долгов и так далее. Ее отец приезжает в Нагасаки, чтобы встретиться с семьей Огава из Нагасаки. Торговцы рангом ниже самураев, но... — руки Огавы становятся чашками весов. — Постоянный доход у семьи Огава, и мы входим в торговлю саппановым деревом на Дэдзиме, и отец соглашается. Впервые мы встречаемся в храме на свадьбе.

Шустрая луна оторвалась от горы Инаса.

— А как же... — спрашивает Якоб с прямоотой, спровоцированной sake, — ...а как же любовь?

— Мы говорим: «Когда муж любит жену, свекровь теряет лучшую служанку».

— Какая невеселая пословица! Разве вы не тоскуете по любви — в глубине сердца?

— Да, господин де Зут говорит правду: любовь находится в сердце. Или любовь — то же sake: пьешь, ночь веселья, да, но холодным утром — головная боль и крутит живот. Мужчина должен любить конкубину, и тогда, если любовь умирает, он говорит: «Прощай», — просто и безболезненно. Женидьба — это другое, женидьба в голове: социальный статус, бизнес, продолжение рода. Голландские семьи не такие?

Якоб вспоминает отца Анны.

— Мы точно такие же, увы.

Падающая звезда появляется и почти мгновенно пропадает.

— Я вас задерживаю, и вы не можете поприветствовать ваших предков, господин Огава?

— Мой отец этим вечером проводит ритуал в нашем доме.

Корова мычит в Сосновом углу, испуганная фейерверком.

— Если говорить честно, — продолжает Огава, — мои предки не отсюда: я родился в феоде Тоса на Шикоку, это большой остров... — Огава показывает на восток, — ...там. Мой отец — дальний родственник Яманучи, владыки Тосы. Владыка дал мне образование и отправил в Нагасаки, чтобы я научился голландскому в доме Огавы Мимасаку, чтобы навести мосты между Тосой и Дэдзимой. Но потом старый владыка Яманучи умер. А его сыну неинтересны голландцы. И меня оставили «на необитаемом острове», так говорят? Но десять лет тому назад оба сына Огавы Мимасаку умерли от холеры. Многие, многие умерли в городе в тот год. И Огава Мимасаку усыновил меня, чтобы продолжить семейный род...

— А как же ваши родные мать и отец, там, на Шикоку?

— Традиция учит: «После усыновления не возвращайся». Поэтому я не вернулся.

— Вы не скучаете по ним? — Якоб помнит свою тоску.

— У меня новая фамилия, новая жизнь, новый отец, новая мать, новые предки.

«Японцы, — гадают Якоб, — получают удовольствие от причиненных самому себе страданий?»

— Мое обучение голландскому, — говорит Огава, — это большое... утешение. Правильное слово?

— Да, и быстрота вашей речи, — клерк совершенно искренен, — говорит о том, как успешно вы овладеваете нашим языком.

— Продвижение дается с трудом. Торговцы, чиновники, стражники не понимают, какой это сложный язык. Они думают: «Я выполняю свою работу, так почему ленивый и глупый переводчик не может делать то же самое?»

— Когда я учился ремеслу, — Якоб вытягивает затекшие ноги, — в лесорубной компании, я работал в портах не только Роттердама, но также Лондона, Парижа и Гетебурга. Я знаю, как трудно изучать иностранные языки, но, не в пример вам, мне помогали словари и образование, которое мне дали французские учителя.

— А — а-х, — выдох Огавы полон тоски. — Столько мест, куда вы можете поехать...

— В Европе — да, но даже мой мизинчик, скажем так, не пересечет эти Сухопутные ворота.

— Господин де Зут может пересечь Морские ворота и дальше — океан. Но я — все японцы... — Огава прислушивается к заговорщическому шепоту Ханзабуро и его друга, — узники на всю жизнь. Кто решает покинуть страну, того наказывают. Кто уезжает и возвращается, того наказывают. Мое самое заветное желание — провести один год в Батавии, говорить на голландском, есть, как голландцы, пить, как голландцы, спать, как голландцы. Один год, только один год...

Вот новая пицца для размышлений у Якоба.

— Вы помните свой первый визит на Дэдзиму?

— Очень хорошо помню! Перед тем, как Огава Мимасаку взял меня в семью. Как-то раз учитель говорит: «Сегодня мы идем на Дэдзиму». Я... — Огава хватается за сердце и мимикой демонстрирует восторг. — Мы пошли по Голландскому мосту, и мой учитель сказал: «Это самый длинный мост, который ты когда-либо пересечешь, потому что он — между двумя мирами». Мы миновали ворота, и я увидел великана из сказки! Нос огромный, как картошка! Одежда не с завязками, а с пуговицами, пуговицами, пуговицами, и желтые волосы, как солома! И плохо пахнет.

Прямо тут же, удивленный, я в первый раз увидел куронбо — черных парней с кожей, как у баклажана. Затем иностранец открыл рот и сказал: «Шффтгг-евинген-флиндер-васшен-моргенеген!» Такой был голландский, который я изучал! Я все кланялся и кланялся, а учитель стукнул меня по голове и сказал: «Представься, глупый бака!» — я и сказал: «Меня зовут Созаемон Дегозаимсу погода спокойная сегодня благодарю вас очень хорошо». Желтоволоосый гигант засмеялся и говорит: «Ксссфффккк шевинген — певинген!» — и показывает на красивую белую птицу, которая шла, как человек, и была высокая, как человек. Учитель сказал: «Это страус». Затем еще чудеса — животное большое, как дом, весь свет загорело; ниоро — ниоро — нос оно погружает в ведро и пьет, и водой стреляет! Учитель Огава сказал: «Это слон», — а я спросил: «Зо?», а учитель ответил: «Нет, глупый бака, это слон». Потом мы увидели какаду в клетке, и попугая, который повторял слова, и увидели странную игру с палками и шарами на столе, которая называется бильярд. Кровавые языки лежали на земле — здесь, там, там, там: плевки с соком бетеля малайских слуг.

— А что, — Якоб не может не спросить, — слон делал на Дэдзиме?

— Батавия послала его в подарок сегуну. Но магистрат отправил в Эдо сообщение, что слон много ест, поэтому в Эдо посовещались и отказались от подарка. Компании пришлось взять слона обратно. Очень скоро он умер от загадочной болезни...

Слышен топот спешащих шагов по лестнице Сторожевой башни: это посыльный.

Якоб догадывается по реакции Ханзабуро, что тот принес плохую весть.

— Мы должны идти, — говорит ему Огава. — Грабители в доме директора Ворстенбоса.

— Сейф слишком тяжел для грабителей, — объясняет Унико Ворстенбос толпе, набившейся в его личные покои. — Они притащили его сюда и принялись вскрывать молотом и зубилом: взгляните, — он показывает кусок тикового дерева от рамы сейфа. — Пробив достаточно большую дыру, они вытащили добычу и скрылись. Это были не простые воришки. Они принесли нужные инструменты. И точно знали, за чем пришли. У них были шпионы, помощники и навыки, чтобы разбить сейф в абсолютной тишине. Кто-то им помогал и у Сухопутных ворот. Короче говоря... — директор уставился на переводчика Кобаяши. — ...им помогли.



Полицейский Косуги задает вопрос.

— Расследователь спрашивает, — переводит Ивасе, — когда вы видели в последний раз чайник?

— Утром. Купило проверил, не повредило ли его землетрясение.

Полицейский тяжело вздыхает и оглядывает комнату.

— Расследователь говорит, — переводит Ивасе, — что раб был последним, кто видел чайник на Дэдзиме.

— Грабители, — восклицает Ворстенбос, — были последними, кто видели его!

Переводчик Кобаяши склоняет набок проницательную голову.

— Сколько стоил тот чайник?

— Исключительное мастерство исполнения, серебряное листовое покрытие по нефриту — и за тысячу кобанов не купишь другого такого! Вы же сами видели его. Он принадлежал последнему правителю Китая династии Минь — императору Чжу Юцзяню, насколько я помню. Старинная вещь, второй такой не найти: кто-то, конечно же, рассказал о ней грабителям, дьявол выдери им глаза.

— Император Чжу Юцзянь, — замечает Кобаяши, — повесился на пагодном дереве [\[35\]](#).

— Я позвал вас сюда не для уроков по истории, переводчик!

— Я очень надеюсь, — объясняет Кобаяши, — что на чайник не наложено заклятие.

— О-о, он и есть заклятие, для тех псов, которые украли его! Чайник принадлежит Компании, а не Унико Ворстенбосу, посему жертва преступления — Компания. Вы, переводчик, прямо сейчас пойдете с полицейским Косуги в магистратуру.

— Магистратура закрыта, — Кобаяши просительно складывает руки. — По случаю Обона [\[36\]](#).

— Магистратуре, — директор бьет по столу тростью, — придется открыться!

Якоб уже видел этот взгляд на японских лицах: ох уж зги невозможные иностранцы.

— Могу я предложить, господин директор, — говорит Петер Фишер, — чтобы вы потребовали провести обыск японских складов на Дэдзиме? Скорее всего, хитрые мерзавцы пережидают, пока не закончится вся эта кутерьма, чтобы потом утащить сокровище к себе.

— Дельная мысль, Фишер, — директор поворачивается к Кобаяши. — Передайте это полицейскому.

Наклоненная голова переводчика выдает нерешительность.

— Но прецедент...

— К черту прецедент! Я сам прецедент сейчас, и вам, и вам... — он тычет им в грудь, и Якоб мог бы поставить на кон пачку банкнот, что до этого он никогда никого не тыкал, — ...платят немерено, чтобы защищать наши интересы! Выполняйте свою работу! Какой-то кули, или торговец, или инспектор, или — о да! — даже переводчик стащил собственность Компании! Этот поступок — вызов чести Компании. И, черт возьми, я обещаю даже Гильдию переводчиков! Мы будем гнать грабителей, как свиней, и я услышу, как они завизжат. Де Зут — идите и скажите, чтобы Ари Грот сварил большой жбан кофе. Всем нам какое-то время будет не до сна...

## Глава 8. ПАРАДНЫЙ ЗАЛ В РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА ДЭДЗИМЕ

*Десять часов утра  
3 сентября 1799 г.*

— Ответ сегуна на ультиматум — это сообщение мне, — жалуется Ворстенбос. — Почему лист бумаги, свернутый рулоном и положенный в пенал, должен провести целую ночь в магистратуре, словно какой-то почетный гость?

Если письмо пришло вчера вечером, почему его сразу не принесли мне?

«Потому что, — думает Якоб, — послание сегуна равноценно эдикту римского папы, и вручение без церемонии сродни измене».

Но он держит свои мысли при себе: в последнее время он заметил в поведении директора нарастающую холодность к нему. Она проявляется неявно: там похвальное слово о Петере Фишере, здесь сухая ремарка Якобу, и недавно «незаменимый де Зут» опасается, что его ореол потихонечку меркнет. Ван Клиф тоже не решается на ответ директору. Давным-давно у него появилась способность отличать риторические вопросы от тех, что по существу. Капитан Лейси откидывается на спинку скрипнувшего кресла, заложив руки за голову, и что-то очень тихо насвистывает. На японской стороне стола сидят переводчики Кобаяши и Ивасе и два главных писца.

— Мажордом магистрата, — объясняет Ивасе, — должен доставить послание сегуна очень скоро.

Унико Ворстенбос недовольно хмурится, разглядывая золотой перстень — печатку на пальце.

— А что Вильгельм Молчаливый, — интересуется Лейси, — думает о своем прозвище?

Старинные напольные часы идут мерно и громко. Мужчинам жарко, они молчат.

— Небо сегодня, — замечает переводчик Кобаяши, — переменчиво.

— Барометр в моей каюте, — соглашается Лейси, — обещает бурю.

На лице переводчика Кобаяши вежливость и невозмутимость.

— Бурю, — добавляет ван Клиф, — а то и тайфун.

— А-а, — понимает переводчик Ивасе. — Тайфун... мы говорим, тайфу.

Кобаяши потирает выбритую голову. «Похороны лета».

— Если сегун не согласится поднять квоту на медь, — говорит Ворстенбос, скрестив руки, — это будут похороны Дэдзимы. И острова, и тепленьких местечек переводчиков. Кстати, господин Кобаяши, правильно ли я понимаю из вашего молчания, что поиски украденной вещи, привезенной из Китая и принадлежащей Компании, не продвинулись ни на дюйм?

— Расследование движется, — отвечает главный переводчик.

— Со скоростью улитки, — цедит сквозь зубы директор. — Даже если мы остаемся на Дэдзиме, мне придется послать рапорт генерал-губернатору ван Оверстратену о том, с каким безразличием вы защищаете собственность Компании.

Якоб — спасибо острому слуху — слышит марширующие шаги. Ван Клиф тоже их слышит.

Заместитель директора подходит к окну и смотрит вниз, на Длинную улицу.

— А — а, наконец-то.

Два стражника встают по обеим сторонам двери. Знаменосец заходит первым: на знамени — символ сегуната Токугава, три листа мальвы. Входит мажордом Томине, держа священный пенал с документом на блестящем лакированном подносе. Все в комнате кланяются свитку, за исключением Ворстенбоса, который говорит: «Заходите, мажордом, садитесь и позвольте нам узнать, решило ли Его высочество в Эдо спасти этот остров от бедствий».

Якоб замечает еле скрываемую недовольную гримасу на лицах японцев.

Ивасе переводит слово «садитесь» и предлагает стул.

Томине брезгливо смотрит на иностранную мебель, но у него нет выбора.

Он кладет лакированный поднос перед переводчиком Кобаяши и кланяется.

Кобаяши кланяется ему в ответ, кланяется пеналу и пододвигает поднос директору.

Ворстенбос берет цилиндр, запечатанный с одной стороны трехлистной печатью, и пытается его открыть. Потом пытается открутить крышку. Ищет рычажок или какой-нибудь намек на способ открытия.

— Простите, господин директор, — шепчет Якоб, — нужно проверить по часовой стрелке.

— О-о, сзади наперед и вверх тормашками, как и вся эта чертова страна...

Из пенала выскальзывает пергамент, туго намотанный на два стержня из вишневого дерева.

Ворстенбос раскатывает свиток над столом, вертикально, как принято в Европе.

Якобу хорошо виден весь документ. Орнаментные колонки знаков кандзи предстают перед глазами клерка, и он узнает эти символы: уроки голландского языка Огаве Узаемону полезны и ему, и теперь в его тетради — около пятисот разных символов. Тайный студент узнает «дать», потом — «Эдо», в следующей колонке — «десять»...

— Естественно, — вздыхает Ворстенбос, — никто в канцелярии сегуна не пишет на голландском. Ктонибудь из вас, гениев, — он смотрит на переводчиков, — решится помочь?

Напольные часы отсчитывают одну минуту, две, три...

Глаза Кобаяши бегают по документу — вниз, вверх и поперек.

«Не такое уж письмо сложное и длинное, — думает Якоб. — Он просто тянет время».

Неспешное чтение переводчик сопровождает задумчивыми кивками.

В других помещениях резиденции директора слуги заняты своими делами.

Ворстенбос не позволяет Кобаяши и дальше наслаждаться чтением, резко высказывая свое нетерпение.

Кобаяши энергично откашливается, открывает рот...

— Я прочитаю еще раз, чтобы избежать ошибок.

«Если бы взгляд мог убивать, — думает Якоб, наблюдая за Ворстенбосом, — Кобаяши уже орал бы, корчась в муках».

Проходит минута. Ворстенбос поворачивается к Филандеру, своему рабу:

— Принеси мне воды.

Со своей стороны стола Якоб продолжает изучать свиток сегуна.

Проходит две минуты. Филандер приносит кувшин.

— Как, — Кобаяши обращается к Ивасе, — перевести «роджу» на голландский?

Подумав, Ивасе отвечает: «Первый министр».

— Теперь, — объявляет Кобаяши, — я готов перевести послание.

Якоб окунает только что заостренное перо в чернильницу.

— Послание гласит: «Первый министр сегуна шлет сердечное

приветствие генерал-губернатору ван Оверстратену и главе голландцев на Дэдзиме Ворстенбосу. Первый министр заказывает... — переводчик пристально вглядывается в свиток, — ...одну тысячу вееров из самых лучших павлиньих перьев. Голландский корабль должен отвезти этот заказ в Батавию, чтобы веера из павлиньих перьев прибыли в следующий торговый сезон».

Перо Якоба дописывает последние слова.

Капитан Лейси шумно рыгает. «Устрицы на завтрак... несвежие...»

Кобаяши смотрит на Ворстенбоса, словно ожидая ответа.

Ворстенбос выпивает стакан воды.

— Что там о меди?

С наглостью невинного Кобаяши моргает и отвечает:

— В послании ничего нет о меди, господин директор.

— Не говорите мне, — вена пульсирует на виске Ворстенбоса, — господин Кобаяши, что это все послание.

— Нет, — Кобаяши смотрит в левый угол свитка. — Первый министр также надеется, что осень в Нагасаки будет спокойная, а зима — мягкая. Но я подумал, что это не относится к главному.

— Одна тысяча павлиньих вееров, — ван Клиф протяжно свистит.

— Лучших павлиньих вееров, — поправляет его Кобаяши без тени смущения.

— Дома, в Чарлстоне, — говорит капитан Лейси, — мы называем такое письмо прощением.

— Здесь, в Нагасаки, — отвечает Ивасе, — мы называем его приказом сегуна.

— Эти сукины дети в Эдо, — спрашивает Ворстенбос, — играют со мной?

— Хорошие новости в том, — заявляет Кобаяши, — что Совет старейшин продолжает обсуждение вопроса о меди. Несказанное «нет» — уже наполовину «да».

— «Шенандоа» отплывает через семь-восемь недель.

— Медная квота, — Кобаяши поджимает губы, — сложный вопрос.

— Напротив, очень простой. Если двадцать тысяч пикблей меди не приедут на Дэдзиму к середине октября, единственное окошко этой варварской страны заложат кирпичом. Там, в Эдо, решили, что генерал-губернатор шутит? Они думают, это я написал ультиматум?

«Ну, — говорит пожатие плеч Кобаяши, — я тут ничего не могу поделывать...»

Якоб откладывает в сторону перо и изучает ответ первого министра.

— Как отвечать Эдо про павлиньи веера? — спрашивает Ивасе. — «Да» может помочь...

— Почему мои петиции должны ждать, — вопрошает Ворстенбос, — решения императорской власти, и в то же время свита чего-то хочет, а мы обязаны что-то делать? — Он щелкает пальцами. — Этот министр полагает, что павлины — голуби? Может, еще несколько ветряных мельниц порадуют его просветленный взгляд?

— Павлиний веер, — говорит Кобаяши, — очень хороший подарок первому министру.

— Мне надоели, — Ворстенбос обращается с жалобой к небесам, — надоели эти проклятые... — он стучит свитком по столу, и японцы ахают от такого неуважения к посланию из Эдо, — ...«знаки внимания». По понедельникам чистильщик помета сокола магистрата просит рулон бангалорского ситца, по средам дрессировщику старейшей обезьяны в городе нужна коробка перчаток, по пятницам его светлость Такой-Сякой из Такого-Всякого восхищается столовым набором с ручками из китовой кости. Он влиятельный друг иностранцев, так что, тру — ру — ру — ру, мне остается оловянная ложка. А когда нам нужна помощь, где все эти «влиятельные друзья иностранцев»?

Кобаяши наслаждается победой, упрятав ее под грустную маску сочувствия.

Якоб решается рискнуть:

— Господин Кобаяши?

Главный переводчик смотрит на клерка с неопределенным статусом.

— Господин Кобаяши, ранее, при продаже черного перца, произошел некий инцидент.

— Черт побери, — восклицает Ворстенбос, — каким боком этот черный перец связан с нашей медью?

— Je vous prie de m'excuser, monsieur, — уверяет Якоб своего начальника, — mais je crois savoir ce que je fais [\[37\]](#).

— Je prie Dieu que vous savez, — предупреждает его директор. — Le jour a déjà bien mal commencé sans pour cela y ajouter votre aide [\[38\]](#).

— Видите ли, — Якоб обращается к Кобаяши, — господин Оувеханд и я поспорили с одним торговцем о китайских иероглифах — кандзи, так, мне кажется, их называют?

— Кандзи, — говорит Кобаяши.

— Извините, кандзи — для цифры десять. В Батавии от китайского купца я выучил несколько цифр, и, скорее всего, он неразумно использовал

мои ограниченные познания вместо того, чтобы обратиться в Гильдию, где бы нам дали переводчика. Страсти разгорелись, и, боюсь, обвинения в нечестности могут быть предъявлены одному из ваших соотечественников.

— Какая... — Кобаяши предчувствует приближение еще одного унижения голландцев, — ...кандзи вызвала сомнения?

— Но я сказал Оувеханду: нет, настоящая кандзи для «десяти» рисуется так:

— Видите ли, господин Оувеханд сказал, что кандзи для обозначения «десяти»... — с напускной неловкостью Якоб рисует иероглиф в своем блокноте, — ... рисуется так...



— Но я сказал Оувеханду: нет, настоящая кандзи для «десяти» рисуется так:



Якоб рисует неровно, преувеличивая свое неумение.

— Торговец клялся, что мы оба не правы. Он нарисовал... — Якоб вздыхает и хмурится, — ...крест, мне кажется, такой:



— Я не сомневался, что торговец нас дурит, и сказал ему об этом. Не сочтет переводчик Кобаяши за труд объяснить мне, кто из нас прав, а кто нет?

— Число господина Оувеханда, — Кобаяши указывает на верхний знак, — это «тысяча», не «десять». Число господина де Зута тоже неправильное: оно означает «сто». Это, — он указывает на крест, — от плохой памяти. Торговец нарисовал вот что... — Кобаяши поворачивается к одному из писцов за кисточкой. — Это «десять». Две линии, да, но одна вертикальная, а другая — поперек...





Якоб виновато стонет и пишет цифры 10, 100 и 1000 рядом с рисунками. — Значит, они и есть правильные иероглифы для этих чисел?

Осторожный Кобаяши еще раз изучает числа и согласно кивает.

— Я чрезвычайно вам благодарен за помощь, — говорит Якоб и кланяется главному переводчику.

Кобаяши обмахивается веером.

— Больше нет вопросов?

— Только один, — продолжает Якоб. — Почему вы сказали, что первый министр сегуна запросил одну тысячу павлиньих вееров, когда в соответствии с номерами, которым вы меня только что научили, в письме указана более скромная сотня? — взгляды всех присутствующих следуют за пальцем Якоба, остановившимся на кандзи «сто» на свитке.

Над столом повисает могильная тишина. Якоб благодарит Бога.

— Тили — бом, тили — бом, — произносит капитан Лейси, — загорелся кошкин дом.

Кобаяши тянется к свитку.

— Письмо сегуна не для глаз клерка.

— Конечно нет! — взрывается Ворстенбос. — Это письмо для моих глаз, моих! Господин Ивасе, теперь вы переведите это письмо, чтобы мы могли проверить, сколько нужно вееров — одна тысяча или одна сотня Совету старейшин и девять сотен господину Кобаяши и его сообщникам? Но прежде, чем вы начнете, господин Ивасе, напомните мне: какое наказание полагается за умышленно неверный перевод приказа сегуна?!

За четыре минуты до четырех часов Якоб прикладывает промокательную бумагу к исписанному листу гроссбуха, лежащего на его столе на складе «Дуб». Выпивает очередную чашку воды, которая до последней капли выйдет потом. Затем клерк поднимает промокательную бумагу и читает заголовок: «Приложение 16. Истинное количество японской лакированной посуды, экспортированной из Дэдзимы на Батавию, не задекларированной в транспортных накладных, датированных 1793–1799 годами». Он закрывает черную книгу, закрепляет скобы и кладет ее в папку.

— Пока остановимся, Ханзабуро. Директор Ворстенбос вызвал меня на прием к четырем часам. Пожалуйста, отнесите эти бумаги господину

Оувеханду в офис.

Ханзабуро вздыхает, берет бумаги и в тоске покидает склад.

Якоб выходит вслед за ним, закрыв ворота на замок. Облепляющий воздух полон летящей пыли.

Обожженный солнцем голландец думает о Зеландии, о первых зимних снежинках.

«Иди по Короткой улице, — говорит он себе. — Возможно, увидишь ее издалека».

Голландский флаг на Флаговой площади еле колышется, почти бездвижен.

«Если хочешь изменить Анне, — думает Якоб, — зачем преследовать недостижимое?»

У Сухопутных ворот досмотрщик в поисках контрабанды просеивает корм для животных, привезенный в ручной тачке.

«Маринус прав. Нанять куртизанку. У тебя сейчас есть деньги...»

Якоб подходит по Короткой улице к Перекрестку, где шурует метлой Игнатиус.

Раб говорит клерку, что студенты доктора уже ушли.

«Один взгляд, — Якоб в этом уверен, — скажет мне: обиделась она за веер или наоборот?»

Он стоит там, где, может быть, прошла она. Два соглядатая наблюдают за ним.

Когда он доходит до директорской резиденции, на него набрасывается невесть куда бредущий Петер Фишер. «Ну-ну, а вы прям тот пес, который залез сегодня на сучку?» — От пруссака разит ромом.

Якоб догадывается, что Фишер намекает на утреннюю историю с веерами.

— Три года на этой забытой Богом каторге... Сниткер клялся, что я стану заместителем ван Клифа, когда он уедет. Он клялся! А потом вы, вы и ваша чертова ртуть, вы сошли на берег, в его шелковом кармане... — Фишер смотрит вверх на лестницу резиденции, его шатает. — Вы забываете, де Зут, что я не слабак и не простой клерк. Вы забываете...

— Что вы были стрелком в Суринаме? Вы каждый день напоминаете нам об этом.

— Украдешь мое законное повышение — и я переломаю тебе кости.

— Желаю вам более трезвого вечера, господин Фишер, чем вторая половина этого дня.

— Якоб де Зут! Я ломаю моим врагам кости — одну за другой...

Ворстенбос приглашает Якоба в свой кабинет с необычной в последние дни веселостью.

— Господин ван Клиф докладывает мне, что на вас ведрами льется недовольство господина Фишера.

— К сожалению, господин Фишер убежден, что каждую минуту своей жизни я посвящаю лишь одному: нанести урон его интересам.

Ван Клиф разливает рубинового цвета портвейн в три высоких бокала.

— ...но, возможно, главный мой обвинитель — это ром господина Грота.

— Несомненно другое, — говорит Ворстенбос. — Интересы Кобаяши сегодня сильно пострадали.

— Я никогда не видел, чтобы он так сильно поджимал хвост, — соглашается ван Клиф, — засунув его между коротких толстых ног.

На крыше резиденции птицы шуршат, стучат, издают пронзительные крики.

— Жадность затянула его в ловушку, господин директор, — говорит Якоб. — Я лишь захлопнул крышку.

— А ему все представляется иначе, — ван Клиф смеется в бороду.

— Когда я впервые увидел вас, де Зут, — начинает Ворстенбос, — я тотчас понял: вот честная душа в болоте человеческих крокодилов, остро заточенное перо среди затупленных огрызков, человек, который под чутким руководством станет директором к своему тридцатилетию! Ваша проникательность и знания этим утром спасли Компании деньги и уважение. Генерал-губернатор ван Оверстратен услышит об этом, даю слово.

Якоб кланяется в ответ. «Меня позвали, — гадают он, — чтобы назначить главным клерком?»

— За ваше будущее, — поднимает бокал директор. Он, его заместитель и клерк чокаются.

«Возможно, его недавняя холодность, — думает Якоб, — служила для того, чтобы никто не мог упрекнуть его в фаворитизме».

— В наказание Кобаяши пришлось писать в Эдо, — ван Клиф с наслаждением произносит эти слова, — что требование товаров от торговой фактории, которая исчезнет через пятьдесят дней, если не поступит медь, преждевременно и неразумно. Мы добьемся от него еще многих уступок.

Свет отражается от драгоценных камней (они сверкают, как звезды) на стрелках напольных часов.

— У нас есть, — голос Ворстенбоса меняется, — еще одно задание

для вас, де Зут. Господин ван Клиф вам все объяснит.

Ван Клиф выпивает свой бокал портвейна.

— Перед завтраком, идет ли дождь или ярко светит солнце, к господину Гроту заглядывает гость: провиантмейстер, который входит с туго набитым мешком, у всех на виду.

— Больше, чем кисет, — добавляет Ворстенбос, — меньше, чем наволочка.

— Затем он уходит с тем же мешком, таким же полным, у всех на виду.

— А что, — Якоб отгоняет разочарование: с повышением не сложилось, — говорит по этому поводу господин Грот?

— Если бы мы от него что и услышали, — отвечает Ворстенбос, — так это сказочку, которой он с большим удовольствием попотчевал бы и меня, и ван Клифа. Начальство, как вы однажды узнаете на собственном опыте, держит дистанцию от подчиненных. Но сегодняшнее утро доказывает, что у вас безошибочный нюх на мошенников. Вы колеблетесь. Вы думаете: «Никто не любит осведомителей», — и в этом, увы, правы. Но те, кто предназначен для высокой должности, де Зут, как вы, ван Клиф и я, не должны бояться кого-то пнуть или оттолкнуть локтем. Пообщайтесь сегодня вечером с господином Гротом...

«Это проверка, — понимает Якоб. — Они хотят выяснить, готов ли я при случае запачкать руки».

— Я давно уже приглашен к карточному столу повара.

— Видите, ван Клиф? Де Зут никогда не спрашивает: «Я должен?» Его интересуется лишь: «Каким образом мне это сделать?»

Якоб утешается мыслями об Анне, читающей новости об его повышении.

В послеобеденных сгущающихся сумерках ласточки летают вдоль аллеи Морской стены, и Якоб обнаруживает рядом с собой Огаву Узаемона. Переводчик что-то говорит Ханзабуро, после чего тот исчезает, а Огава сопровождает Якоба к соснам в дальнем конце острова. Под застывшими во влажном воздухе деревьями Огава останавливается, успокаивает очередного соглядата дружеским приветствием и понижает голос: «В Нагасаки только и говорят о случившемся этим утром. О переводчике Кобаяши и веерах».

— Возможно, в будущем он оставит попытки так бесстыдно нас обдирать.

— Недавно, — говорит Огава, — я предупреждал вас, что Эномото может стать опасным врагом.

— Я очень серьезно отнесся к вашему совету.

— Еще один совет. Кобаяши — маленький сегун. Дэдзима — его империя.

— Тогда мне повезло, что я не завишу от его «добрых услуг».

Огава хмурится — не понимает, что подразумевается под «добрыми услугами».

— Он навредит вам, де Зут-сан.

— Спасибо за вашу озабоченность, но я его не боюсь.

Огава смотрит по сторонам.

— Он может обыскать ваше жилище в поисках украденных вещей...

В сумерках чайки устраивают гвалт над кораблем, скрытым Морской стеной.

— ...или под предлогом поиска запрещенных вещей. Поэтому, если такая вещь есть в вашей комнате, пожалуйста, спрячьте.

— Но у меня ничего нет, — протестует Якоб, — из гою, что могут поставить мне в вину.

Щека Огавы чуть заметно дергается.

— Если есть запретная книга... спрячьте. Спрячьте под полом. Спрячьте очень хорошо. Кобаяши хочет отомстить. Вас накажут изгнанием. Переводчику, который проверял вашу библиотеку, когда вы приехали, может повезти меньше...

«Я чего-то не понимаю, — осознает Якоб, — но чего?»

Клерк открывает рот, чтобы задать вопрос, но необходимость в нем уже отпала.

«Огава знал о моем Псалтыре, — осеняет Якоба, — с самого начала».

— Я сделаю, как вы говорите, господин Огава, прежде чем я сделаю что-нибудь...

Два инспектора появляются из переулка Костей и идут по аллее Морской стены.

Не говоря более ни слова, Огава направляется к ним. Якоб уходит через Садовый дом.

Кон Туоми и Пиет Баерт встают, и их тени — в комнате горят свечи — уходят в сторону. Карточный стол импровизированный: дверь на четырех ножках. Иво Ост продолжает сидеть, жует табак; Вибо Герритсзон сплевывает на плевательницу, а не в нее. Ари Грот — сама приветливость, хорек, приглашающий в гости кролика. «Мы тут уж отчаялись, что вы когда-нибудь примете мое приглашение, да — а?» — Он откупоривает первую из двенадцати бутылей рома, выстроившихся на настенной полке.

— Предполагал заглянуть несколько дней тому назад, — отвечает Якоб, — но работа не отпустила.

— Хоронить репутацию Сниткера, — замечает Ост, — должно быть, утомительная работа.

— Да, — Якоб легко отражает первую атаку. — Как и подделка бухгалтерских книг. У вас тут уютно, господин Грот.

— Если б мне, знач, нравилось жить в ванне с мочой, — Грот подмигивает, — я бы остался в Энкхёйзене, да.

Якоб садится.

— Во что играем, господа?

— Плут и дьявол... наши немецкие кузены, знач, играют в нее.

— А — а, корнифель <sup>[39]</sup>. Я немного играл в нее в Копенгагене.

— Я удивлен, — говорит Баерт, — что вы знакомы с картами.

— Сыновья — и племянники — священников не так наивны, как все думают.

— Каждый из них, — Грот достает гвоздь из коробочки, — это минус один стювер <sup>[40]</sup> с жалованья. На кон мы всякий раз ставим по гвоздю. Семь взяток на раздачу, и кто, знач, взял больше, тому и кон. Заканчиваются гвозди — заканчивается игра.

— Но как получить выигрыш, если жалованье в Батавии?

— Немного бумажной волокиты. Вот... — он взмахивает листом бумаги, — ...все записано, кому, знач, с кого и кем, а заместитель директора ван Клиф вписывает наши расчеты в книгу жалованья. Господин Сниткер это разрешил, потому что знал, как такие мужские забавы поддерживают тонус.

— Господин Сниткер был желанным гостем, — говорит И во Ост, — до того, как потерял свободу.

— Фишер, и Оувеханд, и Маринус сами по себе, но вы, господин де З., скроены из более веселого сукна...

На полке уже девять бутылей рома. «И я удрал от своего отца, — рассказывает Грот, поглаживая свои карты, — прежде, чем он вырвал мне печень, и, знач, потопал в Амстердам в поисках удачи и настоящей любви, — он наливает еще стакан рома цвета мочи. — Но любовь видел только одну: деньги до и триппер после, а удачи вообще никакой. Нашел только голод, снег да лед, а еще воров, которые кормились слабыми, как собаки... Деньги, знач, должны работать, думаю я, и трачу все свое «наследство» на тележку с углем, но банда угольщиков утопила мою тележку в канале, а потом и меня, с криками: «Это наше место, вали

отсюда, дворняга фристандская! Вернешься, снова тебе баню устроим». Этот урок по монополии и ледяное купание привели к тому, что я неделю валялся в своей дыре с лихорадкой, а затем ла-асковий хозяин пинком вышиб меня на улицу. В сапогах дыры, жрать нечего, да еще вонь от тумана, сел я на ступеньках Ньюиверка, думаю: мож, стырить еду, пока сил на бег хватает, или прям тут замерзнуть и на том покончить со всем...»

— Стырить да бежать, — говорит И во Ост. — Каждый раз.

— И тут, знач, появляется этот кент в цилиндре, трость с набалдашником из слоновой кости, да еще вежливый. «Знаешь, паренек, кто я такой?» Я, само собой, отвечаю: «Не знаю». А он мне: «Я, паренек, твое будущее благополучие». Подумал я, что он меня в церковь потянет, а я такой голодный, что евреем бы стал за чашку каши, но — нет. «Ты слышал о благородной и процветающей голландской Ост-Индской компании, паренек?» Я отвечаю: «Кто ж о ней не слышал?» «Знач, — говорит он, — тебе известно, что Компания предлагает работу крепким и решительным парням по всему Богом созданному голубому с золотом шару, да?» Тут я соображаю, что к чему, и говорю: «Да, известно, понятное дело». Он и говорит: «Я старший вербовщик в амстердамской штаб-квартире Компании, и зовут меня Дьюк ван Эйс. Что ты скажешь, если я предложу тебе полугульден с твоего будущего жалованья сейчас, плюс жилье да еду до отплытия следующей флотилии Компании на таинственный Восток?» Я и отвечаю: «Дьюк ван Эйс, спаситель вы мой». Господин де З., наш ром вам не по душе?

— Желудок у меня шалит, господин Грот, а так он очень вкусный.

Грот кладет пятерку бубен: Герритсзон шлепает по ней дамой.

— Бью! — Баерт припечатывает сверху пятеркой козырей и забирает гвозди.

Якоб сбрасывает какую-то мелкую черву.

— И что ваш спаситель, господин Грот?

Грот проверяет свои карты. «Этот господин привел меня к какому-то ветхому дому за тюрьмой Распхюйс, на улице, где, знач, одни азиаты живут, и офис у него ободранный, но там сухо и тепло, а запах бекона тянется откуда-то снизу, с нижних комнат, и пахло та — а-ак хорошо! Я даже спросил: мож мне кусочек бекона или два, а этот ван Эйс смеется и говорит: «Пиши свое имя здесь, парень, и после пяти лет на Востоке ты сам себе дворец построишь из копченой свинины!» Не знал я, как писать, как читать тогда, в то время, зачернил палец и прижал к бумаге. «Замечательно, — говорит ван Эйс, — а это тебе задаток, я ж держу свое слово». Он заплатил мне мой новехонький, гладенький полугульден, и не

было в тот миг человека счастливее меня. «Остальное получишь на корабле «Адмирал де Рюйтер», который отплывает тридцатого или тридцать первого. Похоже, ты не против того, чтобы пожить вместе с другими такими же крепкими да решительными парнями — своими будущими соседями по кораблю и партнерами по процветанию?» Любая крыша над головой лучше, чем никакая, и я, знач, взял свои деньги и ответил: «Совсем не против».

Туоми сбрасывает ненужную бубну. Иво Ост-четверку пик.

— Повели меня двое слуг, — продолжает Грот, изучая свои карты, — вниз по лестнице, а я даже не пикнул, пока, вдруг, слышу, ключом замок за мной закрыли. В камере, не больше этой комнаты, сидело двадцать четыре парня моих лет или старше. Одни уже неделями сидели; другие — как скелеты, кровью харкают... О-о, как я по двери колотил, чтоб открыли, а этот, весь в струпьях, здоровенный хряк подкатился ко мне и говорит: «Ты лучше дай мне полугульден щас на сохрану». Я ему: «Какой полугульден?» А он говорит: или я ему сам отдам, или он меня отделает, и все равно возьмет. Я спрашиваю: когда нас на воздух выводят размяться да надыхаться. «Нас не выведут, — говорит он, — пока корабль не придет или мы не откинемся. А щас — деньги». Я б мог наврать, что вербовщик не дал, но Ари Грот — не врун. Он не шутил про откинувшихся: восемь таких же «крепких да решительных парней» лежали по двое в одном гробу. Железная решетка в окне на улицу — для света да воздуха, вишь как, да жрачка такая херовая, что не знаешь, какое ведро с едой, а какое — с говном...

— Почему ж вы двери не сломали? — спрашивает Туоми.

— Железные двери да охрана с дубинками шипастыми, вот почему. — Грот снимает с головы вошь. — О-о, я нашел способ выжить, чтоб рассказать вам все. Это мое хобби — искусство выживания. И в тот день, когда нас повели к телегам, чтобы отвезти на «Адмирал де Рюйтер», связанных друг с другом, как воришек, я дал себе три клятвы. Первая: никогда не верь ни одному кенту, который говорит: «Мы о тебе позаботимся». — Он подмигивает Якобу. — Вторая: никогда не будь бедным, хоть как-нибудь, но не будь, чтоб такой прыщ, как ван Эйс, не смог продать тебя да купить, как раба. Третья? Получить назад мой полугульден с этого хряка прежде, чем доплывем до Кюрасао. Моей первой клятвы я держусь и по сей день. Вторая... ну, у меня есть надежда, что Ари Грот не закончит свою жизнь в могиле для нищих. А третья — о, да — а, я получил свой полугульден той же ночью.

Вибо Герритсзон ковыряет в носу и спрашивает:



— Как?

Грот смешивает карты.

— Я сдаю, морячки.

Пять бутылей рома на полке. Моряки пьют больше клерка, но Якоб чувствует, как тяжелеют его ноги. Корнифель, он знает, сегодня денег ему не принесет.

— Буквам, — рассказывает Иво Ост, — нас учили в сиротском доме, и арифметике, и Священному Писанию: о — очень большая доза Библии и молитвы в часовне дважды в день. Евангелие заставляли заучивать слово в слово, а ошибка каралась ударом тростью. Какой бы пастор из меня вышел! Хотя — кто стал бы выслушивать Десять Заповедей от «непонятно чьего сына»? — Он сдает по семь карт каждому игроку. Переворачивает верхнюю карту на оставшейся колоде. — Бубны козыри.

— Я слышал, — говорит Грот, кладя восьмерку крестей, — Компания послала одного охотника за головами, черного, как, знач, сажа, в пасторскую школу в Лейдене. С тем, чтобы он вернулся в джунгли и указал людоедам путь истинный, чтоб они стали мирными и пушистыми. Библия — это ж дешевле, чем винтовки и все такое.

— Но винтовки-то веселее, — вставляет Герритсзон. — Бах — бах — бах.

— Какой прок от раба, — спрашивает Грот, — если в нем столько дыр? Баерт целует свою карту и кладет даму крестей.

— Эта сучка — единственная на Земле, — говорит Герритсзон, — позволяет тебе делать это.

— С сегодняшним выигрышем, — заявляет Баерт, — я могу заказать себе златокожую мадам.

— Вам в приюте дали такую фамилию, господин Ост? «Я бы никогда не задал этот вопрос трезвым», — ругает себя Яков.

Но Ост, размякший от рома Грота, совсем не злится на вопрос. «Да, там. Ост-это от Ост-Индской компании, которая основала тот приют, а кто б сказал, что нет во мне крови Востока? Иво — потому что меня оставили на ступеньках сиротского дома двадцатого мая, под день святого Иво. Мастер Драйвер, который этот дом возглавлял, постоянно говаривал, что Иво — это мужское производное от Евы, чтоб я помнил, в каком грехе меня родили.

— Богу интересны поступки человека, — откликается Якоб, — а не обстоятельства его рождения.

— Жаль только, что за моей спиной стояли такие волки, как Драйвер, а

не Бог.

— Господин де Зут, — обращается к нему Туоми, — вам ходить.

Якоб кладет пятерку червей, Туоми — четверку.

Ост проводит углами карт по своим яванским губам.

— Я вылез из чердачного окошка, над палисандровым деревом, и там, к северу, за Старым фортом, увидел полоску синего... или зеленого... или серого... и запах рассола перебивал канальную вонь, и корабли казались живыми, ветер надувал паруса, и я сказал этому дому: «Ты не мой дом», и я сказал этим волкам: «Вы мне не хозяйева», и я сказал морю: «Потому что ты — мой дом». А потом я иногда заставлял себя верить, что море мне ответило: «Да, я твой дом, и придет день, когда я позову тебя к себе». Сейчас—то я знаю, что не говорило, но... несешь свой крест, как можешь, правда? Так я и рос все эти годы, и, когда волки били меня «во имя моего блага», я мечтал о море, ведь я не знал тогда его крутого нрава... ну и что, да — а, пусть и не был еще я на корабле... — Он выкладывает пятерку крестей.

Баерт выигрывает сдачу: «Теперь могу и двойняшек златокожих вызвать на ночь...»

Герритсзон отдает семерку бубен, объявляя: «Дьявол».

— Чертов ты Иуда, — говорит Баерт, теряя десятку крестей, — чертов ты Иуда.

— И что, — спрашивает Туоми, — море позвало, Иво?

— На двенадцатый год — или когда директор решал, что тебе исполнилось двенадцать — нас приобщали к полезному труду. Девочки шили, пряли, стирали. Нас, ребят, отдавали плотникам и бочкарям, офицерам в денщики, иль в порт грузчиками. Меня определили к канатному мастеру, и я выдергивал пеньку из старых канатов. Мы обходились дешевле, чем слуги, дешевле, чем рабы. Драйвер эти деньги в карман себе клал, а нас чуть больше сотни работало, так что ему хватало. Но зато нас отпускали за стены приюта. Без всякой охраны: а куда бежать? В джунгли? Я же не знал батавских улиц, лишь от приюта до церкви. Но понемногу начал ориентироваться, с работы возвращался кружным путем, мастер посылал меня то на китайский базар, то в порт, и я бродил мимо пристаней, довольный, как амбарная крыса, глазел на моряков с разных стран... — Иво Ост кладет валета бубен, выигрывая сдачу. — Дьявол Папу бьет, а плутишка — дьявола.

— Так гнилой зуб разболелся, — говорит Баерт, — мочи нет терпеть.

— Сыграно мастерски, — хвалит Грот, сбрасывая какую-то мелкую карту.

— Однажды, — продолжает Ост, — мне уже было четырнадцать, или около того, я нес бухту веревки для какого-то лавочника и увидел такой чистенький бриг, маленький, ухоженный, и с фигурой на носу корабля... фигурой женщины. «Сара — Мария» звался бриг, и я... я услышал голос, как будто голос, но без голоса, говорящий мне: «Это твой корабль, и сегодня тот день».

— Ну теперь все ясно, — бормочет Герритсзон, — как французский нужник.

— Вы слышали, — подсказывает Якоб, — что-то вроде внутреннего приказа?

— А что бы ни было — я взлетел вверх по сходням и ждал, притаившись, пока главный, который командовал и кричал, меня увидит. А он все не видел, тогда я всю смелость в горсть собрал и говорю: «Извините, господин». Он уставился на меня и как р-рыкнет: «Кто эту рвань сюда пустил?» Я вновь попросил прощения и сказал, что хочу сбежать в море, и, мож, он поговорит с капитаном? Я не думал, что он рассмеется, так он рассмеялся, а я опять прощения попросил и сказал, что не шутил. Он говорит: «А что твои мамка да папка обо мне подумают, когда услышат, что я тебя умыкнул в море без их прости-прощай? И почему ты уверен, что моряком станешь, после всех пинков — тычков, да жары — холода, да настроения главного по грузу, а тут все знают, что он — слуга дьявола?» Я лишь сказал, что мои мамка да папка ничего не скажут, потому что рос в приюте, а если я выжил там, то, прощения прошу, не боюсь ни моря, ни злого главного по грузу... и он не смеялся больше и не говорил ехидно, а лишь спросил: «А твои опекуны знают, что тебе хочется связать жизнь с морем?» Я признался, что Драйвер с меня кожу снимет живьем, если узнает. Тогда он решил и сказал: «Меня зовут Даниэль Сниткер, и я главный по грузу на «Саре-Марии», и мой юнга умер от лихорадки». На следующий день они отправлялись на Банду за мускатным орехом, и он пообещал, что капитан запишет меня в вахтенный журнал, но пока «Сара Мария» стояла там, он велел, чтоб я спрятался среди моряков. Я ему повиновался, но меня увидели на бриге, и директор послал за мной трех больших плохих волков, чтоб вернуть его «украденную собственность». Господин Сниткер и команда выбросили их в воду.

Якоб гладит сломанный нос. «А я его спасителя помогаю осудить».

Герритсзон сбрасывает ненужную пятерку крестей.

— Похоже, — Баерт кладет гвозди в кошель, — меня зовет домик нужды.

— А чо ты выигрыш с собой тащишь? — спрашивает Герритсзон. —

Не доверяешь нам?

— Скорее я свою печень поджарю, — отвечает Баерт, — со сметаной и лучком.

Две бутылки рома на полке, похоже, не переживут ночь.

— С колечком свадебным в кармане, — шмыгает носом Пиет Баерт, — я... я...

Герритсзон сплевывает: «О-о, кончай болтовню о своей драной кошке!»

— Ты так говоришь, — лицо Баерта каменеет, — потому что тебя, кабана сраного, никто никогда не любил, а моей любимой не терпелось выйти за меня, а я думал: «Наконец-то все плохое позади». Все, что нам только требовалось, так это благословение отца Нелти, и мы б поплыли по центральному проходу к алтарю. Ее отец пиво разносил в Сен-Поль-сюр-Мере, и я туда направился тем вечером. Но Дюнкерк — очень странный город, да еще дождь лил, как из ведра, и уже темнело, и улицы кругами какими-то, все назад возвращают, и, когда я зашел в таверну, чтоб узнать дорогу, смотрю, а у официантки не буфера, а два веселых поросенка, и она засияла вся, чисто ведьма, и говорит: «Ой-ой-ой, тебя ж занесло не на ту сторону города, мой бедный маленький барашек!» Я говорю: «Пожалуйста, сударыня, я просто хочу попасть в Сен-Поль-сюр-Мер», а она мне: «Куда торопишься? Али наша таверна не по тебе?» — и как тряхнет своими поросятками. Я отвечаю: «Да ваша таверна замечательная, сударыня, но моя любовь ненаглядная Нелти ждет меня с отцом, чтоб я руки его дочери попросил и повернулся спиной к морю. А официантка спрашивает: «Так ты морячок?» — и я говорю: «Был, да весь вышел», и она как завопит на всю таверну: «Кто ж не выпьет в честь Нелти, самой счастливой девчушки во Фландрии?» — и сует стопку джина мне в руку, и говорит: «Немножко, чтоб косточки согрелись», и обещает, что ее брат отведет меня в Сен-Поль-сюр-Мер, потому что ночью на улицах Дюнкерка бандитов пруд пруди. И я думаю: «Ладно, конечно, все же плохое далеко-далеко в прошлом», — и подношу стопку к губам.

— Игривая девка, — замечает Ари Грот. — Что за название у таверны-то?

— Назовут Пепелищем прежде, чем я еще раз из Дюнкерка уйду: тот джин полился в желудок, и голова поплыла, и лампы погасли. Потом сны какие-то плохие, видения, потом я просыпаюсь, качаюсь туда-сюда, словно в море, и со всех сторон окружен телами, как виноградина в прессе для отжима, и я думаю: «Все еще сплю», — но эта холодная блевота,

залепившая мне ушную раковину, не похожа на сон, и я кричу: «Боже, я ж мертвый!» — а какой-то демон кудахчет мне смехом: «Никакой рыбе так легко с этого крючка не слезть!» и могильный голос говорит: «Тебя опоили, дружище. Мы на борту «Мстителя» [\[41\]](#), и мы плывем по Ла-Маншу на запад», а я говорю: «Какого такого «Мстителя»?» — и как вспомню о Нелти и закричу: «Но этим вечером я должен обручиться с моей любовью единственной!» — а демон отвечает: «Здесь тебя ожидает одно обручение, брат, морское», и я думаю: «Бог ты мой, Иисус Христос, кольцо Нелти», — и рукой шевелю, чтоб карман проверить, но нет там никакого кольца. Я в отчаянии. Плачу — рыдаю. Зубами скрежещу. Но ничего не помогает. Наступает утро, и нас выводят на палубу и выстраивают в линию перед пушками. Большинство похожи на южных голландцев, и тут капитан появляется. Парижский хорек, а первым помощником у него волосатый здоровяк, которому только дай кому в зубы врезать, баск. «Я капитан Ренодин, — говорит он, — а вы — мои привилегированные добровольцы. Нам приказано прибыть на рандеву с конвоем, везущим зерно из Северной Америки, и сопроводить его до территории Республики. Британцы попробуют нас остановить. Мы разнесем их в щепки. Вопросы?» Один решается — швейцарец — голос подает: «Капитан Ренодин: я принадлежу к общине меннонитов, и моя религия запрещает мне убивать». Ренодин говорит своему первому помощнику: «Мы не должны доставлять неудобств этому стороннику братской любви», — и здоровяк — баск хватает швейцарца и швыряет за борт. Мы слышим, как он кричит о помощи. Мы слышим, как он молит о помощи. Мы слышим, как мольбы замолкают. Капитан спрашивает: «Еще вопросы?» Ну, силы ко мне быстро вернулись, так что спустя две недели, когда английский флот повстречался с нами первого июня, я уже сыпал порох в орудие калибра двадцать четыре дюйма. Третья битва при Уэссане, так называют случившееся потом французы, а англичане — «Славное первое июня». Стрельба по кораблю с десяти футов через орудийные порты, может, и «славно» для Джонни Ростбифа, но по мне — ничего славного. Разорванные тела корячатся в дыму; о да, мужчины больше и здоровше тебя, Герритсзон, зовут мамочек через дыры в горле... а ванна, которую тащат из операционной, полна... — Баерт наполняет стакан. — Э-эх, когда «Брунsvик» продырявил нас по ватерлинии и мы знали, что тонем, «Мститель» мало чем напоминал боевой корабль: бойня... просто бойня... — Баерт смотрит на ром, потом — на Якоба. — Что меня спасло тогда, в тот ужасный день? Пустая бочка из-под сыра плыла рядом — вот что. Всю ночь я за нее цеплялся, слишком замерзший, слишком слабый, чтоб акул бояться. Рассвет пришел, а с ним и

шлюп под британским флагом. Вытащили меня на палубу и заголосили на своей птичьей тарабарщине... не обижайся, Туоми.

Плотник пожимает плечами: «Мой родной язык ирландский, господин Баерт».

— Один просоленный моряк переводит: «Помощник капитана спрашивает, откуда ты?» — и я говорю: «Из Антверпена: французы заставили меня, проклятье на весь их род». Просоленный переводит это; и потом моряки еще трещат, и просоленный переводит. Смысл в том, что я не Frenchi, значит, у них не пленник. От благодарности я чуть не расцеловал им сапоги! Но потом они мне говорят, что я добровольно стал моряком флота Ее Величества и получу соответствующее жалованье и новое обмундирование... ну, почти новое. А если бы я не стал добровольцем, хошь иль нет, пришлось бы все равно пахать, отрабатывая жрачку и постой. Чтоб унынью не предаваться, я спросил, куда мы приписаны, думая: найду способ как-нибудь улизнуть с корабля в Грейвсенде или в Портсмуте и пробраться в Дюнкерк к моей Нелти за неделю-другую... а тот просоленный говорит: «Наш следующий порт — остров Вознесенья, зайдем туда за провизией — там тебе на сушу не попасть, а оттуда пойдём в Бенгальский залив»... — и тут я, взрослый мужик, залился слезами...

Рома не осталось ни капли. «Госпожа Удача этой ночью проявила к вам безразличие, господин де З., — Грот задувает все свечи, кроме двух. — Но всегда ж будет другой день, да — а?»

— Безразличие? — Якоб слышит, как уходят игроки, закрыв за собой дверь. — Меня ободрали.

— Ваши ртутные деньжата сохранят нас от голода и чумы еще долгое время, так? Рискованно вели себя при торге, господин де З., но пока настоятель, знач, волен прощать вам, два оставшиеся ящичка могут принести цену получше. Только подумать, сколько бы восемьдесят ящичков принесли вместо восьми.

— Такое количество, — голова Якоба гудит от выпитого рома, — нарушило бы...

— Правила компании о частной торговле, угу, погнулись б правила, но деревья, чтоб пережить сильный ветер, тоже гнутся, или нет?

— Точной метафоре не сделать неправильное правильным.

Грот возвращает драгоценные пустые бутылки на полку.

— Вы получили пятьсот процентов прибыли. Слухи путешествуют, у вас, знач, лишь два сезона, не больше, прежде чем китайцы займут этот рынок. Заместитель директора ван К. и капитан Лейси — у них весомый

капитал в Батавии, и они не те люди, чтоб говорить: «О, нет-нет, ни за что, я не могу, моя квота — лишь восемь ящиков». Или сам директор займется этим.

— Директор Ворстенбос здесь для того, чтобы искоренять коррупцию, а не помогать ей.

— Интересы директора Ворстенбоса пощипала война, как и всех.

— Директор Ворстенбос слишком честный человек, чтобы наживаться за счет Компании.

— Какой человек не самый честный в собственных глазах? — Круглое лицо Грота в темноте похоже на бронзовую луну. — Не добрые намерения дорогу в ад мостят: самооправдание, и ничто другое. Коль мы заговорили о честных, чем вызвано сегодняшнее удовольствие лицезреть вас в нашей компании?

Ночной сторож на аллее Морской стены отстукивает деревянной колотушкой наступление очередного часа.

«Я слишком пьян, — думает Якоб, — чтоб хитрить».

— Я здесь по двум деликатным причинам.

— Мои губы замазаны и запечатаны, клянусь далекой могилой моего папеньки.

— Ну тогда, честно говоря, директор подозревает, что... происходят хищения...

— Святые мои! Только не хищения, господин де Зут! Только не на Дэдзиме!

— ...связанные с одним провиантмейстером, который приходит к вам на кухню каждое утро...

— Много разных провиантмейстеров приходит ко мне на кухню каждое утро, господин де З.

— ...его небольшой мешок полон, когда он уходит, и так же полон, когда он приходит.

— Очень рад, что надо развеять это, знач, непонимание. Вы можете сказать господину Ворстенбосу, что ответ — лук. Ну да, луковицы. Гнилые, вонючие луковицы. Тот провиантмейстер — самая хитрющая бестия из всех. Каждое утро он пытается сбегать их мне, но некоторые мерзавцы никак не понимают, когда говоришь им: «Изыди, бесстыжий плут!» Вот и все, в чем тут признаваться?

Голоса рыбаков разносятся далеко в теплой и соленой ночи.

«Я не так пьян, — думает Якоб, — чтобы не заметить его наглости».

— Что ж, — клерк встает. — Нет нужды более тревожить вас.

— Нету? — Ари Грот становится подозрительным. — Знач, нету?

— Нет. Завтра еще один долгий день на Весовом дворе, так что мне остается пожелать вам доброй ночи.

Грот хмурится: «Вы упомянули две деликатные причины, господин де З.?»

— Ваша байка о луковицах, — Якоб нагибает голову, чтобы пройти в дверь, — требует обсуждения второй причины с господином Герритсзоном. Я поговорю с ним завтра утром, на трезвую голову. И новость, полагаю, будет для него неприятным откровением.

Грот загораживает проход Якобу:

— Что за вторая причина?

— Хочу обсудить с ним вашу игру в карты, господин Грот. В карнифель мы сыграли тридцать шесть партий, и из них вы сдавали двенадцать раз, и из тех двенадцати выиграла десять. Невероятный результат! Баерт и Ост могут и не заметить, что карты меченые, но Туоми и Герритсзон в этом разберутся. И это старый трюк, но тогда, в игре, я не принял его в расчет. Зеркал за нами нет; нет слуги, чтоб подсказал подмигиванием... я не понимал, в чем дело.

— Такая подозрительность, — тон голоса Грот становится прохладным, — ...у богобоязненного парня.

— Бухгалтерам свойственна подозрительность, господин Грот. Я никак не мог объяснить вашу удачу, пока не заметил, как вы поглаживаете пальцами верхний край карт, когда сдаете. Я тоже их погладил и почувствовал неровности — совсем крохотные царапины: валеты, семерки, короли и дамы, все карты помечены чуть ближе или чуть дальше от угла, согласно их статусу. Руки моряков, рабочих или плотников слишком мозолисты, но пальцы повара или клерка — совсем другое дело.

— Это обычай, — говорит Грот, сглотнув слюну, — что хозяину дома платят за доставленные неудобства.

— Утром мы выясним, какого мнения придерживается на этот счет господин Герритсзон. А теперь я точно должен...

— Такой приятный вечер. А если я верну вам вечерний проигрыш?

— Важна правда, господин Грот: одна лишь правда.

— Так, знач, вы платите за то, что я сделал вас богатым? Шантаж?

— А почему бы вам не рассказать побольше о тех луковицах?

Грот вздыхает, дважды.

— Ну вы и зануда, господин де З.

Якоб наслаждается этим «комплиментом наоборот» и ждет.

— Вы знаете, — начинает повар, — конечно же, знаете о корнях женьшеня?



— Я знаю, что японские аптекари ценят женьшень.

— Один китаец в Батавии, настоящий кент, шлет мне ящик каждый год. Все хорошо. Проблема в том, что магистратура вводит налог на каждый аукционный день: мы теряли шесть гульденов из десяти, пока доктор Маринус не упомянул о местном женьшене, который растет здесь, на берегах бухты, но не ценится. Так что я...

— Значит, этот человек приносит мешок местного женьшеня...

— ...и уходит, — Грот гордо распрямляет плечи, — с мешком китайского.

— Охране и досмотрщику у ворот не кажется это странным?

— Им платят, чтобы не казалось. А теперь и у меня есть вопрос к вам: как директор посмотрит на это? На это, знач, да на все остальное, разнуханное вами? Потому что Дэдзима живет этим. Покончите с приработком, и вы убьете Дэдзиму... и не увиливайте с вашим «это решать господину Ворстенбосу».

— Но это на самом деле решать господину Ворстенбосу, — Якоб открывает щеколду двери.

— Это неправильно, — Грот закрывает щеколду. — Это совсем неправильно. С одной стороны, знач, «частная торговля убивает Компанию», а потом «я никогда своих людей не брошу». Никак не может быть вместе: рыбку съесть и косточкой не подавиться.

— Занимайтесь всем честно, — говорит Якоб, — и не будет никакой дилеммы.

— Займусь всем «честно», и прибыли мне хватит лишь на картофельные очистки.

— Не я утверждаю правила Компании, господин Грот.

— Да уж, вы только всю ее грязную работу радостно делаете, так?

— Я выполняю приказы. А сейчас, если в ваши планы не входит похищение сотрудника Компании, откройте дверь.

— Кажется, легко — выполнять приказы, — говорит ему Грот, — но это не так.

## Глава 9. АПАРТАМЕНТЫ КЛЕРКА ДЕ ЗУТА В ВЫСОКОМ ДОМЕ

*Утро воскресенья  
15 сентября 1799 г.*

Якоб достает семейный Псалтырь де Зутов из-под половиц и встает на колени в углу, где молится каждый вечер. Прижавшись ноздрей к тоненькой щелочке между корешковой частью книги и переплетом, Якоб вдыхает влажный запах пасторского дома в Домбурге. Запах этот вызывает воспоминания о воскресных днях, когда прихожане, сгибаясь под холодным январским ветром, пробирались по мощеным улицам города к церкви, о пасхальных воскресеньях, когда солнце согревало бледные спины мальчиков, бесцельно слоняющихся у залива, об осенних воскресеньях, когда звонарь поднимался на церковную колокольню в пришедший из моря туман, чтобы позвонить в колокол, о воскресеньях короткого лета Зеландии, когда прибывали новые шляпы от модисток Мидделбурга, и о том Троицыном дне, когда Якоб озвучил дяде следующую мысль: если один человек может быть и пастором де Зутом из Домбурга, и моим с Гerti дядей, и братом матери, то Бог, Его Сын и Святой Дух точно неделимая Троица. Наградой ему стал поцелуй в лоб: единственный за все время, бессловесный, уважительный.

«Пусть они все будут там, — молится тоскующий по дому путешественник, — когда я вернусь».

Компания лояльна голландской реформистской церкви, но не уделяет почти никакого внимания вероисповеданиям ее работников. На Дэдзиме директор Ворстенбос, его помощник ван Клиф, Иво Ост, Грот и Герритсзон заявляют о своей принадлежности к голландской реформистской вере, но при этом японцы вряд ли бы потерпели любые массовые религиозные собрания. Капитан Лейси — последователь епископальной церкви; Понк Оувеханд — лютеранин; а католицизм представлен Пиетом Баертом и Коном Туоми. Последний признался Якобу, что каждое воскресенье устраивает несвятое подобие святой мессы и ужасно боится смерти без присутствия священника. Доктор Маринус упоминает Высшего Создателя тем же тоном, каким рассуждал бы о Вольтере, Дидро, Гершеле <sup>[42]</sup> и некоторых шотландских врачах: преклоняясь, но не обожествляя.

«А какому Богу, — спрашивает себя Якоб, — поклоняется японская

акушерка?»

Якоб обращается к Псалму 92, известному как «Штормовой Псалом».

«Возвышают реки, Господи, — читает он, — возвышают реки голос свой...»

Зеландец видит реку Вестерсхельдт между Флиссингеном и Брескенсом.

«...возвышают реки волны свои.

Но паче шума вод многих...»

Библейские штормы для Якоба кажутся штормами Северных морей, где тонет даже солнце.

«...сильных волн морских, силен в вышних Господь».

Якоб думает о руках Анны, ее теплых руках, ее живых руках.

Он ощупывает пулю в переплете и обращается к Псалму 150:

«Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на Псалтири и арфе»

[43].

Тонкие пальцы арфистки и раскосые глаза — это госпожа Аибагава.

«Хвалите Его с тимпаном и танцами» [44].

У танцовщицы царя Давида — обожженная щека...

Переводчик Мотоги — у него глубоко посаженные глаза — ожидает под навесом у здания Гильдии и замечает Якоба и Ханзабуро, лишь когда приглашенный клерк становится прямо перед ним.

— А — а! Де Зут-сан... Такой срочный вызов, мы опасаемся, обещает много проблем.

— Для меня это честь, — Якоб кланяется в ответ, — а не проблема, господин Мотоги...

Кули роняет корзину камфоры и получает пинок от купца.

— ...и господин Ворстенбос освободил меня на все утро, если понадобится.

Мотоги проводит его в здание, и мужчины снимают обувь.

Затем Якоб ступает на пол, поднятый от земли на уровень колена, и проходит в просторное помещение Гильдии, где раньше не бывал. За столами, поставленными словно в школе, сидят шестеро: переводчики Исохачи и Кобаяши — первого ранга, с изрытым оспой лицом Наразакэ и харизматичный, подвижный Намура — второго ранга; Гото — третьего ранга, который также и писец; и мужчина с внимательными задумчивыми глазами, представленный как Маэно, врач, который благодарит Якоба за возможность присутствия, «чтобы подлечить больной голландский».

Ханзабуро садится в угол и притворяется слушающим. Со своей стороны, Кобаяши прилагает все силы, чтобы показать, что хочет поскорее позабыть об инциденте с веерами из павлиньих перьев, и торжественно представляет Якоба: «Господин клерк де Зут из Зеландии» и «Человек глубоких знаний».

Человек глубоких знаний отвергает почести, и его скромность вознаграждается аплодисментами.

Мотоги объясняет, что по ходу работы переводчики встречаются со словами, которые неясны им, и Якоб приглашен, чтобы просветить их. Доктор Маринус часто ведет подобные неофициальные уроки, но сегодня он занят и сказал, что клерк де Зут достойно его заменит.

У каждого переводчика есть список слов, с которыми они не смогли справиться общими усилиями. Мотоги зачитывает их, одно за другим, и Якоб старается объяснить, как может: примерами, жестами, синонимами. Группа обсуждает подходящее японское слово, иногда проверяя предложенный вариант на Якобе, пока все не остаются довольны результатом. Простые слова: «запекшийся», «полнота» или «селитра», не задерживают их надолго. Более абстрактные термины: «сравнение», «выдумка» или «фокусировка» требуют уточнений. Понятия, не имеющие японского эквивалента, вроде «личная жизнь», «ипохондрик» или глагол «заслужить», занимают десять-пятнадцать минут, как и слова и словосочетания, требующие специальных знаний: «ганзейские», «нервные окончания» или «сослагательное наклонение». Там, где голландцы сказали бы: «Я не понимаю», переводчики, замечает Якоб, опускают глаза, чтобы учитель не просто объяснил, но также и проверил правильность понимания.

Два часа проходят со скоростью одного, но выматывают Якоба так, будто он работал четыре, и он благодарен за зеленый чай и короткий перерыв. Ханзабуро незаметно исчезает безо всякого объяснения. Во время второй половины занятия Наразаке спрашивает, чем «он уехал в Эдо» отличается от «он ездил в Эдо». Доктор Маэно хочет знать, в каких случаях надо использовать поговорку: «Мне от этого ни холодно ни жарко» <sup>[45]</sup>, а Намура спрашивает о разнице между «если увижу» и «если увидел». Якоб радостно вспоминает о своих скучных часах, проведенных в изучении школьной грамоты. Последняя серия вопросов этого утра исходит от переводчика Кобаяши:

— Пожалуйста, может клерк де Зут объяснить это слово: «реперкуссия».

Якоб отвечает:

— Последствия, результат действия. Реперкуссией излишней траты

денег будет бедность. Если я ем слишком много, то реперкуссией будет... — руки «рисуют» огромный живот, — ...жир.

Кобаяши спрашивает, что означает «среди бела дня». «Каждое слово я понимаю, но значение неясно. Можем ли мы сказать: «Я пошел в гости к господину Танаке среди бела дня»? Я думаю, нет, вероятно...»

Якоб упоминает о криминальном подтексте. «Особенно, когда у злодея — это плохой человек — нет ни стыда, ни страха быть пойманным. «Моего хорошего друга господина Мотоги ограбили среди бела дня».

— Чайник господина Ворстенбоса, — спрашивает Кобаяши, — украли среди бела дня?

— Подходящий пример, — соглашается Якоб, радуясь, что директор его не слышит.

Переводчики обсуждают различные японские эквиваленты, пока не сходятся на одном.

— Возможно, следующее слово, — продолжает Кобаяши, — простое: «бессильный» [\[46\]](#).

— «Бессильный» — противоположность «сильному» или «мощному». То же самое, что «слабый».

— Лев, — предлагает доктор Маено, — сильный, а мышь бессильная.

Кобаяши кивает головой и смотрит на свой лист.

— Далее: «счастливое неведение».

— Отсутствие сведений о каком-то несчастье. Пока человек об этом не знает, он счастлив и весел, всем доволен. Но, узнав, становится несчастным.

— «Счастливое неведение» мужа, — предлагает Хори, — когда жена любит другого.

— Да, господин Хори, — Якоб улыбается и вытягивает затекшие ноги.

— Последнее словосочетание, — говорит Кобаяши, — это из книги законов: «недостаток убедительных доказательств».

Прежде, чем голландец открывает рот, угрюмый полицейский Косуги появляется в дверях. За ним тащится взволнованный Ханзабуро. Косуги извиняется за вторжение и начинает что-то сухо говорить. Беспокойство Якоба нарастает, потому что Косуги упоминает имена его и Ханзабуро. В какой-то момент переводчики дружно ахают и смотрят на озадаченного голландца. Слово «вор» — доробо — использовалось несколько раз. Мотоги уточняет у полицейского подробности и сообщает: — Господин де Зут, полицейский Косуги принес плохую весть. Воры наведались в Высокий дом.

— Что? — срывается с губ Якоба. — Когда? Как они залезли ко мне?

Зачем?

— Ваш домашний переводчик, — добавляет Мотоги, — говорит, что «в этот час».

— Что они украли? — Якоб поворачивается к Ханзабуро, который очень волнуется от того, что обвинить могут его. — Что там можно украсть?

Лестница в Высоком доме выглядит не такой темной, как обычно: дверь в комнату Якоба сбита с петель, а внутри он видит, что и его заветный сундук тоже пострадал. Дырки насквозь с шести сторон показывают, что воры искали секретные отделения. Расстроенный видом разбросанных по полу, бесценных для него книг и альбомов для рисования, он сразу начинает их собирать. Переводчик Гото помогает ему в этом и спрашивает: «Какие-то книги пропали?»

— Точно сказать не смогу, — отвечает Якоб, — пока не соберу их все...

...но, похоже, ничего не украдено, и его драгоценный словарь истоптан ногами, но на месте.

«Но я не могу проверить Псалтырь, — думает Якоб, — пока не останусь один».

Непохоже, что это случится в скором будущем.

Он расставляет по местам свои немногочисленные пожитки, и в это время по лестнице поднимаются Ворстенбос, ван Клиф и Петер Фишер, и теперь в его комнате находится более десяти человек.

— Сначала мой чайник, — возмущается директор, — теперь этот новый скандал!

— Мы постараемся со всеми усилиями, — обещает Кобаяши, — найти воров.

Петер Фишер спрашивает Якоба: «Где был домашний переводчик во время ограбления?»

Переводчик Мотоги адресует вопрос Ханзабуро, и тот застенчиво отвечает. «Он идет на сушу на один час, — переводит Мотоги, — навестить очень больную мать».

Фишер насмешливо ржет.

— Я знаю, с кого я бы начал расследование.

Ван Клиф спрашивает: «Что взяли воры, господин де Зут?»

— К счастью, мой оставшийся ртутный порошок, а возможно, они охотились за ним, под тройным замком на складе «Дуб». Мои карманные часы со мной, как и, благодарение небесам, мои очки, и, похоже на первый

взгляд, что...

— Во имя Бога. — Ворстенбос поворачивается к Кобаяши. — Разве нас недостаточно грабит ваше правительство в ходе обычных торгов, без этих повторяющихся актов хищения имущества у частных лиц и собственности Компании? Жду вас в Длинной комнате через час, где я продиктую официальное письмо — жалобу в магистратуру, в котором будет представлен полный список вещей, украденных ворами...

— Готово, — Кон Туоми заканчивает установку двери, перемежая голландские слова ирландско — английскими. — Теперь им придется проломить стену, чтобы попасть внутрь.

Якоб подметает опилки. «Не проломают».

Плотник проверяет стуком дверную раму.

— Ваш сундук я почию завтра. Будет как новый. Это безобразие — среди бела дня, ведь, да?

— Зато у меня руки-ноги целы, — Якобу очень тревожно из-за Псалтыря.

«Если книги нет, — боится он, — воры тут же начнут меня шантажировать».

— Вот и все, — Туоми оборачивает инструменты промасленной тряпкой. — До ужина.

Как только ирландец выходит на лестницу, Якоб закрывает дверь на запор, передвигает кровать на несколько дюймов...

«Может, Грот заказал этот взлом, — раздумывает Якоб, — как месть за женьшень?»

Якоб поднимает половые доски, ложится и сует в щель руку, чтобы нащупать завернутую в парусину книгу...

Его пальцы находят Псалтырь, и он облегченно выдыхает. «Благоволит Господь к уповающим на милость Его» [\[47\]](#).

Он сдвигает половицы на прежнее место и садится на кровать. Он — в безопасности, Огава — в безопасности. «Тогда что же, — размышляет он, — не так?» Якоб чувствует, что не видит чего-то очень важного. Как с отчетом, в котором все сходится, хотя я знаю, что есть приписки или ошибка».

С Флаговой площади доносится стук молотков. Плотники припозднились.

«Спрятано на самом виду, — думает Якоб. — Среди бела дня». — Осознание бьет, словно обухом: вопросы Кобаяши были закодированной похвальбой. Взлом — посланием. Оно гласило: реперкуссия — за

вмешательство в мои дела, о которых ты находишься в «счастливом неведении» — происходит сейчас, «среди бела дня». Ты «бессилен» ответить чем-нибудь, потому что нет абсолютно никаких «убедительных доказательств». Кобаяши заявляет о своей причастности к ограблению и в то же время находится вне подозрений: как взломщик может быть вместе с жертвой в то же самое время на месте взлома? Если Якоб объявит о кодовых словах, его примут за сумасшедшего.

Дневная жара спадает, грохот молотков плотников уходит, Якоба мутит.

«Он хочет отомстить, да, — догадывается Якоб, — но злыдню при этом нужен и трофей».

Кроме Псалтыря, что еще, критически важного, могли у него украсть?

Температура воздуха начинает подниматься; шум нарастает; у Якоба стучит в голове.

«Самые новые рисунки в моем последнем альбоме, — понимает он, — который под подушкой...»

Дрожа, он откидывает подушку, хватая альбом, роняет его, развязывает тесемки, пролистывает к последнему рисунку, и у него перехватывает дыхание: рваные края вырванного листа с рисунками лица, рук и глаз госпожи Аибагавы, и где-то недалеко Кобаяши получает безмерное наслаждение, оценивая сходство оригинала и изображения.

При закрытых глазах эта картина становится еще более ясной и отчетливой.

«Пусть такого не будет», — молится Якоб, но его молитва остается без ответа.

Внизу открывается дверь. Медленные шаги поднимаются по лестнице.

Удивительный факт — Маринус сам идет к нему — добавляет неприятных ощущений к его и без того безутешному горю. «А если у нее отберут разрешение учиться на Дэдзиме?» Трость стучит по двери.

— Домбуржец!

— Сегодня у меня побывало слишком много незваных гостей, доктор.

— Открой дверь сейчас же, деревенский простофиля.

Якоб понимает, что открыть дверь — наименьшее зло.

— Пришли позлорадствовать, да?

Маринус обводит взглядом комнату клерка, подходит к окну, разглядывает Длинную улицу и сад внизу через стеклянно-бумажное окно. Он распускает и вновь собирает в пучок поблескивающие седые волосы.

— Что взяли?

— Ничего... — он вспоминает о словах Ворстенбоса. — Ничего



ценного.

— В случае взлома... — Маринус откашливается, — я предписываю курс бильярда.

— Чего мне сегодня меньше всего хочется, доктор, — восклицает Якоб, — так это играть в бильярд.

Шар Якоба катится по столу, отскакивает от обитого мягким сукном борта и останавливается в двух дюймах от него, на ширину ладони ближе, чем шар Маринуса.

— Ваш первый удар, доктор. До скольких мы будем играть?

— Хеммей и я обычно играли до пятисот одного.

Илатту выжимает лимоны в матовые стаканы. Воздух пропитывается их ароматом.

Легкий ветерок продувает бильярдную в Садовом доме.

Маринус сосредотачивается на первом ударе...

«С чего такая внезапная и подчеркнутая доброжелательность?» — не перестает удивляться Якоб.

...но удар доктора неточен, и вместо битка Якоба он попадает по прицельному шару.

Якоб с легкостью отправляет в лузу и его шар, и прицельный.

— Мне вести счет?

— Вы же бухгалтер. Илатту, ты свободен до конца дня.

Илатту благодарит Маринуса и уходит, а клерк отправляет в лузы шар за шаром, быстро доведя счет до пятидесяти. Приглушенные удары бильярдных шаров успокаивают его натянутые нервы. «Известие об ограблении, — наполовину убедил он себя, — потрясло меня до глубины души, лишило здравого смысла: рисунок иностранцем госпожи Аибагавы не является наказуемым деянием, даже здесь. Она же позировала мне тайком». Доведя свой счет до шестидесяти, Якоб позволяет себе промахнуться, уступая место у стола Маринусу. «И страница рисунков, — размышляет клерк, — не является «убедительным доказательством» моей влюбленности в эту женщину».

Доктор, как, к своему удивлению, выясняет Якоб, в бильярде дилетант.

«И не «влюбленности», — поправляет он себя, — более точное определение моего состояния...»

— Время, должно быть, течет здесь очень долго, доктор, после того, как корабль уходит в Батавию?

— Для большинства — да. Люди ищут утешения в гробе, в трубке, в интригах, в ненависти к нашим хозяевам и в сексе. А по мне... — он не

попадает по «легкому» шару, — ...я предпочитаю компанию ботаники, моих исследований, преподавания и, конечно же, клавесина.

Якоб мелит кий.

— Как сонаты Скарлатти?

Маринус садится на обшитую материей лавку.

— Ждете благодарностей, да?

— Как можно, доктор. Мне сказали, что вы — член местной академии наук.

— Ширандо? Правительство не покровительствует ей. В Эдо правят «патриоты», не доверяющие ничему иностранному, так что официально мы — просто частное учебное заведение. Неофициально мы — биржа для рангакуша — исследователей европейских наук и искусств, где происходит обмен идеями. Оцуки Монзуру, директор, пользуется определенным влиянием в магистратуре, и этого хватает, чтобы мне каждый месяц приходили приглашения.

— А доктор Аибагава... — Якоб дальним ударом кладет в лузу прицельный шар, — ...тоже член Академии?

Маринус внимательно разглядывает молодого оппонента.

— Спрашиваю просто из любопытства, доктор.

— Доктор Аибагава еще и блестящий астроном, он появляется в академии, когда позволяет здоровье. Он является фактически первым японцем, увидевшим новую планету Гершеля в телескоп, привезенный сюда за бешеные деньги. Мы с ним, если на то пошло, обсуждаем больше оптику, чем медицину.

Якоб возвращает прицельный шар к болкерной линии, думая о том, как не допустить перемены предмета разговора.

— После того, как умерли его жена и сыновья, — продолжает доктор, — Аибагава женился на молодой женщине, вдове, и хотел, чтобы ее сын стал специалистом по голландской медицине и продолжил практику Аибагавы. Но он не оправдал возлагавшихся на него надежд.

— А госпоже Аибагаве, — де Зут готовится к сложному удару, — тоже разрешается приходить в Ширандо?

— Есть законы, которые составлены против нас: ваши ухаживания результата не дадут.

— Законы. — После удара Якоба шар трепыхается в сетке лузы. — Законы, запрещающие дочери врача выходить замуж за иностранца?

— Не конституционные законы. Я говорю о настоящих законах: законах *non si fa* [\[48\]](#).

— Значит... госпожа Аибагава не посещает Ширандо?

— На самом деле, она внесена в реестр академии. Но я все время пытаюсь объяснить вам... — Маринус загоняет в лузу прицельный шар, но его биток не откатывается достаточно далеко назад. — Такие женщины, как она, не становятся дэдзимскими женами. Даже если бы она и решилась разделить вашу нежность, какими будут ее шансы на замужество после того, как ее облапает рыжеволосый дьявол? Если вы влюбились в нее понастоящему, выражайте свою привязанность, избегая ее.

«Он прав», — думает Якоб и спрашивает:

— Могу ли я сопроводить вас в Ширандо?

— Естественно, нет, — Маринус пытается загнать одним ударом биток и шар Якоба, но терпит неудачу.

«Есть границы и у этого неожиданного примирения», — понимает Якоб.

— Вы не ученый, — объясняет доктор. — И я вам не сводник.

— Разве ж это честно: ругать одних за то, что они бабники, курильщики и пьяницы, — Якоб загоняет в лузу биток Маринуса, — и в то же время отказывать в помощи тому, кто пытается самосовершенствоваться?

— Я не состою в Обществе улучшения общественных нравов. Наслаждаюсь теми привилегиями, которые заслужил.

Купило или Филандер музицирует на виоле да гамба.

Козы и пес затеяли битву блеяния и лая.

— Вы упомянули, что вы и господин Хеммей, — Якоб промахивается, — играли на выигрыш.

— Никогда не предлагайте азартную игру, — доктор переходит на шутливый шепот, — в день отдыха.

— Если я первым наберу пятьсот одно очко, вы возьмете меня в Ширандо.

Маринус прицеливается, смотрит скептически.

— А какой мой выигрыш?

«Он не отвергает идею, — отмечает Якоб, — не отвергает с ходу».

— Назовите сами.

— Шесть часов работы в моем саду. Ну а теперь передайте мне подставку для кия.

— По поводу всех ваших будущих намерений и целей, — Маринус тщательно готовится к следующему удару. — Моя сознательная жизнь началась промокшим насквозь дождем летом 1757 года на чердаке в Харлеме: я тогда был шестилетним мальчиком, принесенным к вратам

смерти свирепой лихорадкой, выкосившей мою семью торговцев тканями.

«И у него та же история», — думает Якоб.

— Мне очень-очень жаль, доктор. Я не мог предположить...

— Мир — юдоль слез. Меня передавали по цепочке родственников, как ломаный пеннинг, и каждому из них хотелось откусить кусок наследства, которое в действительности уже заграбастали кредиторы. Болезнь превратила меня, — он хлопает себя по бедру поврежденной ноги, — в ненужную обузу, не сулящую прибыли. Последний из родственников, двоюродный дедушка по имени Корнелис, сказал мне, что у меня один глаз от дьявола, а другой — косою, и отвез в Лейден, где бросил на ступеньках, поднимающихся со стороны канала к Двери какого-то дома. Сказал, что моя «вроде-как — тетя» Лидевийде возьмет меня к себе, и крысой исчез в подворотне. Не оставалось ничего другого, как постучать в Дверь. Никто не ответил. Ковылять куда-то в поисках дедушки Корнелиса не имело смысла, и потому я просто остался ждать у двери...

Следующим ударом Маринус промахивается и по прицельному шару и по битку Якоба.

— ...пока дружелюбный полицейский не пригрозил... — Маринус выпивает лимонный сок, — ...что заберет меня за бродяжничество. Я, конечно, пытался убедить его, что я не бродяга, но лохмотья, в которые одел меня дедушка, говорили об обратном, и он мне, разумеется, не верил. Я ходил взад-вперед по Рапенбургу, чтобы не замерзнуть, — Маринус смотрит в сторону китайской фактории на берегу бухты. — День выдался, серый, однообразный, утомительный, еле полз, и уже вышли на работу продавцы каштанов, и уличные беспризорники хищно следили за мной, чувствуя добычу, и на другой стороне канала клены разбрасывали листья, словно женщины рвали письма... Вы будете бить или нет, Домбуржец?

Якобу удается редкий дуплет: двенадцать очков.

— Вернулся к дому: огни по-прежнему потушены. Я постучал в дверь, взывая ко всем богам, имена которых знал, и старая служанка старой девы открыла мне дверь, ругаясь, что я получил бы от ворот поворот безо всяких церемоний, если б она была хозяйкой, потому что опоздание в ее правила значит грехом, но раз уж хозяйка не против, то Клас встретится со мной в саду, только входить мне надо через другую дверь, для уличных торговцев. Она захлопнула дверь. Я спустился вниз, постучал, и появилась та же злобная церберша, увидела палку, на которую я опирался, и провела меня тусклым коридором к чудесному саду. Бейте, или мы тут останемся до полуночи.

Якоб отправляет в лузы оба битка, свой и доктора, и ставит

прицельный шар.

— Из-за лилий вышел старый садовник и попросил показать ему руки. Озадаченный, спросил, работал ли я хоть один день садовником. Нет, ответил я. «Тогда пусть сад решит», — сказал Клас-Садовник, а потом умолк практически на весь долгий — долгий день. Мы смешивали грабовые листья с навозом, насыпали опилки вокруг роз, сгребали упавшие листья в небольшой яблочной рощице... впервые за долгое время я радовался жизни. Мы разожгли костер из собранных листьев и испекли картошку. Зарянка села на мою лопату — надо же, на мою лопату — и запела, — Маринус имитирует пение зарянки «чк-чк-чк». — Уже темнело, когда появилась женщина в строгом платье и с короткими белыми волосами. «Меня зовут, — объявила она, — Лидевийде Мостарт, а кто ты — для меня загадка». Она только что узнала, видите ли, что мальчик, которого наняли в помощники ее садовнику, сломал ногу, а потому не пришел. Тогда я объяснил, кто я, и рассказал о дедушке Корнелисе...

Набрав сто пятьдесят очков, Якоб промахивается и уступает место у стола Маринусу.

В саду раб Сиако собирает тлей с листьев салата.

Маринус высовывается из окна и что-то говорит ему на малайском. Сиако отвечает, и довольный Маринус возвращается к игре. «Моя мать, как выяснилось, приходилась троюродной сестрой Лидевийде Мостарт, с которой она ни разу не встречалась. Абигайл, старая служанка, фыркала, пыхтела и жаловалась, глядя на мои лохмотья, ворчала, что лучше бы взяли кого угодно в качестве нового помощника Класа. Но Клас сказал, что у меня есть задатки садовника, и удалился к сараю. Я попросил фрау Мостарт оставить меня в помощниках Класа. Она ответила, что она «фройляйн», не «фрау» для большинства людей, а мне — «тетя», и повела в дом, чтобы познакомить с Элизабет. Я съел укропный суп и ответил на все их вопросы, а наутро они сказали мне, что я могу жить с ними, сколько захочу. Мою старую одежду принесли в жертву богу камина».

Цикады стрекочут в соснах. Звуки, как от скворчащего на сковородке жира.

Маринус упускает возможность попасть в боковую лузу и по ошибке загоняет в нее свой биток.

— Невезуха, — сочувствует Якоб, приплюсовывая себе очки за ошибочный удар.

— В игре, где требуются навыки, такого понятия нет. Ну, библиофилы — не такая уж редкость в Лейдене, но библиофилы, которые набираются мудрости от чтения, редки везде. Тети Лидевийде и Элизабет относились к

таким: впитывающие знания ненасытные пожирательницы печатного слова. Лидевийде в свое время выступала на сцене, в Вене и Неаполе, таких, как Элизабет, принято называть «blauw-stocking» [\[49\]](#), и их дом был книжной сокровищницей. Я получил ключи от этого рая. Лидевийде к тому же учила меня играть на клавесине, Элизабет — французскому и шведскому, родному языку ее матери; а Клас-Садовник стал моим первым учителем ботаники, неграмотным, но с широчайшими знаниями. Более того, круг друзей моих тетушек включал некоторых свободомыслящих ученых Лейдена, что пришлось очень кстати. Мне открылся прямой путь к просвещению. Я по сей день благословляю дедушку Корнелиса за то, что оставил меня у того дома.

Якоб последовательно отправляет в лузы биток Маринуса и еще три или четыре шара.

Семечко одуванчика приземляется на зеленое сукно бильярдного стола.

— Genus Taraxacum [\[50\]](#), — Маринус снимает семечко со стола и выпускает в окно. — Семейство Asteraceae [\[51\]](#). Но эрудиция сама по себе не набьет ни желудок, ни кошелек, и мои тетушки жили скудно, потому что ежегодный доход оставлял желать лучшего. И они решили, что, повзрослев, я начну изучать медицину, чтобы располагать средствами для поддержания моих научных изысканий.

Я победил в конкурсе на место в медицинской школе Упсалы, в Швеции. Мой выбор, естественно, определял не случай: многие недели моего отрочества я провел, штудировав «Виды растений» и «Систему природы», и, едва прибыв в Упсалу, я стал учеником знаменитого профессора Линнея.

— Мой дядя говорит, — Якоб смахивает с себя муху, — что он был одним из самых великих людей их поколения.

— Великие люди — очень сложные натуры. Это правда, что классификация Линнея лежит в основе ботаники, но он при этом утверждал, что ласточки впадают в спячку на дне озер, двенадцатифутовые гиганты расхаживают по Патагонии, а у всех готтентотов — одно яичко. У них — два. Я видел. «Deus creavit, — гласил его девиз, — Linnaeus disposuit» [\[52\]](#), а все, кто думал не так, были еретиками, чью карьеру должно растоптать. И все равно он повлиял на мою судьбу, посоветовав стать профессором, уехав на Восток в качестве его «апостола», а там описать флору Индии и попытаться попасть в Японию.

— Вам скоро исполнится пятьдесят лет, доктор, так?

— Последний урок Линнея, который он мне преподавал, сам того не ведая, состоял в следующем: профессорство убивает философов. О-о, я достаточно тщеславен, чтобы надеяться, что моя быстро пополняющаяся «Флора Японии» будет когда-то опубликована — как исполненное по обету приношение Человеческому Знанию, — но кафедра в Упсале, или в Лейдене, или в Кембридже меня совершенно не прельщает. Мое сердце — здесь, на Востоке, именно в это время. Это мой третий год в Нагасаки, а работы мне хватит на следующие три или шесть. Во время посольских поездок ко двору я могу видеть ландшафты, которых не видел ни один европейский ботаник. Мои ученики — очень усердные молодые люди и одна молодая женщина, а приезжие ученые привозят мне образцы флоры со всех концов империи.

— Но разве вы не боитесь умереть здесь, так далеко от?..

— Каждому суждено где-то умереть, Домбуржец. Какой счет?

— У вас — девяносто один, доктор, против моих триста шести.

— Закончим на тысяче и удвоим очки за каждый шар?

— Вы пообещаете мне, что возьмете в академию Ширандо дважды?

«Встретиться там с госпожой Аибагавой, — думает он, — все равно, что увидеть ее в новом свете».

— Если вы согласитесь разбрасывать лошадиный навоз на свекольных грядках двенадцать часов.

— Очень хорошо, доктор... — Клерк гадает, одолжит ли ему ван Клиф послушного Ве, чтобы тот починил жабо на его лучшей рубашке, — ...я принимаю ваши условия.

## Глава 10. ОГОРОД НА ДЭДЗИМЕ

*Ближе к вечеру 16  
сентября 1799 г.*

Якоб зарывает последний кусок лошадиного навоза в свекольную грядку и набирает воду из промазанных дегтем бочек, чтобы полить огурцы. Сегодня утром он вышел на работу на час раньше, чтобы закончить к четырем часам и начать возвращать проигрыш двенадцати часов огородных работ доктору. «Маринус, конечно, негодяй, — думает Якоб, — так ловко скрывал свое мастерство в бильярде, но ставка есть ставка». Он убирает солому, которой обложены ростки огурцов, опорожняет на них две тыквы, затем возвращает солому на место, чтобы сохранить влагу в почве. Время от времени любопытная голова появляется над стеной со стороны Длинной улицы. Голландский клерк, выдергивающий сорняки, словно крестьянин — безусловно, на такое стоит поглазеть. Ханзабуро, когда услышал просьбу о помощи, долго смеялся, пока не осознал, что Якоб обращается к нему на полном серьезе, а потом сослался на больную спину и ушел, наполнив по дороге кулак лавандовыми головками у калитки. Ари Грот попытался продать Якобу свою шляпу из акульей кожи, чтобы тот элегантно выглядел на новом рабочем месте — настоящим кент — фермером. Пиет Баерт предложил брать у него платные уроки по бильярду, а Понк Оувеханд даже по-дружески выдернул несколько сорняков. Огородничество труднее всего того, чем когда-либо занимался Якоб, и все же, признается он себе, ему нравится эта работа. Усталые глаза отдыхают на живой зелени; шустрые чечевицы выклевывают червяков из перевернутых комьев земли; и овсянки, чьи трели напоминают звон столовых приборов, следят за всем с пустой цистерны. Директор Ворстенбос и его заместитель ван Клиф сейчас в нагасакской резиденции владыки Сацумы, тестя сегуна, пытаются добиться увеличения медной квоты, поэтому Дэдзима наслаждается покоем, какой возможен только в отсутствие начальства. Семинаристы в больнице; Якоб мотыжит ряды бобов и слышит голос Маринуса, долетающий из открытого окна. Там и госпожа Аибагава. Якоб ни разу не видел ее, тем более не разговаривал, с того момента, как, набравшись храбрости, передал ей разрисованный веер. Проблески доброго отношения к нему, выказанные доктором, не вылились в организацию встречи с ней. Якоб подумывает о том, чтобы попросить Огаву Узаемона передать ей письмо — но если это откроется, и



переводчика, и госпожу Аибагаву накажут за секретные переговоры с иностранцем.

«И, в любом случае, — думает Якоб, — о чем бы я написал в том письме?»

Собирая слизняков с капусты палочками для еды, Якоб замечает на правой руке божью коровку. Он приставляет левую руку, на которую насекомое радостно перебегает. Якоб повторяет этот переход несколько раз. «Божья коровка верит, — думает он, — что она путешествует, а на самом деле бегаёт по замкнутому кругу». Ему видится картина бесконечной вереницы мостов между покрытыми кожей островами, мостов над бездной; и он спрашивает себя: может, невидимая сила ведет с ним такую же игру...

Он весь в себе, пока женский голос не врывается в его раздумья:

— Господин Дазуто?

Якоб снимает бамбуковую шляпу и встает.

Лицо госпожи Аибагавы заслоняет солнце.

— Прошу прощения, что помешала.

Изумление, вина, нервозность... как много чувств разом нахлынули на Якоба.

Она замечает божью коровку на его большом пальце.

— Тенто — муши.

Пытаясь взять себя в руки, он слышит другое:

— Бен-то — муши?

— Бен-то — муши — это мучной хрущак, — она улыбается. —

Это... — она указывает на божью коровку, — тен-то — муши.

— Тенто — муши, — повторяет он.

Она кивает, как довольный учитель.

На ней — темно — голубое летнее кимоно и белый платок.

Они не одни: у калитки стоит неизменный охранник.

Якоб пытается не замечать его.

— Божья коровка — помощник садовника...

«Анне ты бы понравилась, — думает он, глядя прямо на нее. — Анне ты бы понравилась».

— ...потому что божьи коровки едят зеленую тлю, — Якоб подносит большой палец к губам и дуёт.

Божья коровка отлетает недалеко, прямиком на лицо пугала.

Она поправляет шляпу на пугале, как поправила бы жена.

— Как вы называете его?

— Пугало, чтобы отпугивать ворон, а это зовут Робеспьер.

— Склад «Дуб» — это склад «Дуб», обезьяна — это «Уильям».

Почему пугало — «Робеспьер»?

— Потому что его голова отваливается всякий раз, когда меняется ветер. Черная шутка.

— Шутка — это секретный язык... — хмурится она. — Внутри слов.

Якоб решает не напоминать о веере, пока она сама об этом не заговорит. Пока, похоже, она не рассердилась на него и не обиделась.

— Вам нужна помощь, госпожа?

— Да. Доктор Маринус попросил меня пойти и попросить у вас рози — мари. Он просит...

«Чем больше я узнаю Маринуса, — думает Якоб, — тем меньше его понимаю».

— ...он просит: «Пусть Домбага даст вам шесть свежих... веточек от рози — мари».

— Пройдемте сюда, к лекарственным растениям. — Он ведет ее тропинкой, не в силах придумать никакой вежливой фразы, чтобы она не звучала невероятно глупо.

Его гостя спрашивает: «Почему господин Дазуто работает сегодня садовником?»

— Потому что, — племянник пастора врет сквозь зубы, — я обожаю сад — огород. Мальчиком, — он пытается придать своей лжи какое-то правдоподобие, — я работал у родственника в саду. Именно у нас появились самые первые сливовые деревья во всем городе.

— В городе Домбург, — говорит она, — провинция Зеландия.

— Вы так добры, что помните это. — Якоб срывает полдюжины молодых побегов. — Вот.

На бесценные мгновения их руки соединены пахучими веточками, а свидетели тому — кроваво — оранжевые подсолнухи.

«Я не хочу купленную куртизанку, — думает он. — Я хочу тебя».

— Спасибо, — она вдыхает запах цветов. — «Розмарин» что-то означает?

Якоб благодарит своего строгого, с вечно неприятным запахом изо рта, учителя латинского языка в Мидделбурге.

— На латинском это растение называется *Ros marinus*, где *ros* — это роса... Вы знаете, что означает слово «роса»?

Она хмурится, чуть качает головой, и ее зонтик медленно крутится.

— Роса — это вода, которая появляется утром прежде, чем солнце ее высушит.

Акушерка понимает.

— Роса... мы говорим аса-цуи.

Якоб точно знает, что не забудет этого слова до конца своей жизни. «Ros» — «роса», marinus — означает «океан», rosmarinus — «океан росы».

— Старики говорят, что розмарин прекрасно себя чувствует — хорошо растет — только там, где слышен океан.

История нравится ей:

— Это правда?

— Возможно.

«Пусть остановится время», — желает Якоб.

— Немного красивее, чем правда.

— Значение marinus — «океан»? Значит, доктор — «доктор Океан»?

— Да, можно сказать, и так. У слова «Айбагава» тоже есть значение?

— Айба — «индиго», — по лицу видно, что она гордится своей фамилией. — А гава — это «река».

— Выходит, вы — река цвета индиго. Звучит, как стихи. — «А ты, — говорит Якоб себе, — звучишь, как флиртующий развратник». — Розмари также и женское христианское имя. Мое имя... — он напрягается, чтобы не выдать своего волнения, — ...Якоб.

— Как это... — Она недоуменно покачивает головой: — ...Я — ко — бу?

— Имя, которое мои родители дали мне: Якоб. Мое полное имя Якоб де Зут.

Она отвечает осторожным кивком. «Якобу Дазуто».

«Как бы я хотел, — мечтает он, — чтобы слова можно было поймать и потом хранить».

— Мое произношение, — спрашивает госпожа Айбагава, — не очень хорошее?

— Нет-нет-нет: вы говорите очень хорошо. Ваше произношение — очень хорошее.

Сверчки стрекочут и верещат в низких каменных стенах сада.

— Госпожа Айбагава, — Якоб сглатывает слюну, — какое у вас имя?

Она не торопится с ответом.

— Мое имя от матери и отца — Орито.

Ветер с моря кольцом закручивает локон ее волос вокруг своего пальца.

Она смотрит вниз.

— Доктор ждет. Спасибо за розмарин.

Якоб говорит: «Приходите еще...» — и больше ничего не в силах сказать.

Она делает три-четыре шага и возвращается назад. «Я забываю, — из

кармана на рукаве кимоно она достает фрукт, размером и цветом похожий на апельсин, но с гладкой, блестящей кожурой. — Из моего сада. Я приношу много доктору Маринусу, и он просит дать один господину Дазуто. Это каки».

— Значит, хурма на японском кэки?

— Ка — ки, — она кладет фрукт на неровное плечо пугала.

— Ка — ки. Мы с Робеспьером съедим его позже. Спасибо.

Ее деревянные сандалии постукивают по выжженной земле, когда она идет по тропинке.

«Действуй, — умоляет Дух будущих сожалений. — Я больше не дам тебе такого шанса».

Якоб стремительно бежит вдоль помидоров и догоняет ее у калитки.

— Госпожа Аибагава? Госпожа Аибагава. Я должен попросить у вас прощения.

Она поворачивается, взявшись одной рукой за калитку:

— Почему прощение?

— За то, что я сейчас скажу. — Бархатцы светятся оранжевым. — Вы прекрасны.

Она понимает. Ее рот открывается и закрывается. Она отступает на шаг... в калитку. Все еще закрытая, она дребезжит. Охранник распахивает ее.

«Чертов дурак, — стонет Демон сиюминутного сожаления. — Что ты наделал?»

Мятущийся, горящий огнем, мерзнувший, Якоб бросается назад, но сад удлиняется, учетверяется в размерах, и проходит вечность, прежде чем он добегает до огурцов, где становится на колени за занавесью щавелевых листьев. Улитка на ведре выпрямляет рожки. Муравьи тащат кусочки листа ревеня по черенку мотыги. И как же ему хочется, чтобы Земля прокрутилась в обратную сторону до того момента, когда появилась она с просьбой о розмарине, и он бы прожил эти минуты еще раз, и он бы прожил их по-другому.

Плачет олениха по своему детенышу, зарезанному для владыки Сацумы.

Перед вечерним сбором Якоб залезает на Сторожевую башню и вытаскивает из кармана хурму. На спелой кожуре подарка углубления от пальцев Орито Аибагавы, и он кладет в них свои пальцы, подносит фрукт к ноздрям, вдыхает жирную сладость и проводит сочащейся спелостью по своим потрескавшимся губам. «Я сожалею о своем признании, — думает

он, — а что мне оставалось делать?» Он закрывает солнце хурмой: она светится оранжевым цветом, словно желлоуиновский фонарь из тыквы. Кожура словно припудрена вокруг жесткой черной «шапочки» и выступающим из нее черенком. В отсутствие ножа и ложки, он прокусывает восковую кожуру зубами: сок течет из прорезей. Он слизывает сладкие потеки и высасывает из прожилок сочащиеся куски фруктовой плоти, и держит нежно, очень нежно, прижимая к нёбу, и пульпа расслаивается на ароматный жасмин, маслянистую корицу, пахучую дыню, тающий чернослив... а внутри плода он находит десять или пятнадцать плоских косточек, коричневых, как азиатские глаза, и такой же формы. Солнце ушло, цикады замолкли, сиреневые и бирюзовые цвета темнеют, переходя в серый и темно-серый. Летучая мышь пролетает совсем рядом, преследуемая собственной воздушной волной. Нет ни малейшего дыхания ветра. Дым появляется над камбузом «Шенандоа» и опадает у носа корабля. Пушечные порты открыты, и шум сотни ужинающих в чреве корабля матросов разносится над водой. Слово от удара камертона, Якоб вибрирует всем телом, откликаясь на Орито, стремясь раствориться в ней. Обещание, данное Анне, колючкой царапает совесть. «Но Анна, — смущенно думает он, — так далека: мили и годы отсюда, и она согласилась, она же на самом деле согласилась, и она никогда не узнает». Желудок Якоба переваривает сладкий подарок Орито. «Сотворение мира никогда не заканчивалось вечером шестого дня, — внезапно решает молодой человек. — Сотворение продолжается вокруг нас, вопреки нам и через нас, со скоростью дней и ночей, и нам нравится называть это любовью».

— Директор Бору-сутен-бошу, — выкрикивает переводчик Секита четвертью часа позже у флагштока. Обычно проверку — дважды в день, проводит полицейский Косуги, и у него уходит не более одной минуты, чтобы проверить всех иностранцев, чьи лица и имена ему хорошо знакомы. В этот вечер, однако, Секита решает показать всем свою значимость, взяв перекличку на себя, а полицейский Косуги стоит рядом с ним с кислой физиономией. — Где... — Секита, щурясь, всматривается в список, — Бору-сутен-бошу?

Писец Секиты говорит начальнику, что директор Ворстенбос встречается этим вечером с владыкой Сацумы. Секита фыркает на писца и щурится на следующее имя.

— Где... Банку — рей — фу?

Писец Секиты напоминает начальнику, что заместитель директора ван Клиф находится вместе с директором.

Полицейский Косуги громко и без особой нужды откашливается.

Переводчик продолжает зачитывать список.

— Ма — ри — ас — су...

Маринус стоит, заложив большие пальцы в карманы камзола.

— Там — доктор Маринус.

Секита тревожно вскидывает голову.

— Маринусу нужен доктор?

Герритсзон и Баерт дружно фыркают, забавляясь ситуацией. Секита догадывается, что допустил ошибку, и говорит: «Друг в беде — настоящий друг. — Затем разглядывает следующее имя. — Фуй... ша...»

— Это, полагаю, я, — отвечает Петер Фишер, — но читается: Фишер.

— Да-да, Фуйша, — Секита начинает сражение со следующим именем. — О — е-хандо.

— Присутствует, готов к наказанию, — отвечает Оувеханд, растирая чернильное пятно на руке.

Секита промокивает носовым платком лоб.

— Дазуто...

— Присутствует, — отвечает Якоб. «Переписывать и вызывать людей, — думает он, — один из способов подчинить их себе».

Спускаясь вниз по списку, Секита разделяется с именами матросов: ехидные шутки Герритсзона и Баерта не освобождают их от участия в переключке, и все они откликаются. Покончив с иноземцами, Секита переходит к слугам и рабам, которые стоят двумя группами слева и справа от своих господ. Переводчик начинает со слуг: Илатту, Купидо и Филандер, затем всматривается в первое имя раба.

— Су-я-ко.

Не услышав ответа, Якоб оглядывается в поисках отсутствующего малайца.

Секита чеканит слоги: «Су-я-ко», — но ответа нет.

Он бросает злобный взгляд на писца, который задает вопрос полицейскому Косуги. Тот говорит Секите, как полагает Якоб: «Ты взялся за переключку, значит, отсутствующие — это твоя забота». Секита обращается к Маринусу:

— Где... Су-я-ко?

Доктор басит что-то в ответ. Когда фраза заканчивается и Секита начинает сердиться, Маринус поворачивается к слугам и рабам: «Не смогли бы вы найти Сиако и сказать ему, что он опоздал на переключку?»

Семь человек разбегаются по Длинной улице, строя догадки о местонахождении Сиако.

— Я найду, где прячется этот пес, — говорит Маринусу Петер Фишер, — быстрее этой коричневой швали. Со мной, господин Герритсзон. Эта работенка как раз для вас.

Менее чем через пять минут Петер Фишер появляется с Флаговой аллеи. Рука окровавлена. Двое или трое домашних переводчиков, пришедших следом, начинают говорить одновременно с полицейским Косуги и переводчиком Секитой. Несколько мгновений спустя приходит Илатту и докладывает что-то Маринусу на цейлонском языке. Фишер объявляет всем голландцам: «Мы нашли этого навозного жука на складе ящиков в переулке Костей, рядом с «Колючкой». Я видел, как он туда заходил».

— Почему, — спрашивает Якоб, — вы не привели его сюда на перекличку?

Фишер улыбается:

— Полагаю, какое-то время ходить он не сможет.

Оувеханд спрашивает: «Что вы с ним сделали, ради Христа?»

— Меньше, чем этот раб заслуживал. Он пил украденный ром и разговаривал с нами вызывающе, как будто равный, и все на своем малайском. Когда господин Герритсзон решил образумить этого грубияна доской, он пришел в неистовство, завыл, будто кровожадный волк, и попытался разбить нам черепушки ломом.

— Тогда почему никто из нас, — желает знать Якоб, — не услышал его кровожадного воя?

— Потому что, — с укоризной отвечает Фишер, — он закрыл сначала дверь, клерк де Зут!

— Насколько я знаю, Сиако и муравья не обидит, — говорит Иво Ост.

— Может быть, вы слишком близки ему, — Фишер напоминает о происхождении Оста, — чтобы быть объективным.

Ари Грот осторожно забирает нож, который уже зажат в руке Оста. Маринус приказывает Илатту на цейлонском, и ассистент бежит к больнице. Доктор быстро, насколько позволяет хромота, уходит к Флаговой аллее. Якоб следует за ним, игнорируя протесты Секиты, оставив позади себя полицейского Косуги и его сторожей.

Вечерний свет выкрасил белоснежные складские здания на Длинной улице в бронзовый цвет. Якоб догоняет Маринуса. На Перекрестке они сворачивают в переулок Костей, минуют «Колючку» и попадают в душный, темный, заваленный ящиками сарай.

— О-о, похоже, совсем вы и не торопились, так? — говорит

Герритсзон, сидя на мешке.

— Где?.. — Якоб видит свой ответ.

Мешок — это Сиако. Его симпатичное лицо — на полу, в луже крови, губа разбита, один глаз полностью заплыл, и он не подает признаков жизни. Вокруг деревянные щепки, осколки бутылки и разбитый стул. Герритсзон становится коленями на спину Сиако, связывая рабу запястья.

Позади Якоба и доктора помещение склада заполняется прибежавшими людьми.

— Матерь Божья, — восклицает Кон Туоми, — и Оливер херовый Кромвель, ты только глянь!

Японские свидетели по-своему выражают шок от увиденного на своем языке.

— Развяжи его, — Маринус приказывает Герритсзону, — и держись от меня подальше.

— О-о, ты мне не начальник, не — е, клянусь Богом...

— Развяжи его сейчас же, — рычит доктор, — или когда твой камень в мочевом пузыре станет таким большим, что ты будешь ссать кровью и орать, как маленький мальчик, требуя литотомии, у меня, клянусь моим Богом, рука случайно дрогнет, что приведет к трагичным, медленным и болезненным последствиям.

— Это наш долг, — заявляет Герритсзон, — выбить из него все дерьмо.

Он отходит в сторону.

— Ты выбил из него жизнь, — заявляет Иво Ост.

Маринус передает свою трость Якобу и становится на колени рядом с рабом.

— Нам что, смотреть надо было, — спрашивает Фишер, — как он нас убивает?

Маринус развязывает узел. С помощью Якоба переворачивает Сиако на спину.

— Ну, директора В. это не порадует, — хмыкает Ари Грот. — Да кто ж допустит, знач, такое обращение с собственностью Компании?

Вопль боли вырывается из груди Сиако и затихает.

Маринус кладет свой сложенный камзол под голову Сиако, что-то бормоча избитому малайцу на его языке, и осматривает разбитую голову. Раб резко вздрагивает, и Маринус с перекошенным лицом спрашивает:

— Почему в ране разбитое стекло?

— Как я сказал, — отвечает Фишер, — если вы слушали, он пил украденный ром.



— И сам на себя набросился, — восклицает Маринус, — с бутылкой в руке?

— Я вырвал у него бутылку, — заявляет Герритсзон, — чтобы его же и огреть ею.

— Черный пес пытался нас убить! — кричит Фишер. — Молотком!

— Молотком? Ломом? Бутылкой? Вы бы получше продумали свою историю.

— Я не потерплю, — взвизгивается Фишер, — эти... эти инсинуации, доктор.

Илатту приносит носилки. Маринус говорит Якобу: «Помогите, Домбуржец».

Секита веером разгоняет в стороны домашних переводчиков и смотрит на все с нескрываемым отвращением.

— Это и есть Су-я-ко?

Первое блюдо ужина чиновников — сладкий суп из французского лука. Ворстенбос ест его в недовольном молчании. Он и ван Клиф вернулись на Дэдзиму в бодром расположении духа, но все улетучилось, когда они узнали об избиении Сиако. Маринус все еще в больнице, занимается многочисленными ранами малайца. Директор даже освободил Купидо и Филандера от их музыкальных обязанностей, сказав, что нет у него сегодня настроения для музыки. Так что заместителю директора и капитану Лейси приходится развлекать компанию впечатлениями от нагасакской резиденции владыки Сацумы и ее внутреннего убранства. Якоб подозревает, что его начальник не верит безоговорочно Фишеру и Герритсзону в их версии произошедшего на складе ящиков, но сказать об этом — равнозначно тому, чтобы поставить слово чернокожего раба выше слов белых чиновника и матроса. «Такой прецедент, — Якоб представляет ход мыслей Ворстенбоса, — может стать дурным примером для всех остальных слуг и рабов». Фишер из осторожности не участвует в беседе, чувствуя, что незыблемость его поста старшего клерка в опасности. Когда Ари Грот и кухонный служка подают пирог с олениной, капитан Лейси посылает своего слугу за полудюжиной бутылок ячменной браги, но Ворстенбос не обращает на это никакого внимания; он бормочет: «Что же Маринус так задерживается?» — и отправляет Купидо в больницу с наказом привести доктора. Купидо исчезает на долгое время. Лейси предается военным воспоминаниям — каждая фраза отшлифована и на месте, — рассказывает, как сражался плечом к плечу с Джорджем Вашингтоном в битве при Банкер — Хилле, и успевает съесть три порции

абрикосового пудинга прежде, чем в столовую, хромая, входит Маринус.

— Мы потеряли всякую надежду, — говорит Ворстенбос, — что вы присоединитесь к нам, доктор.

— Треснутая ключица, — начинает Маринус, усаживаясь, — раздробленная локтевая кость; сломанная челюсть; расщепленное ребро; не хватает трех зубов; ужасные синяки по всему телу и, особенно, на лице и гениталиях; часть коленной чашки отделена от бедренной кости. Когда он вновь пойдет, будет хромать так же ловко, как и я, и прежнего лица у него уже не будет, как вы видели сами.

Фишер пьет брагу янки, как будто он ни при чем.

— Значит, жизни раба, — спрашивает ван Клиф, — ничего не угрожает?

— Сейчас — нет, но я не исключаю возможной инфекции и лихорадки.

— Сколько времени, — Ворстенбос ломает зубочистку, — он будет поправляться?

— Пока не выздоровеет. До этого я рекомендую облегчить его обязанности.

Лейси фыркает: «Здесь все обязанности рабов легкие: Дэдзима — что клеверное поле».

— Раб изложил вам, — спрашивает Ворстенбос, — версию о случившемся?

— Я надеюсь, — говорит Фишер, — что наши с Герритсзоном свидетельства более весомы, чем просто «версия случившегося».

— Урон, нанесенный собственности Компании, должен быть расследован, Фишер.

Капитан Лейси обмахивается шляпой:

— В Каролине мы бы обсуждали компенсацию хозяевам раба со стороны господина Фишера.

— После, как полагается, установления всех обстоятельств дела. Доктор Маринус, почему раб не пришел на перекличку? Он живет здесь столько лет и знает правила.

— Виноваты эти «столько лет», — Маринус накладывает себе пудинг. — Они сказались на нем и довели до нервного срыва.

— Доктор, вы... — Лейси смеется, кашляет, поперхнувшись. — Вы бесподобны! «Нервный срыв»? Что за этим последует? Депрессия у мула? Тоска у курицы?

— У Сиако жена и сын в Батавии, — говорит Маринус. — Когда Гейсберт Хеммей привез его на Дэдзиму семь лет тому назад, его семью разделили. Хеммей обещал Сиако свободу в обмен на верную службу по

возвращении на Яву.

— Если бы я имел один доллар за каждого ниггера, — восклицает Лейси, — испорченного опрометчивым обещанием вольной, я бы купил всю Флориду!

— Со смертью директора Хеммея, — возражает ван Клиф, — умерло и его обещание.

— Этой весной Дэниель Сниткер сказал Сиако, что сдержит это обещание после торгового сезона, — Маринус набивает свою трубку табаком. — Сиако поверил, что поплывет в Батавию свободным человеком через несколько недель, и настроился на получение свободы по прибытии «Шенандоа».

— Слово Сниткера, — говорит Лейси, — не стоит и бумаги, на которой он так ничего не написал.

— А вчера, — продолжает Маринус, задержавшись с ответом, потому что раскуривал трубку, — Сиако узнал, что обещания больше нет, и надежда на обретение свободы разлетелась вдребезги.

— Раб остается здесь, — говорит директор, — на мой срок службы. На Дэдзиме мало рабочих рук.

— А чего тогда делать удивленный вид, — доктор выдыхает клуб дыма, — слыша о его душевном состоянии? Семь плюс пять равняется двенадцати, насколько мне известно: двенадцать лет. Сиако привезли сюда семнадцатилетним: он уедет отсюда двадцатидевятилетним. Его сына продадут задолго до его возвращения, а жена будет жить с другим.

— Как я могу «отказываться» от обещания, которое никогда не давал? — возражает Ворстенбос.

— Точно и логично, — подает голос Петер Фишер.

— Мою жену и дочерей, — заявляет ван Клиф, — я не видел восемь лет!

— Вы заместитель директора. — Маринус находит на рукаве пятнышко засохшей крови. — Вы здесь, чтобы заработать деньги. А Сиако — раб, и он здесь, чтобы его хозяевам жилось легче.

— Раб — это раб, — декламирует Петер Фишер, — потому он и делает рабскую работу!

— А может быть, нам, — говорит Лейси, прочищая ухо ручкой вилки, — устроить театр, чтоб поднять ему настроение? Мы бы могли поставить «Отелло», например?

— Разве мы не уходим, — спрашивает ван Клиф, — от сути дела? Сегодня раб попытался убить двух наших коллег?

— До чего точно сказано, — говорит Фишер, — если мне будет

позволительно добавить.

Маринус сводит большие пальцы.

— Сиако отрицает, что атаковал напавших на него.

Фишер откидывается на спинку стула и заявляет канделябру: «Ха!»

— Сиако говорит, что никоим образом не провоцировал двух белых господ.

— Этот почти—убийца, — утверждает Фишер, — самый черный — пречерный лжец.

— Черные точно лгут, — Лейси открывает табакерку. — Как гуси срут слизью.

Маринус ставит свою трубку на подставку.

— Зачем Сиако атаковать вас?

— Дикарям не нужны причины! — Фишер сплевывает в плевательницу. — Такие, как вы, доктор, сидят на ваших там собраниях, согласно кивая, когда какой-то «просвещенный негр» в парике и жилетке рассказывает вам об «истинной стоимости сахара в нашем чае». Я вырос не в шведских садиках, а в суринамских джунглях, где видишь негров в естественных для них условиях. Получите сначала один такой, — Петер Фишер расстегивает рубашку, чтобы показать трехдюймовый шрам над ключицей, — и тогда рассказывайте мне, что у дикаря есть душа только потому, что он может выучить Божьи молитвы, как любой попугай.

Шрам производит впечатление на Лейси.

— Как вы получили этот сувенир?

— Когда восстанавливал силы в «Добром Согласии», — отвечает Фишер, глядя на доктора, — плантации, что в двух днях похода вверх по течению Коммевейне от Парамарибо. Мой взвод отправили туда, чтобы очистить этот район от беглых рабов, нападавших мелкими бандами. Поселенцы называли их «бунтарями», а я — «паразитами». Мы сожгли много их гнезд и бататовых полей, но сухой сезон вынудил нас уйти: в аду ничуть не хуже, чем в той дыре. Все мои солдаты заболели бери-бери и лишаем. Черные рабы, работавшие на плантации, решили воспользоваться нашей слабостью и на рассвете третьего дня подкрались к дому и атаковали нас. Сотни предателей вылезли из своих засохших нор и скатились с деревьев. С мушкетом, штыком и голыми руками мои люди и я храбро защищались, но, когда мне по голове врезали дубиной, я потерял сознание. Должно быть, прошло много часов. Очнулся я со связанными руками и ногами. И челюстью... как это сказать... не на месте. Я лежал в ряду раненых в кабинете дома. Кто-то молил о пощаде, но ни один негр не понимал самого смысла этого слова. Появился вожак рабов и приказывал

своим мясникам вырезать сердца людей для пира в честь их победы. Они делали это... — Фишер взбалтывает содержимое стакана, — ...медленно, предварительно не умертвив жертву.

— Какое варварство и злость! — восклицает ван Клиф. — Ничего святого!

Ворстенбос отсылает Филандера и Ве вниз за бутылками рейнского вина.

— Мои несчастные товарищи: швейцарец Фуржо, Дейонетт и мой самый близкий друг Том Исберг... им пришлось вынести Христовы муки. Их крики будут преследовать меня до самой смерти, как и смех черных. Они складывали вырезанные сердца в ночной горшок в нескольких дюймах от того места, где лежал я. Комната воняла, как скотобойня; воздух почернел от мух. Стемнело, когда пришла моя очередь. Я был следующим, но не последним. Они распластали меня на столе. Несмотря на мой страх и ужас, я притворился мертвым и молил Бога быстро забрать мою душу. Один из них сказал: «Сон де го слиби каба. Мекеве либи ден тара даго тай тамара». Это означало: солнце садится, и они оставят этих двух «псов» на следующий день. Уже гремели барабаны, все жрали и совокуплялись, и мясникам никак не хотелось такое пропускать. Тогда один мясник пригвоздил меня к столу штыком, как бабочку булавкой, и я остался на столе без сторожа.

Насекомые зловещим нимбом вьются вокруг канделябра.

Ящерица цвета ржавчины сидит на лезвии ножа для масла Якоба.

— Тут я начал молиться Богу, чтобы он дал мне силы. Наклонив голову, смог ухватиться за штык зубами и медленно вытащил его. Крови вылилось немерено, но я вытерпел и не потерял сознания. Обрел свободу. Под столом лежал Йоссе, мой последний выживший солдат из взвода. Родом из Зеландии, как и клерк де Зут...

«Ну надо же, — думает Якоб, — какое совпадение».

— ...и Йоссе был трусом, хотя мне неприятно об этом говорить. От ужаса не мог сдвинуться с места, и мои доводы с трудом и не сразу победили засевший в нем страх. Под покровом ночи мы покинули плантацию «Добрые намерения». Семь дней голыми руками пробивали себе тропу сквозь этот зеленый ад. У нас не было еды, кроме опарышей в наших ранах. Много раз Йоссе молил меня бросить его умирать. Но честь приказывала мне защищать этого слабака — зеландца от прихода смерти. В конце концов, благословение Господу, мы достигли форта Соммельсдик, построенного на месте слияния Коммевейне и Коттики. Мы были скорее мертвы, чем живы. Мой командир позже признался мне, что поставил на

мне крест: не сомневался, что я протяну лишь несколько часов. «Никогда нельзя недооценивать пруссаков», — сказал я ему. Губернатор Суринама наградил меня медалью, и через шесть недель я повел двести человек на плантацию. Славная месть пришла к этим паразитам, но я не тот человек, чтобы бахвалиться своими достижениями.

Ве и Филандер возвращаются с бутылками рейнского.

— Весьма назидательная история, — говорит Лейси. — Я салютую вашему мужеству, господин Фишер.

— В ту часть, где ели опарышей, — замечает Маринус, — вы немного переложили брюле.

— Неверие доктора, — слова Фишера адресованы руководству, — вызвано теплыми чувствами к дикарям, прискорбно говорить об этом.

— Неверие доктора, — Маринус разглядывает ярлык на бутылке вина, — естественная реакция на хвастливую чушь.

— Ваши обвинения, — возражает Фишер, — не заслуживают даже ответа.

Якоб обнаруживает на руке островки комариных укусов.

— Рабство, возможно, для кого-то несправедливо, — говорит ван Клиф, — но никто не опровергнет факта, что все империи строились на этом.

— Ну тогда пусть дьявол, — говорит Маринус, вкручивая в пробку штопор, — забирает все эти империи.

— Какая необычная фраза, — качает головой Лейси. — Странно слышать ее из уст колониального служащего!

— Экстраординарная, — соглашается Фишер, — и показательная, если не сказать, якобинская.

— Я не «колониальный служащий». Я врач, ученый и путешественник.

— Вы охотитесь за богатством, — говорит Лейси, — милостью Голландской империи.

— Мои сокровища ботанические. — Хлопает пробка. — Богатства я оставляю вам.

— Как это «просвещенно», экстравагантно и так по-французски! Эта нация, кстати, тоже познала опасности отмены рабства. На Карибах воцарилась анархия. Плантации разграбили, людей развесили по деревьям, а когда Париж вернул негров в цепи, Испаньолу они уже потеряли.

— А в Британской империи, — говорит Якоб, — рады отмене рабства.

Ворстенбос оценивающим взглядом смотрит на своего некогда любимчика.

— Британцы, — предупреждает Лейси, — всегда строят какие-то

козни, как время еще покажет.

— А те граждане ваших северных штатов, — добавляет Маринус, — которые понимают...

— Эти янки — пиявки, жиреющие на собираемых с нас налогах! — капитан Лейси взмахивает ножом.

— В мире животных, — вступает ван Клиф, — побежденных съедают те, кто оказался нужнее Природе. Рабство более милосердно, если сравнивать: низшие народы живут в обмен на их труд.

— Что за польза от съеденного раба? — спрашивает доктор, наливая себе вина.

Напольные часы в Парадном зале отбивают десять раз.

— Хотя я и недоволен произошедшим на складе ящиков, Фишер, — Ворстенбос объявляет принятое решение, — я соглашаюсь с тем, что ваши с Герритсзоном действия — самозащита.

— Я клянусь, — Фишер склоняет голову, — у нас не было другого выхода.

Маринус кривится, глядя на бокал вина.

— Отвратительное послевкусие.

Лейси разглаживает усы.

— А что вы скажете о своем рабе, доктор?

— Илатту такой же раб, как и ваш первый помощник. Я нашел его в Джафне пять лет тому назад, избитого и оставленного умирать бандой португальских китобоев. И пока он выздоравливал, острота ума юноши убедила меня предложить ему место моего ассистента. Я плачу ему деньги из собственного кармана. Он может бросить работу, когда захочет, получив и деньги, и письменные рекомендации. Может ли хоть один человек на «Шенандоа» похвастаться тем же?

— Индусы, надо признать, — Лейси идет к горшку для отправлений, — копируют цивилизованные манеры очень хорошо; я перевозил на «Шенандоа» и жителей тихоокеанских островов, и китайцев, так что знаю, о чем говорю. Но африканцы... — капитан расстегивает пуговицы бриджей и отливает в горшок. — Рабство для них наилучший вариант: как только отпустишь их, они через неделю умирают с голоду, если не идут убивать белые семьи ради содержимого их кладовых. Они живут только настоящим, не умеют планировать, не знают фермерства, не способны что-нибудь изобрести или выдумать, — он стряхивает последнюю каплю и заправляет рубашку в бриджи. — Запретить рабство... — капитан Лейси чешет шею под воротником, — ...все равно, что запретить Священное Писание. Черные произошли от Хама,

развратного сына Ноя, который даже лег в постель со своей матерью; посему род Хама проклят. Это же написано в девятой книге Бытия, ясно как день. «И сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» [\[53\]](#). Белые же произошли от Иафета: «Да распространит Бог Иафета, Ханаан же будет рабом ему» [\[54\]](#). Или я лгу, господин де Зут?

Все собравшиеся поворачиваются к племяннику пастора.

— Эти приведенные вами стихи спорны, — говорит Якоб.

— Значит, клерк называет слова Божьи, — язвит Петер Фишер, — «спорными»?

— Мир был бы счастливее без рабства, — отвечает Якоб, — и...

— Мир был бы счастливее, — хмыкает ван Клиф, — если б на деревьях росли золотые яблоки.

— Дорогой господин Ворстенбос, — заключает капитан Лейси, поднимая бокал, — ваше рейнское превосходно. Его послевкусие — чистейший нектар.



## Глава 11. СКЛАД «ДУБ»

*Накануне тайфуна  
19 октября 1799 г.*

Грохот бревен, стук молотков, бляение коз и мычание коров доносится сквозь открытые ворота склада. Ханзабуро стоит в проеме и смотрит на темнеющее небо. За столом Огава Узаемон переводит японскую версию транспортной накладной 99–6 торгового сезона 1797 года, в которой идет речь об отправке кристаллов камфары. Якоб записывает огромную разницу в ценах и количествах между японской и голландской частями. Подпись на документе в графе «Честно и правдиво удостоверяю погрузку» — заместителя директора Мельхиора ван Клифа: двадцать седьмая по счету фальшивка, обнаруженная Якобом. Клерк рассказал Ворстенбосу о растущем списке, но реформаторский задор директора слабеет день ото дня. Ворстенбос более не стремится «вырезать раковую опухоль коррупции», теперь он исповедует другой тезис: «Лучше управлять тем, что у нас есть». И, возможно, самый явный индикатор, свидетельствующий об изменении доктрины директора — Ари Грот, который становится все активнее и веселее с каждым днем.

— Скоро станет слишком темно, — говорит Огава Узаемон, — чтобы различать текст.

— Сколько времени осталось, — спрашивает Якоб, — до окончания работы?

— Еще один час, даже с лампами. Потом я должен уйти.

Якоб пишет записку Оувеханду с просьбой дать Ханзабуро кувшинчик масла из запаса, хранящегося в бухгалтерии, а Огава инструктирует его на японском. Юноша уходит, его одежду раздувает ветер.

— Последние тайфуны сезона, — говорит Огава, — наносят самый большой урон. Мы думали, что в этом году Боги уберегут Нагасаки от сильного тайфуна, и тут, — Огава жеста имитирует удар тараном.

— Осенние шторма в Зеландии тоже печально известные.

— Простите... — Огава открывает свою тетрадь. — Что это — «печально известные»?

— Известные, как очень плохие.

— Господин де Зут говорит, — вспоминает Огава, — что его родной остров ниже уровня моря.

— Валхерен? Это так, это так. Мы, голландцы, живем под рыбами.

— Не дать морю затопить землю — это древняя война.

— «Война» слово правильное, и мы иногда проигрываем битвы, — Якоб замечает грязь под ногтем большого пальца, оставшуюся после его последнего часа работы в огороде доктора Маринуса этим утром. — Плотины иной раз рушатся. Хотя море для голландца — главный враг, но оно при этом его кормилец и закаляет его характер. Если бы природа наделила нас такой же жирной, плодородной землей, как у соседей, зачем бы мы стали изобретать Амстердамскую биржу, акционерную компанию и нашу империю среднего класса?

Плотники крепят бревна наполовину отстроеного здания склада «Лилия».

Якоб решает перейти к деликатной части разговора, прежде чем вернется Ханзабуро.

— Господин Огава, когда вы проверяли мои книги в то, первое утро, вы, я полагаю, видели мой словарь?

— Новый словарь голландского языка. Прекрасная и редкая книга.

— Она, как мне кажется, понадобилась бы японцу, изучающему голландский.

— Голландский словарь — это волшебный ключ, открывающий множество дверей.

— Я хочу... — Якоб замирает, — ...отдать его госпоже Аибагава.

Приносимые ветром голоса долетают до них, как эхо из глубокого колодца.

Лицо Огавы строго и непроницаемо.

— Как, по-вашему, — пытается разузнать Якоб, — она может отреагировать на такой подарок?

Пальцы Огава дергают узел на его кушаке.

— Это большая неожиданность...

— Но, я надеюсь, не плохая неожиданность?

— У нас есть пословица, — переводчик наливает себе чаю. — «Ничего нет дороже того, что получаешь бесплатно». Когда госпожа Аибагава получает такой подарок, она может заволноваться: «Какой будет настоящая цена, если я приму?»

— Но здесь нет никаких обязательств. Честное слово, вообще никаких.

— Тогда... — Огава отпивает чай, продолжая избегать взгляда Якоба. — Почему господин де Зут отдает?

«Этот разговор еще труднее, — думает Якоб, — чем с Орито в саду».

— Потому что... — клерк замолкает, — ...ну, почему я хочу подарить ей этот подарок, я имею в виду, источник этого желания, что побуждает

кукловода, как мог выразиться доктор Маринус, это... одна из великих неопределенностей.

«Что это за бессвязное лепетание, — читается на лице Огавы, — о чем ты, скажи на милость?»

Якоб снимает очки, оглядывается по сторонам и видит пса, задравшего лапу.

— Книга эта... — Огава смотрит, скорее, не на, а сквозь Якоба, — подарок любви?

— Я знаю... — Якоб чувствует себя актером, который вышел на сцену, не выучив текста, — что она... госпожа Аибагава... не куртизанка, что голландец — это не идеальный муж, но я не нищий, благодаря моей ртути. Но это ничего не значит, и, без сомнения, кто-то мог бы принять меня за самого глупого дурака...

Под глазом Огавы бьется маленькая жилка.

— Да, можно сказать, что это подарок любви, но, если госпоже Аибагаве нет до меня никакого дела, это совершенно неважно. Она может оставить его у себя. Зная, что она пользуется этой книгой... — «...я буду счастлив» Якоб произнести не может. — Если бы я отдал словарь ей, — объясняет он, — шпионы, инспекторы и ее соученики заметили бы. Я также не могу подойти к ее дому вечером. А словарь у переводчика с рангом ни у кого не вызовет никаких вопросов. И это не контрабанда, а просто подарок. И потому... я бы хотел попросить вас отнести ей эту книгу.

Туоми и раб д'Орсейи разбирают треножные весы на Весовом дворе.

Огава не меняется в лице от удивления — значит, уже ожидал услышать подобную просьбу.

— На Дэдзиме нет никого, — добавляет Якоб, — кому бы я доверял.

Действительно, никого, подтверждает Огава коротким: «Х — м-м — м».

— В словарь я... я вложил... ну, короткое письмо.

Огава поднимает голову: последняя фраза вызывает определенные подозрения.

— Письмо... чтобы сказать, что словарь — ее навсегда, но если... — «Теперь я похож, — думает Якоб, — на зазывалу, обхаживающего домохозяек на рынке», — ...если бы она... когда-нибудь... решила бы увидеть во мне покровителя, или, скажем по-другому, защитника или... или...

Тон Огавы неожиданно резок.

— Письмо — предложение замужества?

— Да. Нет. Пока... — полный сомнений и раскаяния, Якоб достает

словарь, заматывает его в парусину и завязывает шпагатом. — Да, черт возьми. Это — предложение. Я прошу вас, господин Огава, облегчите мои страдания и просто передайте ей эту чертову книгу.

Ветер темен и насыщен громовыми раскатами. Якоб закрывает склад на замок и переходит Флаговую площадь, прикрывая глаза от песка и пыли. Огава и Ханзабуро вернулись домой, пока буря еще не разгулялась. У флагштока ван Клиф орет на д'Орсейи, у которого, как видно Якобу, никак не получается добраться до флага.

— За кокосом ты бы залез без всяких, так что влезешь и за нашим флагом!

Мимо проносят паланкин главного переводчика; окошко наглухо закрыто.

Ван Клиф замечает Якоба:

— Чертов флаг замотался и никак не опускается, но я не допущу, чтобы его изорвало в клочья только потому, что этот ленивец боится залезть и распутать его.

Раб добрался до верха, удерживается ногами за столб, развязывает Триколор объединенных провинций, соскальзывает вниз с добычей — волосы развеваются по ветру — и передает флаг ван Клифу.

— Теперь беги и найди господина Туоми, чтоб он показал тебе, где спасать твою чертову шкуру!

Д'Орсейи убегает между домами директора и капитана.

— Переключки не будет, — Ван Клиф складывает флаг, убирает под камзол и становится под навес крыши. — Хватайте, что там сварил Грот, и идите домой. Моя последняя жена предсказывает, что ветер усилится вдвое прежде, чем над нами пройдет око тайфуна.

— Я собирался... — Якоб указывает на Сторожевую башню, — ... пойти туда и посмотреть на все.

— Посмотрите, но быстро! Иначе ветер унесет вас на Камчатку!

Ван Клиф вразвалочку идет по аллее к своему дому.

Якоб взбирается по лестнице, перешагивая через две ступени. Ветер атакует его, едва он поднимается выше крыш. Якоб крепко держится за поручни, потом ложится на дощатый пол. С колокольни Домбурга он наблюдал за многими штормами, налетавшими со стороны Скандинавии, но у восточного тайфуна больше и напора, и злости. Дневной свет становится синюшным; деревья на потемневших горах мотает из стороны в сторону, по черной поверхности бухты бегут быстрые нервные волны; брызги долетают до крыш Дэдзимы, бревна домов скрипят и стонут. На «Шенандоа» сбрасывают третий якорь; первый помощник машет руками на

кормовой части верхней палубы, его рот безмолвно открывается и закрывается. В восточной части бухты китайские купцы и моряки также заняты сохранением своей собственности. Паланкин переводчика пересекает опустевшую площадь Эдо. Гнутся высаженные в ряд платаны, ветер рвет с них листья, птицы не летают; рыбацкие лодки отведены от берега и связаны вместе. Нагасаки готовится к приходу плохой — плохой ночи.

«Какая из тех сотен собравшихся вместе крыш, — гадает Якоб, — твоя?»

На Перекрестке полицейский Косуги крепко привязывает колокольный язык.

«Сегодня Огава словарь ей не понесет», — понимает Якоб.

Туоми и Баерт забивают гвоздями дверь и ставни Садового дома.

«Мой подарок и письмо слишком бестактные и скоропалительные, — признает Якоб, — но утонченные ухаживания здесь невозможны».

Что-то трещит и разлетается на куски в Садовом...

«По крайней мере, сейчас я могу перестать клясть себя за трусость».

Маринус и Илатту, борясь с ветром, везут в тележке деревца в глиняных горшках...

...и двадцать минут спустя две дюжины яблочных саженцев в безопасности, надежно укрыты в коридоре больницы.

— Я... мы... — тяжело дыша, доктор показывает на молодые деревца, — у вас в долгу.

Илатту поднимается в темноту и исчезает в люке чердака.

— Я же их поливал, — Якоб переводит дыхание. — И теперь считаю себя обязанным их защищать.

— Я совершенно не представлял себе, сколь опасна морская соль, пока Илатту не предупредил меня. Эти деревья я привез из Хаконе: не имея латинских названий, они могли бы просто исчезнуть. Нет большего дурака, как старый дурак.

— Ни одна душа не узнает, — обещает Якоб, — даже Клас.

Маринус хмурится, задумывается и спрашивает: «Клас?»

— Садовник, — напоминает Якоб, отряхивая одежду, — в доме ваших тетушек.

— А — а, Клас! Дорогой Клас обратился в компост много лет тому назад.

Тайфун воет, как тысяча волков, на чердаке уже горит лампа.

— Ну, — говорит Якоб, — а я лучше побегу в Высокий дом, пока еще

есть возможность добраться туда.

— Богу решать, будет ли он высоким наутро.

Якоб толкает входную дверь: ветер захлопывает ее с такой силой, что клерк отлетает назад. Якоб и доктор выглядывают наружу и видят, как бочка катится по Длинной улице и разбивается в щепки у Садового дома.

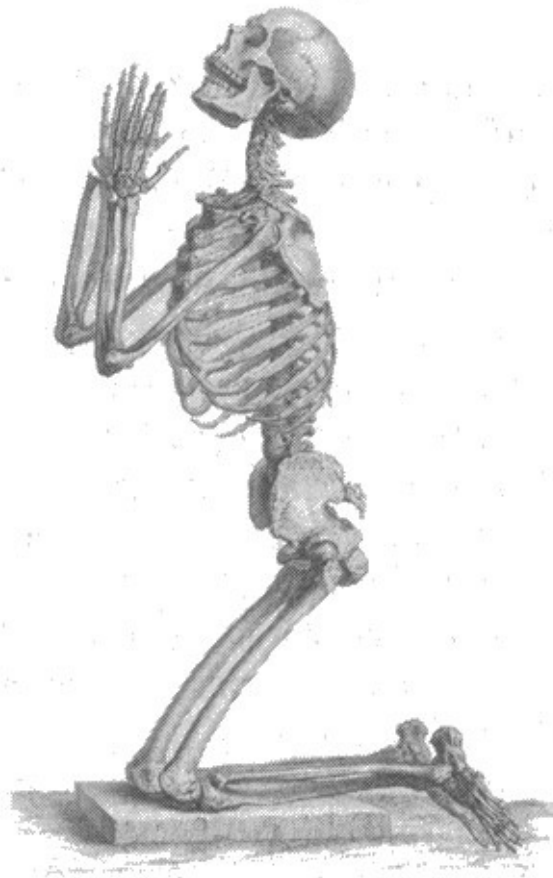
— Оставайтесь в нашем убежище наверху, — предлагает Маринус, — пока тайфун не выдохнется.

— Я бы не хотел вам мешать, — отвечает Якоб. — Вы же очень цените вашу приватность.

— Какая польза будет моим семинаристам от вашего тупа, если вы разделите судьбу той бочки? Идите первым, чтобы я не упал и не раздавил нас обоих...

Шипящая лампа высвечивает сокровища книжных полок Маринуса. Якоб наклоняет голову и прищуривается, разглядывая названия: «Новый органон» Фрэнсиса Бэкона, «Метаморфозы растений» фон Гете, «Тысяча и одна ночь» в переводе Антуана Галлана. «Печатное слово — это пища, — говорит Маринус, — и вы, похоже, голодны, Домбуржец». «Система природы» Жан-Батиста де Мирабо (псевдоним — как каждый племянник голландского пастора, Якоб знает об атеисте, бароне д'Ольбахе) и «Кандид, или Оптимизм» Вольтера. «Довольно ереси, — замечает Маринус, — чтобы раздавить ребра инквизитору». Якоб не отвечает, увидев рядом «Математические начала натуральной философии» Ньютона, «Сатиры» Ювенала, «Ад» Данте на его родном итальянском языке и отрезвляющую «Книгу мироздания» их соотечественника Кристиана Гюйгенса. И стоят эти книги лишь на одной из двадцати — тридцати полок, выстроившихся по стенам чердака. На рабочем столе Маринуса лежит «Остеография и анатомия костей» Уильяма Чеселдена.

— Посмотрите, что у вас внутри, — предлагает доктор.



Якоб начинает пролистывать книгу, и дьявол сеет зерно сомнения.

«А если сей костяной движитель... — зерно пускает корни, — ...и есть сам человек...»

Ветер бьется о стены, словно стучат друг о друга стволы падающих деревьев.

«...и святая любовь лишь означает появление младенца, крохотного костяного движителя»?

Якоб думает о вопросе аббата Энмото при их встрече.

— Доктор, вы верите в существование души?

Маринус готовится, как предполагает клерк, к требующему больших знаний и сокровенному ответу: «Да».

— Тогда где... — Якоб указывает на рисунок насмешливо набожного скелета, — ...где она?

— Душа — это глагол, действие, — доктор натывает горящую свечу на пик подсвечника. — Не существительное.

Илатту приносит две кружки горького пива и миску сладкого сушеного инжира.

Каждый раз, когда Якоб уверен в том, что ветер не может прибавить усердия в маниакальной настойчивости, не сорвав крышу, ветер прибавляет, но крыша остается на месте, пока остается. Стропила и балки скрипят и трясутся, как у мельницы на полных оборотах. «Ужасная ночь, — думает Якоб, — но даже ужас может стать монотонным». Илагту штопает носок, пока доктор пускается в воспоминания о своем путешествии в Эдо с директором Хеммеем и старшим клерком ван Клифом. «У них нет зданий, которые можно сравнить с собором Святого Петра или с Нотр — Дамом, но гений японской цивилизации проявляется в их дорогах. Магистраль Токайдо от Осаки до Эдо, от живота империи до головы, если хотите, я утверждаю, — ей нет равных на Земле, ни сейчас, ни в прошлом. Дорога — это город, пятнадцать футов в ширину и триста прекрасно выложенных, прекрасно обслуживающихся, идеально чистых германских миль в длину с пятьюдесятью тремя дорожными станциями, где путешественник может нанять службу, поменять лошадей и отдохнуть или по пьянствовать. А самое простейшее, самое разумнейшее наслаждение от всего?! Все движутся по левой стороне, поэтому здесь понятия не имеют, что такое неизбежные столкновения, заторы, которыми так полна Европа. На менее населенных отрезках дороги я доводил наших инспекторов до белого каления, когда покидал мой паланкин и занимался сбором ботанических образцов по краям дороги. Я нашел более тридцати новых видов для моей «Флоры Японии», пропущенных Тунбергом <sup>[55]</sup> и Кемпфером <sup>[56]</sup>. И в конце пути — сам Эдо».

— Который лицезрели не более дюжины европейцев?

— Меньше. Получите кресло старшего клерка за три года, тогда и увидите его.

«Меня здесь уже не будет», — надеется Якоб и начинает с грустью думать об Орито.

Илагту отрезает нитку. Море бушует, отделенное одной улицей и стеной.

— Эдо — это миллион людей, которые живут в паутине улиц, простирающихся во все стороны, куда ни посмотри. Эдо — суматошная смесь деревянной обуви, тканей, криков, лая, плача, шепотов. Эдо — свод всех человеческих желаний, и Эдо — исполнитель этих желаний. Каждый даймё <sup>[57]</sup> должен содержать там резиденцию для назначенного наследника и главной жены, и самые большие из них — настоящие крепости, сами по себе города с высокими стенами. Великий мост Эдо, на который ссылаются все в Японии, двести шагов в ширину. Будь моя воля, я бы влез в шкуру



местного и побродил бы по этому лабиринту, но, естественно, Хеммею, ван Клифу и мне не разрешено было покидать гостиницу «для нашей безопасности» до самого дня назначенной встречи с сегуном. Поток ученых и любопытствующих помогали справляться со скукой, особенно те, кто приходил с растениями, луковичками и семенами.

— О чем же вы с ними беседовали?

— О медицине, о знаниях, о глупостях: «Электричество — жидкость?»; «Иностранцы надевают сапоги, потому что у них нет лодыжек?»; «Для каждого ли действительного числа «х» формула Эйлера универсально гарантирует, что комплексная экспоненциальная функция удовлетворяет равенству»; «Как нам сконструировать шар Монгольфьера?»; «Можно ли отрезать больную раком грудь, не убив пациентку?»; и однажды: «Если Потоп Ноя не затопил Японию, можем ли мы сделать вывод, что Япония выше всех остальных стран?» Переводчики, чиновники и хозяева гостиницы — все они взимали деньги за встречу с Дельфийским оракулом, но пусть меня и боялись... — больница трясется, как при землетрясении: бревна отчаянно стонут, — ...я нахожу определенное удовольствие в человеческой беспомощности.

Якоб не может с этим согласиться.

— А ваша встреча с сегуном?

— Нашу одежду вытащили из сундука, где моль ела ее сто пятьдесят лет. Хеммей вырядился в камзол с жемчужными пуговицами, мавританский жилет, шляпу со страусиными перьями и туфли с белыми пряжками, мы с ван Клифом не слишком от него отличались, так что втроем более всего напоминали три лежалых французских пирожных. Нас принесли в паланкинах к самым воротам замка, после чего мы шли три часа по коридорам, по дворам, через ворота и вестибюли, где мы обменивались любезностями с чиновниками, советниками и принцами, пока, наконец, не добрались до тронного зала. И здесь уже никто более не притворяется, будто наш визит — посольский, а не десятидневное паломничество с тем, чтобы поцеловать им задницу. Сегун, наполовину скрытый ширмой, сидит на троне, установленном на возвышении. Когда глашатай возвещает: «Оранда капитан», Хеммей сгибается, как краб, в сторону сегуна, становится на колени в строго определенном месте, ему даже запрещено смотреть на священную особу, и молча ждет, пока военачальник и покоритель варваров поднимет палец. Мажордом продекламировал текст, неизменный с 1660-х годов, запрещающий нам проповедовать свою колдовскую христианскую веру, а также общаться напрямую с джонками китайцев или жителями острова Рюкю и приказывающий докладывать о

любых враждебных планах против Японии, дошедших до наших ушей. Хеммей пятится назад, и ритуал заканчивается. Тем же вечером я записал в своем дневнике, что Хеммей пожаловался на резь в животе, которая перешла в дизентерийную лихорадку — признаюсь, расплывчатый диагноз — по пути домой.

Илатту заканчивает штопку и расстилает постели.

— Плохая смерть. Дождь шел беспрестанно. Место называлось Какегава. «Не здесь, Маринус, не так», — простонал он и умер...

Якоб представляет себе могилу в чужой земле и свое тело, опускаемое в нее.

— ...как будто из всех людей лишь я обладал даром магического исцеления.

Они слышат перемену в реве тайфуна.

— Это око, — Маринус смотрит вверх, — прямо над нами...

## Глава 12. ПАРАДНЫЙ ЗАЛ В РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА ДЭДЗИМЕ

*Начало  
одиннадцатого 23  
октября 1799 г.*

— Мы все заняты сейчас, — Унико Ворстенбос сверлит взглядом переводчика Кобаяши, стоящего по другую сторону стола. — Пожалуйста, опустите подробности и озвучьте только интересующее нас число.

Легкий дождь барабанит по крыше. Якоб погружает перо в чернильницу.

Переводчик Ивасе уже перевел слова мажордома Томине, который прибыл с украшенным цветами мальвы футляром, доставленным утром из Эдо.

Кобаяши, зачитывая перевод послания сегуна на голландский, добрался до середины свитка.

— Число?

— Сколько, — Ворстенбос едва сдерживает нетерпение, — предлагает сегун?

— Девять тысяч шестьсот пикулей, — объявляет Кобаяши. — Лучшей меди.

Кончик пера Якоба выводит: «9600 пикулей меди».

— Это предложение, — подтверждает Ивасе Банри, — хорошее и большое увеличение квоты.

Блеет овца. Якоб не может представить себе, о чем размышляет его патрон.

— Мы запросили двадцать тысяч пикулей, — напоминает Ворстенбос, — а нам предложили меньше десяти? Неужели сегун решил оскорбить губернатора ван Оверстратена?

— Тройная квота в один год — это не оскорбление, — Ивасе далеко не глуп.

— У такой щедрости, — решается внести свою лепту и Кобаяши, — нет прецедента! Я честно сражался много недель, чтобы добиться результата!

Быстрый взгляд Ворстенбоса на Якоба означает: «Этого не записывай».

— Медь может прибыть, — добавляет Кобаяши, — через два-три дня, если вы пошлете за ней.

— Склад в Саге, — вступает Ивасе, — замок Хизен, близко. Я поражен Эдо — так много меди! Как указал первый министр в высоком послании, — он находит нужное место в свитке, — большинство складов пусты.

Невозмутимый Ворстенбос берет голландский перевод и читает.

Маятник часов методично постукивает, как лопата могильщика.

Вильгельм Молчаливый на портрете смотрит в будущее, ставшее давним прошлым.

— Почему в этом письме, — Ворстенбос обращается к Кобаяши поверх очков — полукругов, — нет упоминания о неизбежном закрытии Дэдзимы?

— Меня не было в Эдо, — невинно объясняет Кобаяши, — когда писался ответ.

— Интересно, может, ваш перевод письма губернатора ван Оверстратена видоизменился на манер пресловутых павлиньих перьев?

Кобаяши смотрит на Ивасе, словно спрашивает: «Можете вы объяснить мне эту фразу?»

— Перевод, — объясняет Ивасе, — скреплен печатями всех четырех старших переводчиков.

— У Али — Бабы, — бормочет Лейси, — было сорок разбойников: они что, сделали его честным?

— Наш вопрос, джентльмены, таков, — Ворстенбос встает. — Могут ли девять тысяч шестьсот пикулей отодвинуть на двенадцать месяцев эвакуацию Дэдзимы?

Ивасе переводит мажордому Томине.

С карниза капает, лают псы, у Якуба под чулками вдруг начинают отчаянно чесаться ноги.

— На «Шенандоа» хватит места, чтобы погрузить всю Дэдзиму, — Лейси выуживает из кармана украшенную драгоценными камнями табакерку. — Мы можем начать в полдень.

Ворстенбос постукивает по барометру.

— Можем ли мы вызвать гнев начальства в Батавии, согласившись на это ничтожное увеличение квоты, и сохранить Дэдзиму? Или... — Ворстенбос подходит к напольным часам и изучает их узорчатый циферблат, — ...нам покинуть эту не приносящую прибыли факторию и лишить периферийный азиатский остров его единственного европейского союзника?

Лейси втягивает в нос огромную щепоть табака: «Иисусу ведомо милосердие: отменный пинок!»

Кобаяши по-прежнему пристально смотрит на опустевшее кресло Ворстенбоса.

— Девять тысяч шестьсот пикулей, — заявляет Ворстенбос, — покупают перенос на год решения по Дэдзиме. Посылайте известие в Эдо. Посылайте в Сагу за медью.

На лице Ивасе читается облегчение, когда тот переводит сказанное Томине.

Мажордом магистрата кивает, словно никакого другого решения не ожидалось.

Поклон Кобаяши мрачен и насмешлив.

«Директор Унико Ворстенбос, — пишет Якоб, — принял это предложение...»

— Но губернатор ван Оверстратен, — грозит директор, — не будет отступать дважды.

«...но предупредил переводчиков, — добавляет перо клерка, — что согласие временное».

— Мы должны удвоить наши усилия, чтобы Компания, наконец, получила какую-то компенсацию за огромный риск и нарастающие расходы на содержание этой фактории. На сегодня разрешите объявить перерыв.

— Один момент, господин директор, пожалуйста, — говорит Кобаяши. — Еще хорошие новости.

Якоб чувствует, как нечто зловещее вползает в зал.

Ворстенбос откидывается на спинку кресла.

— О-о?

— Я долго увещаю магистратуру об украденном чайнике. Я говорю: «Если мы не найдем чайник, огромное бесчестье падет на наш народ». Тогда мажордом посылает много... — он просит помощи у Ивасе, — ...да, полицейских, много полицейских, чтобы найти чайник. Сегодня в Гильдии, когда я заканчиваю... — Кобаяши показывает на перевод послания сегуна... — посыльный прибывает из магистратуры. Нефритовый чайник императора Чжу Юцзяня найден.

— О-о? Хорошо. Какое... — Ворстенбос ищет подвох. — В каком состоянии?

— Прекрасное состояние. Два вора признались в преступлении.

— Один вор, — продолжает Ивасе, — делает ящик в паланкине полицейского Косуги. Другой вор кладет чайник в ящик в паланкине, и так

его проносят через Сухопутные ворота.

— Как, — спрашивает ван Клиф, — поймали этих воров?

— Я советую, — рассказывает Кобаяши, пока Ивасе объясняет мажордому происходящее. — Магистрат Широяма предлагает награду, чтобы воров выдали. Мой план работал. Чайник будет доставлен сегодня позже. Еще лучше новость: магистрат разрешает наказать воров на Флаговой площади.

— Здесь? — Радость Ворстенбоса улетучивается. — На Дэдзиме? Когда?

— Перед уходом «Шенандоа», — отвечает Ивасе, — после утренней переклички.

Улыбка Кобаяши, как у святого.

— Так что все голландцы увидят свершение японского правосудия.

Тень смелой крысы пробегает по панели из промасленной бумаги.

«Вы же требовали крови, — как бы напоминает Кобаяши, — за ваш драгоценный чайник...»

На «Шенандоа» бьют склянки.

«...так хватит ли у вас мужества, — любопытствует переводчик, — принять его назад?»

Стук молотков на крыше склада «Лилия» обрывается.

— Превосходно, — говорит Ворстенбос. — Передайте мою благодарность магистрату Широяме.

На складе «Колючка» Якоб окунает перо в чернильницу и пишет на пока еще пустой странице заглавие: «Правдивое и полное расследование злоупотреблений в торговой фактории на Дэдзиме при директорах Гейсберте Хеммее и Даниэле Сниткере, включая исправления в гроссбухах, представленных вышеназванными директорами». На мгновение он решает добавить свое имя, но дерзкая идея покидает его. Как начальник, Ворстенбос имеет все права на представление его работы под своей фамилией. «И возможно, — думает Якоб, — так будет спокойнее». Каждый советник в Батавии, чей незаконный доход раскрыт в «Расследовании» Якоба, может одним росчерком пера оборвать будущую карьеру клерка. Якоб накрывает страницу промокательной бумагой и ровно прижимает ее.

«Закончено», — устало думает клерк.

Красноносый Ханзабуро чихает и вытирает соплю зажатой в кулаке соломой.

Голубь курлычет на высоком подоконнике.

Пронзительный голос Оувеханда стремительно разносится по

переулку Костей.

Верили местные в близкую эвакуацию Дэдзимы или нет, утренняя новость разбудила остров от летаргии. Медь — много сотен ящиков — обещано подвезти в течение четырех дней. Капитан Лейси хочет загрузить ее в трюмы «Шенандоа» за шесть и покинуть Нагасаки на следующий день — все в течение недели. Ближе к зиме Китайское море бурное, а волны высотой не уступают горам. Вопросы, которые Ворстенбос старательно обходил все лето, более не могут оставаться без ответов. Получат ли сотрудники жалкие официальные квоты для перевозки на «Шенандоа» личных товаров или все пойдет, как при предшественниках Ворстенбоса? Все торговые сделки с купцами проводятся с невиданной быстротой. Петер Фишер или Якоб де Зут будет следующим старшим клерком с повышенным жалованьем и контролем над транспортными операциями? «Использует ли Ворстенбос мое «Расследование», — размышляет Якоб, укладывая отчет в папку, — чтобы обвинить только Даниэля Сниткера, или будут сняты и другие скальпы?» У злоумышленников, занимающихся контрабандой со складов Батавии, есть высокие покровители в совете Компании, но в отчете Якоба достаточно доказательств для заинтересованного в реформах генерал-губернатора, чтобы заткнуть им рты.

Подчиняясь непонятной прихоти, Якоб забирается на гору ящиков.

Ханзабуро удивляется: «Хэ?» — и вновь чихает.

С насеста Уильяма Питта Якоб видит огненные листья кленов на серых горах.

Орито не приходила вчера на занятия в больнице...

Огава не появлялся на Дэдзиме после тайфуна.

«Из-за одного скромного подарка, — убеждает себя Якоб, — ей не запретят...»

Якоб закрывает ставни, спускается вниз, берет папку, отправляет Ханзабуро в переулок Костей и запирает на замок складские ворота.

Якоб подходит к Перекрестку и видит Илатту, идущего навстречу со стороны Короткой улицы. Илатту поддерживает сухощавого молодого человека, одетого в просторные штаны ремесленника, завязанные на лодыжках, и подбитый жилет, а на голове у него — старомодная европейская шляпа. Якоб замечает запавшие глаза, бледную кожу и летаргическую походку молодого человека и думает: «Чахотка». Илатту приветствует Якоба, желает ему доброго дня, но не представляет своего спутника, который, как теперь становится понятно клерку, не японец, а европеец с каштановыми волосами и круглыми глазами. Гость не замечает

его и, миновав Перекресток, продолжает идти по Длинной улице к больнице.

Ветер бросает в лицо капли дождя.

— Средь жизни мы смертные, да — а?

Ханзабуро подпрыгивает от неожиданности, а Якоб роняет папку.

— Прошу прощения, если напугал, господин де З.,

— Ари Грот совсем не похож на извиняющегося.

Рядом с Гротом — Пиет Баерт с объемистым мешком на плече.

— Не беда, господин Грот, — Якоб поднимает папку. — Переживем.

— Дольше того бедняги, — Баерт мотает головой в сторону больного.

Словно услышав, волочащий ноги молодой человек раздражается характерным кашлем.

Случайный инспектор подзывает Ханзабуро к себе.

Якоб наблюдает, как наклоняется и кашляет европеец.

— Кто он?

Грот сплевывает.

— Шунсуке Тунберг, а интересно ж, чей он, да — а? Его папаша, слышал я, Карл Тунберг из Швеции, который лет двадцать тому назад проработал здесь несколько сезонов костоправом. Как и доктор М., тож был образованный кент и все ботаникой, знач, занимался, но, вишь, не только семена собирал.

Трехногий пес слизывает плевков лысеющего повара.

— Господин Тунберг не оставил ничего своему сыну?

— Может — да, может — нет, — Грот всасывает воздух сквозь сжатые зубы, — за этим же следить надо, а до Швеции как до Сатурна. Компания жалеет детей своих сотрудников, рожденных вне брака, но без разрешения им из Нагасаки никуда не дозволено, и за магистратом последнее слово: где им жить или жениться, и все такое. У девушек еще есть шанс, пока они молоды. «Кораллы Маруямы» — так называют их свахи. Парням хуже: Тунберг — младший золотых рыбок разводит, я слышал, но скоро червей будет разводить, это точно.

Маринус и пожилой японский ученый идут со стороны больницы.

Якоб узнает доктора Маено, которого видел в Гильдии.

Кашель Шунсуке Тунберга постепенно затухает.

«Я должен был помочь», — думает Якоб.

— Этот бедняга говорит на голландском?

— Не — а. Был совсем крохой, когда папаша уплыл.

— А что с его матерью? Куртизанка, я полагаю.

— Давно умерла. Прощения просим, господин де З., но три дюжины



куриц для «Шенандоа» ждут нас на таможне, а то в прошлый год — половина чуть не дохлых, половина точно дохлых было, и еще три с голубями там оказалось, провиантмейстер назвал их «редкими японскими насадками».

— Червей разводить! — Баерт начинает хохотать. — Только сейчас и дошло, Грот!

Что-то в мешке Баерта колыхнется, и Грот торопится с уходом.

— Мы, знач, пошли, шлеп — шлеп...

Они спешат по Длинной улице.

Якоб наблюдает, как Шунсуке Тунберга доводят до больницы.

Птицы летают под низким небом. Осень уходит.

На лестнице, ведущей в резиденцию директора, Якоб встречает Огаву Мимасаку, отца Огавы Узаемона, спускающегося вниз.

Якоб уступает дорогу: «Добрый день, переводчик Огава».

Руки старика спрятаны в рукавах.

— Клерк де Зут.

— Я не видел молодого господина Огаву... должно быть, четыре дня.

Лицо Огавы Мимасаку более надменно и более строго, чем у сына.

Около уха темное, чернильного цвета пятно.

— Мой сын, — отвечает Огава Мимасаку, — сейчас очень занят в другом месте, не на Дэдзиме.

— Вы не знаете, когда он вернется в Гильдию?

— Нет, я не знаю, — тон подчеркнуто недружелюбный.

«Вы узнали о просьбе, — размышляет Якоб, — с которой я обратился к вашему сыну?»

Из Дома таможни доносится кудахтанье разгневанных куриц.

«Неосторожно брошенный камень, — боится он, — может иногда вызвать лавину».

— Я волновался, может он заболел...

Слуги Огавы Мимасаку смотрят на голландца с нескрываемым осуждением.

— Он в порядке, — отвечает пожилой человек. — Я скажу ему о вашей озабоченности. Доброго вам дня.

— Вы нашли меня, — Ворстенбос разглядывает разбухшую тростниковую жабу в одном из стеклянных сосудов коллекции, — наслаждающимся частной беседой с переводчиком Кобаяши.

Якоб оглядывается и только тут понимает, что директор говорит про

жабу. «Этим утром мое чувство юмора еще не проснулось».

— Неужели это... — Ворстенбос смотрит на папку Якоба, — ваш отчет?

«Что таится, — гадают Якоб, — за этой переменной: уже не «наш», а «ваш»?»

— Суть в том, господин директор, что после всех наших периодических встреч...

— Закону нужны подробности, не суть, — директор протягивает руку за отчетом. — Подробности предлагают факты, а факты, становясь оружием закона, наносят решающий удар.

Якоб вынимает «Расследование» и передает директору.

Ворстенбос подбрасывает книгу в черном переплете на ладони, словно взвешивая ее.

— Простите меня, но мне очень хочется знать о...

— ...о должности, которую вам предстоит занимать в следующем году, да, но следует подождать, юный де Зут, как и всем остальным, до сегодняшнего ужина. Медная квота была предпоследней составляющей моих будущих планов, а это... — он поднимает книгу в черном переплете, — ...последняя часть.

Вторую половину дня Якоб работает с Оувехандом в бухгалтерии, копируя транспортные накладные текущего торгового сезона для архива. Петер Фишер без конца входит и выходит, враждебности в нем еще больше, чем обычно. «Это знак, — Оувеханд говорит Якобу. — Он думает, должность старшего клерка уже ваша». Вечер приносит сильный дождь, температура воздуха падает до самой низкой отметки в этом сезоне, и Якоб решает помыться перед тем, как пойти ужинать. Маленькая баня Дэдзимы находится рядом с кухней Гильдии: кастрюли с водой греются на покрытых медью полках, которые выходят и на другую сторону каменной стены, благодаря чему переводчики с рангом могут пользоваться баней, как своей, невзирая на бешеные цены, которые платит Компания за уголь и хворост. Якоб снимает с себя одежду в раздевалке и пролезает в парную, размером чуть более шкафа. Пахнет кедровым деревом. Влажный жар наполняет легкие Якоба и прочищает поры на лице и теле. Единственная штормовая лампа, вся в каплях, освещает Кона Туоми, отмочающего в одной из двух ванн. «Похоже, это сера Жана Кальвина, — говорит ирландец на английском, — щиплет мои ноздри».

Якоб обливается ковшом теплой воды.

— Почему этот папист — еретик опять здесь первый в ванне? Не так

много работы?

— Работой тайфун обеспечил меня надолго. Дневного света не хватает. Якоб трет себя мочалкой из парусины.

— Где ваш шпион?

— Утонул под моим толстым задом. Где ваш Ханзабуро?

— Набивает щеки на кухне Гильдии.

— Ну, «Шенандоа» отплывает на следующей неделе, он должен нажраться, пока может, — Туоми погружается в воду по самый подбородок, словно дюгонь. — Еще двенадцать месяцев — и моим пяти годам службы конец...

— Решили... — Якоб отворачивается, чтобы помыть пах, — ... вернуться домой?

Им слышно, как разговаривают повара на кухне Гильдии переводчиков.

— Начать заново в Новом Свете будет лучше, так думаю.

Якоб снимает деревянную крышку с ванны.

— Лейси говорит, — рассказывает Туоми, — что запад Луизианы очистили от индейцев...

Тепло пропитывает каждую мышцу и косточку тела Якоба.

— ...и коль не боишься тяжелой работы, то и тех бояться не надо. Поселенцам нужны телеги, чтоб добраться до нужного места, и дома, как только они решат осесть. Лейси дал добро, и я смогу отработать плотником дорогу в Чарльстон из Батавии. Воевать у меня желания нет, тем более если заставят воевать за британцев. Вы, что, вернетесь в Голландию к такой погоде?

— Не знаю, — Якоб думает об Анне у залитого дождем окна. — Я не знаю.

— Кофейным королем будете, точно, с плантацией в Бейтензорге, иль где еще, принцем торговым, с новыми складами вдоль Чиливунга...

— Моя ртуть не принесла столько денег, Кон Туоми.

— Так, но ради вас советник Унико Ворстенбос дернет за нужные ниточки...

Якоб залезает во вторую ванну, думая о «Расследовании».

«Унико Ворстенбос, — хочется сказать клерку, — не самый надежный покровитель».

Тепло вливается в его суставы и лишает желания рассуждать вслух.

— Что нам, де Зут, нужно, так это покурить. Я принесу парочку трубок.

Кон Туоми встает, словно могучий царь Нептун. Якоб погружается в

воду, пока снаружи не остается лишь небольшой островок: губы, ноздри и глаза.

Когда возвращается Туоми, Якоб в теплом трансе, глаза закрыты. Он слушает, как плотник ополаскивается теплой водой и вновь ложится в ванну. Туоми никак не напоминает о желании закурить. Якоб бормочет: «Ни листочка табака, да?»

Сосед по бане откашливается:

— Я Огава, господин де Зут.

Якоб резко садится, вода выплескивается на пол.

— Господин Огава! Я... я думал...

— Вы так расслабились, — говорит Огава Узаемон, — я не хочу вас беспокоить.

— Ранее я встретился с вашим отцом, но... — Якоб протирает глаза, но во влажном сумраке и с его дальновзоркостью зрение лучше не становится. — Я не видел вас после тайфуна.

— Извиняюсь, не смог прийти. Много случилось.

— Вы не смогли... исполнить мою просьбу, со словарем?

— На следующий день после тайфуна я послал слугу в резиденцию Аибагавы.

— Так, значит, вы не сами доставили книгу?

— Мой доверенный слуга отнес словарь. Он не сказал: «Посылка от голландца де Зута». Он объяснил: «Посылка из больницы на Дэдзиме». Видите ли, я не мог пойти сам. Доктор Аибагава болел. Приходить в такое время плохо... даже неприлично.

— Сожалею об этом. Он выздоровел?

— Его похороны состоялись позавчера.

— Ох! — «Теперь все ясно», — думает Якоб. — Тогда госпожа Аибагава...

Огава мнется с ответом.

— Это плохая новость. Она должна покинуть Нагасаки...

Якоб ждет и слушает, как падают капельки сконденсировавшейся из пара воды.

— ...надолго, на много лет. Она не может больше вернуться на Дэдзиму. О вашем словаре, о вашем письме, о том, что она думает, у меня известий нет. Извините.

— Словарь к черту... но... куда она уезжает и зачем?

— В феод настоятеля Эномото. Человека, который купил вашу ртуть...

«Человека, который убивает змей волшебством». Настоятель возникает

перед мысленным взором Якоба.

— Он хочет, чтобы она пошла в храм... — Огава запинаяется, — ... женских монахов. Как сказать?

— Монахинь? Только не говорите мне, что госпожа Аибагава уходит в монахини.

— В монахини, да... на горе Ширануи. Туда она идет.

— Какая польза от акушерки горстке монахинь? Она сама так хочет?

— Доктор Аибагава залез в большие долги, чтобы купить телескоп и так далее, — в голосе Огавы слышится боль. — Быть ученым — это дорого. Его вдова должна теперь выплачивать эти долги. Эномото заключает контракт или сделку с вдовой. Он платит долги. Он дает госпожу Аибагаву монахиням.

— Но это же равносильно, — протестует Якоб, — продаже ее в рабство.

— Японские обычаи, — голос Огавы лишен эмоций, — отличаются от голландских...

— Что скажут друзья его отца в академии Ширандо? Будут они просто стоять и смотреть, как талантливого ученого продают, точно мула, в пожизненное услужение на какую-то пустынную гору? Можно ли таким же образом продать монастырю сына? Эномото сам ученый, разве не так?

Они слышат, как за стеной смеются повара Гильдии.

Якоб видит другое решение.

— Но я предложил ей убежище здесь.

— Ничего нельзя сделать, — Огава встает. — Я должен сейчас идти.

— Значит... она предпочитает монашеское заточение жизни здесь, на Дэдзиме?

Огава вылезает из ванны. Его молчание полно укоризны.

Якоб осознает, каким хамом он выглядит в глазах переводчика: сам— то не рискует почти ничем, а Огава пытался помочь влюбленному иностранцу и получил в награду лишь возмущение.

— Извините меня, господин Огава, но, конечно же, если...

Наружная дверь сдвигается, и довольный свистун входит в помещение.

Тень прячется за ширмой и спрашивает на голландском:

— Кто здесь?

— Это Огава, господин Туоми.

— Добрый вечер, господин Огава. Господин де Зут, наши трубки подождут. Директор Ворстенбос желает обсудить с вами важное дело в его кабинете. Прямо сейчас. Мое нутро подсказывает, что вас ожидают хорошие новости.

— Отчего такое печальное лицо, де Зут? — отчет «Расследование злоупотреблений в торговой фактории на Дэдзиме» лежит на столе перед Унико Ворстенбосом. — По уши в любви, да?

Якоб возмущен тем, что его секрет известен даже директору.

— Шутка, де Зут! Ничего более. Туоми говорит, что я прервал ваш обряд очищения?

— Я уже заканчивал.

— Как говорится, чистота сродни набожности.

— Я не претендую на набожность, но ванна защищает от вшей, да и вечера теперя холоднее.

— Вы выглядите изможденным, де Зут. Может, я слишком уж наседал на вас с этим... — Ворстенбос барабанит пальцами по «Расследованию», — ...заданием?

— Наседали или нет, господин директор, моя работа — это моя работа. Директор согласно кивает, словно судья на слушании.

— Могу ли я надеяться, что мой отчет не разочаровал ваших ожиданий?

Ворстенбос вынимает пробку из графина с рубиновой мадейрой.

Слуги раскладывают приборы на столе в обеденном зале.

Директор наполняет свой бокал, но не предлагает ничего Якобу. «Мы старательно собрали достоверные и неопровержимые доказательства бесстыдного, неправильного управления Дэдзимой в девяностые годы, доказательства, подтверждающие правильность суровых мер, принятых в отношении бывшего директора Даниэля Сниткера...»

Якоб отмечает и «мы», и не упомянутое имя ван Клифа.

— ...предполагая, что наши доказательства будут должным образом представлены губернатору ван Оверстратену. — Ворстенбос открывает створку буфета позади себя и достает еще один бокал.

— Никто не сомневается, — говорит Якоб, — что капитан Лейси доставит этот документ по назначению.

— Почему американец должен заботиться об искоренении коррупции в Компании, если ему эта коррупция приносит немалую прибыль? — Ворстенбос наполняет бокал и передает его Якобу. — Ансельм Лейси — не крестоносец, а лишь нанятый сотрудник. В Батавии он послушно доставит наше «Расследование» личному секретарю генерал-губернатора и тут же позабудет обо всем. Личный секретарь, скорее всего, положит отчет под сукно и предупредит названных в нем господ — и сообщников Сниткера, — которые начнут точить длинные ножи в ожидании нашего возвращения. Нет, свидетельства о дэдзимском кризисе, меры,

предпринятые для выхода из него, и причины наказания Даниэля Сниткера должен представлять тот, кто не мыслит своего будущего вне Компании. Посему, де Зут, я... — прозвучало очень весомо — ...должен вернуться в Батавию на «Шенандоа», один, чтобы довести наше дело до конца.

Напольные часы перебивают шум капель дождя и шипение лампы.

— А... — Якоб прилагает все силы, чтобы голос звучал ровно и уверенно, — ...какие у вас планы относительно меня, господин директор?

— Вы — мои глаза и уши в Нагасаки до следующего торгового сезона.

«Без его защиты, — понимает Якоб, — меня сожрут живьем через неделю...»

— Поэтому я назначаю Петера Фишера новым старшим клерком.

Грохот последствий заглушает звук напольных часов.

«Без статуса, — думает Якоб, — я болонка, брошенная в медвежью клетку».

— Единственный кандидат на пост директора, — продолжает Ворстенбос, — это господин ван Клиф...

«Дэдзима так далеко-далеко, — боится Якоб, — от Батавии».

— ...но как, по-вашему, звучит заместитель директора Якоб де Зут?

## Глава 13. ФЛАГОВАЯ ПЛОЩАДЬ НА ДЭДЗИМЕ

*Утренняя поверка  
в последний день  
октября, 1799 г.*

— Похоже, маленькое чудо, — Пиет Баерт смотрит на небо. — Дождь вытек...

— А я думал, хватит на сорок дней да сорок ночей, — говорит И во Ост.

— Тела сплыли по реке, — замечает Вибо Герритсзон. — Видал, как их собирали крюками с лодок.

— Господин Кобаяши? — Мельхиор ван Клиф повышает голос. — Господин Кобаяши?

Кобаяши поворачивается и смотрит на ван Клифа.

— У нас много дел до того, «Шенандоа» снимется с якоря: почему задержка?

— Наводнение снесло мосты в городе. Много опозданий сегодня.

— Тогда почему, — спрашивает Петер Фишер, — они не вышли из тюрьмы пораньше?

Но переводчик Кобаяши поворачивается к ним спиной и смотрит на Флаговую площадь. Сегодня она — место казни, и столько людей, собранных в одном месте, Якоб в Японии еще не видел. Голландцы стоят полукругом, спиной к флагштоку. Овал вычерчен на земле там, где будут обезглавлены воры, укравшие чайник. На противоположной от голландцев стороне, под навесом, возведена ступенчатая трибуна. На самом высоком, третьем уровне сидит мажордом Томине и дюжина высших чиновников из магистратуры. Средний заполнен другими почетными гостями из Нагасаки. На нижнем — все шестнадцать переводчиков разных рангов, исключая Кобаяши, он при исполнении служебных обязанностей, стоит рядом с Ворстенбосом. Огава Узаемон, с ним Якоб не виделся после встречи в бане, выглядит усталым. Три синтоистских священника в белых одеяниях и разукрашенных головных уборах проводят ритуал очищения, распевая молитвы и разбрасывая соль. Слева и справа стоят слуги, восемьдесят — девяносто переводчиков без ранга, грузчики — кули и дневные работники, довольные тем, что за счет времени, оплачиваемого Компанией, им покажут захватывающее зрелище, плюс охранники, досмотрщики, гребцы и плотники. Четыре человека в лохмотьях застыли в ожидании у тележки.



Палач — самурай с ястребиными глазами, его помощник держит барабан. Доктор Маринус стоит в стороне с четырьмя семинаристами — мужчинами.

«Орито была лихорадкой, — Якоб напоминает себе. — Теперь лихорадка ушла».

— В Антверпене повешение — куда больший праздник, чем этот, — ворчит Баерт.

Капитан Лейси смотрит на флаг, размышляя о ветре и отливах.

Ворстенбос спрашивает: «Понадобятся ли нам буксиры, капитан?»

Лейси качает головой.

— Обойдемся парусами, если ветер не сменится.

Ван Клиф предупреждает:

— Капитаны буксиров все равно попытаются закинуть канаты, так что берегитесь.

— Этим пиратам придется менять много-много порезанных канатов, особенно, если...

У Сухопутных ворот толпа приходит в движение, гудит сильнее, расступается.

Преступников несут в больших веревочных сетках на шестах: четыре человека на каждого. Их приносят и вываливают в вычерченный овал, где освобождают из сеток. Младшему из этих двоих только шестнадцать или семнадцать лет; похоже, до ареста он был красавчиком. Его старший сообщник выглядит сломленным, его трясет. Из одежды на них только набедренные повязки, все остальное — короста засохшей крови, ссадин и шрамов. Несколько пальцев на руках и ногах размозжены, распухли и покрыты струпами. Полицейский Косуги, суровый начальник сегодняшней кровавой церемонии, разворачивает свиток. Толпа затихает. Косуги зачитывает японский текст.

— Это обвинение, — сообщает Кобаяши голландцам, — и признание.

Закончив, полицейский Косуги уходит под навес, где кланяется мажордому Томине, который что-то ему говорит. Полицейский Косуги идет к Унико Ворстенбосу, чтобы передать послание мажордома. Кобаяши быстро и коротко переводит: «Голландский директор дарует прощение?»

Четыре или пять сотен глаз смотрят на Унико Ворстенбоса.

«Проявите милосердие, — молит де Зут в этот критический момент. — Милосердие».

— Спросите воров, — Ворстенбос инструктирует Кобаяши, — они знали, как карается их преступление?

Кобаяши адресуется вопрос стоящей на коленях паре.

Старший вор не может говорить. Младший отвечает с вызовом: «Хай».

— Зачем я тогда буду мешать японскому правосудию? Ответ — нет.

Кобаяши передает вердикт полицейскому Косуги, который марширует назад к мажордому Томине. Когда оглашается ответ, толпа недовольно шумит. Молодой вор говорит что-то Ворстенбосу, и Кобаяши спрашивает:

— Хотите, чтобы я вам перевел?

— Скажите, что он говорит, — отвечает директор.

— Преступник говорит: «Пусть тебе вспоминается мое лицо всякий раз, когда ты будешь пить чай».

Ворстенбос складывает руки на груди.

— Скажите ему, что через двадцать минут я забуду его лицо навсегда. Через двадцать дней лишь несколько друзей будут помнить его. Через двадцать месяцев даже его мать с трудом вспомнит, как выглядел ее сын.

Кобаяши переводит, сурово смакуя каждое слово.

Ближние зрители слышат это и смотрят на голландцев с нарастающей злобой.

— Я перевожу, — Кобаяши убеждает Ворстенбоса, — очень правильно.

Полицейский Косуги и палач готовятся к исполнению приговора, пока Ворстенбос обращается к голландцам:

— Здесь есть люди, господа, которые надеются увидеть, что мы не переварим это блюдо справедливого возмездия. Я заклинаю вас лишить их этого удовольствия.

— Извините, — говорит Баерт, — не врубаюсь, о чем вы.

— Не блевани и не голоси, — объясняет Ари Грот, — перед Желтым Хозяином.

— Именно, Грот, — подтверждает Ворстенбос. — Мы — послы нашей цивилизации.

Старшему вору суждено умереть первым. На его голову надевается мешок. Он по-прежнему на коленях. Младшего отводят в сторону.

Барабанщик выбивает тревожную дробь: палач вынимает из ножен свой меч.

Под трясущейся жертвой земля темнеет от мочи.

Иво Ост, рядом с Якобом, рисует в пыли крест носком сапога.

Несколько собак на площади Эдо заливаются яростным лаем.

Герритсзон бормочет: «Вот и он, красавчик».

Меч палача поднят — яркий от полировки и темный от масла.

Якоб слышит гармонию, всегда присутствующую, но редко слышимую.

Барабанщик в четвертый или пятый раз выдает дробь.  
Звук лезвия, со скрежетом вонзающегося в землю...  
...и голова вора шлепается на песок, по-прежнему в мешке.  
Кровь выплескивается из шеи с тонким, свистящим звуком.  
Безголовое тело валится вперед и замирает, стоя на коленях,  
выблевывая кровь.

Герритсзон бормочет: «Браво, красавчик ты мой».

«Я пролился, как вода... — вспоминает Якоб, закрыв глаза, — ...язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной» [\[58\]](#).

— Семинаристы, — наставляет Маринус, — смотрите на аорту, яремную вену и позвоночник. И какой у венозной крови насыщенный сливовый цвет, в то же время артериальная кровь алая, как распустившийся гибискус. Они довольно заметно отличаются и по вкусу: у артериальной крови присутствует металлический резкий привкус, а у венозной — более фруктовый аромат.

— Ради Христа, доктор, — жалуется ван Клиф. — Это обязательно?

— Лучше такая польза, чем никакая — от подобного бесполезного варварского акта.

Якоб наблюдает за надменным Унико Ворстенбосом.

Петер Фишер презрительно фыркает:

— Охрана собственности Компании — «бесполезный варварский акт»? А если бы украли ваш драгоценный клавесин, доктор?

— Просто попрощался бы с ним. — Обезглавленное тело укладывают на тележку. — Кровь залила бы механизм, и прежнее звучание восстановить бы не удалось.

Понк Оувеханд спрашивает:

— Что будет с телами, доктор?

— Желчь соберут аптекари, а останки продадут желающим. Поскольку местные ученые испытывают трудности в изучении операций и анатомии...

Молодой вор, похоже, не желает надевать на голову мешок.

Его приводят к темному пятну, где обезглавили его сообщника.

Раздается первая дробь...

— Это редкое искусство, — Герритсзон объясняет непонятно кому, — рубить голову. Палач должен учитывать и вес приговоренного, и сезон, потому что летом жира на шее больше, чем в конце зимы, и влажная ли от дождя кожа, и нет ли...

Вторая барабанная дробь...

— Одному парижскому философу, — рассказывает доктор своим студентам, — вынесли смертный приговор во времена недавнего Террора...

Третья барабанная дробь...

— ...и он решился на захватывающий эксперимент: договорился со своим помощником, что начнет моргать, когда почувствует сталь ножа гильотины...

Четвертая барабанная дробь...

— ...и продолжит моргать, как долго сможет. Наблюдая за морганием, помощник смог бы измерить короткую жизнь отрубленной головы.

Купидо бормочет что-то на малайском языке, возможно, старается уберечься от дурного глаза.

Герритсзон оборачивается к нему и говорит: «Завязывай со своей чертовщиной, парень».

Якоб де Зут не может заставить себя увидеть такое еще раз.

Он изучает свою обувь и находит каплю засохшей крови на мыске.

Ветер дует с Флаговой площади: мягкий, словно подол кимоно.

— На этом, — говорит Ворстенбос, — мы, можно сказать, заканчиваем...

Часы «Альмело» в кабинете отбывающего директора только что отбили одиннадцать.

Ворстенбос откладывает в сторону последнюю бумагу, пододвигает к себе приказы о назначениях, обмакивает перо в чернильницу и подписывает первый документ.

— Да улыбнется вам фортуна на весь срок, который вы будете занимать этот пост, директор торговой фактории на Дэдзиме Мельхиор ван Клиф...

В бороде ван Клифа сверкает улыбка:

— Благодарю вас.

— ...и напоследок, — Ворстенбос подписывает второй документ, — исполнителем заместителем директора становится Якоб де Зут. — Он меняет перо. — Подумать только, де Зут, в апреле вы были младшим клерком, направленным на Хальмахеру, в эту болотную дыру!

— Могильная яма, — Ван Клиф шумно выдыхает воздух. — Если спасешься от крокодилов, так лихорадка тебя доконает. Спасешься от лихорадки — ядовитый дротик оборвет твои дни. Вы обязаны господину Ворстенбосу не только своим светлым будущим, но и самой жизнью.

«А ты, вор, — думает Якоб, — обязан ему свободой».

— Моя признательность господину Ворстенбосу глубока и искренна.

— У нас есть время для короткого тоста. Филандер!

Входит Филандер с тремя бокалами вина на серебряном подносе.

Каждый берет по бокалу с длинной ножкой: кабинет наполняет хрустальный звон.

Пригубив вино, Ворстенбос передает ван Клифу ключи от складов «Роза», «Дуб» и «Колючка» и от сейфа, в котором хранится разрешение на торговлю, выданное почти сто пятьдесят лет тому назад великим сегоном. «За процветание Дэдзимы под вашим руководством, директор ван Клиф. Я оставляю вам активного и подающего надежды помощника. На следующий год я желаю вам обоим обойти меня в достижениях и выжать двадцать тысяч пикулей меди из наших скупых узкоглазых хозяев».

— Если это в человеческих силах, — заверяет его ван Клиф, — мы сделаем.

— Я буду молиться за ваше благополучное прибытие, — говорит Якоб.

— Благодарю вас. А теперь, раз уж власть передана... — Ворстенбос из кармана достает конверт и раскрывает документ. — Три главных чиновника на Дэдзиме должны подписать список экспортируемых товаров, на чем всегда настаивает губернатор ван Оверстратен. — Он пишет свое имя в первой графе в конце трехстраничного перечисления содержимого, которое принадлежит компании и погружено в трюм «Шенандоа», разделенного на три раздела: «Медь», «Камфора» и Прочее», с множеством подразделов со своими номерами, количеством и качеством.

Ван Клиф сразу подписывает список.

Якоб берет предложенную ручку и, следуя профессиональной привычке, пробегает взглядом по цифрам: этот документ — единственный из написанных утром, который подготовлен не им.

— Господин заместитель, — упрекает ван Клиф, — разумеется, у вас нет желания задерживать господина Ворстенбоса?

— Компания обязывает меня ничего не подписывать, не глядя.

Эта фраза, как замечает Якоб, встречается ледяным холодом.

— Солнце, — говорит ван Клиф, — все-таки выиграет битву за день, господин Ворстенбос.

— Это так, — Ворстенбос допивает вино. — Интересно, Кобаяши ли затеял весь этот фарс с казнью, но только его план в очередной раз не удался.

Якоб обнаруживает поразительную ошибку: «Всего меди на экспорт: 2600 пикулей».

Ван Клиф откашливается.

— Что-то не так, господин заместитель?

— Здесь в колонке «Всего» девятка очень уж похожа на двойку.

Ворстенбос заявляет:

— Итоговое число в порядке, де Зут.

— Но мы экспортируем девять тысяч шестьсот пикулей.

В легкомыслии ван Клифа слышится угроза.

— Просто подпишите бумагу, де Зут.

Якоб смотрит на ван Клифа, который сначала смотрит на Якоба, а потом поворачивается к Ворстенбосу.

— Только незнакомый с вашей репутацией честного человека может заподозрить такое и... — он пытается найти дипломатическое выражение, — ...быть прощен за предположение, что семь тысяч пикулей меди исчезли из накладной по ошибке.

Лицом Ворстенбос теперь напоминает человека, решившего, что его сын больше никогда не выиграет у него в шахматы.

— Вы предполагали, — голос Якоба слегка дрожит, — украсть эту медь?

— «Украсть» — это к Сниткеру, мой мальчик. Вышеупомянутые пикули — мои, по праву принадлежащие мне дополнительные доходы.

— Но про «дополнительные доходы», — выпаливает сторяча Якоб, — как раз и говорил Даниэль Сниткер!

— Ради благополучия вашей карьеры, не сравнивайте меня с этой причальной крысой.

— Я не сравниваю, — Якоб стучит пальцем по документу. — Вот что сравнивает.

— От трагической казни, увиденной нами этим утром, — говорит ван Клиф, — у вас помутился разум, господин де Зут. К счастью, господин Ворстенбос отходчив, так что извинитесь за свою горячность, распишитесь на документе, и давайте забудем это маленькое недоразумение.

Ворстенбос недоволен, но ничего не добавляет к сказанному ван Клифом.

Слабый солнечный свет пробивает бумажные панели окна кабинета.

«Разве де Зут из Домбурга, — думает Якоб, — продавал кому-нибудь свою совесть?»

От Мельхиора ван Клифа пахнет одеколоном и свиным жиром.

— Что же случилось, — говорит ван Клиф, — с «вашей глубокой и искренней признательностью господину Ворстенбосу», а?

Трупная муха тонет в его вине. Якоб рвет документ пополам...

...и еще раз — на четыре части. Его сердце стучит, как у убийцы после содеянного.

«Я буду слышать этот звук разрываемой бумаги, — знает Якоб, — до самой смерти».

Напольные часы отбивают время маленькими молоточками.

— Я воспринимал де Зута, — Ворстенбос обращается к ван Клифу, — здоровомыслящим молодым человеком.

— Я воспринимал вас, — Якоб говорит Ворстенбосу, — образцом для подражания.

Ворстенбос берет приказ о назначении Якоба и рвет пополам...

...и еще раз — на четыре части.

— Я надеюсь, вам понравится жизнь на Дэдзиме, де Зут: другой вы и не увидите в ближайшие пять лет. Господин ван Клиф: кого вы берете себе в заместители — Фишера или Оувеханда?

— Выбор жалкий. Я бы не хотел ни того ни другого. Но пусть будет Фишер.

Из Парадного зала доносится голос Филандера:

— Извините, но хозяева все еще заняты.

— Избавьте меня от вашего присутствия, — говорит Ворстенбос Якобу, не глядя на него.

— Как только губернатор ван Оверстратен, — рассуждает Якоб вслух, — узнает о...

— Угрожаешь мне, ты, набожная зеландская говняная вошь, — отвечает спокойно Ворстенбос. — Если Сниткера только пощипали, то тебя разрубят на куски. Скажите мне, директор ван Клиф: каково наказание за подделывание письма от имени Его превосходительства генерал-губернатора голландской Ост-Индской компании?

Якоб ощущает внезапную слабость в ногах.

— Это зависит от причин и обстоятельств...

— А если это — сумасшедший клерк, который посылает поддельное письмо не к кому иному, как сегуну Японии, где угрожает эвакуацией Компании ключевого аванпоста, если не будут посланы двадцать тысяч пикулей меди в Нагасаки, меди, которую он предполагал продать сам: а зачем же еще ему заниматься подобным деянием?

— Двадцать лет тюрьмы, — отвечает ван Клиф, — будет самым мягким наказанием.

— Эту... — Якоб пристально смотрит на них, — ...эту ловушку вы спланировали еще в июле?

— Надо всегда застраховаться от будущих разочарований. Я сказал вам — исчезните.

«Я вернусь в Европу, — прозревает Якоб, — не богаче, чем при отъезде».

Якоб открывает дверь кабинета и слышит голос Ворстенбоса:

«Филандер!»

Малаец делает вид, что не подслушивал через замочную скважину.

— Хозяин?

— Приведи мне господина Фишера. У нас есть для него хорошие вести.

— Я передам Фишеру! — кричит Якоб, обернувшись. — Почему бы ему не допить мое вино?

«Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, — Якоб изучает тридцать шестой псалом. — Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину...»

Солнечный свет наполняет комнату в Высоком доме.

Морские ворота закрыты до следующего торгового сезона.

Петер Фишер въедет в новое просторное жилье, положенное заместителю директора.

После пятнадцати недель стояния на якоре «Шенандоа» поднимет все паруса, ее моряки тоскуют по открытой воде и толстым кошелькам в Батавии.

«Не жалея себя, — думает Якоб. — Храни хотя бы свое достоинство».

Слышатся шаги поднимающегося по лестнице Ханзабуро. Якоб закрывает Псалтырь.

Даже Даниэль Сниткер в нетерпении ждет отплытия...

...по крайней мере, в тюрьме Батавии он насладится встречей с друзьями и женой.

Ханзабуро копошится в своей каморке за дверью.

«Орито предпочла заключение в монастыре... — шепчет его одиночество.

Птица на лавровом дереве выводит неторопливые трели.

...дэдзимской женьтибе с тобой». Шаги спускающегося по лестнице Ханзабуро.

Якоб беспокоится о своих письмах домой к Анне, сестре и дяде. Боится, что Ворстенбос отправит их напрямик в нужник «Шенандоа».

Ханзабуро ушел, осознает клерк, даже не попрощавшись.

Ложная весть о его позоре дойдет сначала до Батавии, а потом — до Роттердама.

«Восток, — скажет отец Анны, — показывает, какой у человека характер».

Якоб прикидывает, что весточку о нем она получит не раньше января 1801 года.



Каждый богатый, озабоченный похотью, прямой наследник своего отца в Роттердаме будет просить ее руки...

Якоб открывает Псалтырь, но слишком взволнован, чтобы читать Давидовы псалмы.

«Я честный человек, — думает он, — но посмотрите, к чему привела меня честность».

Выйти наружу — невыносимо. Остаться здесь — невыносимо.

«Другие станут думать, что ты боишься показаться». Он надевает камзол.

Спустившись с лестницы, Якоб наступает на что-то скользкое, падает назад...

...и ударяется копчиком о край ступеньки. Он видит и чувствует по запаху, что поскользнулся на большой человеческой говняшке.

Длинная улица опустела, лишь два кули ухмыляются при виде рыжего иностранца и показывают рога, приставляя руки к голове, как делают французы, когда называют кого-то рогоносцем.

В воздухе роятся насекомые, рожденные влажной землей и осенним солнцем.

Ари Грот торопится к резиденции ван Клифа.

— Господин де З. вызвал множество слухов своим отсутствием на проводах Ворстенбоса.

— Мы с ним уже попрощались, — Якоб неожиданно обнаруживает, что повар заступил ему дорогу — ...раньше.

— Моя челюсть отпала вот досюда, — показывает Грот, — когда я услышал эту новость!

— Ваша челюсть, как я вижу, вернулась на прежнее место.

— Знач, будете отбывать свой срок в Высоком доме, а не там, заместителем. Как я понимаю, не сошлись во мнениях о роли заместителя директора, да — а?

Якобу некуда смотреть, кроме как на стены, ливневые канавы или лицо Ари Грота.

— Крысы говорят, вы не подписали ту липовую накладную? Дорогая привычка — честность. Преданность — это непросто. Говорил же я вам? Знаете, господин де З., какой-нибудь парень посволочнее, поумнев за пару дружеских игр в картишки, мог бы поржать, знач, над незадачей соперника...

Ковыляя, проходит Сиако, неся тукана в клетке.

— ...но я так считаю, пусть ржет Фишер, — бывалый повар прижимает ладонь к сердцу. — Все хорошо, что хорошо кончается, скажем

так. Господин В. позволил мне вывезти весь груз за десять процентов: в прошлый год Сниткер хотел пятьдесят на пятьдесят за угол на «Октавии», еще тот хапуга. Зная теперь его судьбу, рад, что не ударили по рукам! Верная «Шенандоа»... — Грот мотает головой на Морские ворота... — уйдет с урожаем трех добрых лет, да — а. Директор В. даже дал мне двадцать процентов от продажи четырех гроссов статуэток Арита, да — а, за посреднические услуги.

Ведро золотаря покачиваются на шесте, испуская вонь.

— Интересно, как тщательно, — Грот раздумывает вслух, — их обыскивают?

— Четыре гросса статуэток, — Якоб цепляется за цифру. — Не два гросса?

— Сорок восемь дюжин, угу. На аукционе потянут на кругленькую сумму. А в чем вопрос?

— Да так. — «Ворстенбос врал, — понимает Якоб, — с самого начала». — Ну если я больше ничего не могу для вас сделать...

— Кстати, — говорит Грот, вытаскивая какой-то кулек из кармана, — это я могу...

Якоб узнает свой табачный кисет, который Орито отдала Уильяму Питту.

— ...кое-что сделать для вас. Хорошая вещь... ваша, похоже?

— И вы предполагаете продать мне мой же табачный кисет?

— Просто возвращаю настоящему владельцу, господин де З., какие деньги...

Якоб ждет, когда Грот назовет настоящую цену.

— ...хотя, может, сейчас самое время, знач, чтобы напомнить, что умная головушка продала бы наши два последних ящика порошка Эномото раньше, чем позже. Китайские джонки вернутся назад, забитые ртутью, где б только они ее ни раздобыли, и, *entre vous* [\[59\]](#), Лейси и Ворстенбос пришлют тонну на следующий год, а когда рынок заполняется товаром, цена падает.

— Я не продам Эномото. Найдите другого покупателя. Любого другого.

— Клерк де Зут! — Петер Фишер марширует по Длинной улице от Задней аллеи. Лучится предвкушением возмездия. — Клерк де Зут. Что это?

— На голландском мы называем это «большой палец», — Якоб не может заставить себя добавить уважительное «господин заместитель».

— Да, я знаю, что «большой палец». Но что на моем большом пальце?

— Похоже... — Якоб чувствует, что Ари Грот исчез, — грязное пятно.  
— Клерки и матросы обращаются ко мне, — Фишер возвышает голос, — «господин заместитель директора Фишер». Понятно?

«Два года такого, — вычисляет Якоб, — превратятся в пять лет, если он станет директором».

— Я очень хорошо понимаю, что вы говорите, господин заместитель директора Фишер.

На лице Фишера появляется триумфальная улыбка победителя.

— Пыль! Да. Пыль. Она на полках бухгалтерии. И я приказываю вам вычистить ее.

Якоб проглатывает слюну.

— Обычно, кто-то из слуг...

— Да, но я приказываю вам, — Фишер тычет в ребра Якоба грязным пальцем, — протереть полки сейчас же, потому что вам не нравятся рабы, слуги и прочие неравенства в статусе.

Овца, вырвавшаяся на свободу, бежит по Длинной улице.

«Он хочет, чтобы я его ударил», — думает Якоб.

— Я протру их позже.

— Вы каждый раз должны обращаться ко мне, как к господину заместителю директора Фишеру.

«И впереди годы такого», — думает Якоб.

— Я протру их позже, господин заместитель директора Фишер.

Они стоят и смотрят друг на друга; овца блеет и ссыт.

— Протрите полки сейчас же, клерк де Зут. Если вы не...

Якоб задыхается от злости, которую не может сдержать: он просто уходит.

— Директор ван Клиф, — кричит ему в спину Фишер, — и я поговорим о вашей наглости!

Иво Ост курит трубку, стоя в дверном проеме.

— Это будет длинная дорога на самое дно...

— Это моя подпись, — не унимается Фишер, — утверждает ваше жалованье!

Якоб поднимается на Сторожевую башню, надеясь, что не встретит никого на наблюдательной площадке.

Злость и жалость к себе торчат в горле, словно рыбы кости.

«Эта просьба, хотя бы, — он поднимается на пустую площадку, — услышана».

«Шенандоа» в полумиле, в нагасакской бухте. Буксиры следуют в кильватере, как нежеланные гусята. Сужающиеся берега бухты, дождевые

облака, набухшие ветром паруса несут корабль, словно он пробка, вылетающая из бутылочного горла.

«Теперь я понимаю, — думает Якоб, — почему Сторожевая башня в полном моем распоряжении».

«Шенандоа» дает пушечный залп, салютуя башням в устье бухты.

«Какой заключенный захочет смотреть, как захлопывается дверь его темницы?»

Клубы дыма от орудийных выстрелов «Шенандоа» разносит ветром...

...сами выстрелы возвращаются эхом, словно упавшая на клавишную крышка.

Дальнозоркий клерк снимает очки, чтобы лучше видеть.

Бордовое пятно на кормовой надстройке, несомненно, капитан Лейси...

...значит, оливковое — неподкупный Унико Ворстенбос. Якоб представляет себе, как его бывший покровитель использует «Расследование злоупотреблений», чтобы шантажировать чиновников Компании. «Монетный двор Компании, — Ворстенбос может быть очень убедителен, — нуждается в директоре с моими опытом и благоразумием».

На суше жители Нагасаки сидят на крышах, наблюдая за отплытием голландского корабля и мечтая о тех местах, куда он направляется. Якоб думает о своих друзьях и знакомых в Батавии, о коллегах в различных конторах, с которыми он познакомился, работая портовым клерком, об одноклассниках из Мидделбурга и друзьях детства в Домбурге. «Пока они бродят по миру в поисках своего пути и добросердечных жен, я проведу мой двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый год — мои лучшие годы — заключенным в умирающей фактории в компании никчемных людей, выброшенных сюда морем».

Внизу, невидимое глазу, открылось окно в доме заместителя директора.

— Поосторожнее с обивкой, — командует Фишер, — ты, осел...

Якоб смотрит в кисет в поисках хоть завалившегося листочка табака, но он пуст.

— ...или я использую твою говяжью коричневую кожу на заплатки: сечешь?

Якоб представляет себе картину возвращения в Домбург: в пасторском доме — лишь незнакомые люди.

На Флаговой площади священники проводят церемонию очищения места казни.

— Если не платить церкви, — Кобаяши предупредил ван Клифа вчера, когда будущее Якоба сверкало серебром, если не золотом, — души воров не найдут покоя и станут демонами, а тогда ни один японец не ступит на Дэдзиму.

Крючкоклювые чайки затеяли дуэль над рыбацкой лодкой, собирающей сети.

Проходит время, и, когда Якоб вновь смотрит на бухту, бушприт «Шенандоа» исчезает за горой...

За ним следует бак, потом — три мачты...

...и бутылочное горло бухты опять голубое и чистое, как на третий день Сотворения.

Звучный голос женщины выдергивает Якоба из полудремы. Она где-то близко, и голос ее сердит или напуган, а может, в нем звучит и то и другое. Любопытствуя, он ищет взглядом источник шума. На Флаговой площади священники все еще отпевают убитых.

Сухопутные ворота открыты для водоноса с быком, покидающих Дэдзиму.

За воротами Орито Аибагава о чем-то спорит с охранниками.

Смотровая площадка клонится набок: Якоб понимает, что лежит на полу, где она увидеть его не может.

Она размахивает деревянной дощечкой — пропуском и указывает на Короткую улицу.

Охранник подозрительно изучает ее пропуск; она оглядывается.

Быка с висящими по бокам пустыми бочками ведут по Голландскому мосту.

«Она была лихорадкой, — Якоб прячется под веками. — Лихорадка ушла».

Он открывает глаза. Капитан охраны проверяет ее пропуск.

«Может, она здесь, — спрашивает он себя, — чтобы укрыться от Эномото?»

Его предложение о женитьбе возвращается к нему, как восставший голем.

«Я очень хочу ее, да, — боится он, — лишь когда знаю, что никогда не смогу быть с ней».

Водонос похлопывает прутом по бокам быка.

«Она может прийти сюда, — Якоб пытается успокоить себя, — просто с тем, чтобы попасть в больницу».

Он замечает непорядок в ее облике: одна сандалия, обычно аккуратно причесанные волосы спутаны.

«А где другие ученики? Почему охрана не пускает ее?»

Капитан резким голосом задает Орито вопросы.

Орито отвечает нервно, ее отчаяние нарастает: это не обычный визит.

«Действуй! — командует Якоб себе. — Покажи охранникам, что ее ждут, приведи доктора Маринуса, приведи переводчика: ты еще можешь качнуть весы в свою сторону».

Три священника медленно кружат у окровавленного клочка земли.

«Нужен ей не ты, — шепчет Гордость. — Она пытается избежать отправки в монастырь».

На расстоянии тридцати футов капитан вертит в руках пропуск Орито, который определенно не производит на него впечатления.

А будь это Герти, жаждущая сочувствия, ищущая убежище в Зеландии?

В громкой череде капитанских слов Якоб слышит знакомое имя: Эномото.

На площади Эдо появляется фигура с бритой головой, одетая в рясу небесно-голубого цвета.

Этот человек замечает Орито, оборачивается и кого-то зовет, показывая знаками: «Мол, скорее!»

Появляется паланкин серого цвета с восемью носильщиками, что говорит о знатности и богатстве хозяина.

У Якоба ощущение, будто он попал в театр, и как раз к развязке пьесы.

«Я люблю ее», — приходит мысль, простая, как солнечный свет.

Якоб слетает по лестнице, стукнувшись голенью об угловую стойку перил.

Прихрамывает первые шесть или восемь шагов, бежит через Флаговую площадь.

Все происходит слишком медленно, и слишком быстро, и одновременно.

Якоб отталкивает изумленного священника и добегают до Сухопутных ворот, когда они закрываются.

Капитан выставляет свою пику, предупреждая его не делать еще одного шага.

Зазор между створками ворот сужается с каждым мгновением.

Якоб видит спину Орито, которую уводят по Голландскому мосту.

Якоб открывает рот, чтобы выкрикнуть ее имя...

...но ворота с грохотом захлопываются.

Хорошо смазанный запор вдвигается в гнездо.

## Часть вторая. Горная твердыня

*Десятый      месяц  
одиннадцатого      года  
эпохи Кэнсе*

## Глава 14 НАД ДЕРЕВНЕЙ КУРОЗАНЕ В ФЕОДЕ КИОГА

*Поздний вечер  
двадцать второго дня  
десятого месяца*

Сумерки холодны: ожидается снег. Края леса расплывчатые и неопределенные. Черный пес ждет, сидя на выпирающем из земли камне. Он чует сильный запах лисы. Его седовласая хозяйка с трудом поднимается по извилистой тропе.

Сухая ветвь громко трещит под копытом оленя.

Кричит сова, с того кедра или с этой ели... раз, другой, близко, улетела.

Отане несет двадцатую часть коку <sup>[60]</sup>риса — хватит на месяц.

Молодая племянница настойчиво пыталась увести ее на зиму в деревню.

«Бедной девочке нужна союзница, — думает Отане, — в ее ссорах со свекровью».

— Она опять беременна, ты заметил? — спрашивает она пса.

Племянница обвинила тетю в том, что та заставляет всю семью тревожиться из-за ее благополучия. «Но я в безопасности, — старушка повторяет свой ответ заросшей корнями тропе. — Я слишком бедна для головорезов и слишком морщиниста для насильников».

Тогда племянница нашла другой аргумент: в деревне пациенты смогут видаться с ней чаще. «Кто захочет зимой подниматься до половины горы Ширануи?»

— Мой дом не на «половине»! Идти меньше мили.

Птичья трель, доносящаяся с рябины, смолкает.

«Бездетная старуха, — признает Отане, — должна радоваться, что есть родственники, которые могут приютить ее...»

Но она так же хорошо знает, что покинуть жилище гораздо легче, чем вернуться в него.

— Придет весна, — бормочет она, — и мне скажут: «Тетушка Отане не вернется в ту лачугу».

Еще выше угрожающе рычит пара енотов.

Травница из Курозане бредет по горной тропе, ее заплечный мешок с



каждым шагом прибавляет в весе.

Отане доходит до террасы, где посреди сада стоит ее домик. Луковицы свисают из-под широких карнизов. Под ними лежат дрова для печи. Старушка кладет рис на поднятое над землей крыльцо. Все тело болит. Она проверяет коз в стойлах и насыпает им соломы. Напоследок заглядывает к курам: «Интересно, сегодня кто-нибудь принес яичко для тетушки?»

В густом сумраке она находит одно, еще теплое.

— Благодарю вас, дамы.

На ночь она закрывает дверь дома на задвижку, становится на колени перед очагом с трутницей в руках, разводит огонь, ставит на него котелок. Сегодня готовится суп из корня лопуха и ямса. Когда суп закипает, она опускает в котелок яйцо.

Лекарственный шкаф зовет ее в другую комнату в глубине дома.

Пациенты и гости удивляются такому прекрасно сработанному шкафу, высотой почти до потолка. Во времена ее прапрадедушки шесть или восемь крепких мужчин притащили шкаф из деревни, хотя ребенком ей легче верилось в то, что он просто вырос здесь, как древнее дерево. Один за другим она выдвигает навощенные ящики и вдыхает идущие из них запахи. Вот петрушка токи, хороша против колик у младенцев. А тут — едкая кора иомоги, истолченная в порошок для прижиганий. В последнем ящике этого ряда — ягоды докудами, или «рыбья мята». Шкаф — ее источник существования и склад знаний. Она вдыхает мыльный запах листьев шелковицы и слышит, как отец говорит ей: «Хороши от глазных болезней... а вместе с забродившим козьим молоком — против язвы, глистов и нарывов...» Затем Отане прикасается к горьким ягодам пустырника.

Вспоминает о госпоже Аибагаве и возвращается к очагу.

Она скармливает худосочному огню толстое полено.

— Два дня пути от Нагасаки, — говорит она, — чтобы «испросить аудиенцию у Отане из Курозане». Так сказала госпожа Аибагава. В один прекрасный день я зарывала навоз в тыквенную грядку...

Языки пламени отражаются в ясных глазах собаки.

— ...когда у моего забора появились староста деревни и священник.

Старушка жует волокнистый корень лопуха, вспоминая обожженное лицо.

— Неужто прошло три года? Кажется, лишь три месяца.

Пес перекачивается на спину, укладываясь головой на ступни хозяйки, как на подушку.

«Он хорошо знает эту историю, — думает Отане, — но простит, если я расскажу ее еще раз».

— Я думала, что она пришла за лечением, увидев ее обожженное лицо, но затем староста представил ее как «дочь известного всем доктора Аибагавы» и «акушерку, практикующую голландский метод», — словно он знал, что значат эти слова! Но затем она спросила меня, не могла бы я помочь ей советами по лечению травами при родах и — ой, я подумала, что мои уши обманывают меня.

Отане закатывает сваренное яйцо на деревянную тарелку.

— Когда она сказала мне, что для всех аптекарей и ученых в Нагасаки «Отане из Курозане» — это гарантия качества, я пришла в ужас от того, что мое скромное имя известно таким образованным людям...

Старая женщина собирает кусочки скорлупы ногтями, выкрашенными ягодами, и вспоминает, как вежливо госпожа Аибагава отпустила старосту и священника и как тщательно записывала все высказывания Отане. «Она писала так же хорошо, как любой мужчина. Интересовалась якумосо. «Размазать по разорванной промежности, — так я ей сказала, — и не будет воспаления, и кожа зарастет. Также заживляет соски, трескающиеся при кормлении грудью...» — Отане кусает сваренное яйцо, согретая воспоминаниями о том, как по-домашнему вела себя у нее дочь самурая, пока двое ее слуг ремонтировали козий загон и стену. — Ты же помнишь, как старший сын старосты принес обед, — рассказывает она псу. — Очищенный белый рис, перепелиные яйца, морской окунь, запеченный в листьях платана... А мы с тобой подумали, что попали во дворец принцессы Луны! — Отане приподнимает крышку чайника и бросает внутрь пригоршню мелко нарезанного чая. — Я говорила так много в тот день, сколько не говорила за весь год. Госпожа Аибагава хотела заплатить мне «деньги за обучение», но как я могла взять с нее хоть один сен? Тогда она купила у меня весь пустырник, но заплатила в три раза больше обычной цены».

Темнота перед ней шевелится и быстро превращается в кота.

— Где ты прятался? Мы говорили о первой встрече с госпожой Аибагавой. Она прислала нам высушенного морского окуня на Новый год. Ее слуга доставил его нам из самого города. — Закопченный чайник начинает пыхтеть, а Отане думает о второй встрече, во время шестого месяца следующего года, когда цвел белокопытник. — Она была влюблена в то лето. О-о, я не спрашивала, но она сама не удержалась и проговорила о молодом переводчике с голландского языка из хорошей семьи по фамилии Огава. Ее голос дрогнул... — Кот поднимает на нее глаза, — ...

когда она произносила его имя. — Снаружи в ночи скрипят деревья. Отане наливает себе чаю прежде, чем закипит вода и листья станут горькими. — Я молилась тогда, чтобы они поженились и Огава-сама позволял бы ей приезжать в феод Киога, чтобы порадовать мое сердце, и ее второй приезд не стал бы последним. — Она отпивает чай, вспоминая день, когда новости добрались до Курозане по цепочке родственников и слуг: старший Огава отверг просьбу сына разрешить ему жениться на дочери доктора Аибагавы. Затем, на Новый год, Отане узнала, что переводчик Огава сделал предложение другой невесте. — Несмотря на такой поворот событий... — Отане шурует длинной палкой в очаге, — ...госпожа Аибагава не забыла обо мне. Прислала шаль, связанную из самой теплой иноземной шерсти, подарок на Новый год.

Пес чешет спину, снимая зуд блошиных укусов.

Отане вспоминает летний приезд госпожи Аибагавы, как самый странный из трех ее посещений Курозане. За две недели до этого, когда цвели азалии, продавец соли привез в гостиницу Харубаяши известие, что дочь доктора Аибагавы совершила «голландское чудо» и вдохнула жизнь в мертворожденного ребенка магистрата Широямы.

— И потому, когда она приехала, половина деревни пришла к дому Отане, надеясь увидеть новые голландские чудеса. «Медицина — это знания, — объяснила селянам госпожа Аибагава, — а не чудеса». Так она сказала людям, и они поблагодарили ее, но разошлись разочарованными. Когда мы остались наедине, молодая женщина призналась мне, что этот год у нее очень трудный. Отец болеет, и, избегая упоминания имени переводчика Огавы, она невольно призналась, что ее сердцу нанесена глубокая рана. Правда, к хорошим новостям следовало отнести разрешение на учебу у голландского доктора на Дэдзиме, дарованное благодарным магистратом. Ну я, наверное, выглядела встревоженной... — Отане гладит кота. — ...всеми этими историями о чужеземцах. Но она меня убедила, что голландский доктор очень хороший учитель и даже знаком с настоятелем Эномото.

Шорох крыльев доносится из трубы над очагом. Сова охотится.

Потом, через шесть недель, пришла самая ужасная новость за последние годы жизни Отане.

Госпожа Аибагава собиралась стать монахиней в храме на горе Ширануи.

Отане попыталась встретиться с госпожой Аибагавой в гостинице Харубаяши в ночь перед тем, как ее увезли на гору, но ни знакомство с ней,

ни тот факт, что она дважды в год приносила в храм лечебные травы, не убедили монаха нарушить запрет на разговоры. Она даже не смогла передать ей письмо. Ей сказали, что в ближайшие двадцать лет новой сестре — монахине нет и не будет никакого дела до мирской жизни. «И что за жизнь, — гадают Отане, — будет у нее в том месте?»

— Никто не знает, — бормочет она, отвечая самой себе, — и это проблема.

Она вспоминает то небольшое, что знает о храме на горе Ширануи.

Это духовный дом владыки — настоятеля Энмото, даймё феода Киога.

Богиня храма покровительствует плодородию вод и рисовых полей Киоги.

Никто, кроме учителей и аколитов ордена, не может ни зайти туда, ни выйти.

Этих людей около шестидесяти, а сестер — монахинь — порядка дюжины. Сестры живут в своем Доме внутри храмовых стен под надзором настоятельницы. По словам слуги гостиницы Харубаяши, женщины с такими изъянами кожи и тела, в большинстве своем, закончили бы свои дни в борделях, развлекая клиентов, а настоятель Энмото славится тем, что дает этим несчастным шанс на лучшую жизнь...

— ...но, конечно же, — волнуется Отане, — не для дочери самурая — доктора...

— С обожженным лицом выйти замуж сложнее, — бормочет она, — но не скажешь, что невозможно.

Фактов мало, а потому множатся слухи. Многие жители деревни слышали, что бывшие сестры Ширануи получали дома и пенсии в награду за служение богине, но ни одна вышедшая на пенсию монахиня не останавливалась в Курозане, и ни один селянин никогда не говорил с ними. Бунтаро, сын кузнеца, который служит в охране Ворот — на — полпути в ущелье Мекура, утверждает, что учитель Кинтен учит монахов искусству убивать, и по этой причине храм закрыт для всех. Игривая служанка в гостинице рассказывала об охотнике, который клялся, что видел крылатых женщин, одетых монахинями, летающих над Голым пиком, вершиной Ширануи. Тем же днем свекровь племянницы Отане в Курозане заметила, что семя монахов такое же живое, как и у обычных мужчин, и спросила, сколько бушелей травы ангелов заказывал храм. Отане отрицала — и говорила чистую правду, — что приносила траву для вызывания абортов учителю Сузаки, и тут же поняла, что свекровь именно это и интересовало.

Селяне обмениваются слухами, но отлично знают, что искать реальные

ответы — себе дороже. Они гордятся соседством с таким закрытым монастырем, и им платят за поставку продовольствия. А задавать слишком много вопросов все равно, что кусать руку дающего.

«Монахи, скорее всего, монахи, — надеется Отане, — а сестры живут, как монахини...»

Она слышит умиротворяющую тишину падающего снега.

— Единственное, — говорит Отане своему коту, — что мы можем сделать для госпожи Аигабавы — попросить Богородицу защитить ее.

Размером с ящик, обшитая деревянными панелями ниша в стене из бамбука и глины похожа на обычные алтарные альковы селян. В ней хранятся посмертные таблички родителей Отане и треснутая ваза с несколькими зелеными веточками. Проверив дверную задвижку дважды, Отане вынимает вазу и сдвигает заднюю панель. В этом маленьком тайнике хранятся настоящие сокровища дома Отане и ее рода: с белой глазурью, с голубым орнаментом, с трещинками, запыленными от древности, статуэтка Марии — самы, матери Иису — сама и Владычицы Небесной, изготовленная давным-давно по подобию Каннон, богини милосердия. Она держит ребенка на руках. Дедушка дедушки Отане, как гласит история, получил ее от одного святого человека по имени Хавьер, приплывшего в Японию из Рая на волшебном летающем корабле, который тянули золотые лебеди.

Отане опускается на отзывающиеся болью колени с четками из желудей в руках.

— Святая Мария — сама, мать Адана и Ева, которые украли у Бога — доно священный плод хурмы, Мария сама, мать Паппы Марудзи, с его шестью сыновьями на шести каноэ, которые пережили великий потоп, очистивший все земли, Мария, мать Иису — сама, которого распяли на кресте за четыреста серебряных монет, Мария — сама, услышь мою...

«Треснул сучок... — Отане задерживает свое дыхание, — ...под ногой человека?»

Большинство из десяти или двенадцати семейств в Курозане, обосновавшихся в деревне раньше других, были, как и семья Отане, тайными христианами, но соблюдать осторожность следовало всегда. Никто не пощадит ее седые волосы, если узнают о ее веровании; лишь отказ от своей веры и выдача всех ее последователей могут заменить смерть ссылкой, но тогда Сан — Петоро и Сан — Павро отвергнут ее у ворот рая, а когда морская вода станет маслом и мир загорится, она упадет в ад, называемый Бенбо.

Травница убеждена, что снаружи никого нет.

— Дева Мать, это Отане из Курозане. Снова эта старуха молит Богоматерь помочь госпоже Аибагаве в храме Ширануи и охранить ее от болезней, и прогнать злых духов и... и опасных мужчин. Пожалуйста, верните ей все, что у нее взяли.

«Не ходило даже слухов о том, — думает Отане, — что из монастыря когда-либо отпускали молодую монахиню».

— Но если эта старуха просит слишком много у Марии — самы...

Боль в одеревеневших коленях Отане расплзается к бедрам и лодыжкам.

— ...пожалуйста, просто скажите госпоже Аибагаве, что ее подруга, Отане из Курозане, думает...

Что-то стучит по входной двери. Отане ахает. Пес вскочил, рычит...

Отане опускает деревянную панель, когда в дверь стучат второй раз.

Пес лает. Она слышит мужской голос. Она приводит в порядок ящик.

Она возвращает на место вазочку.

После третьего стука идет к двери и громко говорит:

— Здесь нечего украсть.

— Это, — отвечает слабый мужской голос, — дом травницы Отане?

— Могу я сначала спросить имя моего почтенного гостя в столь поздний час?

— Джирицу Акатокияму, — отвечает гость, — так меня звали...

Отане удивлена, услышав имя аколита учителя Сузаку.

«Может, Мария — сама, — задается она вопросом, — приложила к этому руку?»

— Мы видимся в Гостевом доме храма, — продолжает голос, — дважды в год.

Она открывает дверь занесенной снегом фигуре, завернутой в теплые одежды и с бамбуковой шляпой на голове. Он переступает порог, и снег влетает с ним.

— Садитесь к огню, аколит, — Отане захлопывает дверь. — Плохая ночь. — Она ведет его к деревянной табуретке.

С усилием он освобождается от шляпы, капюшона и горных сапог.

Он выдохся, лицо осунувшееся, глаза не от мира сего.

«Вопросы потом, — думает Отане. — Сначала он должен согреться».

Она наливает чаю и обжимает кружку его замерзшими пальцами.

Расстегивает застёжки промокшего плаща монаха и укутывает его шерстяною шалью.

Мускулы его шеи трещат, когда он пьет чай.

«Возможно, он собирал растения, — размышляет Отане, — или медитировал в пещере».

Она ставит на огонь котелок с остатками супа. Они не говорят ни слова.

— Я сбежал с горы Ширануи, — внезапно возвещает Джирицу. — Нарушил клятву.

Отане потрясена, но сейчас он может умолкнуть от одного не вовремя сказанного слова.

— Моя рука, эта рука, моя кисточка: они узнали, раньше меня.

Она толчет корня ноги, ожидая слов хоть с каким-нибудь смыслом.

— Я принял путь... бессмертия, но настоящее имя ему — зло.

Огонь трещит, животные дышат, снег падает.

Джирицу кашляет, словно что-то попало в горло.

— Она видит так далеко! Очень далеко, очень... Мой отец продавал с лотка табак, увлекался азартными играми в Сакаи. Нас считали чуть выше изгоев, и однажды вечером карты легли совсем плохо, и он продал меня кожевнику. Неприкасаемому. Я потерял свое имя и спал на чердаке скотобойни. Годы, годы я резал глотки лошадям, чтобы заработать на пропитание и крышу над головой. Резал... резал... резал. Что сыновья кожевника делали со мной! Я... я... я... мечтал, чтобы кто-нибудь перерезал горло мне. Приходила зима, и я грелся, лишь когда варил кости на клей. Приходило лето, мухи лезли в глаза, в рот, и мы отскребали засохшую кровь и маслянистое говно, чтобы смешать все с морскими водорослями, превращая в удобрения. В аду пахнет лучше, чем в том месте...

Стропила потрескивают. Снега прибавляется и прибавляется.

— На Новый год я перелез через стену, огораживающую деревню эта и убежал в Осаку, но кожевник послал в погоню за мной двух человек. Они не ожидали, что я так хорошо владею ножом. Никто ничего не видел, а Она видела. Она притягивала меня... днями, перекрестками, слухами, снами, месяцами... тянула на запад, запад, запад... через проливы к феоде Хизен, к феоде Киога... и выше... — Джирицу смотрит на потолок, возможно, в сторону вершины горы.

— Аколит — сама, — спрашивает Отане, продолжая размалывать лекарство, — говорит о ком-то в храме?

— Они все смотрят ее глазами, как пила — глазами плотника.

— Глупая старуха никак не поймет, кем может быть эта «Она».

Слезы льются из глаз Джирицу.

— Разве мы нечто большее, чем совокупность наших деяний?

Отане решается на более прямой вопрос.

— Аколит — сама, в храме горы Ширануи вы не видели госпожу Аибагаву?

Он моргает, взгляд становится более осмысленным: «Самая новая сестра. Да».

— Она... — Теперь Отане не знает, о чем спросить. — Она в порядке?

Он шумно и грустно вздыхает:

— Лошади знали, что я их убью.

— Как там относятся к госпоже Аибагаве? — Отане перестает толочь корень.

— Если Она услышит, — говорит Джирицу, опять уходя в себя, — то проткнет мое сердце пальцем... Завтра я... расскажу... о том месте... но ночью ее слух гораздо острее. Тогда меня отправят в Нагасаки. Я... я... я... я...

«Имбирь для его циркуляции крови, — Отане идет к шкафу, — девичья трава от бреда».

— Моя рука, моя кисточка: они знали раньше меня, — усталый голос Джирицу следует за ней. — Три ночи тому назад, а может и все девять, я был в библиотеке, работал над письмом для Дара. Письма — меньшее зло. «Акты милосердия», говорит Генму, но... но я выходил из себя, а когда вернулся, моя рука, моя кисточка написали... написали сами... — он шепчет, и его колотит, — ...я написал сам Двенадцать догм. Черными чернилами на белом пергаменте! Даже произнести их вслух богохульство, за исключением учителя Генму и владыки — настоятеля, но чтобы записать их, и любой мирянин смог бы их прочесть... Она, должно быть, чем-то занималась, а не то убила бы меня там же. Учитель Иотен прошел мимо, совсем рядом, позади, в считанных дюймах... Не двигаясь, я прочитал Двенадцать догм и увидел, впервые... что скотобойни Сакаи в сравнении — сад наслаждений.

Отане почти ничего не понимает из его речи, натирает на терке имбирь, а сердце холодеет.

Джирицу достает спрятанный под одеждой футляр из кизилового дерева для хранения бумаг.

— Некоторые важные люди в Нагасаки не куплены Эномото. Магистрат Широяма может доказать, что он живет по совести... и настоятели конкурирующих орденов захотят узнать самое худшее, и это... — он хмурится, глядя на футляр, — худшее из худших.

— Аколит — сама намеревается, — спрашивает Отане, — попасть в



Нагасаки?

— На восток, — молодой человек, больше похожий на старика, с трудом обнаруживает ее. — Кинтен последует за мной.

— Чтобы убедить Аколит — сама, — надеется она, — вернуться в храм?

Джирицу отрицательно качает головой.

— Для тех, кто... отворачивается, обратного пути нет.

Отане бросает быстрый взгляд на нишу — буцудан:

— Спрячьте там.

Аколит Джирицу смотрит сквозь ладонь на огонь.

— Попав в снегопад, я подумал, Отане из Курозане приютит меня...

— И эта старушка рада... — крысы шуршат под стропилами, — ... рада, что вы так подумали.

— ...на одну ночь. Но если я останусь на две ночи, Кинтен убьет нас обоих.

Он произносит это бесстрастно, как что-то обыденное.

«Огонь пожирает дерево, — думает Отане, — а время пожирает нас».

— Отец называл меня «мальчик», — говорит он. — Кожевник звал меня «псом». Учитель Генму назвал своего нового аколита Джирицу. Как меня зовут сейчас?

— Вы не помните, — спрашивает она, — как вас называла мать?

— На скотобойне мне все время снилась... женщина, похожая на мать, которая называла меня Мохи.

— Это была точно она. — Отане смешивает чай с порошками. — Пейте.

— Когда владыка Энма спросит мое имя, — беглец берет кружку чая, — чтобы записать меня в Книгу ада, так я ему и скажу: «Мохи Отступник».

Отане снятся чешуйчатые крылья, гремящая чернота и далекие стуки. Она просыпается на кровати, сделанной из соломы и перьев, между простынями из пенькового полотна. Щеки и нос щиплет морозом. В проблесках снежно-голубого дневного света она видит Мохи, свернувшегося калачиком у умирающего очага, и вспоминает весь разговор. Она наблюдает за ним некоторое время, не зная, проснулся он или нет. Кот вылезает из-под шали и идет к Отане, которая пытается выделить из ночного разговора бред, видения, ключи к разгадке и правду. «То, от чего он убежал, — понимает она, — угрожает госпоже Аибагаве...»

Все это записано на бумаге, которая хранится в кизиловом футляре. Он

держит его в руке.

«...и, возможно, — думает Отане, — этот футляр и есть ответ Марии — самы моим молитвам».

Она могла бы убедить аколита остаться на несколько дней, пока его не перестанут искать.

«Под крышей есть удобный тайник, — думает она, — если кто-нибудь придет...»

Она выдыхает облачко белого пара в холодный воздух. Такие же облачка, только поменьше, выдыхает кот.

«Возблагодарим Бога на небесах, — произносит она беззвучно, — за этот новый день».

Бледные облачка поднимаются и над влажным носом спящего пса.

Но Мохи, завернутый в теплую чужеземную шаль, еще более застывший, чем труп.

Отане осознает, что он не дышит.

## Глава 15. ДОМ СЕСТЕР В МОНАСТЫРЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ

*Восход двадцать  
третьего утра  
десятого месяца*

Три бронзовых раската колокола Первого света отражаются от крыш, сбрасывают голубей с насиженных мест, разбегаются эхом по Дому, просачиваются через щель под дверью в келью самой новой сестры, и находят Орито, которая не открывает глаз и молится: «Позволь мне хоть на мгновение дольше побыть где-то еще...» — но запахи влажного татами, жирных свечей и затхлого дыма не оставляют никакой надежды на иллюзорную свободу. Она слышит тап, тап, тап: женщины набивают трубки.

Ночью блохи или вши попиrowали на ее шее, груди, животе, бокам и спине.

«В Нагасаки, — думает она, — два дня пути отсюда, клены все еще красные...

Цветы манджу, розовые и белые, сайра такая жирная, как раз идет ее лов».

«Два дня пути, — думает она, — которые, возможно, равносильны двадцати годам».

Сестра Кагеро проходит мимо кельи. Ее голос бьет по нервам: «Холодно! Холодно! Холодно!»

Орито открывает глаза и изучает потолок в ее комнате, шириной в пять циновок.

Она гадает, на какой балке повесилась последняя самая новая сестра.

Очаг потушен, дважды отфильтрованный свет обрел новую голубоватую белизну.

«Первый снег, — думает Орито. — Ущелье, ведущее к Курозане, может стать непроходимым».

Ногтем большого пальца Орито делает насечку на деревянной обшивке стены.

«Дом может владеть мной, — думает она, — но не временем».

Она считает насечки: один день, два, три...

...сорок семь, сорок восемь, сорок девять...

Это утро, отсчитывает она, пятидесятое после ее похищения.

«Ты будешь здесь, — надсмехается Жирная Крыса, — и после десяти тысяч насечек».

Глаза крысы — черные жемчужины; и она внезапно исчезает.

«Если это была крыса, — убеждает себя Орито, — она не говорила, потому что крысы не разговаривают».

Она слышит в коридоре тихое пение своей матери, как и почти каждое утро.

Она чувствует запах онегири, рисовых шариков, обсыпанных кунжутными семечками, которые жарит ее служанка Аяме.

— Аяме тоже нет здесь, — говорит Орито. — Мачеха уволила ее.

Эта «дезориентация» — во времени и ощущениях, — она уверена, вызвана медицинскими препаратами учителя Сузаку, которые он дает перед ужином каждой сестре-монахине. Эти добавки учитель называет «Утешением». Она знает, что удовольствие, которое они приносят, губительно и вызывает привязанность к ним, но, если она не станет их пить, ее не будут кормить, а может ли голодающая женщина надеяться на побег из горного храма посреди зимы? Лучше есть.

Труднее справляться с мыслями о мачехе и сводном брате, которые просыпаются в резиденции Аибагавы в Нагасаки. Орито беспокоится о ее вещах и вещах отца, которые могли быть проданы: телескопы, их приборы, книги и медицинские препараты; материнские кимоно и драгоценности... Теперь все это принадлежит мачехе, готово к продаже тому, кто даст самую высокую цену.

«Как она продала меня», — думает Орито и чувствует, как гнев скручивает желудок...

...пока она не слышит Яиои в соседней келье: ее рвет, она стонет, ее вновь рвет.

Орито с трудом поднимается с постели и надевает залатанное верхнее кимоно.

Она повязывает платок поверх ожога и торопится наружу, в коридор.

«Я больше не дочь, — думает она, — но по-прежнему акушерка...»

«...куда я шла?» — Орито стоит в мрачном коридоре, по обе стороны которого деревянные сдвижные ширмы. Дневной свет попадает в коридор через решетки наверху. Она вздрагивает от холода и смотрит на свое дыхание, зная, что куда-то шла, но куда? Забывчивость — еще один эффект «Утешения» Сузаку. Она оглядывается вокруг, пытаясь понять, как здесь оказалась. Ночная лампа на углу, рядом с уборной, погасла. Орито касается

ладонью деревянной ширмы, потемневшей от бесчисленных зим. Толкает ее в сторону, но ширма сдвигается совсем на чуть-чуть. В отверстие Орито видит сосульки, свисающие с карниза крыши.

Ветки старой сосны гнутся вниз под тяжестью снега, снег лежит и на камнях для сидения.

Корка льда стягивает Квадратный пруд. Голый пик испещрен снежными прожилками.

Сестра Кирицубо появляется из-за сосны, идет вдоль стены Дома с другой стороны двора, ведет сросшимися пальцами сухой руки по деревянным ширмам. Она обходит четырехугольник двора сто восемь раз в день. Когда ее пальцы находят пустоту приоткрытой двери, она говорит: «Сестра встала очень рано этим утром».

Орито нечего сказать сестре Кирицубо.

Третья сестра Умегае появляется во внутреннем коридоре. «Это только начало зимы в Киоге, самая новая сестра. — Пятна на коже Умегае темно — лилового цвета. — Дар в чрево — как теплый камень в карман».

Орито знает, что Умегае говорит так, чтобы напугать ее. И срабатывает.

Похищенная акушерка слышит, как кого-то рвет и вспоминает: «Яиои...»

Шестнадцатилетняя женщина сгибается над деревянным ведром. Желчь капает с губ, и новый поток блевотины вырывается изо рта. Орито ковшом разбивает лед на глубокой миске с водой и с миской подходит к Яиои. Та, с остекленевшими глазами, кивает гостье, словно говоря: «Худшее позади». Орито протирает рот Яиои клочком бумаги и подает ей чашку ледяной воды. «Большая часть, — говорит Яиои, пряча заостренные уши под головной повязкой, — этим утром попала в ведро, по крайней мере».

— Со временем, — Орито вытирает брызги блевотины, — будет попадать все.

Яиои вытирает глаза рукавом.

— Почему меня так часто рвет, сестра?

— Рвота иногда продолжается до самых родов...

— В последний раз мне очень хотелось сладостей данго. В этот раз даже сама мысль о них...

— Каждая беременность протекает по-своему. А теперь приляг.

Яиои ложится на спину, складывает руки на большом животе и погружается в тяжелые раздумья.

Орито читает ее мысли:

— Все еще чувствуешь, как пинается ребенок?

— Да, моему Дару... — она похлопывает по животу, — радостно, когда он слышит тебя... но... но в прошлом году сестру Хотару тоже начало рвать на пятом месяце, а потом случился выкидыш. Дар умер за несколько недель до этого. Я была там, и вонь стояла...

— Сестра Хотару, выходит, не чувствовала пинков несколько недель?

Яиои одновременно и хочет, и не хочет соглашаться.

— Я... полагаю, нет.

— А твой пинается, и какой вывод ты можешь сделать?

Яиои хмурится, позволяя логике Орито успокоить ее и подбодрить.

— Я благодарна Богине за то, что она привела тебя сюда.

«Эномото купил меня, — думает Орито, едва удерживаясь от ответа, — а моя мачеха продала...»

Она начинает втирать козий жир в большой живот Яиои.

«...а я прокляла их обоих и скажу им обоим в лицо, когда смогу».

Пинок — пониже выпуклого пупка Яиои, у последнего ребра — глухой стук...

...из-под грудины, пинок, слева — еще одно шевеление.

— Есть шанс, — Орито решает сказать Яиои, — что ты носишь двойню.

У Яиои достаточно знаний, чтобы знать, что это опасно.

— Ты точно знаешь?

— Почти наверняка, и этим объясняется столь продолжительная рвота.

— Сестра Хацуне родила двойню при ее втором Даре. Одними родами поднялась на два ранга. Если Богиня облагодетельствовала меня двойней...

— Что может этот кусок дерева, — взрывается Орито, — знать о человеческой боли?

— Пожалуйста, сестра! — испуганно просит Яиои. — Ты же не стала бы оскорблять свою мать!

Нутро Орито сводит судорогой, невозможно вдохнуть.

— Видишь, сестра? Она может слышать. Скажи, что просишь прощения, сестра, и она остановит боль.

«Чем больше «Утешения» примет мое тело, — знает Орито, — тем больше оно его захочет».

Она берет вонючее ведро Яиои и несет вокруг Дома к тележке с пищевыми отходами.

Вороны сидят на коньке крыши, разглядывая узницу.

«Из всех женщин, которых вы могли взять, — спросила бы она

Эномото, — зачем лишать меня моей жизни?»

Но за пятьдесят прошедших дней настоятель Ширануи ни разу не появился в храме.

— В свое время, — отвечает настоятельница Изу на все ее вопросы и мольбы, — в свое время.

На кухне сестра Асагао помешивает суп над пытящим огнем. Физический дефект Асагао — наиболее бросающийся в глаза: ее губы стянуты в круг, отчего затруднена речь. Ее подруга, сестра Садае, родилась с деформированным черепом: лицо похоже на кошачью морду, а глаза кажутся необычно огромными. Она замечает Орито и замолкает на полуслове.

«Почему эти две следят за мной, — удивляется Орито, — словно белки за голодной кошкой?»

Их лица показывают реакцию на ее мысль, высказанную вслух.

Еще один унижительный трюк «Утешения».

— Сестра Яиои больна, — говорит Орито. — Я бы хотела принести ей чашку чая. Пожалуйста.

Садае глазами указывает на чайник: один глаз у нее карий, другой — серый.

Беременность Садае уже заметна под одеждой.

«Это девочка», — думает дочь доктора, наливая горькое питье.

Когда аколит Зано гнусаво кричит (нос у него вечно забит): «Ворота открываются, сестры!» — Орито спешит по внутреннему коридору к месту между комнатами настоятельницы Изу и экономки Сацуко и сдвигает деревянную ширму. С этого места, лишь однажды, в первую неделю здесь, она увидела территорию монастыря, находящуюся за двойными воротами: лестницу, кленовую рощу, учителя в голубой рясе и аколита в одежде из грубой мешковины...

...но этим утром, как обычно, аколит у ворот более бдителен. Орито ничего не видит, кроме закрытых внешних ворот и двоих аколитов, везущих отпущенное на день продовольствие на ручной тележке.

Сестра Савараби спешит к ним из Главного зала.

— Аколит Чуаи! Аколит Мабороши! Этот снег, я надеюсь, не заморозил ваши кости? У учителя Генму нет сердца — заморил наших молодых жеребцов, превратил в скелеты.

— Мы знаем, — игриво отвечает Мабороши, — как согреться, Девятая сестра.

— О-о, как же я могу позабыть об этом? — Савараби поглаживает

пальцами между грудей. — Разве не Джирицу должен привозить нам продовольствие на этой неделе, этот бессовестный лежебока?

Легкомыслие Мабороши мгновенно улечивается.

— Аколит заболел.

— Ай — яй — яй. Заболел, говоришь. Не просто... расчихался?

— Его состояние, — Мабороши и Чуаи продолжают везти тележку к кухне, — похоже, очень тяжелое.

— Мы надеемся, — добавляет сестра Хотару (у нее волчья губа), появившаяся из Главного зала, — что бедный аколит Джирицу не при смерти?

— Его состояние тяжелое, — Мабороши краток. — Мы должны готовиться к худшему.

— Что ж, наша самая новая сестра — дочь знаменитого доктора в ее прошлой жизни, так что учитель Сузаку может что-то сделать не так, не посоветовавшись с ней. Она придет, и с радостью, потому что... — Савараби рупором приставляет ко рту ладони и кричит во весь голос, глядя на щель, из которой выглядывает Орито:

— ...она очень хочет увидеть территорию монастыря, чтобы спланировать свой побег, разве не так, сестра Орито?

Раскрасневшаяся от стыда, обнаруженная «шпионка» в слезах убегает в келью.

Все сестры, за исключением Яиои, с настоятельницей Изу и экономкой Сацуки стоят на коленях у низкого стола в Длинном зале. Двери в Молитвенный зал, где возвышается позолоченная статуя беременной Богини, открыты. Богиня наблюдает за сестрами из-за спины настоятельницы Изу. Настоятельница бьет в цилиндрический гонг. Начинает звучать сутра Благодарности.

— Настоятелю Эномото — но — ками, — женский хор, — нашему духовному поводырю...

Орито представляет себе, как она плюет на уважаемого коллегу ее покойного отца.

— ...чья мудрость ведет за собой храм на горе Ширануи...

Настоятельница Изу и экономка Сацуки замечают застывшие губы Орито.

— ...мы, дочери Изаназо, воздаем благодарность сытого ребенка.

Ее протест пассивный, тщетный, но у Орито нет возможности выразить его более явно.

— Настоятелю Генму — но — ками, чья мудрость оберегает Дом сестер...



Орито смотрит на экономку Сацуки, и та стыдливо отворачивается.

— ...мы, дочери Изаназо, выражаем благодарность за справедливое управление нами.

Орито переводит свой взгляд на настоятельницу Изу, которая добродушно принимает ее неповиновение.

— Богине Ширануи, Фонтану Жизни и Матери Даров...

Орито смотрит поверх голов монахинь, на развешанные свитки.

— ...мы, сестры Ширануи, предлагаем плоды наших чрев...

На свитках рисунки времен года и цитаты синтоистских текстов.

— ...чтобы плодородие снизошло на Киогу и чтобы голод и засуха покинули эти места...

На центральном свитке — список сестер, расставленных по рангу в соответствии с количеством родов.

«Совсем как, — с отвращением думает Орито, — в команде борцов сумо».

— ...и пусть колесо жизни крутится сквозь вечность...

Деревянная табличка с надписью «ОРИТО» лежит крайней справа.

— ...пока не выгорит последняя звезда и не сломается колесо времени.

Настоятельница Изу вновь бьет в гонг, завершая сутру. Экономка Сацуки закрывает двери Молитвенного зала, пока Асагао и Садае разносят рис и суп мисо из примыкающей кухни.

Когда настоятельница Изу бьет в гонг, сестры приступают к завтраку.

Разговоры и перегляды запрещены, но подругам разрешается наливать друг дружке воду для питья.

Четырнадцать ртов — Яиои сегодня отсутствует — жуют, чавкают, проглатывают.

«Какие деликатесы ест сейчас мачеха?» — ненависть бушует в душе Орито.

Каждая сестра оставляет несколько зерен риса для духов ее предков.

Орито тоже так делает, полагая, что в этом месте ей нужны любые союзники.

Настоятельница Изу бьет в цилиндрический гонг: завтрак закончен. Пока Садае и Асагао собирают посуду, красноглазая Хашихиме спрашивает настоятельницу Изу о больном аколите Джирицу.

— Его лечат в келье, — отвечает настоятельница. — У него трясущая лихорадка.

Несколько сестер прикрывают рты и тревожно шепчутся.

«Зачем жалеть, — очень хочется спросить Орито, — одного из ваших тюремщиков?»

— Грузчик из Курозане умер от этой болезни: бедный Джирицу, может, вдохнул в себя его дыхание. Учитель Сузаку попросил нас молиться о выздоровлении аколита.

Большинство сестер энергично кивают и обещают молиться.

Настоятельница Изу переходит к дневным поручениям.

— Сестры Хацуне и Хашихиме продолжают ткать, как и вчера. Сестра Кирицубо подметает коридоры. Сестра Умегае скручивает лен на складе в бечевки с сестрами Минори и Югири. В Час Лошади они идут в Большой Храм натирать полы. Сестра Югири может быть освобождена от этого, если пожелает, из-за своего Дара.

«Какие отвратительные, лживые слова, — думает Орито, — в которые облакаются уродливые мысли».

Каждая голова в комнате оборачивается на Орито. Она снова озвучила свои мысли.

— Сестры Хотару и Савараби, — продолжает настоятельница, — вытирают пыль в Молитвенном зале, затем чистят общие уборные. Сестры Асагао и Садае, конечно, будут на кухне, а сестра Кагеро и наша самая новая сестра... — более жесткий взгляд на Орито, говорящий: «Посмотрим, сможет ли наша утонченная дама работать так же, как ее слуги», — ...идут в прачечную. Если сестра Яиои будет чувствовать себя лучше, она может присоединиться к ним.

В прачечной, длинной комнате рядом с кухней — два очага для нагрева воды, две огромные ванны для стирки и ряд бамбуковых шестов, на которых сушится белье. Орито и Кагеро носят ведра с водой из бассейна посередине двора. Чтобы наполнить каждую ванну, нужно сходить 40–50 раз за водой, и потому они не разговаривают друг с другом. Поначалу дочь самурая уставала от работы, но сейчас ее ноги и руки окрепли, и волдыри на ладонях сменила толстая кожа. Яиои следит за огнем в очагах.

— Скоро, — начинает дразниться Жирная Крыса, балансируя на борту тележки с отходами, — твой живот станет таким же, как у нее.

— Я не позволю этим псам дотронуться до меня, — бормочет Орито. — Меня здесь уже не будет.

— Твое тело — больше не твое, — ухмыляется Жирная Крыса, — а Богини.

Орито поскользывается на кухонной ступеньке и разливает ведро.

— Уж и не знаю, как бы мы, — холодно говорит Кагеро, — справлялись без тебя.

— Пол все равно надо помыть, — Яиои помогает Орито протереть

тряпками пол.

Когда вода в котлах становится теплой, Яиои выливает ее на одеяла и ночные рубашки. Деревянными щипцами Орито переносит их, отяжелевшие, капающие водой, в прачечные тиски — наклоненный стол с прижимной крышкой, которую закрывает Кагеро, чтобы отжать воду из белья. Потом Кагеро развешивает мокрое белье на бамбуковых шестах. Через кухонную дверь Садае делится с Яиои сном прошлой ночи. «Послышался стук в ворота. Я вышла из моей комнаты — происходило все летом — но не чувствовалось, лето это, или ночь, или день... Наш Дом опустел. Стук продолжался, и я тогда спросила: «Кто там?» И мужской голос ответил: «Это я, это Иваи».

— Сестра Садае получила первый Дар, — Яиои объясняет Орито, — в прошлом году.

— Родила в пятый день пятого месяца, — добавляет Садае, — в день Мальчиков.

Дата вызывает у женщин воспоминания о развевающихся флагах в форме карпа и праздничных невинных играх.

— И настоятель Генму, — продолжает Садае, — назвал его Иваи, в честь празднования.

— Семья пивоваров в Такамацу, — говорит Яиои, — по фамилии Такаиши, усыновила его.

Орито скрыта облаком пара.

— Понимаю...

— Саткнитесь, — прерывает их Асагао, — ласкасы фай о сфоем сне, сестла...

— Ну, — продолжает Садае, отскребывая корочку сгоревшего риса, — я удивилась, что Иваи вырос так быстро, и заволновалась, что его накажут, раз он нарушил правило не возвращаться на гору Ширануи. Но... — она смотрит в сторону Молитвенного зала и понижает голос, — ...я отодвинула засов внутренних ворот...

— Сасоф, — спрашивает Асагао, — гофолишь, был с тфоей столоны фолот?

— Да, именно. Тогда я не обратила внимания. Значит, ворота открываются...

Яиои нетерпеливо восклицает:

— Что ты увидела, сестра?

— Сухие листья. Нет Дара, нет Иваи, просто сухие листья. И ветер их унес.

— Это, — Кагеро налегает изо всех сил на рычаг прижимной

крышки, — плохой знак.

Садае расстроена категоричностью Кагеро.

— Ты так думаешь, сестра?

— Как может превращение твоего Дара в сухие листья быть хорошим знаком?

Яиои размешивает воду в котле.

— Сестра Кагеро, ты огорчаешь Садае.

— Просто говорю правду, — отвечает Кагеро, отжимая белье, — как думаю.

— Мошешь ты сказать, — Асагао спрашивает Садае, — кто был отец Ифаи по холосу?

— Точно, — говорит Яиои. — Твой сон — ниточка к отцу Иваи.

Даже Кагеро становится интересно.

— Какие монахи были твоими Дарителями?

Входит экономка Сацуки с ящиком мыльных орехов.

Яркий закат окрашивает снежные вены Голого пика в кровавую рыбу розовизну, и свет вечерней звезды пронзает глаз, словно игла. Дым и запахи стряпни просачиваются от кухни. За исключением двух поварих, назначенных на неделю, женщины свободны в своих занятиях, пока учитель Сузаку не прибыл к ужину. Орито отправляется на прогулку, раз за разом обходит внутренний двор Дома против часовой стрелки, чтобы отвлечь тело от нарастающей жажды «Утешения». Несколько сестер собралось в Длинном зале, выбеливают друг дружке лица или чернят зубы. Яиои отдыхает в своей келье. Слепая сестра Минори учит Садае играть на кото «Восемь миль горного перехода». Умегае, Хашихиме и Кагеро тоже прогуливаются по внутреннему двору, только по часовой стрелке. Орито обязана останавливаться и пропускать их. В тысячный раз со времени своего похищения ей хочется, чтобы у нее появилась возможность написать письмо. Непроверенные письма во внешний мир, она знает, запрещены, и она скорее сожгла бы все, написанное ею, из страха открыть истинные мысли. «Но кисточка для письма, — думает она, — это отмычка для сознания узника». Настоятельница Изу обещала подарить ей письменный набор после того, как будет подтверждено получение ею первого Дара.

«Как я решусь на такое, — Орито передегивает, — и буду жить после этого?»

Когда она поворачивает у следующего угла, Голый пик уже не розовый, а серый.

Она размышляет о двенадцати женщинах в этом доме, которые это выдержали.

Она думает о предыдущей самой новой сестре, которая повесилась.

— Венера, — однажды сказал Орито ее отец, — движется по часовой стрелке. Все другие планеты, ее братья и сестры, вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки...

...но воспоминания об отце улетучиваются под насмешливыми «если».

Умегае, Хашихиме и Кагеро надвигаются шаркающей стеной подбитых кимоно.

«Если бы Эномото никогда не видел меня или не выбрал меня в свою коллекцию...»

Орито слышит доносящиеся с кухни рубящие удары ножей: «чоп — чоп — чоп».

«Если б моя мачеха обладала тем сочувствием, которое когда-то притворно выказывала...»

Орито прижимается к деревянной ширме, чтобы пропустить их.

«Если бы Эномото не гарантировал выплату займов отца ростовщикам...»

— Некоторые из нас очень хорошо воспитаны, — фыркает Кагеро, — и думают, что рис растет на деревьях.

«Если бы Якоб де Зут знал, что я добралась до Сухопутных ворот Дэдзимы в мой последний день...»

Три женщины проходят мимо: залатанные одежды шуршат по деревянным планкам.

Гусиный клин летит в небесах, кричит лесная обезьянка.

«Лучше быть дэдзимской женой, — думает Орито, — под защитой чужеземных денег...»

Горная птица на старой сосне выводит сложные трели.

«...чем то, что должно случиться в неделю Дарения, если я не сбегу».

Ручей, забранный в каменные берега, протекает по внутреннему двору под поднятым полом Дома, питая бассейн. Орито прижимается к деревянной ширме.

— Она полагает, — говорит Хашихиме, — что волшебное облако унесет ее отсюда...

Звезды прорастают у берегов Небесной Реки, набухают и распускаются.

«Европейцы, — вспоминает Орито, — называют ее Млечный Путь». Ее мягко говорящий отец вновь с ней: Это Умихеби — морская змея, тут Токеи — часы, там Ите — лучник... — Она ощущает его теплый запах, — а выше — Раншинбан, компас...»

Засов внутренних ворот шумно сдвигается: «Открыто!»

Каждая сестра слышит. Каждая сестра думает: «Учитель Сузаку».

Все сестры собираются в Длинном зале, одетые в самые лучшие одежды, за исключением Садае и Асагао, которые все еще готовят ужин, и Орито, у которой есть только одно рабочее кимоно, в котором ее похитили, теплая подбитая накидка хаката и пара головных платков. Даже у сестры низшего ранга Яиои есть на выбор два-три кимоно приличного качества — по одному за каждого рожденного ребенка — и простые ожерелья, и бамбуковые расчески. Старшие сестры, вроде Хацуне и Хашихиме, накопили за много лет гардеробы, какими могут похвастаться жены торговцев высокого ранга.

Ее жажда «Утешения» сейчас отзывается гулками ударами молота в голове, но Орито должна ждать дольше всех: одна за другой, строго по ранжиру, сестры вызываются в Квадратную комнату, где Сузаку принимает их и дает им свои зелья. Сузаку проводит две-три минуты с каждым пациентом; для некоторых сестер проглотить лекарство и выслушать учителя — событие, по значимости уступающее только получению новогоднего письма. Первой после ее консультации возвращается сестра Хацуне с новостью, что лихорадка у аколита Джирицу усиливается, и учитель Сузаку сомневается, что тот проживет эту ночь.

Большинство сестер выражают изумление и уныние.

— Наши учителя и аколиты, — недоумевает Хацуне, — так редко болеют...

Орито задается вопросом, какие травы следовало бы ему прописать, прежде чем думает: «Это никак меня не касается».

Женщины обмениваются воспоминаниями о Джирицу, говоря о нем в прошлом времени.

Быстрее, чем ожидалось, Яиои трогает ее за плечо:

— Твоя очередь.

— Как себя чувствует самая новая сестра этим вечером? — учитель Сузаку выглядит так, будто в любой момент готов рассмеяться, но никогда не делает этого. Эффект зловещий. Настоятельница Изу сидит в одном углу, аколит — в другом.

Орито отвечает, как всегда: «Живая, как видите».

— Мы не знакомы, — Сузаку указывает на молодого человека, — с аколитом Чуаи?

Кагеро и злые на язык сестры прозвали Чуаи Раздутой Жабой.

— Конечно, нет, — Орито не смотрит на аколита.

Сузаку щелкает языком.

— Первый снег не иссушил наше тело?

«Не проси «Утешения». — Она говорит: «Нет». — Как же ему хочется, чтобы ты попросила».

— Значит, у нас нет никаких жалоб? Ни болей, ни кровотечений?

Ей кажется, что мир для него — одна, устроенная им, отменная шутка.

— Нет.

— Запор? Понос? Геморрой? Молочница? Мигрень?

— Сейчас я страдаю, — не может сдержаться Орито, — от лишения свободы.

Сузаку улыбается аколиту Чуаи и настоятельнице.

— Наши связи с миром внизу вяжут нас, как канаты. Разрежь их — и будешь так же счастлива, как дорогие сестры.

— Моих «дорогих сестер» вытащили из борделей и ярмарочных шоу уродцев, и, возможно, им здесь лучше. Я потеряла большее, а Эномото... — настоятельница Изу и аколит Чуаи вздрагивают от упоминания с таким яростным презрением имени настоятеля, — так и не встретился со мной с того времени, когда купил меня. И хватит... — Орито едва сдерживается, чтобы не наставить на него палец, как делают разгневанные голландцы, — потчевать меня вашими банальностями о судьбе и божественном балансе. Просто дайте мне мое «Утешение». Пожалуйста. Женщины хотят ужинать.

— Вряд ли подобает самой новой сестре, — начинает настоятельница, — обращаться...

Сузаку останавливает ее вежливым поднятием руки:

— Давайте выкажем ей небольшое снисхождение, настоятельница, даже если она этого недостойна. Упрямство чаще всего укрощается добротой, — монах наливает мутную жидкость в каменную чашку размером с наперсток.

«Видишь, как медленно он делает, — думает она, — чтобы усилить твою жажду».

Орито останавливает руку, схватившую чашку с протянутого ей подноса.

Отворачивается, чтобы рукав скрыл от всех вульгарный процесс питья.

— Как только тебя одарят, — обещает Сузаку, — у тебя сразу возникнет чувство, что твое место здесь.

«Никогда, — думает Орито, — никогда». Язык впитывает маслянистую жидкость...

...и кровь ускоряет бег, артерии расширяются, и блаженство

разливается по ее суставам.

— Богиня не выбирала тебя, — говорит настоятельница Изу. — Ты выбрала Богиню.

Теплые снежинки планируют на кожу Орито, тают, что-то шепча.

Каждый вечер докторская дочь хочет спросить Сузаку о составе «Утешения». Каждый вечер сдерживается. «Вопрос, — знает она, — вызовет разговор, а разговор — шаг к согласию со случившимся».

— Что хорошо для тела, — говорит Сузаку рту Орито, — то хорошо для души.

Ужин — это праздник в сравнении с завтраком. После краткого благодарения экономка Сацуки и сестры едят соевый творог, обваленный в кунжутных семечках и обжаренный в масле с чесноком, маринованные баклажаны, сардины и белый рис. Даже самые надменные монахини вспоминают о своем бедняцком прошлом, когда могли только мечтать о такой еде, и наслаждаются каждым кусочком. Настоятельница ушла с учителем Сузаку на ужин к учителю Генму, поэтому настроение в Длинном зале спокойное и умиротворенное. Когда все съедено, а посуда и палочки вымыты, сестры курят трубки за столом, делятся историями, играют в маджонг, перечитывают — или просят кого-нибудь перечитать — новогодние письма и слушают, как Хацуне играет на кото. Действие «Утешения» немного ослабевает с каждым вечером, замечает Орито. Она уходит, как всегда, не попрощавшись. «Подождем, пока ее одарят, — чувствует она мысли женщин. — Подождем, пока ее живот станет большим, как скала, и тогда ей понадобится мы, чтобы помочь скрести, приносить и таскать».

Вернувшись в келью, Орито находит разожженный очаг. Яиои.

Неприязнь Умегае и враждебность Кагеро побуждают ее отвергнуть Дом.

«Но доброта Яиои, — боится она, — примирит ее со здешней жизнью...»

...и приблизит тот день, когда храм Ширануи станет ее домом.

«Кто знает, — гадают она, — а вдруг Яиои всего лишь выполняет приказ Генму?»

Орито, в смятении и дрожа от ледяного воздуха, обтирается куском материи.

Она ложится на бок под одеяла, глядя на огненный сад.

Ветки хурмы провисают от спелых фруктов. Они светятся в сумерках.

Ресница в небе вырастает в цаплю; неуклюжая птица опускается...

У нее зеленые глаза и красное оперение; Орито боится ее неловкого



клюва.

Цапля говорит, конечно же, на голландском: «Ты прекрасна».

Орито не желает поощрять цаплю, не желает и прогонять.

Она — во дворе Дома сестер: слышит, как стонет Яиои. Сухие листья летят, как летучие мыши; летучие мыши летят, как сухие листья.

«Как мне убежать? — вопрос вслух. — Ворота закрыты».

«С каких пор, — надсмехается лунно-серый кот, — кошкам нужны ключи?»

«Нет времени, — раздражение переполняет ее, — для загадок».

«Сначала убедил их, — говорит кот, — что ты здесь всем довольна».

«Почему, — спрашивает она, — я вообще должна убеждать их в этой лживой довольности?»

«Потому что только тогда, — отвечает кот, — они перестанут следить за тобой».

## Глава 16. АКАДЕМИЯ ШИРАНДО В РЕЗИДЕНЦИИ ОЦУКИ В НАГАСАКИ

*Закат двадцать  
четвертого дня  
десятого месяца*

— Я делаю вывод, — говорит Иошида Хаято, все еще моложавый автор обстоятельной монографии об истинном возрасте Земли, внимательно оглядывая аудиторию, состоящую из восьмидесяти — девяноста ученых, — что широко распространенное мнение, будто Япония — непобедимая крепость, является пагубным заблуждением. Уважаемые академики, мы — ветхое строение с потрескавшимися стенами, дырявой крышей и алчными соседями. — Иошида страдает болезнью костей, и необходимость говорить громко, на весь зал в шестьдесят циновок, выматывает его. — К северо-западу от нас, на расстоянии утреннего путешествия от острова Цусима, живут хвастливые корейцы. Кто сможет забыть провокационные плакаты их последнего посольства? «Инспекторы владений» и «Мы чисты», намекающие тем самым: «А вы — нет!»

Некоторые ученые хмыкают, соглашаясь.

— На северо-востоке находится огромная страна Эзо, родной дом диких айну, но также и русских, которые нарисовали карты наших берегов и предъявляют права на Карафуто. Они называют его Сахалин. Прошло всего лишь двенадцать лет с тех пор, как француз... — Иошида разминает губы, чтобы выговорить иностранную фамилию, — ...Ла Перуз назвал пролив между Эзо и Карафуто своим именем! Как французы отнеслись бы к проливу Иошида у своих берегов? — Смысл речи преподнесен точно и понят всеми. — Недавние набеги капитана Беньовского и капитана Лаксмана предупреждают нас о близком будущем, когда блуждающие европейцы будут не просто просить у нас продовольствия, но и требовать вести с ними торговлю, предоставлять доки и склады, а то и укрепленные порты, заключать неравноправные договора. Колонии прорастут, как чертополох и сорняки. Тогда мы поймем, что наша «неприступная крепость» была всего лишь безвредной пилулей, прописанной для успокоения больного, и ничем более, что наши моря не представляют собой «непроходимый ров», а, как написал мой далеко видящий коллега Хаяши Шихеи, «океанская дорога без границ, соединяющая Китай, Голландию и

мост Нихонбаши в Эдо».

Одни кивают, соглашаясь, другие смотрят друг на друга в недоумении.

«Хаяши Шихеи, — помнит Огава Узаемон, — умер под домашним арестом, которого добился своими призывами».

— Моя лекция закончена, — Иошида откланивается. — Я благодарю Ширандо за милостивое внимание.

Оцуки Мондзуро, бородатый директор Академии, не торопится с вопросами, но доктор Маено прочищает уважаемое всеми горло и поднимает веер.

— Во-первых, я хотел бы поблагодарить Иошиду-сана за его крайне интересные мысли. Во-вторых, я бы хотел спросить: как лучше избежать угроз, перечисленных им?

Иошида отпивает теплой воды и делает глубокий вдох.

«Неясный, уклончивый ответ, — думает Огава, — наилучший вариант».

— Созданием японского флота, созданием двух больших верфей и основанием академии, где иностранные инструкторы учили бы японских кораблестроителей, оружейников, канониров, офицеров и матросов.

Публика не готова к столь смелым прогнозам Нормиды.

Математик Авацу первым приходит в себя:

— Только и всего?

Иошида улыбается звучащей в голосе Авацу иронии.

— Категорически, нет. Нам нужна национальная армия, построенная по французской модели, арсенал для производства новейших прусских винтовок и заморская империя. Чтобы не стать европейской колонией, нам нужны собственные колонии.

— Но предложенное Иошидой-саном, — возражает доктор Маено, — потребует...

«Радикально нового правительства, — думает Узаемон, — и радикально новой Японии».

Химик, неизвестный Узаемону, предлагает:

— Торговая миссия в Батавии?

Иошида отрицательно качает головой.

— Батавия — это сточная канава, и, что бы ни говорили голландцы, Голландия — пешка. Франция, Англия, Пруссия или энергичные Соединенные Штаты могут быть нашими учителями. Двести светлых голов, физически крепких ученых — по этому критерию, — говорит он, горько улыбаясь, — я не пройду, — надлежит послать в эти страны, чтобы изучить промышленное производство. По их возвращении, надо позволить

им свободно высказать полученные знания всем ясным умам любых классов, и только тогда мы сможем приступить к строительству настоящей «неприступной крепости».

— Но, — Хага, аптекарь с носом, похожим на обезьяний, высказывает очевидное для всех возражение, — указ о «закрытии» страны запрещает любому жителю покидать Японию под страхом смерти.

«Даже Иошида Хаято не посмеет сказать, — думает Узаемон, — что указ должно отменить».

— В таком случае, — Иошида Хаято внешне спокоен, — указ должно отменить.

Заявление провоцирует полные страха возражения, но некоторые нервно соглашаются.

Переводчик Арашияма смотрит на Узаемона: «Кто-то же должен спасти его от самого себя?»

«Он смертельно болен, — думает молодой переводчик. — Он сделал выбор».

— Иошида — сама, — говорит аптекарь Хага, — отрицает мнение третьего сегуна...

— ...а он не партнер по дебатам, — соглашается химик, — а божество!

— Иошида — сама, — вступает Омари, художник, пишущий в стиле голландцев, — патриот — провидец, и его должны услышать!

Хага встает:

— Наше ученое общество обсуждает мир природы, философию...

— ...а не государственную политику, — соглашается металлург из Эдо, — поэтому...

— Философия включает все, — заявляет Омори, только страх говорит обратное.

— Значит, кто не согласен с вами, — спрашивает Хага, — становится трусом?

— Третий сегун закрыл страну, чтобы предотвратить христианские бунты, — вступает в спор историк Аодо, — но в результате Японию засолили в стеклянной банке!

Шум со всех сторон, и директор Оцуки громко бьет два раза палочками, утихомиривая спорящих.

Когда устанавливается относительное спокойствие, Иошида получает разрешение ответить своим оппонентам.

— Указ о «закрытии» страны был необходимой мерой в дни Третьего сегуна. Но новые машины начинают менять мир. И мы узнаем из голландских сообщений и китайских источников, что это представляет

смертельную опасность. Страны, у которых нет таких машин, в лучшем случае, будут подчинены, как индийцы. А в худшем случае — уничтожены, как жители Земли Ван- Димена.

— Лояльность Иошиды-сана, — признает Хага, — не подвергается сомнению. В чем я сомневаюсь, так это в появлении армады европейских военных кораблей у Эдо или Нагасаки. Вы обсуждаете необходимость революционных изменений государства, но для чего? Чтобы сражаться с фантомами? Чтобы просто рассуждать о гипотетических «что, если»?

— Настоящее — это поле битвы, — Иошида выпрямляет спину, как только может, — где разные «что, если» соперничают друг с другом, чтобы стать «что есть» будущего. Каким образом одно «что, если» победит своих соперников? Ответ... — больной прокашливается, — ответ: «Военной и политической силой, естественно!» представляет собой лишь отсрочку. Что на самом деле управляет сознанием великих мира сего? Ответ — «вера». Вера может быть низменная и возвышенная, демократичная или конфуцианская, западная или восточная, скромная или смелая, ясная или туманная. Сила, укрепляемая верой — тот самый путь, и никакой другой, по которому нужно следовать. В каком чреве, когда зарождается вера? Как и в каком котле варится идеология? Академики Ширандо, я говорю вам, что мы и есть тот самый котел. Мы и есть то самое чрево.

Во время первого перерыва зажжены все лампы, горят все жаровни, согревающие от холода, разговоры тихо бурлят и пузыряются. Переводчики Узаемон, Арашияма и Гото Шинпачи сидят с пятью — шестью учеными. Математик Авацу извиняется за неприятную тему для Узаемона, но «...я надеялся услышать новости об улучшении здоровья вашего отца».

— Он все еще прикован к постели, — отвечает Узаемон, — но находит возможность доносить до всех свою волю.

Те, кто знаком со старшим Огава, переводчиком первого ранга, улыбаются, глядя в пол.

— Что беспокоит уважаемого господина? — спрашивает Янаока, раскрасневшийся от саке доктор из Кумамото.

— Доктор Маено полагает, что у отца рак...

— Тяжелый диагноз! Позвольте нам завтра провести консультационный осмотр.

— Доктор Янаока добр к нам, но отец очень избирателен по отношению...

— Да перестаньте, я знаком с вашим благородным отцом двадцать лет. «Да, — думает Узаемон, — но он презирает вас сорок».

— «У семи нянек дитя без глаза», — цитирует Авацу, — доктор

Маено, несомненно, прекрасный врач. Я буду молиться за скорейшее выздоровление господина Огавы.

Остальные обещают то же самое, а Узаемон выражает им за это благодарность.

— Еще одно отсутствующее лицо, — упоминает Янаока, — это обожженная дочь доктора Аибагавы.

— Так, выходит, вы не слышали, — говорит переводчик Арашияма, — о счастливом для нее исходе? Финансы доктора оказались в крайне плачевном состоянии, даже начались разговоры о том, что вдова потеряет дом. Когда Владыка-настоятель Эномото узнал о нищете семьи, он не только заплатил долги до самого последнего сена, но даже нашел место для дочери в монастыре на горе Ширануи.

— Почему же это «счастливый исход»? — Узаемон уже сожалеет, что открыл рот.

— Полная чашка риса каждый день, — говорит Озоно, коренастый химик, — за разучивание нескольких сутр? Для женщины с изъяном, который ставит крест на замужестве, это, конечно же, счастье! О-о, я знаю, отец поддерживал ее игры в ученого, но надо посочувствовать и вдове. Разве должно дочери самурая возиться с роженицами и общаться с потными голландцами?

Узаемон приказывает себе молчать.

— В Исхая, — говорит Банда, инженер земляных работ из болотистой местности Сендай, — я слышал странные слухи о храме настоятеля Эномото.

— Если вы не хотите, — Авацу дружески предупреждает Банду, — оказаться в неудобном положении, обвиняя в чем-либо близкого друга Мацудаиры Саданобу и старшего академика Ширандо, тогда вам лучше не обращать внимания на слухи о храме владыки Эномото. Монахи живут там, как и положено монахам, а монахини — монахиням.

Узаемон и хочет, чтобы Банда поделился этими слухами, и не хочет.

— Где настоятель Эномото сегодня, кто знает? — спрашивает Янаока.

— В Мияко, — отвечает Авацу, — разбирается с каком-то сложным клерикальным вопросом.

— На суде в Кашиме, — говорит Арашияма. — Я слышал, участвует в каком-то процессе.

— Мне говорили, что он поехал на остров Изу, — выдвигает свою версию Озоно, — чтобы встретиться с корейскими торговцами.

Дверь сдвигается в сторону: приветственный шум прокатывается по залу.

Доктор Маринус и Сугита Генпаку, один из самых известных специалистов по голландским наукам, стоят в дверях. Хромой Маринус опирается на трость; пожилой Сугита опирается на слугу. Пара весело толкается, уступая очередь другой стороне. Они затевают игру камень-ножницы — бумага. Маринус выигрывает, но использует свою победу, чтобы Сугита вошел первым.

— Вы посмотрите, — подает голос Янаока, вытягивая шею, — на волосы этого иностранца!

Огава Узаемон видит, как Якоб де Зут стучается головой о низкую притолоку дверного проема.

— Всего тридцать лет тому назад, — рассказывает Сугита Генпаку, сидя на низкой скамеечке лектора, — голландские науки во всей Японии изучали только трое, и состояли эти науки из одной книги. Самый старый из них — перед вами, а компанию мне составляли доктор Накагава Джунен и мой дорогой друг, доктор Маено, среди недавних открытий которого, конечно же, есть эликсир бессмертия, поскольку он совсем не изменился с того времени.

Пальцы Сугиты накручивают кольца седой бороды.

Доктор Маено отрицательно качает головой: смущенный и польщенный сказанным.

— Книга, — продолжает Сугита, наклонив голову, — называлась «Анатомические таблицы» Кулмуса <sup>[61]</sup>, отпечатанная в Голландии. Ее я увидел в самый первый визит в Нагасаки. Возжелал всем своим существом, но заплатить запрашиваемую цену мог бы с тем же успехом, с каким доплыл бы до Луны. Мой клан купил ее для меня и, совершив это, определил мою судьбу. — Сугита замолкает и с профессиональным интересом слушает, как переводчик Шизуки передает его слова Маринусу и де Зуту.

Узаемон не появлялся на Дэдзиме после отплытия «Шенандоа» и сейчас избегает взгляда де Зута. Его чувство вины за происшедшее с Орито каким-то боком связано с голландцем, но понять, каким именно, Узаемон никак не может.

— Мы с Маено привезли «Анатомические таблицы» в Эдо на площадь казней, — продолжает Сугита, — где нашли заключенную по прозвищу Чай Старой Матери, которую приговорили к часовому удушению за отравление мужа. — Шизуки запинается на слове «удушение» и показывает действие жестами. — Мы заключили сделку. В обмен на безболезненное отсечение головы она дала нам разрешение провести первое во всей

истории Японии медицинское вскрытие тела и подписала клятву, что ее дух не будет преследовать нас, чтобы отомстить. При сравнении внутренних органов этой дамы с иллюстрациями в книге мы обнаружили, к нашему глубокому удивлению, что китайские источники, доминировавшие в нашем обучении, крайне неточны. Мы не нашли ни «ушей легких», ни «семи долей почек», и кишки заметно отличались от описаний мудрецов древности...

Сугита ждет, пока Шизуки переводит сказанное.

«Де Зут сильно похудел, — думает Узаемон, — в сравнении с осенью».

— При этом моя книга «Анатомические таблицы» совпадала с телом так точно, что доктора Маено, Накагава и я пришли к единому выводу: европейская медицина превосходит китайскую. Сейчас, когда голландские медицинские школы есть в каждом городе, подобное утверждение самоочевидно. Тридцать лет же тому назад такое мнение тянуло на отцеубийство. И все же, используя лишь несколько сотен голландских слов, которые мы знали, мы сумели перевести «Анатомические таблицы» на японский язык. Некоторые из вас слышали о нашей «Каитаи Шиншо»?

Слушатели наслаждаются тем, что прекрасно понимают, о чем речь.

— Задача перед нами стояла сложнейшая, — Сугита Генпаку разглаживает кучковатые седые брови. — Час за часом уходили на поиски одного слова, при этом часто обнаруживалось, что не существует японского эквивалента. Мы создали слова, которые наша цивилизация будет использовать, — все-таки тщеславие старику не чуждо, — всю оставшуюся вечность. Вот, например, я придумал слово «шинкей» для голландского «нерв» за обедом с устрицами. Мы являли собой наглядный пример поговорки: «Одной собаке, которая лает на пустоту, ответят тысячи собак, лающих на ее лай...»

Во время последнего перерыва Узаемон прячется в еще — не — совсем — зимнем саду, чтобы избежать возможной встречи с де Зутом. Дикая неземная вой, доносящийся из зала, сопровождается громовым смехом: директор Оцуки демонстрирует волынку, купленную им ранее в этом году у Ари Грота. Узаемон сидит под гигантской магнолией. Небо затянуто облаками, и мыслями молодой человек переносится на полтора года в прошлое, в день, когда он в разговоре с отцом заикнулся о том, что хотел бы видеть своей женой Аибагаву Орито. «Доктор Аибагава — известный ученый, но его долги, как мне сообщили, известны еще больше. Хуже того, а вдруг обожженное лицо его дочери передастся моим внукам? Ответ один — нет. Если ты и его дочь уже как-то выразили свои чувства, —



отец морщится, словно почувствовал дурной запах, — откажись от своих слов безотлагательно». Узаемон просил отца, по крайней мере, подумать о возможной свадьбе чуть дольше, но старший Огава в тот же день написал суровое письмо отцу Орито. Слуга вернулся с короткой запиской от доктора, в которой тот извинился за неудобства, доставленные дочерью: ей слишком многое позволялось, и заверил старшего Огаву, что вопрос закрыт. Самые печальные дни закончились для Узаемона получением тайного письма от Орито — наиболее короткого из их переписки. «Я никогда не заставлю твоего отца сожалеть о том, — заканчивалось оно, — что он усыновил тебя...»

Из-за «происшествия с Аибагавой», так назвали этот инцидент родители Узаемона, они поспешили найти сыну жену. Сваха узнала о богатой, но низкого статуса, семье в Карацу, владеющей процветающим бизнесом с красками и готовой принять зятя, который мог открыть им доступ к торговле саппановым деревом с Дэдзимой. Последовали встречи заинтересованных сторон, и отец передал Узаемону, что девушка годится ему в жены. Они поженились на Новый год, в самый благоприятный час, высчитанный семейным астрологом. «Все благоприятное, — думает Узаемон, — пока еще впереди». У его жены несколькими днями раньше случился второй выкидыш, по причине «бессмысленной неосторожности» — точка зрения отца, «слабости духа» — матери. Мать Узаемона считает своей обязанностью делать все, чтобы ее невестка страдала так же, как страдала она, придя молодой женой в семью Огавы. «Мне жаль мою жену, — признается себе Узаемон, — но самая жестокая моя часть никак не может простить ее за то, что она — не Орито». Что приходится выносить Орито на горе Ширануи, Узаемон может только предполагать: одиночество, скуку, холод, скорбь по отцу и жизни, украденной у нее, — и, конечно же, презрение к ученым академии Ширандо, в чьих глазах ее похититель выглядит благодетелем. Попытайся Узаемон задать вопросы Эномото, главному спонсору Ширандо, о самой новой сестре храма, выглядело бы это скандальным нарушением этикета. Прозвучало бы, как обвинение в проступке. И в то же время гора Ширануи закрыта для всех живущих за пределами феода, точно так же, как закрыта Япония для всего остального мира. Узаемон ничего не знает о ней, а потому, помимо совести, его мучает и воображение. Когда доктор Аибагава находился на грани смерти, Узаемон надеялся, что поддержав — или, по крайней мере, не ставя палки в колеса предложению де Зута о временном замужестве Орито, он смог бы оставить ее на Дэдзиме. Дождался бы того времени, когда де Зут покинет Японию или устанет от своей добычи, как обычно происходило с иностранцами, и

тогда она приняла бы предложение Узаемона стать его второй женой. «Больная голова, — Узаемон обращается к магнолии, — тупая голова, дурная голова...»

— У кого дурная голова? — шаги Арашиямы скрипят по камням.

— Провокации Йошиды — самы. Это были опасные слова.

Арашияма обхватывает себя руками, чтобы согреться.

— Я слышал, снег в горах.

«Вина перед Орито будет преследовать меня, — терзается Узаемон, — до конца моих дней».

— Оцуки — сама послал меня, чтобы найти вас, — говорит Арашияма. — Доктор Маринус готов произнести речь, а нам не терпится перейти к ужину.

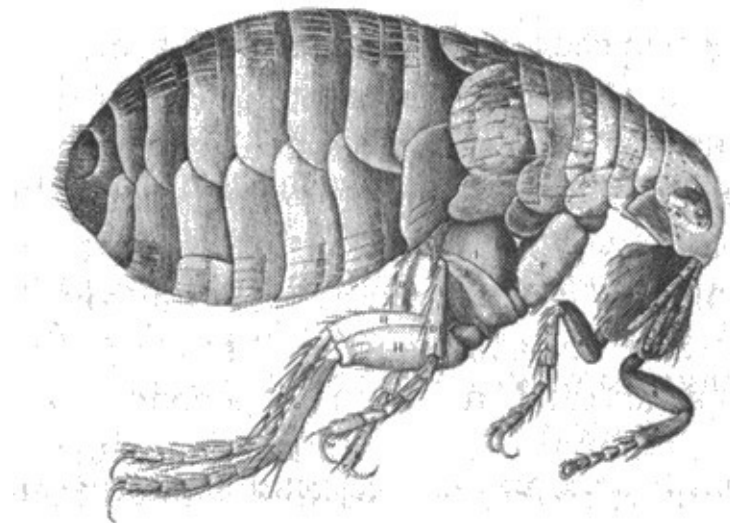
— Древние ассирийцы использовали круглые зеркала, чтобы зажечь огонь, — Маринус сидит, его больная нога вывернута под неудобном углом. — Грек Архимед, как мы читали, уничтожил римский флот Марка Аврелия гигантскими увеличительными стеклами в Сиракузах, а император Нерон использовал линзы для коррекции близорукости.

Узаемон объясняет, кто такие «ассирийцы», и предваряет «Сиракузы» словом «остров».

— Араб Ибн аль-Хайсам, — продолжает доктор, — которого переводчики на латинский назвали Альгазен, написал «Книгу оптики» восемь столетий тому назад. Итальянец Галилео и голландец Липперсгей использовали открытия аль-Хайсама, чтобы изобрести то, что мы называем микроскопом и телескопом.

Арашияма подтверждает правильность арабского имени и добавляет несколько слов о знаменитом ученом.

— Линзы и их близкий родственник — отполированное зеркало, а также связанные с ними математические принципы, прошли долгий эволюционный путь во времени и пространстве. Благодаря череде достижений астрономы теперь могут смотреть на недавно открытую планету, которая находится за Сатурном, *Georgium Sidus* [\[62\]](#), невидимую невооруженным глазом. Зоологи могут восхищаться настоящим портретом самого верного спутника человека...



...*Pulex irritans* [63]. — Один из семинаристов Маринуса медленно поворачивается, показывая публике иллюстрацию из книги «Микрография» Гука, пока Гото переводит речь. Ученые не замечают пропуска «череды достижений», чему Узаемон не находит причины.

Де Зут наблюдает за всем сбоку, сидя всего в нескольких шагах. Когда Узаемон занимал свое место рядом с Маринусом, они обменялись краткими «доброй вечер», но тактичный голландец чувствует сдержанность переводчика и не приближается к нему. «Он мог бы оказаться хорошим мужем для Орито». Эта великодушная мысль Узаемона запятнана завистью и сожалением.

Маринус всматривается сквозь дым ламп. Узаемон спрашивает себя, готовился ли тот к своему выступлению заранее или черпает мысли на ходу из сгустившегося воздуха. «Микроскопы и телескопы зачаты наукой; их использование: мужчиной, а где дозволяется — и женщиной, в свою очередь продвигает науку, и все новые и новые загадки Мироздания раскрываются во всей красе, о чем раньше мы могли только мечтать. Таким образом, наука ширится, уходит в глубину и множит саму себя: через изобретение печатного слова разбрасывает семя, которое может дать ростки даже внутри этой Закрытой империи».

Узаемон изо всех сил старается перевести как можно точнее, но это непросто: голландское слово «семя», скорее всего, никак не связано с глаголом «разбрасывать». Гото Шинпачи, чувствуя трудность перевода, предлагает «распространять». Узаемон догадывается, что «дать ростки» равносильно «будут приняты», но в ответ получает подозрительные взгляды аудитории Ширандо: «Если мы не понимаем лектора, то виним переводчика».

— Наука двигается... — Маринус чешет толстую шею, — ...год за годом, к новому уровню. Если в прошлом человек был субъектом, а наука — его объектом, то сейчас, я полагаю, ситуация меняется с точностью до наоборот. Наука сама по себе, господа, находится на ранних этапах обретения интеллекта.

Гото фразу не понимает, переводит «интеллект» «наблюдательностью», будто у часового. Его перевод на японский обретает некий мистицизм, который, впрочем, присутствует и в оригинале.

— Наука, как генерал, опознает своих врагов: косное мышление и непроверенные утверждения, суеверие и шарлатанство, страх тирана перед образованием простолюдинов и — самое вредное — соблазн самообмана. Англичанин Бэкон замечательно сказал об этом: «Человеческий ум все равно, что кривое зеркало, которое, отражая лучи света, собственной природой деформирует и искажает природу вещей». Наш уважаемый коллега, господин Такаки, узнает этот абзац?

Арашияма решает проблему «шарлатанства», опуская это слово, так же поступает с тиранами и простолюдинами, и поворачивается к расправившему плечи Такаки, переводчику Бэкона, который визгливым голосом переводит цитату.

— Наука все еще учится ходить и говорить. Но грядут дни, когда наука трансформирует то, что мы называем человеческим существом. Академии, такие как Ширан-до, господа, — ее ясли, школы. Несколько лет тому назад мудрец из Америки, Бенджамин Франклин, изумился воздушному шару, запущенному в Лондоне. Его собеседник назвал шар пустышкой, фривольностью и обратился к Франклину с вопросом: «Ну и какая польза от этого?» Франклин ответил: «А какая польза от новорожденного ребенка?»

Узаемон переводит, как ему кажется, довольно точно, пока не добирается до «пустышки» и «фривольности»: Гото и Арашияма виноватым выражением лиц показывают, что ничем не могут помочь. Публика очень сурово смотрит на него. Еле слышно Якоб де Зут говорит: «Детская игрушка». Эта замена позволяет истории о Франклине обрести завершенность, и собравшиеся ученые согласно кивают.

— Если бы человек заснул двести лет тому назад, — размышляет Маринус, — и проснулся этим утром, он бы обнаружил, что мир, по сути своей, не изменился. Корабли по-прежнему деревянные, чума по-прежнему несокрушима. Никто не может путешествовать быстрее скорости лошади; никто не может убить другого человека, находясь вне пределов видимости. Но если тот самый человек заснет сегодня и проспит сотню лет, или

восемьдесят, или шестьдесят, проснувшись, он не узнает нашу планету из-за трансформации ее наукой.

Гото решает, что «несокрушима» — это «смертельна», и ему приходится потрудиться над переводом последнего предложения.

Маринус тем временем смотрит куда-то повыше голов ученых.

Иошида Хаято откашливается, показывая тем самым, что у него есть вопрос.

Оцуки Мондзуро смотрит на ушедшего в себя Маринуса и кивком разрешает спросить.

Иошида пишет на голландском быстрее и лучше многих переводчиков, но географ опасается совершить ошибку при таком количестве публики, поэтому обращается к Гото Шинпачи на японском языке:

— Пожалуйста, спросите доктора Маринуса: если наука на грани обретения интеллекта, что тогда будет ее главным желанием? Или сформулируйте этот вопрос иначе: мир, который увидит проснувшийся в 1899 году, будет, по мнению доктора, ближе к раю или аду?

Гото с японского на голландский переводит медленнее, но Маринус доволен вопросом. Он раскачивается вперед-назад.

— Мне не узнать, пока не увижу все сам, господин Иошида.

## Глава 17. АЛТАРНАЯ КОМНАТА В ДОМЕ СЕСТЕР ХРАМА НА ГОРЕ ШИРАНУИ

*Двадцать шестой  
день одиннадцатого  
месяца*

«Пусть это буду не я, — просит Орито, — пусть это буду не я». С Богини сняты одежды перед Провозглашением Дара: ее оголенные груди раздулись от молока, а ее живот, на котором нет пупка, набух от зародыша женского пола, такого плодovitого, согласно настоятельнице Изу, что внутри этого зародыша есть меньший зародыш женского пола, который носит в себе еще меньший по размерам зародыш... и так далее, до бесконечности. Настоятельница наблюдает за девятью сестрами, способными принять Дар, во время сутры Получения. Десять дней Орито играла роль послушной сестры в надежде получить доступ к выходу за внутренние ворота и попытаться незаметно перебраться через стены, но ее надежды не сбылись. Она страшилась этого дня с того самого момента, как увидела беременный живот Яиои и поняла, что он означает, и этот день наступил. Слухи о выборе Богини множатся. Орито очень тяжело их слышать. «Одной из двух должна быть самая новая сестра, — заявила Умегае с нескрываемым удовольствием. — Богиня захочет, чтобы сестра Орито побыстрее почувствовала себя здесь как дома». Слепая Минори, восемнадцать лет жизни которой прошли в Доме, говорит, что самые новые сестры получают Дар не позднее четвертого месяца, но не всегда на второй. Яиои поделилась мыслью, что Богиня может дать Кагеро и Минори — ни одна из них не смогла зачать Дар в прошлый месяц, хотя Богиня и выбрала их — еще один шанс, но Орито подозревает, слова Яиои — попытка уменьшить ее страхи, и правды в них нет.

В Молитвенном зале воцаряется тишина. Сутра закончена.

«Пусть это буду не я. — Ожидание невыносимо. — Пусть это буду не я».

Настоятельница Изу бьет в трубчатый гонг. Звон поднимается и уходит волнами.

Сестры прижимаются лбами к татами в знак послушания.

«Словно преступницы, — думает Орито, — в ожидании меча палача».

Шуршат церемониальные одежды настоятельницы.

— Сестры горы Ширануи...

Девять женщин продолжают прижиматься головами к полу.

— Богиня указала учителю Генму, что в одиннадцатый месяц...

Упавшая сосулька разбивается во дворе Дома, и Орито подпрыгивает.

— ...в одиннадцатый месяц одиннадцатого года эпохи Кэнсей...

«Я тут чужая, — думает Орито. — Я тут чужая».

— ...две сестры, которых одарят в ее честь, Кагеро и Хашихиме.

Орито с трудом сдерживает радостный вскрик, но сердце продолжает громко стучать.

«Не хочешь поблагодарить меня, — спрашивает Богиня, — за то, что пропустила тебя в этом месяце?»

«Я не слышу тебя, — Орито сжимает зубы. — Деревяшка».

«В следующем месяце, — Богиня смеется, как мачеха Орито. — Обещаю».

В канун Одаривания в Доме сестер царит праздничное настроение. В течение нескольких минут Кагеро и Хашихиме осыпают поздравлениями в Длинном зале. Орито поражена тем, что зависть других женщин искренняя. Разговор переходит на одежду, ароматы и масла, которыми воспользуются Выбранные Богиней на встрече с Дарителями. Пельмени с рисом и бобы азуки, подслащенные медом, прибывают на завтрак, саке и табак присланы из запасов настоятеля Энмото. Кельи Кагеро и Хашихиме украшены бумажными гирляндами. Орито мутит от этого празднования принуждаемой беременностью, и она радуется, когда восходит солнце и настоятельница Изу поручает ей и Савараби собрать, вытащить во двор и выбить постели. Набитые соломой матрасы набрасываются на перекладину, и на них обрушиваются быстрые удары бамбуковой выбивалки. Савараби — крепко сбитая крестьянская дочь с плато Киришима, и докторская дочь очень скоро начинает выдыхаться. Савараби это замечает и, по доброте своей, предлагает немного передохнуть, усевшись на горе матрасов. «Надеюсь, ты не слишком разочарована тем, что Богиня не выбрала тебя, самая новая сестра».

Орито, все еще восстанавливая дыхание, качает головой.

На другой стороне двора Асагао и Хотару кормят крошками белку.

Савараби хорошо читает мысли других.

— Не бойся принятия Дара. Ты сама можешь видеть, как довольны своими привилегиями Яиои и Югури: больше еды, лучше постель, уголь... а теперь при них ученая акушерка! Их балуют как принцесс. Монахи добрее, чем мужья, гораздо чище, чем посетители борделей, и нет никакой

свекрови, которая кричала бы и ругалась за родившуюся дочь или стала бы завидовать появлению продолжателя рода.

Орито притворяется, что согласна: «Да, сестра. Я вижу».

Оттаявший снег падает со старой сосны с гулким шумом.

«Хватит врать. — Жирная Крыса наблюдает из-под деревянного настила. — И перестань сопротивляться».

— Действительно, сестра... — Савараби медлит. — В сравнении с тем, как страдают уродливые девушки...

«Богиня, — говорит Жирная Крыса, поднимаясь на задних лапках, — твоя нежная, любящая мать».

— ...там внизу, — продолжает Савараби, — это место — дворец.

Белка, которую кормили Асагао и Хотару, стремительно вскарабкивается по одной из колонн внутреннего двора.

Голый пик так резко выделяется на фоне неба, будто вырезан иглой по стеклу.

«Мое похищение — преступление, — Орито этих слов не произносит, — и мой ожог его не умаляет».

— Давай закончим с матрасами, — предлагает она, — прежде чем другие подумают, что мы ничего не делаем.

Все поручения выполнены задолго до вечера. Солнечный треугольник все еще лежит на бассейне во дворе. В Длинном зале Орито помогает экономке Сацуки с починкой ночных рубашек: шитье, находит она, притупляет ее тоску по «Утешению». С Тренировочной площадки за воротами долетает шум: монахи упражняются с бамбуковыми мечами. Уголь и сосновые иглы трещат и щелкают в жаровне. Настоятельница Изу сидит во главе стола, вышивая короткую мантру на одном из капюшонов, одеваемых сестрами в день Одаривания. На Хашихиме и Кагеро — кроваво — красные кушаки, отмечающие их значимость перед Богиней; они пудрят друг другу лицо, потому что даже монахиням с высоким рангом запрещено пользоваться зеркалами. С плохо скрываемым злорадством Умерае спрашивает у Орито, оправилась ли она после такого разочарования.

— Я учусь, — у Орито получается ответ, — подчиниться желанию Богини.

— Конечно, Богиня, — Кагеро убеждает Орито, — выберет тебя в следующий раз.

— Голос самой новой сестры, — делится наблюдением слепая Минори, — теперь звучит гораздо счастливее.

— Много ей понадобилось времени, — бормочет Умегае, — чтобы



пелена спала с ее глаз.

— На привыкание к Дому, — отвечает Кирицубо, — требуется время: вспомни ту бедную девушку с острова Гото? Она плакала каждую ночь два года кряду.

Голуби хлопают крыльями и курлычут под карнизами внутреннего двора.

— Сестра с Гото нашла счастье в трех здоровых Дарах, — напоминает настоятельница Изу.

— Но счастье закончилось, — вздыхает Умегае, — с четвертым, от которого она умерла.

— Не надо беспокоить мертвых, — голос настоятельница резок, — без причины вытаскивая наружу дурное, сестра.

Бордовая кожа Умегае прячет краску стыда, и она кланяется, прося прощения.

Другие сестры, подозревает Орито, вспоминают об ее предшественнице, повесившейся в келье.

— Что ж, — говорит слепая Минори, — я бы хотела спросить самую новую сестру, что помогло ей принять наше жилище как ее дом?

— Время, — Орито вставляет нитку в иголку, — и терпение моих сестер.

«Ты врешь, — пыхтит чайник, — даже я слышу, как ты врешь...»

Все острее она жаждет «Утешения», замечает Орито, и это самый худший трюк Дома.

— Я благодарю Богиню каждый день, — говорит сестра Минори, настраивая кото, — за то, что привела меня в этот Дом.

— Я благодарю Богиню, — Кагеро рисует брови Хашихиме, — сто восемь раз перед завтраком.

Настоятельница Изу говорит: «Сестра Орито, в чайник надо долить воды...»

Когда Орито опускается на колени на каменную плиту у бассейна, чтобы зачерпнуть ковшем ледяной воды, отблеск света на мгновение превращает воду в зеркало, такое же идеальное, как у голландцев. Орито не видела своего лица со времени ее похищения в Нагасаки, и увиденное приводит в ужас. Лицо в бассейне с серебряной пленкой — ее, но на три-четыре года старше. «А мои глаза?» Они потускнели и погрузнели. «Еще один трюк этого Дома». Она не уверена. «Я видела такие глаза в мире внизу».

Она едва узнает песню дрозда, которая доносится со старой сосны.

«Что... — мысли Орито путаются, — ...что я хотела вспомнить?»

Сестры Хотару и Асагао зовут ее из коридора.

Орито машет в ответ, замечая ковш в другой руке, и вспоминает, зачем ее послали. Она смотрит на воду и вспоминает глаза проститутки, которую лечила в Нагасаки, в борделе, хозяевами которого были два брата, наполовину китайцы. У девушки были сифилис, туберкулез, воспаление легких, и только Девять Мудрецов могли знать, что еще, но ее волю сломило пристрастие к опиуму.

— Но Аибагава-сан, — умоляла девушка, — мне не нужны другие лекарства.

«Притворившись, что приняла законы Дома, — думает Орито,

— Когда-то прекрасные глаза проститутки сверлят ее из темных кругов.

...ты проходишь половину пути к принятию законов Дома.

Орито слышится веселый смех учителя Сузаку у ворот.

Желание и нужда в «Утешении» протащат тебя по оставшейся половине...

Стражник — аколит у ворот кричит: «Внутренние ворота открыты, сестры!»

...а коли тебе так его хочется, то чего продолжать сопротивляться?»

— Если ты не подчинишь себе это желание, — говорит девушка в бассейне, — то станешь такой же, как они.

«Я должна прекратить принимать зелье Сузаку, — решает Орито. — С завтрашнего дня».

Волна уходит из бассейна через замшелые решетки.

«Мое «завтра», — понимает она, — означает, что я должна прекратить принимать его сегодня».

— Какой мы находим сегодня нашу новую сестру? — спрашивает учитель Сузаку.

Настоятельница Изу смотрит на нее из одного угла; аколит Чуаи сидит в другом углу.

— Учитель Сузаку видит меня в полном здравии, спасибо.

— Небеса этим вечером — это небеса очищения, не так ли, самая новая сестра?

— В мире внизу закаты никогда не были так красивы.

Довольный, он решает задать вопрос.

— Тебя не опечалило решение Богини этим утром?

«Я должна спрятать свое облегчение, — думает Орито, — и ничем не показать, что я его прячу».

— Нелегко научиться беспрекословно принимать решения Богини, ведь так?

— Ты прошла долгий путь за короткое время, самая новая сестра.

— Я поняла, что просветление может случиться в одно мгновение.

— Да. Да, так и случается. — Сузаку смотрит на своего аколита. — После многих лет устремлений, просветление преобразует человека за один удар сердца. Учитель Генму очень доволен твоим улучшением духа, о чем он упомянул в письме к владыке — настоятелю.

«Он наблюдает за мной, — подозревает Орито, — ожидая моих вечных вопросов».

— Я не достойна, — говорит она, — внимания владыки Эномото.

— Владыке — настоятелю по-отечески интересна каждая наша сестра.

Слово «по-отечески» вызывает из памяти отца Орито, и недавние раны вновь ноют.

Из Длинной комнаты доносится шум и запахи ужина.

— Значит, у нас нет никаких жалоб? Ни болей, ни кровотечений?

— Если честно, учитель Сузаку, я не могу представить себя нездоровой в Доме сестер.

— Запор? Понос? Геморрой? Чесотка? Головная боль?

— Порция моего... моего дневного лекарства — это все, что я хочу попросить, если позволите.

— С превеликим удовольствием, — Сузаку наливает мутной жидкости в чашку — наперсток и предлагает ее Орито. Она отворачивается и скрывает рот, как делают женщины ее положения. Тело жаждет облегчения, которое приносит зелье Сузаку. Но прежде, чем она успевает передумать, Орито выплескивает содержимое крохотной чашки в толстый рукав, и темно — синяя материя тут же впитывает жидкость.

— Сегодня оно... с медовым вкусом, — говорит Орито. — Или мне это только кажется?

— Что хорошо для тела, — Сузаку смотрит на ее рот, — хорошо для души.

Орито и Яиои моют посуду, пока сестры — монахини напутствуют Кагеро и Хашихиме: кто-то скромными словами, кто-то, судя по смеху, не совсем, прежде чем настоятельница Изу уводит избранных к алтарной комнате для молитвы у Богини. Четверть часа спустя настоятельница сопровождает их к кельям, где они ждут Дарителей. После того, как вымыта вся посуда, Орито остается в Длинном зале, не желая оставаться наедине с мыслью, что через месяц уже она может лежать с расшитым

капюшоном на голове, ожидая учителя или аколита. Тело жалуется на отсутствие привычной дозы «Утешения». Она то становится горячей, как суп, то холодеет, как лед. Когда Хацуне просит Орито прочитать прошлогоднее новогоднее письмо от перворожденного Дара Первой сестры, теперь — молодой женщины семнадцати лет, Орито рада возможности отвлечься.

— «Моя самая дорогая мама, — читает Орито, при свете лампы вглядываясь в иероглифы, нарисованные женской рукой, — на изгородях ягоды красные, и можно даже подумать, что к нам идет еще одна осень».

— Она изящна в словах, как ее мать, — шепчет Миноре.

— Мой Таро совсем глупый, — вздыхает Кирицубо, — по сравнению с Норико — чан.

«В их новогодних письмах, — отмечает Орито, — Дары обретают имена».

— Но разве у такого трудолюбивого молодого пивовара, как Таро, — возражает довольная, скромная Хацуне, — есть время заметить осенние ягоды? Прошу самую новую сестру продолжить.

— «Снова, — читает Орито, — подходит время для того, чтобы послать письмо моей дорогой маме на далекую гору Ширануи. Прошлой весной, когда Ваше письмо Первого месяца пришло в мастерскую «Белый Журавль» Уеда-сана...»

— Уеда-сан — учитель Норико — чан, — говорит Садае, — известный портной в Мияко.

— Вот как? — Это объяснение Орито слышала уже десять раз. — «Уеда-сан дал мне полдня, чтобы я могла отпраздновать прибытие письма. Прежде, чем я позабуду написать об этом, Уеда-сан и его супруга шлют самые наилучшие пожелания».

— Какая удача, — говорит Яиои, — найти такую достойную семью.

— Богиня всегда заботится о своих Дарах, — подтверждает Хацуне.

— «Ваши новости, мама, доставили мне столько же удовольствия, сколько получили Вы, как я поняла из Ваших добрых слов, от моих глупых писем. Как чудесно, что Вас благословили очередным Даром. Я буду молиться, чтобы он нашел такую же заботливую семью, как Уеда. Пожалуйста, передайте мою благодарность сестре Асагао за ухаживания за Вами во время грудной болезни и учителю Сузаку за его каждодневную заботу». — Орито прерывает чтение, чтобы задать вопрос:

— Грудная болезнь?

— О-о, кашель совсем замучил меня! Учитель Генму посылал аколита Джирицу — да упокоится его душа — к травнице, вниз в Курозане, за

свежими травами.

«Ворон, — у Орито болит все тело, — может долететь до трубы Отане за полчаса».

Она вспоминает летнее путешествие в Курозане, и ей очень хочется плакать.

— Сестра? — замечает Хацуне. — Что-то случилось?

— Нет. «Из-за двух больших свадебных торжеств в пятом месяце и двух похорон в седьмом «Белый Журавль» завалили заказами. Мой год здесь прошел очень удачно еще по одной причине, мама, хотя я уже краснею, когда пишу об этом. Эта причина — главный поставщик парчи для Уеда-сана, торговец по имени Кояма-сан: он приезжает в «Белый Журавль» со своими четырьмя сыновьями один раз в два-три месяца. Несколько лет уже самый молодой сын Шинго-сан обменивался со мной любезностями, когда я работала. Прошлым летом, однако, во время празднования О — бон, меня пригласили в чайный домик в саду, где, к моему удивлению, Шинго-сан, его родители, Уеда-сан и моя хозяйка пили чай. — Орито бросает быстрый взгляд на восхищенных сестер. — Вы, конечно, уже догадались о приближающемся, мама, но я, глупая девушка, не догадалась».

— Она не хлупая, — Асагао убеждает Хацуне, — плосто наифная.

— «Немного поговорили, — продолжает Орито, — о многочисленных достоинствах Шинго-сана и моих невеликих заслугах. Я очень старалась быть скромной, чтобы не казаться слишком настойчивой, и после всего...»

— Как ты ей и советовала, сестра, — кудахчет Савараби, — два года тому назад.

Орито видит, как сестра Хацуне раздувается от гордости.

— «И после всего моя хозяйка поздравила меня с произведенным благоприятным впечатлением. Я вернулась к моим обязанностям, гордая от похвалы, но не ожидала услышать ничего от семьи Кояма до следующего приезда в «Белый Журавль». Моя глупые ожидания не сбылись очень быстро. Несколько дней спустя, в день рождения императора, Уеда-сан взял всех своих учениц в парк Яояги, чтобы насладиться фейерверком на берегу реки Камо. Какими волшебными выглядели быстро распускающиеся красные и желтые цветы в ночном небе! По возвращении мой учитель вызвал меня к себе в кабинет, где моя хозяйка сказала мне, что семья Кояма предложила взять меня женой младшего сына Шинго. Я тут же упала на колени, мама, словно лис заколдовал меня! Потом супруга Уеда-сана добавила, что предложение пришло от самого Шинго. Молодой человек с таким высоким положением пожелал взять меня в жены, и слезы

тут же потекли по моим щекам».

Яиои дает Хотару бумажную салфетку, чтобы вытереть слезы.

Орито складывает один лист и разворачивает другой:

— «Я испросила разрешение у Уеда-сана говорить прямо. Мой учитель потребовал этого. Мое происхождение слишком непонятное для семьи Кояма, сказала я. Я душой и телом предана «Белому Журавлю», и, если бы я вошла в семью Кояма невестой, злые языки сразу начали бы лить на меня грязь, будто я хитростью поймала в сети такого прекрасного мужа».

— О-о, да надо просто хватать парня, — гогочет Югири, слегка пьяная от саке, — прямо за его дракона!

— Стыдись, сестра! — сердится экономка Сацуки. — Пусть самая новая сестра читает.

— «Мастер Уеда ответил, что семья Кояма прекрасно осведомлена о моем происхождении как дочери храма, но не возражает. Они хотели получить послушную, скромную, рукодельную невестку, а не... — к голосу Орито присоединяются голоса сестер, которые радостно повторяют описание — ...изнеженную капризулю, которая думает, что «Тяжелая Работа» — город в Китае. В конце мой учитель напомнил мне, что я — Уеда по удочерению, и почему это я полагала, что семья Уеда по статусу гораздо ниже семьи Кояма? Вся красная, я извинилась перед моим учителем за бездумные слова».

— Но Норико-сан совсем не это имела в виду! — протестует Хотару.

Хацуне греет руки над огнем:

— Он просто отучивает ее от излишней скромности, я так думаю.

— «Супруга Уеды-сана сказала мне, что им понравились мои возражения, но семьи договорились, что наша помолвка может длиться до моего семнадцатого Нового года...»

— Это будет этот Новый год, — Хацуне объясняет Орито.

— «...и тогда, если чувства Шинго-сан не изменятся...»

— Я молюсь Богине, чтобы он оставался постоянным в своем сердце, — говорит Садае. — Каждую ночь.

— «...мы поженимся в первый благоприятный день первого месяца. Уеда-сан и Кояма-сан вложат деньги в мастерскую, которая будет делать кушаки оби, где мы с мужем сможем работать бок о бок и учить своих учениц».

— Представьте себе! — восклицает Кирицубо. — У Дара Хацуне свои ученицы.

— И дети тоже, — вставляет Югири, — если Шинго так захочет.

— «Когда я смотрю на мои слова, они читаются словно из сладкого

сна. Возможно, мама, это самый лучший подарок, который мы получаем от наших писем: они — место, где мы можем помечтать. Вы каждый день в моих мыслях. Ваш Дар, Норико».

Женщины смотрят на письмо или на огонь. Их мысли далеко отсюда.

Орито понимает, что новогодние письма — это и есть самое настоящее «Утешение» для сестер.

В начале часа Кабана открываются ворота для двух Дарителей. Каждая сестра в Длинном зале слышит, как отодвигается засов. Настоятельница Изу — сестры определяют это по ее шагам — выходит из своей комнаты и останавливается у ворот. Орито видятся три молчаливых поклона. Настоятельница ведет двух мужчин по внутреннему коридору сначала к келье Кагеро и затем — Хашихиме. Минуту спустя, настоятельница возвращается к себе, проходя мимо Длинного зала. Свечи шипят. Орито ожидала, что Югири или Савараби попытаются взглянуть на Дарителей в темном коридоре, но вместо этого они продолжают играть в маджонг с Хотару и Асагао. Никто не выказывает никакого интереса к прибытию учителя и его аколита к кельям выбранных сестер. Хацуне очень тихо поет «Замок, залитый светом Луны», аккомпанируя себе на кото. Экономка Сацуки штопает носок. Когда приходит время для того, что в Доме называют «одариванием», видит Орито, все шутки и сплетни прекращаются. Орито также понимает: легкомыслие и непристойности не свидетельства какого-то протеста. Сестры согласны с тем, что их яичники и матки принадлежат Богине, а слова лишь помогают им выносить рабские обязанности...

Вновь в своей келье, Орито смотрит на огонь через маленькую щелку в одеяле. Мужские шаги покинули келью Кагеро некоторое время тому назад, а Даритель Хашихиме все еще с ней, как дозволяется в случае согласия обеих сторон. Орито знает о любовных телодвижениях из медицинских текстов и смешных историй женщин, которых она лечила в нагасакских борделях. Она старается не думать о мужчине под этим одеялом, придавившем ее тело к матрасу, через короткий месяц — ровно в этот же день. «Пусть меня здесь не будет», — молит она огонь. «Раствори всю меня в себе», — молит она темноту. Лицо мокрое. Вновь ее сознание исследует Дом сестер, изыскивая возможность побега. Нет окошек наружу, чтобы пролезть сквозь них. Земля каменная — не прокопаешь. Внешние и внутренние ворота запираются с другой стороны, и будка стражников — между ними. Карнизы нависают над внутренним двором, до них не дотянешься, на крышу не вскарабкаешься.

Безнадежно. Она смотрит на потолочные балки и представляет себе веревку.

Стук в дверь. Шепот Яиои: «Это я, сестра».

Орито вскакивает с постели и открывает дверь.

— Воды отходят?

Беременность завернутой в одеяло Яиои еще более заметна.

— Я не могу уснуть.

Орито заводит ее к себе, опасаясь того, что мужчина появится из темноты.

— Рассказывают, — говорит Яиои, закручивая кольцом волосы Орито на свой палец, — когда я родилась с ними... — Яиои касается своих заостренных ушей, — ...позвали буддистского монаха. Из его объяснения следовало, что демон залез в чрево моей матери и отложил там яйцо, словно кукушка. Если меня бросят одну в эту ночь, предупредил монах, демоны придут за своим отпрыском и зарежут всю семью для праздничного застолья. Мой отец обрадовался такой вести: крестьяне всегда готовы «проредить рассаду», чтобы отделаться от нежеланных дочерей. В нашей деревне даже специальное место для этого завели: круг острых камней, выше по склону, в засохшем русле. В седьмом месяце холод меня бы не убил, а вот дикие псы, запасавшиеся жиром медведи и голодные духи, конечно же, справились бы с этим еще до утра. Мой отец оставил меня там и спокойно пошел домой...

Яиои берет ладонь подруги и кладет себе на живот.

Орито чувствует бугры шевеления. «Двойня, — говорит она, — несомненно».

— Той же самой ночью в деревню, — голос Яиои становится тише и шутивее, — как гласит история, прибыл Яобен — Пророк. Семь дней и семь ночей белый лис вел святого человека, а звездный свет освещал ему путь, по горам и через озера. Его долгое путешествие закончилось, когда лис запрыгнул на крышу простого крестьянского домика чуть выше деревни, у которой даже названия не было. Яобен постучал в дверь, и при виде такого человека мой отец упал на колени. Услышав о моем рождении, Яобен — Пророк провозгласил, — голос Яиои меняется: — «Лисьи уши у маленькой девочки были не проклятием, а благословением от нашей богини милосердия, госпожи Каннон». Покинув меня, отец отверг благодать Каннон и навлек на себя ее гнев. Младенец должен быть спасен любой ценой прежде, чем случится беда...

Дверь в коридоре сдвигается и задвигается.



— По пути к месту прорезживания мой отец и Яобен- Пророк, — Яиои продолжает повествование, — слышали, как все мертвые младенцы звали своих матерей. Они слышали волков, громадных, больше лошади, воющих в поисках свежего мяса. Мой отец дрожал от страха, но Яобен — Пророк шептал святыи заклинания, и они прошествовали мимо привидений и волков целые и невредимые, и вошли в круг камней, где было тихо и тепло, как в первый день весны. Госпожа Каннон сидела там с белым лисом и кормила грудью Яиои, волшебного ребенка. Яобен — Пророк и мой отец упали к ее ногам. Голосом, который накатывал, как озерные волны, госпожа Каннон повелела Яобену уйти в путешествие со мной по всей империи, исцеляя больных ее святым именем. Пророк запротестовал, говоря, что не достоин ее внимания, но младенец, лишь одного дня от роду, уже мог говорить и сказал ему: «Где будет отчаяние, туда принесем мы надежду, где будет смерть, туда вдохнем мы жизнь». Что ему оставалось, кроме как подчиниться госпоже? — Яиои вздыхает и пытается поудобнее устроить свой большой живот. — И, приходя в новый город, Яобен — Пророк и волшебная девочка — лиса первым делом рассказывали эту историю.

Орито ложится на своей стороне.

— Могу ли я узнать, может, Яобен был твоим настоящим отцом?

— Я скажу «нет», потому что не хочу, чтобы это было правдой...

Ночной ветер высвистывает дрожащую трель, словно неумелый музыкант играет на сякухати.

— ...но точно: мои самые ранние воспоминания: больные люди держат мои уши, и я дышу в их воняющие рты, и умирающие глаза говорят мне: «Излечи меня». И еще — грязные гостиницы, и Яобен, стоящий на рыночной площади, читает «признания» моей силы от известных семей.

Орито думает о своем детстве среди ученых и книг.

— Яобен мечтал о приглашении во дворцы, и мы провели год в Эдо, но от него за версту пахло показухой... голодом... да и вообще воняло от него слишком сильно. За шесть-семь лет, которые мы провели в странствиях, качество гостиниц, в которых мы останавливались, ничуть не улучшилось. Все неудачи, конечно, он списывал на меня, особенно пьяным. В один день, уже в конце, после того как нас выгнали из какого-то городка, его знакомый, такой же бродячий целитель, сказал ему, что волшебная девочка — лиса еще может выжать деньги из отчаявшихся и умирающих, а выжмет ли волшебная женщина — лиса — большой вопрос. Тогда Яобен стал думать, и не прошло и месяца, как он продал меня в бордель в Осаке. — Яиои смотрит на свою руку. — Я изо всех сил пытаюсь забыть мою тамошнюю жизнь. Яобен даже не попрощался. Возможно, не хватило

духа увидеться со мной. Возможно, он был моим отцом.

Орито удивлена полным отсутствием злости у Яиои.

— Когда сестры говорят тебе: «Дом гораздо, гораздо лучше борделя», — это не со злости и не от жестокости. Ну, одна или две, может, хотят тебя уколоть, но не другие. На каждую удачливую гейшу с богатым патроном, угождающим каждому ее желанию, приходится пятьсот пережеванных, выплюнутых девушек, которые быстро умрут от болезней, которыми наградил их бордель. Это, наверное, не утешит женщину твоего ранга, и, я знаю, ты потеряла гораздо лучшую жизнь, чем у нас, но Дом сестер — ад и тюрьма, только если ты сама так думаешь. Учителя и аколиты относятся к нам по-доброму. Одаривание — просто необычная служба, но чем она отличается от той службы, которую требует муж от жены? И ты служишь не так часто — совсем не часто.

Орито страшна логика Яиои.

— Но двадцать лет!

— Время проходит. Сестра Хацуне уйдет через два года. Она сможет поселиться в том же городе, где живет один из ее Даров, и получит пособие. Ушедшие сестры пишут настоятельница Изу, и они полны любви и благодарности.

Тени качаются и сворачиваются среди низких балок.

— Почему последняя самая новая сестра повесилась?

— Потому что не смогла вытерпеть разлуку с Даром.

Затянувшаяся пауза.

— А для тебя это не слишком трудно?

— Конечно, мне больно. Но они же не умирают. Они — в мире внизу, накормлены и ухожены, и думают о нас. После нашего ухода из монастыря мы можем даже встретиться с ними, если захотим. Это... странная жизнь, не буду отрицать, но завойю доверие учителя Генму, завойю доверие настоятельницы, и она не будет казаться такой тяжелой или никчемной...

«В тот день, когда я поверю в такое, — думает Орито, — я стану собственностью храма Ширануи».

— ...и у тебя есть я, — добавляет Яиои, — если для тебя это что-то значит.

## Глава 18. ОПЕРАЦИОННАЯ НА ДЭДЗИМЕ

*За нас до обеда  
двадцать девятого дня  
одиннадцатого месяца*

— Литотомия — это слово, образованное от греческого литое — «камень» и томос — «резать». — Маринус обращается к четырем ученикам. — Напомните нам, господин Мурамото.

— Удалить камень из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря, доктор.

— Когда наступит царствие Твое... — бормочет Вибо Герритсзон — пьяный, бесчувственный, голый от сосков до носков и связанный по рукам и ногам: он распластан на операционном столе, будто лягушка на доске для препарирования. — ...и хлебов пресных...

Узаемон решает, что слова пациента — его христианская мантра.

Трещит уголь в жаровне, прошедшей ночью выпал снег.

Маринус потирает руки:

— Симптомы наличия камня в мочевом пузыре, господин Кадзиваки?

— Кровь в моче, доктор, больно мочиться и хочется мочиться, но не получается.

— Действительно. Следующий симптом — страх перед операцией, откладывание страдальцем согласия на операцию, пока он более не может терпеть боль при мочеиспускании, а эти несколько капель... — Маринус смотрит на лужицу розовой мочи в лотке для образцов, — все, что он смог выдавить из себя. Подразумевается, что камень сейчас находится... где, господин Хори?

— Приветствуют вас небеса... — Герритсзон рыгает. — Как там оно идет?

Кулак Хори имитирует преграду.

— Камень... останавливает... воду.

— Так, — ухмыляется Маринус. — Камень блокирует уретру. Какая участь ожидает пациента, который не может выделить мочу, господин Икемацу?

Узаемон наблюдает, как Икемацу пытается вывести общее из частей: «не может», «мочу» и «участь».

— Тело, которое не может выделить мочу, не может делать кровь чистой, доктор. Тело умирает от грязной крови.

— Умирает, — кивает Маринус. — Великий Гиппократ рекомендовал вра...

— Заткнулся бы ты, костоправ, да скорее взялся бы, мать его, за...

Якоб де Зут и Кон Туоми, призванные ассистировать доктору, переглядываются.

Маринус берет у Илатту свернутый лоскут хлопковой материи, говорит Герритсзону:

— Откройте, пожалуйста, — и затыкает ему рот. — Великий Гиппократ рекомендовал врачам «не вырезать камень», оставлять эту работу низшим по рангу хирургам. Римлянин Аммоний Литотомий, индиец Сушрута и араб Абу аль-Касим аль-Захрави — который, en passant [64], изобрел прародителя этого инструмента, — Маринус крутит в руке заляпанный засохшей кровью обоюдоострый скальпель, — разрежали бы промежность... — доктор берется за пенис разъяренного голландца и указывает на участок между мошонкой и анусом. — Маринус роняет пенис. — И больше половины пациентов в те давние плохие времена умирали... в агонии.

Герритсзон внезапно перестает сопротивляться.

— Брат Жак, талантливый француз — коновал, предложил разрез повыше corpus ossis pubis [65],

— Маринус окунает ноготь в чернильницу и проводит линию ниже и левее пупка Герритсзона, — чтобы добраться до мочевого пузыря сбоку. Чеселден, англичанин, объединил Жака ле Коновала с советами древних и стал первопроходцем в боковой перинеальной литотомии, он терял менее одного пациента из десяти. Я провел около пятидесяти литотомий и потерял четырех. Двоих — не по моей вине. А двое других... Ну, мы живем и учимся, даже если наши мертвые пациенты не могут сказать того же, да, Герритсзон? Чеселдену платили пятьсот фунтов за двухтрехминутную работу. Но, к счастью, — говорит доктор, шлепая связанного пациента сбоку по ягодице, — Чезелден выучил одного студента по имени Джон Хантер. Среди студентов Хантера был голландец Хардвийке, а Хардвийке выучил Маринуса, который сегодня выполняет эту операцию просто за спасибо. Итак... Начнем?

Из ректума Вибо Герритсзона вырывается горячее и вонючее облако ужаса.

— Следите внимательно, — Маринус кивает де Зуту и Туоми: каждый из них держит бедро больного. — Чем меньше движений, тем меньше случайных повреждений. — Узаемон видит, что семинаристы не очень-то

понимают, о чем речь, и переводит им. Илатту усаживается верхом на верхнюю часть живота пациента, спиной к нему, оттягивает вниз вялый пенис, а главное, не позволяет пациенту видеть нож. Доктор Маринус просит доктора Маено поднести лампу поближе к прочерченной линии и берет скальпель. В это мгновение лицом он напоминает фехтовальщика.

Маринус вонзает скальпель в живот Герритсзона.

Тело больного натягивается, как единый мускул. Узаемон вздрагивает.

Четверо семинаристов смотрят, зачарованные.

— Толщина жира и мускулов варьируется, — говорит Маринус, — но мочевого пузырь...

С заткнутым ртом, Герритсзон издает громкий крик, совсем не похожий на крик оргазма.

— ...мочевого пузырь, — продолжает Маринус, — обычно на глубине, равной длине большого пальца.

Доктор удлинняет кровавый разрез: Герритсзон визжит.

Узаемон заставляет себя смотреть: литотомия неизвестна за пределами Дэдзимы, и он согласился подтвердить слова Маено, когда тот будет выступать с отчетом перед Академией.

Герритсзон фырчит, как бык, глаза блестят от слез, и он стонет.

Маринус обмакивает левый указательный палец в рапсовое масло и вставляет в анус Герритсзона до упора. — Этому пациенту следовало заранее опорожнить кишечник. — В нос бьют запахи гниющего мяса и сладких яблок. — Нащупываем камень через ампулу прямой кишки... — правой рукой он вводит щипцы в кровоточащий разрез, — и проталкиваем из fundus <sup>[66]</sup> поближе к разрезу... — жидкие экскременты вытекают из ануса пациента на докторскую руку. — Чем меньше врач шурует щипцами, тем лучше. Одного прокола вполне достаточно, и — ага! Почти что... и... ага! Ессо siamo! <sup>[67]</sup> — Маринус вынимает камень, убирает палец из ануса Герритсзона и вытирает руки о свой фартук. Камень большой, размером с желудь, желтый, как мертвый зуб. — Кровотечение из разреза надо остановить, прежде чем наш пациент умрет от потери крови. Домбуржец и Корконянин, прошу отойти, — Маринус заливает разрез другим маслом, а Илатту накрывает его заскорузлой салфеткой.

Из заткнутого рта Герритсзона вырывается вздох, как только боль из невыносимой становится ноющей.

Доктор Маено спрашивает:

— Что это за масло, доктор, если не трудно?..

— Экстракт из коры и листьев *Hamamelis japonica* <sup>[68]</sup>, так я назвал это

растение. Местная разновидность гаммелиса, уменьшает риск воспаления — этому меня научила одна старая необразованная женщина много жизней тому назад.

«И Орито тоже, — вспоминает Узаемон, — училась у старой травницы в горах».

Илатту меняет салфетку, затем закрепляет ее на талии Герритсзона. «Пациент должен лежать так три дня; есть и пить понемногу. Моча будет сочиться через рану в стенке мочевого пузыря; надо быть готовым к лихорадке и вздутиям, но моча начнет полностью выходить обычным путем через две или три недели, — Маринус вынимает кляп изо рта Герритсзона и говорит ему:

— Столько же времени потребовалось Сиако, чтобы вновь начать ходить после увечий, которые вы нанесли ему прошедшим сентябрем, помните?

Герритсзон разлепляет глаза:

— Да... пошел... ты...

— Мир на Земле, — Маринус кладет палец на губы пациента, покрытые герпесными язвами. — И благополучия всем людям.

В столовой директора ван Клифа шумно: шесть или восемь разговоров на японском и голландском ведутся одновременно, серебряные столовые приборы звенят о превосходного качества фарфоровую посуду, и, хотя еще не вечер, канделябры освещают поле битвы: козьи кости, рыбы хребты, хлебные корки, клешни крабов, панцири лобстеров, куски бланманже, листья и ягоды остролиста [\[69\]](#), упавшие с потолка. Стена между столовой и комнатой для переговоров убрана, так что Узаемону видна вся бухта: вода темно — серая, и горы наполовину стерты холодной моросью, от которой снег, выпавший прошлой ночью, превратился в слякоть.

Малайские слуги директора заканчивают играть одну песню на скрипке и флейте и начинают другую. Узаемон вспоминает мелодию с банкета прошлого года. Переводчики с рангом прекрасно понимают, что голландский Новый год — двадцать пятого декабря — совпадает с рождением Иисуса Христа, но об этом не говорится вслух, чтобы какой-нибудь амбициозный осведомитель не смог обвинить их в потакании христианскому богослужению. Рождество, как заметил Узаемон, очень странно влияет на голландцев. Они начинают невыносимо скучать по дому, становятся грубыми, веселыми и сентиментальными, зачастую одновременно. К тому часу, когда Ари Грот приносит сливовый пудинг, директор ван Клиф, его заместитель Фишер, Оувеханд, Баерт и юный Ост

уже не просто пьяны, а пьяны почти что в стельку. Только гораздо более трезвые Маринус, де Зут и Туоми поддерживают беседу с японскими гостями банкета.

— Огава-сан? — Гото Шинпачи выглядит озабоченным. — Вы больны?

— Нет-нет... Прошу прощения. Гото-сан задал мне какой-то вопрос?

— Насчет фразы о красоте музыки.

— Я бы лучше слушал, — заявляет переводчик Секита, — поросят, которых режут.

— Или как у человека вырезают камень, — говорит Арашияма, — да, Огава?

— Ваше описание не лишило меня аппетита, — Секита заталкивает в рот еще одно яйцо с пряностями, целиком. — Эти яйца так хороши.

— Я бы скорее доверился китайским травам, — говорит Ниши, похожий лицом на обезьяну, отпрыск враждующей династии нагасакских переводчиков, — чем голландскому ножу.

— Мой родственник доверился китайским травам, — отвечает ему Арашияма, — со своим камнем...

Заместитель директора Фишер гогочет и громко стучит кулаком по столу.

— ...и умер в мучениях, рассказ о которых точно отбил бы у вас аппетит.

Нынешняя дэдзимская жена ван Клифа, одетая в белоснежное кимоно и звенящие браслеты, сдвигает дверь и скромно кланяется залу. Разговоры тут же смолкают, а те, кто еще помнит о манерах, не таращатся, а смотрят в сторону. Она что-то шепчет на ухо ван Клифу, отчего его лицо просветляется; он шепчет ей и шлепает ее по заду, как крестьянин шлепнул бы быка. Кокетливо изобразив обиду, она возвращается в личные апартаменты ван Клифа.

Узаемону кажется, что ван Клиф подстроил эту сцену, чтобы похвастаться своей красоткой.

— Какая жалость, — мурлычет Секита, — что ее нет в меню.

«Если бы у де Зута получилось, — думает Узаемон, — Орито тоже была бы дэдзимской женой...»

Купидо приносит по бутылке каждому из обедающих.

«И принадлежала бы одному, — растравляет себе душу Узаемон, — а не многим».

— Я начал бояться, — говорит Секита, — что они забудут про такой замечательный обычай.

«Это говорит моя вина, — думает Узаемон. — А если моя вина права?»

Слуга — малаец Филандер следует за Купидо и откупоривает каждую бутылку.

Ван Клиф встает и начинает стучать ложкой по стеклу, пока взгляды всех, кто за столом, не сосредотачиваются на нем.

— Те, кто бывал на банкетах по случаю голландского Нового года под директорством Хеммея и Сниткера, должны знать о гидроголовом тосте...

Арашияма шепчет Узаемону: «Что такое гидра?»

Узаемон знает, но пожимает плечами, не желая пропустить слов ван Клифа.

— Мы говорим тосты, один за другим, — объясняет Гото Шинпачи, — и...

— ...и пьянеем, и пьянеем, — рыгает Секита, — минута за минутой.

— ...который объединяет наши пожелания, — покачиваясь, провозглашает ван Клиф, — из которых и складывается... э-э... светлое будущее.

Как требует обычай, каждый за столом наполняет бокал соседу.

— Итак, господа, — ван Клиф поднимает свой бокал. — За девятнадцатое столетие!

В зале многие повторяют тост, несмотря на то что он никак не связан с японским календарем.

Узаемон чувствует, что ему нехорошо и с каждой минутой становится только хуже.

— Давайте выпьем за дружбу, — говорит заместитель директора Фишер, — между Европой и Востоком!

«Как часто, — спрашивает себя Узаемон, — мне еще придется слышать все те же пустые слова?»

Переводчик Кобаяши смотрит на Узаемона:

— За скорейшее выздоровление дорогих друзей Огавы Мимасаку и Герритсзон-сана.

И Узаемон обязан встать и поклониться старшему Кобаяши, зная, что тот попытается протащить своего сына через голову Узаемона сразу во второй ранг Гильдии переводчиков, когда старший Огава смирится с неизбежным и уйдет на покой с желанного поста.

Доктор Маринус — следующий:

— За искателей истины!

Чтобы не придрались инспекторы, переводчик Иошио провозглашает тост на японском:



— За здоровье нашего мудрого, всеми любимого магистрата.

Сын Йошио — тоже переводчик третьего ранга, и отец возлагает на него большие надежды в связи с грядущими вакансиями. Голландцам он говорит:

— За наших правителей.

«Именно в такую игру надо играть, — думает Узаемон, — чтобы подняться в Гильдии».

Якоб де Зут болтает вино в бокале:

— За всех наших любимых, далеко или близко.

Голландец ловит взгляд Узаемона, и они тут же отворачиваются, пока все повторяют тост. Переводчик все еще меланхолично крутит пальцами кольцо от салфетки, когда Гото откашливается.

— Огава-сан?

Узаемон поднимает глаза и видит, что смотрят на него.

— Извините, господа, вино украло мой язык.

Громкий хохот проносится по залу. Лица сидящих раздуваются и отдаляются. Шевелящиеся губы не соотносятся со словами. Узаемон успевает спросить себя, пока сознание покидает его: «Я умираю?»

Ступени улицы Хигашизака скользкие от замершей слякоти и усыпаны костями, тряпками, опавшими листьями и экскрементами. Узаемон и кривоногий Иохеи поднимаются мимо лотка продавца жареных каштанов. От запаха желудок переводчика угрожает взбунтоваться. Не видя приближающегося самурая со слугой, нищий мочится на стену. Тощие собаки, оседы и вороны дерутся между собой за отбросы.

«Шузаи ждет меня на урок фехтования...» — вспоминает Узаемон...

Молодая женщина на сносках продает на перекрестке свечи из свиного жира.

«...но потеря сознания два раза в один день вызовет ненужные слухи».

Узаемон говорит Иохеи, чтобы тот купил десять свеч: у женщины катаракты на обоих глазах.

Продавщица свеч благодарит покупателя. Хозяин и слуга продолжают восхождение по улице.

Из окна доносится мужской крик: «Я проклинаю тот день, когда женился на тебе!»

— Самурай — сама? — безгубая гадалка зовет из полуоткрытой двери. — Кто-то в Мире наверху нуждается в вашем участии, самурай — сама.

Узаемон, раздраженный ее назойливостью, проходит мимо.

— Господин, — говорит Иохеи, — если вы опять чувствуете себя плохо, я могу...

— Не суетись, как женщина: просто иностранное вино не пошло на пользу.

«Иностранное вино, — думает Узаемон, — в паре с хирургической операцией».

— Если доложишь о моей минутной слабости, — предупреждает он Иохеи, — отец будет волноваться.

— Он не услышит об этом из моих уст, господин.

Они проходят охранные ворота: сын стражника кланяется одному из самых важных жильцов по соседству. Узаемон холодно кивает в ответ головой и думает: «Почти дома». Особой радости эта мысль не приносит.

— Может Огава-сама проявить щедрость и уделить мне немного времени?

Ожидая, когда откроют ворота дома, Узаемон слышит старческий голос.

Согбенная старая женщина, судя по одежде, живущая в горах, поднимается от кустов, которые растут у ручья.

Иохеи набрасывается на нее:

— По какому праву ты произносишь имя моего господина?

Слуга Киюшичи открывает ворота. Видит старуху и объясняет:

— Господин, это слабоумное создание ранее уже стучалось в боковую дверь и просило разрешения поговорить с переводчиком Огавой — младшим. Я надеялся, что старая ворона уже улетела, но, как видит господин...

Ее обветренное лицо, обрамленное шляпой и соломенной накидкой, не похоже на хитрые лица нищих.

— У нас есть общий друг, Огава-сама.

— Довольно, бабушка, — Киюшичи берет ее за руку. — Время тебе идти домой.

Он проверяет свои слова взглядом на Узаемона, который отвечает одними губами: «Повежливее».

— Охранные ворота находятся там.

— Но Курозане в трех днях пути, молодой человек, на моих старых ногах, и...

— Чем раньше вы отправитесь в обратный путь, тем, конечно, будет лучше, не правда ли?

Узаемон минует ворота дома Огавы и проходит по каменному саду, где

на хилых цветах жирует один лишь лишайник. Саидзи, сухопарый, с лицом, похожим на птицу, личный слуга отца, изнутри отодвигает дверь в главный дом, на мгновение опередив попытку Иохеи отодвинуть дверь снаружи. «Добро пожаловать домой, господин, — слуги соперничают между собой за будущее, когда их хозяином будет не Огава Мимасаку, а Огава Узаемон. — Старший господин спит в своей комнате, господин, а госпожа страдает головной болью. Мать господина ухаживает за ней».

«Значит, моя жена хочет побыть одна, — думает Узаемон, — а мать не позволяет ей этого».

Новая служанка появляется со шлепанцами, теплой водой и полотенцем.

— Зажги свет в библиотеке, — говорит он новой служанке, решив написать отчет о литотомии. «Если я буду работать, — надеется он, — моя мать и моя жена оставят меня в покое».

— Приготовь чай для господина, — говорит Иохеи служанке. — Не слишком крепкий.

Саидзи и Иохеи ожидают, кого сегодня выберет будущий хозяин себе в помощники.

— Займитесь, — вздыхает Узаемон, — чем угодно. Оба.

Он идет по холодному, натертому воском коридору, слыша, как Иохеи и Саидзи винят друг друга в плохом настроении господина. Их нападки похожи на супружескую перебранку, и Узаемон подозревает, что ночью они делят друг с другом не только комнату. Поднявшись в святая святых, библиотеку, он задвигает дверь, отгораживаясь от угрюмого дома, сумасшедшей старухи — с гор, праздной болтовни рождественского банкета и его позорного ухода, и садится за письменный стол. Ноги болят. Он с наслаждением натирает чернильный камень, смешивает натертые крошки с каплями воды и обмакивает кисточку в чернила. Драгоценные книги и китайские свитки стоят на дубовых полках. Он вспоминает свое восхищение, когда впервые вошел в библиотеку Огавы Мимасаку пятнадцать лет тому назад, совсем не мечтая о том, что когда-то его усыновит хозяин и, более того, он сам станет хозяином.

«Будь менее амбициозным, — предупреждает он более молодого Узаемона, — довольствуйся тем, что есть».

Краем глаза он замечает на ближайшей полке дезутовскую книгу «Богатство народов».

Узаемон выстраивает в ряд воспоминания о литотомии.

Стук: слуга Киюшичи отодвигает дверь.

— Слабоумное создание нас больше не потревожит, господин.

Узаемону требуется какое-то время, чтобы понять смысл сказанного.

— Хорошо. Ее семью надо бы уведомить, что она ведет себя неподобающим образом.

— Я попросил сына стражника так и сделать, господин, но он с ней не знаком.

— Она из этого... Курозаки, вроде бы?

— Курозане, прошу прощения. Кажется, это — маленькая деревня по пути к морю Ариаке, в феоде Киога.

Название кажется знакомым. Возможно, настоятель Эномото однажды его упоминал.

— Она не сказала, какое дело у нее ко мне дело?

— «Личное дело» — все, что она сказала, и что она — травница.

— Всякая полоумная карга, которая умеет варить укроп, называет себя травницей.

— Именно, господин. Возможно, она услышала о нездоровье в доме и хотела продать какое-то чудодейственное снадобье. Она заслуживает, чтобы ее поколотили, точно, только ее возраст...

Новая служанка входит с ведром угля. Возможно, из-за холодного дня на ней белый головной платок. Кусок текста из девятого или десятого письма Орито приходит к Узаемону из памяти: «Травница из Курозане живет у подножия горы Ширануи в старой хижине с козами, курами и собакой...»

Пол качается.

— Приведи ее сюда, — Узаемон почти не узнает свой голос.

Киошичи и служанка удивленно смотрят на своего хозяина, а затем — друг на друга.

— Беги за травницей из Курозане — за той старухой с гор. Приведи ее сюда.

Пораженный слуга не может поверить своим ушам.

До Узаемона доходит, как странно он себя ведет: «Сначала потерял сознание на Дэдзиме, а сейчас — эта перемена с оборванкой».

— Когда я молился в храме об отце, монах посоветовал, что нездоровье может быть связано с тем, что... что от дома Огавы требуется пожертвование, и боги пришлют... э-э... предоставят такую возможность.

Киошичи сомневается, что посланники богов могут быть такими смердящими.

Узаемон хлопает в ладони:

— Не заставляй меня повторять, Киошичи!

— Вы — Отане, — начинает Узаемон, не решаясь дать ей почетный титул. — Отане-сан, травница из Курозане. Ранее, на улице, я не понял...

Старая женщина сидит, как нахохлившийся воробей. Ее глаза ясные и пронизательные.

Узаемон отпускает слуг.

— Я извиняюсь за то, что не выслушал вас.

Отане принимает извинение, но ничего не говорит пока.

— Путь из феода Киога занимает два дня. Вы спали в гостинице?

— Мне требовалось прийти сюда, и теперь я здесь.

— Госпожа Аибагава всегда говорила об Отане-сан с большим уважением.

— Во второй свой визит в Курозане... — ее киогский диалект полон достоинства, — госпожа Аибагава точно так же отзывалась о переводчице Огаве.

«Ее ноги, может, и болят, — думает Узаемон, — но она знает, как пнуть». Жених, который берет невесту по зову сердца, — большая редкость. Мне пришлось жениться, следуя требованиям семьи. Так устроен мир.

— Визиты госпожи Аибагавы — три самых дорогих сокровища в моей жизни. Несмотря на разницу в ранге, она была и остается для меня драгоценной дочерью.

— Я слышал, что Курозане находится у начала тропы, которая ведет к вершине горы Ширануи. Может, — Узаемон все-таки надеется на лучшее, — вы встречались с ней после того, как она вошла в храм?

Ответ читается на печальном лице Отане — горькое «нет».

— Любое общение запрещено. Два раза в год я ношу лекарства храмовому доктору, учителю Сузаку, к дому у ворот. Но никому постороннему не разрешается идти дальше, разве что по приглашению учителя Генму или владыки — настоятеля Эномото. И не приходится рассчитывать...

Отодвигается дверь, и служанка матери Узаемона вносит чай.

«Мать недолго ждала, — отмечает Узаемон, — чтобы прислать шпионку».

Отане кланяется в ответ, приняв чай на подносе из орехового дерева.

Служанка уходит на допрос с пристрастием.

— И не приходится рассчитывать, — продолжает Отане, — что в храм пустят старую собирательницу трав. — Она обхватывает чайную чашку покрытыми несмываемыми пятнами от трав костлявыми пальцами. — Нет, я не принесла весть от госпожи Аибагавы, но... Хорошо, я буду очень

краткой. Несколько недель тому назад, в ночь первого снега, гость нашел убежище под моей крышей. Молодой аколит храма на горе Ширануи. Он сбежал оттуда.

Силуэт Иохеи проходит мимо бумажного окна, на которое падает отраженный снегом свет.

— Что он рассказал? — во рту Узаемона разом пересохло. — Она... госпожа Аибагава здорова?

— Она жива, но он говорил о жестокостях, творимых Орденом над сестрами. Он говорил, что если об этих жестокостях узнают, то даже связи владыки — настоятеля с Эдо не помогут защитить храм. Таков был план аколита — пойти в Нагасаки и рассказать об ордене горы Ширануи магистрату и его суду.

Кто-то метет снег в саду жесткой, замерзшей метлой.

Узаемону холодно, несмотря на жаркий огонь.

— Где беглец?

— Я похоронила его на следующий день между двумя вишневыми деревьями в моем саду.

Что-то прошмыгнуло на периферии поля зрения Узаемона.

— Отчего он умер?

— Есть семейство ядов, которые, будучи однажды принятыми, остаются в теле, не причиняя вреда, если каждый день принимается противоядие. Но без этого противоядия яд убьет человека. Такая моя догадка.

— Выходит, аколит был обречен с того момента, как сбежал?

Слышно, как дальше по коридору мать что-то выговаривает своей служанке.

— Рассказал аколит о порядках в Ордене прежде, чем умер?

— Нет, — Отане наклоняет седую голову к Узаемону. — Но он написал их догмы на свитке.

— Эти догмы — те самые «жестокости», которые терпят сестры?

— Я старая женщина крестьянских корней, переводчик. Я не умею читать.

— Этот свиток, — он тоже переходит на шепот. — Он — в Нагасаки?

Отане пристально смотрит на него, словно само Время, принявшее человеческий облик. Из рукава она достает свиточный футляр из кизилового дерева.

— Сестры, — Узаемон заставляет себя спросить, — обязаны спать с мужчинами? Это та... та жестокость, о которой говорил аколит?

Уверенные шаги его матери приближаются по скрипучему полу

коридора.

— У меня есть основания думать, — отвечает Отане, передавая футляр Узаемону, — что на самом деле все гораздо хуже.

Узаемон прячет футляр в рукав в то же самое время, когда открывается дверь.

— Ох, извините меня! — Его мать появляется в дверном проеме. — Я понятия не имела, что у тебя гости. Твоя... — она в замешательстве. — Твоя гостья остается на ужин?

Отане кланяется очень низко.

— Такая щедрость превышает все, что заслуживает старая бабушка. Благодарю вас, госпожа, но я не должна злоупотреблять гостеприимством вашего дома ни минутой дольше...

## Глава 19. ДОМ СЕСТЕР, ХРАМ НА ГОРЕ ШИРАНУИ

*Восход девятого  
дня двенадцатого  
месяца*

Подметать коридоры, которые тянутся вдоль внутреннего двора — занятие не из легких: как только появляется куча листьев и сосновых иголок, так сразу же ветер разносит их в разные стороны. Облака зацепились за Голый Пик и льют ледяную морось. Орито оттирает птичий помет с досок куском мешковины. Сегодня девяносто пятый день ее заключения: тринадцать дней она отворачивается от Сузаку и настоятельницы и выливает «Утешение» в рукав. Четыре-пять дней страдала от судорог и лихорадки, но сейчас ясное сознание вернулось к ней: крысы больше не разговаривают с ней, и странные трюки Дома прекратились. Однако другие ее достижения не так значительны: она еще не получила разрешения на выход за внутренние ворота в другие части храма, и, хотя избежала очередного Дара, шансы на удачу для самой новой сестры в четвертый раз будут минимальными, а на пятый — и вовсе сойдут на нет.

Проходит Умегае в лакированных сандалиях, клик- клак, клик — клак.

«Она ни за что не удержится, — предсказывает Орито, — от глупой шутки».

— Такая усердная, самая новая сестра! Наверное, родилась с метлой в руке?

Ответ не ожидается, его и нет, и Умегае уходит на кухню. Ее шпилька напоминает Орито похвальбу отца дэдзимской чистоты, которую он противопоставлял китайской фактории с крысами и гниющим мусором. Ей хочется знать: недостает ли ее Маринусу. Ей хочется знать, греет ли девушка из «Дома Глициний» постель Якоба де Зута, восхищаясь его экзотичными глазами. Ей хочется знать, думает ли де Зут о ней вообще, за исключением тех случаев, когда ему нужен отданный словарь.

Ей хочется знать и об Огаве Узаемоне.

Де Зут покинет Японию, так и не узнав, что она выбрала его.

«Жалобы на судьбу, — вновь напоминает себе Орито, — это петля, свешивающаяся с потолочной балки».



Охранник кричит: «Ворота открываются, сестры!»

Два аколита толкают тележку, наполненную дровами и щепками для растопки.

Как только закрываются ворота, Орито замечает прокравшегося сюда кота. Светло-серый, словно луна в туманный вечер, он пересекает двор. Белка забирается на старую сосну, но лунно-серый кот знает, что двуногие существа предложат лучшую еду, чем четвероногие, и идет в коридор, попытаться счастья у Орито. «Я никогда не видела тебя здесь», — говорит женщина животному.

Кот смотрит на нее и мяукает: «Накорми меня, потому что я красивый».

Орито предлагает ему сухую сардину.

Лунно-серый кот с безразличием оглядывает рыбу.

— А ведь кто-то принес эту рыбу так высоко в горы, — выговаривает ему Орито.

Кот берет рыбу, спрыгивает на землю и уходит под доски коридора.

Орито наклоняется, но кота уже не видно.

Она видит узкую прямоугольную дыру в фундаменте Дома...

...и голос над ней спрашивает: «Самая новая сестра что-то потеряла?»

Виновато Орито поднимает взгляд на экономку, которая несет кимоно из прачечной.

— Кот попросил у меня еды, а затем скрылся, когда получил, что хотел.

— Точно самец, — экономка чихает, сгибаясь пополам.

Орито помогает ей поднять постиранные вещи и отнести их в комнату постельных принадлежностей. Самая новая сестра испытывает какую-то симпатию к экономке Сацуки. Ранг настоятельницы понятен всем — ниже учителей, но выше аколитов, — но у экономки Сацуки больше обязанностей, чем привилегий. По логике мира внизу, отсутствие телесных изъянов и независимость от Дарителей должны вызывать зависть, но в Доме сестер своя логика, и Умегае с Хашихиме раз двенадцать на день найдут возможность напомнить экономке, что она здесь лишь для того, чтобы обеспечивать их всем необходимым. Она рано встает, ложится позже всех и не принимает участия во многих совместных празднованиях сестер. Орито замечает, какие красные глаза у экономки и какого нездорового цвета кожа. «Извини за вопрос, — говорит докторская дочь, — но тебе нездоровится?»

— Мне, сестра? Мое здоровье... удовлетворительное, спасибо.

Орито убеждена, экономка что-то скрывает.

— Честное слово, сестра, я в порядке: холод горных зим немного давит на меня... вот и все.

— Сколько лет ты провела на горе Ширануи?

— Это будет мой пятый год в храмовом услужении, — ее, похоже, радует возможность поговорить.

— Сестра Яиои рассказала мне, что ты родом с большого острова феода Сацума.

— О — о, это малоизвестное место — день пути по морю от порта Кагошима и называется Якушима. Никто о нем не слышал. Несколько мужчин — островитян служат солдатами владыке Сацумы: они привозят самые разные истории, но очень немногие когда-нибудь покидают этот остров. Сплошные горы, и нет дорог. Только осторожные лесорубы, глупые охотники да не ведающие покоя паломники бродят там. Тамошним богам — ками непривычны люди. На острове есть один особенный храм, на полпути к горе Миура, в двух днях пути от порта, с небольшим монастырем меньше, чем храм Ширануи.

Миноре проходит мимо двери комнаты, дуя на ладони.

— Как получилось, — спрашивает Орито, — что ты стала здесь экономкой?

Югири проходит мимо в другом направлении, размахивая ведром.

Экономка разворачивает простынь, чтобы вновь сложить ее. «Учитель Биакко прибыл паломником на Якушиму. Мой отец, пятый сын незначительной семьи клана Мияке, был самураем только по рождению: он торговал рисом и просом и ловил в море рыбу. Он снабжал монастырь Миура рисом и предложил провести мастера Биакко по горам. И я пошла, и варила еду: на Якушима девушки крепкие, — губы экономки изгибаются в редкой, застенчивой улыбке. — На обратном пути учитель Биакко сказал отцу, что небольшому женскому монастырю на горе Ширануи нужна экономка, которая не боится тяжелой работы. Отец тут же ухватился за представившуюся возможность: одной из четырех дочерей меньше, а значит, приданое нужно только для троих».

— О чем ты думала, когда речь зашла об отъезде в дальние края?

— Я очень нервничала, но радовалась тоже, потому что хотела увидеть большую землю своими глазами. Через два дня я уплывала на корабле, а мой остров уменьшался в размерах, пока он не стал совсем маленьким, с наперсток... а затем и вовсе пропал из виду.

Взрывной смех Савараби доносится из кухни.

Экономка Сацуки смотрит в прошлое: ее дыхание учащается.

«Ты больна даже тяжелее, — полагает Орито, — чем представляешь

себе...»

— Ах, какая я болтушка! Спасибо за помощь, сестра, но ты не должна позволять мне удерживать тебя от исполнения твоих обязанностей. Я сама смогу сложить кимоно, спасибо.

Орито возвращается во внутренний коридор и вновь берется за метлу.

Аколиты стучат по воротам, чтобы их пустили назад, в свою часть храма.

Как только ворота открываются, лунно — серый кот пробегает между их ногами. Он проходит по двору, белка забирается на старую сосну. Кот напрямик направляется к Орито, трется о лодыжки и пристально смотрит на нее.

— Если ты вернулся за рыбой, плутишка, то второй нет.

Кот говорит Орито, что она бедное, глупое создание.

— В феоде Хизен, — первая сестра Хацуне гладит вечно закрытое веко, пока ночной ветер обдувает храм, — одно ущелье поднимается с северной стороны от дороги Саниодо к городу — замку Битчу. В узком проходе того ущелья ночь застала двух усталых коробейников из Осаки, и они решили переночевать рядом с заброшенным храмом Инари, Бога — лиса, у освященного веками орехового дерева, покрытого мхом. Первый коробейник, веселый малый, продавал ленты, расчески и всякое такое. Он очаровывал девушек, льстил парням, и дела у него шли хорошо. «Ленты целуют, — он пел, — девушки танцуют». Вторым коробейником продавал ножи. Угрюмый тип, который считал, что все обязаны помогать ему зарабатывать на жизнь, а потому его тележка ломилась от непроданного товара. Тем вечером, когда начинается наша история, они согрелись у костра и заговорили о том, что будут делать, когда вернутся в Осаку. Продавец лент сказал, что женится на его давней, с самого детства, подруге, а продавец ножей хотел открыть ломбард, чтобы получать больше денег и поменьше при этом работать.

Ножницы Савараби — чик — чик — чик — режут хлопковую ленту.

— Прежде чем они легли спать, продавец ножей предложил помолиться Инари — сестре, чтобы тот защитил их ночью в таком безлюдном месте. Продавец лент согласился, но как только он встал на колени перед заброшенным алтарем, продавец ножей отсек ему голову ударом самого большого топора, какой нашелся в его тележке.

Несколько сестер ахают, а Садае даже протестует: «Нет!»

— Как же так, сестла? — удивляется Асагао. — Ты же скасала, они стали длусьями.

— Так думал бедняга, который торговал лентами, сестра. А потом продавец ножей взял его деньги, закопал тело и завалился спать. Ночные кошмары или чьи-то стоны мучили его? Совсем нет. Продавец ножей проснулся бодрым, позавтракал едой убитого и без происшествий вернулся домой в Осаку. На деньги убитого им человека открыл ломбард, разбогател, и скоро у него появилась красивая одежда, а ел он теперь серебряными палочками самые лакомые деликатесы. Четыре весны пришло, и четыре осени ушло. И однажды днем лохматый, заросший человек в коричневом плаще с капюшоном зашел в ломбард и вытащил из-под плаща ящик орехового дерева. Из него достал весь гладкий, отполированный человеческий череп. Ломбардщик сказал: «Ящик, может, и стоит несколько медных мон, а зачем ты показываешь мне эти старые кости?» Незнакомец ухмыльнулся ломбардщику белыми — белыми зубами и приказал черепу: «Пой!» И точно так же, как я сейчас живу и дышу, сестры, череп запел вот какую песню:

«Сладок сон с моей красоткой и вкусна еда,  
Там, где аист с черепахой да бела сосна...»

Полено трескается в очаге, и половина женщин подпрыгивает.

— Три символа удачи, — говорит слепая Минори.

— Так и ломбардщик подумал, — продолжает Хацуне, — но лохматому, заросшему незнакомцу он стал жаловаться, что рынок заполнили голландские безделушки. Он спросил, будет ли череп петь для любого человека или только для незнакомца? И сладким голосом незнакомец объяснил, что череп будет петь для настоящего хозяина. «Хорошо, — крикнул ломбардщик, — вот три кобана: попроси еще на один мон больше, и мы сразу разойдемся в разные стороны». Незнакомец ничего просить не стал, поклонился, положил череп в ящик, взял деньги и ушел. Ломбардщик долго не думал, как быстро обернуть волшебную покупку в деньги. Он щелкнул пальцами, ему принесли паланкин и отвезли его в дом одного ронина <sup>[70]</sup>, который зарабатывал разными ставками на спор. Осторожный ломбардщик проверил свою покупку, пока его несли, и приказал черепу: «Пой!» И тут же череп запел:

«Дерево как жизнь, огонь — символ временной,  
Там, где аист с черепахой под белой сосной!»

— Едва его привели к самураю, ломбардщик вытащил новую покупку и попросил тысячу кобанов за песню его нового друга — черепа. Без запинки самурай ответил ломбардщику, что тот потеряет голову за то, что оскорбит его доверие, если череп не запоет. Ломбардщик, который ничего другого не ожидал, согласился на такую ставку в ответ на половину

состояния самурая, если череп запоет. Тогда хитрый самурай решил, что ломбардщик лишился разума — и увидел, как можно легко получить деньги. Он заявил, что шея ломбардщика ничего не стоит, и пусть тот поставит все свое богатство на кон. Радостный, что самурай проглотил наживку, ломбардщик еще повысил ставку: если череп запоет, то его соперник должен отдать все свое состояние — если, конечно, он не испугался. В ответ самурай приказал своему писцу оформить ставку клятвой на крови и скрепить ее в присутствии главы административного района, человека продажного, привыкшего к таким темным делишкам. Затем жадный ломбардщик поставил череп на ящик и приказал: «Пой!»

Тени женщин напоминали напряженно склонившихся гигантов.

Хотару не выдерживает первой: «Что произошло после этого, сестра Хацуне?»

— Ничего, сестра. Тишина осталась тишиной. Череп даже не скрипнул. Тогда ломбардщик возвысил голос:

— Пой, я тебе приказываю. Пой!

Быстрая игла экономки Сацуки замирает на месте.

— Череп не произнес ни слова. Ломбардщик побледнел как мел. «Пой! Пой!» Но череп все молчал. Клятва на крови лежала на столе, и даже чернила еще не высохли. Ломбардщик в отчаянии закричал на череп: «Пой!» Ничего, ничего, ничего. Ломбардщик никого не жалел и сам не ждал ни от кого жалости. Самурай приказал принести самый острый меч, пока ломбардщик опускался на колени. Так и отлетела голова ломбардщика.

Савараби роняет наперсток: он катится к Орито, она поднимает его и возвращает сестре.

— И тут, — торжественно продолжает Хацуне, — когда все закончилось, череп запел:

«Ленты целуют, девушки танцуют,  
Ленты целуют, девушки танцуют».

Хотару и Асагао застывают с широко раскрытыми глазами. Насмешливая улыбка Умегае слетела с лица.

— Самурай, — Хацуне отклоняется назад, потирая колени. — Самурай узнавал проклятое серебро, когда видел его. Все деньги ломбардщика он отдал храму Санджусанденго. Никто больше не слышал ничего о лохматом, заросшем незнакомце. Кто знает, может, Инари — сама приходил, чтобы отомстить за беззаконие, совершенное у его храма? Череп продавца лент — если это он — все еще хранится в отдельной нише редко посещаемого крыла храма Санджусанденго. Один из старых монахов каждый год в День

мертвых молится за упокой его души. Если кто-нибудь из вас заглянет в храм после того, как спустится отсюда, то сможет увидеть череп своими глазами...

Дождь шипит, словно раскачивающиеся змеи, в ливневых канавах журчит вода. Орито наблюдает за пульсирующей веной на горле Яиои. «Животу нужна еда, — думает она, — языку — вода, сердцу — любовь, а разуму — истории». Именно истории, как понимает она, примиряют сестер с жизнью в Доме, истории всякие и разные: письма от Даров, болтовня, воспоминания и такие длинные рассказы, как у Хацуне о поющем черепе. Она думает о мифах, о богах, о Идзанами и Идзанаги <sup>[71]</sup>, о Будде и Иисусе, и, возможно, о Богине горы Ширануи и удивляется их несхожести. Орито рисуется человеческое сознание, как ткацкий станок, сплетающий несочетаемые нити веры, памяти и историй в нечто единое, именуемое «Я», которое иногда называет себя «Сознанием».

— У меня из головы не выходит, — бормочет Яиои, — девушка.

Орито наматывает локон волос Яиои на большой палец правой руки.

— Какая девушка, соня?

— Возлюбленная продавца лент, на которой он хотел жениться.

«Ты должна покинуть Дом и покинуть Яиои, — напоминает себе Орито, — скоро».

— Так грустно, — Яиои зевает. — Она состарилась и умерла, не узнав правды.

Огонь светит ярко или тускнеет, в зависимости сквозняка: то сильного, то слабого.

Над железной жаровней есть щель: падающие капли воды шипят и трещат.

Ветер, словно обезумевший узник, трясет деревянные сдвижные ширмы, за которыми — внутренний коридор.

Вопрос Яиои совершенно неожиданный.

— К тебе прикасался мужчина, сестра?

Орито привычна к прямоте подруги, но этот вопрос застает ее врасплох.

— Нет.

«Это «нет» — мой сводный брат», — думает она.

— У моей мачехи в Нагасаки есть сын. Я бы не хотела называть его имени. Во время переговоров о свадьбе с отцом они решили, что он будет учиться, чтобы стать врачом и ученым. Не потребовалось много времени, однако, чтобы у него выявилось полное отсутствие способностей. Он

ненавидел книги, испытывал отвращение к голландскому языку, боялся вида крови, и его отослали к дяде в Сагу, но он вернулся в Нагасаки на похороны отца. Робкий, молчаливый мальчик превратился в семнадцатилетнего хозяина мира. Теперь он приказывал: «Эй, ванну!» или: «Эй, чай!» И наблюдал за мной, как все мужчины, но я ничем не поощряла его. Ничем.

Орито замолкает, ждет, пока стихнут шаги в коридоре.

— Моя мачеха заметила перемену в его поведении, но ничего ему не сказала поначалу. При жизни отца она казалась послушной докторской женой, но после похорон изменилась... или стала сама собой. Запретила мне покидать дом без ее разрешения, а это разрешение давала очень редко. Сказала мне: «Твои игры в ученых закончились». Старым друзьям отца предложили не появляться, пока их не позовут. Она отослала Аяме, нашу последнюю служанку, еще со времен матери. Мне пришлось выполнять ее обязанности. В один день я ела белый рис; на другой день не оставалось ничего другого, как довольствоваться коричневым. Ее послушать, я выросла такой избалованной!

Яиои тихонько ахает от удара в матке.

— Никто из нас не думает, что ты избалованная.

— Ну а потом мой сводный брат доказал мне, что я еще не знала, какие они, настоящие проблемы. Я спала в комнате Аямы — там могли разместиться две циновки, так что она больше походила на чулан, — и в одну ночь, через несколько дней после похорон отца, когда весь дом затих, появился мой сводный брат. Я спросила, что ему надо. Он ответил, что я знаю. Я велела ему убираться. Он ответил: «Порядки поменялись, дорогая сестрица». Сказал, что теперь он — глава семейства Аибагава в Нагасаки, — во рту Орито появляется металлический вкус, — и все в доме принадлежит ему. «И это тоже», — добавил он и тогда потрогал меня.

Яиои морщится:

— Не следовало мне спрашивать тебя. Ты не обязана мне рассказывать.

«Это его преступление, — думает Орито, — не мое».

— Я пыталась... но он ударил меня, как никто не бил меня до этого. Закрыв рукой мой рот и пообещал... — «Представь себе, — вспоминает она, — что я Огава», — ...что будет держать мою правую половину лица над огнем до тех пор, пока она не станет такой же, как левая, если я буду сопротивляться, и все равно он добьется того, что хочет. — Орито замолкает, чтобы изгнать дрожь из голоса. — Показать страх мне удалось легко. Показать, что уступаю ему — сложнее. И я сказала: «Да». Он лизал

мое лицо, как собака, и начал раздеваться, и... тогда я сунула руку ему между ног и сжала то, что нашла там, как лимон, изо всех сил.

Яиои видит свою подругу в новом свете.

— Его крик разбудил весь дом. Прибежавшая мать прогнала слуг. Я рассказала, что ее сын пытался сделать. Он сказал ей, что я умоляла его прийти ко мне в постель. Она дала пощечину главе семейства Аибагава в Нагасаки один раз — за то, что врал, второй раз — за его глупость, и десять раз еще — за едва не потерянную самую ценную собственность семьи. «Настоятелю Эномото, — сказала она ему, — нужно, чтобы твоя приемная сестра прибыла в монастырь уродцев нетронутый». Так я узнала, зачем приходил управляющий именем Эномото. Через четыре дня я оказалась здесь.

Ветер трясет крышу, огонь рычит в ответ.

Орито вспоминает, как все друзья отца отказались оставить ее у себя на ночь, когда она убежала из дома.

Она вспоминает, как пряталась всю ночь в «Доме Глициний», прислушиваясь к каждому шороху.

Она вспоминает, как тяжело далось ей решение принять предложение де Зута.

Она вспоминает, как она пыталась обманом пробраться на Дэдзиму и как ее схватили у Сухопутных ворот.

— Монахи — они не такие, как твой сводный брат, — говорит Яиои. — Они учтивые.

— Настолько учтивые, что после моего «нет» останутся и уйдут из моей комнаты?

— Богиня выбирает Дарителей так же, как выбирает сестер.

«Веру внушают с тем, — думает Орито, — чтобы управлять верующими».

— Когда меня одаривали впервые, — признается Яиои, — я представляла себе юношу, которого я когда-то любила.

«Значит, капюшоны нужны, — догадывается Орито, — чтобы скрыть их лица — не наши».

— Может, у тебя есть мужчина... — Яиои медлит с вопросом, — ... которого ты могла бы...

«Огава Узаемон, — думает акушерка, — более не имеет ко мне никакого отношения».

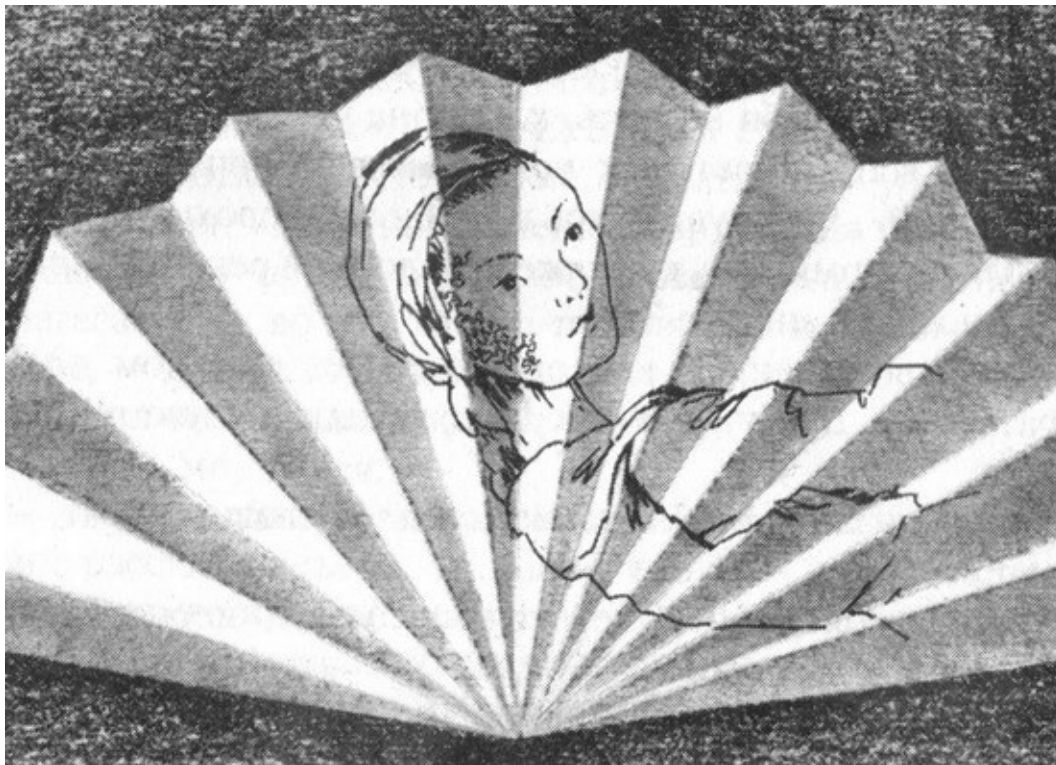
Орито отгоняет от себя все мысли о Якобе де Зуте и тут же вспоминает Якоба де Зута.

— О — о, — понимает Яиои. — Я сегодня такая назойливая, как



Хашихиме. Не обращай на меня внимания.

Но самая новая сестра выскальзывает из тепла одеял, идет к сундучку, подаренному настоятельницей, и вынимает оттуда веер из бамбука и бумаги. Яиои садится, охваченная любопытством. Орито зажигает свечу и раскрывает веер.



Яиои разглядывает рисунок.

— Он художник? Или ученый?

— Он читал книги, но работал клерком на обычном складе.

— Он тебя любил, — Яиои касается ребер веера. — Он любил тебя.

— Он чужеземец из другого... феода. Он практически не знал меня.

Яиои с грустью смотрит на Орито и вздыхает.

— Ну и что?

Спящая знает, что спит, потому что лунно — серый кот повторяет: «Кто-то принес эту рыбу так высоко в горы». Кот берет сардину, прыгает на землю и исчезает под досками. Спящая спускается на землю, но кот исчез. Она видит узкую прямоугольную дыру в фундаменте Дома...

...и ощущает его теплое дыхание. Слышит детей и летних насекомых.

Голос с досок настила спрашивает: «Самая новая сестра что-то

потеряла?»

Лунно — серый кот лижет лапки и разговаривает отцовским голосом.

«Я знаю, ты — посланник, — говорит спящая, — но какое у тебя послание?»

Кот смотрит на нее с сожалением и вздыхает: «Я ушел через эту дыру под нами...»

Темная вселенная запакована в один маленький ящик, который медленно открывается.

— ...и появился у ворот Дома минутой спустя. Что это значит?»

Спящая просыпается в ледяной темноте. Яиои рядом, спит.

Орито протягивает руки, ощупывает темноту вокруг себя и понимает. Водовод... или тоннель.

## Глава 20. ДВЕСТИ СТУПЕНЕЙ К ХРАМУ РЮГАДЗИ В НАГАСАКИ

*Новый год,  
двенадцатый год эпохи  
Кэнсей*

Праздничная толпа толкается и мельтешит. Мальчишки продают певчих птиц в клетках, которые висят на сосне. Из-за дымящейся жаровни доносится хрип старушки с парализованной рукой: «Кальмааааааары на палочке — е, кальмааааааары на палочке — е, кому моих кальмаааааааров на палочке — еее!» Сидя в паланкине, Узаемон слышит крики Киошичи: «Дорогу, дорогу!» — слуга менее всего надеется, что они расчистят путь, но уверен, что старший Огава не назовет его лентяем. «Картины изумительные! Рисунки замечательные!» — зазывает продавец гравюр. В зарешеченном окне паланкина Узаемона появляется мужское лицо и рука с грубо напечатанным порнографическим шаржем голого гоблина, у которого наблюдается несомненное сходство с Мельхиором ван Клифом. У гоблина — громадный половой член, величиной с человека. «Могу я предложить для удовольствия господина образец «Дэдзимских ночей»?» Узаемон рычит: «Нет!» — и человек исчезает, крича во весь голос: «Увидеть сто восемь чудес Империи, описанных Кавахарой, не покидая своего дома!» Сказитель указывает на свою доску с картинками, повествуя об осаде полуострова Симабара. «А это, дамы и господа, христианин Амакуса Сиро с тайным умыслом продать все наши души королю Рима! — сказитель хорошо управляет слушателями: в ответ несутся гневные крики и оскорбления. — И тогда великий сегун прогнал чужеземного дьявола, и каждый год обряд очищения фуми — е проводится и по сей день, чтобы выкорчевать всех еретиков, присосавшихся к нашей кормушке!» Молодая женщина, обезображенная болезнью, кормит грудью младенца, чье тело деформировано настолько, что поначалу Узаемон принимает его за безволосого щенка, и просит окружающих: «Подайте милостыню, господин, подайте...» Он открывает зарешеченное окно, но паланкин рывком передвигается на десяток ступеней, и Узаемон так и остается с протянутой рукой, держащей один мон, а в ответ ему доносятся смех, дым и шутки проходящих. Люди беззаботно веселятся. «Я — словно дух мертвого в О — бон, — думает Узаемон, — вынужденный смотреть на

беспечные создания, обжирающиеся самой жизнью». Его паланкин наклоняется, и ему приходится ухватиться за лакированную ручку, чтобы не соскользнуть назад. На ступенях вблизи храма несколько девушек, почти достигших возраста женщины, раскачиваясь, бьют себя плетьюми. «Чтобы узнать секреты горы Ширануи, — думает он, — надо быть отвергнутым этим миром».

Неуклюжий бык заслоняет Узаемону девушек.

Догмы ордена Эномото ярко сияют темнотой на всем.

Когда бык проходит дальше, девушек уже не видно.

Паланкины опускают на землю во дворе Нефритового Пиона — места, отведенного для семей самураев. Узаемон вылезает из своего и засовывает мечи за пояс. Его жена стоит за спиной его матери, а отец негодуяще набрасывается на Киошичи, словно кусающаяся черепаха, на которую он стал похож в последние недели: «Как ты допустил, что нас засосала эта... — он стучит тростью по выступающим ступеням, — ... эта человеческая грязь?»

Киошичи низко кланяется:

— Моя оплошность непростительна, хозяин.

— Ну да, этот старый дурак, — рычит старший Огава, — все равно тебя простит!

Узаемон пытается вмешаться:

— Уважаемый отец, я уверен...

— «Уважаемый» — так говорят негодяи, когда на самом деле они думают по — другому!

— С искренним уважением, отец, Киошичи не смог бы разогнать толпу.

— Значит, сыновья сейчас заодно со слугами против своих отцов?

«Богиня Каннон, — просит Узаемон, — дай мне терпения».

— Отец, я не заодно с...

— Но, несомненно, ты думаешь, что этот старый дурак далеко отстал от времени.

«Я не твой сын», — неожиданная мысль пронзает Узаемона.

— Люди начнут гадать, — заявляет мать Узаемона, разглядывая обратные стороны своих набеленных ладоней, — может, у семейства Огава появились сомнения по поводу обряда фуми — е.

Узаемон поворачивается к Огаве Мимасаку:

— Тогда давайте войдем... да?

— Может, сначала спросишь у слуг? — Огава Мимасаку идет к внутренним воротам. Он поднялся с кровати несколько дней тому назад, лишь отчасти оправившись от болезни, но пропустить ритуал фуми — е равносильно заявлению о собственной смерти. Он отвергает помощь Саидзи:

— Моя трость более надежна.

Семейство Огава идет мимо очереди новобрачных, жаждущих вдохнуть благовонного дыма из пасти бронзового дракона Рюгадзи. По местной легенде от этого у них должен родиться здоровый сын. Узаемон чувствует, что его жена очень хочет присоединиться к этой очереди, но слишком пристыжена двумя выкидышами. Вход в храм похож на пещеру, с белыми бумажными гирляндами в честь грядущего года Овцы. Слуги помогают снять обувь семейству и ставят ее в специально отведенное место с их фамилией. Прислужник приветствует их нервным поклоном, рассчитывая провести их поскорее в Галерею Адамова Дерева, где происходит ритуал фуми — е, вдали от глаз низших сословий. «Главный священник должен вести семейство Огава», — отмечает отец Узаемона.

— Главный священник, — извиняется прислужник, — сейчас на хра — хра — хра...

Огава Мимасаку вздыхает и смотрит в сторону.

— ...хра — храмовой службе, — заике удастся договорить фразу.

Прислужник приводит их к очереди из тридцати — сорока человек.

— Ждать... — он глубоко вдыхает, — ...н — н-н — ннн- н — недолго.

— Как, во имя Будды, — спрашивает отец Узаемона, — ты произносишь свои сутры?

Покрасневший от стыда, прислужник морщится, кланяется и возвращается, откуда пришел.

Огава Мимасаку улыбается одними губами — впервые за много дней.

Мать Узаемона в это же время приветствует семью, стоящую перед ними:

— Набешима-сан!

Дородная женщина оборачивается:

— Огава-сан!

— Еще один год пролетел, — мурлычет мать Узаемона, — в мгновение ока!

Старший Огава и глава впереди стоящего семейства — сборщик налогов на рис для магистратуры — обмениваются короткими, подобающими мужчинам поклонами. Узаемон приветствует трех сыновей Набешимы, примерно того же возраста, что и он, и все они работают в

конторе своего отца.

— Мгновение ока, — вздыхает матрона, — и два новых внука...

Узаемон видит, как его жена отводит взгляд, стыдясь позора.

— Пожалуйста, примите, — говорит его мать, — наши сердечные поздравления.

— Я говорю моим невесткам, — пыхтит госпожа Набешима, — «Сбавьте ход: это вам не скачки!» Но молодые люди в нынешнее время не слушают никого, разве не так? А теперь средняя думает, что она беременна. Между нами говоря, — она наклоняется к матери Узаемона, — когда они появились, я отнеслась к ним слишком снисходительно, а теперь они взбесились. Вы трое! Где ваши манеры? Стыдитесь! — Ее указательный палец подзывает жен сыновей на один шаг ближе, каждая одета в модной расцветки кимоно, с изящным кушаком. — Если бы я так изводила мою свекровь, как эти три мучительницы, меня бы давно с позором отослали в родительский дом.

Три молодые жены утавилились в землю, а внимание Узаемона переходит на младенцев: они на руках у кормилиц, стоящих кучкой с краю. Его вновь атакуют, как и бесчисленное количество раз на дню после того прихода травницы из Курозане, кошмарные видения: одаривание Орито и, девять месяцев спустя, «потребление» учителями Дара Богини. Вновь вопрос сменяется вопросом: «Как они убивают новорожденных? Как они скрывают от матерей, от всего мира? Как люди могут верить, что такой разврат поможет им избежать смерти? Как они могут до такой степени заглушить совесть?!»

— Я вижу вашу жену — Окину-сан, не так ли? госпожа Набешима обращается к Узаемону с невинной улыбкой и взглядом ящерицы, — она воспитана гораздо лучше моих троих. У «нас» лишь... — она похлопывает себя по животу, — пока не получается, да?

Краска на лице Окину скрывает стыдливый румянец, но щеки слегка дрожат.

— Мой сын делает свое дело, — заявляет мать Узаемона, — это она неосторожна.

— А как, — любопытствует госпожа Набешима, — «мы» привыкли к Нагасаки?

— Она все еще тоскует по Карацу, — отвечает мать Узаемона. — Такая плакса!

— Тоска по дому может быть, — матрона похлопывает себя по животу, — причиной...

Узаемон хочет защитить свою жену, но как сражаться с

разукрашенным оползнем?

— Может, ваш муж, — госпожа Набешима спрашивает мать Узаемона, — отпустит вас и Окину-сан позже днем? У нас будет небольшое празднование в доме, и ваша невестка сможет получить хорошие советы от матерей ее возраста. Но — о-о! — Она, нахмурившись, смотрит на старшего Огаву. — Наверное, вы думаете, это неудобно, такое внезапное приглашение и, учитывая здоровье вашего мужа...

— Здоровье ее мужа, — перебивает старик, — превосходно. Вы двое, — он насмешливо смотрит на свою жену и невестку, — делайте, что хотите. Мне надо прочитать сутры в честь Хисанобу.

— Такой набожный отец, — госпожа Набешима покачивает головой, — нынче образец для молодежи. Тогда все решено, да, госпожа Огава? После фуми — е приходите в наш... — она прерывает предложение, крикнув кормилице:

— Заткни рот этому мяукающему поросенку! Неужто забыла, где мы находимся? Стыдись!

Кормилица отворачивается, обнажает грудь, начинает кормить ребенка.

Узаемон всматривается в очередь в галерее, прикидывая, как быстро она движется.

Буддийское божество Фудо-мёо свирепо смотрит с ярко освещенного свечами алтаря. Его гнев, как учили Узаемона, страшит нечестивых, его меч разрубает их невежество, его веревка свяжет любого демона, его третий глаз видит насквозь человеческое сердце, камень, на котором он стоит, символизирует его несокрушимость. Перед ним сидят шесть членов Инспекции духовной чистоты в церемониальных одеждах.

Первый инспектор спрашивает отца Узаемона:

— Пожалуйста, назовите свое имя и должность.

— Огава Мимасаку, переводчик первого ранга Гильдии переводчиков на Дэдзиме, глава семейства Огава округа Хигашизака.

Первый инспектор говорит второму: «Огава Мимасаку присутствует».

Второй находит имя в списке: «Огава Мимасаку внесен в список».

Третий пишет имя: «Огава Мимасаку записан присутствующим».

Четвертый с пасофом произносит: «Огава Мимасаку сейчас исполнит обряд фуми — е».

Огава Мимасаку становится на истертую бронзовую табличку с изображением Иисуса Христа и надавливает пяткой на изображение так, чтобы все это видели.

Пятый чиновник провозглашает: «Огава Мимасаку исполнил обряд фуми — е».

Переводчик первого ранга сходит с идолопоклоннической таблички и с помощью Киошичи садится на низкую скамью. Узаемон подозревает, что отец страдает от боли гораздо сильнее, чем готов показать окружающим.

Шестой чиновник делает запись в списке: «Огава Мимасаку записан, как исполнивший обряд фуми — е».

Узаемон думает о чужеземных псалмах Давидовых де Зута, о том, как он чуть не попался, когда Кобаяши решил обыскать жилье голландца. Сожалеет, что прошлым летом не расспросил де Зута о его загадочной религии.

Шум веселья доносится из соседнего зала для простолюдинов.

Первый чиновник теперь спрашивает его: «Пожалуйста, назовите свое имя и должность...»

Покончив со всеми формальностями, Узаемон становится на фуми — е. Смотрит вниз и встречается с взглядом чужеземного бога. Узаемон давит ногой бронзу и думает о длинной череде мужчин семейства Огава в Нагасаки, которые когда-то наступали на эту же фуми — е.

В прошлый Новый год Узаемон гордился, что стал последним в той череде: некоторые предки, как и он, тоже были приемными сыновьями. Но сегодня он чувствует себя самозванцем и знает почему.

«Моя преданность Орито, — облакает он причину в слова, пусть и не произносит их, — сильнее моей преданности роду Огава».

Он чувствует лицо Иисуса Христа сквозь подошву.

«Любой ценой, — клянется Узаемон, — я освобожу ее. Но мне нужна помощь».

Между стенами додзё <sup>[72]</sup>Шузаи мечется эхо от криков двух сражающихся воинов и от треска бамбуковых мечей. Они атакуют друг друга, парируют удары, контратакуют, отходят назад, атакуют, парируют, контратакуют, отходят. Пружинящий деревянный пол скрипит под босыми ступнями. Капли дождя собираются подставленными под струи ведрами, которые по наполнении меняются последним, оставшимся у Шузаи, учеником. Тренировочный бой заканчивается внезапно, когда один из фехтовальщиков, пониже ростом, наносит партнеру удар по правому локтю, вынуждающий Узаемона выронить бамбуковый меч. Встревоженный победитель поднимает свою маску, открыв обветренное, плосконосое, с внимательным взглядом лицо мужчины приблизительно сорока лет.

— Сломал?



— Моя вина, — Узаемон держится за локоть.

Иохеи спешит на помощь своему господину, отстегивает его маску.

В отличие от лица учителя, лицо Узаемона блестит от пота.

— Повреждений нет... смотрите, — он сгибает и разгибает локоть. — Просто заслуженный синяк.

— Света не хватало. Мне следовало зажечь все лампы.

— Шузаи-сан не должен тратить масло из-за меня. Давайте закончим на сегодня.

— Я надеюсь, вы не обяжете меня пить в одиночку ваш щедрый подарок?

— В такой благоприятный день у вас наверняка еще много дел...

Шузаи оглядывает пустой додзё и пожимает плечами.

— Тогда, — кланяется переводчик, — я принимаю ваше приглашение.

Шузаи приказывает своему ученику растопить очаг в его квартире. Мужчины переодевают тренировочные одежды, обсуждая новогодние повышения и понижения по службе, объявленные этим днем магистратом Омацу. Войдя в жилое помещение учителя, Узаемон вспоминает десять или более учеников, которые ели, спали и учились здесь, и где он получил первые уроки у Шузаи, и двух почтенных пожилых женщин, живущих по соседству, которые ухаживали за ними. Ныне в этих комнатах холоднее и тише, но как только загорается огонь в очаге, двое мужчин отбрасывают формальности и начинают говорить друг с другом на их родном диалекте провинции Тоса, и Узаемона согревает его десятилетняя дружба с Шузаи.

Ученик Шузаи наливает теплое саке в потрескавшуюся фляжку, кланяется и уходит.

«Вот теперь пора, — говорит себе Узаемон, — сказать, что я должен...»

Заботливый хозяин и его колеблющийся гость наполняют друг другу чашки.

— За удачу семьи Огава в Нагасаки, — провозглашает Шузаи, — и скорейшее выздоровление твоего уважаемого отца.

— За процветание додзё учителя Шузаи в год Овцы.

Мужчины опорожняют первые чашки с саке, и Шузаи довольно выдыхает: «Боюсь, процветание ушло навсегда. Хотелось бы ошибаться, но слишком много сомнений. Прежние ценности теряют вес — вот в чем проблема. Запах упадка висит везде, как дым. О — о, самураям все еще нравится рассуждать о битвах, как и их доблестным предкам, но, когда пусты кладовые, они прощаются с искусством владения мечом, а не с наложницами и шелковыми одежаниями. Те, кому еще по сердцу прошлые

дни, они-то как раз сегодня не дружат с удачей. Еще один ученик ушел от меня на прошлой неделе со слезами на глазах: жалованье его оружейника-отца за последние два года уменьшилось наполовину, а теперь этот господин узнает, что его рангу не полагается новогодняя выплата. Это конец двенадцатого месяца, когда ростовщики и судебные приставы ходят вокруг, охотясь на приличных людей. Слышал о последнем совете из Эдо служащим, которым не платят? «Покрывайте свои нужды разведением золотых рыбок». Золотых рыбок! Кто будет тратить деньги на золотых рыбок, кроме торгашей? А сейчас, если бы только разрешили носить мечи сыновьям торговцев, — Шузаи понижает голос, — очередь учеников выстроилась бы до рыбного рынка, но лучше зарыть серебряные монеты в лошадиный навоз, чем дожидаться, когда Эдо выпустит такой указ. — Он наполняет чашки — свою и Узаемона. — Э — э, слишком много о моих заботах: ты думал совсем о другом, когда мы фехтовали.

Узаемон давно перестал удивляться проницательности Шузаи.

— Не знаю, есть ли у меня право вовлекать тебя.

— Верящий в судьбу, — отвечает Шузаи, — понимает, что вовлекаешь меня не ты.

Влажные ветки в очаге трещат, словно кто-то наступил на них.

— Тревожные вести дошли до меня несколько дней тому назад...

Блестящий, будто покрытый лаком, таракан крадется вдоль стены.

— ...в виде свитка. Насчет Ордена храма Ширануи.

Шузаи, посвященный в отношения Узаемона и Орито, изучает лицо друга.

— Свиток содержит секретные наставления ордена. Они... ужасные.

— Это закрытое для посторонних место — гора Ширануи. Ты точно убежден, что свиток подлинный?

Узаемон достает из рукава кизилковый футляр для свитков.

— Да. Я бы очень хотел назвать свиток поддельным, но он написан аколитом ордена, который больше не мог терпеть угрызения совести. Сбежал оттуда, и, прочитав свиток, понимаешь почему...

Бесчисленные копыта дождя стучат по мостовым и крышам.

Шузаи держит ладонь открытой в ожидании футляра.

— Чтение может поставить под удар и тебя, Шузаи. Это опасно.

Шузаи держит ладонь открытой в ожидании футляра.

— Но это же... — в ужасе шепчет Шузаи, — ...это же безумие. Неужели эта... — он указывает на свиток, лежащий на низком столике, — ...кровавая бессмыслица может купить бессмертие? Фразы безобразные,

но... третья и четвертая догмы... если «Дарители» — члены ордена, «Носительницы» — женщины, а «Дары» — новорожденные, тогда храм Ширануи — это не — не — не гарем, а...

— Ферма. — Узаемону пережимает горло. — Сестры — домашний скот.

— Шестая догма — о «заливании Даров в Чаше рук»...

— Они, должно быть, топят новорожденных детей, как ненужных щенков.

— Но мужчины, которые топят... они же отцы.

— Седьмая догма приказывает пяти «Дарителям» возлежать с одной «Носительницей» несколько ночей, чтобы никто не подумал, что он отец своего ребенка.

— Это... это противоречит Природе: женщины, как можно... — Шузаи не в силах закончить фразу.

Узаемон принуждает себя высказать вслух самые худшие опасения:

— Женщин насилуют, когда они более всего готовы к оплодотворению, а когда рождаются дети, их крадут. Согласие женщин, я полагаю, никого не интересует. Ад становится адом, когда никто не обращает внимания на прогуливающегося дьявола.

— Возможно, некоторые накладывают на себя руки, не выдерживая такой жизни?

— Возможно, некоторые так и делают. Но посмотри на восьмую догму: «письма от принятых Даров». Мать, которая верит, что ее дети живут своей жизнью в приемных семьях, скорее всего, терпит — особенно, если лелеет надежду на встречу со своими детьми после ее «нисхождения на землю». А факт, что на самом деле эти встречи не происходят, до стен Дома сестер не доходит.

Шузаи не отвечает, но смотрит, прищурившись, на свиток.

— Там есть предложения, которые я не смог понять. Посмотри на завершающую фразу: «Последнее слово Ширануи — молчание». Твоему сбежавшему аколиту следовало изложить признание более простым японским языком.

— Его отравили. Читать эти записи, как я говорил, опасно.

Слуга Узаемона и ученик Шузаи переговариваются между собой, подметая зал.

— И все же Владыка-настоятель Эномото, — Шузаи настроен скептически, — известен как...

— Всеми уважаемый судья, да, бог в человеческом облики, да, академик Ширандо, доверенное лицо власть имущих и специалист в

редкостных снадобьях, да. И все-таки, похоже, он верит в мистический синтоистский ритуал, которым можно купить себе кровавое бессмертие.

— Каким образом подобная мерзость остается секретом столь много десятилетий?

— Обособленность, хитрость, сила... страх. Этим можно добиться многого.

Кучка новогодних гуляк быстрым шагом проходит по улице мимо дома Шузаи.

Узаемон смотрит на почетный альков мастера, который учил Шузаи. На тронутом плесенью транспаранте написано: «Ястреб умрет с голоду, но не притронется к зерну».

— С автором этого свитка, — Шузаи осторожно выбирает слова, — ты встречался с глазу на глаз?

— Нет. Он отдал свиток старой травнице, которая живет рядом с Курозане. Госпожа Аибагава побывала у нее в гостях два — три раза, и от нее травница узнала мое имя. Она пришла ко мне в надежде, что у меня есть желание и возможности помочь самой новой сестре храма.

Двое мужчин слушают перестук водяных капель.

— Желание у меня есть, возможности — это другое. Если переводчик голландского языка третьего ранга начнет кампанию против владыки Киоги, вооружившись лишь свитком сомнительного происхождения...

— Эномото отрубит тебе голову, обвинив в том, что ты запятнал его репутацию.

«Это мгновение, — думает Узаемон, — перекресток дорог».

— Шузаи, если бы я смог убедить отца позволить мне жениться на госпоже Аибагаве, она бы не попала в рабство на эту... — он указывает пергамент, — ...ферму. Ты понимаешь, почему я обязан ее освободить?

— Я понимаю только одно: если ты будешь действовать в одиночку, тебя разрежут на куски, как тунца. Дай мне несколько дней. Возможно, придется ненадолго уехать.

## Глава 21 КЕЛЬЯ ОРИТО В ДОМЕ СЕСТЕР

*Восьмая                   ночь  
первого                    месяца  
двенадцатого           года  
эпохи Кэнсей*

Орито чувствует, что в ближайшие часы ей понадобится невероятная удача: тоннель кота должен быть достаточно широк, чтобы по нему пролезла худая женщина, и не заканчиваться решеткой. Яиои должна спать до самого утра, не просыпаясь. Орито надо спрыгнуть на обледеневшую землю, не разбившись, миновать ворота, не потревожив охрану, к рассвету добраться до дома Отане и попросить подругу предоставить ей убежище. «И все это, — думает Орито, — только начало». Если она вернется в Нагасаки, ее опять схватят, а бегство к родственникам в феоде Чикуго, или Кумамото, или Кагошима, означает, что ей придется добираться до незнакомого города без друзей, без жилья, без единого сена в кармане.

«Дарение пройдет на следующей неделе, — думает Орито. — Тогда и наступит твоя очередь».

Орито осторожно и очень медленно отодвигает ширму своей кельи.

«Мои первые шаги беглянки», — думает она и проходит мимо кельи Яиои.

Ее беременная подруга похрапывает. Орито шепчет: «Прости меня».

Для Яиои бегство Орито будет жестоким ударом.

«Это Богиня, — напоминает себе акушерка, — заставляет тебя пойти на такой шаг».

Орито направляется по коридору к кухне, дверь которой в ночное время служит единственным выходом во внутренний двор. Надевает башмаки из соломы и мешковины.

Снаружи ледяной ветер проникает под ее подбитое кимоно и теплые штаны.

Серповидная луна какая-то грязная. Звезды напоминают пузыри, застрявшие во льду. Корявая старая сосна выглядит враждебно. Орито идет по внутреннему двору к тому месту, где несколькими днями раньше к ней подошел кот, поглядывая на окружающие ее тени, ложится на замерзшие камни. Ныряет под коридорный пол, готовая услышать крик тревоги...

...но все тихо. Орито ползет под досками коридора, пока рука не

нащупывает прямоугольное отверстие между камнями фундамента. Она нашла его по указке лунно — серого кота, но тогда на нее обратили внимание сестры Асагао и Савараби, и ей пришлось оправдываться глупой историей об упавшей булавке. Девять дней после этого она не рисковала вернуться к тоннелю. «Если, — думает она, — это, конечно, тоннель, а не просто несколько выпавших из фундамента камней». Она лезет в дыру головой вперед и ползет.

Высота тоннеля — от земли до колена, ширина — с предплечье. Орито извивается, словно угорь: выглядит некрасиво, но, по крайней мере, шума нет никакого. Вскоре ее колени в царапинах, голени в синяках, а кончики пальцев рук болят, потому что приходится цепляться за замерзшие камни. Пол тоннеля гладкий, словно выровнен водой. Темнота на одну йоту меньше абсолютной. Когда протянутая рука упирается в камень, Орито приходит в отчаяние, решив, что добралась до тупика... но тоннель уходит влево. Изогнувшись вокруг острого угла, она проталкивается вперед. Не может унять дрожь, грудь сжимает. Орито старается не думать о гигантской крысе или гробнице. «Я, должно быть, под кельей Умегае, — полагает она, представляя себе хозяйку кельи, прижавшуюся к Хашихиме, вверху, на расстоянии лишь двух слоев половиц, татами и матраса.

«Темнота впереди, — задается она вопросом, — рассеивается?»

Надежда тянет ее. Она добирается еще до одного угла. Здесь тоннель шире.

Обогнув угол, Орито видит небольшой треугольник лунного света.

«Дыра в наружной стене Дома, — догадывается она. — Пожалуйста, пожалуйста, пусть она будет достаточно большой».

Но еще через минуту медленного продвижения она доползает до дыры и видит, что та — чуть больше кулака: как раз по размеру кота. Годы холода и жары, полагает она, раздвинули камни. «Будь дыра побольше, — думает Орито, — ее бы заметили снаружи». Упираясь ногами, она подносит руку к камню у дыры и толкает его изо всей силы, пока боль мышц шеи не останавливает ее.

«Некоторые вещи можно сдвинуть, — думает она, — но только не этот камень».

— И что теперь? — Ее хриплое дыхание белеет инеем. — Не убежать.

Орито думает о двадцати ближайших годах, о мужчинах и о забранных у нее детях.

Она отползает ко второму углу, с трудом разворачивается и ползет к дыре, вперед ногами, добирается до стены и вновь упирается в пол, на этот раз руками: прижимает пятки к камню и толкает, толкает...

«С таким же успехом я бы смогла, — Орито жадно хватает ртом воздух, — сдвинуть Голый Пик».

Затем она представляет себе настоятельницу Изу, объявляющую, что Богиня выбрала ее.

Согнув ноги, бьет подошвами по камню.

Представляет себе поздравления сестер: веселые, ехидные, искренние.

Вновь бьет по камню, вновь, вновь...

Думает об учителе Генму, как тот лапает ее и облизывает.

«Что это за звук? — Орито останавливается. — Что это за скрежет?»

Представляет себе Сузаку, вытаскивающего из нее первого ребенка, третьего, девятого...

Ее ноги бьют по камню, пока не начинают болеть бедра и не сводит шею.

Мелкий щебень сыпется ей на щиколотки — и, внезапно, не один, а два камня вываливаются наружу, и ее ноги вылезают в пустоту.

Она слышит, как камни катятся по короткому склону и останавливаются, ударившись о препятствие.

Снег под ногами жесткий и колючий. «Определись, где ты, — Орито совсем незнакома с этим местом, — и побыстрее». Длинный овраг тянется между высоким фундаментом Дома сестер и внешней стеной храма. Его ширина — пять шагов, а стена высока, почти в три человеческих роста. Чтобы подняться на нее, нужна лестница. Слева, к северному углу храма — Лунные ворота в китайском стиле: они, — Орито узнала об этом от Яиои, — ведут в треугольный двор и к жилью учителя Генму. Орито спешит уйти в противоположном направлении, к восточному углу. Миновав угол Дома сестер, она попадает в небольшое отгороженное место с курятником, голубятней и стойлом для коз. Птицы чуть шебуршатся, когда она проходит мимо, но козы спят.

Восточный угол соединен крытой дорожкой с Залом учителей. У небольшого склада к наружной стене прислонена бамбуковая лестница. Решив, что от успешного побега ее отделяют считанные секунды, Орито забирается на стену. Поднявшись на уровень карнизов храма, она видит древнюю колонну Аmanoхаширy, воздвигнутую в Священном дворе. Шпиль колонны сверкает в лунном свете. «Какая захватывающая красота, — думает Орито. — Какая бесшумная жестокость». Она затаскивает бамбуковую лестницу на стену и опускает с внешней стороны...

Густой сосновый лес начинается в двадцати шагах от храма.

...но лестница не достает до земли. Возможно, храм окружает высохший ров.

Густая тень под стеной скрывает расстояние до земли.

«Если я прыгну и сломаю ногу, — думает она, — то насмерть замерзну к рассвету».

Замерзшие пальцы ослабевают хватку, лестница падает вниз и ломается.

«Мне нужна веревка, — понимает Орито, — или что-нибудь такое, из чего можно сделать веревку».

Чувствуя себя у всех на виду, словно мышь на полке, Орито спешит по стене к Главным воротам в южном углу, надеясь, что свободу ей подарит крепко спящий охранник. Она спускается по другой лестнице в овраг между внешней стеной и огромной, похожей на амбар, кухней с обеденным залом. Доносится вонь отхожего места и запах копоти. Янтарный свет льется из кухонной двери. Повар, страдающий бессонницей, точит ножи. Орито шагает в такт металлическому скрипу, чтобы скрыть шум шагов. Следующие Лунные ворота приводят ее в Южный двор, над которым высится Зал медитации. В этом дворе растут две гигантских криптомерии: одна посажена в честь Фудзина, бога ветра, согнутого под тяжестью мешка со всеми ветрами мира, вторая — Райдзина, бога грома и молнии, который крадет пупки у детей в грозу и бьет в барабан, вызывая гром. У главных ворот, как и Сухопутных ворот Дэдзимы, высокие двойные створки для паланкинов и дверь поменьше, позволяющая выйти из монастыря через сторожку. Эта дверь, видит Орито, немного приоткрыта...

... и она крадется вдоль стены, пока не улавливает запах табака и не слышит голоса. Прячется в тень большой бочки. «Добавишь угля? — гнусавый голос. — Мои яйца превратились в ледышки».

Ведро для угля гремит пустотой. «Больше нет», — отвечает высокий голос.

— Бросим кости, — предлагает гнусавый, — и выясним, кто удостоится чести принести еще ведро.

— А каковы твои шансы, — вступает третий голос, — растопить яйца во время одаривания в Доме сестер?

— Не очень, — признает гнусавый. — У меня была Савараби три месяца тому назад.

— А у меня Кагеро в прошлый месяц, — говорит третий. — Я в конце очереди.



— Выбор должен пасть на самую новую сестру, — продолжает третий голос. — Значит, нам ничего не светит, мы же аколиты. Генму и Сузаку всегда первыми мотыжат девственную землю.

— Но только, если не приедет сам Владыка-настоятель, — добавляет гнусавый. — Учитель Аннеи рассказал учителю Ногоро, что Эномото — доно дружил с ее отцом и выступал поручителем по его займам, а когда старик пересек Санзу, вдове достался суровый выбор: отдать падчерицу горе Ширануи или потерять дом со всем содержимым.

Орито никогда не думала об этом, а здесь и сейчас, все выглядит очень правдоподобным.

Третий голос восхищенно цокает:

— Мастер стратегии наш Владыка-настоятель.

Орито хочется порвать этих мужчин и их слова на мелкие кусочки, как бумагу...

— Зачем столько хлопот ради самурайской дочери, — спрашивает высокий голос, — если он может выбрать и взять кого угодно из любого борделя империи?

— Потому что она — акушерка, — отвечает гнусавый, — и сможет уменьшить количество смертей сестер и их Даров при родах. По слухам, она воскресила новорожденного сына магистрата Нагасаки. Он был холодный и синий, пока сестра Орито не вдохнула в него жизнь...

«Только из-за этого Эномото притащил меня сюда?» — изумляется Орито.

— ...но я бы не удивился, — продолжает гнусавый, — если она здесь для чего-нибудь особенного.

— Ты хочешь сказать, — спрашивает третий, — что даже Владыка-настоятель не удостоит ее своим вниманием?

— Она не сможет помочь себе выжить в родах, так?

«Не слушай их, — приказывает себе Орито. — А если не так?»

— Жаль, — вздыхает гнусавый. — Если на лицо не смотреть, она красивая.

— Это точно, — соглашается высокий голос, — и пока никого нет вместо Джирицу, нас на одного меньше...

— Учитель Генму запретил нам, — восклицает гнусавый, — даже упоминать имя этого подлого мерзавца.

— Да, запретил, — повторяет третий голос. — Да, запретил. Давай, наполни ведро... искупи свой грех.

— Мы же хотели бросить кости!

— А — а. Это было до того, как ты прокололся. Уголь!

Дверь распахивается: сердитые шаги приближаются к Орито, которая объята ужасом. Молодой монах подходит к бочке и снимает с нее крышку, совсем рядом, совсем близко. Орито слышит, как стучат ее зубы. Она дышит в плечо, чтобы монах не заметил поднимающегося пара. Он набирает уголь, наполняя ведро кусок за куском...

«Вот сейчас, — ее трясет, — вот сейчас...»

...но он поворачивается и возвращается в сторожку.

Словно молитвы, записанные на кусочках бумаги, отпущенная на целый год удача сгорела за несколько секунд.

Орито смиряется с тем, что через ворота не пройти. Она думает: «Веревка...»

С лихорадочно бьющимся сердцем она крадется в фиолетовых тенях к следующим Лунным вратам, которые выводят во двор, образованный Залом медитации, Западным крылом и наружной стеной. Гостевой дом очень похож на Дом сестер. В нем живет свита Эномото, когда владыка пребывает в своей резиденции. Как и монахини, они тоже не могут выйти за пределы Дома. Складские помещения — Орито услышала это от сестер — находятся в Западном крыле, и там же живут и тридцать или сорок аколитов. Кто-то из них сейчас спит, а кто-то — нет. В северо — западном квадрате монастыря располагается резиденция настоятеля. Это здание простаивает всю зиму, но Орито слышала, как экономка упомянула о проветривании простыней, которые там хранятся. «А простыни, — быстро соображает она, — можно скрутить в веревки».

Она крадется по оврагу между внешней стеной и Гостевым домом...

Мягкий смех юноши доносится из дверей и замолкает.

Красивая отделка и герб подсказывают, что это резиденция владыки — настоятеля.

У всех на виду, во всяком случае, с трех сторон, она поднимается к дверям дома.

«Пусть они откроются, — молит она своих предков, — пусть они откроются...»

Двери крепко заперты на период горной зимы.

«Мне нужны молоток и зубило, чтобы попасть внутрь, — думает Орито. Она почти что обошла монастырь по периметру, но спасение не приблизилось ни на шаг. — Отсутствие двадцати футов веревки равнозначно двадцати годам пребывания в наложницах».

По другую сторону каменного сада резиденции Эномото Северное крыло. Там, как слышала Орито, живет Сузаку, рядом с лазаретом...

«...а лазарет — это больные, кровати, простыни и противомоскитные сетки».

Войти в любое крыло — невероятный риск, но что ей остается?

Дверь сдвигается на шесть дюймов, прежде чем издать громкий, пронзительный стон. Орито задерживает дыхание, чтобы услышать шум бегущих шагов...

...но ничего не происходит, и непроницаемая ночь затихает сама по себе.

Орито протискивается в щель, дверная занавеска касается ее лица.

Отраженный лунный свет выхватывает из темноты небольшую прихожую.

Запах камфары из правой двери выдает лазарет.

Слева — утопленная в стену дверная арка, но инстинкт беглянки предупреждает: «Нет...»

Она отодвигает дверь справа.

Темнотой скрыто все...

Она слышит хруст соломенного матраса и дыхание спящего.

Она слышит голоса и шаги: два человека, может, три.

Больной зевает и спрашивает: «Кто здесь?»

Орито возвращается в прихожую, плотно закрыв за собой дверь в лазарет, и выглядывает через щель на улицу. Человек с лампой — менее чем в десяти шагах от нее.

Он смотрит в ее сторону, но свет лампы мешает что-либо разглядеть.

А теперь из лазарета доносится голос учителя Сузаку.

Беглянке деваться некуда, кроме как метнуться в арку.

«Вот и все, — Орито трясет, — вот, наверное, и все...»

Скрипторий от пола до потолка уставлен полками со свитками и рукописями. По другую сторону двери кто-то спотыкается и бормочет проклятие. Страх, что ее поймают, толкает Орито дальше от двери, она даже не успевает убедиться, что в большом помещении никого нет. Пара письменных столов освещены лампами, и язычки пламени лижут чайник, стоящий на жаровне. В боковых проходах легче спрятаться. «Но эти проходы, — думает она, — запросто превратятся в ловушки». Орито идет по центральному проходу к другой двери, которая, как она полагает, ведет в покои учителя Генму. Лампа освещает ее. Ей боязно уйти из пустой комнаты, но еще страшней остаться или повернуть назад. Раздумывая, она бросает взгляд на наполовину законченную рукопись, лежащую на одном

столе: за исключением надписей на свитках, которые развешаны в Доме сестер, это первые написанные слова, которые видит дочь ученого с момента ее похищения, и, несмотря на опасность, взгляд голодных глаз притягивается к письмам. Вместо сутры или церемониального текста она видит письмо, написанное не искусной каллиграфией образованного монаха, а, скорее, женской рукой. За первой колонкой она читает вторую и третью...

«Дорогая мама, клены покрылись пламенем осенних цветов, а урожайная луна плывет, словно лампа, совсем, как описывается в «Замке лунного света». Вроде бы давно закончился сезон дождей, когда слуга владыки — настоятеля принес Ваше письмо. Оно лежит передо мной, на столе мужа. Да, Кояма Шинго принял меня женой в благоприятный тридцатый день седьмого месяца в храме Шимогамо, а сейчас мы живем как молодожены, в двух комнатах за мастерской кушаков «Белый Журавль» на улице Имадегавы. После свадебной церемонии состоялся банкет в известном чайном доме, оплаченный семьями Уеда и Кояма. Некоторые из друзей моего мужа превратились в злобных гоблинов после того, как я стала женой, но Шинго все так же относится ко мне по — доброму. Семейная жизнь — это не праздник, разумеется, как Вы написали в своем письме три года тому назад, добропорядочная жена не должна засыпать раньше мужа или просыпаться позже него, и у меня вечно не хватает времени! Пока «Белый журавль» еще не зарекомендовал себя, мы экономим, обходимся только одной служанкой, и мой муж привел с собой только двух учениц из отцовской мастерской. Я счастлива написать, однако, что к нам благосклонны две семьи, у которых есть связи с имперским двором. Одна из дальней ветви рода Коное...»

Слова закончились, но у Орито кружится голова. «Выходит, все новогодние письма, — спрашивает она себя, — написаны монахами?» Но в этом нет никакого смысла. Десятки выдуманных детей должны писать сами, пока их матери не спустятся вниз с горы, иначе этот обман откроется. К чему столько хлопот? «Потому что, — две лампы становятся глазами всезнающей Жирной Крысы, — дети не могут писать новогодних писем, они никогда не добиваются до мира внизу». Библиотечные тени следят за ее реакцией на такие обвинения. Пар поднимается из носика чайника. Жирная Крыса ждет. «Нет, — говорит Орито. — Нет». Нет никакой нужды в убийстве младенцев. «Если бы Дары не требовались Ордену, учитель Сузаку дал бы трав для раннего выкидыша». Жирная Крыса насмешливо

спрашивает: а как тогда объяснить письмо на столе перед ней? Орито хватается за единственно разумный ответ: «Дочь сестры Хацуне умерла от болезни или несчастного случая». Чтобы мать не горевала по умершей, Орден продолжает писать новогодние письма.

Жирная Крыса дергается, поворачивается и исчезает.

Дверь, через которую вошла Орито, открывается. Слышится мужской голос: «После вас, учитель...»

Орито торопится к другой двери: как во сне, она и далеко, и близко.

— Это странно, — голос учителя Чимеи следует за ней, — но до чего лучше сочиняется по ночам...

Орито отодвигает дверь на ширину трех — четырех ладоней.

— ...но я рад твоей компании в это негостеприимное время, мой юный друг.

Она уже по другую сторону двери и плотно закрывает ее за собой, и как раз в это время учитель Чимеи появляется в круге света, отбрасываемого лампой. Перед Орито — коридор к жилищу учителя Генму, короткий, холодный, темный. «Жизнь должна продвигаться вперед, — изрекает учитель Чимеи, — и неприятности — это тоже движение. А удовлетворенность — инерция. Посему в историю маленькой Норико, дочери сестры Хацуне, нам надобно посадить семена надвигающихся бедствий. Голубки должны страдать. Либо от чего-то внешнего, скажем воровства, пожара, болезни, либо — даже лучше — от какого-то внутреннего фактора: по слабости характера. Молодой Шинго начнет уставать от преданности жены или Норико станет ревновать к новой служанке, отчего Шинго в самом деле начнет спать с той. Хитрости, уловки — видишь? Рассказчики, они не священники, которые ведут беседы с неземным миром, они — искусники, как пекари или булочники, только гораздо медленнее их. За работу, юный друг, пока лампа не осушит себя...»

Орито, скользя ногой перед собой, идет по коридору к комнате учителя Генму, держась ближе к стене, где, надеется она, пол скрипит меньше. Добирается до панельной двери. Задерживает дыхание, слушает и ничего не слышит. Открывает дверь на чуть — чуть...

За дверью пусто и темно; темные пятна на каждой стене — другие двери.

Посреди комнаты на полу лежит что-то вроде кучи рваных мешков.

Она входит и подкрадывается к мешкам в надежде, что сможет связать их вместе.

Протягивает руку и находит теплую человеческую ногу.

Сердце останавливается. Нога отдергивается. Поворачивается. Одеяло колышется.

Учитель Генму бормочет: «Не толкайся, Мабороши, а то я...» — угроза растворяется во сне.

Орито сидит на корточках, не решаясь дышать, не то чтобы сдвинуться с места...

Аколит Мабороши шевелится под кучей одеял, храп исторгается из его горла.

Проходят минуты, прежде чем Орито хотя бы наполовину убеждается, что мужчины спят.

Она десять раз медленно вдыхает и выдыхает, потом идет к двери в дальней стене.

Отодвигаясь, дверь грохочет, словно началось землетрясение. Такое, во всяком случае, у нее впечатление.

Богиня, залитая светом от толстой свечи, вырезана из древесины серебряного дерева. Она наблюдает за незваной гостьей с пьедестала в центре небольшой, богато украшенной Алтарной комнаты. Богиня улыбается. «Не смотри ей в глаза, — предупреждает Орито инстинкт самосохранения, — или она узнает тебя». Черные халаты с кроваво — малиновыми шелковыми шнурами висят на одной стене. Другие стены покрыты бумагой, как это делается в домах богатых голландцев, и новые циновки пахнут смолой. Справа и слева от двери на оклеенной бумагой дальней стене толстой кистью нарисованы иероглифы. Каллиграфический стиль письма четкий и ясный, но, когда Орито вглядывается в них при свете свечи, она не понимает смысла. Знакомые части соединяются в неведомых ей сочетаниях.

Поставив свечу на место, она открывает дверь в Северный двор.

Богиня, в шелушащейся краске, наблюдает за изумленной незваной гостьей с центра средней Алтарной комнаты. Орито не понимает, каким образом эта комната может находиться в пределах монастыря. Возможно, Северного двора вообще нет. Она оглядывается и смотрит на спину и шею Богини. Богиня впереди освещена яркой свечой. Она выглядит старше той, в первой комнате, и на ее губах уже нет улыбки. «Но не смотри в ее глаза», — повторяет инстинкт. В комнате сильный запах соломы, животных и людей. Обшитые деревом стены, деревянные полы... такой комнате самое место на ферме крестьянина среднего достатка. Еще сто восемь иероглифов написаны на дальней стене — в этот раз на двенадцати заплесневелых свитках, свисающих по обеим сторонам двери. И вновь,

когда Орито задерживается на минуту, чтобы прочесть написанное, символы складываются в нечто несочетаемое. «Да какая разница? — выговаривает она себе. — Вперед!»

Она открывает дверь, за которой должен быть Северный двор...

Богиня в центре третьей Алтарной комнаты наполовину сгнила: она совершенно неузнаваема по сравнению с той, которая находится в Алтарной комнате Дома сестер. Лицо, возможно, изуродовал сифилис в стадии, которая уже не поддается излечению ртутью. Одна рука валяется на полу, и в свете сальной свечи Орито видит таракана, подрагивающего у края дыры в голове статуи. Стены из бамбука и глины, соломенный пол, воздух пропитан вонью навоза: комната сошла бы за крестьянскую хижину. Орито решает, что эти комнаты — пустоты в массиве Голого пика, а может, даже выдолбленные в нем пещеры, с которых, собственно, и берет начало храм. «В наилучшем случае, — рассуждает Орито, — это тайный лаз со времен военного прошлого храма». Дальняя стена обмазана чем-то темным — скорее всего, кровью животных, смешанной с грязью, — и по темному белым написаны нечитаемые иероглифы. Орито открывает грубую защелку, молясь, чтобы ее догадка оказалась правильной...

Холод и темнота — из тех времен, когда еще не было ни людей, ни огня.

Тоннель — высотой в человеческий рост и шириной с вытянутые в обе стороны руки.

Орито возвращается в последнюю комнату за свечой: гореть ей осталось не больше часа.

Она входит в тоннель, осторожно ступая шаг за шагом.

«Голый Пик над тобой, — надсмехается Страх, — и он раздавит тебя, раздавит...»

Ее башмаки — клик — клак по камню; ее дыхание — свистящая дрожь, а все остальное беззвучно.

Угрюмый блеск свечи лучше, чем темнота, но не намного.

Она замирает на мгновение: пламя не дрожит. Нет сквозняка.

Потолок остается на высоте человеческого роста, и ширина та же: вытянутые в обе стороны руки.

Орито идет. После тридцати или сорока шагов тоннель начинает подниматься.

Орито представляет себе, как выходит к звездному небу сквозь тайную щель...

...и тревожится, что ее побег может стоить жизни Яиои.

«Преступление — дело рук Эномото, — обличает ее совесть, — и настоятельница Изу, и Богини».

«Истина не так проста», — отвечает совести здравый смысл.

«Воздух становится теплее, — спрашивает себя Орито, — или я заболеваю?»

Тоннель расширяется, переходя в сводчатый зал с коленопреклоненной статуей Богини в три или четыре раза больше человеческого роста. К глубокому огорчению Орито, тоннель здесь заканчивается. Богиня высечена из черного камня с поблескивающими яркими вкраплениями, словно скульптор высек ее из цельного куска ночного неба. Орито недоумевает, как скульптуру принесли сюда: легче представить себе, что этот камень находился здесь с момента создания Земли, а тоннель просто провели к нему. Прямая спина Богини покрыта красной накидкой, а гигантские сложенные ладони образуют впадину размером с колыбель. Ее алчные глаза устремлены в небо. Ее хищный рот широко открыт. «Если храм Ширануи — это вопрос, — проносится в голосе Орито мысль, — тогда это место и есть ответ». Иероглифы, выбитые на выровненной стене на высоте плеч еще более нечитаемые: их сто восемь, уверена она, по одному на каждый буддийский грех. Что-то притягивает пальцы Орито к бедру Богини, и, прикоснувшись, от изумления она едва не роняет свечу: камень теплый на ощупь, словно живой. Живущий в ней ученый ищет ответ. «Каналы, проложенные от горячих источников, — решает она, — в скалах поблизости». Что-то блестит от света свечи на месте языка у Богини. Борясь с иррациональным страхом перед каменными зубами, откусывающими ей руку, она залезает в рот и находит маленькую и широкую бутылку, занимающую чуть ли не всю выемку. Выдута бутылка из мутного стекла или полна мутной жидкости. Орито вытаскивает пробку и нюхает: нет запаха. Как дочь доктора и пациентка Сузаку, она знает, что лучше не пробовать. «Почему бутылка хранится в таком месте?» Орито возвращает ее на прежнее место, в рот Богини, и спрашивает: «Кто ты? Что тут происходит? И чем заканчивается?»

Каменные ноздри Богини не могут раздуться. Ее зловещие глаза не могут расширяться...

Свеча гаснет. Темнота проглатывает пещеру.

Вновь в первой Алтарной комнате Орито готовится пройти сквозь жилую комнату учителя Генму, когда замечает шелковые шнуры на черных халатах и ругает себя за тупость. Десять шнуров, связанных вместе,



становятся легкой прочной веревкой, длины которой вполне достаточно, чтобы спуститься по наружной стене. Орито привязывает еще пять, чтобы хватило наверняка. Свернув веревку в бухту, она отодвигает дверь и прокрадывается вдоль стены комнаты учителя Генму к боковой двери. Коридор ведет к двери наружу и в сад учителя, где бамбуковая лестница прислонена к стене. Орито забирается наверх, привязывает конец веревки к крепкой, неприметной балке и сбрасывает другой конец веревки вниз. Не оглядываясь, делает глубокий вдох, последний в заключении, и спускается в пересохший ров.

«Опасность еще не миновала». Орито карабкается по переплетению сучьев.

Она продвигается вправо вдоль стены, запрещая себе думать об Яиои.

«Но двойняшки, — думает она, — две недели после срока, таз уже, чем у Кавасеми...»

Огибая западный угол, Орито срезает путь сквозь рощу елей.

«Одни из десяти, одни из двенадцати родов в Доме заканчиваются смертью женщины».

Продвигаясь по каменному льду под колющим ветром, она находит лощину.

«С твоими знаниями и умением — это не похвальба — умирать будет лишь одна на тридцать родов».

Рукава ветра цепляются за шипастые, промерзшие насквозь деревья.

— Если вернешься, — предупреждает себя Орито, — ты знаешь, что сделают мужчины.

Она находит тропу, уходящую вниз через тории <sup>[73]</sup>. Ярко — красный цвет ворот кажется черным под ночным небом.

«Никто не заставит меня остаться в рабстве, даже Яиои...»

Затем Орито обдумывает оружие, найденное ею в скриптории.

«Подвергнуть сомнению одно новогоднее письмо, — этим она может пригрозить Генму, — все равно, что подвергнуть сомнению все письма».

Согласились бы сестры на условия жизни в храме, не будь они так уверены, что их Дары живы — здоровы в мире внизу?

«Болезненная мстительность, — добавила бы она, — не способствует здоровой беременности».

Тропа круто поворачивает. На небе появляется созвездие Ориона.

«Нет, — Орито борется с донимающими ее мыслями. — Я не вернусь».

Она полностью сосредотачивается на крутой, покрытой льдом тропе. Любая травма порушит ее надежды к утру добраться до дома Отане. Через

восьмую часть часа Орито выходит к повороту над висячим мостом Тодороки, и у нее перехватывает дыхание. Ущелье Мекура разрезает горный склон, широкий, как небо...

...в храме звонит колокол. Не мерно, отбивая время, а пронзительно и настойчиво, из Дома сестер, как происходит всегда, если у одной из женщин начинаются роды. Орито кажется, что Яиои зовет ее. Ей видятся лихорадочное неверие в ее исчезновение, поиски по территории храма, найденная веревка. Ей видится, как будят учителя Генму: «Самая новая сестра исчезла...»

Ей видятся переплетенные тела двойняшек, мешающие друг другу в чреве Яиои, блокирующие шейку матки.

Аколитов могут отправить на тропу, стражников у Ворот — на — полпути предупредят о ее побеге, и на пропускных постах феода в Исахая и Кашиме завтра станет об этом известно, но горы Киоги — бесконечность леса, в которой легко растворятся все беглецы. «Ты вернешься, — думает Орито, — если сама примешь такое решение».

Ей видится учитель Сузаку, совершенно беспомощный, а крики Яиои раздирают воздух.

«Звон — это обман, — рассуждает она, — призванный убедить тебя вернуться».

Внизу, далеко внизу, море Ариаке сверкает лунным светом.

«Сегодняшний обман может стать правдой завтра или очень скоро...»

— Свобода Аибагавы Орито, — произносит она вслух, — гораздо более важна, чем жизнь Яиои и ее двойняшек.

Она оценивает истинность высказанного утверждения.

## Глава 22. КОМНАТА ШУЗАИ В ЕГО ДОДЗЁ В НАГАСАКИ

*Вторая половина  
тринадцатого дня  
первого месяца*

— Я отправился в путь пораньше, — докладывает Шузаи. — Поставил статуе Дзидо — самы на рынке свечу за три сена, чтобы уберечься от неудачи, и вскоре порадовался тому, что сделал это. Неприятность поджидала меня у моста Омагори. Капитан гвардии сегуна, верхом на лошади, загородил мне путь: он увидел ножны, торчащие из-под моей соломенной накидки, и захотел проверить, есть ли у меня право на ношение оружия. «Удача никогда не улыбается тому, кто одевается в чужие одежды», — и поэтому я сказал ему свое настоящее имя. И правильно сделал. Он спешил, снял шлем и назвал меня «сенсеем»: я учил одного из его сыновей, когда впервые приехал в Нагасаки. Мы немного поговорили, и я сказал ему, что направлялся в Сагу на церемонию, посвященную похоронам моего учителя, умершего семь лет тому назад. «Присутствие слуг в таком паломничестве нежелательно», — заявил я. Капитан смутился из-за того, что я таким способом пытаюсь скрыть свою бедность, поэтому он со мной согласился, пожелал удачи и отъехал.

Четыре ученика практикуют в додзё самый громкий победный крик в кёндо.

Узаемон чувствует, как простуда расцветает в его больном горле.

— От бухты Устриц, этой навозной кучи рыбацких хижин, ракушек и гниющих канатов, я повернул на север, к Исахая. Низкая, холмистая местность, как ты знаешь, и для унылого полудня первого месяца дорога самая ужасная. У одного поворота из-за обветшалого чайного дома появились четыре грузчика — подозрительнее этой стаи диких псов не встретить. Каждый держал увесистую дубину в покрытой струпьями руке. Они предупредили меня, что грабители набросятся на несчастного, одинокого, беспомощного путешественника, как я, и предложили, чтобы я нанял их, если я хочу прибыть в Исахая целым и невредимым. Я вытащил мой меч и убедил их, что я не такой несчастный, одинокий и беспомощный, как им казалось. Мои благородные спасители растаяли в воздухе, а я добрался до Исахая без приключений. Там я решил не останавливаться в

одной из больших гостиниц, чтобы не привлекать к себе внимания, и переночевал на сеновале чайной. Компанию мне составил бродячий торговец амулетами и заклинаниями из далеких святых мест, таких, как Эзо, — так он заявлял.

Узаемон ловит чих квадратным кусочком бумаги, который тут же выбрасывает в очаг.

Шузаи подвешивает чайник над самым огнем.

— Я расспросил хозяина чайной, что ему известно о феоде Киога. Восемьдесят квадратных миль гор и ни одного города, достойного так называться, за исключением Кашимы. Владыка-настоятель получает что-то от храмов и от налога на рис с деревень на побережье, но настоящая его сила — союзники в Эдо и Мияко. Он чувствует себя в полной безопасности, и у него лишь два небольших отряда стражи: один сопровождает его в путешествиях, а другой расквартирован в Кашиме, чтобы не допускать никаких беспорядков. Продавец амулетов рассказал мне, что он пробовал однажды добраться до храма на горе Ширануи. Провел несколько часов, карабкаясь по крутой тропе в ущелье Мекура, и только для того, чтобы его завернули назад у Ворот — на — пол пути. Три здоровенных деревенских громилы, пожаловался он, сказали ему, что храм Ширануи не нуждается ни в амулетах, ни в заклинаниях. Я ответил продавцу, что редко какой храм отворачивается от паломников, которые готовы заплатить за постой. Продавец согласился, а затем рассказал мне историю времен правления Канеи, когда три года подряд по всему Кюсю был неурожай. Такие далекие друг от друга города, как Хирадо, Хаката и Нагасаки, страдали от голода и бунтов. Из-за этого голода, клялся продавец, началось восстание на полуострове Симабаре, и первая армия сегуна потерпела позорное поражение. Во время этой неразберихи тихий самурай попросил сегуна Иеяцу доверить ему честь возглавить батальон солдат, который он сам экипировал и вооружил, чтобы предпринять вторую попытку разгромить бунтовщиков. Он сражался отчаянно смело, и после того, как последнюю христианскую голову подняли на пике, сегун своим указом повелел опозорившемуся клану Набешима феода Хизен передать самураю не только далекий храм на горе Ширануи, но и всю прилегающую к горе территорию. Тем указом и был создан феоде Киогу, а тихий самурай получил титул «Владыка-настоятель Киога — но — Эномото — но — ками». Нынешний Владыка-настоятель должен быть его... — Шузаи прикидывает на пальцах, — ...его праправнук, плюс — минус одно поколение.

Он наливает чай Узаемону, и мужчины раскуривают трубки.

— Следующим утром с моря натянуло густой туман, и я повернул на восток, обходя Исахая с севера, направляясь к дороге, проложенной вдоль побережья моря Ариаке. Лучше войти в феод Киога, решил я, без ведома охранников у ворот. Шагал пол — утра, миновав несколько деревень, закрывшись капюшоном, пока не обнаружил, что стою у доски объявлений деревни Курозане. Вороны работали без устали, кормясь на распятой женщине. Воняло ужасно! У моря туман разделялся на две части: поднимался к блеклому небу и стелился по обнажившемуся при отливе коричневому дну. Три старика, собиравшие раковины с моллюсками, отдыхали на камне. Я спросил их, как спросил бы любой путешественник: далеко ли до Конагаи, следующей деревни? Один сказал — четыре мили, второй — меньше, третий — больше; и только последний там когда-то бывал, лет тридцать тому назад. Я ничего не упомянул о травнице Отане, но спросил о распятой женщине, и они ответили мне, что три года подряд муж избивал ее чуть ли не каждый вечер, и она отпраздновала Новый год, раскроив ему голову молотком. Владыка-настоятель повелел палачу аккуратно отрубить ей голову, и, отталкиваясь от этого, я получил шанс спросить, справедливый ли господин Владыка-настоятель Эномото. Скорее всего, они не сильно доверяли незнакомцу с чужим выговором, но согласились в том, что родились здесь за все хорошее, совершенное ими в прошлых жизнях. Владыка Хизена, припомнил один, брал каждого восьмого крестьянского сына в армию и выжимал своих подданных досуха, чтобы жить в Эдо в роскоши. В отличие от него, владыка Киоги берет налог на рис только при хорошем урожае, приказал доставлять продовольствие и масло храму на горе Ширануи и требует не более трех стражников у ворот в ущелье Мекура. В ответ храм гарантировал, что рисовым полям хватит воды, а в море всегда будут и угри, и раковины с моллюсками, и водоросли. Я задал вопрос, сколько риса съедают за год в храме. Пятьдесят коку, ответили они, то есть живет в храме пятьдесят человек.

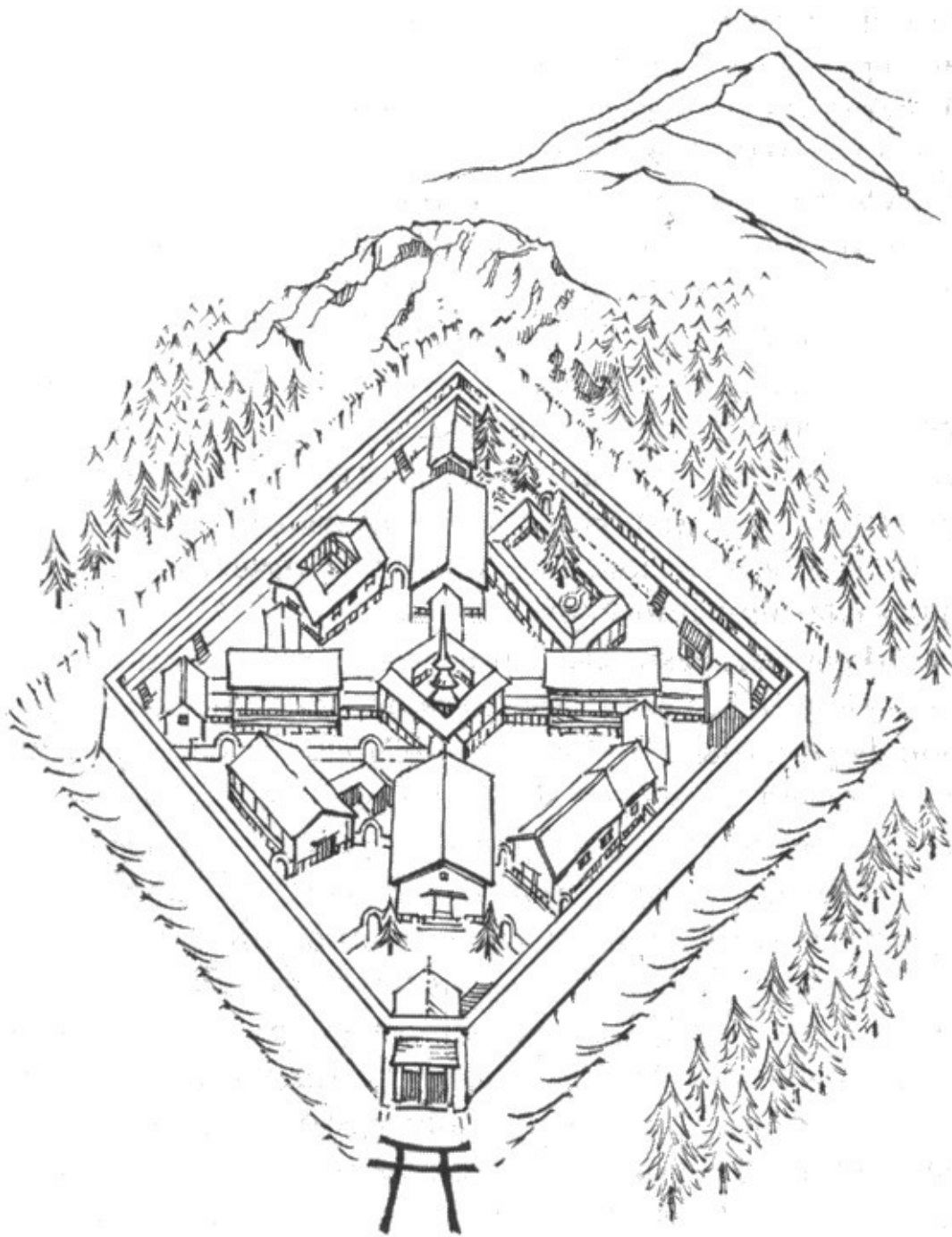
«Пятьдесят человек! — Узаемон в отчаянии. — Нам нужна армия наемников».

Шузаи не выказывает никакого беспокойства.

— После Курозане дорога проходит мимо симпатичной гостиницы Харубаяши. Немного подалее тропа сворачивает от дороги вдоль побережья и ведет вверх, к ущелью Мекура. За тропой хорошо ухаживают, но путь все равно занял полдня. Охрана на пропускном пункте не готова к появлению посторонних людей, это несомненно, любой наблюдательный часовой меня бы увидел, но... — Шузаи кривит губы, показывая, что с этим проблем не будет. — Сторожка перекрывает узкий вход в ущелье, но,

чтобы обойти ее, не нужны десять лет тренировки ниндзя, и я ее обошел. Выше появились снег и лед, а сосны и кедры сменили деревья равнины. Тропа поднималась еще пару часов к висячему мосту над рекой. Чуть дальше на камне высечено название места: Тодороки. Вскоре после этого — длинная, круто поднимающаяся череда тории. Там я сошел с тропы и двинулся по сосновому лесу. Добрался до горного выступа у Голого Пика, и этот рисунок... — Шузаи достает квадрат бумаги, спрятанный в закрытой книге, — ...сделан по наброскам с того места.

Узаемон впервые видит тюрьму Орито.



Шузаи высыпает золу из трубки.

— Храм находится в треугольной ложбине между Горным Пиком и двумя меньшими по высоте горными хребтами. Я полагаю, что замок Периода сражающихся царств, построенный на том месте, который перестроил предок Энмото из рассказа продавца амулетов: обрати внимание на крепостные стены и сухой ров. Нужно двадцать человек и

таран, чтобы пробить ворота. Но не печалься: любая стена крепка лишь своими защитниками, а ребенок с крюком на веревке перелезет через нее за минуту. Да и потеряться трудно, когда попадем внутрь. А это... — Шузаи указывает мозолистым от упражнений с луком пальцем, — ...Дом сестер.

Захваченный врасплох Узаемон спрашивает: «Ты ее видел?»

Шузаи качает головой.

— Я был слишком далеко. Оставшееся время дня потратил на поиск спуска с Голого Пика, помимо дороги через ущелье Мекура, но не нашел: за северо — восточным хребтом крутой обрыв в несколько сотен футов, а к северо — западу лес настолько густой, что нужны четыре лапы и хвост, чтобы продвинуться вперед. В сумерках я спустился к ущелью и подошел к Воротам — на — полпути как раз, когда взошла луна. Опять обогнул их, вновь вышел на тропу ниже ворот, спустился к выходу из ущелья Мекура, миновал рисовые поля у Курозане и нашел рыбачью лодку, под которой устроился на ночлег, рядом с дорогой в Исахая. Было мокро и холодно, но я не хотел, чтобы кто-нибудь подошел, чтобы разделить со мной костер. Не хотел, чтобы меня видели. В Нагасаки я вернулся на следующий вечер, но подождал три дня перед тем, как позвал тебя, чтобы никто не нашел связи между моим отсутствием и твоим приходом. Так безопаснее, если предположить, что Эномото платит твоему слуге.

— Иохеи — мой слуга с того времени, как семья Огава приняла меня к себе.

Шузаи пожимает плечами: «Какой шпион лучше того, кто вне подозрений?»

Узаемон холодеет: «У тебя есть причины подозревать Иохеи?»

— Ни одной, но у всех даймё есть осведомители в пограничных феодах, а они добывают сведения у слуг важных семей. Твой отец — один из четырех переводчиков первого ранга на Дэдзиме, так что семья Огава — важная семья. Чтобы похитить фаворитку даймё, надо войти в мир, полный опасностей, Узаемон. И чтобы выжить в нем, ты должен подозревать Иохеи, подозревать друзей и подозревать незнакомцев. Теперь, зная все это, возникает вопрос: ты по — прежнему хочешь ее освободить?

— Больше, чем прежде, но... — Узаемон смотрит на рисунок, — ...возможно ли это?

— Если тщательно все спланировать, если заплатить правильным людям, да.

— Сколько денег и сколько людей?

— Меньше, чем ты предполагаешь: пятьдесят коку, о которых говорили собиратели моллюсков, звучат устрашающе, но немалая часть



этого риса поедается свитой Эномото. Более того, это здание... — Шузаи указывает на нижний правый угол, — ...трапезная, и, когда она опустела, я насчитал тридцать три головы. Женщин не считал. Учителя уже далеко не молоды, останутся не более двух десятков крепких телом аколитов. В китайских легендах монахи могут разбить камень голыми руками, но гусята Ширануи вылупились из яиц с другой скорлупой. В храме нет площадки для стрельбы из лука, нет казарм для охранников — мирян и никаких свидетельств, что монахи совершенствуются в боевых искусствах. Пять воинов, превосходно владеющих мечом, по моему мнению, могут спасти госпожу Аибагаву. Мой принцип страховки удвоением требует наличия десяти мечей, в дополнение к твоему и моему.

— А что, если владыка Эномото и его люди появятся перед штурмом?

— Мы отложим наше предприятие, разойдемся и спрячемся в Саге, пока он не уедет.

Дым от разгорающегося огня пахнет солью и горечью.

— Тебе надо учесть, — Шузаи переходит к деликатному моменту, — что возвращение в Нагасаки с госпожой Аибагавой будет... будет...

— Равносильно самоубийству. Да, на прошлой неделе я кое о чем подумал. Я... — Узаемон чихает и кашляет, — ...я оставлю здешнюю жизнь, буду сопровождать ее, куда бы она ни захотела пойти, и помогать, пока она не прогонит меня. Останусь с ней на день или на всю жизнь, как она скажет.

Учитель хмурится, кивает головой и пристально смотрит на своего друга и ученика.

С улицы доносится надрывный лай пробегающих мимо собак.

— Я тревожусь, — признается Узаемон, — что тебя свяжут с нападением на монастырь.

— О — о, я всегда предполагаю худшее. Я тоже исчезну.

— Ты прощаешься со своей жизнью в Нагасаки, чтобы помочь мне?

— Я бы предпочел винить в этом нагасакских очень уж злых кредиторов.

— А нанятые нами люди тоже ударятся в бега?

— Самураи без хозяев знают, как позаботиться о себе. Не заблуждайся: больше всего потеряет человек по имени Огава Узаемон. Ты ставишь на кон карьеру, деньги, светлое будущее... — учитель ищет тактичные слова.

— ...против женщины, скорее всего, раздавленной обстоятельствами, беременной, — заканчивает за него Узаемон.

По выражению лица Шузаи понятно, что именно это он и хотел сказать.

— И я отблагодарю моего приемного отца исчезновением без единого слова.

«Моя страдающая жена, — предвидит Узаемон, — сможет вернуться в свою семью».

— Конфуцианцы закричали бы: «Еретик!» — взгляд Шузаи останавливается на урне, в которой покоится кость большого пальца его учителя, — но бывают времена, когда менее верный сын — хороший человек.

— Мое «вознаграждение», — начинает Узаемон, стремясь точнее выразить мысль, — не в том, чтобы исправить неправильное, а, скорее, чтобы получить право сказать: «За этим я здесь».

— Теперь и ты говоришь, как верящий в судьбу.

— Пожалуйста, займись подготовкой. Сколько бы это ни стоило, я заплачу.

Шузаи отвечает: «Да», — словно и не могло быть другого решения.

— Подними локоть на такую высоту, — высокий голос ученика постарше доносится из додзё, обращенный к ученику помоложе, — и один хорошо нацеленный удар юкири превратит его в рисовый порошок...

Шузаи меняет тему разговора:

— Где сейчас свиток Джирицу?

Узаемон борется с желанием коснуться футляра во внутреннем кармане.

— Он спрятан — «Если нас схватят, — думает он, — ему лучше не знать правды», — под полом отцовской библиотеки.

— Хорошо. Пока храни там. — Шузаи сворачивает рисунок храма Ширануи. — Но возьми с собой, когда мы направимся в Киогу. Если все пойдет хорошо, ты и госпожа Аибагава исчезнете, как дождевые капли, но, если Эномото найдет твой след, свиток будет единственной твоей защитой. Как я раньше говорил, монахи не опасны, но я не скажу такого про гнев владыки — настоятеля.

— Спасибо тебе, — Узаемон встает, — за твой мудрый совет.

Якоб де Зут наливает горячую воду в чашку и размешивает в ней полную ложку меда.

— У меня была та же самая простуда на прошлой неделе. Горло болело, голова, и я до сих пор квакаю, словно жаба. В июле и августе мое тело совсем позабыло о том, что такое холодная погода: для зеландца это подвиг. А теперь не могу вспомнить ушедшую летнюю жару.

Узаемон не понимает нескольких слов.

— Память подчас выкидывает такие фортели.

— Ваша правда, — де Зут добавляет в чашку немного светлого сока. — А это лайм.

— Ваша комната, — отмечает гость, — изменилась. — Действительно, добавились низкий столик и напольные подушки, кадомацу — новогодний венок из сосновых веток, отлично нарисованная карандашом и чернилами обезьяна и складная ширма, отгораживающая кровать де Зута. «Которую могла бы делить с ним Орито, — Узаемон страдает от душевной боли, — и было бы лучше, если бы разделила». У старшего клерка нет ни слуги, ни раба, но в комнате чисто и подметено. — Она удобная и уютная.

— Дэдзима, — де Зут размешивает напиток, — еще какое-то время будет моим домом.

— Вы не желаете взять жену для более приятного времяпрепровождения?

— Я не отношусь к подобным изменениям в моей жизни с той же легкостью, как некоторые мои соотечественники.

Узаемон приободряется.

— Рисунок обезьяны... очень красивый.

— Этот? Спасибо, но я всего лишь любитель.

Удивление Узаемона искренне:

— Вы нарисовали эту обезьяну, господин де Зут?

Де Зут отвечает стыдливой улыбкой и подает гостю лаймово — медовый напиток. Затем нарушает все законы неспешной беседы о пустяках.

— Чем могу быть полезен, Огава-сан?

Узаемон смотрит на пар, поднимающийся над чашкой.

— Боюсь, я оторвал вас от работы в важный момент.

— Заместитель директора Фишер преувеличивает. Не так уж много у меня работы.

— Тогда... — переводчик держит горячий фарфор кончиками пальцев. — Я хочу, чтобы господин де Зут сохранил... спрятал... э — э... очень важную вещь, от всех.

— Если хотите использовать один из складов, возможно, директор ван Клиф должен...

— Нет — нет. Это маленькая вещь, — Узаемон достает кизилевый футляр для свитков.

Де Зут хмурится, глядя на футляр.

— Я, конечно, пойду вам навстречу, и с радостью.

— Я знаю, господин де Зут умеет спрятать вещи так, что найти их

невозможно.

— Я спрячу футляр вместе с моим Псалтырем, пока вы не попросите его вернуть.

— Благодарю вас. Я... я надеялся услышать такие слова, — Узаемон отвечает де Зуту на незаданные вопросы с прямотой иноземца. — Первое: вас наверняка интересует, что написано в этом свитке. Думаю, вы помните, что Эномото... — от упоминания этого имени лицо де Зута мрачнеет, — ... Владыка-настоятель храма в феоде Киога, где... где должна жить госпожа Аибагава, — голландец кивает. — Этот свиток... как сказать?.. правила, законы, на которых основана вера ордена, храма. Эти законы... — «На японском сказать тяжело, — думает переводчик, вздыхая, — а на голландском все равно, что разбивать камни», — ...эти правила... плохие, хуже всего, хуже, чем самое худшее для женщины. Приносят огромные страдания... это невыносимо.

— Какие правила? Что невыносимо, Огава, ради Христа?

Узаемон закрывает глаза. Не открывая их, отрицательно качает головой.

— По крайней мере, — голос де Зута срывается, — скажите мне: этот свиток может быть оружием против Эномото или устыдит его, заставив отпустить ее? Или этот свиток может принести свободу госпоже Аибагаве через магистратуру?

— Я лишь переводчик третьего ранга. Эномото — Владыка-настоятель. У него больше власти, чем у магистрата Широяма. В Японии прав тот, у кого власть.

— Значит, госпожа Аибагава должна страдать... невыносимо страдать до конца своих дней?

Узаемон медлит с ответом.

— Один друг в Нагасаки хочет помочь... если честно.

Де Зут не глупец:

— Вы собираетесь спасти ее? Есть надежда на успех?

Узаемон вновь медлит.

— Не он и не я на пару. Я... покупаю помощь.

— Наемники — рискованные союзники. Нам, голландцам, это известно хорошо, — голова де Зута работает, как абак, просчитывая последствия. — Но как вы сможете вернуться на Дэдзиму после всего? И ее вновь схватят. Вам придется скрываться... вечно... и... тогда почему... зачем стольким жертвовать... всем? Если только... о — о.

На мгновение мужчины не могут смотреть друг другу в глаза.

«Теперь ты знаешь, — думает переводчик. — Я тоже ее люблю».

— Я дурак. — Голландец трет зеленые глаза. — Какой же дурак...

Двое малайских рабов спешат по Длинной улице, разговаривая на своем языке.

— ...но почему вы помогали мне с моими... моими ухаживаниями за ней, если вы тоже...

— Ей лучше жить здесь, чем в плохой семье или высланной из Нагасаки.

— И все же вы доверяете мне это... — Якоб касается футляра... — никак не используемое свидетельство?

— Вы тоже хотите, чтобы она обрела свободу. Вы не продадите меня Эномото.

— Никогда. Но что мне делать со свитком? Я же здесь под замком.

— Ничего не делать. Если мы ее спасем, то мне свиток не понадобится. Если не спасем... — Заговорщик отпивает из чашки. — Если не спасем, если Эномото узнает о существовании свитка, он будет охотиться за ним в доме моего отца, в домах друзей. Правила ордена — очень, очень секретные. Эномото убьет любого, чтобы вернуть свиток. Но на Дэдзиме у него власти нет. Здесь он не будет искать, я уверен.

— Как мне узнать, удалось или не удалось?

— Если удастся, я пришлю сообщение, как только смогу, когда будет безопасно.

Де Зут потрясен разговором, но его голос тверд:

— Вы будете в моих молитвах, всегда. Когда вы встретитесь с госпожой Аибагавой, скажите ей... скажите ей... просто скажите ей об этом. Вы оба будете в моих молитвах.

## Глава 23. КЕЛЬЯ ЯИОИ В ДОМЕ СЕСТЕР ХРАМА НА ГОРЕ ШИРАНУИ

*За несколько минут  
до рассвета  
восемнадцатого дня  
первого месяца*

Экономка Сацуки берет девочку Яиои, у которой на губах материнское молоко. В свете огня очага и восхода слезы Сацуки видны всем. Ночью не было свежего снега, и потому тропа вниз — к ущелью Мекура — проходима, и двойняшек Яиои отнесут в мир внизу этим утром.

— Как можно, экономка, — мягко упрекает настоятельница Изу. — Вы помогли нам с дюжиной Даров. Если сестра Яиои понимает, что она не теряет крохотных Шинобу и Бинио, а просто посылает их в новую жизнь, в мир внизу, конечно же, и вы можете лучше контролировать свои слабости. Сегодня у нас праздник, а не поминки.

«То, что тебе представляется «слабостями», — думает Орито, — я называю сочувствием».

— Да, настоятельница, — экономка Сацуки сглатывает слезы. — Просто... они такие...

— Без приношения Даров, — Яиои словно читает по памяти, — реки феода Киога пересохнут, все саженцы увянут и все матери станут бесплодными...

До ночи побега и добровольного возвращения Орито посчитала бы эти слова презренно покорными. Сейчас она понимает — только вера в то, что продолжению жизни нужны их жертвы, дает им силы примириться с необходимостью разлуки. Акушерка укачивает голодного сына Яиои Бинио:

— Твоя сестра закончила. Позволь матери немного передохнуть.

Настоятельница Изу напоминает: «Мы говорим «носительница», сестра Аибагава».

— Вы говорите настоятельница, — отвечает Орито, — но я — не «мы».

Садае высыпает угольные крошки в очаг: они вспыхивают и плюются огнем.

— Мы, — Орито встречает пристальный взгляд настоятельница, —

пришли к взаимопониманию, помните?

«Наш Владыка-настоятель, — читается во взгляде настоятельницы, — еще скажет последнее слово».

— До этого дня, — Орито не отводит глаз и повторяет, — я — не «мы».

Лицо Бинио влажное, розовое, бархатное; оно морщится долгим пронзительным криком.

— Сестра? — Яиои получает сына, чтобы последний раз покормить его грудью.

Акушерка разглядывает воспаленный сосок Яиои.

— Гораздо лучше, — говорит Яиои подруге. — Пустырник помог.

Орито вспоминает об Отане из Курозане, которая, без сомнений, прислала эту траву, и раздумывает: удастся ли ей настоять на встрече с травницей раз в году? Самая новая сестра все еще остается в храме низшей по рангу, но решение вернуться, принятое на мосту Тодороки, и успешные роды двойняшек Яиои подняли ее статус во многих глазах. За ней признали право отказываться от лекарства Сузаку, ей разрешили трижды в день гулять по крепостной стене храма, и учитель Генму согласился с тем, что Богиня не выберет Орито для одаривания, если Орито будет молчать о подложных письмах. Цена соглашения высока: мелкие стычки с настоятельницей случаются каждый день, и Владыка-настоятель Эномото может отнять у нее все льготы... «Но это битва, — думает Орито, — за будущее».

Асагао появляется в двери:

— Итет уситель Сусаку.

Орито смотрит на Яиои, которая изо всех сил старается не заплакать.

— Спасибо, Асагао, — настоятельница Изу поднимается с легкостью девочки.

Садае поправляет узел платка, повязанного на деформированной голове.

С уходом настоятельницы разговор в комнате становится намного свободнее.

— Успокойся, — говорит Яиои вопящему Бинио. — У меня их две. На, обжора...

Бинио, наконец, находит материнский сосок и начинает сосать.

Экономка Сацуки разглядывает лицо Шинобу.

— Полный, счастливый животик.

— Тяжелые, плохо пахнущие пеленки, — говорит Орито. — Позволь мне, прежде чем она заснет.

— О — о, позволь мне, — экономка кладет Шинобу на спину. — Невелик труд.

Орито уступает женщине постарше право подготовить ребенка к печальному расставанию.

— Я принесу теплой воды.

— Подумать только, — удивляется Садае, — какими букашками были Дары всего лишь неделю тому назад!

— Мы должны благодарить сестру Аибагаву, — говорит Яиои, перекладывая сосущего Бинио, — что они столь быстро стали такими крепкими.

— Мы должны благодарить ее, — добавляет экономка Сацуки, — что они вообще родились.

Нежная, как цветок, ручонка десятидневного мальчика разжимается и сжимается.

— Это благодаря твоей выносливости, — Орито отвечает Яиои, смешивая горячую воду из котелка с холодной водой в горшке, — твоему молоку и твоей материнской любви. «Не говори о любви, — предупреждает она себя, — сегодня не говори». — Дети хотят родиться, а акушерки только помогают им в этом.

— Ты думаешь, — спрашивает Садае, — «дарителем» двойняшек мог быть учитель Чимей?

— Этот, — Яиои гладит голову Бинио, — недовольный толстяк, а Чимей — сухой.

— Тогда учитель Сеiryю, — шепчет экономка Сацуки. — Он превращается в короля — гоблина, когда выходит из себя.

В обычный день женщины улыбнулись бы.

— Глаза Шинобу — чан, — говорит Садае, — напоминают мне бедного аколита Джирицу.

— Мне кажется, они — его, — отвечает Яиои. — Он мне опять снился.

— Странно думать, что аколит Джирицу похоронен, — замечает Сацуки, расправляя запачканные пеленки, в которых лежала девочка, — а жизнь его Дара только начинается. — Экономка вытирает едко пахнущую жижу с тельца девочки выцветшей тряпкой. — Странно и горько. — Она промывает попку младенца теплой водой. — Может, у Шинобу один даритель, а у Бинио — другой?

— Нет, — Орито вспоминает голландские тексты. — У двойняшек — один отец.

Учитель Сузаку входит в келью.

— Доброе утро, сестры.



Сестры отвечают Сузаку хором:

— Доброе утро.

Орито чуть склоняет голову.

— Хорошая погода для нашего первого Дара в этом году! Как наши Дары?

— Два кормления ночью, учитель, — отвечает Яиои, — и еще одно сейчас.

— Превосходно. Я дам каждому по капельке «Сна». Они не проснутся до самого Курозане, где две кормилицы уже дожидаются их в гостинице. Одна из них относила Дар сестры Хацуне в Ниигату два года тому назад. Малыши попадут в надежные руки.

— У учителя, — говорит настоятельница Изу, — есть замечательная новость, сестра Яиои.

Сузаку улыбается, показывая острые зубы.

— Твои Дары будут воспитываться вместе в буддийском храме у Хофу бездетным священником и его женой.

— Подумать только! — восклицает Садае. — Маленький Бинио — сын священника!

— Они получают прекрасное образование, — добавляет настоятельница, — как дети храма.

— Они будут вместе, — добавляет Сацуки. — Родная кровь рядом — лучше не бывает.

— Я искренне благодарю, — голос Яиои лишен эмоций, — владыку — настоятеля.

— Ты сможешь поблагодарить его сама, сестра, — говорит настоятельница Изу, и Орито, которая обмывала Шинобу, вскидывает на нее глаза. — Владыка-настоятель должен прибыть завтра или днем позже.

Страх заползает в Орито.

— Я тоже, — шепчет она, — с нетерпением жду возможности поговорить с ним.

Во взгляде настоятельницы Изу читается торжество победительницы.

Бинио, наевшись, сосет все медленнее. Яиои гладит его губы, чтобы он не останавливался.

Сацуки и Садае заканчивают заворачивать девочку. Она готова к путешествию.

Учитель Сузаку открывает свой ящик с лекарствами и откупоривает коническую бутылочку.

Первый удар колокола Аmanoхашеры вливается в келью Яиои.

Никто не произносит ни слова. За воротами уже ожидает паланкин.

Садае спрашивает:

— А где находится Хофу, сестра Аибагава? Так же далеко, как Эдо?

Второй удар колокола Аmanoхашире вливается в келью Яиои.

— Гораздо ближе. — Настоятельница Изу получает чистую, спящую Шинобу и подносит ее поближе к Сузаку. — Хофу — это город — крепость в феоде Суо, следующем от Нагато, всего лишь пять — шесть дней отсюда, если все спокойно...

Яиои смотрит на Бинио, но видит что-то очень далекое. Орито гадает, о чем та думает: о своей первой дочери Кахо, посланной в прошлом году свечнику в феод Харима, или о будущих Дарах, которые она должна выносить до ее ухода из монастыря через восемнадцать-девятнадцать лет, или, возможно, просто надеется, что у кормилиц в Курозане хорошее, настоящее молоко.

«Передача Даров сродни поминкам, — думает Орито, — а матери даже не могут их оплакивать».

Третий удар колокола Аmanoхашире подводит черту.

Пара капель из конической бутылочки падает на губы Шинобу. «Сладких снов, — шепчет Сузаки, — маленький Дар».

Ее брат Бинио, все еще на руках Яиои, рычит, отпрыгивает и пукает. Его сольный номер воспринимают без смеха, который вроде бы напрашивается. В келье печально и грустно.

— Время, сестра Яиои, — заявляет настоятельница. — Я знаю, ты отважная.

Яиои в последний раз нюхает молочную шею младенца.

— Могу ли я сама дать Бинио «Сна»?

Сузаку кивает головой и передает ей коническую бутылочку.

Яиои прижимает горлышко к губам Бинио: его маленький язычок лижет.

— Какие составляющие, — спрашивает Орито, — входят в «Сон» учителя Сузаку?

— Кто-то у нас акушерка, — Сузаку улыбается Орито. — Кто-то — аптекарь.

Шинобу уже спит, и глаза Бинио закрываются... Орито гадает: «Опиаты? Аризема? Борец?»

— А это лекарство для отважной сестры Яиои, — Сузаку наливает мутную жидкость в каменную чашку-наперсток. — Я называю его «Стойкость духа»: оно помогло тебе при последних родах. — Он подносит чашку к губам Яиои, и Орито борется с желанием выбить ее из его рук. Жидкость вливается в рот Яиои, и Сузаку забирает ее сына.

Лишенная младенца мать бормочет: «Но...» — глаза ее затуманиваются, она, похоже, уже не видит аптекаря.

Орито подхватывает бессильно падающую голову подруги. Укладывает обмякшее тело в постель.

Настоятельница Изу и учитель Сузаку уносят по украденному ребенку.

## Глава 24. КОМНАТА ОГАВЫ МИМАСАКУ В РЕЗИДЕНЦИИ ОГАВЫ В НАГАСАКИ

*Заря двадцать  
первого дня первого  
месяца*

Узаемон опускается на колени у постели отца.

— Сегодня вы выглядите немного... веселее, отец.

— Оставь цветистые фразы женщинам: ложь — их натура.

— Честно, отец, когда я вошел, цвет вашего лица...

— В моем лице меньше цвета, чем у скелета, который стоит у Маринуса в голландской больнице.

Саидзи, хромоногий слуга отца, пытается сильнее раздуть жаровню.

— Значит, ты решил пойти паломником в Кашиму, помолиться за своего хилого отца, посредине зимы, один, без слуги... хотя «служить» в этом доме означает сметать все, что хранится в кладовой семьи Огава. Нагасаки содрогнется от твоей набожности.

«Нагасаки содрогнется, — думает Узаемон, — если правда когда-нибудь выплывет наружу».

Жесткая метла скребет по каменным плитам в прихожей.

— Я отправляюсь в паломничество не для того, чтобы меня хвалили, отец.

— Ученые, как ты однажды сообщил мне, презирают «волшебство и суеверия».

— Ныне, отец, я предпочитаю ничего не отмечать.

— О — о? Значит, я сейчас... — фраза прерывается резким кашлем, и Узаемону видится рыба, бьющаяся на дне рыбацкой лодки. Он гадает: может, ему усадить отца? Но тогда придется коснуться его, а отец и сын их ранга такого позволить себе не могут. Слуга Саидзи спешит на помощь, но приступ заканчивается, и старший Огава отталкивает того от себя. — Значит, я сейчас для тебя — один из твоих «эмпирических опытов»? Появилось желание рассказать Академии об эффективности лечения Кашимой?

— Когда переводчик Ниши — старший заболел, его сын пошел паломником в Кашиму и постился три дня. А по возвращении его отец не только чудесным образом выздоровел, но даже пришел к воротам Магоме,

чтобы встретить сына.

— И подавился рыбьей костью на праздничном, в честь его выздоровления, банкете.

— Я попрошу вас весь будущий год проявлять осторожность, когда будете есть рыбу.

Языки пламени над жаровней становятся ярче, летят искры.

— Не предлагай богам годы своей жизни в обмен на мои.

Узаемон удивляется: «Нежность с шипами?»

— До этого не дойдет, отец.

— Если только, если только священник не поклянется, что иначе ко мне не вернется моя сила. Ребра не должны служить тюремной решеткой. Лучше быть с предками и с моим Хисанобу в Стране Непорочности, чем страдать здесь, среди лизоблюдов, женщин и глупцов, — Огава Мимасаку смотрит на нишу — буцудан, где память о его родном сыне увековечена посмертной табличкой и веткой сосны. — Для тех, у кого склонность к коммерции, Дэдзима — личная золотая жила, даже при таком уровне торговли, как с голландцами. Но для тех, кто заморожен «просвещением», — Мимасаку использует голландское слово, — эти возможности упущены. Увы, в Гильдии будет главенствовать клан Ивасе. У них уже пять внуков.

«Спасибо, — думает Узаемон, — что помогаешь мне отвернуться от тебя».

— Если я разочаровал вас, отец, простите.

— С каким азартом, — глаза старика закрываются, — жизнь рушит наши тщательно продуманные планы.

— Это самое худшее время года, муж, — Окину опускается на колени у края приподнятого пола коридора. — Грязевые потоки, и снег, и гром, и лед...

— Весной, — Узаемон садится, чтобы обуться, — отцу, возможно, уже ничто не поможет, жена.

— Бандиты голоднее зимой, и голод прибавляет им смелости.

— Я пойду главной дорогой в Сагу. У меня меч, и Кашима только в двух днях пути. Это не Хокурукуро, или Кии, или что-то дикое и незаконное.

Окину оглядывается, как нервничающая олениха. Узаемон не может вспомнить, когда в последний раз она улыбалась. «Ты достойна другого мужчины, лучше меня», — думает он и сожалеет, что не может сказать ей об этом. Он прижимает к себе мешок из промасленной ткани. В нем — два

кошелька с деньгами, несколько векселей и шестнадцать любовных писем, посланных ему Орито Аибагавой в период их романтических отношений. Окину шепчет: «Твоя мать мучает меня особенно сильно, когда тебя нет».

«Я ей сын, — думает Узаемон, издав неслышный стон, — тебе — муж, а не посредник между вами».

Утако, служанка матери и ее шпионка, приближается с зонтиком в руке.

— Обещай мне, — Окину старается спрятать волнение, — что не будешь переплывать залив Омур в плохую погоду.

Утако кланяется им обоим и проходит дальше, к палисаднику.

— Значит, ты вернешься, — спрашивает Окину, — через пять дней?

«Бедное, бедное создание, — думает Узаемон, — на ее стороне здесь только я».

— Шесть дней? — Окину ждет от него ответа. — Не больше семи?

«Если бы я мог избавить ее от страданий, — думает он, — разведясь с ней прямо сейчас, я бы...

— Пожалуйста, не дольше восьми дней. Она такая... такая...

...но это привлекло бы ненужное внимание к семье Огавы».

— Я не знаю, сколько уйдет времени, чтобы прочесть все сутры за здоровье отца.

— Ты привезешь мне из Кашимы амулет для невест, которые хотят...

— Гм — м, — Узаемон обут. — Ну, до свиданья, Окину.

«Если бы вина оплачивалась медными монетами,

— думает он, — я бы уже купил всю Дэдзиму».

Проходя по маленькому дворику, такому голому зимой, Узаемон смотрит на небо: похоже, день дождя, который так и не прольется на землю. Впереди, у входных ворот, мать Узаемона стоит под зонтиком, который держит Утако.

— Иохеи еще может присоединиться к тебе, сборы займут лишь несколько минут.

— Как я говорил, мама, — отвечает Узаемон, — это паломничество, а не путешествие с удобствами.

— Люди начнут гадать, а есть ли у семьи Огавы деньги на содержание слуг...

— Я полагаюсь на вас. Вы сумеете объяснить людям, почему упрямый сын ушел паломником в одиночку.

— Кто же будет стирать твоё нательное белье и носки?

«Впереди штурм горной крепости Эномото, — думает Узаемон, — а ты про нательное белье и носки...»

— Ты не найдешь мои слова забавными после восьми — девяти дней.

— Я буду ночевать в гостиницах и гостевых общежитиях храмов, а не в канавах.

— Огава не должны шутить, даже упоминать походя, о том, чтобы жить, как бродяги.

— Почему бы вам, мама, не уйти в дом? Вы легко можете подхватить ужасную простуду.

— Потому что долг хорошо воспитанной женщины — провожать сына или мужа от ворот, пусть в доме гораздо уютнее, — она сурово смотрит на дом. — Любопытно, о чем там хнычет моя невестка.

Служанка Утако разглядывает почки камелии.

— Окину пожелала мне удачного паломничества, как и вы.

— Ну, ясно одно: в Карацу они делают это по-другому.

— Она далеко от своего дома, и для нее этот год очень трудный.

— Я после замужества тоже уехала далеко от своего дома, и, если ты намекаешь, что я — одна из этих «трудностей», будь уверен, ей еще повезло! Моя свекровь была ведьмой из ада, из настоящего ада, разве не так, Утако?

Утако едва кивает, едва кланяется и едва шепчет:

— Да, госпожа.

— Никто не называет вас «трудностью», — Узаемон берется за воротный засов.

— Окину... — его мать кладет руку на засов, — сплошное разочарование...

— Мама, ради меня, будьте к ней добры, как...

— ...разочарование для нас всех. Я никогда не одобряла этот выбор, так, Утако?

Утако едва кивает, едва кланяется и едва шепчет:

— Да, госпожа.

— Но ты и твой отец настроились только на нее. И как я могла высказать вам свои сомнения?

«Такое переписывание истории, — думает Узаемон, — уже перебор, даже для тебя».

— Но паломничество, — продолжает она, — превосходный повод осмыслить допущенные ошибки.

Лунно — серый кот, крадущийся вдоль стены, попадает на глаза Узаемону на глаза.

— Женитьба, знаешь, это как покупка... Что-то не так?

Лунно — серый кот исчезает в тумане, словно и не появлялся.

— Женитьба, вы говорили, мама, это покупка.

— Покупка, да, и если кто-то покупает вещь у продавца и потом находит, что она сломана, тогда продавец должен извиниться, вернуть деньги и надеяться, что все закончится лишь этим. Значит, так: я родила трех мальчиков и двух девочек для семьи Огава, и хоть все, кроме Хисанобу, умерли в детстве, никто не может обвинить меня в том, что я сломана. Я не виню Окину за ее слабое чрево — кто-то может, но я справедливая — и все же факт остается фактом: нам продали бракованный товар. Кто обвинит нас, если мы его вернем? Но многие обвинят нас — все прежние поколения клана Огава, — если мы не отошлем ее домой.

Узаемон отшатывается от приблизившегося лица матери.

Воздушный змей летит сквозь морось на низкой высоте. Узаемон слышит, как шуршат его перышки.

— У многих женщин случалось не два, а больше выкидышей.

— Только опрометчивый крестьянин тратит хорошее семя на бесплодную землю.

Узаемон сдвигает засов, на котором лежит рука матери, и открывает створку ворот.

— Я говорю все это, — улыбается она, — не по злomu умыслу, а из чувства долга...

«Теперь, — думает Узаемон, — пришел черед для истории моего приема в семью».

— ...потому что именно я посоветовала твоему отцу принять тебя наследником вместо кого-то побогаче или познатнее. Поэтому я несу особую ответственность за все, что касается продолжения рода Огавы.

Дождевые капли падают на загравок Узаемону и катятся дальше, между лопаток.

— До свидания.

Полжизни тому назад Узаемон, в его тринадцатый год, проделал двухнедельное путешествие из Ши коку в Нагасаки со своим первым учителем Канамару Мотоджи, главным специалистом голландских наук при дворе владыки Тосы. После усыновления семьей Огавы Мимасаку, в пятнадцать лет, он вместе с новым отцом встречался с учеными в таких дальних городах, как Кумамото, но с тех пор, как четыремя годами раньше стал переводчиком третьего ранга, очень редко покидал Нагасаки. Его путешествия юности вселяли надежды, но этим утром переводчика —



«Переводчика ли, — спрашивает себя Узаемон, — можно ли меня по — прежнему так называть?» — обуревают более мрачные чувства. Шипящие гуси убегают от своего клянущего их на все лады пастуха. Дрожащий нищий справляет большую нужду на берегу бурной реки. Туман и дым прячут убийцу или шпиона под каждой конической соломенной шляпой и в каждом решетчатом окне паланкина. «Дорога достаточно многолюдна, чтобы спрятать доносчика, — Узаемон размышляет, — но людей не так много, чтобы спрятать меня». Он проходит по мостам реки Накашима, чьи названия обычно повторяет, когда не может заснуть: гордый Токивабаши, Фукуробаши — рядом со складами торговцев материей, Меганебаши — чьи двойные арки становятся кругами в тихие дни, приземистый Уоичибаши, всем мостам мост — Хигашишинбаши, вверх по течению, рядом с местом для казней — Имохарабаши, Фурумачибаши — старый и ветхий, как и его название, шатающийся Амигасабаши, и последний, самый высокий — Оидебаши. Узаемон останавливается у лестницы, уходящей в туман, и вспоминает весенний день, когда он впервые попал в Нагасаки.

Голос, тихий, как у мышки, говорит: «Простите, о, дзунрей — сама...»

Узаемону нужно какое-то время, чтобы понять, что этот «паломник» — он сам. Он поворачивается...

...и мальчишка — оборванец со шрамом вместо глаза протягивает ладони, сложенные лодочкой.

Голос предупреждает Узаемона: «Он просит милостыню», — и паломник удаляется.

«И ты, — голос выговаривает ему, — просишь милостыню, только тебе нужны не деньги, а удача».

Тогда он возвращается, но одноглазого мальчика уже нигде нет.

«Я — переводчик Адама Смита, — говорит он себе. — Я не верю в проклятия».

Через несколько минут он подходит к воротам Магоме, опускает капюшон, но стражник распознает в нем самурая и приветствует его поклоном.

Неказистые и запыленные дома ремесленников облепляют дорогу с обеих сторон.

Гремят ткацкие станки: так — тратта — клак, так — тратта- клак...

Бродячие псы и голодные дети безо всякого интереса смотрят на него, проходящего мимо.

Грязь вылетает из-под колес наполненной фуражом телеги, которая все

соскальзывает вниз по дороге; крестьянин и его сын толкают ее в гору, помогая быку впереди. Узаемон останавливается под гинкго и смотрит вниз на бухту, но Дэдзима скрыта густым туманом. «Я меж двух миров». Он оставляет позади политические страсти Гильдии переводчиков, презрение инспекторов и большинства голландцев, обманы и фальсификации. «Впереди — незнакомая жизнь с женщиной, которая может меня не принять, в местах, мне еще неизвестных». На вершине гинкго стая жирно блестящих ворон честят друг друга. Телега проезжает мимо него, и крестьянин кланяется так низко, что едва не теряет равновесия. Ложный паломник поправляет обмотки на ногах, убеждается, что обувь в порядке, и продолжает путь. Он не хочет опоздать на встречу с Шузаи.

Гостиница «Веселый Феникс» стоит у поворота дороги, чуть ближе восьмимильного камня от Нагасаки, между неглубокой рекой и каменным карьером. Узаемон входит, ищет глазами Шузаи, но видит лишь обычных путников, пережидających холодную морось: носильщики паланкинов и грузчики, погонщики мулов, попрошайки, три проститутки, мужчина с обезьянкой, предсказывающей будущее, и бородатый торговец, закутанный до ушей, сидящий чуть поодаль от своих слуг. Пахнет мокрыми людьми, горячим рисом и свиным жиром, но здесь теплее и суше, чем снаружи. Узаемон заказывает чашку пельменей — орешков и заходит в комнату с поднятым полом, волнуясь о Шузаи и пятерых нанятых им воинах. Он не беспокоится о большой сумме, переданной своему другу на оплату наемников: не будь Шузаи абсолютно честным, каким Узаемон знает его, переводчика бы арестовали пару дней тому назад.

Скорее, случилось другое: шустрые кредиторы Шузаи каким-то образом пронюхали о его планах покинуть Нагасаки и обложили со всех сторон, чтобы тот никуда не делся.

Кто-то стучит по столбу: это одна из дочерей хозяина заведения, которая принесла его заказ.

Узаемон спрашивает: «Наступил ли час Лошади?»

— Уже за полдень, самурай — сама, я так думаю, да...

Входят пять солдат сегуна, и все разговоры стихают.

Солдаты оглядывают комнату, полную отворачивающихся лиц.

Взгляд капитана встречается с глазами Узаемона. Узаемон отводит глаза, смотрит вниз. «Не выгляди виновным, — убеждает он себя. — Ты всего лишь паломник в Кашиму».

— Хозяин? — зовет один из солдат. — Где хозяин этой дыры?

— Господа! — Хозяин появляется из кухни и падает на колени. —

Какая великая честь для «Веселого Феникса».

— Сена и овса нашим лошадям: твой конюх дал деру.

— Будет исполнено, капитан, — хозяин знает, что ему придется принять плату распиской, которая не будет оплачена без пятикратной взятки. Он отдает команды жене, сыновьям и дочерям, и военных проводят в лучшую комнату в глубине гостиницы. Осторожно, потихоньку разговоры возобновляются.

— Я не забываю лиц, самурай-сан, — бородатый торговец подсаживается поближе.

«Избегай общения, — предупредил его Шузаи, — избегай свидетелей».

— Мы не встречались.

— Но я уверен, что встречались: в храме Рюгадзи на Новый год.

— Ты ошибся, старик. Я никогда тебя не видел. А теперь, пожалуйста...

— Мы говорили о коже ската <sup>[74]</sup>, самурай-сан, ножнах...

Узаемон узнает Шузаи под накладной бородой и залатанным капюшоном.

— Ага, вы вспомнили! Дегучи, самурай-сан, Дегучи из Осаки. А теперь, могу ли я надеяться, что вы окажете мне честь, позволив присоединиться к вам?

Служанка приходит с чашкой риса и соленостями.

— Я не забываю лиц, — рот Шузаи полон коричневых зубов, его акцент неузнаваем.

Выражение лица служанки говорит Узаемону: «Что за нудный старый пердун».

— Да, милая, — бубнит Шузаи. — Имена забываются, а лица — никогда...

— Кто запоминается, так это одинокий путешественник, — голос Шузаи доносится из решетчатого окна паланкина. — А группа из шести человек по дороге в Исахая? Мы почти что невидимы. Любой осведомитель в «Веселом Фениксе» не сочтет за труд приглядеться к молчаливому паломнику с мечом. Но уходя, ты уже стал бедолагой, у которого над ухом зудит бородатый человеческий комар. Со мной ты заскучал, и тем самым стал скучным для всех.

Туман окутывает крестьянские дома, стирает дорогу впереди, прячет горные склоны...

Слуги и носильщики Дегучи оказались наемниками Шузаи: их оружие

спрятано в полу паланкина. «Тануки, — Узаемон запоминает их вымышленные имена, — Кума, Иши, Хане, Шакке...» Они избегают разговоров с Узаемоном, поскольку так им легче сойти за слуг. Оставшиеся пять наемников должны присоединиться к ним завтра в ущелье Мекура.

— Кстати, — спрашивает Шузаи, — ты захватил с собой тот самый кизилковый футляр?

«Скажешь ему «нет», — боится Узаемон, — и он подумает, что ты ему не доверяешь».

— Все ценное, — он хлопает себя по поясу так, чтобы видел Шузаи, — здесь.

— Хорошо. Если бы свиток попал в чужие руки, Эномото мог бы нас уже поджидать.

«Если мы добьемся своего, признание Джирицу не понадобится, — думает Узаемон. — А если потерпим неудачу, оно не должно попасть ему в руки». Как де Зут сможет использовать это оружие? На этот вопрос у переводчика ответа нет.

Река внизу бьется о валуны и бросается на берега.

— Прямо как в долине Шимантогава, — говорит Шузаи, — у нас дома.

— Шимантогава, — отвечает Узаемон, — мне кажется, гораздо дружелюбнее. — Он размышляет о том, что смог бы подать прошение на принятие на работу в суде в его родном феоде Тоса. После усыновления семьей Огава в Нагасаки все связи с его родной семьей порвались... и они не обрадовались бы, увидев третьего сына — еще одного едока — вернувшегося бедным, да еще с женой, у которой ожог на лице. Разумеется, его бывший учитель, знаток голландских наук, мог бы ему помочь... «Тоса будет первым местом, — понимает Узаемон, — где Эномото начнет нас искать».

На кону будет стоять не просто сбежавшая монахиня, а репутация владыки Киоги.

«Его друг, старший советник Мацудаира Саданобу, выдаст ордер на арест...»

Узаемон все отчетливее понимает, на какой он пошел риск.

«Станут ли они выписывать ордер? Или просто пошлют убийцу?»

Узаемон смотрит в сторону. Остановиться и начать раздумывать — все равно, что повернуть назад.

Ноги шлепают по лужам. Коричневая река бурлит. С сосен капает.

Узаемон спрашивает Шузаи: «Остановимся на ночь в Исахая?»

— Нет. Дегучи из Осаки выбирает лучшее: гостиница Харубаяши в Курозане.

— Не та ли, где останавливается Эномото и его свита?

— Та самая. Пошли — пошли, какая банда, решившая украсть монашку с храма на горе Ширануи, не мечтала бы остановиться там?

Главный храм в Исахая празднует какое-то важное событие, связанное с местным богом, на улицах полным — полно лоточников и бездельничающей публики, и шесть путешественников и паланкин проходят совершенно незамеченными. Уличные музыканты соперничают друг с другом за внимание зевак, воришки прочесывают праздничную толпу, а служанки гостиниц у входа кокетничают с прохожими, зазывая постояльцев. Шузаи остается в паланкине и приказывает своим людям идти напрямик к воротам в феоде Киога, расположенным в восточной части города. Через них как раз прогоняют стадо свиней. Один из солдат, одетый в строгую форму феода, мельком смотрит на пропуск Дегучи из Осаки и спрашивает, почему у торговца нет никакого товара. «Я отправил все кораблем, — отвечает Шузаи, и никто не смог бы придраться к его осакскому выговору, — все- все, уважаемый. После того, как каждый таможенник на западном Хонсю получил бы свой куш, у меня не осталось бы даже морщин на ладонях, уважаемый». Его пропускают, но другой, более наблюдательный стражник замечает, что пропуск Узаемона выдан на Дэдзиме.

— Вы переводчик для иностранцев, Огава-сан?

— Третьего ранга, в Гильдии переводчиков Дэдзимы.

— Я просто спрашиваю вас, господин, потому что вы в одежде паломника.

— Мой отец смертельно болен. Я хочу помолиться за него в Кашиме.

— Пожалуйста, — стражник пинает визжащего поросенка, — пройдите в комнату инспекции.

Узаемон не позволяет себе взглянуть на Шузаи.

— Хорошо.

— Я приду к вам, как только мы разберемся с этими чертовыми свиньями.

Переводчик заходит в маленькую комнату, где работает писец.

Узаемон прокликает свое невезение. Он—то хотел проникнуть в Киогу незамеченным.

— Пожалуйста, извините за неудобство. — Появляется стражник и приказывает писцу выйти наружу. — Я чувствую, Огава-сан, вы — человек слова.

— Я стремлюсь, — отвечает Узаемон, тревожась, не понимая, что за

этим последует, — к этому, да.

— Тогда я... — стражник становится перед ним на колени и низко кланяется, — я обращаюсь к вам, господин, с великой просьбой. Голова у моего сына растет... неправильно, шишками. Мы... мы не осмеливаемся выпускать его из дома, потому что люди называют его демоном они. Он умный и читает хорошо, так что на его разум это не влияет, но... у него бывают эти головные боли, эти ужасные головные боли.

Узаемон уже знает, что бояться нечего.

— Что говорят врачи?

— Первый поставил диагноз «горящий мозг» и прописал выпивать три ведра воды в день, чтобы потушить огонь. «Водяное отравление», — сказал второй и велел лишить нашего сына воды, пока не почернеет его язык. Третий доктор продал нам золотые иглы, чтобы колоть ими голову и изгнать демона, а четвертый продал волшебную лягушку, которую следовало лизать тридцать три раза в день. Ничего не помогло. Скоро он не сможет поднимать голову...

Узаемон вспоминает последнюю лекцию доктора Маено об элефантиазе [\[75\]](#).

— ...и я прошу всех паломников, кто проходит мимо, помолиться в Кашиме.

— Обязательно, я повторю сутру об излечении. Как зовут вашего сына?

— Спасибо. Много паломников обещали помолиться, но я верю только людям, которые держат слово. Я Имада, а моего сына зовут Уокацу, записано здесь, — он передает сложенный листок бумаги с прядью волос сына. — Там надо заплатить, так что...

— Оставьте деньги у себя. Я помолюсь за Имаду Уокацу, когда буду молиться за своего отца.

«Политика изоляции помогает сегуну сохранять власть...

— Могу я предположить, — стражник снова кланяется, — что у Огавы-сана тоже есть сын?

...но также приговаривает Уокацу и многих других к бессмысленной смерти от невежества».

— Мы с женой, — новые подробности, с сожалением думает Узаемон, — не получили еще такого благословения.

— Богиня Каннон наградит вашу доброту. Извините, я задерживаю вас...

Узаемон прячет бумагу с именами в свой кошель инро.

— Если бы я мог сделать для вас что-нибудь еще...

## Глава 25. АПАРТАМЕНТЫ ВЛАДЫКИ — НАСТОЯТЕЛЯ В ХРАМЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ

*Вечер двадцать  
второго дня первого  
месяца*

Покачивающиеся языки пламени, словно цветы дурмана: голубые, молчаливые. Эномото сидит на полу, в самом конце комнаты, рядом с очагом. Над головой — неровный, сводчатый потолок. Он знает, что Орито уже здесь, но еще не удостоил ее взглядом. Там же двое застывших юношей — аколитов смотрят на доску го: если бы не пульсирующие жилки на шеях, они легко сошли бы за бронзовые статуи. «Ты похожа на убийцу, прокравшегося сюда, — долетает до нее сухой голос Эномото. — Подойди, сестра Аибагава».

Ее ноги подчиняются приказу. Орито садится по другую сторону очага напротив владыки Киоги. Он изучает искусно сделанную рукоятку для меча. В отсвете огня Эномото выглядит почти на десять лет моложе, чем она помнит его.

«Будь я убийцей, — думает она, — ты бы уже умер».

— Что случится с твоими сестрами без моей защиты и Дома?

«Он читает лица, — думает Орито, — не мысли».

— Дом сестер — тюрьма.

— Твои сестры умрут, несчастными и очень рано, в борделях и балаганах уродцев.

— Только из-за этого они содержатся здесь, как игрушки монахов?

Клик: аколит поставил на доску черный камень.

— Доктор Аибагава, твой уважаемый отец признавал факты, а не мнения, выдернутые из контекста.

Рукоятка меча в руке Эномото, как видит сейчас Орито — пистоль.

— Сестры не игрушки. Они посвящают двадцать лет Богине, и после спуска вниз им есть на что жить. Многие духовные ордены заключают подобные договоры со своими приверженцами, при этом требуя пожизненной службы.

— Какой еще «духовный орден» забирает младенцев у своих монахинь, как происходит в вашей личной секте?

Темнота разворачивается и соскальзывает по краям поля зрения



Орито.

— Плодородие мира внизу поддерживается рекой. Ширануи — исток той реки.

Орито пропускает его слова и тон речи сквозь внутреннее сито и не находит ничего, кроме цинизма и отсутствия веры.

— Как может академик — переводчик Исаака Ньютона, говорить, как суеверный крестьянин?

— Просвещение может ослепить, Орито. Возьми всю эмпирическую методологию и приложи ко времени, гравитации, жизни: их происхождение и цели в своей основе нам неизвестны. Не суеверия, а здравый смысл диктует нам: знание — конечно, а душа и ум — дискретны.

Клик: аколит поставил на доску белый камень.

— Насколько я помню, вы никогда не озвучивали в Академии Ширандо такие откровения.

— В нашем ордене число членов ограничено. Путь Ширануи отличается и от Пути ученого, и от Пути толпы.

— Какие благородные слова, чтобы описать убогую правду. Вы заключаете в стойло женщин на двадцать лет, оплодотворяете их, отрываете младенцев от их груди и подделываете письма матерям от умерших детей, обставляя все так, будто они выросли!

— Только за трех несчастных покинувших этот мир Даров пишут новогодние письма: трех из тридцати шести... или тридцати восьми, включая двойню сестры Яиои. Все остальные — настоящие. Настоятельница Изу верит в то, что такая выдумка гораздо лучше, чем правда, и жизнь доказывает ее правоту.

— Будут ли сестры благодарны вам за вашу доброту, когда обнаружится, что сын или дочь, с которым они хотели встретиться, умер восемнадцать лет тому назад?

— За годы, которые я прослужил настоятелем, такого несчастья никогда не случалось.

— Сестра Хацуне очень хочет встретиться со своей умершей дочкой Норико.

— Она спустится через два года. Если ее желание не изменится, я ей все объясню.

Колокол Аmanoхашире отбивает час Собаки.

— Меня огорчает, — Эномото наклоняется к огню, — что ты воспринимаешь нас тюремщиками. Возможно, это следствие твоего неопределенного статуса. Одни роды в два года — это меньший налог, чем тот, что платит большинство жен мира внизу. Едва ли не всех твоих сестер

учителя вызволили из рабства и привели в страну Чистоты на земле.

— Храм на горе Ширануи очень далек от того, что я представляю себе страной Чистоты.

— Дочь Аибагавы Седзана — удивительная женщина и уникальный случай.

— Я не хочу слышать имя моего отца, слетающее с ваших губ.

— Аибагава Седзан был моим верным другом еще до того, как стал твоим отцом.

— Хороша дружба, за которую он заплатил украденной дочерью.

— Я привел тебя в свой Дом, сестра Аибагава.

— У меня был дом в Нагасаки.

— Но Ширануи стал твоим домом еще до того, как ты услышала о нем. Зная о твоих успехах в акушерстве, я знал это. Видя тебя в Академии Ширандо, я знал это. Много лет тому назад, когда увидел знак Богини на твоём лице, я...

— Мое лицо обожжено горячим маслом. Это был несчастный случай! Эномото улыбается, как довольный отец.

— Богиня позвала тебя. Позволила взглянуть на себя, так?

Орито никому, даже Яиои, не рассказывала о сферичной пещере и гигантской статуе.

Клик: аколит ставит на доску черный камень.

«На входе в тоннель, — подсказывает ей логика, — оставляли какую-то метку».

Крылья бьются где-то вверху, но, вскинув глаза, Орито ничего не видит.

— Когда ты убежала, — продолжает Эномото, — Богиня позвала тебя назад...

«Если я в это поверю, — думает Орито, — то на самом деле стану узницей Ширануи».

— ...и твоя душа повиновалась, поскольку твоя душа знает такое, чего твое сознание, в котором слишком много знаний, не понимает.

— Я вернулась, потому что Яиои умерла бы без моей помощи.

— Ты послужила инструментом сострадания Богини. Ты будешь вознаграждена.

Ее ужас перед одариванием открывает свой отвратительный рот.

— Я... со мной нельзя поступать так же, как с другими. Я не смогу, — Орито стыдится и сказанных слов, и самого стыда. «Избавь меня от того, что испытывают другие, — означают ее слова, и Орито начинает трясти. — Вспыхни! — понуждает она себя. — Разозлись!»

Клик: аколит кладет на доску белый камень.

Голос Энмото ласкает:

— Все мы, приближенные к Богине, знаем, чем ты пожертвовала, чтобы попасть сюда. Посмотри на меня своими умными глазами, Орито. Мы хотим сделать тебе предложение. Без сомнения, дочь доктора, здравомыслящая, как ты, сразу заметила слабое здоровье экономки Сацуки. У нее, к сожалению, рак матки. Она попросила нас позволить ей умереть на родном острове. Мои слуги отвезут ее туда через несколько дней. Должность экономки — твоя, если ты этого захочешь. Богиня осеняет нас Даром каждые пять — шесть недель. Двадцать лет в храме ты прослужишь акушеркой, помогая своим сестрам и углубляя знания. Такой важный ресурс моего храма никогда не будет одарен. В дополнение к сказанному, я найду книги — любые книги — какие пожелаешь, и ты сможешь следовать дорогой своего отца, дорогой ученого. После твоего возвращения в мир внизу, я куплю тебе дом в Нагасаки, или где угодно, и буду выплачивать пособие до конца твоей жизни.

«Четыре месяца, — понимает Орито, — Дом давил меня страхом...

— Ты будешь, скорее, не сестрой храма Ширануи, а сестрой жизни.

...чтобы теперь это предложение звучало, не как петля, а как спасительная веревка тонущей женщине». Четыре стука в дверь разносятся по комнате.

Взгляд Энмото соскальзывает с Орито, настоятель кивает.

— А — а, долгожданный друг появился, чтобы вернуть украденную вещь. Я должен пойти и выказать ему свою благодарность.

Темно — синий шелк взлетает вверх, когда Энмото поднимается.

— А пока, сестра, подумай над нашим предложением.

## Глава 26. ЗА ГОСТИНИЦЕЙ ХАРУБАЯШИ, К ВОСТОКУ ОТ ДЕРЕВНИ КУРОЗАНЕ ФЕОДА КИОГА

*Утро двадцать  
второго дня первого  
месяца*

Выходя из уборной позади здания, Узаемон смотрит вверх грядок с овощами и видит человеческую фигуру, наблюдающую за ним из бамбуковой рощицы. Прищуривается в сумрачном свете. Травница Отане? У нее такой же черный капюшон и одежда жительницы гор. Возможно, она. Узаемон осторожно поднимает руку, но фигура медленно отворачивается, печально качая седой головой.

«Нет» — он не должен ее узнавать? Или «нет» — операция по спасению обречена на провал?

Переводчик надевает пару соломенных сандалий, оставленных на веранде, и идет через огород к бамбуковой роще. Тропа черной грязи и белой изморози петляет по ней.

За спиной, в гостинице, на переднем дворе, кукарекает петух.

«Шузаи и остальные, — думает он, — не знают, где я».

Соломенные сандалии не лучшим образом защищают мягкие стопы конторского самурая.

На сломанной ветке на уровне глаз сидит свиристель: его клюв открывается...

...горло вибрирует, раздается трель...

Птица короткими арками перелетает с одного насеста на другой, в глубь густой рощи.

Узаемон идет следом по косым полосам сумрака и темноты...

...сквозь давящую замкнутость, тонкие корки льда трещат под сандалиями.

Намного опередивший его свиристель зовет вперед или в сторону?

«Может, два свиристеля, — спрашивает себя Узаемон, — играют с одним человеческим существом?»

— Есть тут кто-нибудь? — Он не решается возвысить голос. — Отане

— сама?

Листья шуршат, словно бумага. Тропа заканчивается у бурной реки, коричневой и густой, как голландский чай.

Берег напротив — стена скал и валунов...

...поднимающаяся над сваленными стволами и перекрученными корнями.

«Мизинец ноги горы Ширануи, — думает Узаемон. — А на ее голове — Орито».

Ниже по течению или выше какой-то человек что-то кричит на неузнаваемом диалекте.

Но, возвращаясь по тропе к огороду у гостиницы Харубаяши, Узаемон попадает на скрытую в глубине бамбуковой рощи вырубку. Здесь, на темной гальке, лежат несколько десятков выглаженных морем камней, величиной с голову, окруженных невысокой, по колено, каменной стеной. Нет храма, нет тории, нет свисающих соломенных веревок со скрученными бумажками, поэтому переводчик быстро догадывается, что он находится на кладбище. Обхватив себя руками, чтобы согреться, он переступает через стену, чтобы присмотреться к камням. Галька скрипит и расползается под его ногами.

На камнях выбиты номера — не имена: до восьмидесяти одного.

Ростки бамбука выполоты, камни очищены от лишайника.

Узаемон задается вопросом: может, он принял за Отане кладбищенскую сторожиху?

«Скорее всего, она удрала, — думает он, — увидев, что к ней направляется самурай...»

Но какой буддийский орден отвергает упоминание посмертного имени на могильном камне? Без посмертного имени для внесения в Книгу мертвых владыки Энма — это знает каждый ребенок — душу завернут от ворот Следующего мира. И она целую вечность будет бродить привидением в мире живых. Узаемон предполагает, что похороненные — это младенцы, рожденные при выкидыше, преступники или самоубийцы, но вывод этот не кажется ему убедительным. Даже неприкасаемых хоронят с каким-то именем.

И никаких птичьих песен, замечает он, в этой зимней клетке.

— Скорее всего, господин, — хозяин гостиницы отвечает Узаемону, — вы видели дочь одного угольщика. Она живет с отцом и братом в

полуразвали вше мся доме с миллионом звезд вместо крыши за Двенадцатью полями. Постоянно блуждает то к реке, то от нее, господин. На голову слабая, да и хромоногая, и беременела два или три раза, но не прижились они, потому как папкой был или ее папка, или брат, и помрет она в той развалюхе одна, господин, потому что какая семья захочет так марать свою кровь?

— Но я видел старую женщину — не девушку.

— Кобылы Киоги более толстомясые, чем принцессы Нагасаки, господин. Местная девушка тринадцати или четырнадцати лет вполне сойдет за старуху, особенно в полумраке.

Узаемон в сомнении.

— А что это за секретное кладбище?

— О — о, это не секрет, господин: на нашем гостиничном жаргоне мы зовем его «покои постоянных жильцов». Часто путешественник заболевает в пути, господин, особенно во время паломничества, и вечером ложится спать в гостинице, а утром не просыпается. И хозяину такая смерть обходится в копеечку. Не можем же мы просто выбросить тело на обочину. Вдруг родственник придет? Или привидение начнет пугать постояльцев? Кто после этого будет останавливаться в такой гостинице? Но для настоящих похорон нужны деньги, как и для всего в этом мире, господин, чтоб спели, и чтоб камнетес сделал приличное надгробие, и чтоб участок земли отвели в храме... — Хозяин гостиницы качает головой. — Так что мой предок очистил место под кладбище для гостей, которые покидают сей мир в гостинице Харубаяши. Мы храним все регистрационные записи о гостях, лежащих там, и номера, соответствующие именам гостей, если они их называли, и сведения о том, кто захоронен, мужчина или женщина, какого возраста и все такое. Поэтому, если придут разыскивающие их родственники, мы поможем найти могилу.

Шузаи спрашивает:

— А часто ли появляются родственники у ваших умерших гостей?

— При мне не появлялись ни разу, господин, но мы все равно записываем. Моя жена моет камни каждый Обон.

Узаемон спрашивает:

— Когда здесь погребли последнее тело?

Хозяин поджимает губы:

— Все меньше путешественников пересекают Киогу, господин, после того как так хорошо отремонтировали Омурскую дорогу... Последний раз это случилось три года тому назад: один печатник лег в постель живой и здоровый, а утром его нашли холодным, будто камень. Заставляет

задуматься, правда?

Узаемона тревожит тон хозяина гостиницы.

— Задуматься о чем?

— Не только старых да больных смерть забирает в Черный паланкин.

Киогская дорога тянется вдоль побережья моря Ариаке, а затем уходит в леса. Один из наемников, Хане, идет позади всех, а другой, Иши, впереди.

— Необходимая предосторожность, — объясняет Шузаи из паланкина, — чтобы точно знать, что никто не следует за нами от Курозане и не поджидает впереди.

Дорога поднимается вверх, через несколько поворотов они пересекают реку Мекура и сворачивают на усыпанную листьями тропу, ведущую в ущелье. Доска приказов у замшелых тории отпугивает всех случайных прохожих. Здесь паланкин опускают на землю, из тайника в полу достается оружие, и на глазах Узаемона Дегучи из Осаки и его покорные слуги превращаются в наемников. Шузаи издает резкий свист. Узаемону он ничего не говорит, а для наемников это сигнал, что все идет по плану. Они бегут с пустым паланкином, поднимаясь все выше, минуя поворот за поворотом. Вскоре у переводчика перехватывает дыхание. Грохот водопада громче и ближе, и, обогнув недавнюю осыпь камней, они подходят к ущелью Мекура: перед ними ступени, вырубленные в скальном уступе в восемь — девять раз выше человеческого роста, заросшие папоротником и вьюнами. С уступа падает холодная река. Внизу вода бурлит и пенится.

Узаемон не может оторвать глаз от водопада...

«Она пьет из этой реки, — думает он, — там, где река — еще горный ручей».

...пока не раздастся посвист дрозда, из зарослей дикой камелии. Шузаи свистит в ответ. Листья раздвигаются, и появляются пять человек. Одеты простолюдинами, но в лицах читается та же военная жесткость, как и у других самураев, потерявших хозяина. «Давайте спрячем этот ящик с шестами, — Шузаи указывает на разбитый паланкин, — подальше от глаз».

Укрытый стеной камелий, в ложбине, паланкин забрасывают ветками и листьями. Шузаи представляет новичков вымышленными именами: Цуру — их командир с лунообразным лицом, Яги, Кенка, Мугучи и Бара. Узаемон, одетый паломником, представлен как Дзунреи. Новые люди выказывают ему сдержанное уважение, но лидером признают Шузаи. Считают ли наемники Узаемона ослепленным глупцом или благородным человеком — «А ведь можно, — уверен Узаемон, — быть и тем и другим».

одновременно» — сказать трудно. Самурай по имени Тануки коротко рассказывает о случившемся по пути из Саги в Курозане, а переводчик размышляет о том, с какой малости начался этот поход: травница Отане распознала, что творится в его сердце, аколиту Джирицу опротивели порядки ордена и гнусность Эномото, одно цеплялось за другое, что-то видимое, что-то — нет... и теперь Узаемон дивится, глядя на полотно, вытканное Судьбой.

— Первую часть нашего восхождения, — говорит Шузаи, — мы пройдем шестью группами по двое, отправляясь с пятиминутным интервалом. Первая пара — Цуру и Яги, вторая — Кенка и Мугучи, третья — Бара и Тануки, следующая — Кума и Иши, потом — Хане и Шакке, и последние — Дзунрей, — он смотрит на Узаемона, — и я. Мы соберемся вместе ниже ворот... — мужчины склоняются над нарисованной чернилами картой гористой местности, пар их дыхания перемешивается, — ...охраняющих этот природный гнойник. Я проведу Бару, Тануки, Цуру и Хане по утесу, и мы нападём на сторожку сверху, откуда атаки никак не ждут, сразу после того, как сменится стража. Мы свяжем их, заткнем рты и засунем в мешки. Они всего лишь крестьянские парни, поэтому незачем их убивать, разве что они сами не попросят. До Голого Пика еще два часа тяжелого марша, и монахи будут готовиться к ночи, когда мы туда прибудем. Кума, Хане, Шакке, Иши, вы перелезаете через стену здесь, — Шузаи разворачивает план храма, — на юго — западной стороне, где деревья ближе всего и гуще. Сначала проходите к этим воротам и впускаете нас в монастырь. Затем мы посылаем за их самым главным учителем. Ему мы говорим, что сестра Аибагава уходит с нами. Это произойдет мирно или после того, как двор завалит тела мертвых аколитов. Выбор за ним. — Шузаи смотрит на Узаемона. — Если ты не готов исполнить угрозу, тогда лучше и не угрожать.

Узаемон соглашается кивком, но при этом молится: «Пожалуйста, пусть никто не погибнет...»

— Лицо Дзунрей, — Шузаи объясняет всем, — знакомо Эномото по академии Ширандо. Хотя добрый хозяин гостиницы заверил нас, что Владыка-настоятель находится в Мияко, Дзунрей не должны опознать, даже со слов очевидцев. Вот почему ты не будешь принимать участия в штурме...

«Это никуда не годится, — думает Узаемон, — сидеть в стороне, как женщина».

— Я знаю, о чем ты думаешь, — кивает Шузаи, — но ты — не убийца.



Узаемон кивает, рассчитывая переубедить Шузаи по ходу подъема.

— Перед нашим уходом я предупрежу монахов, что без всякой пощады разделаюсь с любым, кто посмеет пойти следом. Мы уйдем с освобожденной пленницей. На обратном пути обрежем канаты моста Тодороки, чтобы выиграть время на завтра. Минуем Ворота — на- полпути в час Быка, спустимся по ущелью и вернемся сюда в час Кролика. Мы отнесем женщину в паланкине до Кашимы. Затем разойдемся и покинем этот феодалдолго до того, как в погоню пошлют всадников. Есть вопросы?

Зимний лес скрипуч, переплетен и запутан. Сухие листья лежат высокими сугробами. Иглы птичьих песен сшивают и пронзают всю глубину чащобы. Шузаи и Узаемон молча поднимаются по тропе. Река Мекура ревет, раздражает, настигает эхом. Гранитное небо накрывает долину.

Ближе к полудню подошвы Узаемона в пузырях, ноги начинают болеть.

Река Мекура становится гладкой и зеленой, словно бутылочное стекло чужеземцев.

Шузаи дает Узаемону масло, чтобы тот натер гудящие бедра и лодыжки, и говорит: «Главное оружие бойца на мечях — его ноги».

Стоя на круглом камне, замершая цапля выслеживает рыбу.

— Люди, которых ты нанял, — решается на разговор Узаемон, — похоже, верят тебе безоговорочно.

— Одни учились со мной у одного учителя в Имабари, большинство из нас служили вместе у мелкого владыки в феоде Ияо, у которого случались яростные стычки с соседом. Если остаешься в живых благодаря кому-то, этому человеку доверяешь больше, чем близкому родственнику.

Всплеск — и круги расходятся по нефритовой поверхности воды: цапли на камне больше нет.

Узаемон вспоминает своего дядю, который учил его бросать плоские камни, чтобы они подпрыгивали на воде. Он вспоминает старую женщину, которую видел на рассвете.

— Иногда у меня возникает ощущение, что у разума есть собственный разум. Он показывает картины. Картины прошлого и того, что может когда-то случиться. Разум разума проявляет свою волю, и у него появляется свой голос, — Узаемон смотрит на своего друга, который наблюдает за парящей высоко над ними хищной птицей. — Я говорю, как пьяный монах.

— Совсем нет, — бормочет Шузаи. — Совсем нет.

Выше и дальше им встречается известняковая стена. Узаемон начинает видеть части лица на изъеденном ветром, солнцем и дождем почти отвесном склоне. Выступ, похожий на лоб, выдающийся гребень — нос, пустоты от выветривания и каменные оползни — морщины и мешки. «Даже горы, — думает Узаемон, — когда-то молодые, тоже старятся и когда-нибудь умрут». Одна черная трещина под заросшим кустами навесом может быть глазом. Он представляет себе, как десять тысяч летучих мышей висят под этой неровной крышей...

...в ожидании теплого весеннего вечера, когда забьются их крохотные сердца.

Поднимающийся в гору человек, видит, что с увеличением высоты жизнь должна глубже прятаться от зимы. Жизненный сок растений уходит в корни, медведи спят, змеи следующего года — еще яйца.

«Моя нагасакская жизнь, — подводит итог Узаемон, — ушла, как и мое детство в Шикоку».

Узаемон думает о приемных родителях и жене, занятых своими делами, интригами и ссорами, но совсем не понимающих, что они потеряли приемного сына и мужа. Понимание займет много месяцев.

Он касается того места на поясе, где спрятаны письма Орито.

«Скоро, возлюбленная, скоро, — думает он. — Еще лишь несколько часов...»

Стараясь не вспоминать о догмах ордена, он вспоминает о них.

Его рука, замечает он, сжимает рукоятку меча с такой яростью, что белеют костяшки пальцев.

Он спрашивает себя: может, Орито уже беременна?

«Я буду о ней заботиться, — клянется он, — и воспитаю ребенка как своего».

Серебряные березы вздрагивают. «Чего бы она ни захотела — это закон».

— Как все произошло, — Узаемон задает вопрос, на который он никогда не решился бы ранее, — в первый раз, когда ты убил человека?

Корни сикоморы крепко вцепились в крутой склон. Шузаи проходит еще десять, двадцать, тридцать шагов, пока тропа не выводит их к широкому плещущемуся пруду. Он окидывает взглядом уходящую вверх тропу, окружающую местность, словно опасаясь засады...

...и склоняет голову набок, совсем как пес. Слышит что-то неслышное

Узаемону.

Улыбка воина говорит: «Один из наших».

— Убийство зависит от обстоятельств, как ты сам понимаешь. Или это хладнокровное, запланированное убийство, или случается внезапно, в разгаре боя, или обусловлено оскорблением чести, или более постыдными причинами. Однако скольких бы ты ни убил, первый раз — особенный. Это первая кровь, после которой человек уже не может жить обычной жизнью. — Шузаи становится на колени у края воды и пьет, зачерпнув ее ладонями. Рыба, чуть шевеля хвостом и плавниками, застыла на одном месте, сопротивляясь течению, мимо проплывает яркая ягода. — Тот мелкий владыка из Ияо, я тебе говорил о нем днем, — Шузаи залезает на камень. — Мне было шестнадцать лет, и я присягнул служить этому жадному болвану. История феода слишком длинна, чтобы рассказать ее сейчас, но моя роль в ней завела меня одной жаркой ночью шестого месяца на заросший лесом склон горы Ишизучи, где я отстал от своих товарищей. Квакание лягушек заглушало все прочие звуки, темнота ослепляла, и внезапно земля ушла у меня из-под ног. Я провалился во вражеский одиночный окоп. Разведчик такого не ожидал, как и я, а окоп, куда я попал, был таким тесным, что ни один из нас не мог вытащить меч. Мы пытели, изгибались, но никто не стал звать на помощь. Его руки нашли мою шею и принялись давить и душить, как сама Смерть. Перед глазами все затянуло красным, а он все сильнее сдавливал мне шею. Я подумал: «Вот и все...» — но Судьба придерживалась иного мнения. Давным — давно Судьба выбрала гербом для вражеского владыки месяц. Этот символ прикрепился к шлему моего душителя так плохо, что упал мне в ладонь, и я тут же воткнул острый металлический конец в прорезь для глаз маски, и еще дальше — в податливую мягкость, и еще глубже, и повернул из одной стороны в другую, словно нож. Его хватка разом ослабела, а через какие-то мгновения он и вовсе отпустил мою шею, руки упали, как плети.

Узаемон моет свои руки и пьет воду из заводи.

— После этого, — продолжает Шузаи, — на рынках, в городах, на перекрестках, в селениях...

От ледяной воды челюсть Узаемона вибрирует, как голландский камертон.

— ...я думал, что живу в этом мире, но не принадлежу ему.

Дикий кот проходит по упавшему вязу, перегораживающему тропу.

— Эта отстраненность, она метит нас, — Шузаи хмурится, — ... кругами у глаз.

Дикий кот смотрит на людей, которых совершенно не боится, зевает.

Он прыгает на камень, лакает воду и исчезает.

— Иногда я просыпаюсь ночью от того, — говорит Шузаи, — что его пальцы душат меня.

Узаемон прячется в глубоком, выкопанном природой кратере, похожем на дыру от выдранного зуба и расположенном выше тропы в густом переплетении корней, вместе с двумя наемниками, которых зовут Кенка и Мугучи. Кенка очень гибкий, движения его легкие и плавные. Мугучи — гораздо плотнее, говорит редко, отрывистыми фразами. Из кратера мужчинам видна часть ворот, на расстоянии полета стрелы. Дым поднимается над трубой сторожки. Наверху, на утесе, Шузаи и четверо наемников ожидают смены стражников. На другом берегу реки кто-то продирается сквозь лес.

— Дикий кабан, — бормочет Кенка. — По звукам, жирный и старый.

Они слышат далекий, глухой звон колокола, который, должно быть, доносится от храма на горе Ширануи.

Неправдоподобный, как театральная задник, Голый Пик прорисован в небе, по которому плывут тяжелые, серовато — черные облака.

— Дождь помог бы, — замечает Кенка, — хотя мог бы подождать, пока закончим. Смыл бы следы, наполнил реку, кони не смогли бы так быстро бежать по дорогам, и...

— Голоса? — Поднятая рука Мугучи требует тишины. — Слышите? Трое...

Узаемон ничего не слышит еще минуту — другую, а потом с тропы до него доносится сердитый голос, совсем близко: «До того, как мы поженились, она говорила: «Не — е-ет, после свадьбы я твоя, но только тогда», — а как только сыграли свадьбу, затыкнула другую песню: «Не — е-ет, я не в настроении, так что лапы прочь». Я всего-то задал ей трепку, чтобы научить уму — разуму, как поступил бы любой муж, и с тех пор демон, обитавший в жене кузнеца, запрыгнул в мою, и она на меня даже не смотрит. Даже развестись не могу с этой змеей, потому что ее дядя заберет назад лодку, и где я тогда буду?»

— На берегу, — отвечает его спутник, проходя внизу. — Больше нигде.

Трое сменщиков подходят к воротам. «Открывай, Бунтаро, — зовет один. — Это мы».

— «Мы», значит? — отвечает приглушенный голос. — И кто ж эти «мы» будут?

— Ичиро, Убэи и Тосуи, — отвечает один, — а Ичиро все стонет о своей жене.

— У нас найдется место для первых троих, а ту, последнюю, оставьте на тропе.

Десять минут спустя появляются три сменившихся стражника. «Давай, Бунтаро, — слышится голос одного, когда они оказываются в пределах слышимости. — Выкладывай пикантные подробности».

— Они останутся между мной, женой Ичиро и его никогда не лгущим матрасом.

— Да из тебя, я вижу, слова не выжмешь... — голоса затихают.

Узаемон, Кенка и Мугучи смотрят на ворота, ждут и слушают.

Минута проходит за минутой, еще одна... еще...

Заката нет, но дневной свет уверенно тает.

«Что-то случилось», — шипит страх в нутре Узаемона.

Мугучи провозглашает: «Готово!» Одна створка ворот открывается. Появляется фигура и машет рукой. Когда Узаемон спускается к тропе, другие мужчины уже находятся на пол пути к воротам. Кенка ожидает Узаемона у ворот и шепчет: «Ни слова». Узаемон поднимается на крыльцо, за ним — длинная комната, построенная на подпорках и сваях над рекой. Там он видит подставки для пик и топоров, перевернутый котелок для еды, тлеющий огонь в очаге и три больших мешка, подвешенных к стропилам. Один мешок качается, другой тоже, содержимое шевелится, выпирает то локоть, то колено. Ближний мешок, однако, висит неподвижно, будто наполненный камнями.

Бара вытирает метательный нож окровавленной тряпкой.

Река, текущая внизу, ругается человеческими словами.

«Не твой меч убил его, — думает Узаемон, — а твое присутствие здесь».

Шузаи ведет Узаемона через дальние ворота.

— Мы сказали, что не хотим причинить им зла. Мы сказали, что никто не пострадает. Мы сказали, что самурай никогда не сдается, а крестьянин и рыбак — обычное дело. Они согласились, чтобы их связали и заткнули им рты, но один захотел нас перехитрить. Там, в углу — дверь, и он бросился туда. Почти добежал, и если бы он удрал, все пошло бы для нас очень плохо. Метательный нож Бары вспорол ему горло, а Цуру не дал телу уплыть в Курозане.

«Так теперь жена Ичиро, — гадает Узаемон, — и любовница, и вдова?»

— Он не мучился, — Шузаи сжимает руку Узаемону. — Умер через несколько секунд.

К ночи возникает ощущение, что в ущелье Мекура еще не ступала нога человека, так здесь темно и тихо. Отряд из двенадцати человек идет колонной по одному. Тропа отдаляется от реки, поднимаясь все выше по крутому склону ущелья. Голые ветви буков и дубов сменяются хвойными деревьями. Шузаи выбрал безлунную ночь, но облака рассеиваются, и звездного света достаточно, чтобы разогнать темноту.

«Он не мучился, — думает Узаемон. — Умер через несколько секунд».

Ноги болят, он целиком сосредотачивается на ходьбе, стараясь больше ни о чем не думать.

«Тихая жизнь учителя, — Узаемон представляет себе будущее, — в тихом городке...»

Он ставит одну усталую ногу впереди другой и старается ни о чем не думать.

Может, убитый, как и я, хотел лишь тихой жизни...

Его прежнее желание принять участие в штурме монастыря растаяло как дым.

Перед мысленным взором возникает Бара, вытирающий метательный нож окровавленной тряпкой, снова и снова, пока, наконец, они не подходят к мосту Тодороки.

Шузаи и Цуру решают, как лучше обрушить его после завершения операции.

Кричит сова с кедра или с пихты... один раз, другой, близко... улетела.

Последний в этот день удар храмового колокола, громкий и близкий, возвещает час Петуха. «Прежде, чем он зазвонит в следующий раз, — думает Узаемон, — Орито обретет свободу». Они обматывают лица черной материей, оставляя узкую полоску для глаз и носа. Дальше идут бесшумно, не ожидая засады, но и не забывая об осторожности. Когда под ногами Узаемона трещит ветка, остальные гневно оборачиваются к нему. Подъем становится легче. Лает лиса. Перед ними похожий на тоннель ряд тории, дует сильный боковой ветер. Все останавливаются и собираются вокруг Шузаи. «Храм в четырехстах шагах впереди».

— Дзунрей-сан, — Шузаи поворачивается к Узаемону. — Вы подождете нас здесь. Помните мудрость: «Армию покупают за тысячу дней, чтобы использовать в один день». Этот день наступил. Сойдите от тропы, спрячьтесь, но постарайтесь не замерзнуть. Вы подошли ближе к цели, чем позволяет любому заказчику, так что в том, что вы будете ждать здесь, нет никакого позора. Как только мы закончим наши дела в монастыре, я пошлю за вами, но до этого момента не подходите к нему. Не

волнуйтесь. Мы — воины. Они — горстка монахов.

Узаемон чуть поднимается по обледеневшему склону и среди сосен находит ложбинку, позволяющую укрыться от злого ветра. Приседает и встает, приседает и встает, пока не устанут ноги, но все тело согревается. Ночное небо — загадочная рукопись. Узаемон вспоминает, как они с де Зутом изучали звезды на Сторожевой башне Дэдзимы прошлым летом, когда мир был проще. Он пытается представить себе иллюстрации к повести «Бескровное Освобождение Аибагавы Орито». Шузаи и три самурая перелезают через стену, три монаха у ворот, захваченные врасплох и связанные, главный монах, спешащий по двору, бормоча: «Владыка Эномото разгневается, но что мы можем поделать?» Орито будят, ей приказывают собираться в дорогу. Она повязывает платок, прикрывая прекрасное, обожженное лицо. В последней иллюстрации она узнает своего спасителя. Узаемон дрожит, начинает упражняться с мечом, но слишком холодно, не удается сконцентрироваться, поэтому он уходит в мысли, выбирая себе имя для новой жизни. Невольно Шузаи уже дал ему имя: Дзунрей — паломник, а каким будет его семейное имя? Это он обсудит с Орито. Возможно, мог бы принять ее: Аибагава. «Я искушаю Судьбу, — предупреждает он себя, — уже поверив в успех». Трет холодные, застывающие руки, спрашивая себя, как много прошло времени с того момента, как Шузаи и наемники ушли к храму, и понимает, что потерял счет. Восьмушка часа? Четверть? Колокол не звенел с тех пор, как они миновали мост Тодороки: у монахов нет никакой причины отбивать каждый час ночи. Как долго он должен ждать, чтобы прийти к выводу, что штурм провалился? А потом что? Если самураи Шузаи захвачены, на что рассчитывать бывшему переводчику третьего ранга?

Мысли о смерти крадутся сквозь сосны к Узаемону.

Как ему хочется, чтобы человеческое сознание сворачивалось в рулон, словно свиток...

— Дзунрей-сан, у нас...

Говорящее дерево до такой степени изумляет Узаемона, что он падает на спину.

— Мы не напугали вас? — Каменная тень — на самом деле наемник Тануки.

— Да, немного, — Узаемон успокаивает дыхание.

Кенка отходит от дерева.

— Женщина у нас, живая и здоровая.

— Это хорошо, — отвечает Узаемон. — Это очень, очень хорошо. Мозолистая ладонь находит Узаемона и поднимает его на ноги.

— Никто не пострадал? — Узаемон прежде всего хотел бы спросить: «С Орито ничего не случилось?»

— Никто, — отвечает Тануки. — Учитель Генму — человек мирный.

— Это означает, — добавляет Кенка, — что его храм не зальют кровью ради одной монахини. Но он — старый хитрый лис, и Дегучи-сан хочет, чтобы вы пришли и проверили, что этот мирный человек не надует нас, подсунув кого-то другого, а потом они забаррикадируют ворота.

— Там две монахини с обожженным лицом, — Тануки открывает маленькую фляжку и отхлебывает из нее. — Я заходил в Дом сестер. Что за странный зверинец собрал там Эномото! Вот, выпейте: согреет вас и прибавит сил. Ждать всегда труднее, чем действовать.

— Мне и так тепло, — Узаемона трясет. — Нет нужды.

— Вам предстоят три дня, за которые нужно уйти на триста миль от феода Киога, и, скорее всего, перебраться на Хонсю. Вы не доберетесь так далеко с промерзшими легкими. Пейте!

Узаемон соглашается с грубоватой добротой наемника. Жидкость обжигает горло.

— Благодарю вас.

Троица идет ктоннелю тории.

— Предполагая, что вы видели настоящую Аибагаву-сан, как она? Долгая пауза, от которой Узаемону становится не по себе.

— Изможденная, — отвечает Тануки, — но здоровая, как мне показалось. Спокойная.

— У нее острый ум, — добавляет Кенка. — Она не спросила, кто мы: сообразила, что нас могли услышать. Я могу понять, почему мужчина решил пойти так далеко и на такие расходы ради этой женщины.

Они уже идут по тропе, минуя одни ворота за другими.

Узаемон замечает, что у него подгибаются ноги. «От нервов», — думает он.

Но скоро тропа начинает покачиваться, как палуба корабля.

Последствия двух последних дней. Он успокаивает дыхание. «Худшее позади».

После тоннеля тории, дорога выпрямляется. Храм горы Ширануи возвышается перед ними.

Крыши торчат из-за высокой стены. Слабый свет пробивается из щели между створками ворот.

Он слышит клавишин доктора Маринуса. Думает:



— Невозможно.

Его щека вжимается в прихваченные морозом опавшие листья, мягкие, как женский живот.

Сознание входит через ноздри носа и расплзается по всей голове, но тело не может двигаться. Вопросы и предположения появляются сами по себе, будто толпа гостей, пришедших к больному. «Ты снова потерял сознание», — говорит один. «Ты в монастыре на горе Ширануи», — говорит другой, и потом все вместе: «Тебя опоили», «Ты сидишь на холодном полу», «Да, тебя опоили: Тануки постарался», «Руки у тебя связаны за колонной, к которой ты привалился за спиной, и лодыжки связаны», «Шузаи предал кто-то из его людей?»

— Он уже может слышать нас, настоятель, — говорит незнакомый голос.

Откупоренное горлышко стеклянной бутылочки скользит по ноздрям Узаемона.

— Благодарю вас, Сузаку, — этот голос знакомый, но еще не узнаваемый.

Запах риса, саке и соленых овощей предполагает помещение склада.

Письма Орито. Ощущение пустоты на животе. «Их нет».

Осиный рой боли перемещается по его туго соображающей голове.

— Открой глаза, младший Огава, — говорит Эномото. — Мы не дети.

Он повинуетя. Лицо владыки Киоги высвечивается из темноты лампой.

— Ты достойный ученый, — говорит лицо, — но жалкий вор.

Три или четыре человеческие тени наблюдают за ними из глубин склада.

— Я пришел сюда, — говорит Узаемон, — не для того, чтобы украсть что-то ваше.

— Зачем вынуждать меня говорить очевидное? Храм на горе Ширануи — часть феода Киога. Сестры принадлежат храму.

— Мачеха не имела права ее продать, а вы — купить.

— Сестра Айбагава — довольная всем служанка Богини. У нее нет желания уходить отсюда.

— Пусть она скажет мне это сама.

— Нет. Некоторые привычки ее прежней жизни надобно... — Эномото делает вид, что ищет правильное слово, — ...отсечь. Ее раны затягиваются, но только нерадивый Владыка-настоятель допустит, чтобы когда-то близкий ее сердцу мужчина вновь разбередил их.

«Другие, — думает Узаемон. — Что с Шузаи и остальными?»

— Шузаи жив, в порядке, — отвечает на высказанный вопрос Эномото. — Ест на кухне с другими десятью. Твой заговор доставил им некоторые проблемы.

Узаемон отказывается в это верить.

— Я знаю Шузаи десять лет...

— Он верный друг, — Эномото старается удержаться от улыбки. — Но не твой верный друг.

— Ложь, — настаивает Узаемон, — ложь. Уловка, призванная подобрать ключ к моим мыслям...

— Зачем мне врать? — Темно — синий шелк всплескивается вверх, когда Эномото подсаживается поближе. — Да и вообще, такое завершение истории жизни Огава Узаемона вызывает досаду. Усыновленный некогда знаменитой семьей, поднявшийся благодаря своему таланту до высокого ранга, наслаждающийся уважением Академии Ширандо, постоянным доходом, красивой женой и завидной возможностью торговли с голландцами. Кто бы захотел большего? Огава Узаемон захотел большего! Он заразился болезнью, которую весь мир называет любовью. И, в конце концов, она его и погубила.

Человеческие тени приходят в движение.

«Я не стану умолять его о пощаде, — клянется Узаемон, — но я должен узнать, что и почему».

— Сколько вы заплатили Шузаи за предательство?

— Да перестаньте! Услуга владыке Киоги дороже любых денег.

— Там был юноша, стражник, его убили у Ворот — на- полпути...

— Шпион на службе владыки Саги: твоя авантюра предоставила нам отличную возможность избавиться от него.

— Зачем тащить меня на гору Ширануи?

— Убийство в Нагасаки могло привести к неудобным вопросам, и, как это романтично, твоя смерть так близко от возлюбленной: она же в считанных шагах от тебя! Я не смог устоять перед таким искушением.

— Позвольте мне ее увидеть. — Осы в голове Узаемона гудят все громче. — Или я убью вас, когда приду сюда с той стороны.

— Это ж надо, предсмертное проклятие от ученого Ширандо! Увы, у меня есть доказательства, установленные опытным путем, которые примет Декарт и даже доктор Маринус, что проклятие умирающего не работает. Много лет тому назад многие сотни мужчин, женщин и даже детей поклялись утащить меня в ад. Но тем не менее, как ты видишь, я все еще здесь: расхаживаю по этой прекрасной земле.

«Он хочет увидеть мой страх».

— Значит, вы верите в безумные догмы ордена?

— О да. Мы нашли несколько интересных писем у тебя, но не тот кизилковый футляр. Хорошо, я не буду обещать, что ты можешь купить им свою жизнь: твоя смерть стала необходимостью в тот самый час, когда травница постучала в твои ворота. Но ты можешь спасти резиденцию Огава от уничтожающего огня, который сожжет все в шестом месяце года. Что скажешь?

— Два письма, — врет Узаемон, — переданы сегодня Огаве Мимасаку. Одно вычеркивает меня из списка членов семьи Огава. Другое оповещает о разводе с женой. К чему уничтожать дом, который более никоим образом со мной не связан?

— Просто от злости. Отдай мне свиток или умрешь, зная, что они тоже умрут.

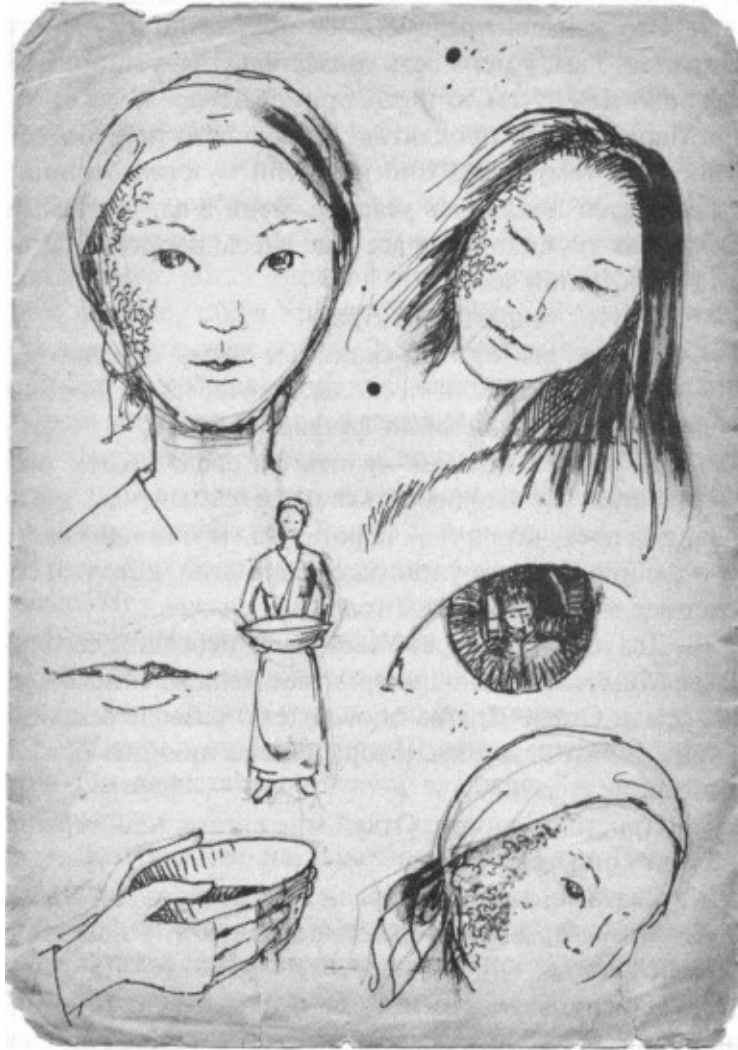
— Скажите, зачем вы украли дочь доктора Аибагавы?

Эномото принимает решение пойти ему навстречу и объяснить:

— Я испугался, что могу ее потерять. Страница из дневника голландца попала ко мне в руки, благодаря доброй службе твоего коллеги Кобаяши. Посмотри. Я принес ее.

Эномото разворачивает лист европейской бумаги и показывает Узаемону:

«Сохрани это, — приказывает памяти Узаемон. — Покажи мне ее в самом конце».



— Де Зут рисует хорошо, — Эномото складывает бумажный лист. — Достаточно хорошо, чтобы вдова Аибагавы Седжан забеспокоилась о том, что у голландца появились планы на самое ценное достояние семьи. Словарь, который твой слуга тайком притащил Орито, доказал это. Мой человек убедил вдову отказаться от похоронного протокола, предусматривающего долгий траур, и решить будущее ее падчерицы без лишних формальностей.

— Вы рассказали той жестокосердной женщине о ваших безумных обычаях?

— Что земляной червь знает о Копернике, то и ты знаешь о догмах.

— Вы держите гарем уродиц для забав монахов...

— Ты не слышишь, как начинаешь говорить, словно ребенок, который вечером тянет время, чтобы его не отправили в постель?

— А почему тогда не выступить в Академии, — спрашивает

Узаемон, — с докладом о...

— Почему вы, смертные комары, полагаете, что мне важно, поверите вы в это или нет?

— ...об убийстве ваших «собранных Даров», чтобы «извлечь эссенцию их душ»?

— Это твой последний шанс спасти дом Огавы от...

— А потом разлить по бутылкам, словно духи, и «вдыхать», как лекарство, пытаясь отодвинуть приход смерти? Почему не разделить магическое откровение со всем миром? — Узаемон хмуро смотрит надвигающиеся фигуры. — Вот моя догадка: потому что внутри вас еще есть малая часть, которая не обезумела, ваш внутренний Джирицу, и она говорит: «Это зло».

— О — о, зло. Зло, зло, зло. Вы всегда используете это слово, словно оно — меч, а не глупое самомнение. Когда ты высасываешь желток из яйца, это что, зло? Выживание — закон Природы, и мой орден хранит — или, лучше того, являет собой — секрет выживания, отрицания смерти. Новорожденные младенцы представляют собой лишь насущную необходимость: после первых двух недель жизни укоренившуюся в теле душу извлечь уже невозможно, а пятьдесят членов ордена нуждаются в устойчивых поставках, да еще надо покупать благорасположение кое — кого из политической элиты. Твой Адам Смит все прекрасно понял бы. Более того, без ордена эти Дары не родились бы вообще. Они — составляющие, изготавливаемые нами. И где тут твое «зло»?

— Красноречивое безумие, Владыка-настоятель Эномото, остается безумием.

— Мне больше шестисот лет. А ты умрешь через несколько минут...

«Он верит в эти догмы, — видит Узаемон. — Он верит в каждое слово».

— ...так кто сильнее? Твои доводы? Или мое красноречивое безумие?

— Освободите меня, — говорит Узаемон, — освободите госпожу Аибагаву, и я расскажу вам, где находится сви...

— Нет — нет, никаких переговоров. Никто за пределами ордена не может узнать наши догмы и остаться в живых. Ты должен умереть, как Джирицу, и эта вечно сующая нос в чужие дела старая травница...

Узаемон рычит от горя:

— Она никому не причиняла вреда.

— Она хотела навредить моему ордену. Мы защищаем себя. Но я хочу, чтобы ты взглянул на это — артефакт Судьбы, принявшей облик голландца Ворстенбоса, который продал его мне, — Эномото подносит к лицу

Узаемона пистоль, сделанный иностранцами. — Инкрустированная перламутром рукоять, а мастерство изготовления достаточно высокое, чтобы не верить конфуцианцам, отрицающим наличие души у европейцев. Он дожидался тебя с того самого момента, как Шузаи поведал мне о твоих героических планах. Смотри, смотри, Огава, это тебя касается. Сначала курок поднимается до «половины взвода». Потом пистоль заряжается со стороны «дула». Сыпется порох, за ним следует свинцовый шарик, завернутый в бумагу. Заряжается «шомполом», который крепится под стволом...

«Сейчас, — сердце Узаемона стучит кровавым кулаком. — Сейчас, сейчас...»

— ...затем насыпаем на открытую полку, сюда, немного пороха, закрываем крышкой, и теперь наш пистоль «заряжен и готов». Сделано за половину голландской минуты. Да, опытный лучник может посылать стрелу за стрелой в мгновение ока, но на изготовление пистоля уходит гораздо меньше времени, чем на подготовку опытного лучника. И любой сын говновоза может вытащить такой и уложить на землю всадника — самурая. Наступит день — ты его не увидишь, в отличие от меня, — когда такое оружие перевернет наш замкнутый мир. Нажимается курок, кремь бьется об «огниво», крышка открывается, искра зажигает полочный заряд, от которого пламя через «запальное отверстие» попадает в камеру основного порохового заряда, и свинцовый шарик пробивает твое...

Эномото прижимает ствол пистолета к сердцу Узаемона.

Узаемон чувствует, как струйка теплой мочи стекает по бедрам, но слишком напуган, чтобы устыдиться этого.

«Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас...»

— ...или, может... — дуло пистолета «целует» висок Узаемона.

«Сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас...»

— Животный страх, — шепот вползает в ухо Узаемона, — наполовину растворил твое сознание, потому я дам тебе пищу для ума. Музыка, скажем так, небес. Аcolиты Ордена Горы Ширануи посвящены в двенадцать догм, но их не посвящают в тринадцатую, пока они не становятся учителями... одного из них ты видел этим утром, это хозяин гостиницы Харубаяши. Тринадцатая заповедь говорит о том, что должно быть в конце. Если бы наши сестры — и экономки тоже — спустились в мир внизу и открыли бы для себя, что никто никогда не видел живыми их Дары, их детей, возникли бы вопросы. Чтобы избежать подобных неприятностей, Сузаку дает им во время ритуала Расставания одно мягкое снадобье. Это питье приносит им

упокоение без сна и видений задолго до того, как их паланкины выносят из ущелья Мекура. Затем их хоронят в той бамбуковой роще, на том самом кладбище, куда ты забрел утром. А вот тебе и последняя мысль: твоя детская затея спасти Аибагаву Орито не просто приговорила ее к двадцати годам службы: неуместным вмешательством ты убил ее.

Пистоль замирает у лба Узаемона...

Он отдает свое последнее мгновение молитве. «Отомсти за меня».

Клик, пружина, приглушенный скулеж... ничего... пока... но...

«Сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчассейчассейчассейчас...»

Гром раздирает щель, из которой вырывается солнце

**Часть третья. Мастер го Седьмой месяц  
тринадцатого года эпохи Кэнсей**

*Август 1800 год*



## Глава 27. ДЭДЗИМА

*Август 1800*

В прошлый торговый сезон Моисей вырезал ложку из кости. Красивую ложку, в форме рыбы. Хозяин Грот увидел красивую ложку и сказал Моисею: «Рабы едят пальцами. Рабам ложки не нужны». Потом хозяин Грот забрал красивую ложку. Позже я проходил мимо хозяина Грота и японского господина. Хозяин Грот говорил: «Эта ложка сделана руками самого Робинзона Крузо». Позже Сиако слышал, как хозяин Баерт говорил хозяину Осту, что японский господин заплатил пятью лакированными мисками за ложку Робинзона Крузо. Д'Орсаи сказал Моисею, чтобы в следующий раз тот прятал свою ложку получше и сам менялся с кули или с плотниками. Но Моисей ответил: «Зачем? Когда хозяин Грот или хозяин Герритсзон перетряхнут соломенный матрас, они найдут все мое и возьмут себе. Они говорят: «У рабов нет собственности. Они сами чья-то собственность»».

Сиако сказал, что хозяева не позволяют рабам иметь ценные вещи или деньги, потому что раб с деньгами убежит очень быстро. Филандер сказал, что такие разговоры — плохие. Купидо сказал Моисею, что хозяин Грот ценил бы его больше и точно бы относился получше, если бы он вырезал больше ложек и отдавал их хозяину Гроту. Я сказал, такие слова — правда, если хозяин хороший, а если плохой, то никогда не будут правдой.

Купидо и Филандер — любимчики у голландских чиновников, потому что они играют музыку, когда хозяева обедают. Они называют себя слугами и говорят разные голландские слова, «парики» там, или «шнурки». Они говорят «моя флейта» и «мои чулки». Но и флейта Филандера, и толстая скрипка Купидо, и их красивые костюмы принадлежат хозяевам. У них нет обуви. Когда Ворстенбос уехал в прошлом году, он продал их ван Кли-фу. Они говорят, что их «передали» от прежнего директора нынешнему, но их продали каждого за пять гиней.

Нет, раб даже не может сказать: «Это мои пальцы» или: «Это моя кожа». У нас нет тел. У нас нет семей. Как-то Сиако говорил о «моих детях там, в Батавии». Они родились от него, да. Но для его хозяина они — не «его». Для его хозяина, Сиако — конь, от которого получился жеребенок у лошади. Вот доказательство: когда Сиако горько жаловался, что не видел своей семьи много лет, хозяин Фишер и хозяин Герритсзон очень сильно его избили. Сиако ходит сейчас с палкой. Он говорит меньше.

Однажды я задумался над вопросом: мое имя принадлежит мне? Я не говорю об имени раба. Мое рабское имя меняется по желанию хозяина. Работоторговцы ачехи [76], укравшие меня, дали мне имя Прямые Зубы. Голландец, купивший меня на батавском рынке рабов, назвал меня Вашингтоном. Он был плохой хозяин. Хозяин Ян называл меня Ян Фен. Он научил меня шить и кормил меня такой же едой, как и своего сына. Моим третьим хозяином стал ван Клиф. Он назвал меня Ве, потому что ошибся. Когда он спросил хозяина Яна — всякими умными голландскими словами — как меня зовут, китаец решил, что вопрос: «Откуда он здесь?» — и ответил: «С острова Ве», — и мое следующее рабское имя стало таким. Но эта ошибка — хорошая для меня. На Ве я не был рабом. На Ве я жил с моим народом.

Мое настоящее имя я не скажу никому, чтобы никто не украл его.

Ответ, я думаю, «да»: мое настоящее имя принадлежит мне.

Иногда другая мысль появляется у меня: «Мои воспоминания принадлежат мне?»

Воспоминания о моем брате, ныряющем в воду со скалы — черепахи, гибком и смелом...

Воспоминания о тайфуне, гнущем деревья, как траву, о ревушем море...

Воспоминания о моей усталой доброй матери, укачивающей нового младенца, поющей...

Да, как и мое настоящее имя, мои воспоминания принадлежат мне.

Однажды, я подумал и такое: «Мои мысли принадлежат мне?»

Ответ скрывался в тумане, и я спросил слугу доктора Маринуса, Илатту.

Илатту ответил, что да, мои мысли рождаются в моем сознании, и потому они — мои. Илатту сказал, что мне принадлежит мое сознание, если я этого захочу. Я спросил: «Даже рабу?» Илатту сказал, да, если разум — крепость. Тогда я превратил свой разум в остров, как Ве, защищенный со всех сторон глубоким синим морем. На моем острове — разуме нет дурно пахнущих голландцев, или надсмехающихся малайских слуг, или японцев.

Мое тело принадлежит хозяину Фишеру, но ему не принадлежит мое сознание. Это я знаю, потому что я испытывал себя. Когда я брею хозяина Фишера, я представляю себе, как режу ему горло. Если бы мое сознание принадлежало ему, он бы читал мои мысли. Но вместо того, чтобы наказать меня за них, он просто сидит с закрытыми глазами.

Но я обнаружил: если разум принадлежит тебе, то возникают

проблемы. Пребывая на своем острове — разуме, я становлюсь свободным, как любой голландец. Там я ем каплунов, и манго, и засахаренные сливы. Там я лежу на теплом песке с женой хозяина ван Клифа. Там я строю лодки и плету паруса с моим братом и моим народом. Если я забываю их имена, то они тут же напоминают мне. Мы говорим на языке Ве, и пьем каву, и молимся нашим предкам. Там я не шью, не драю, не приношу и не тащу ничего для хозяев.

А потом до меня доносится: «Ты слышишь меня, сонный пес?»

А потом до меня доносится: «Если ты сейчас не шевельнешься, то отвоедаешь моего кнута!»

Каждый раз, возвращаясь со своего острова — разума, я вновь попадаю к работоторговцам.

Когда я возвращаюсь на Дэдзиму, болят шрамы, пусть и не слишком сильно, оставшиеся после того, как меня схватили.

Когда я возвращаюсь на Дэдзиму, я чувствую, как уголь гнева тлеет внутри.

Слово «мое» приносит наслаждение. Слово «мое» приносит боль. Это истинные слова, как для хозяев, так и для рабов. Когда они напиваются, мы становимся для них невидимыми. Их разговор крутится вокруг собственности, или прибылей, или убытков, или покупки, или продажи, или кражи, или найма, или сдачи в аренду, или возможности кого-то надуть. Для белых людей жить — означает владеть, или попытаться завладеть еще большим, или умереть, когда пытаешься завладеть. Их аппетиты потрясают! Они владеют одеждой, рабами, повозками, домами, складами и кораблями. Они владеют портами, городами, плантациями, долинами, горами, островами. Они владеют этим миром, джунглями, небом и морями. И все равно жалуются, что Дэдзима для них — тюрьма. Они жалуются, что несвободны. Только доктор Маринус свободен от этих жалоб. Кожа у него — белого человека, но по глазам видно, что его душа не такая, как у белого человека. Его душа гораздо старше. На Ве мы бы звали его квайо. Квайо — это предок, который не остается на острове предков. Квайо возвращается, и возвращается, и возвращается, каждый раз — в новом ребенке. Хороший квайо может стать шаманом, но нет ничего хуже в этом мире, чем плохой квайо.

Доктор убедил хозяина Фишера, что меня надо обучить голландскому письму.

Хозяину Фишеру эта мысль сначала не понравилась. Он сказал, что раб, умеющий читать, может навредить себе «революционными настроениями». Он сказал, что видел такое на Суринаме. Но доктор

Маринус настоял, чтобы хозяин Фишер подумал о том, какую пользу я смогу принести в бухгалтерии и как много денег он получит, если вдруг захочет меня продать. Эти слова поменяли мнение Фишера. Он посмотрел на господина де Зута, который сидел за обеденным столом. Сказал: «Клерк де Зут, у меня для вас отличное задание».

Когда хозяин Фишер заканчивает трапезу на кухне, я следую позади него в дом заместителя директора. Мы переходим Длинную улицу, и я должен нести зонтик, чтобы его голова всегда оставалась в тени. Это нелегко. Если кисточка зонтика касается его головы или солнце заглядывает ему в глаза, он бьет меня за халатность. Сегодня у моего хозяина плохое настроение, потому что он потерял много денег в карточной игре у хозяина Грота. Он останавливается прямо посередине Длинной улицы. «В Суринаме, — кричит он, — они знают, как выучивать таких вонючих негритянских псов, как ты!» Затем он бьет меня в лицо, сильно, как может, и я роняю зонтик. Он кричит на меня: «Подними!» Когда я сгибаюсь, чтобы поднять, он пинает меня в лицо. Это любимый трюк хозяина Фишера, поэтому я заранее поворачиваю голову, чтобы удар пришелся не по носу, но я притворяюсь, что мне очень больно. Если так не сделать, он почувствует себя обманутым и пнет еще раз. Он говорит: «Это тебе урок за то, что бросил принадлежащую мне вещь в пыль!» Я отвечаю: «Да, хозяин Фишер», — и открываю дверь в его дом.

Мы поднимаемся по лестнице к его спальне. Он ложится на кровать и говорит: «Такая чертова жара в этой чертовой тюрьме...»

Очень много разговоров о «тюрьме» этим летом, потому что корабль из Батавии еще не прибыл. Белые хозяева опасаются того, что он вообще не придет и что не будет торгового сезона. И нет никаких новостей с острова Ява. Белые хозяева, которым пора возвращаться, не смогут вернуться. Не смогут вернуться также слуги и рабы.

Хозяин Фишер бросает носовой платок на пол и бурчит: «Дерьмо!»

Этим голландским словом и ругаются, и обзываются, но в этот раз хозяин Фишер приказывает мне поставить горшок для оправлений в его любимый угол. Внизу, у лестницы, есть нужник, но он слишком ленивый, чтобы спуститься вниз. Хозяин Фишер встает, расстегивает бриджи, усаживается над горшком и кряхтит. Я слышу гулкий шлепок. Вонь змеей проползает по комнате. Затем хозяин Фишер застегивает бриджи. «Не стой столбом, сонная Гоморра...» Его речь чуть замедленная, потому что за ленчем он выпил виски. Я накрываю деревянной крышкой горшок, выхожу из дома и направляюсь к навозной яме. Хозяин Фишер говорит, что не

может терпеть грязь в своем доме, поэтому я не могу почистить горшок в нужнике, как делают все рабы.

Я иду подлинной улице к перекрестку, поворачиваю в переулок Костей, потом налево по алее Морской стены, до самого конца, и опорожняю горшок, вываливая содержимое на навоз, невдалеке от задней стены больницы. Облако мух жужжит и клубится. Я щурюсь, словно желтокожий, и морщу нос, чтобы мухи не отложили в нем яйца. Потом я мою горшок морской водой из бочки. На дне горшка для оправлений хозяина Фишера нарисовано странное здание, называется мельница, из мира белого человека. Филандер говорит, что они делают хлеб, но, когда я спросил: как, он назвал меня невежей. Это значит — он сам не знает.

К дому заместителя директора я иду самой длинной дорогой. Белые хозяева жалуются на жару все лето, но я люблю, когда солнце прожигает мои кости, потому что так я смогу прожить зиму. Солнце напоминает мне о Ве, моем доме. Когда я прохожу мимо свиного хлева, д'Орсаи видит меня и спрашивает, почему хозяин Фишер ударил меня на Длинной улице. Я корчу гримасу и спрашиваю: «Хозяевам нужны причины для этого?» — и д'Орсаи согласно кивает. Мне нравится д'Орсаи. Он родился на Мысе, на полпути к миру белых людей. У него самая черная кожа из нас всех. Доктор Маринус говорит, что он готтентот [\[77\]](#), но все зовут его Валет Пик. Он спрашивает меня, буду ли я сегодня днем учиться письму и чтению у хозяина де Зута. Я отвечаю: «Да, если только хозяин Фишер не даст мне другую работу». Д'Орсаи говорит, что писать — это волшебство, и я должен этому научиться. Д'Орсаи говорит мне, что хозяин Оувеханд и хозяин Туоми играют в бильярд в Летнем доме. Это предупреждение: мне надо идти побыстрее, чтобы хозяин Оувеханд не доложил хозяину Фишеру о том, что я стоял на улице и болтал.

Вернувшись в дом заместителя директора, я слышу храп. Я тихонько поднимаюсь по лестнице, зная, какая ступенька скрипит, а какая — нет. Хозяин Фишер спит. Сложность в одном: если я пойду к хозяину де Зуту на урок без разрешения хозяина Фишера, то он накажет меня за своеволие. Если я не пойду к хозяину де Зуту, то хозяин Фишер накажет меня за лень. А если я разбужу хозяина Фишера и спрошу его разрешения — он накажет меня за прерванный послеполуденный сон. В конце концов, я ставлю горшок под кровать хозяина Фишера и иду. Может, вернусь раньше, чем он проснется.

Дверь Высокого дома, где живет хозяин де Зут, приоткрыта. За боковой дверью находится большая, закрытая на замок, комната, в которой много пустых ящичков и бочек. Я стучу по самой нижней ступеньке лестницы и

жду, чтобы услышать голос хозяина де Зута: «Это ты, Ве?» Но сегодня ответа нет. Удивленный, я поднимаюсь по лестнице — и не так, чтобы тихо, наоборот, хочу, чтобы он услышал меня. Но привычного вопроса нет. Хозяин де Зут редко спит после обеда, но, может, жара сегодня подействовала на него. Поднявшись на второй этаж, я прохожу сквозь комнатку, где живет переводчик во время торгового сезона. Дверь хозяина де Зута приоткрыта, и тогда я в нее заглядываю. Он сидит за низким столиком. Меня не замечает. Лицом не похож на себя. Свет в его глазах — темный. Он напуган. Его губы беззвучно шевелятся, выговаривая слова. На моем родном острове мы бы сказали, что его заколдовал плохой квайо.

Хозяин де Зут смотрит на свиток, который держит в руках.

Это — не книга белого человека, это — свиток желтого человека.

Я слишком далеко, чтобы все разглядеть, но буквы на бумаге совсем не голландские.

Это — письмо желтого человека: хозяин Ян и его сыновья писали такими буквами.

Рядом со свитком, на столе хозяина де Зута, лежит его тетрадь. Некоторые китайские слова написаны рядом с голландскими. Я догадываюсь: хозяин де Зут переводил свиток на свой язык. В результате освободилось плохое заклинание, и это плохое заклинание овладело им.

Хозяин де Зут чувствует, что я здесь, и поднимает на меня глаза.

## Глава 28. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА НА БОРТУ КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ», ВОСТОЧНО — КИТАЙСКОЕ МОРЕ

*Около трех часов  
полудни 16 октября  
1800 г.*

«В действительности все выглядит так — (читает Джон Пенгалигон), — будто природа образовала сии острова, чтобы создать небольшой мир, отдельный и не зависимый от остального, максимально затруднив путь для его достижения и наделив изобильно всем необходимым для радостной и приятной во всех отношениях жизни населяющих его людей, позволяя им существовать безо всякой торговли с чужеземными государствами...»

Капитан так зевает, что трещит челюсть. Лейтенант Хоувелл заявляет, что не существует лучшего описания Японии, чем у Энгельберта Кемпфера, несмотря на давность написания, но, когда Пенгалигон доходит до конца предложения, начало уже теряется в тумане. Через кормовое окно он наблюдает за зловещим, меняющимся горизонтом. Пресс — папье из китового зуба скатывается со стола, и он слышит Уэца, мастера паруса [78], который приказывает закрепить все на полубаке. «Вовремя», — думает капитан. Желтое море поменяло свой цвет с утренней голубизны на грязно — серый под небом чешуйчатого олова.

«Где Чигуин, — гадают он, — и где мой, черт возьми, кофе?»

Пенгалигон поднимает пресс — папье, и боль кусает правую лодыжку.

Он щурится на барометр, стрелка которого застряла на «м» в слове «Переменно».

Капитан возвращается к Энгельберту Кемпферу, к середине предложения, полного нелогичности: из слов «всем необходимым» вроде бы следует, что все люди одинаковы, хотя в действительности нужды короля очень отличаются от нужд собирателя тростника, распутника — от архиепископа, современного человека — от его деда. Он открывает записную книжку и, хоть качка и мешает, пишет:

«Какой провидец по торговой части мог, скажем, в году 1700–м

предположить, что наступит время, когда простые граждане смогут потреблять чай ведрами, а сахар — мешками? Какой подданный Уильяма и Мери <sup>[79]</sup> мог бы предугадать «нужду» нынешней многочисленной толпы в хлопковых простынях, кофе и шоколаде? Человеческие потребности диктуются модой, и, по мере того, как новейшее меняет устаревшее, меняется и лицо мира...»

Качка становится такой сильной, что продолжать писать невозможно, но Джон Пенгалигон доволен уже написанным, и его подагра успокоилась, на время. «Красиво излагаю». Он достает из секретера зеркало для бритвы. Благодаря сладким пирогам лицо в зеркале стало толстым, от бренди — красным, от печали глаза запали, а плохая погода растрепала волосы, но что возвращает человеку силу — и прославляет его имя — быстрее, чем успех?

Он представляет себе свое первое выступление в Вестминстере.

— Кто-то вспомнит, что «Феб», — сообщит он восхищенным лордам, — кто-то вспомнит, что мой «Феб» — не пятипалубный линейный корабль с хором громоподобных орудий, но всего лишь скромный фрегат с двадцатью четырьмя восемнадцатифунтовками. Его бизань — мачта осталась в Формозском проливе, канаты потеряли прочность, парусина истончилась, половина провианта, взятого в форте Корнваллис <sup>[80]</sup>, сгнила, а престарелая помпа сопела, словно лорд Фолмаут на разочарованной шлюхе, и с тем же успехом... — зал взорвется смехом, а его давний враг убежит из зала, чтобы умереть от позора в своей горностаевой мантии, — но сердце «Феба», мои лорды, было настоящим английским дубом, и, ударив молотом по наглухо закрытым воротам Японии, мы сделали это с решительностью, каковая присуща нашей нации. — Их светлости будут замороженно молчать, жадно ловя каждое его слово. — Медь, которую мы захватили у этих вероломных голландцев в тот октябрьский день, составила лишь незначительную часть добычи. Нашим настоящим призом и славным наследием «Феба» стал рынок, господа, для продукции наших мельниц, шахт, плантаций и фабрик, и благодарность Японской империи за то, что ее перенесли из феодального сомнамбулизма в наш современный век. Утверждение, что мой «Феб» перерисовал политическую карту Восточной Азии заново — не преувеличение. — Лорды начнут соглашаться кивками и криками: «Правильно! Правильно!» — а лорд — адмирал Пенгалигон продолжит:

— Присутствующим членам августейшего кабинета министров



прекрасно известно о различных инструментах Истории, используемых для перемен: язык дипломатов, яд заговоров, милость монарха, тирания папы римского...

«Боже, — думает Пенгалигон, — как замечательно: позже я должен это записать».

— ...а потому великая почеть выпала на мою долю в первый год девятнадцатого столетия, История выбрала один отважный корабль — «Феб», фрегат Его королевского величества, чтобы распахнуть дверь в самое закрытое государство современного мира — во славу Короля и Британской империи!

И к этому мгновению даже последний негодяй из присутствующих в зале, будь он вигом, тори, независимым, епископом, генералом и адмиралом, должен, как и все остальные, прыгать от радости и яростно хлопать в ладоши.

— Капи... — за дверью чихает Чигуин, — ...тан?

Его молодой стюард, сын главного корабельного плотника в Чатеме, который в свое время не сумел вернуть важный долг, заглядывает в каюту: «Джонс мелет зерна, сэр. И уже велел старине Гарри растопить плиту».

— Я приказал тебе принести кружку кофе, Чигуин, а не кружку с оправданиями.

— Так точно, сэр, извините, сэр, кофе будет готов через несколько минут. — След улиточной слизи блестит на рукаве Чигуина. — Но те скалы, о которых говорил мистер Сниткер, замечены по правому борту, сэр, и мистер Хоувелл посчитал, что вы захотите взглянуть на них.

«Ладно, отстань от парня».

— Да, надо взглянуть.

— Будут ли какие-нибудь указания насчет обеда, сэр?

— Лейтенанты и мистер Сниткер будут обедать со мной сегодня вечером, так что...

Они с трудом удерживаются на ногах, когда «Феб» слетает с огромной волны.

— ...передайте Джонсу, пусть приготовит куриц, которые больше не несутся. У меня нет места на корабле для бездельников, даже для тех, кто в перьях.

Пенгалигон поднимается по трапу на спардек, где ветер бьет его в лицо и раздувает легкие, как пару новых гофрированных трубок. Уэц стоит за штурвалом, одновременно поучая кучку не без труда держащихся на ногах гардемарин, как управляться с непокорным румпелем в бурном

море. Они отдают честь капитану, который кричит против ветра: «Что думаете о погоде, которая ждет нас впереди, мистер Уэц?»

— Хорошая новость, сэр, — облака уходят к востоку; плохая новость — ветер меняется на румб к северу и прибавляет пару узлов. По поводу помпы, сэр, мистер О'Лохлэн ухитрился подсоединить новую цепь, но он думает, что появилась еще одна течь: крысы прогрызли чертову корму в пороховом складе.

«Если они не жрут нашу еду, — думает Пенгалигон, — то принимают жрать мой корабль».

— Скажите боцману, чтобы устроил охоту. За десять хвостов — одна кварта.

Уэц чихает, и его слюной обдаёт стоящих под ветром гардемарин.

— Такой спорт людям всегда по душе.

Пенгалигон проходит по покачивающемуся юту, который выглядит не как обычно: хоть Сниткер и сомневается в том, что японские сторожевые посты смогут отличить американский торговый корабль от фрегата Королевского флота с зачехленными пушечными портами, капитан ничего не принимает на веру. Лейтенант Хоувелл стоит у поручней на юте, рядом с низложенным директором Дэдзимы. Хоувелл чувствует приближение капитана, поворачивается и отдает честь.

Сниткер поворачивается и кивает, словно равный по статусу. Указывает на каменный островок, который они осторожно обходят, держась в четырехстах или пятистах ярдах:

— Ториносима.

«Ториношима, капитан», — в уме поправляет его Пенгалигон и разглядывает островок. Ториношима — скорее огромная скала, чем маленький Гибралтар, покрытая птичьим пометом, отсюда доносятся хриплые крики морских птиц. Обрывистая со всех сторон, кроме одного участка с подветренной стороны, где крошится камень — там бравый корабль мог бы встать на якорь. Пенгалигон говорит Хоувеллу: «Спросите нашего гостя, не слышал ли он о том, чтобы кто-нибудь высаживался здесь?»

Ответ Сниткера состоит из двух — трех предложений.

«Как отвратителен голландский язык, — думает Пенгалигон. — У человека во рту то ли кляп, то ли грязь».

— Он не слышал, сэр. Никогда не слышал о какой-либо попытке высадиться на этот остров.

— В его ответе больше слов.

— «Никто, кроме пустоголовой тупицы, не станет рисковать своим

кораблем», сэр.

— Меня не так-то легко уязвить, мистер Хоувелл. В дальнейшем переводите все.

Первому лейтенанту неловко.

— Извините, капитан.

— Спросите его, Голландия или какая-нибудь другая страна заявляла право собственности на Ториношиму?

В ответе Сниткера сквозит ухмылка и звучит слово «сегун».

— Наш гость полагает, — объясняет Хоувелл, — что мы должны проконсультироваться с сегуном прежде, чем запланируем вывешивать британский флаг на этом птичьем дерьме. — Следуют новые слова, Хоувелл внимательно слушает их и уточняет вопросами. — Мистер Сниткер добавляет, что Ториношима означает «указатель к Японии», и если этот ветер сохранится, то завтра мы сможем увидеть «стену сада» — острова Гото, которые подчиняются владыке Хизена. Нагасаки находится именно в этом феоде.

— Спросите его, представители Голландской компании когда-нибудь высаживались на островах Гото?

Ответ получается длинный.

— Он говорит, сэр, что капитаны Компании никогда не провоцировали...

Трое мужчин хватаются за поручни, когда «Феб» ныряет вниз и кренится.

— ...никогда не провоцировали японские власти так явно, сэр, поскольку тайные...

Каскад брызг накрывает нос корабля. Промокший матрос ругается на валлийском языке.

— ...тайные христиане все еще живут там, а раз все уходы и приходы...

Один из гардемарин с криком скатывается по трапу.

— ...контролируются правительственными шпионами, даже лодка не может подойти к нам, потому что их обвинят в контрабанде и казнят со всеми членами семей.

Ториношима, о которую разбивается волна за волной, уменьшается, оставаясь за кормой по правому борту. Капитан, лейтенант и предатель погружаются в свои мысли. Буревестники и крачки парят, кричат и бросаются вниз. Бьют четвертые склянки первой вахты, и меняются матросы левого борта без лишних слов и суеты: капитан на палубе. Сменившиеся моряки спускаются вниз на два часа трюмных работ.

Узкий янтарный глаз неба открывается на южном горизонте.

— Там, сэр! — восклицает, словно подросток, Хоувелл. — Два дельфина!

Пенгалигон никого не видит, лишь тяжелые стальные волны с синеватым отливом.

— Где?

— Третий! Красивый! — указывает Хоувелл, вздыхая. — Исчезли.

— Увидимся за обедом, — говорит Пенгалигон Хоувеллу и уходит.

— А — а, обедом, — повторяет Сниткер на английском и показывает, как пьет.

«Господи, даруй мне терпение, — Пенгалигон сухо улыбается, — и кофе».

Начальник интендантской службы выходит из капитанской каюты, подписав все дневные расходы. Его монотонный голос и кладбищенский запах изо рта оставили Пенгалигона с головной болью, добавившейся к болям в ноге. «Хуже работы с интендантом может быть только одно — быть им, — говаривал его наставник, капитан Голдинг, много лет тому назад. — Каждой команде нужен объект ненависти: пусть это будет он, а не ты».

Пенгалигон выпивает густую жижу со дна кружки. «Кофе обостряет мышление, — думает он, — но жжет кишки и укрепляет моего заклятого врага». После отплытия с острова Принца Уэльского нежеланная правда явила себя во всей красе: подагра пошла во вторую атаку. Первая случилась в Бенгалии прошлым летом: к чудовищной жаре добавилась чудовищная боль. Две недели он не мог вынести даже легкого касания простыней его ноги. После первого приступа болезни еще оставалась возможность как-то отшутиться, но после второго он рисковал получить прозвище «капитан — подагрик», и Адмиралтейство тут же списало бы его на берег. «У Хоувелла могут зародиться подозрения, — думает Пенгалигон, — но он не осмелится озвучить их. Офицерские кают — компании забиты первыми лейтенантами, осиротевшими из-за преждевременного ухода их капитанов». Хуже, если Хоувелл соблазнится предложением какого-нибудь ловкача и переметнется на другой корабль, лишив Пенгалигона самого лучшего офицера, с которым он — как за каменной стеной. Его второй лейтенант, Абел Рен — со связями у него все в порядке благодаря женитьбе на строгой дочери командора Джоя, — тут же оближется от мысли о столь нежданной вакансии. «Выходит, я, — приходит к выводу Пенгалигон, — вступаю в гонку с моей подагрой. Если я захвачу голландскую медь этого

года и — пожалуйста, Боже, — открою сокровищницу Нагасаки прежде, чем подагра уложит меня в постель, о моем финансовом и политическом будущем можно не тревожиться». В противном случае, Хоувелл или Рен запишут на свой счет захват меди и торговой фактории, а если операция провалится, его, Джона Пенгалигона, отправят в отставку. Ему придется уехать в сельскую глубинку юго — западной Англии, жить на пенсию — самое большее двести фунтов в год, которые будут вечно опаздывать, и завидовать всем. «В мои самые мрачные часы я говорю себе, что Госпожа Удача, похоже, восемь лет тому назад даровала мне капитанство только для того, чтобы получать удовольствие, опорожняя кишечник, присев надо мной». Во — первых, Чарли закладывает остатки семейного состояния, занимает деньги под именем младшего брата и исчезает; во — вторых, его агент, через которого Адмиралтейство выплачивало ему призовые деньги, и банкир сбежали от правосудия в Вирджинию; в — третьих, Мередит, его дорогая Мередит, умерла от тифа; в — четвертых, его Тристам — энергичный, умный, почитаемый всеми, симпатичный Тристам погиб у мыса Сент — Винсент [\[81\]](#), оставив отцу лишь горькую печаль и нательный крест, сохраненный корабельным хирургом. «А теперь идет подагра, — думает он, — чтобы разрушить и мою карьеру».

— Нет. — Пенгалигон берет зеркало для бритья. — Мы заставим удачу повернуться к нам лицом.

Капитан выходит из каюты в тот самый момент, когда часового — его фамилия Бейнс или Пейне — сменяет другой матрос, Уокер, прозванный Шотландцем: они отдают друг другу честь. На батарейной палубе Уолдрон, старшина — артиллерист, стоит на коленях у орудия вместе с Моффом Уэсли, парнишкой из Пензанса. В полумраке и в шуме бушующего моря они не замечают прислушивающегося к ним капитана. «Давай с самого начала, Мофф, — говорит Уолдрон. — Что первое?»

— Пробанить ствол влажной щеткой.

— А если какой-нибудь сучий кот сделает это плохо?

— Он оставит угли с прошлого выстрела, а туда же нам порох загружать, сэр.

— И артиллеристу оторвет руки: я такое однажды видел, и мне хватило. Что второе?

— Заложить пороховой заряд, сэр, или просто засыпать порох.

— А порох принесут в клювах маленькие птички?

— Нет, сэр. Порох я приношу с порохового склада, который на корме, сэр, всякий раз — для одного выстрела.

— Так и надо, Мофф. А чего бы нам не хранить все здесь?

— Одна искра разнесет нас на хрен, сэр. Третье, — Мофф считает, загибая пальцы, — утрамбовываем порох поплотнее приборником, сэр, четвертое — закладываем ядро, пятое — заталкиваем пыж, потому что при качке ядро может выкатиться прямо в море, сэр.

— И тогда покажем себя настоящими французиками. Шестое?

— Выкатываем орудие, чтобы лафет крепко прижался к фальшборту. Седьмое: трубку с порохом в запальное отверстие. Восьмое: поджигаем его с помощью кремня и огнива, и поджигающий кричит: «Отойти!» — и порох в трубке поджигает основной заряд в стволе, и пушка стреляет, и все, что на пути ядра, разлетается в клочья.

— И что при этом происходит с лафетом? — вступает Пенгалигон.

Уолдрон захвачен врасплох, как и Мофф: он вскакивает слишком быстро, чтобы отдать честь, и ударяется головой.

— Не заметил вас, капитан; просим прощения.

— И что при этом происходит с лафетом, — повторяет Пенгалигон, — мистер Уэсли?

— Откатывается назад, пока его не останавливают крепезные веревки и каскабель.

— Что может откатывающееся орудие сделать с ногой, мистер Уэсли?

— Ну... эта... от ноги совсем немного останется, сэр.

— Продолжайте, мистер Уолдрон, — Пенгалигон идет дальше вдоль правого борта, вспоминая те дни, когда был подносчиком пороховых зарядов и держался за канат, протянутый поверх голов. С ростом пять футов и восемь дюймов, то есть гораздо выше среднего роста матросов, ему приходилось постоянно следить за тем, чтобы не ободрать голову о подволоку. Он сожалеет, что недостаточно богат и у него нет призовых денег, чтобы купить порох для пушечной практики. Капитанов, которые используют более трети запасов на подобные упражнения, морское командование не жалуется.

Шесть ганноверцев, которых Пенгалигон переманил с китобойца на острове Святой Елены, моют — и хорошо все делают — скручивают и убирают пустующие гамаки, готовясь к надвигающемуся шторму. Они здороваются хором, чуть картавя: «Капита — р-н», и замолкают, предпочитая заниматься своим делом в тишине. Чуть дальше другие матросы под присмотром лейтенанта Абеда Рена дряют палубу горячим уксусом и пемзой. Для маскировки верхняя часть корабля грязная, но нижним палубам нужна защита от плесени и затхлого воздуха. Рен с размаху ударяет матроса тростью из ротанга и ревет на него: «Скрести

надо, а не щекотать, ты, красотуля!» Затем делает вид, что только сейчас замечает капитана, и отдает честь:

— Добрый день, сэр.

— Добрый день, мистер Рен. Все в порядке?

— Лучше не бывает, сэр, — отвечает бравый, задиристый второй лейтенант.

Проходя мимо отгороженного парусиной камбуза, Пенгалигон откидывает полог и вглядывается в закопченный, дышащий паром пяточок, где обслуга помогает коку и его помощнику разделять продукты, поддерживать огонь и следить, чтобы не перевернулись медные котлы. Кок кладет кусок соленой свинины — четверг всегда свиной день — в бурлящую жидкость. Пекинская капуста, ломти ямса и рис добавляются, чтобы загустело варево. Дворянские сыновья воротили бы нос от такой еды, но матросы едят и пьют куда как лучше, чем в порту. Личный кок Пенгалигона Джонас Джонс хлопает пару раз в ладоши, чтобы привлечь внимание камбуза: «Ставки сделаны, парни».

— Ну что ж, начнем игру, — объявляет Чигуин.

Чигуин и Джонс — у каждого курица в руках — трясут ими, приводя тех в полный ужас.

Дюжина мужчин на камбузе монотонно распевает в унисон: «И — раз, и — два, и — три!»

Чигуин и Джонс секаторами отрезают головы курицам и отпускают их на пол. Моряки начинают подбадривать брызгающие кровью тушки, которые бегают по полу и хлопают крыльями. Полминуты спустя, когда курица Джонса еще дергает лапками, лежа на боку, рефери объявляет курицу Чигуина проигравшей: «Эта померла, парни». Монеты меняют своих хозяев — переходят от хмурящихся к улыбающимся во весь рот, а тушки птиц переносят на лавки, чтобы ощипать и выпотрошить.

Пенгалигон мог бы наказать обслугу за столь неуважительное отношение к офицерскому обеду, но он продолжает прогулку, направляясь к лазарету. Деревянные перегородки не доходят до потолка, чтобы в лазарет проникал свет, а больничный воздух выходил наружу. «Не — не — не, титька ты безголовая, поется так...» — говорит Майкл Тоузер, еще один корнуоллец, попавший добровольцем от брата капитана, Чарли, на «Дракон» — бриг, на котором Пенгалигон служил одиннадцать лет тому назад вторым лейтенантом. Тоузер — теперь матрос в полном звании — с тех пор всюду следует за Пенгалигоном. Он запекает сиплым, немелодичным голосом:

Разве ты не видишь — плывут корабли?  
Разве не видишь — летят они?  
Разве ты не видишь — плывут корабли,  
Тянут за собою призы они.  
Морячок ты славный мой,  
Морячок мой дорогой,  
Морячка люблю я крепко,  
Он веселый и родной!

— Не было там «веселого», Майкл Тоузер, — возражает голос, — а был «мне милый».

— «Милый», «веселый» — велика разница? Весь смак в следующем куплете, так что слушай:

У морячков полно денег в карманах,  
У солдат — лишь наглость в головах,  
Морячка и пьяного я люблю безумно,  
А солдаты — пусть они мне целуют зад.  
Морячок ты славный мой,  
Морячок мой дорогой,  
Морячка люблю я крепко!  
Вон, солдаты, с глаз долой.

— Так шлюхи в Госпорте поют, и я знаю, потому что была у меня одна после Славного первого июня, и я знатно отведал ее пудинга...

— А наутро, — говорит голос, — ее уже не было, и призовых денег тоже.

— Это не главное: главное в том, что мы пройдемся по голландскому купчишке, по его самой красненькой, самой золотой меди на этом прекрасном, созданном Богом шарике.

Капитан Пенгалигон, наклонившись, входит в лазарет. Полдюжины лежачих больных смущенно застывают, не отрывая глаз от капитана, а помощник хирурга, юноша — лондонец с покрытым оспинами лицом, по фамилии Рафферти, встает и откладывает в сторону поднос с крючками, хирургическими ложками и скребками, которые он смазывал маслом.

— Добрый день, сэр. Хирург на нижней палубе. Послать за ним?

— Нет, мистер Рафферти. Я просто обхожу корабль. Поправляетесь,



мистер Тоузер?

— Не скажу, что моя грудь лучше сшита, чем на прошлой неделе, сэр, но я рад, что нахожусь тут. Знатно полетел я вниз, не запасшись парой крыльев. А мистер Уолдрон сказал, что найдет для меня место возле какой-нибудь пушки, так что я научусь новому делу, и это здорово.

— Бравый дух, Тоузер, бравый. Это правильно. — Пенгалигон поворачивается к молодому соседу Тоузера. — Джек Флетчер, правильно?

— Джек Тэтчер, прошу прощения, сэр.

— Это я прошу прощения, Джек Тэтчер. Что привело вас сюда?

Рафферти отвечает за покрасневшего молодого моряка:

— Большая порция аплодисментов [\[82\]](#), капитан.

— Триппер? Несомненно, сувенир из Пенанга. Как далеко все зашло?

Вновь отвечает Рафферти: «Мистер Игрун покраснел, как шляпа у римского епископа, и течет соплями; единственный глаз у Джека опух, и сходить до ветру стало пыткой, так, приятель? Его накормили ртутью, но гордо встать ему удастся еще не скоро...»

По морским порядкам, знает Пенгалигон, матросы должны платить за лечение от венерических болезней, поэтому заболевший пускает в ход любые средства, прежде чем решается пойти к хирургу. «Когда меня возведут в пэры, — думает Пенгалигон, — я должен исправить эту ханжескую глупость». Капитан однажды подхватил французскую болезнь в публичном доме «Только для офицеров» на острове Сент — Китс, и страх и застенчивость позволили ему поговорить с хирургом «Тринкомоли», лишь когда он, справляя малую нужду, едва не терял сознание от боли. Будь он сейчас простым офицером, поделился бы этой историей с Джеком Тэтчером, но капитану не полагается бросать тень на свою репутацию.

— Выходит, Тэтчер, теперь вы узнали настоящую цену, которую платит кавалер шлюхи?

— Я не забуду этого до конца жизни, сэр, клянусь.

«А все равно пойдешь к другой, — предсказывает Пенгалигон, — и к третьей, и к четвертой...» Он кратко интересуется здоровьем других пациентов. Среди них — температурающий выходец из Сент — Айвса, чей разможенный большой палец, возможно, ампутируют, а может, и нет; уроженец Бермуд с выпученными от зубной боли глазами, бородач с Шетландских островов с тяжелым случаем слоновости ноги: его яйца раздулись до размеров манго. «Чувствую себя, как разбитая скрипка, — признается бородач. — Да отблагодарит вас Бог за заботу, капитан».

Пенгалигон встает, собираясь покинуть лазарет.

— Прошу прощения, сэр, — обращается к нему Майкл Тоузер, — не

могли бы вы разрешить наш спор?

Боль пронзает ногу Пенгалигона.

— Если сумею, мистер Тоузер.

— Получат моряки, находящиеся в лазарете, положенную долю призовых денег?

— Свод морских правил, которого я придерживаюсь, гласит, что ответ — да.

Тоузер многозначительно — говорил я тебе! — смотрит на Рафферти. Пенгалигону хочется привести поговорку о синице в руках и журавле в небе, но он решает никоим образом не влиять на нарастающее настроение праздника, которое все больше охватывает команду «Феба». «Мне надо кое о чем проконсультироваться с хирургом Нэшем, — говорит он Рафферти. — Он, как я понял по вашим словам, скорее всего, в своей каюте?»

Псиная вонь ударяет в нос капитану, когда он спускается, шаг за шагом, на жилую палубу. Зимой там темно, холодно и сыро, летом — темно, жарко и душно. «Гнездо» — так называют ее матросы. На кораблях с нездоровой атмосферой некоторым офицерам настоятельно рекомендуют не отходить далеко от трапа, но Джону Пенгалигону нет нужды беспокоиться по этому поводу. Вахта левого борта, около ста десяти матросов, шьют или вырезают ножом поделки под колодцами тусклого света, падающего сверху, или стонут, бредутся и дремлют в некоем подобии кабинок между матросскими сундуками: гамаки днем не развешивают. Сапоги и пряжки капитана узнаются прежде, чем появляется он сам, и разносится крик: «Капитан, парни!» Те, кто неподалеку от трапа, почтительно встают, и капитан доволен, что, по крайней мере, никто не выказал недовольства его появлением. Лицо капитана, конечно же, не выдает боли в ноге.

— Я иду на нижнюю палубу, парни. Продолжайте...

— Не нужны ли вам фонарь или помощь, сэр? — спрашивает один из матросов.

— Нет, конечно. На палубах «Феба» я что угодно найду с закрытыми глазами.

Он продолжает спускаться к нижней палубе. Здесь воняет трюмной водой, а не разлагающимися трупами, как оно было однажды при осмотре захваченного французского корабля. Хлюпает вода, под днищем шумит море, помпы щелкают и скрипят. Пенгалигон кряхтит, добравшись до нижней палубы, и почти на ощупь идет по узкому проходу. Пальцы рук

нашаривают главный пороховой склад, кладовую сыров, кладовую грога — дверь увешана крепкими замками; каюта капеллана Уилли, который еще и учитель матросов, канатный склад, аптека хирурга и, наконец, каюта хирурга, размером не более капитанского ватерклозета. Из-под двери видна полоска бронзового света, шуршат смещающиеся ящики.

— Это я, мистер Нэш, капитан.

— Господин капитан, — голос Нэша — сипловатый хрип уроженца юго — запада Англии. — Какой сюрприз. — Появляется освещенное лампой лицо, напоминающее морду клыкастого крота, и, конечно же, никакого сюрприза на нем не читается.

— Мистер Рафферти сказал, что я найду вас здесь, господин хирург.

— Так точно, я спустился сюда за сульфидом свинца, — он кладет сложенное одеяло на сундук, превращая его в некое подобие стула. — Снимите нагрузку с ног, если угодно. Ваша подагра вернулась, сэр?

Высокорослый капитан заполняет собой крохотную каюту.

— Так заметно, да?

— Профессиональная интуиция... позвольте взглянуть?

Неловкими движениями капитан снимает сапог, носок и кладет ногу на сундук. Нэш подносит лампу поближе — его жесткий фартук хрустит от засохшей крови — и хмурится, глядя на багровые припухлости.

— Значительные подагрические отложения на плюсне... но выделений еще нет?

— Нет, но все чертовски похоже на то, что было в это же время в прошлом году.

Нэш тыкает пальцем в припухлость, и нога Пенгалигона дергается от боли.

— Господин хирург, нагасакская миссия не позволяет мне болеть.

Нэш полирует стекла очков грязными манжетами:

— Я прописываю вам снадобье Дувера [\[83\]](#). Оно ускорило ваше выздоровление в Бенгалии и может на этот раз отсрочить приступ. И заодно я хочу откачать вам шесть унций крови, чтобы уменьшить давление в артериях.

— Давайте не будем терять время, — Пенгалигон снимает мундир и закатывает рукава рубашки, пока Нэш готовит лекарство. Никто не смог бы причислить хирурга к тем джентльменам — докторам, иной раз встречающимся на флоте, которые украшают вечера в кают — компании блестящей эрудицией и шутками. Зато этот знающий свое дело девонширец может в минуту ампутировать конечность во время сражения или уверенной рукой выдернуть зуб — и при этом он достойный человек и

никогда ни с кем не треплется о проблемах офицеров. — Напомните мне, мистер Нэш, что входит в снадобье Дувера?

— Вариант рвотного порошка, сэр: опиум, ипекакуана [84], селитра, винный камень и лакрица, — Он отмеряет шпателем бесцветный порошок. — Будь вы простым Джеком, я бы еще добавил бобровой струи — в медицинском сообществе мы называем ее маслом протухшей трески, — чтобы взбодрить. Но офицеров я избавляю от этого удовольствия.

Корабль качается, и деревянные борта скрипят, словно стены амбара в бурю.

— Не решили заняться аптечным делом на суше, мистер Нэш?

— Только не я, сэр, — Нэш шутке не улыбается.

— Я могу представить себе ряд китайских бутылочек с запатентованным эликсиром Нэша.

— Коммерсантам, — Нэш отсчитывает капли настойки опия в оловянный мерный стаканчик, — в большинстве своем, отрезают совесть при рождении. Лучше уж сразу утонуть, чем медленно подыхать от лицемерия, правосудия или долгов. — Он смешивает лекарство и передает мерный стаканчик пациенту. — Одним глотком, капитан.

Пенгалигон повинуется и морщится.

— Масло протухшей трески могло бы улучшить вкус.

— Я буду приносить лекарство каждый день, сэр. А теперь пустим кровь. — Он достает миску для сбора крови и ржавый ланцет и берется за предплечье капитана:

— Мое самое острое лезвие. Вы даже ни...

Пенгалигон выдыхает: «Ох!» — обходится без ругательства, но вздрагивает от боли.

— ...чего не почувствуете, — Нэш вставляет катетер, чтобы не свернулась кровь. — А сейчас...

— Не двигаться. Я знаю. — Медленно вытекающая кровь разливается лужицей по миске.

Чтобы отвлечься, Пенгалигон думает об ужине.

— Продажные осведомители, — провозглашает лейтенант Хоувелл после того, как полупьяного Даниэля Сниткера повели к его каюте после обильного ужина, — кормят покровителей той едой, которую те хотят получить, — корабль качается, его трясет, и лампы над головой тоже пребывают в непрерывном движении. — Во время своего посольства в Гааге мой отец ставил слово одного осведомителя, служащего по велению

совести, выше письменных показаний под присягой десяти шпионов, собирающих сведения за деньги. И сейчас будет неправильным утверждать, что Сниткер ipso facto <sup>[85]</sup> обманывает нас, но я бы порекомендовал не принимать его «очень ценные разведывательные данные» без подтверждения из другого источника — по крайней мере, его радужное предсказание, что Япония не предпримет против нас никаких действий, когда мы захватим имущество ее давнего союзника.

По кивку Пенгалигона, Чигуин и Джонс начинают убирать со стола.

— Европейская война совершенно неинтересна этим азиатам, — майор Катлип, его лицо чуть светлее яркой красноты его мундира, обглаживает остатки мяса с куриной ножки.

— Азиаты могут не разделять, — говорит Хоувелл, — ваше мнение, майор.

— Ну, тогда позвольте, — всхрапывает, прочищая глотку, Катлип, — научить их разделять наши взгляды, мистер Хоувелл.

— Представим себе торговую факторию королевства Сиам в Бристоле...

Катлип торжествующе смотрит на второго лейтенанта Рена.

— ...в Бристоле, — невозмутимо продолжает Хоувелл, — которое находится там полтора столетия, но в один прекрасный день приплывает китайская военная джонка, захватывает все имущество без всякого «с — вашего — позволения» и заявляет Лондону, что отныне они займут место сиамцев. Как премьер — министр Питт воспримет подобные действия?

— Когда будущие оппоненты мистера Хоувелла, — говорит Рен, — начнут потешаться над отсутствием у него чувства юмора...

Пенгалигон опрокидывает солонку и бросает щепоть через плечо.

— ...я потрясу их его фантазией о сиамской фактории в Бристоле!

— Речь о суверенности, — заявляет Роберт Хоувелл. — Сравнение уместно.

Катлип отмахивается куриной ножкой:

— Восемь лет в Новом Южном Уэльсе научили меня следующему: такие понятия, как «суверенность», или «права», или «собственность», или «юриспруденция», или «дипломатия», означают одно для белых людей и совсем другое — для отсталых наций. Бедняга Филип в Сиднейской бухте — он затеял там эти проклятые «переговоры» с разношерстным сбродом, который обитал там. Остановили его прекрасные идеалы тех ленивых говнюков от кражи наших припасов? Да они тащили их так, словно все принадлежало им! — Катлип сплевывает в плевательницу. — Только красные мундиры англичан и лондонские мушкеты устанавливают закон в

колониях, а не какая-то усеянная лилиями «дипломатия», и на этот раз их роль сыграют двадцать четыре пушки и сорок отлично подготовленных морских пехотинцев, которые и победят Нагасаки, вот так. Остается только надеяться, — он подмигивает Рену, — что прекрасная китайская ночная подружка первого лейтенанта в Бенгалии не разбавила его европейскую белизну желтеньким, да?

«Ну зачем, — Пенгалигон стонет про себя, — он упомянул про морскую пехоту?»

Бутылка съезжает со стола в руки молодого третьего лейтенанта Толбота.

— Ваша фраза, — Хоувелл спрашивает сухо и холодно, — ставит под сомнение мою смелость морского офицера или порочит мою преданность королю?

— Роберт, нет нужды: Катлип знает вас... — «Случается, — думает Пенгалигон, — когда я менее всего капитан, а скорее — губернатор», — ... слишком хорошо, чтобы заявлять об этом. Это просто... просто...

— Дружественный тычок локтем, — подсказывает лейтенант Рен.

— Тривиальная колкость! — протестует Катлип и ослепительно улыбается. — Дружественный тычок...

— Сказано резко, — рассуждает Рен, — но без малейшего злого умысла.

— И я, безусловно, извиняюсь, — добавляет Катлип, — за нанесенную вам обиду.

«Быстрые извинения, — отмечает Пенгалигон, — немногого стоят».

— Майор Катлип должен следить за остротами, — говорит Хоувелл, — чтобы самому не порезаться.

— Это у вас такой план, мистер Толбот, — спрашивает Пенгалигон, — чтобы стащить эту бутылку?

Толбот сначала относится к вопросу серьезно, потом он облегченно улыбается и наполняет бокалы всей компании. Пенгалигон приказывает Чигуину принести еще пару бутылок «Шамболь Мюзиньи». Слуга удивляется такому проявлению щедрости в столь поздний час, но уходит исполнять приказ.

Пенгалигон чувствует, что пора вмешаться.

— Если бы нам приказали изгнать из Нагасаки Жана Шампанского, то мы действовали бы прямо, без обиняков, как советует майор. Нам приказано, однако, подписать договор с Японией. Мы должны быть и дипломатами, и солдатами.

Катлип ковыряет в волосатом носу.

— Пушки — самая лучшая дипломатия, капитан.

Хоувелл касается губ пальцем.

— Воинственность не произведет нужного впечатления на этих туземцев.

— Разве мы подчинили индийцев добротой? — Рен откидывается на спинку стула. — А голландцы завоевали яванцев, одаривая эдемским сыром?

— Аналогия не обоснована, — возражает Хоувелл. — Япония — в Азии, но она — не Азия.

Рен спрашивает:

— Еще одно гностическое высказывание, лейтенант?

— Рассуждать об «индийцах» или «яванцах» — обычная европейская заносчивость: на самом деле, они — множество племен и народов, разных и во многом не похожих друг на друга. Япония, в отличие от них, объединилась в единое государство четыреста лет тому назад и смогла прогнать испанцев и португальцев даже в расцвете их могущества...

— Собрать наши пушки, карронады <sup>[86]</sup> и стрелков против их экзотических средневековых удальцов, и... — губами и руками майор имитирует взрыв.

— Экзотических средневековых удальцов, — отвечает Хоувелл, — которых вы еще никогда не видели.

«Лучше корабельный червь в трюме, — думает Пенгалигон, — чем грызня офицеров».

— Как и вы, впрочем, — замечает Рен. — Сниткер, однако...

— Сниткер одержим идеей вернуть себе свое маленькое королевство и посмеяться над мучителями.

В кают — компании, внизу, скрипка мистера Уолдрона наигрывает джигу.

«Кто-то, по крайней мере, — думает Пенгалигон, — наслаждается вечером».

Лейтенант Толбот открывает рот, собравшись что-то сказать, но вновь закрывает его.

Пенгалигон спрашивает:

— Вы хотели что-то сказать, мистер Толбот?

Толбот нервничает от скрестившихся на нем взглядов.

— Ничего важного, сэр.

Джонс с ужасным грохотом роняет поднос со столовыми приборами.

— Между прочим, — говорит Катлип, вытирая соплю о скатерть, — я слышал, как два корнуольца, капитан, пошутили насчет места рождения

мистера Хоувелла. Я повторю шутку, не опасаясь нанести обиду, поскольку мы знаем, что настоящие мужчины всегда рады дружескому тычку: «Кто такой, спрашиваю я вас, йоркширец?»

Роберт Хоувелл крутит обручальное кольцо на пальце.

— Шотландец, Бог ты мой, из которого выжали все великодушие!

Капитан сожалеет, что приказал принести вино урожая девяносто первого года.

«Почему все это, — желает знать Пенгалигон, — должно вновь и вновь идти по идиотскому кругу?»



## Глава 29. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО

*Неопределенное  
время*

Якоб де Зут следует за мальчиком, освещающим дорогу факелом. Мальчик идет вдоль вонючего канала и далее — в неф домбургской церкви. Герти кладет жареного гуся на алтарный стол. Мальчик с азиатскими глазами и волосами цвета меди цитирует: «Преклоню ухо мое к притче, папа, на арфе открою загадку мою...» <sup>[87]</sup> Якоб объят ужасом. Внебрачный сын? Он поворачивается к Герти, но видит острую на язык хозяйку его жилья в Батавии. «Ты даже не знаешь, кто его мать?» Унико Ворстенбос находит все происходящее здесь необычно смешным и выщипывает мясо из наполовину съеденного гуся. Птица поднимает зажаренную голову и цитирует: «Да исчезнут, как вода протекающая: когда натянут стрелы, пусть они будут, как преломленные» <sup>[88]</sup>. Гусь улетает в бамбуковую рощу, сквозь полосы сумрака и темноты, и Якоб тоже летит, пока они не долетают до вырубки, где светится на дельфтском блюде голова Иоанна Крестителя. «Восемнадцать лет на Востоке, и нечем тебе похвалиться, кроме как внебрачным сыном- полукровкой!»

«Восемнадцать лет? — Якоб отмечает про себя эту цифру. — Восемнадцать...

«Шенандоа», — думает он, — отплыла меньше года тому назад...»

Его связь с внеземным миром обрывается, он просыпается рядом с Орито.

«Да славится милостивый Бог на небесах», — проснувшийся обнаруживает, что он в Высоком доме...

...где все, как и должно быть.

Волосы Орито спутаны от любовных объятий прошедшей ночи.

Пыль золотится в лучах рассвета, какое-то насекомое затачивает жало.

— Я твой, возлюбленная моя, — шепчет Якоб и целует ее ожог...

Тонкие руки Орито, ее прекрасные руки просыпаются и прижимаются ладонями к его соскам...

«Столько страданий, — думает Якоб, — но теперь ты здесь, и я залечу твои раны».

...к его соскам, и глядят пупок, и спускаются к паху, и...

— «Да исчезнут... — лиловые глаза Орито широко распахиваются.

Якоб старается проснуться, но веревка на шее крепко держит его.

— ...как распускающаяся улитка, — цитирует труп, — да не видят солнца...

Голландец покрыт улитками: постель, комната, Дэдзима, все в улитках...

— ...да не видят солнца, как выкидыш женщины» [\[89\]](#).

Якоб садится, сна ни в одном глазу, пульс мчится галопом. «Я — в «Доме Глициний», и прошлой ночью спал с проституткой». Она находится здесь, тихонько посапывает. Воздух теплый и пропитан запахами совокуплений, табака, испачканных покрывал и переваренной капусты из ночного горшка. Свет мироздания пробивается сквозь бумажное окно. Любовные толчки и смешки доносятся из ближней комнаты. Он думает об Орито и Узаемоне, чувствуя себя виноватым перед обоими, и закрывает глаза, но видит их еще отчетливее: Орито — в заключении, в разорванной одежде и после родов, Узаемон — убит, и Якоб думает: «Из-за меня», — и открывает глаза. У мысли нет век, чтобы отгородиться, или ушей, чтобы заткнуть, и Якоб вспоминает сообщение переводчика Кобаяши о том, что Огава Узаемон погиб от рук горных бандитов во время паломничества в город Кашима. Влады ка — настоятель Эномото нашел тех одиннадцать разбойников, ответственных за злодеяние, и умертвил их пытками, но даже месть, с сожалением указал Кобаяши, не вернет мертвых к жизни. Директор ван Клиф выразил старшему Огава соболезнования от лица Компании, но переводчик так и не вернулся назад на Дэдзиму, и никто не удивился, когда он вскоре умер. Если де Зут и сомневался в причастности Эномото к смерти Огавы Узаемона, то последние сомнения развеялись через несколько недель, когда Гото Шинпачи доложил, что прошлой ночью огонь на восточном склоне начался с библиотеки резиденции Огавы. Тем же вечером, в свете лампы, Якоб достал кизилевый футляр из-под пола и начал самую трудную за всю его жизнь работу. Свиток не был длинным — заглавие и двенадцать частей включали не более трехсот иероглифов — но Якобу предстояло овладеть словарем и грамматикой в чрезвычайном секрете от всех. Никто из переводчиков не пошел бы на то, чтобы попасться на обучении японскому иностранца, хотя при этом Гото Шинпачи иногда отвечал на безобидные вопросы Якоба о необычных словах. Без знания Маринусом китайского языка, задача стала бы просто непосильной, но Якоб не рискнул показать свиток доктору, боясь навлечь

на друга неприятности. Двести ночей ушло на перевод догм ордена храма Ширануи, ночей, которые становились все темнее и темнее; и Якоб на ощупь все ближе и ближе приближался к пониманию текста. «А сейчас, когда закончена работа, — спрашивает он себя, — как иностранец, находящийся под постоянным наблюдением, сможет добиться справедливости?» Ему понадобится сочувствующее ухо человека могущественного, такого, как магистрат, чтобы появился хоть какой-то шанс увидеть Орито свободной, а Эномото — под судом. «Что случится, — размышляет он, — с китайцем в Мидделбурге, который стал бы пытаться засудить герцога Зеландии за бесчестье и массовые убийства младенцев?»

Мужчина в соседней комнате стонет: «О — о, Mijn God <sup>[90]</sup>, Mijn God!»

Мельхиор ван Клиф. Якоб краснеет и надеется, что его девушка не проснется.

«Хотя быть ханжой наутро после всего, что произошло, — честно признается он себе, — лицемерно».

Его презерватив из кишки козы лежит на квадрате бумаги у матраса.

«Отвратительный вид, — думает Якоб. — Так теперь я...»

Якоб думает об Анне. Он должен разорвать их помолвку.

«Честная девушка заслуживает, — полагает он без тени сомнения, — лучшего мужа».

Ему видится радостное лицо ее отца, когда она сообщает ему эту новость.

«Ей следовало разорвать нашу помолвку, — признает он, — несколько месяцев тому назад...»

Корабль из Батавии в этом году не пришел, а это означает отсутствие торговли и отсутствие писем...

Уличный продавец воды кричит: «О — мииизу, О — мииизу».

...и угроза банкротства Дэдзимы и Нагасаки становится все более реальной.

Мельхиор ван Клиф прибывает к: «О — О-О — О-О — О- о — О-о — О-о — О-о — о-о...»

«Не просыпайся, — умоляет Якоб спящую женщину, — не просыпайся, не просыпайся...»

Ее зовут Цукинами, или Лунная Волна. Якобу понравилась ее застенчивость.

«Хотя застенчивость тоже, — подозревает он, — можно нарисовать краской и пудрой».

Когда они остались наедине, Цукинами похвалила его японскую речь.

Он надеется, что не вызвал у нее отвращения. Она называла его глаза «разукрашенными».

Она попросила у него разрешения срезать локон медных волос, чтобы вспоминать его.

Довольный ван Клиф хохочет, как пират при виде врага, растерзанного акулами.

«И такова нынешняя жизнь Орито, — Якоб содрогается, — как и написано в свитке Огавы?»

Мельничные жернова его совести скрежещут, скрежещут, скрежещут...

Колокол храма Рюгадзи возвещает о приходе часа Кролика. Якоб надевает бриджи и рубашку, наливает в чашку воду из кувшина, выпивает, умывается и открывает окно. Вид достоин взора даже наместника короля: Нагасаки лежит внизу в ступенчатых аллеях и остроконечных крышах, серовато — коричневых, охряных и угольно — черных, спускающихся к напоминающему арку зданию магистратуры, Якоб видит Дэдзиму и далее — бескрайнее застывшее море...

Внезапно он следует озорному порыву пройти вдоль конька крыши.

Голые ступни ощущают еще прохладную черепицу; он опирается на скульптуру карпа.

Суббота, 18 октября 1800 года, спокойная и синяя.

Скворцы пролетают в легком утреннем тумане: словно мальчику из сказки, Якобу страстно хочется улететь вместе с ними.

«Или, — продолжает мечтать он, — пусть мои глаза станут раскосыми...

С востока на запад небеса раскрывают свой облачный атлас и начинают переворачивать страницы.

...розовая кожа обретет золотистый цвет, дурацкие волосы почернеют...

Грохот повозки, доносящийся из переулка, грозит оборвать его грезу.

...мое грубо отесанное тело перестанет отличаться от их тел... сбалансированных и гладких.

Восемь лошадей проносятся по главной улице. Эхо разносит стук их копыт.

Как далеко мне удалось бы уйти, — размышляет он, — если бы я сбежал с Дэдзимы, в длинном плаще, спрятав лицо под капюшоном?

...вверх к рисовым террасам, к гребням гор, горам за этими гребнями.

...не так далеко, — думает Якоб, — до феода Киога точно бы не добрался».

Кто-то шуршит у окна.

Он готов подчиниться приказу какого-нибудь официального представителя вернуться в дом.

— Галантный господин де Зут, — голый, с телом, заросшим волосами, ван Клиф язвит, скаля зубы, — прошлой ночью нашел свое золотое руно?

— Это было... — «Меня, конечно, — думает Якоб, — это не красит», — ...что было, то было.

— О — о, послушай отец Кальвин, — ван Клиф надевает бриджи и вылезает из окна на крышу, чтобы присоединиться к нему с бутылкой в руке. «Он не пьян, — Якоб на это надеется, — но и не совсем трезв».

— Наш Божественный Отец сотворил нас всех по своему образу и подобию, включая ту часть, что под штанами... или я лгу?

— Бог сотворил нас, да, но Святая Библия ясно...

— О — о, законный брак, законная супружеская постель, да, да, все так — в Европе, но здесь... — ван Клиф, как дирижер, обводит руками Нагасаки, — ...мужчины как-то должны выходить из положения! Воздержание — для вегетарианцев. Если не уделять внимания картофелинам — и это медицинский факт, — они сморщатся и отпадут, а какое будущее тогда...

— Никакой это... — Якоб с трудом сдерживает улыбку, — ...не медицинский факт.

— Какое будущее тогда у блудного сына с острова Валхерен, если нет трески? — Ван Клиф отхлебывает из бутылки, вытирая свою бороду рукой. — Остаток жизни в холостяках и смерть без наследника! Адвокаты набрасываются на твое имущество, как вороны на повешенного. Этот прекрасный дом, — он шлепает по черепице — не рассадник разврата, а теплица для последующего урожая — кстати, вы воспользовались тем средством предохранения, о которой говорил Маринус? Кого я спрашиваю? Конечно же, воспользовались.

Девушка ван Клифа наблюдает за ними из глубины своей комнаты.

Якоб думает о глазах Орито.

— Снаружи — красивая маленькая бабочка... — вздох слетает с губ ван Клифа, и Якоб опасается, что его начальство пьянее, чем он ранее предполагал: падение с крыши может закончиться сломанной шеей. — Но, развернув, найдешь все те же разочарования. Это не вина девушки, это Глория виновата, она — альбатрос на моей шее... Но почему вам хочется об этом услышать, молодой человек, вам, чье сердце не разбила любовь? — директор смотрит на небеса, и легкий ветерок летит над миром. — Глория была моей теткой. Родился я на Батавии, и меня послали в Амстердам

выучиться джентльменскому набору: как разглагольствовать на хреновой латыни, как танцевать павлином и как жульничать в карточной игре. Веселье закончилось на моем двадцать втором дне рождения, когда я отправился обратно на Яву с моим дядей Тео. Дядя Тео приезжал в Голландию, чтобы передать генерал — губернаторский ежегодный отчет директорату Ост — Индийской компании — семейство ван Клифов тогда могло гордиться связями — раздать взятки и жениться в четвертый или пятый раз. Дядя исповедовал девиз: «Народи, сколько сможешь». У него было полдюжины детей от яванских служанок, но он не признал ни одного и все время предупреждал, что смешение Богом разделенных наций приведет к одному свиарнику.

Якобу приходит на ум сын из сна. Китайская джонка с надутыми парусами величественно плывет по бухте.

— Он клялся, что законные наследники Тео должны иметь «первосортных» матерей: белокожих, с розовыми щечками, красоток протестантской Европы, потому что по всем семейным древам невест, рожденных в Батавии, прыгали орангутанги. Увы, все его предыдущие жены уходили на тот свет через несколько месяцев после прибытия на Яву. Как видно, ядовитые испарения гробили их. Но Тео был очаровательным кобелем и богатым очаровательным кобелем, и, когда пришло время отплытия, выяснилось, что между моей каютой и каютой дяди на «Энкхэйзене» поселится новоиспеченная миссис Тео ван Клиф. Моя «тетя Глория» была моложе меня на четыре года, и ее возраст составлял треть от возраста ее гордого супруга...

Внизу продавец риса открывает магазин.

— Как можно описать красоту этого цветка? Она заткнула за пояс всех этих шлюх бородатых набобов, которые плыли на «Энкхэйзене», и, прежде чем мы обогнули Британию, все достойные мужчины — и много не очень достойных — уделяли тете Глории больше внимания, чем хотелось новому мужу. Сквозь тонкую стенку каюты я слышал, как он выговаривал ей за то, что она слишком откровенно переглядывалась с господином А или очень громко смеялась над глупой шуткой господина Б. Она соглашалась и каялась, кроткая, как олениха, и затем позволяла ему исполнить его супружеские обязанности. Мое воображение, де Зут, работало лучше всяких подглядываний! После этого дядя Тео уходил в свою каюту, а Глория плакала, так нежно, так тихо, что никто не мог этого услышать. У нее не было возможности отказать мужу, конечно же, и Тео позволил ей взять лишь одну молодую служанку по имени Аагзе: койка во втором классе стоила столько же, что и пять служанок на батавском рынке рабов.

Глория, нужно вам сказать, до этого редко покидала пределы Амстердама. Ява была для нее — как луна. Еще дальше, потому что луна, по крайней мере, хотя бы видна в Амстердаме. Наступай, утро, я буду добрым к моей тете...

В саду женщины развешивают постиранное белье на можжевелевом дереве.

— «Энкхэйзен» изрядно потрепало в Атлантике, — продолжает ван Клиф, выливая последние освещенные солнцем капли пива на язык, — и капитан решил остановиться на месяц в Кейпе, чтобы провести необходимые ремонтные работы. Дядя Тео, дабы укрыть Глорию от посторонних глаз, снял жилье на вилле сестер ден Оттер, повыше Кейптауна, между Львиной Головой и Сигнал-Хиллом. Шестимильная дорога до виллы превращалась в болото в мокрую погоду и изобиловала выбоинами в сухую. Когда-то, давным — давно, ден Оттеры по праву считались одним из самых богатых семейств, но в конце семидесятых знаменитая лепнина дома осыпалась кусками, сады завоевала африканская растительность, а штат слуг с двадцати — тридцати человек сократился до экономки, повара, приходящей служанки и двух седобородых чернокожих садовников, которые откликались на прозвище Бой. У сестер даже не осталось своей кареты, и они посылали за ней к соседям, а большинство их предложений начинались словами «при жизни папы» или «когда шведский посол заезжал к нам». Там царил смертная скука, де Зут, смертная! Но молодая фрау ван Клиф знала, что хотел услышать ее муж, и заявила, что эта вилла — идеальное для них место, уединенное, безопасное, да еще и в волшебном готическом стиле. Сестры ден Оттер показали себя «неисчерпаемым кладезем ума и поучительных историй». Наши хозяйки оказались беззащитными перед ее льстивой похвалой, и она угодила дяде Тео и крепким здоровьем... и светлым умом... и красотой. Она притянула меня к себе, де Зут. Глория была любовью. Любовь была Глорией.

Маленькая девочка прыгает, словно тощая лягушка, вокруг хурмы.

«Я скучаю по детям», — думает Якоб и переводит взгляд на Дэдзиму.

— В нашу первую неделю на вилле, в зарослях разросшегося агапантуса [\[91\]](#), Глория нашла меня и попросила пойти к дяде и передать ему, что она флиртвала со мной. Я не ослышался? Она повторила свое указание: «Если вы мой друг, Мельхиор, и я молю Бога, что это так, и у меня нет никого ближе в этой глуши, то пойдите к моему мужу и скажите ему, что я призналась в «неподобающих чувствах»! Используйте эти самые слова, как свои собственные». Я протестовал, говоря, что ни за что не опорочу ее честь и не навлеку на нее опасность физической расправы. Она

убедила меня, что ее точно побьют, если я не сделаю так, как она просит, или расскажу своему дяде об этом разговоре. Ну, заросли заливал оранжевый свет, и она сжала мою руку и попросила: «Сделайте это для меня, Мельхиор». И я сделал.

Клубы дыма вырываются из трубы «Дома Глициний».

— Когда дядя Тео услышал мое лживое признание, он согласился с моим милосердным предположением о нервах, вконец расшатанных долгой дорогой. Я пошел, весь в замешательстве, пешком к скалистым утесам, боясь услышать, что пришлось вынести Глории на вилле. Но за обедом дядя Тео произнес речь о семье, послушании и доверии. После молитвы он поблагодарил Бога за то, что Он послал ему жену и племянника, которые чтут христианские ценности. Сестры ден Оттер постучали ложками с изображениями апостолов о бокалы с бренди и произнесли: «Правильно! Правильно!» Дядя Тео дал мне мешочек гиней и предложил поехать в город и пару дней наслаждаться всеми радостями жизни в таверне «Два океана»...

Мужчина выходит из боковой двери борделя. «Он — это я», — думает Якоб.

— ...но я бы, скорее, сломал себе ногу, чем предпочел находиться вдали от Глории. Я предложил моему благодетелю оставить гиней себе, попросил оставить мне только пустой мешочек с пожеланием, чтобы я заполнил его, и еще десять тысяч других, плодами своего труда. Вся мишура Кейптауна, заявил я, не стоила часа пребывания в компании с дядей, и, если позволяет время, не согласился бы он на партию в шахматы? Дядя замолчал, и я начал бояться, что пересластил чай, но потом он заявил, что большинство нынешних молодых людей предпочитает бездельничать, считая себя в полном праве растратить тяжело добытое богатство родителей, но небеса послали ему исключение в виде племянника. Он провозгласил тост в честь прекрасного племянника, истинного христианина, и предложил забыть о неловкой проверке супружеской верности «настоящей жены». Он предрек, что они с Глорией будут растить будущих сыновей, помня обо мне, и его настоящая жена сказала: «Пусть по образу они будут походить на нашего племянника, муж». Тео и я потом сыграли в шахматы, и, чтобы до конца казаться искренним, де Зут, я позволил глупцу обыграть меня.

Пчела жужжит у лица Якоба и улетает прочь.

— Моя честность и честность Глории прошли проверку и теперь не вызывали сомнений, поэтому мой дядя решил, что пора бы и ему познакомиться со светским обществом Кейптауна. Он уезжал с виллы



практически на весь день, а иногда даже оставался в городе на ночь. Мне он тоже нашел работу: переписывать бумаги в библиотеке. «Я бы пригласил тебя со мной, — говорил он, — но я хочу, чтобы всякие черные знали, что на вилле находится белый человек, который не побоится пустить в ход пистоль или мушкет». Глории оставались книги, дневник, сад и «поучительные истории» сестер: у дам их запас обычно иссякал к трем часам дня, когда бренди, выпитый за ленчем, погружал их в крепкий и долгий сон...

Бутылка ван Клифа скатывается по черепице, проскальзывает между кустов глицинии и разбивается во дворе.

— От библиотеки к спальне новобрачных вел коридор без единого окна. Сконцентрироваться на бумагах в тот день, признаюсь честно, не получалось. Библиотечные часы, как помню я сейчас, стояли. Возможно, закончился завод. Иволги пели, как сумасшедшие, и тут я слышу щелчок замка... повисает тишина... словно кто-то чего-то ждет... и вот она — силуэт в далеком конце. Она... — ван Клиф трет загорелое, обветренное лицо. — Я боялся, что Аагзе застучает нас, а она говорит: «Разве ты не заметил, что Аагзе влюблена в старшего сына нашего соседа — фермера?» С моих губ самым естественным образом сорвалось: «Я люблю тебя», и она целует меня, и говорит, что теперь терпеть присутствие дяди будет легче, представляя себе, что он — это я, и все его — мое, и я спрашиваю: «А если ребенок?» — а она останавливает меня: «Ш — ш-ш...»

Бурый, словно выпачканный в грязи, пес бежит по грязно — коричневой улице.

— Нашим несчастливым числом стало четыре. Когда мы с Глорией улеглись в постель в четвертый раз, лошадь дяди Тео сбросила его на землю по пути в Кейптаун. Он поковылял назад на виллу, и поэтому мы не слышали цоканья копыт. В один момент — я глубоко в Глории, совершенно голый, а в следующий — по — прежнему совершенно голый, лежу среди обломков зеркала, разбитого об меня моим дядей. Он сказал, что свернет мне шею и выбросит тело зверям. Он сказал, чтобы я ушел в город, взял пятьдесят гульденов у его агента и сказался слишком больным для посадки на «Энкхэйзен», когда подойдет час отплытия в Батавию. Напоследок он поклялся выковырять все, что я заложил внутрь этой шлюхи, его жены, обычной ложкой. К моему стыду — а может, я этого и не стыдился, не знаю, — я ушел, не попрощавшись с Глорией. — Ван Клиф чешет бороду.

— Две недели спустя я наблюдал издали за отплытием «Энкхэйзена». Через пять недель я уплыл на трухлявом бриге «Маркиза», штурман

которого разговаривал с духами умерших, а капитан подозревал в заговоре даже корабельного пса. Вы пересекали Индийский океан, так что описывать его я вам не стану: бескрайний, сердитый, ровный, как стекло, вздымающийся, однообразный... После семинедельного перехода мы бросили якорь в Батавии, благодаря милости Божьей и при минимальном участии штурмана или капитана. Я шел вдоль вонючего канала, собираясь с духом, в ожидании трепки от отца или вызова на дуэль Тео, ранее прибывшего на «Энкхэйзене», или лишения наследства. Я не увидел ни одного знакомого лица (десять лет отсутствия — это много) и постучался в заметно уменьшившуюся для меня дверь дома моего детства. Моя старая кормилица, вся в морщинах, отчего ее лицо напоминало грецкий орех, открыла дверь и закричала. Я помню, как с кухни прибежала мать. Она держала в руках вазу с орхидеями. В следующее мгновение — я помню — ваза превратилась в тысячи осколков, а мать прислонилась к стене. Я подумал, что дядя Тео превратил меня в *persona non grata* для всех родственников, но затем заметил, что мать в траурном платье. Я спросил: что, умер мой отец? Она ответила: «Ты, Мельхиор, ты же утонул». Затем, плача, мы обнялись, и я узнал, что «Энкхэйзен» разбился о рифы в какой-то миле от Зондского пролива <sup>[92]</sup>, и все погибли...

— Мне очень жаль, директор, — говорит Якоб.

— Самой счастливой оказалась Аагзе. Она вышла замуж за того фермерского сына, и теперь у них — стадо в три тысячи голов. Всякий раз, когда я попадаю в Кейп, мне хочется заехать к ним и передать мои наилучшие пожелания, но никогда не делаю этого.

Крики удивления доносятся поблизости. Два иностранца замечены группой плотников, пришедших на работу к зданию неподалеку. «Гаидзин — сама!» — кричит один, ухмыляясь широченной улыбкой. Он держит плотницкую линейку и предлагает свои услуги, вызывая у его коллег дикий хохот. «Я не уловил», — говорит ван Клиф.

— Он предлагает измерить длину вашего мужского достоинства.

— Да? Скажите проходимцу, что ему нужны три таких линейки.

В горле бухты Якоб видит мерцающий треугольник красного, белого и голубого.

«Нет, — думает старший клерк. — Это мираж... или китайская джонка, или...»

— Что случилось, де Зут? Вы выглядите так, будто обделались?

— Торговый корабль входит в бухту или... фрегат?

— Фрегат? Кто послал фрегат? Под каким он флагом?

— Под нашим, — Якоб хватается за конек и благодарит свою

дальнозоркость. — Голландским.

## Глава 30. КОМНАТА ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ НАГАСАКИ

*Второй день  
девятого месяца*

Владыка-настоятель феода Киога Эномото кладет белый камень на доску.

«Аванпост, — видит магистрат Широяма, — между моим северным флангом...

Тени тонких кленов расчерчивают доску, изготовленную из золотистого дерева кайя.

...и восточными группами... или это отвлекающая атака? В обоих случаях...»

Магистрату казалось, что он наращивал преимущество, а вышло — терял его.

«Где же этот скрытый путь, — спрашивает он себя, — позволяющий обратить вспять мои временные отступления?»

— Никто не будет оспаривать, — говорит Эномото, — что мы живем в трудные времена.

«Можно поспорить о том, — думает Широяма, — что у тебя трудные времена».

— Один мелкий даймё с плато Асо, который обратился ко мне за содействием...

«Да — да, — думает магистрат, — твое благоразумие — образец для всех».

— ...заявил, что «долг», по терминологии наших дедов, теперь следует называть «кредитом».

— Означает ли это... — Широяма расширяет североюжную группу черным камнем, — что долги больше не должны выплачиваться?

С вежливой улыбкой Эномото достает свой камень из чаши, сделанной из палисандра.

— Выплаты остаются утомительной необходимостью, увы, но случай с благородным господином с плато Асо показателен. Два года назад он занял значительную сумму у Нумы... — Нума, один из любимых банкиров настоятеля, кланяется из своего угла, — чтобы осушить болото. В седьмой месяц этого года его арендаторы собрали первый урожай риса. Значит, в

такое время, когда деньги из Эдо поступают с опозданием и их суммы постоянно уменьшаются, у клиента Нумы хорошо накормленные, благодарные крестьяне, которые набивают рисом его амбары. Его долг перед Нумой следовало погасить... когда?

Нума вновь кланяется:

— Полностью двумя годами раньше, ваше преосвященство.

— Тогда тот благородный сосед даймё, клявшийся, что никогда не будет должен никому даже одно зернышко риса, посылает все больше и больше жалостливых прошений в Совет старейшин... — Энмото кладет камень между его двумя восточными группами, — а там слуги используют их для растопки. Кредит — это семя богатства. Лучшие умы Европы изучают кредитование и деньги в дисциплине, называемой ими... — Энмото использует иностранное слово:

— ...политической экономией.

«Это всего лишь подтверждает, — думает Широяма, — мое отношение к европейцам».

— Молодой человек, мой друг по Академии, переведил удивительную книгу, «Богатство народов». Его смерть стала трагедией для нас, ученых, и я верю, для всей Японии.

— Огава Узаемон? — вспоминает Широяма. — Очень печально.

— Если бы он сказал мне, что пойдет по ариакской дороге, я бы выделил ему эскорт для прохода по моему феоде. Но, решив пойти паломником ради больного отца, скромный молодой человек решил обойтись без чьей-либо помощи... — Энмото водит ногтем большого пальца взад — вперед по линии жизни. Магистрат знает эту историю из разных источников, но он не перебивает рассказчика. — Мои люди окружили тех бандитов. Я обезглавил того, кто во всем признался, а остальных насадили ногами на железные пики, чтобы волки и вороны довели дело до конца. Потом, — он вздыхает, — старший Огава умер прежде, чем выбрали наследника.

— Смерть семьи — это ужасно, — соглашается Широяма.

— Родственник с боковой ветви клана отстраивает дом — я пожертвовал ему денег, — но он — лишь обычный торговец ножами, и фамилия Огава на Дэдзиме больше не прозвучит.

Широяме нечего добавить, но поменять тему разговора неприлично.

Двери раздвигаются, открывая веранду. На юге клубятся подсвеченные солнцем облака.

С нераспаханного горящего поля на холме поднимается дым.

«Только что здесь, и уже нет его, — думает Широяма. — Банальности,

глубокие по смыслу».

Они возвращаются к игре. Шуршит накрахмаленный шелк рукавов.

— Обычно, — говорит Эномото, — чтобы польстить магистрату, хвалят его умение играть в го, но вы действительно лучший игрок из всех, с кем я встречался в последние пять лет. Я чувствую влияние школы Хонинбо.

— Мой отец, — магистрат видит призрак старика, хмурящегося на банкира Эномото, — достиг второго рю в Хонинбо. Я всего лишь неумелый ученик... — Широяма атакует отдельный камень Эномото, — ...когда позволяет время.

Он поднимает чайник, но тот пуст. Хлопает в ладоши, и появляется мажордом Томине.

— Чай, — говорит магистрат.

Томине поворачивается и зовет хлопком слугу, который скользит к столику, забирает поднос, не издав ни звука, и исчезает с поклоном у выхода. Магистрат представляет себе, как поднос передается чередой слуг, пока не добирается до беззубой старухи в самой далекой кухне, которая нагревает воду до нужной температуры прежде, чем залить приготовленные листья.

Мажордом Томине никуда не уходит: так он выражает легкий протест.

— Значит, так, Томине: здесь очень уж много землевладельцев с пограничными спорами, чиновников с просьбами о должности для бестолкового племянника, побитых жен, ищущих развода, — и каждый из них атакует вас предложением денег и молодых дочерей, и все хором просят: «Пожалуйста, мажордом — сама, поговорите с магистратом обо мне?»

Томине осуждающе фыркает сломанным носом.

«Магистрат — раб, — думает Широяма, — этого многоголового желания...»

— Последите за золотой рыбкой, — приказывает он Томине. — Приходите за мной через несколько минут.

Осмотрительный мажордом выходит во двор.

— Условия нашей игры неравны, — говорит Эномото. — Вас отвлекают ваши обязанности.

Зеленовато — пепельная стрекоза садится на край доски.

— Высокая должность, — отвечает магистрат, — сама по себе отвлечение, во всех смыслах. — Он слышал, что настоятель способен лишать ки насекомых и небольших животных движением ладони, и немного надеется на демонстрацию таковой способности, но стрекоза

улетает. — У владыки Эномото тоже есть фео́д, чтобы управлять им, а еще храм, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии, и научные интересы, и... — упоминание о коммерческих интересах равносильно оскорблению, — ...другие дела.

— Мои дни, это точно, никогда не бывают праздными. — Эномото кладет камень в центр доски. — Но гора Ширануи омолаживает меня.

Осенний бриз полами невидимого халата пробегает по комнате.

«Я достаточно могущественен, — тонкий намек магистрату, — чтобы заставить дочь Аибагавы, вашу любимицу, остаться в моем храме, а вы не можете этому помешать».

Широяма пытается сосредоточиться на игре, нынешней позиции и будущей.

«Когда-то, — учил своего сына старший Широяма, — знать и самураи управляли Японией...

Слуга раскрывает двери, кланяется и вносит поднос.

...а сейчас управляют обман, жадность, коррупция и похоть».

На подносе две чистые чашки и чайник.

— Владыка-настоятель, — спрашивает Широяма, — не хотите ли чаю?

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь, — отвечает тот, — но я предпочитаю свое питье.

— Ваша... — «Как бы сказать тактично?» — Ваша предусмотрительность известна всем.

Послушник Эномото в одежде цвета индиго уже здесь. Юноша с выбритой головой откупоривает бутылку из тыквы и оставляет рядом с учителем.

— Не было ли такого случая, что принимающий вас хозяин... — Вновь магистрат ищет правильные слова.

— Рассердился на невольное обвинение в попытке отравить меня? Да, иногда. Но потом я успокаиваю его рассказом, как одна исполнительница приказа врага — женщина — поступила на службу в резиденцию одной известной семьи в Мияко. Она работала доверенной служанкой два года до того, как я приехал к ним в гости. И положила в мою еду несколько крупинок яда, без запаха и вкуса. Если бы доктор ордена, учитель Сузаку, не сумел быстро приготовить противоядие, я бы умер, и семья моих друзей была бы опозорена.

— Некоторые из ваших врагов не церемонятся в средствах, Владыка-настоятель.

Тот подносит горлышко тыквенной бутылки ко рту, откидывает голову и пьет.

— Враги сбиваются в стаи ради обретения силы, — он вытирает губы, — как осы, чтобы добраться до сердцевины инжира.

Широяма угрожает окружением одиночному камню Эномото.

Дрожь земли оживляет камни: они колеблются и постукивают...

...но не сдвигаются с мест, а дрожь успокаивается.

— Простите мою невоспитанность, — говорит Эномото, — поскольку я еще раз упомяну про дела Нумы, но мою совесть тревожит тот факт, что я отвлекаю магистрата сегуна от исполнения его обязанностей. Какой кредит Нума мог бы предоставить на первый раз?

Широяма чувствует, как начинает жечь желудок.

— Возможно... двадцать?

— Двадцать тысяч рё? Конечно. — Эномото не моргает. — Половина поступит на ваш нагасакский склад через две ночи, и еще половина будет доставлена в вашу резиденцию в Эдо к концу десятого месяца. Вас устроит такой расклад?

Широяма не отрывает взгляда от доски.

— Да.

Он заставляет себя добавить:

— Возникает вопрос гарантий.

— Ненужные слова, — заверяет его Эномото, — для такого прославленного имени.

«Мое прославленное имя, — думает его обладатель, — приносит мне лишь дорогие обязательства».

— Когда придет следующий голландский корабль, деньги вновь потекут с Дэдзимы в Нагасаки с большими налоговыми отчислениями через казначейство магистрата. Я сочту за честь самолично гарантировать этот заем.

«Упоминание о моей резиденции в Эдо, — думает Широяма, — это легкая угроза».

— Проценты, ваша честь, — снова кланяется Нума, — станут в четверть всей суммы и будут выплачиваться каждый год в течение трех лет.

Широяма не может заставить себя посмотреть на ростовщика.

— Принимается.

— Превосходно, — Владыка-настоятель отхлебывает из тыквенной бутылки. — Хозяин дома очень занят, Нума.

Ростовщик, пятясь, кланяется всю дорогу до двери, стучается о нее и исчезает.

— Простите меня... — следующим ходом Эномото укрепляет северо — южную стену, — ...за то, что привел это существо в ваше святилище,



магистрат. Необходимые бумаги по займу подготовят сегодня и завтра доставят вам.

— Не нужны никакие извинения, Владыка-настоятель. Ваша... помощь... своевременна.

«Не то слово, — признается себе Широяма и изучает доску в поисках вдохновения. — Слуги — на половине жалованья, дезертирство неизбежно, дочерям нужно приданое, крыша резиденции в Эдо течет, стены разваливаются, и если моя свита в Эдо будет составлять меньше тридцати человек, то начнутся шутки о моей бедности, а когда шутки дойдут до ушей других моих кредиторов...» Призрак отца может шикнуть: «Позор!» — но отец получил в наследство землю, которую мог продать, а Широяма не получил ничего, кроме дорогостоящего ранга и поста нагасакского магистрата. Когда-то торговый порт был настоящей серебряной жилой, но в последнее время торговля стала нерегулярной, случайной. При этом взятки и жалованье должны выплачиваться в любом случае. «Если бы, — мечтает Широяма, — человеческие создания не представляли из себя маски поверх масок, надетых на другие маски! Если бы мир был чистой доской линий и пересечений, а время — чередой продуманных ходов, а не хаосом промахов и ошибок».

Он спрашивает себя: «Почему не вернулся Томине, чтобы стоять у меня над душой?»

Широяма ощущает некое изменение во внутренней атмосфере магистратуры.

Вроде бы ничего не слышно... ан нет, слышно: низкое и дальней громыхание, следствие какого-то волнения.

Бегущие по коридору шаги. Сбивчивый шепот у двери.

Входит ликующий мажордом Томине:

— Замечен корабль, ваша честь!

— Корабли приходят и уходят все вре... Голландский корабль?

— Да, господин. Он плывет под голландским флагом, который виден, как день.

— Но... — Чтобы корабль прибыл в девятом месяце? Никогда не было такого. — Ты уве...

Колокола всех храмов в Нагасаки начинают радостный трезвон.

— У Нагасаки, — замечает Владыка-настоятель, — нет никаких сомнений.

«Сахар, сандаловое дерево, камвольная ткань, — думает Широяма, — свинец, хлопок...»

Котел коммерции закипит, а у него — самый большой половник.

«Налоги на голландские товары, «подарки» от директора, «патриотичный» курс обмена...»

— Позвольте мне стать первым, — спрашивает Эномото, — с поздравлениями?

«Как ловко ты прячешь свое разочарование, что не смог поймать меня в свою сеть», — думает Широяма, дыша полной грудью, как теперь ему кажется, впервые за столько недель.

— Благодарю вас, Владыка-настоятель.

— Я, разумеется, скажу Нуме, чтобы он больше не отбрасывал тень в ваших коридорах.

«Мои временные отступления, — Широяма хочет в это верить, — обращены вспять».

## Глава 31. У ПОРУЧНЕЙ БАКА КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ»

*Ровно десять утра  
18 октября 1800 г.*

— Вижу голландскую факторию, — Пенгалигон регулирует резкость в своей подзорной трубе, оценивая расстояние в две английские мили. — Склады, сторожевая вышка, что ж, будем считать, что они знают о нашем прибытии... Дыра дырой. Двадцать — тридцать джонок на якорях, китайская фактория... рыбацкие лодки... несколько роскошных крыш... но где же стоит на якоре жирный, нагруженный ост — индский голландец, господа? Я вижу лишь голубую воду? Скажите, что я не прав, господин Хоувелл.

Хоувелл проверяет бухту через свою подзорную трубу.

— С удовольствием поправил бы вас, если б мог, сэр.

Майор Катлип посвистывает, с трудом удерживаясь от ругательств.

— Господин Рен, что видят глаза Кловелли, нашего лучшего смотрового, что-то недоступное нашим?

Вопрос Рена: «Нашел нашего голландца?» — адресуется на самый верх фок — мачты.

Ответ прилетает к Рену, который повторяет его:

— Голландца не видать.

«Тогда повременим с быстрым разгромом голландцев», — думает Пенгалигон и опускает подзорную трубу, а плохая новость за считанные секунды облетает весь корабль, от верхней палубы до днища трюма. На пушечной палубе ливерпулец вводит в курс дела своего глуховатого друга, орет ему в ухо: «Нету хренова корабля, вот как, Дэйви, а если нету хренова корабля, значит, нету хреновых призовых денег, а если нету хреновых призовых, значит, мы вернемся домой хреновыми бедняками, какими и были, когда хреновый флот затащил нас к себе!»

Даниэлю Сниткеру в нахлобученной широкополой шляпе никакой перевод не нужен.

Рен первым выплескивает злость на голландца:

— Мы опоздали? Он отплыл?

— Наша неудача — и его тоже, лейтенант, — осаживает Пенгалигон своего офицера.

Сниткер обращается к Хоувеллу на голландском, указывая при этом на город.

— Капитан, он говорит, — переводит первый лейтенант, — что голландцы могли спрятать своего остиндца за выступом того лесистого холма с пагодой наверху, к востоку от устья реки, если нас заметили вчера вечером.

Пенгалигон чувствует, как возвращаются надежды команды.

Затем он спрашивает себя: а может, «Феб» стараются заманить в ловушку?

«Байка Сниткера о дерзком побеге из Макао провела губернатора Корнваллиса...»

— Идем дальше, сэр? — спрашивает Рен. — Или спустить баркас?

«Смог бы этот недалекий тип разработать и реализовать такой сложный замысел?»

Штурман Уэц кричит из-за штурвала: «Бросать якоря, капитан?»

У Пенгалигона появляются вопросы.

— Минуту идем тем же курсом, господин Уэц. Господин Хоувелл, пожалуйста, спросите господина Сниткера, почему голландцы станут прятать свой корабль, несмотря на наш голландский флаг. Может, от нас ждали кодового сигнала, который мы не знаем?

Поначалу в ответе Сниткера уверенности маловато, но с каждым словом становится все больше. Хоувелл кивает.

— Он говорит, сэр, что при отплытии «Шенандоа» никакого кодового сигнала не было, и он сомневается, что вообще есть такой. Он говорит, что директор ван Клиф мог спрятать корабль чисто из предосторожности.

Пенгалигон смотрит на паруса, оценивая силу ветра. «Феб» может добраться до горла бухты за несколько минут, но возвращение назад займет больше времени. Темно — зеленые волны хлюпают в зазорах между покрытых водорослями камней.

— Лейтенант Хоувелл, спросите у господина Сниткера следующее: если корабль из Батавии не приходил в этом году из-за крушения или войны, будет ли медь, приготовленная для отправки, храниться на Дэдзиме?

Хоувелл переводит вопрос, и «Ja, ja» Сниткера понятно всем.

— А эта медь будет считаться японской собственностью или голландской?

Ответ Сниткера неопределенный. Согласно переводу Хоувелла, право собственности на медь зависит от договоренности между директором и магистратом, и условия могут различаться год от года.

Гулкий звон колоколов разносится над городом и бухтой, и Сниткер

объясняет Хоувеллу: «Колокола благодарят местные божества за благополучное прибытие голландского корабля и денег, привезенных в Нагасаки. Мы можем предположить, что наша маскировка удалась».

Баклан ныряет в воду с отвесной черной скалы в ста ярдах от «Феба».

— Спросите еще раз, чего ждут по прибытии от голландского корабля.

Ответ Сниткера сопровождается энергичными жестами.

— Корабль голландской компании, сэр, — говорит Хоувелл, — проплывает еще полмили мимо сторожевых башен и салютует залпом с обоих бортов. Затем спускается баркас для приветствия встречающих, которые прибывают на двух сампанах Компании. Все три лодки возвращаются к кораблю для таможенных формальностей.

— Когда нам точно ожидать отплытия встречающих от Дэдзимы?

Ответ сопровождается пожатием плеч:

— Вероятно, через четверть часа, сэр.

— Поясните: встречающая сторона состоит из японских и голландских представителей?

Сниткер отвечает на английском: «Японских и голландских, ја».

— Спросите, господин Хоувелл, сколько вооруженных людей сопровождает их?

Ответ сложный, и первому лейтенанту приходится кое-что уточнять.

— У всех официальных лиц на лодках есть мечи, но в основном — лишь как знак ранга. Чаще всего, они похожи на деревенского помещика у нас дома, который тоже может говорить угрожающе, а на самом деле не отличит меча от иголки.

Терпение майора Катлипа иссякает:

— Если вы хотите захватить для нас несколько заложников, сэр, мы доставим этих лопочущих обезьянок ко второму завтраку.

«Черт бы побрал губернатора Корнваллиса, — думает капитан. — Посадил мне на шею этого осла».

— Голландские заложники, — Хоувелл обращается к нему, — могут укрепить нашу позицию, но...

— Один расквашенный японский нос, — соглашается Пенгалигон, — может разбить все надежды на мирный договор на многие годы: да, я знаю. Книга Кемпфера рассказала мне, как воспринимается понятие «честь» у этой нации. Но считаю риск обоснованным. Наша маскировка годится лишь на короткое время, а не располагая более точными и менее отрывочными сведениями... — он бросает взгляд на Даниэля Сниткера, который рассматривает город в подзорную трубу, — ...о происходящем на берегу, мы похожи на слепого, который пытается обмануть зрячих.

— А как же спрятанный голландский корабль, сэр? — спрашивает лейтенант Рен.

— Если он есть, то мы подождем. Мимо нас ему не проскользнуть. Господин Толбот, прикажите старшине баркаса подготовить его, но на воду не спускать.

— Есть, сэр.

— Господин Малуф, — Пенгалигон, повернувшись, обращается к гардемарину, — передайте господину Уэцу, чтобы он провел нас на полмили за те игрушечные укрепления, но при этом не спешил...

— Есть, сэр! За укрепления на полмили, сэр, — Малуф спешит к стоящему за штурвалом Уэцу, перепрыгивая через бухту каната, покрытого коркой соли.

«Чем скорее я прикажу отдраить верхнюю палубу, — думает капитан, — тем лучше».

— Господин Уолдрон, — он обращается к похожему на быка старшине — артиллеристу. — Наши орудия готовы?

— Так точно, капитан, на обоих бортах. Дульные пробки вытащены, порох заряжен, но без ядер.

— Обычно голландцы салютуют сторожевым башням, когда проходят мимо тех утесов, видите?

— Да, сэр. Парни внизу должны сделать то же самое?

— Да, господин Уолдрон, и, хотя мне это не нужно, да и не хочу я сегодня ничего такого...

Уолдрон терпеливо ожидает, пока капитан подберет нужные слова.

— Держите поближе к себе ключ от склада ядер. Судьба благоволит к тем, кто готов ко всему.

— Есть, сэр, будем готовы, — Уолдрон спускается вниз, на пушечную палубу.

На мачтах смотровые перекликаются между собой.

Уэц так и сыплет командами.

Паруса подбираются, «Феб» плывет вперед, оснастка скрипит и стонет.

Баклан клювом чистит сверкающие перья, опустившись на корму фрегата.

Лотовый кричит: «Отметка девять!» Цифра передается Уэцу.

Пенгалигон изучает бухту в подзорную трубу, обратив внимание, что у замка сегуна в Нагасаки отсутствует цитадель или донжон.

— Господин Хоувелл, спросите у господина Сниткера: если мы проведем «Феб» как можно ближе к Дэдзиме, высадим сорок человек на

двух баркасах и оккупируем факторию, что решат японцы: голландская земля захвачена или их?

Короткий сухой ответ Сниткера.

— Он говорит, что отказывается, — переводит Хоувелл, — угадывать, какие мысли могут возникнуть на сей счет у японских правителей.

— Спросите, не желает ли он примкнуть к этому рейду.

Переводчик Сниткера передает его короткий ответ: «Я дипломат и торговец, а не солдат». Сдержанность Сниткера снимает опасения Пенгалигона, что тот торопится их загнать в хитрую ловушку.

— Глубина десять с половиной! — кричит лотовый.

«Феб» почти поравнялся со сторожевыми башнями по обеим сторонам горла бухты, и капитан направляет на них подзорную трубу. Стены — тонкие, укрепления — низкие, и пушки более опасны самим пушкарям, чем их целям.

— Господин Малуф, пожалуйста, передайте господину Уолдрону, что пора салютовать.

— Так точно, передать господину Уолдрону, что пора салютовать, — Малуф уходит вниз.

Пенгалигон впервые наяву, отчетливо видит японцев. Они невысокого роста, как малайцы, лицом неотличимы от китайцев, а их вооружение вызывает из памяти фразу майора Катлипа о средневековых удалцах.

Пушки выстреливают с обоих бортов; грохот отлетает рикошетом от крутых берегов...

...и едкий дым накрывает корабль, создавая ощущение сражения.

— Отметка девять, — кричит лотовый, — восемь с половиной...

— Две лодки отплывают от города, — докладывают со смотровой на лонг — салинге.

Пенгалигон видит в своей трубе расплывчатые силуэты двух сампанов.

— Господин Катлип, я хочу, чтобы морские пехотинцы повели баркас, одетые, как матросы, с абордажными саблями, замаскированными мешковиной под банками гребцов. — Майор отдает честь и уходит вниз. Капитан идет к старшине баркаса — хитрющему контрабандисту с островов Силли, который решил податься в моряки, когда на него упала тень виселицы в Пензансе.

— Господин Флауэрс, спускайте баркас, но запутайте канаты, чтобы потянуть время. Я хочу, чтобы при встрече с нашим баркасом лодки оказались ближе к «Фебу», чем к берегу.

— Исполню в лучшем виде, капитан. Сейчас навяжу французских узлов.

Вернувшись на нос корабля, Хоувелл спрашивает у капитана разрешения озвучить свои мысли.

— Я высоко ценю озвученные вами мысли, господин Хоувелл, поэтому вы здесь.

— Благодарю вас, сэр. Я утверждаю, что двойной приказ, генерал — губернатора и адмиралтейства, о предстоящей миссии — говоря другими словами, «завладеть голландским имуществом и соблазнить японцев», — никак не соотносится с тем, что мы сейчас наблюдаем. Если у голландцев нечего захватывать и японцы останутся верными своим союзникам, как мы сможем выполнить наши приказы? Третья стратегия, однако, может оказаться более эффективной.

— А теперь подробнее, лейтенант.

— Голландская принадлежность Дэдзими рассматривается не как барьер англо — японскому договору, но, скорее, как ключ. Каким образом? Коротко говоря, сэр, вместо разгрома центра голландской торговли в Нагасаки мы поможем отремонтировать Дэдзиму, а затем реквизировать.

— Отметка десять, — кричит лотовый, — десять и треть...

— Лейтенант, — Рен слышал все, — позабыл, что мы воюем с голландцами? Почему они станут сотрудничать с врагами своего государства? Если вы все еще надеетесь на тот кусок бумаги от голландского короля Билли в...

— Не затруднит второго лейтенанта подождать, пока первый лейтенант закончит, господин Рен?

Рен иронически кланяется, как бы извиняясь, и Пенгалигону очень хочется дать ему пинка...

«...но твой тесть — адмирал, да и моей подагре пинок не пойдет на пользу».

— Щепочка Нидерланды, — продолжает Хоувелл, — не решилась бы на противостояние могущественной бурбонской Испании, если бы не присущий голландцам прагматизм. Десять процентов от прибыли — назовем их «вознаграждением брокера» — смотрятся гораздо лучше, чем сто процентов от ничего. И даже меньше, чем ничего. Раз корабль с Явы в этом году не прибыл, они еще не знают о банкротстве Голландской Ост — Индской компании...

— И о потере, — понимает капитан, — их накопленного жалованья и доходов от частной торговли по бухгалтерским книгам Компании. Бедняжки Ян, Пиет и Клас — теперь нищие, брошенные среди язычников.

— Без всякой надежды, — добавляет Хоувелл, — вновь увидеть свой дом.



Капитан смотрит на город.

— Как только голландские чиновники поднимутся на борт, мы можем открыть им глаза на их сиротство и представиться не агрессорами, а приемными родителями. Мы можем отпустить одного на берег, чтобы тот убедил соотечественников в нашей дружелюбии и заодно стал посредником на переговорах с японскими властями, объяснив, что следующие «голландские корабли» придут с Пенанга, а не из Батавии.

— Захват голландской меди в качестве боевого приза убьет гусыню с золотыми яйцами — торговлю. Но если продолжать торговлю шелком и сахаром с нашей стороны и отходить с наполовину набитым трюмом, как полагается нашими правилами, то мы можем возвращаться сюда каждый год — к совместному обогащению Компании и империи.

«В Хоувелле я вижу себя, — думает Пенгалигон, — только более молодого и крепкого».

— Люди, — предупреждает Рен, — истошно завоюют, потеряв призовые деньги.

— «Феб», — отвечает капитан, — фрегат Его королевского величества, а не приватир [\[93\]](#). — Он поворачивается к старшине баркаса, скрывать боль в ноге становится все труднее. — Господин Флауэрс, прошу: распутывайте эти французские узлы. Господин Малуф, передайте майору Катлипу, чтобы тот начал погрузку своих морпехов. Лейтенант Хоувелл, мы полагаемся на ваше знание голландского языка, чтобы вы заманили парочку жирных голландских селедок в баркас, не поймав ни одной местной рыбы...

Якорь «Феба» брошен в бухте, в пятистах ярдах от сторожевых башен. Баркас, на веслах которого сидят морские пехотинцы в матросских робах, неспешно приближается к встречающим. Старшина Флауэрс держит румпель, а Хоувелл и Катлип сидят впереди.

— У этого Нагасаки, — замечает Рен, — якорная стоянка такая же, как в Порт — Махоне [\[94\]](#)...

Видно, как плывущий в чистой воде косяк серебряной рыбы внезапно меняет направление.

— ...а четыре или пять современных фортов превратят ее в неприступную твердыню.

Длинные, повторяющие изгибы склонов рисовые плантации тянутся по невысоким, поднимающимся друг за дружкой горам.

— Совершенно не нужна она этой отсталой нации, — сокрушается Рен, — слишком ленивой, чтобы построить флот.

Черный дым поднимается с холма, напоминающего горб. Пенгалигон пытается спросить Даниэля Сниткера, является ли этот дым каким-то сигналом, но попытка Сниткера внятно ответить капитану проваливается, и капитан посылает за Смайерсом — старшим плотником, говорящим на голландском.

Сосновые леса годятся на мачты и стойки.

— Какой прекрасный вид открывается из бухты, — подает голос лейтенант Толбот.

Женственная реплика раздражает Пенгалигона, и он задается вопросом: правильное ли принял решение, остановив свой выбор на лейтенанте Толботе после смерти Сэма Смита в Пенанге. Потом вспоминает, каким одиноким чувствовал себя в должности третьего лейтенанта, зажато между высокомерием капитана и завистью бывших товарищей — гардемарин.

— Приличный вид, да, господин Толбот.

Какой-то матрос в галюне, в нескольких футах внизу и чуть впереди, похотливо стонет.

— Японцы, я читал, — говорит Толбот, — дают своей стране красочные названия...

Невидимый матрос издает громкий оргазмический рык облегчения...

— ...Страна тысячи осеней или восходящего солнца.

...и тяжелое говно падает в воду, словно пушечное ядро. Уэц трижды бьет в колокол.

— И когда смотришь на Японию, — продолжает Толбот, — такие поэтические названия кажутся уместными.

— Что я вижу, — заявляет Рен, — так это защищенную бухту для целой эскадры.

«Что там эскадра, — думает капитан. — В этой бухте легко разместится целый флот».

От этой картины сердце ускоряет бег. «Британский Тихоокеанский флот».

Воображение рисует целый плавающий город линейных кораблей и фрегатов.

Капитан буквально видит карту Северо — Восточной Азии с британской военно — морской базой в Японии...

«Даже Китай, — позволяет себе подумать он, — может вслед за Индией попасть в нашу сферу...

Гардемарин Малуф возвращается со Смайерсом.

...и Филиппины тоже готовы стать нашими».

— Господин Смайерс, будьте так добры, спросите господина Сниткера об этом дыме...

Беззубый амстердамец щурится на дым, поднимающийся над камбузом.

— О том дыме, над горбатым холмом.

— Есть, сэр, — Смайерс указывает, переводя. Сниткер безмятежен.

— Ничего плохого, он говорит, — переводит Смайерс. — Фермеры жгут поля каждую осень.

Пенгалигон кивает.

— Благодарю. Оставайтесь поблизости, вы мне можете понадобиться.

Он замечает, что флаг — голландский триколор — закрутился вокруг утлегаря.

Он оглядывается в поисках того, кто бы мог его расправить, и видит юношу — полукровку с волосами, забранными в конский хвост, щиплющего паклю над паровой решеткой.

— Хартлпул!

Юноша откладывает канат в сторону и подходит.

— Дассэр.

Лицо Хартлпула говорит о безотцовщине, обидных прозвищах и веселом нраве.

— Пожалуйста, разверните для меня тот флаг, Хартлпул.

— Дассэр, — босоногий моряк перелезает через ограждение, идет по бушприту...

«Сколько прошло времени, — спрашивает себя Пенгалигон, — с тех пор, как я был таким же проворным?»

...и взбирается по круглому брусу, поднимающемуся под углом в сорок пять градусов.

Большой палец правой руки капитана, понесшего тяжелую утрату, находит нательный крест Тристама.

У места крепления шпринтового паруса, в сорока ярдах от капитана и на тридцать ярдов выше, Хартлпул останавливается. Оседлав брус, распутывает флаг.

— Интересно, он умеет плавать? — лейтенант Толбот спрашивает себя вслух.

— Не знаю, — отвечает гардемарин Малуф, — но сомневаюсь...

Хартлпул возвращается на палубу с той же природной грациозностью.

— Если мать у него темнокожая, — комментирует Рен, — то отец точно был кот.

Хартлпул спрыгивает на полубак перед ними; капитан дает ему

новенький фартинг: «Отличная работа, малыш». Глаза Хартлпула округляются от неожиданной щедрости. Он благодарит Пенгалигона и возвращается к пакле.

Смотровой кричит: «Приближаются к баркасу!»

В трубу Пенгалигон видит два сампана, подплывающих к баркасу. Первый везет трех японских чиновников: двое — в одежде серого цвета и молодой — в черной. Трое слуг сидят позади. Во втором баркасе, следующем позади, — два голландца. Черты лица с такого расстояния не разглядеть, но Пенгалигон увидит, что один загорелый, бородатый и плотный, а другой — сухой, как палка, и бледный, как мел.

Пенгалигон передает трубу Сниткеру, который просвещает Смайерса. «Он говорит, в серой одежде — должностные лица, капитан. В черной — переводчик. Большой голландец — Мельхиор ван Клиф, директор Дэдзимы. Худой — пруссак. Его зовут Фишер. Фишер — второй по чину».

Ван Клиф прикладывает ладони рупором ко рту и приветствует Хоувелла за сотню ярдов до их встречи.

Сниткер продолжает говорить. Смайерс переводит:

— Ван Клиф — крыса, он говорит, сэр, настоящий... предатель. А Фишер — доносчик, лжец и обманщик, этот сучий сын, он говорит, сэр, с большими амбициями. Я не думаю, что господину Сниткеру они оба нравятся, сэр.

— Но оба, — высказывается Рен, — похоже, годятся для нашего предложения. Кто нам совершенно не нужен, это какой-нибудь неподкупный тип с принципами.

Пенгалигон забирает свою трубу у Сниткера.

— Таких здесь не так и много.

Морские пехотинцы Катлипа бросают весла. Баркас скользит по инерции, пока не останавливается.

Лодка трех японцев касается носа баркаса.

— Не дай им перелезть, — шепчет Пенгалигон своему первому лейтенанту.

Носы баркаса и сампана трутся друг о друга. Хоувелл отдает честь.

Инспекторы кланяются. Они представляются через переводчика.

Один инспектор и переводчик привстают, готовясь к переходу.

«Не дай им, — Пенгалигон беззвучно предупреждает Хоувелла, — не дай им...»

Хоувелл притворно кашляет, поднимает руку, извиняясь.

Прибывает второй сампан, причаливает к баркасу сбоку.

— Невыгодная позиция, — бормочет Рен, — зажаты с двух сторон.

Хоувелл перестает кашлять, машет шляпой ван Кли — фу.

Ван Клиф встает и наклоняется к борту сампана, чтобы пожать руку Хоувелла.

Отвергнутые инспектор и переводчик все так же полусидят.

Неловко встает заместитель директора Фишер, и сампан раскачивается.

Хоувелл помогает крупному ван Клифу перелезть через борт баркаса.

— Один в мешке, господин Хоувелл, — шепчет капитан. — Весьма ловко.

Еле слышно долетает громовой смех директора ван Клифа.

Фишер приближается к баркасу, шатаясь, как новорожденный жеребенок...

...но к неудовольствию Пенгалигона, переводчик хватается за нос баркаса.

Ближний морпех обращается к майору Катлипу. Тот бросается к переводчику.

— Нет, — бормочет капитан, который ничем не может помочь, — не позволяй ему перелезть.

Лейтенант Хоувелл в то же самое время приглашает на баркас заместителя директора.

Катлип перехватывает руку нежеланного переводчика...

«Жди, жди, — хочется крикнуть капитану, — жди второго голландца!»

...и Катлип отпускает переводчика, размахивая рукой, словно каким-то образом ее повредил.

Наконец, Хоувелл хватается за нетвердую руку заместителя.

Пенгалигон бормочет: «Перетаскивай, Хоувелл, ради Христа!»

Переводчик решает не ждать помощи и переносит одну ногу над фальшбортом баркаса, и в этот же момент Хоувелл рывком затаскивает пруссака на баркас...

...и половина морских пехотинцев вытаскивают абордажные сабли, сверкающие отраженным солнечным светом.

Другие солдаты хватаются за весла и отталкивают сампаны.

Переводчик в черном одеянии падает в воду, как Пьеро. Баркас «Феба» берет курс на корабль.

Директор ван Клиф, поняв, что их похитили, бросается на лейтенанта Хоувелла.

Катлип перехватывает его на полпути, и они оба падают на дно баркаса, который опасно раскачивается.

«Пусть только не перевернутся, милостивый Боже, — просит

Пенгалигон, — не сейчас...»

Ван Клифу скручивают руки, и качка прекращается. Пруссак сидит недвижно.

В сампанах, уже позади баркаса в трех корпусах, первым двигается гребец, который наклоняется к воде, чтобы спасти переводчика. Инспекторы в сером застыли в шоке и смотрят на лодку иноземцев, спешащую к «Фебу».

Пенгалигон опускает подзорную трубу.

— Первый бой выигран. Сдирайте эту голландскую тряпку, господин Рен, и поднимайте «Юнион Джек» на стене и на носу.

— Есть, сэр, с огромным удовольствием.

— Господин Толбот, пусть ваши матросы займутся грязью на моих палубах.

Голландец ван Клиф берется за веревочную лестницу и карабкается вверх с ловкостью, удивительной для его комплекции. Пенгалигон смотрит вверх, на ют, где прячется Сниткер под широкополой шляпой. Оттолкнув протянутые руки, ван Клиф перелезает через борт «Феба», как мавр — налетчик, оглядывает линию офицеров, упирается взглядом в Пенгалигона, наставляет на него указательный палец так гневно, что пара морпехов выступает вперед, на случай его атаки, и рычит сквозь густую, кудрявую бороду и чайного цвета зубы: «Kapitein!»

— Добро пожаловать на борт фрегата Его королевского величества «Феб», господин ван Клиф. Я...

Гневный выпад директора не нуждается в переводе.

— Я капитан Джон Пенгалигон, — продолжает капитан, пока ван Клиф переводит дыхание, — а это — мой второй офицер, лейтенант Рен. Первого — лейтенанта Хоувелла и майора Катлипа... — те поднимаются на палубу, — вы уже видели.

Директор ван Клиф делает шаг к капитану и сплевывает на его сапог.

Сгусток слюны блестит на сапоге, пусть и не самом лучшем, но искусно стачанном на лондонской Джермин — стрит.

— Такие они, голландцы, — пожимает плечами Рен. — Недостаток воспитания.

Пенгалигон протягивает носовой платок Малуфу:

— Ради чести корабля...

— Да, сэр, — гардемарин наклоняется к ногам капитана и протирает сапог.

От крепкого нажатия подагрическая ступня воеет от боли.

— Лейтенант Хоувелл, проинформируйте директора ван Клифа, что он может рассчитывать на наше гостеприимство, если будет вести себя как джентльмен, но если уподобится ирландскому землекопу, то и отношение к нему будет соответствующее.

— Эта работа мне по душе: приручать ирландских землекопов, — хвастается Катлип, пока Хоувелл переводит.

— Позвольте пока воззвать к его разуму, майор.

Слышен пронзительный звон колокола: Пенгалигон полагает, что это — тревога.

Отвернувшись от ван Клифа, он приветствует второго заложника, ниже рангом.

— Добро пожаловать на борт фрегата Его королевского величества «Феб», заместитель директора Фишер.

Директор ван Клиф запрещает своему заместителю раскрывать рот.

Пенгалигон приказывает Хоувеллу спросить Фишера об остиндце этого торгового сезона, но директор ван Клиф хлопает два раза в ладони, чтобы привлечь внимание капитана, и выдает заявление, переведенное Хоувеллом.

— Боюсь, он сказал: «Я спрятал его в своей жопе, ты, английский педик», сэр.

— Один человек сказал мне такое в Сиднейской бухте, — вспоминает Катлип, — так я проверил его место для прятков штыком, и в дальнейшем он никогда не позволял себе столь нагло разговаривать с офицером.

— Скажите нашим гостям следующее, господин Хоувелл, — говорит Пенгалигон. — Скажите им, мы знаем, что корабль отплыл от Батавии, мне это говорил начальник порта в Макао, где этот корабль вставал на якорь двадцать восьмого мая.

От этих слов злость ван Клифа остужается, а лицо Фишера вытягивается. Они говорят между собой, а Хоувелл слушает их разговор.

— Директор говорит: «Если это не хитрость англичан, то потерян еще один корабль...»

Кричит какая-то птица в лесу на берегу бухты. По звукам — кукушка.

— Предупредите их, лейтенант, что мы обыщем всю бухту, и, если найдем остиндца в каком-нибудь укромном месте, их обоих повесят.

Хоувелл переводит угрозу. Фишер трет виски. Ван Клиф плюется. Слюна не попадает на ногу капитана, но Пенгалигон больше не может позволить себе унижения перед лицом команды.

— Майор Катлип, препроводите директора ван Клифа в кормовой канатный склад: без света, без воды. Заместитель директора Фишер в то же

время... — пруссак моргает, как напуганный петушок, — ...может отдохнуть в моей каюте. Пусть двое ваших морпехов последят за ним, и велите Чигуину принести ему полбутылки кларета.

Прежде чем Катлип переходит к исполнению приказа, ван Клиф задает Хоувеллу вопрос.

Изменившийся тон голландца разжигает любопытство Пенгалигона:

— О чем речь?

— Он хочет знать, откуда мы знаем его имя и имя его заместителя.

«Если они поймут, что нас не провести, — думает Пенгалигон, — нам это только на руку».

— Господин Толбот, попросите нашего информатора поприветствовать давних друзей.

Месть свершилась, и Даниэль Сниткер выходит вперед и снимает шляпу.

С отвисшими челюстями, выпучив глаза, ван Клиф и Фишер таращатся на него.

Сниткер потчует парочку долго вынашиваемой речью.

— От этих слов стынет кровь, — бормочет Хоувелл.

— Что ж, это блюдо лучше подавать холодным, как говорил Мильтон.

Хоувелл открывает рот, закрывает, слушает и переводит:

— Суть в следующем: «Вы думали, я буду гнить в батавской тюрьме, так?»

Даниэль Сниткер гордо подходит к Фишеру и тычет тому в горло.

— Он говорит, что теперь «восстанавливается» в должности директора Дэдзимы.

Когда злобный взгляд Сниткера упирается в бородатое лицо Мельхиора ван Клифа, Пенгалигон ожидает плевка директора, или удара, или проклятия. Поэтому довольная улыбка, сменяющаяся веселым смехом, для него полнейший сюрприз. Удивлен и Сниткер, и английские зрители. Ликующий ван Клиф хватается за плечи своего бывшего начальника. Катлип и его морпехи, опасаясь подвоха, надвигаются, но ван Клиф начинает говорить. В голосе удивление, радость, он качает головой, словно не веря своим глазам. Хоувелл переводит: «Появление директора Сниткера, говорит он, доказательство того, что Бог есть, и Бог добрый. Сотрудники фактории более всего на свете хотят возвращения прежнего директора... они знают, что змей Ворстенбос и его жаба Якоб де Зут оболгали честного человека...»

Ван Клиф поворачивается к заместителю Фишеру и требует подтверждения: «Ведь так?»



Изумленный заместитель Фишер кивает и моргает. Ван Клиф продолжает. Хоувеллу перевод дается не без труда:

— Там, на острове, есть один парень по фамилии Ост, который скучает по Сниткеру, как сын скучает по отцу...

Сниткер, поначалу пребывающий в нерешительности — верить или нет, теперь начинает расслабляться.

Гигантской лапицей ван Клиф указывает на капитана:

— Он говорит добрые слова о нашей миссии, сэр. Он говорит... если такой честный человек, как господин Сниткер, нашел общий язык с этим джентльменом — он имеет в виду вас, — тогда он с удовольствием самолично вычистит вашу обувь в знак извинения за проявленную грубость.

— Может ли быть искренним такой разворот, лейтенант?

— Я... — Хоувелл смотрит, как ван Клиф заключает Сниткера в радостные объятия и что-то говорит Пенгалигону. — Он благодарит вас, сэр, от всего сердца... за то, что мы нашли их всеми любимого товарища... и надеется, что «Феб» — предвестник восстановления англо — голландских дружественных отношений.

— Чудеса, — Пенгалигон наблюдает за происходящим, — действительно случаются. Спросите, может...

Ван Клиф с размаху вгоняет кулак в живот Сниткера.

Сниткер сгибается, как складной нож.

Ван Клиф хватает задыхающуюся жертву и переваливает через борт.

Криков нет, лишь громкий всплеск от упавшего в воду тела.

— Человек за бортом! — кричит Рен. — Шевелитесь, ленивые псы! Вытаскивайте его!

— Уберите его с моих глаз, майор, — Пенгалигон рычит на Катлипа.

Ван Клифа ведут вниз по трапу, и напоследок он выкрикивает какие-то слова.

— Он удивлен, — переводит Хоувелл, — что британский капитан позволяет, чтобы палубу марало собачье говно.

## Глава 32. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ ДЭДЗИМЫ

*Четверть  
одиннадцатого утра 18  
октября 1800 г.*

Когда «Юнион Джек» появляется на реях фрегата, Якоб де Зут точно знает: «Это война, и она — здесь». Его удивили странности, которыми сопровождалась встреча баркаса и двух сампанов, но теперь все ясно и понятно. Директор ван Клиф и Петер Фишер похищены. Под Сторожевой башней Дэдзима все еще пребывает в сладком неведении: никто ничего не знает о случившемся на спокойной воде залива. Группа торговцев входит в дом Ари Грота, и радостные охранники отпирают долго простаивающее без дела здание таможни у Морских ворот. Перед тем как спуститься, Якоб еще раз осматривает бухту в подзорную трубу. Встречавшие баркас лодки возвращаются в Нагасаки. Гребцы так работают веслами, словно их жизни зависят от скорости. «Нам придется идти с этим, — понимает Якоб, — в магистратуру». Он сбегает зигзагом по деревянным ступеням, мчится к Длинной улице, отвязывает язык колокола и звонит со всей силы.

За овальным столом в Парадном зале Дэдзимы сидят восемь европейцев: чиновники Якоб де Зут, Понк Оувеханд, доктор Маринус и Кон Туоми и матросы Ари Грот, Пиет Баерт, Вибо Герритсзон и молодой Иво Ост. Илатту устроился под гравюрным портретом братьев де Вит [\[95\]](#). В последние пятнадцать минут настроение каждого прошло долгий путь: радость через неверие скатилась к непониманию и печали. «Пока мы не сможем добиться освобождения директора ван Клифа и заместителя директора Фишера, — говорит Якоб, — я решаюсь на то, чтобы взять на себя руководство Дэдзимой. Подобное самоназначение нигде и никем не регламентировано, и я готов занести все возражения в журнал фактории безо всякой обиды. Но наши хозяева захотят иметь дело только с одним директором, не с восемью, и мой ранг сейчас самый высокий».

— *Ibant qui poterant, — провозглашает Маринус, — qui non potuere cadebant* [\[96\]](#).

— Назначением де Зута исполняющим обязанности директора, — Грот откашливается, — довольны, значит, все.

— Благодарю вас, господин Грот. А что скажете насчет исполняющего

обязанности заместителя директора Оувеханда?

Переглядывания и кивки сидящих за столом утверждают и это назначение.

— Это самое странное продвижение по службе, какое только может быть, — заявляет Оувеханд, — но я согласен.

— Мы должны рассматривать эти назначения как временные, но сейчас, прежде, чем инспекторы магистрата загромыхают по этой лестнице, я хочу, чтобы мы приняли единое решение, поименно: мы приложим все силы, чтобы не допустить захвата Дэдзимы?

Европейцы согласно кивают, кто-то воинственно, кто-то не очень.

— Они пришли сюда, чтоб захватить фабрику? — спрашивает Иво Ост.

— Мы можем только догадываться об этом, господин Ост. Возможно, они ожидали увидеть здесь торговый корабль, полный меди. Возможно, они нацелены на грабеж наших складов. Возможно, они захотят получить жирный выкуп за заложников. Фактов у нас пока недостаточно.

— Это оружия у нас недостаточно, — говорит Ари Грот, — вот что беспокоит меня. Сказать «приложить все силы, чтобы не допустить захвата Дэдзимы» — да, это хорошо, но как? Чем будем отбиваться? Моими кухонными ножами? Ланцетами доктора? Каким оружием?

Якоб смотрит на повара.

— Голландским коварством.

Кон Туоми поднимает руку, протестуя.

— Прошу прощения, — продолжает Якоб. — Голландским и ирландским коварствами... и готовностью. И посему, господин Туоми, пожалуйста, проверьте, чтобы пожарные помпы работали исправно. Господин Оувеханд, пожалуйста, организуйте почасовую вахту на Сторожевой башне во время...

Торопливые шаги доносятся с главной лестницы.

Переводчик Кобаяши входит и оглядывает сидящих за столом.

Тучный инспектор стоит за его спиной в коридоре.

— Магистрат Широяма посылает инспектора, — говорит Кобаяши, не зная, к кому обращаться, — по поводу серьезного инцидента... произошедшего в бухте. Магистрат желает обсудить его без промедления. Магистрат посылает за самым высоким по рангу иностранцем. — Переводчик сглатывает слюну. — Потому инспектору нужно знать, кто этот самый высокий по рангу иностранец?

Шесть голландцев и один ирландец смотрят на Якоба.

Чай — холодная сочная зелень в гладкой белой чашке. Переводчики

Кобаяши и Ионекизу — они сопровождают исполняющего обязанности директора де Зута в магистратуре — оставили его в коридоре под наблюдением двух чиновников. Те не догадываются о том, что голландец их понимает, и пускаются в обсуждение зеленых глаз иностранца, вина в этом мать, которая ела слишком много зеленых овощей. Спокойная атмосфера, которая, Якоб помнит, царила во время прошлогоднего визита в магистратуру с Ворстенбосом, полностью переменилась из-за утренних событий: крики солдат доносятся из казарм, на точильных камнях затачиваются мечи, мельтешат слуги, шушукаясь о возможном развитии событий. Появляется переводчик Ионекизу:

— Магистрат готов принять вас, господин де Зут.

— И я готов, господин Ионекизу, но... не приходили свежие новости?

Переводчик неопределенно качает головой и ведет де Зута в Зал шестидесяти чиновков. Примерно тридцать советников сидят, образуя подкову, в два, а где и в три ряда вокруг магистрата Широама, который расположился на возвышении: под ним дополнительная циновка. Якоба проводят к центру. Мажордом Кода, инспектор Суруга и Ивасе Банри — эти трое сопровождали ван Клифа и Фишера к голландскому кораблю — стоят на коленях в ряд с одной стороны. Все трое бледны и охвачены тревогой.

Пристав провозглашает: «Дэдзима но Дазуто — сама».

Якоб кланяется.

Широама говорит на японском:

— Благодарю вас за столь быстрое прибытие.

Якоб встречается взглядом с ясными глазами этого сурового человека и кланяется вновь.

— Мне передали, — говорит магистрат, — что вы теперь немного понимаете на японском.

Подтвердить фразу — значит объявить о своем скрытном обучении и лишиться тактического преимущества. «Но отрицание, — думает Якоб, — вызовет недоверие».

— Каким-то образом я немного понимаю родной язык матери магистрата, да.

Сидящие подковой советники удивленно перешептываются, слыша речь иноземца.

— Более того, — продолжает магистрат, — мне говорили, что вы — честный человек.

Якоб принимает комплимент с легким поклоном.

— Я наслаждался совместными делами, — раздается голос, от звука

которого по шее Якоба пробегает холодок, — с исполняющим обязанности директора в прошлогоднем торговом сезоне...

Якоб не хочет смотреть на Эномото, но глаза сами находят владыку — настоятеля.

— ...и уверен, что лучшего лидера Дэдзиме не найти.

«Тюремщик. — Якоб сглатывает слюну, кланяясь. — Убийца, лжец, безумец...»

Эномото наклоняет голову набок: ситуация определенно его забавляет.

— Мнение владыки Киоги дорогого стоит, — говорит магистрат Широяма. — И мы торжественно клянемся исполняющему обязанности директору де Зуту: ваши соотечественники будут спасены от ваших врагов...

Якоб и не надеялся на столь безусловную поддержку.

— Благодарю вас, ваша...

— ...или мажордом, инспектор и переводчик погибли при попытке их освобождения, — Широяма смотрит на трех провинившихся чиновников.

— Люди чести, — продолжает магистрат, — не позволят, чтобы украли тех, за кого они отвечают. Для искупления вины, их отвезут на лодке к кораблю грабителей. Ивасе получит разрешение на трех человек, чтобы они могли подняться на корабль и заплатить... — следующее слово у Широяма, должно быть, означает «выкуп», — чтобы отпустили двух... — слово, должно быть, означает «заложники». — Поднявшись на борт, они зарежут капитана спрятанными ножами. Это не Путь Бусидо, но эти пираты заслуживают собачьей смерти.

— Но Кода — сама, Суруга — сама и Ивасе — сама погибнут...

— Смерть очистит их от проявленной... — следующее слово, возможно, «трусость».

«Как может это de facto <sup>[97]</sup>тройное самоубийство, — Якоб стонет в душе, — помочь что-нибудь решить?!» Он поворачивается к Ионекизу и просит:

— Пожалуйста, скажите Его чести, что англичане — очень злой народ. Передайте, что они не только убьют трех верных слуг его чести, но также и директора ван Клифа и его помощника Фишера.

Зал шестидесяти циновок выслушивает его слова в гробовом молчании, подтверждая, что советники магистрата высказывали это возражение или слишком боялись сказать об этом вслух.

На лице Широямы читается недовольство.

— Что предложит исполняющий обязанности директора?

Якоб чувствует себя подсудимым, который не вызывает доверия.

— Лучшим действием сейчас будет бездействие.

Неожиданность: советник наклоняется к уху Широямы...

Якобу вновь нужен Ионекизу.

— Скажите магистрату, что английский капитан испытывает нас. Он ждет, чтобы увидеть, как японцы или голландцы ответят и будем ли мы использовать силу или дипломатию, — Ионекизу хмурится на последнем слове. — Общение, дискуссии, переговоры. Но бездействуя, мы сыграем на нетерпении англичан. И нетерпение заставит их открыть свои намерения.

Магистрат слушает, медленно кивает и приказывает Якобу:

— Предположите, каковы их намерения?

Якоб повинуется внутреннему голосу и отвечает честно:

— Во — первых, — начинает он на японском языке, — они пришли, чтобы захватить корабль из Батавии и его груз меди. Корабля не нашли, а потому взяли заложников. Они... — Он надеется, что его понимают, — ... они хотят получить информацию.

Широяма сплетает пальцы:

— Информацию о голландских силах на Дэдзиме?

— Нет, ваша честь: информацию о Японии и ее империи.

Советники перешептываются. Непроницаемый взгляд Эномото. Якобу видится череп, обернутый кожей.

Магистрат поднимает веер.

— Люди чести предпочтут смерть под пыткой прежде, чем передадут знания врагу.

Все присутствующие — мажордом Кода, инспектор Суруга и переводчик Ивасе не в их числе — согласно кивают, негодуя.

«Никто из вас, — думает Якоб, — уже сто пятьдесят лет не участвовал в настоящей войне».

— Но почему, — спрашивает Широяма, — англичанам так нужна информация о Японии?

«Я разделяю проблему на части, — боится Якоб, — и потом не смогу собрать их вместе».

— Англичане, возможно, опять хотят торговать в Нагасаки, ваша честь.

«Ход сделан, — думает исполняющий обязанности директора, — и назад его не взять».

— Почему вы использовали слово «опять»? — спрашивает магистрат.

Владыка-настоятель Эномото откашливается:

— Исполняющий обязанности директора де Зут говорит правильно, ваша честь. Англичане торговали в Нагасаки много лет тому назад, во

время правления первого сегуна, когда продавалось серебро. Нет сомнения, что память о тех прибылях хранится в их землях по сей день... хотя, конечно же, исполняющий обязанности директора знает об этом больше меня.

Против воли в голове Якоба возникает образ Эномото, лежащего на Орито.

И тут же, уже сознательно, Якоб представляет себе, как разбивает Эномото голову.

— Как похищение наших союзников, — спрашивает Широяма, — завоюет наше доверие?

Якоб поворачивается к Ионекизу.

— Скажите его чести, что англичане не нуждаются в вашем доверии. Англичанам нужны страх и послушание. Они строят свою империю, приплывая в чужие бухты, стреляя из пушек и покупая местных магистратов. Они ожидают, что его честь поведет себя, как продажный китаец или негритянский царек, которые рады продать собственных подданных за дом в английском стиле и полный мешок стеклянных бус.

По ходу перевода Ионекизу Зал шестидесяти циновок наливается гневом.

С опозданием, Якоб замечает пару писцов в углу, записывающих каждое слово.

«Сам сегун, — думает он, — скоро прочтет твои слова».

Мажордом подходит к магистрату с сообщением.

Произнесенное вслух — слишком формальным языком, чтобы Якоб смог понять — похоже, еще больше добавляет напряжения. Чтобы не заставлять Широяму искать повод для его ухода, Якоб поворачивается к Ионекизу:

— Передайте благодарность моего правительства магистрату за его поддержку и просьбу разрешить мне вернуться на Дэдзиму и лично проследить за подготовкой к защите острова.

Ионекизу обстоятельно переводит, не пропуская ни единого слова.

Коротким кивком представитель сегуна отпускает Якоба.

## Глава 33. ЗАЛ ШЕСТИДЕСЯТИ ЦИНОВОК В МАГИСТРАТУРЕ

*После ухода  
исполняющего  
обязанности директора  
де Зута в двадцать  
второй день девятого  
месяца*

— Голландец, может, и выглядит, как гоблин из ночного кошмара ребенка, — говорит Широяма, замечая льстивые ухмылки советников, — но он не глупец. — Ухмылки мгновенно превращаются в мудрые кивки согласия.

— Его манеры безупречны, — подтверждает один из старейшин, — и доводы ясные.

— Его японский странный, — говорит другой, — но я много понял.

— Один из моих шпионов на Дэдзиме, — добавляет третий, — говорит, что он постоянно учится.

— Но его акцент, — жалуется инспектор Вада, — как у вороны!

— А ты, Вада, говоришь на языке Дазуто, — спрашивает Широяма, — как соловей?

Ваде, вовсе не говорящем на голландском, хватается ума, чтобы промолчать.

— А вы трое, — Широяма указывает поочередно веером на тех, кто допустил похищение двух голландцев. — Вы обязаны своими жизнями только его милосердию.

Нервные чиновники отвечают очень низким поклоном.

— Переводчик Ивасе, в моем докладе в Эдо будет упомянуто, что ты хотя бы пробовал добраться до похитителей, пусть и неумело. Тебя ждут в Гильдии, можешь идти.

Ивасе вновь низко кланяется и спешит покинуть зал.

— Вы двое, — продолжает Широяма, уставившись на несчастных чиновников, — навлекли позор на свои ранги и дали знать англичанам, что Япония населена трусами. «Многие другие из вашего ранга, — признается себе магистрат, — вряд ли повели бы себя лучше». — Не покидайте своих домов до последующего уведомления.



Два обесчещенных чиновника пятятся к двери.

Широяма находит взглядом Томине:

— Позови капитана береговой охраны.

Смуглого капитана усаживают на ту же циновку, где сидел де Зут. Он кланяется магистрату.

— Меня зовут Дои, ваша честь.

— Как скоро, с какими силами и как лучше мы сможем им ответить?

Вместо ответа тот смотрит на пол.

Широяма оглядывается на мажордома Томине, который изумлен не меньше, чем его господин.

«Косноязычная бездарь, — спрашивает себя Широяма, — устроенная родственниками на теплое местечко?»

Вада откашливается:

— Зал ждет вашего ответа, капитан Дои.

— Я проверил... — солдат поднимает голову, глаза — как у кролика в силке, — ...готовность к бою обеих сторожевых башен, на севере и юге бухты, и посоветовался с офицерами высшего ранга.

— Меня интересуют стратегические предложения, Дои, а не пережевывание старых приказов!

— Это... мне сообщили, господин, что... что численность войска... в настоящий момент...

Широяма замечает, что некоторые советники, лучше знакомые с ситуацией, нервно обмахиваются веерами.

— ...меньше тысячи воинов, указанных Эдо, Ваша честь.

— Ты говоришь мне, что гарнизон бухты Нагасаки укомплектован не полностью?

Дои кланяется, сжавшись в комок: слов не требуется. Советники тревожно перешептываются.

«Незначительная нехватка мне не повредит», — думает магистрат.

— И насколько?

— Точное число, — капитан Дои шумно сглатывает слюну, — шестьдесят семь, Ваша честь.

Скрутившиеся кишки Широямы расслабляются: даже его самый первейший враг, Омацу, с которым он делит пост магистрата, не сможет назвать безответственностью отсутствие шестидесяти семи солдат из тысячи. «Можно будет списать на болезни». Но озабоченность на лицах подсказывает магистрату: он упускает что-то еще...

...и тут страшная мысль бьет наотмашь.

— Ты хочешь сказать... — он пытается изгнать дрожь из голоса, — ...

шестьдесят семь всего?

Капитан с обветренным лицом от волнения лишился дара речи.

Мажордом Томине рычит:

— Магистрат задал вопрос!

— Там... — У Дои перехватывает дыхание, и он начинает вновь. — Там тридцать стражников в северном гарнизоне, и тридцать семь — в южном. Это все, ваша честь.

Теперь советники разглядывают магистрата Широюму...

«Шестьдесят семь солдат, — жуткое число вертится в голове, — вместо одной тысячи».

...цинично, амбициозно, его вроде бы союзники, уже раздумывающие над тем, чтобы переметнуться к Омацу...

«Кто-то из этих пиявок все знал, — думает Широяма, — и ничего не говорил».

Дои застыл в поклоне, как приговоренный к смерти в ожидании меча палача.

Омацу обвинил бы того, кто принес дурную весть, и Широяма тоже уже готов обрушиться на Дои.

— Подожди снаружи, капитан. Благодарю, что приступил к выполнению своих обязанностей с такой быстротой и... точностью.

Дои смотрит на Томине, чтобы убедиться, что не ослышался, кланяется и уходит.

Ни один из советников не решается нарушить тревожное молчание.

«Обвинить владыку Хизена, — думает Широяма. — Он поставляет людей».

Нет: враги магистрата назовут его трусом и слабаком.

«Сослаться на то, что береговые гарнизоны давно уже не укомплектованы».

Нет: получится, что он знал, но ничего не сделал.

«Указать, что ни один японец не пострадал из-за недостаточной численности гарнизона».

Получится, что не выполнен приказ сегуна, признанного живым богом в Никко. Такому преступлению нет прощения.

— Мажордом Томине, — говорит Широяма, — вы знакомы с постоянно действующими приказами, касающимися защиты Закрытой Империи?

— Знать их — моя обязанность, ваша честь.

— В случае прибытия иноземцев без разрешения, что приказано делать высшему руководителю?

— Отвергнуть все предложения, Ваша честь, и услатить иноземцев. Если же те попросят продовольствия, то предложить минимальное количество, но денег в обмен не принимать, чтобы позже иноземцы не могли заявить о торговом прецеденте.

— А если иноземцы совершат акт агрессии?

Веера советников в Зале шестидесяти циновок замирают.

— Магистрат или даймё, осуществляющий руководство, должен захватить иноземцев, ваша честь, и держать их под стражей, пока не придут указания из Эдо.

«И как мне захватить вооруженный корабль, — думает Широяма, — с шестидесятью семью солдатами?»

В этой комнате магистрат выносил приговоры контрабандистам, грабителям, насильникам...

...убийцам, ворам и тайным христианам с островов Гото. Теперь Судьба гнусавым голосом мажордома выносит приговор ему.

«Сегун посадит меня в тюрьму за преступное пренебрежение своими обязанностями».

Его семью в Эдо лишат имени и самурайского ранга.

«Моя драгоценная Кавасеми опять пойдет по чайным домам».

Он думает о своем сыне, о своем чудом родившемся сыне, зарабатывающем на жизнь слугой сутенера.

«Если я только не извинюсь за мое преступление и не сохраню честь семьи...

Ни один из его советников не решается посмотреть в глаза приговоренного человека.

...ритуальным потрошением, прежде чем придёт приказ из Эдо о моем аресте».

Позади него кто-то мягко откашливается.

— Позвольте сказать, магистрат?

— Если уж кому-то говорить, так только вам, Владыка-настоятель.

— Владение Киога — больше духовное место, чем военное, но все равно очень близко. Послав гонца тотчас же, я смогу привести в Нагасаки двести пятьдесят солдат из Кашимы и Исахая в течение трех дней.

«Этот странный человек, — думает Широяма, — часть моей жизни и часть моей смерти».

— Посылайте за ними, Владыка-настоятель, во имя сегуна, — магистрат чувствует слабую надежду. «Великая победа — захват военного корабля иноземного агрессора — может затмить меньшее преступление». Он поворачивается к приставу: — Отправь гонцов к владыкам Хизена,

Чикуго и Хиго с приказами от имени сегуна, чтобы каждый из них прислал по пятьсот вооруженных человек. Без промедления, безотлагательно. В Империю пришла война.

## Глава 34. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА НА БОРТУ КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ»

*На заре 19 октября  
1800 г.*

Джон Пенгалигон просыпается, заплесневелые занавеси и залитый лунный светом лес исчезают, уступая место его сыну, стоящему у кровати.

— Тристрингл, дорогой мой мальчик! Какой ужасный я видел сон! Мне снилось, что ты погиб на «Бленхейме» и... — Пенгалигон вздыхает, — ...и мне даже снилось, что я позабыл, как ты выглядишь. Не твои волосы, конечно...

— Мои волосы забыть нельзя, папа, — красивый молодой человек улыбается. — Как и этот горящий куст!

— Мне иногда снится, что ты все еще живой... и просыпаться очень... горько.

— Да ладно! — Он смеется, как смеялась Мередит. — Это что, рука привидения?

Джон Пенгалигон берет за теплую руку сына и замечает его капитанские эполеты.

— Мой «Фаэтон» послали на помощь твоему «Фебу», чтобы расколоть этот орех, отец.

«Все линейные корабли ищут славы, — обычно говорил наставник Пенгалигона, капитан Голдинг, — но призы достаются фрегатам!»

— Нет лучше приза на всей земле, — соглашается Тристам, — чем порты и рынки Востока.

— Черный пудинг, яйца и поджаренный хлеб будут сейчас для меня небесной пищей, мой мальчик.

«Почему, — удивляется Пенгалигон, — я ответил на незаданный вопрос?»

— Я передам Джонсу и принесу вашу «Лондонскую Таймс» [\[98\]](#). — Тристам выходит.

Пенгалигон слышит слабый звон столовых приборов и посуды...

...и сбрасывает с себя все годы напрасной печали, словно змеиную кожу.

«Каким образом Тристам, — спрашивает он себя, — достанет «Таймс» в бухте Нагасаки?»

Кот наблюдает за ним с изножья кровати, или, скорее, летучая мышь... С оглушающим ревом чудище открывает пасть с множеством зубов — игл.

«Оно хочет укусить», — думает Пенгалигон, и его мысль служит руководством к действию.

Дикая боль пронзает правую ступню: «А — а-а — а-а — а-а — а-а — х!» — вылетает, как горячий пар.

Очнувшийся в крошечной тьме, отец Тристама обрывает крик.

Мягкий звон столовых приборов и посуды останавливается, и нетерпеливые шаги спешат к двери каюты. Доносится голос Чигуина: «Все в порядке, сэр?»

Капитан проглатывает слюну: «Приснился кошмар, ничего больше».

— Я тоже иногда страдаю от них, сэр. Завтрак будет подан к первой склянке.

— Очень хорошо, Чигуин. Подожди: местные лодки все еще кружат вокруг нас?

— Только две сторожевые, сэр, но морпехи следили за ними всю ночь, и те никогда не подходили ближе, чем двести ярдов, или бы я сразу разбудил вас, сэр. Помимо них этим утром нет никого, крупнее утки. Мы всех распугали.

— Я скоро встану, Чигуин. Иди. — Но едва Пенгалигон шевелит опухшей ступней, колючки боли разрывают плоть. — Чигуин, пожалуйста, попроси хирурга Нэша тотчас же зайти ко мне: подагра беспокоит меня, немного.

Хирург Нэш изучает распухшую щиколотку, в два раза больше обычного.

— Бег с препятствиями и мазурки, похоже, для вас уже в прошлом, капитан. Позвольте порекомендовать вам трость для ходьбы? Я попрошу Рафферти принести.

«Калека с тростью, — Пенгалигон колеблется, — в сорок два года».

Молодые и подвижные ноги бегают взад — вперед на верхних палубах.

— Да. Лучше трость, указывающая на мою болезнь, чем свалиться с трапа.

— Именно так, сэр. А сейчас мог бы я посмотреть на ваш подагрический узел. Возможно...

Ланцет касается припухлости: из глаз Пенгалигона летят искры боли.

— ...вы ощутите легкую боль, но вытекает неплохо... гноя предостаточно.

Капитан смотрит на выделения из разреза.

— Это хорошо?

Хирург Нэш откупоривает небольшой горшочек.

— Гноем тело очищает себя от излишков синей желчи, а синяя желчь — основа подагры. Расширив рану и используя мышинные фекалии, — из горшочка он достает пинцетом катышек мышинового помета, — мы стимулируем выделение гноя и ожидаем улучшения не позже семи дней. Более того, я взял на себя смелость принести вам и снадобье Дувера, так что...

— Я приму его сейчас, док. Следующие два дня будут решающими...

Ланцет взрезает плоть: от застрявшего в глотке крика все тело застывает.

— Черт побери, Нэш, — капитан, наконец, выдыхает. — Могли бы, по крайней мере, предупредить?

Майор Катлип с подозрением смотрит на квашеную капусту в ложке Пенгалигона.

— Может, ваше сопротивление, — спрашивает капитан, — все-таки ослабеет, майор?

— Дважды гнилой капусте никогда не победить этого солдата, капитан.

В солнечном свете раннего утра стол, за которым завтракают офицеры, выглядит, словно на картине.

— Мне первым порекомендовал квашеную капусту адмирал Джервис, — капитан отправляет в рот и жует скрипучую соленость. — Но я уже рассказывал вам эту историю.

— Никогда, — возражает Рен, — во всяком случае, не при мне. — Он смотрит на остальных, все соглашаются. Пенгалигон подозревает, что его водят за нос, но все-таки рассказывает:

— Джервис перенял квашеную капусту от Уильяма Блая, а Блай — от самого капитана Кука. «Разница между трагедией Ла Перуза и славой Кука, — охотно говорил Блай, — укладывалась в тридцать бочек квашеной капусты». Но когда Кук отправился в первое путешествие, ни уговоры, ни приказы не могли заставить экипаж «Индевора» ее есть. Посему Кук провозгласил «дважды гнилую капусту» офицерской едой и запретил рядовым матросам касаться ее. Результат? Квашеная капуста начала исчезать из плохо охраняемого склада, а шесть месяцев спустя ни один человек не шатался от цинги. Так произошел переворот в мозгах.

— Простая хитрость, — делает вывод лейтенант Толбот, — на службе гения.

— Кук — мой самый главный герой, — заявляет Рен, — и образец для подражания.

Слово Рена «мой» раздражает Пенгалигона, как маленькое зернышко, застрявшее между зубами.

Чигуин наполняет капитанскую чашку: капля попадает на скатерть с любовно вышитыми на ней незабудками. «Не время сейчас, — думает вдовец, — для воспоминаний о Мередит».

— Итак, господа — переходим к дневным делам и нашим голландским гостям.

— Ван Клиф, — докладывает Хоувелл, — провел ночь в своей камере, ни с кем не общаясь.

— Разве что спросил, — ухмыляется Катлип, — почему ему на ужин подали вареную веревку.

— Новость о банкротстве ОИК, — спрашивает капитан, — сделала его более сговорчивым?

Хоувелл качает головой:

— Признание слабости, возможно, уже слабость.

— А Фишер, — рассказывает Рен, — этот негодяй, провел весь вечер в каюте, несмотря на наши приглашения присоединиться к нам в кают — компании.

— Какие отношения у Фишера с его бывшим директором Сниткером?

— Они ведут себя как два незнакомца, — отвечает Хоувелл. — Сниткер отходит от простуды этим утром. Он хочет, чтобы ван Клифа отдали под трибунал за, если позволите, «избиение друга королевского двора».

— Меня тошнит, — говорит Пенгалигон, — буквально тошнит от этого самовлюбленного фата.

— Я соглашусь с вами, капитан, — вступает Рен, — что пользы от Сниткера больше никакой.

— Нам нужен достойный лидер, чтобы завоевать сердца голландцев, — говорит капитан, — и... — наверху трижды бьют склянки, — ...посол, способный убедить японцев вступить с нами в переговоры.

— Я голосую за заместителя директора Фишера, — заявляет майор Катлип, — как за более сговорчивого.

— Директор ван Клиф, — возражает Хоувелл, — и есть их настоящий лидер.

— Давайте побеседуем, — предлагает Пенгалигон, стряхивая крошки, — с обоими кандидатами.



— Господин ван Клиф, — Пенгалигон стоит, пряча гримасу боли, вынужденной улыбкой. — Я надеюсь, вы хорошо спали?

Ван Клиф накладывает себе густую овсянку, апельсиновый мармелад и обильно посыпает сахаром, прежде чем ответить на перевод Хоувелла.

— Он говорит, что вы можете пугать его, как вам будет угодно, сэра, но на Дэдзиме нет даже медного гвоздя, который вы могли бы украсть.

Пенгалигон пропускает ответ мимо ушей.

— Я рад, что аппетит у него не пропал.

Хоувелл переводит, ван Клиф отвечает с полным ртом.

— Он спрашивает, сэра, что мы решили делать с нашими заложниками?

— Скажите ему: мы считаем его не заложником, а гостем.

Ответ ван Клифа сопровождается вылетающей изо рта овсянкой: «Ха!»

— Спросите, что он может сказать о банкротстве Ост — Индской компании?

Ван Клиф наливает себе кофе, слушая Хоувелла, и пожимает плечами.

— Скажите ему, что Английская Ост — Индская компания желает торговать с Японией.

Ван Клиф отвечает, посыпая овсянку изюмом.

— Он спрашивает, сэра: «Зачем же тогда потребовалось привозить Сниткера?»

«Да, он не новичок в таких делах, — думает Пенгалигон, — но и я тоже».

— Мы ищем человека, знающего Японию, чтобы он представлял наши интересы.

Ван Клиф слушает, кивает, размешивает сахар в кофе и говорит: «Nee».

— Спросите, слышал ли он что-нибудь о Меморандуме его монарха — в-изгнании [\[99\]](#), приказывающем голландским официальным лицам на заморских территориях передать все государственные активы на хранение Британии?

Ван Клиф слушает, кивает, встает и задирает свою рубашку, показывая глубокий, длинный шрам.

Он садится, ломает рогалик пополам и ровным, спокойным голосом объясняет Хоувеллу, что к чему.

— Господин ван Клиф говорит, что получил эту рану от рук шотландских и швейцарских наемников, нанятых тем самым монархом — в-изгнании. Они же залили в горло его отца кипящее масло. Будучи представителем Батавской Республики, он просит нас избавить его слух от

упоминания «слабовольного тирана» и «хранения Британией» и говорит, что этот меморандум годится лишь для нужника, более незачем.

— Очевидно, сэр, — объявляет Рен, — мы имеем дело с неисправимым якобинцем.

— Скажите ему, что мы бы предпочли добиться нашей цели дипломатическими средствами, но...

Ван Клиф принимает к квашеной капусте и отстраняется, как от кипящей серы.

— ...если они не дадут результата, мы захватим факторию силой, и все потерянные японские и голландские человеческие жизни будут на его совести.

Ван Клиф допивает кофе, поворачивается к Пенгалигону и настаивает, чтобы Хоувелл перевел его ответ слово в слово, не упуская ничего.

— Он говорит, капитан, что Дэдзима — японская территория, сданная в аренду Компании, что бы там ни рассказывал вам Сниткер. Она — не голландская собственность. Он говорит, если мы попытаемся захватить Дэдзиму, то японцы будут ее защищать.

Он говорит, что наши морпехи успеют выстрелить только раз, как их тут же всех положат.

Он настоятельно просит нас, чтобы мы не стали так разбрасываться нашими жизнями, ради наших семей.

— Этот человек хочет нас запугать, — восклицает Катлип.

— Скорее, — подозревает Пенгалигон, — он просто набивает себе цену.

Но ван Клиф делает последнее заявление и встает.

— Он благодарит за завтрак, капитан, и говорит, что Мельхиор ван Клиф не продается ни одному монарху. Петер Фишер, при этом, будет только рад выслужиться перед вами.

— Мое уважение к пруссакам, — говорит Пенгалигон, — уходит корнями в мои гардемаринские дни...

Хоувелл переводит: Петер Фишер кивает, еще не до конца веря в этот удивительный поворот судьбы.

— На борту корабля его королевского величества «Дерзкого» был уроженец Брунсвика — офицер по фамилии Плиснер.

Фишер поправляет произношение: «Плесснер», и добавляет фразу.

— Директор Фишер, — переводит Хоувелл, — также уроженец Брунсвика.

— Это действительно так? — на лице Пенгалигона читается

удивление. — Вы из Брунсвика?

Петер Фишер кивает, говорит: «Ja, ja», — и допивает кружку пива.

Коротким взглядом Пенгалигон приказывает Чигуину долить пива Фишеру и следить, чтобы его кружка не пустовала.

— Господин Плеснер был прекрасным моряком: смелым, сообразительным...

На лице Фишера написано: «А то».

— ...и я рад, — продолжает капитан, — что первым британским консулом в Нагасаки должен стать джентльмен немецких корней и достойный представитель этой нации.

Фишер поднимает кружку, салютуя, и задает вопрос Хоувеллу.

— Он спрашивает, сэ, какая роль отводится Сниткеру в наших планах?

Пенгалигон изображает трагический вздох, думая: «Я бы мог выступать на подмостках «Друри — Лейн» [\[100\]](#), и отвечает:

— Если быть честным, посол Фишер... — Хоувелл переводит начало, и Фишер наклоняется ближе, — ...Даниэль Сниткер нас ужасно разочаровал, как и господин ван Клиф.

Пруссак кивает, целиком и полностью разделяя мнение капитана.

— Голландцы громко говорят, но, когда доходят до дела, они — моча и уксус [\[101\]](#).

У Хоувелла трудности с переводом, однако, он слышит в ответ согласное «ja-ja-ja».

— Они слишком зациклились на своем золотом веке, чтобы заметить изменения в мире.

— Это... waarheid, — Фишер поворачивается к Хоувеллу. — Как сказать, waarheid?

— «Правда», — помогает Хоувелл, а Пенгалигон старается найти для ноги более удобное положение, прежде чем продолжить.

— Вот почему рухнула Голландская Ост — Индская компания, и вот почему их хваленая Голландская Республика, похоже, присоединится к Польше в мусорной корзине исчезающих наций. Британской короне нужны Фишеры, а не Сниткеры: люди таланта, видящие перспективу...

Ноздри Фишера от перевода Хоувелла раздуваются, чтобы в полной мере уловить запах его будущего богатства и власти.

— ...и придерживающиеся высоких моральных принципов. Короче говоря, нам нужны послы, а не проституированные торговцы.

Фишер заканчивает трансформацию из заложника в уполномоченного

представителя подробным рассказом о голландском пренебрежении к обязанностям, который Хоувелл сокращает по собственной инициативе:

— Посол Фишер говорит, что в прошлом году пожар уничтожил квартал зданий у Морских ворот Дэдзимы. Пока горели два самых больших голландских склада, ван Клиф и Сниткер развлекались в борделе за счет Компании.

— Непростительное нарушение долга, — объявляет Рен, завсегдаятай публичных домов.

— Безобразное отступление от правил, — соглашается Катлип, компаньон Рена по времяпровождению.

Бьют семь склянок. Посол Фишер делится новой мыслью с Хоувеллом.

— Он говорит, капитан, что в отсутствие ван Клифа на Дэдзиме, господин Фишер становится директором, а это означает, что люди на Дэдзиме в законном порядке обязаны выполнять его инструкции. За неподчинение его приказам положено телесное наказание.

«Хотелось бы, чтобы его умение убеждать, — думает капитан, — соответствовало его уверенности».

— Сниткер получит плату лоцмана за доставку нас сюда и бесплатный проезд в Бенгалию, но не в каюте, а в гамаке.

Фишер согласно кивает: «Это правильно», а следующая его фраза звучит очень торжественно.

— Он говорит, — переводит Хоувелл, — что «Рука Всевышнего скрепила этот наш утренний договор».

Пруссак отпивает из кружки и обнаруживает, что она пуста.

Капитан быстро кивает Чигуину.

— Рука Всевышнего, — с улыбкой поправляет его Пенгалигон, — и флот Его королевского величества, ради которого посол Фишер соглашается на принятие следующего... — Пенгалигон берет «Меморандум взаимопонимания». — «Параграф первый: посол Фишер добивается согласия от проживающих на Дэдзиме на ее переход под британское покровительство».

Хоувелл переводит. Майор Катлип катает сваренное вкрутую яйцо по блюдцу.

— «Параграф второй: посол Фишер становится посредником на переговорах с нагасакским магистратом для заключения договора о дружественных отношениях и торговле между Британской короной и сегуном Японии. Ежегодные торговые сезоны начинаются в июне 1801 года».

Хоувелл переводит. Катлип снимает кусочки скорлупы с податливой

белизны.

— «Параграф третий: посол Фишер способствует переносу всей голландской меди на фрегат Его королевского величества «Феб» и организует укороченный торговый сезон, по ходу которого будет производиться товарообмен между экипажем и офицерами и японскими торговцами».

Хоувелл переводит. Катлип кусает мякоть яичного белка.

— «В качестве вознаграждения за указанные услуги посол Фишер получает одну десятую часть всей прибыли Британской фактории Дэдзима за первые три года нахождения на этом посту, каковое может быть продлено в 1803 году по взаимному согласию обеих сторон».

Хоувелл переводит последний абзац. Пенгалигон подписывает меморандум.

Капитан передает перо Петеру Фишеру. Фишер замирает.

«Он чувствует, — догадывается капитан, — взгляд самого себя, наблюдающего за ним из будущего».

— Вы вернетесь в Брунsvик, — убеждает его Рен, — таким же богатым, как тамошний герцог [\[102\]](#).

Хоувелл переводит, Фишер улыбается и подписывает, а Катлип посыпает солью остатки яйца.

Сегодня — воскресенье, храм оборудован, и восемь ударов колокола созывают экипаж корабля. Офицеры и морские пехотинцы стоят под навесом, натянутым между бизань — мачтой и грот — мачтой. Все матросы — христиане на «Фебе» выстраиваются в линию в самых лучших одеждах. Евреи, мусульмане, азиаты и прочие язычники освобождены от молитв и пения церковных псалмов, но часто наблюдают за происходящим, стоя чуть в стороне. Во избежание неожиданностей ван Клиф заперт в парусном складе. Даниэлю Сниткеру определили место рядом с уоррент — офицерами [\[103\]](#), а Петер Фишер стоит между капитаном Пенгалигоном — его трость уже стала объектом пересудов экипажа — и лейтенантом Хоувеллом, у которого свежеиспеченный посол одолжил чистую рубашку. Капеллан Уайли — угловатый, сухой, с пронзительным голосом, уроженец графства Кент — читает проповедь по потрепанной Библии, стоя на импровизированном амвоне перед штурвалом. Он медленно произносит строку за строкой, позволяя необразованным матросам разобраться с каждым стихом, а капитан при этом погружается в свои мысли:

— «На другой день, по причине сильного обуревания... [\[104\]](#)

Пенгалигон проверяет правую щиколотку: средство Нэша сняло боль.

— ...начали выбрасывать груз. А на третий день...

Капитан смотрит на японские сторожевые лодки, держащиеся на расстоянии от фрегата.

— ...мы своими руками побросали с корабля вещи.

Матросы в удивлении ахают и еще более внимательно слушают капеллана.

— Но как многие дни не видно было ни солнца ни звезд...

Обычно капелланы либо слишком кроткие, чтобы управлять своей паствой...

— ...и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда...

...или настолько набожны, что моряки сторонятся их, презирают или даже издеваются над ними.

— ...к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел став...

Капеллан Уайли — сын ловца устриц из городка Уитстейбл — приятное исключение.

— ...посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня...

Матросы, знакомые с зимним Средиземным морем, что-то бормочут и согласно кивают.

— ...и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда.

Уайли учит моряков «трём Эр» <sup>[105]</sup> и пишет письма для неграмотных.

— Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что...

Капеллан к тому же не чурается торговли — пятьдесят рулонов бенгальского ситца лежат в трюме.

— ...ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль; ибо...

И что лучше всего: Уайли старается говорить о том, что ближе просмоленным морякам, и его проповеди — от чистого сердца.

— ...Ангел Бога, Которому принадлежу я... — Уайли смотрит вверх, — ...и Которому служу, явился мне в эту ночь.

Взгляд Пенгалигона скользит по внимающим капеллану морякам.

— ...и сказал: не бойся, Павел!., и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою.

Вот они — верные спутники — корнуольцы, бристольтцы, уроженцы острова Мэн и Гебрид...

— ...около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле...

Четверо с Фарерских островов, несколько янки из Коннектикута.

— ...и, вымеривши глубину, нашли двадцать сажен; потом...

Освободившиеся рабы с Карибов, вежливый татарин, гибралтарский еврей.

— ...на небольшом расстоянии, вымеривши опять, нашли пятнадцать сажен.

Пенгалигон размышляет, как естественным образом суша разделилась на народы?

— Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили...

Он думает о том, как море стирает все границы между людьми.

— ...с кормы четыре якоря и ожидали дня.

Он смотрит на метисов и других полукровок: от отцов — европейцев...

— Когда же корабельщики хотели бежать с корабля...

...и местных женщин: девочками их продавали за железные гвозди...

— ...Павел сказал... если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись!

Пенгалигон находит взглядом Хартлпула, тоже полукровку, и думает о своих юношеских совокуплениях, и спрашивает себя: может, они привели к тому, что его кофейно — смуглый или раскосый сын тоже послушался зова моря, а сейчас думает о безотцовщине. Помня об утреннем сне, он очень на это надеется.

— Тогда воины отсеки веревки у лодки, и она упала».

Всеобщий вздох вырывается от такого безрассудства.

Кто-то кричит: «Безумие!»

— Останавливает дезертиров, — отвечают ему, и Рен вмешивается: «Слушайте капеллана!»

Но Уайли закрывает Библию.

— Вот так, со штормом ревушим, с, казалось бы, неизбежной близкой гибелью, Павел говорит: «Оставьте корабль — и вы утонете, оставайтесь на борту со мной — и вы выживете». Кто бы поверил ему? Я бы поверил ему? — капеллан пожимает плечами и шумно выдыхает. — Они же видели перед собой не апостола Павла с нимбом на голове. С ними говорил узник в цепях, еретик с глухих задворок Римской империи. И все же он убедил стражников не сбегать, и Книга Деяний нам говорит, что двести семьдесят шесть человек спаслись Божьей Милостью. Почему эта разношерстная компания киприотов, ливанцев и палестинцев прислушалась к Павлу? Может, они слышали что-то в его голосе, или увидели в его лице, или... причина в чем-то еще? Ах, если бы я знал ответ, был бы сейчас архиепископом Уайли! А вместо этого торчу я тут с вами. — Некоторые

громко смеются. — Я не стану утверждать, что вера всегда поможет человеку не утонуть: в море погибло достаточно благочестивых христиан, и я не хочу, чтобы меня посчитали лжецом. Но я клянусь, что вера спасет ваши души от смерти. Без веры смерть — это просто дорога на дно, конец всех концов, и какой человек не страшится такого? Но с верой смерть — всего лишь завершение путешествия, которое мы называем жизнью, и при этом начало вечного путешествия вместе с нашими близкими, без груза печалей и бед, и поведет нас в него наш Создатель...

Оснастка корабля начинает скрипеть: лучи поднимающегося солнца нагревают утреннюю росу.

— Вот и все, что я хотел сказать в это воскресенье. А теперь у нашего капитана есть еще несколько слов.

Пенгалигон выступает вперед, опираясь на трость, чего ему никак не хотелось бы.

— Значит, так: в Нагасаки нет жирного голландского гуся, которого нам так хотелось пощипать. Вы разочарованы, офицеры разочарованы, и я разочарован, — капитан говорит медленно, чтобы его слова перевели на все языки, на которых разговаривают члены его команды. — Утешьте себя мыслью о ни — о-чем — не — подозревавшем французском призе, который мы захватим на долгом обратном пути в Плимут. — Кричат бакланы. Весла японских лодок плещут водой. — Наша миссия здесь — принести девятнадцатый век этим мрачным берегам. Говоря «девятнадцатый век», я имею в виду британский девятнадцатый век: не французский, не русский, не голландский. Станем ли мы все при этом богачами? Сами по себе — нет. Станет ли наш «Феб» самым знаменитым кораблем в Японии и будут ли за него подниматься тосты у нас дома? Мой ответ — безусловное «да». Это наследие невозможно потратить в порту. Это наследие никогда, ни за что не промотаешь, его не украдут, его не потерять. — «Люди предпочитают оставлять наследство деньгами, — думает Пенгалигон, — но при этом они хотя бы слушают меня». — Последнее слово перед псалмом — о самом псалме. В последний раз в Нагасаки слышали хвалебную песнь Господу, когда местных христиан сбрасывали со скалы, мимо которой мы прошли вчера, за их истинную веру. Я желаю, чтобы вы послали весть магистрату Нагасаки в этот исторический день о том, что британцы, не в пример голландцам, никогда не будут топтать нашего Спасителя ради денежной выгоды. Так что пойте не как в школьном хоре. Пойте, как воины. Раз, и два, и три, и...



## Глава 35. МОРСКАЯ КОМНАТА РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА ДЭДЗИМЕ

Утро 19 октября  
1800 г.

— Кто окружает его, отчаянье в тьму ведет... [106]

Якоб де Зут, изучающий инвентарный список у окна, из которого открывается вид на бухту, не верит своим ушам.

— ...Чем больше боятся они, Тем сила его растет.

Но — пусть такого и быть не может — церковный псалом, разносится над Нагасакской бухтой.

— И льва не страшится он, С гигантом схватиться готов...

Якоб выходит на балкон и смотрит на фрегат.

— ...Доколе таким он живет, Зовется паломником он.

Нечетные строки псалма на вдохе, а четные — на выдохе.

— Господь, защищаешь ты нас,

Со всею душою своей [107].

Якоб закрывает глаза, чтобы лучше слышались ему эти слова на английском языке...

— Он верит в святые слова и вечную жизнь впереди.

...и подхватывает каждую новую строку, пока эхо разносит предыдущую.

— Прочь он отгоняет фантазии все и безразличен к людской молве.

Псалом — вода и солнечный свет, и Якобу хочется, чтобы Анна была его женой.

— Он трудится ночью, трудится днем,

Паломником за это мы его зовем!

Племянник пастора ждет следующей строки, но ее нет.

— Приятно слушать, — комментирует Маринус, стоя у двери в Морскую комнату.

Якоб поворачивается к нему.

— Вы же называете псалмы «песенками для детей, которые боятся темноты».

— Правда? От старческого слабоумия становишься более терпимым.

— Вы сказали это менее месяца тому назад, Маринус.

— Неужели? Как говорит мой друг, католический священник, —

Маринус опирается на поручень, — религии в нас хватает лишь на ненависть, и ее совершенно недостаточно для любви. Позвольте сказать, ваша новая обитель очень вам подходит.

— Это обитель директора ван Клифа, и я бы очень хотел, чтобы он вернулся сюда сегодня же. На самом деле. В минуты, за которые мне стыдно, я даже подумываю заплатить англичанам, чтобы они оставили у себя Петера Фишера, а Мельхиор ван Клиф — человек честный, по меркам Компании, и Дэдзима с четырьмя чиновниками — все равно, что совсем без оных.

Маринус, щурясь, смотрит на него.

— Давайте поедим. Мы с Илатту принесли вам вареную рыбу с кухни.

Они идут в обеденный зал, где Якоб демонстративно занимает свое прежнее, положенное ему место. Спрашивает Маринуса, имел ли тот когда-нибудь дело с британскими морскими офицерами в прошлом.

— Меньше, чем вам представляется. Я списывался с Джозефом Бэнксом [\[108\]](#) и еще некоторыми английскими и шотландскими философами, но так и не смог полностью овладеть их языком. Их нация довольно молодая. Вы, должно быть, встречались с некоторыми офицерами во время вашего временного пребывания в Лондоне. Вы провели там два или три года, правильно?

— Четыре года, в общей сложности. Склад моего работодателя находился на берегу реки, довольно близко от Ост — Индских доков, и я видел, как приходили и уходили сотни линейных кораблей: лучших кораблей королевского флота, да и всего мира. Но круг моих английских знакомых ограничивался кладовщиками,стряпчими и бухгалтерами. Знать и офицеры младшего клерка из Зеландии с грубым голландским акцентом не замечали.

В дверях возникает слуга д'Орсаи:

— Пришел переводчик Гото, директор.

Якоб оглядывает комнату в поисках ван Клифа и лишь потом понимает, что слуга обращается к нему.

— Приведи его сюда, д'Орсаи.

Входит Гото, бледный, как мертвец.

— Доброе утро, господин исполняющий обязанности директора, — переводчик кланяется, — и доктор Маринус. Я мешаю завтраку, извините. Но инспектор в Гильдии посылает меня незамедлительно, чтобы узнать о военной песне на английском корабле. Англичане поют такие песни перед атакой?

— Атакой? — Якоб торопится к окну. Смотрит на фрегат через

подзорную трубу, но корабль стоит на том же месте, и с опозданием он догадывается:

— Нет, англичане пели не военную песню, господин Гото. Псалом.

Гото в затруднении:

— Что это: «псалом», или кто это: «псалом»?

— Песня, которую поют христиане Богу. Богослужение.

Исполняющий обязанности директора продолжает рассматривать фрегат: на носу корабля какое-то шевеление.

— Рядом со скалой, с которой сбрасывали христиан, — указывает Маринус. — Тот, кто сказал, что у Истории нет чувства юмора, умер слишком рано.

Гото понимает далеко не все, но уясняет для себя, что нарушен святейший запрет сегуна на все, связанное с христианством. «Очень серьезно и плохо, — бормочет он. — Очень... — он ищет другое слово, — ...очень серьезно и плохо».

— Может, я не прав... — Якоб все рассматривает корабль, — ...но что-то там происходит.

Паства расходится, и навес, под которым проходило богослужение, убирают.

— Кто-то в светлом мундире спускается по веревочной лестнице...

...в баркас, пришвартованный у правого борта.

К баркасу подзывают одну из сторожевых японских лодок, которые кружат у корабля.

— Похоже, заместителю директора Фишеру дарована свобода.

Якоб не ступал на трап за Морскими воротами пятнадцать месяцев, с момента прибытия на Дэдзиму. Сампан приближается. Якоб узнает переводчика Сагару: он и Петер Фишер сидят на носу. Понк Оувеханд перестает бубнить какую-то мелодию.

— Стоишь здесь, так сразу разгорается желание увидеть тот день, когда мы все наконец-то выйдем из этой тюрьмы, ведь так?

Якоб думает об Орито, вздрагивает и отвечает: «Да».

Маринус наполняет мешок склизкими морскими водорослями.

— *Pogrypa umbilicalis*. Тыквы будут счастливы.

В двадцати ярдах от них Петер Фишер прикладывает ладони ко рту рупором и кричит встречающим: «Значит, я потерял бдительность только на двадцать четыре часа, а «исполняющий обязанности директора де Зут» устроил *coup d'etat!* [\[109\]](#) — Его веселость суха и колюча. — Так же быстро поспешите к моему фобу, я полагаю?»

— Мы понятия не имели, — кричит в ответ Оувеханд, — как долго пробудем без главного.

— Главный возвращается, «исполняющий обязанности заместителя директора» Оувеханд! Какая чередá продвижений по службе! Обезьяна нынче повар?

— Рады видеть вас снова, Петер, — говорит Якоб, — какие бы мы ни занимали должности.

— До чего приятно вернуться, старший клерк! — Дно сампана скребется о наклонный трап, и Фишер прыгает на берег, как герой — победитель. Приземляется неловко и поскользывается на камнях.

Якоб пытается ему помочь.

— Как директор ван Клиф?

Фишер встает.

— Ван Клиф — в порядке, да. Очень даже в порядке. Шлет наилучшие пожелания.

— Господин де Зут, — переводчику Сагара помогают его слуга и стражник. — У нас есть письмо от английского капитана магистрату. Я сразу бегу, чтобы не задерживаться. Магистрат вызовет вас позже, я так думаю, и он захочет говорить с господином Фишером.

— О — о да, конечно же, — заявляет Фишер. — Скажите Широюме, что я буду свободен после обеда.

Сагара небрежно кланяется Фишеру, глубоко — де Зуту и поворачивается.

— Переводчик, — зовет его Фишер. — Переводчик Сагара!

Сагара поворачивается у Морских ворот. На лице написано легкое недоумение.

— Помните, кто выше всех по должности на Дэдзиме.

Поклон у Сагары определенно вынужденный. Он уходит.

— Я ему не доверяю, — Фишер недоволен. — Не обучен хорошим манерам.

— Мы надеемся, что англичане уважительно отнеслись к вам и директору, — говорит Якоб.

— «Уважительно»? Лучше, чем уважительно, старший клерк. У меня потрясающие новости.

— Я тронут вашей заботой, — говорит Фишер всей компании, собравшейся в Парадном зале, — и вам будет очень интересно узнать про мое пребывание на «Фебе». Однако надо соблюдать протокол. Посему: Грот, Герритсзон, Баерт и Ост — ты тоже, Туоми — свободны и можете

вернуться к своим работам. У меня есть государственные сведения, которые я собираюсь обговорить с доктором Маринусом, господином Оувехандом и господином де Зутом и вынести решение после тщательного обсуждения на свежую голову. Когда закончится обсуждение, мы проинформируем вас о принятом решении.

— Вы ошибаетесь, — заявляет Герритсзон. — Мы остаемся, понятно? Напольные часы отстукивают время. Пиет Баерт чешет пах.

— Значит, в отсутствие кота, — Фишер обаятельно улыбается, — мыши собрались на съезд. Очень хорошо, тогда я буду стараться объяснять очень простым языком, как это возможно. Господин ван Клиф и я провели ночь на борту фрегата Его королевского величества «Феб» в статусе гостей капитана. Его зовут Джон Пенгалигон. Он здесь по приказу британского генерал — губернатора из форта Уильям в Бенгалии. Форт Уильям — главная база Английской Ост — Индской компании, и там...

— Мы все знаем, что такое форт Уильям, — вмешивается Маринус. Фишер улыбается долгую секунду.

— Джону Пенгалигону приказано заключить торговый договор с японцами.

— Ян — Компания торгует с Японией, — напоминает Оувеханд, — а не Джон — Компания.

Фишер ковыряет в зубах.

— Ах да, еще новости. Ян — Компания мертва, как дверной гвоздь. Да. В полночь последнего дня восемнадцатого столетия, пока кто-то из вас... — он смотрит на Герритсзона и Баерта, — распевал оскорбительные куплеты о ваших немецких предках на Длинной улице, существующая с незапамятных времен, уважаемая всеми Компания прекратила свое существование. Наш работодатель и казначей — банкрот.

Все потрясены.

— Подобные слухи, — говорит Якоб, — ходят...

— Я прочитал об этом в «Амстердамском куранте» в каюте капитана Пенгалигона. Черным по белому, на голландском языке. С первого января мы работаем на призрак.

— Наше жалованье? — Баерт в ужасе кусает ладонь. — Мое жалованье за семь лет?

Фишер кивает:

— Ты поступал очень предусмотрительно, когда тратил его на выпивку, шлюх и азартные игры. По крайней мере, получил от этого удовольствие.

— Но наши деньги — это наши деньги, — настаивает Ост. — Наши

деньги в сохранности, так, да, господин де Зут?

— По закону — да. Но «по закону» — это суды, компенсации, адвокаты и время. Господин Фишер...

— Я полагаю, в книге приказов директора моя должность записана как «заместитель директора»?

— Заместитель директора Фишер, в «Куранте» что-то написано о компенсации и долге?

— Для дорогих земляков — пайщиков в Голландии — да, но что достанется пешкам в азиатских факториях — ни слова. По поводу нашей родной Голландии у меня есть еще новость. Корсиканский генерал Бонапарт назначил себя Первым консулом Французской Республики. Этому Бонапарту в честолюбии не откажешь! Он захватил Италию, прошелся по Австрии, разграбил Венецию, подчинил Египет и намеревается превратить Нидерланды в департамент Франции. Мне очень жаль, господа, но вашу родину выдают насильно замуж, и она потеряет свою девичью фамилию.

— Англичане лгут! — восклицает Оувеханд. — Это невозможно!

— Поляки говорили то же самое, пока их страна не исчезла с карты.

Якоб представляет себе гарнизон французских войск в Домбурге.

— Мой брат Йорис, — вспоминает Баерт, — служил под тем французом, тем Бонапартом. Они говорили, что тот заключил сделку с дьяволом на Аркольском мосту <sup>[110]</sup>, что тот будет хранить его, и поэтому теперь он крушит все армии. Но солдат та сделка не включала. Йориса в последний раз видели на пике в Битве у пирамид, и тела при этом у него не было...

— Мои глубокие соболезнования, Баерт, — говорит Петер Фишер, — но Бонапарт теперь глава вашего государства, и на ваше жалование ему начхать. Вот так. У нас пока две неожиданности. Больше нет Компании и нет независимых Нидерландов. Но есть и третий сюрприз, особенно интересный для старшего клерка де Зута, я полагаю. Лоцмана, который привел «Феб» в бухту Нагасаки, зовут Даниэль Сниткер.

— Но он же на Яве, — Оувеханд первым обретает дар речи, — под судом.

Фишер разглядывает ноготь.

— Такие повороты судьбы делают жизнь очень интересной.

Ошеломленный Якоб откашливается:

— Вы говорили со Сниткером? Лицом к лицу? — он бросает быстрый взгляд на И во Оста, бледного и растерянного.

— Я ужинал с ним. «Шенандоа» до Явы не добралась, видите ли. Ворстенбос — этот знаменитый хирург, вырезающий раковые опухоли

коррупции, и капитан Лейси, пользующийся всеобщим доверием, продали медь Компании, ту самую медь, получением которой Дэдзима обязана вашей настойчивости, господин де Зут, Английской Ост — Индской компании в Бенгалии с целью личного обогащения. Какая ирония судьбы. Какая ирония!

«Не может такое быть правдой, — думает Якоб, и тут же, — увы, очень даже может».

— Подождите — подождите — подождите, — багровеет Ари Грот. — Подождите — подождите — подождите. А что с частным грузом? А мои лакированные вещицы? Статуэтки «Арита»?

— Даниэль Сниткер не знает, куда они направлялись. Он сбежал в Макао...

— Если те свиньи, — рычит Ари Грот, синяя, — те вороватые подонки...

— ...и можно не сомневаться, ваше добро уйдет за приличные деньги в Каролине.

— Да к черту этот груз, — отмахивается Туоми. — Как мы домой попадем?

Даже Ари Грот замолкает от осознания главной беды.

— Господин Фишер, — замечает Маринус, — похоже, совсем не беспокоится об этом.

— Чего бы вам не сказать нам, — по лицу Герритсзона чувствуется, что он готов наброситься на заместителя директора с кулаками, — господин Фишер?

— Я могу говорить, лишь когда мне позволяет ваша демократия! Доктор прав: не все потеряно. У капитана Пенгалигона есть полномочия на заключение Англо- Голландского дружеского соглашения в этих водах. Он обещает заплатить каждый пенни, который нам должна Компания, и предоставит нам проезд, бесплатный, к любому удобному для нас причалу: Пенанг, Бенгалия, Цейлон или Кейптаун.

— И все это, — спрашивает Кон Туоми, — от доброты английского сердца?

— Взамен мы работаем здесь еще два торговых сезона. За деньги.

— Это означает, — догадывается Якоб, — что англичанам нужна Дэдзима и ее торговые связи.

— Какая польза вам, господин де Зут, от Дэдзимы? Где ваши корабли, ваши капиталы?

— Но... — хмурится Иво Ост, — если англичане хотят торговать на Дэдзиме...

— Переводчики, — кивает Ари Грот, — понимают только голландский.

Фишер хлопает в ладони:

— Капитан Пенгалигон нуждается в вас. Вы нуждаетесь в нем. Счастливая свадьба!

— Значит, та же работа, — спрашивает Баерт, — но с новым хозяином?

— Который не исчезнет с вашим добром в Каролине.

— В тот день, когда я поймаю этого Ворстенбоса, — клянется Герритсзон, — я выбью ему мозги через его аристократическую жопу.

— Чей флаг будет реять над Дэдзимой? — спрашивает Якоб. — Голландский или английский?

— А какая разница, — настаивает Фишер, — если нам платят?

— Что директор ван Клиф, — интересуется Маринус, — думает о капитанском предложении?

— Он занимается уточнением деталей, пока мы тут беседуем.

— Он не подумал о том, — спрашивает Якоб, — чтобы послать нам письменный приказ?

— Я — его письменный приказ, старший клерк! Ну ладно, можете не верить моим словам. Капитан Пенгалигон пригласил вас — и доктора и господина Оувеханда — на «Феб» сегодня вечером к ужину. Его лейтенанты — приятная компания. Один из них, Хоувелл, очень хорошо говорит на голландском. Командир морских пехотинцев, майор Катлип, путешествовал везде и даже побывал в Новом Южном Уэльсе, это в Австралии.

Матросы сменяются.

— Катлип? Резать губы? — спрашивает Грот. — Да уж, та еще фамилия!

— Если мы отвергнем их предложение, — спрашивает Якоб, — уйдут англичане отсюда мирно?

Фишер негодует:

— Предложение принимается или отвергается не вами, так, старший клерк? А сейчас, когда возвратились директор ван Клиф и я, ваша Дэдзимская республика может вернуть коробку с игрушками и...

— Не все так просто, — прерывает его Грот. — Мы выбрали господина де Зута президентом.

— Президентом? — Фишер в насмешливом удивлении вскидывает брови. — Вот как!

— Нам нужен человек слова, — заявляет Ари Грот, — чтобы заботиться о нас.



— Ты намекаешь, — губы Петера Фишера изгибаются в усмешке, — что я — не такой человек?

— Ну, вы, конечно, не забыли ту накладную, — напоминает Грот, — которую господин де З. не подписал, а вы радостно подмахнули?

— Ворстенбос обвел его вокруг пальца, — добавляет Пиет Баерт, — но нас он не проиграл.

Якоб, как и Фишер, удивлен общей поддержкой матросов.

Фишер отмахивается:

— Правила Компании четко и ясно говорят о подчиненности.

— Правила Компании аннулированы по закону, — напоминает Маринус. — С первого января.

— Но мы же все в одной лодке, разве не так? — Фишер понимает, что промахнулся в расчетах. — О флаге можно договориться. Что такое флаг? Кусок материи. Я позже буду говорить с магистратом, и ваш «президент» может присоединиться ко мне, если вам нужны доказательства моих добрых намерений. А в это время ваша «Дэдзимская республика»...

«Название, — думает Якоб, — даже использованное в насмешку, придает значимости названному».

— ...может заниматься дебатами, сколько пожелает. Когда Якоб и я вернемся на «Феб», он сможет рассказать капитану Пенгалигону о том, что решили на берегу. Но не забудьте: до дома двенадцать тысяч миль. Не забудьте, Дэдзима — торговая фактория без торговли. Не забудьте, японцы хотят, чтобы мы убедили англичан торговать с ними. Сделав правильный выбор, мы заработаем деньги и защитим наши семьи от нищеты. Кто, во имя Бога, будет против этого?

— Как перевести «erfstadhouder [\[111\]](#)»? — переводчик Гото с усталыми глазами касается появившейся на подбородке щетины. — Голландский Вильям Пять — король или не король?

Часы «Альмело» в директорском кабинете отбивают один раз. «Титулы, титулы, — думает Якоб. — Как глупо и так важно».

— Он — не король.

— Тогда почему Вильям Пять пользуется титулом «Принц Оранско — Нассауский»?

— Оранско — Нассауский — по названию его вотчины, как в Японии — феода. Но он также возглавлял армию Нидерландов.

— То есть он вроде японского сегуна? — предполагает Ивасе.

Венецианский дож — лучшее сравнение, но все равно далеко до правильного объяснения.

— Штатгальтер считался выборной должностью, но всякий раз она

доставалась Оранской династии. Затем, после женитьбы штатгальтера Вильяма... — он указывает на подпись в документе, — ...на племяннице прусского короля, он решил провозгласить себя монархом, то есть назначенным Богом. Пять лет спустя мы... — французское вторжение все еще является секретом, — ...голландский народ, поменяли наше правительство...

Три переводчика настороженно переглядываются.

— ...и штатгальтеру Вильяму пришлось... как будет «покинуть место» по — японски?

Гото произносит это слово, и фраза становится понятной для Ивасе.

— И с отъездом Вильяма в Лондон, — заключает Якоб, — его прежнюю должность отменили.

— Значит, Вильям Пять... — Намуре требуется подтверждение, — не имеет власти в Голландии?

— Нет, никакой. Вся его собственность конфискована.

— А голландские люди все еще... подчиняются или уважают штатгальтера?

— Оранжевисты — да, но патриоты, члены нового правительства — нет.

— Многие голландские люди или «оранжисты», или «патриоты»?

— Да, но большинство просто беспокоятся о своих животах, о мире и спокойствии там, где они живут.

— Значит, этот документ, который мы переводим, этот «Меморандум», — Гото хмурится, — это приказ от Вильяма Пять голландцам, чтобы отдать голландскую собственность англичанам на сохранение?

— Да, но вот в чем вопрос: признаем ли мы власть Вильяма?

— Англичанин пишет: «Все голландцы подчиняются Меморандуму».

— Это он так пишет, да, но, скорее всего, врет.

Неуверенный стук в дверь. Якоб откликается: «Да?»

Кон Туоми открывает дверь, снимает шляпу и смотрит на Якоба, прося о срочной помощи. «Сейчас Туоми не стал бы тревожить меня попусту», — понимает Якоб.

— Господа, продолжайте без меня. Нам с господином Туоми надо поговорить в Морской комнате.

— Речь пойдет, — шляпа ирландца балансирует на его бедре, — о том, что дома мы называем «скелетом в шкафу».

— На Валхерене мы говорим «тело в грядке».

— Огромная репа растет, значит, на Валхерене. Могу я говорить по — английски?

— Конечно. Если я чего-то не пойму — переспрошу.

Глубокий вдох плотника.

— Меня зовут не Кон Туоми.

Якоб переваривает услышанное:

— Вы не первый преследуемый человек, которому приходится прикрываться вымышленным именем.

— Меня на самом деле зовут Фиакр Мантервари, и я не преследуемый. Мой отъезд из Ирландии — уже странная история. В один холодный день святого Мартина, скользко было, каменный блок выпал из строповочных ремней и раздавил моего отца, как жука. Я, как мог, пытался его заменить, но в этом мире милосердия нет, и, когда случился неурожай и люди пришли в Корк со всего Манстера, наш хозяин дома утроил плату за жилье. Мы заложили отцовский инструмент, но очень скоро я, Ма, пять сестер и самый младший, Падрайг, — все перешли жить в ветхий сарай, а там Падрайг простыл, и одним ртом меньше стало. А в городе я и в порту работал, и пиво варил, за все брался, но ничего не пошло. Значит, я возвращаюсь в ломбард и прошу вернуть отцовский инструмент. А тамошний человек говорит: «Все, значит, продали, Красавчик, а сейчас зима, и народу куртки да шубы нужны. Я плачу звонкие шиллинги за хорошие шубы. Ты же понимаешь меня?» — Туоми замирает в ожидании реакции Якоба.

Якоб знает, что медлить с ответом нельзя:

— Семью надо кормить.

— Одну женскую шубу я стащил из театра. Ломбардщик говорит: «Мужские шубы, Красавчик», и сует мне ломаный трехпенсовик. В следующий раз я стащил шубу из адвокатской конторы. «На пугало не наденешь, — говорит тот. — Плохо стараешься!» А в третий раз меня повязали, как куропатку. Я просидел ночь в Коркской тюрьме, наутро меня в суд, а там только одно доброе лицо — ломбардщика. Он сказал судье — англичанину: «Да — с, ваша честь, это он и есть, тот парнишка, который мне все шубы приносит». Я тогда говорю, что ломбардщик — хренов лжец, который торгует ворованными шубами. Судья сказал мне, что Бог прощает только тех, кто по — настоящему раскаивается, и дал мне семь лет в Новом Южном Уэльсе. Пять минут прошло от моего прихода и до стука деревяшкой — вот так. Я стал заключенным, и «Королева» стояла на якоре в гавани Корка, и ее надобно было заполнить, и я этому помогал. Ни мама, ни сестры не смогли хотя бы за взятку добиться прощания со мной, и наступил апрель девяносто первого, и «Королева» ушла с Третьим флотом...

Якоб смотрит туда же, куда и Туоми: на голубую гладь бухты, где стоит

на якоре «Феб».

— Сотни нас там сидели в темноте да в удушливой тесноте, с тараканами, в блевотине, вшах, моче. Крысы грызли всех, и живых, и мертвых, огромные крысы, как хреновы барсуки. В холодных водах мы дрожали. В тропиках смола капала из швов и обжигала нас, и каждую минуту, во сне или бодрствуя, все думали только об одном: «Воды, воды, Матерь Божья, воды...» Нам давали полпинты в день, и вкусом вода напоминала матросскую мочу: может, ее и наливали. Каждый восьмой умер в этом путешествии, по моим прикидкам. «Новый Южный Уэльс» — три самых тоскливых слова дома, поменяли смысл на «Избавление», и один старик из Голуэя рассказал нам о Виржинии, где пляжи широкие, и поля зеленые, и девушки индейские за гвоздь с тобой переспят, и мы все думали: «Ботани — Бэй — та самая Виржиния, только чуть дальше...»

Стражники полицейского Косуги проходят внизу, под окнами Морской комнаты, по аллее Морской стены.

— Сидней — Коув на Виржинию не тянула. Сидней- Коув представляла собой несколько десятков участков, вскопанных лопатой и мотыгой грядок, где семена засыхали, не успев упасть на землю. Выяснилось, что Сидней — Коув — сухая, жужжащая яма, полная слепней и красных муравьев, где тысяча голодных заключенных жила в рваных палатках. У морских пехотинцев были ружья — а, значит, и власть, и еда, и женщины. Меня, как плотника, определили строить жилье для морпехов, потом понадобилась мебель, двери и всякое такое. Четыре года прошло, начали появляться торговцы — янки, жизнь легче не становилась, но заключенные уже не мерли, как мухи. Половина моего срока миновала, и я уже грезил о возвращении в Ирландию. Затем, в девяносто пятом, прибывает новый батальон морпехов. И мой новый майор захотел красивые новые казармы и себе дом в Парраматте, а потому он забрал меня и еще шестерых — семерых. Он когда-то провел год в гарнизоне в Кинсейле и потому считал себя знатоком Ирландии. «Лень гэлов, — хвалился он, — лучше всего лечит доктор Плеть», — и он так лечил, не раздумывая. Вы видели шрамы на моей спине?

Якоб кивает.

— Даже Герритсзона они потрясли.

— Встретишься с его взглядом — он всыплет за дерзость. Станешь избегать — получишь за скрытность. Закричишь — получишь за притворство. Не кричишь — получишь за упрямство. Жил он там как в раю. Из Корка нас было шестеро, в том числе и Брофи, колесный мастер, и мы друг за друга держались. Однажды майор ударил его, а он ему ответил.

Брофи заковали в цепи, и майор приговорил его к повешению. Майор мне сказал: «Вот и время наступило для Парраматты занять свою виселицу, Мантервари, и ты ее построишь». А я отказался. Брофи повесили на дереве, меня приговорили к неделе в «Хлеву», в камере четыре на четыре фута, где ни встать, ни вытянуться, и вонь жуткая, и мухи да опарыши, и к сотне ударам плетью. В мою последнюю ночь пришел майор, сказал, что сечь будет сам, и пообещал, что я попаду в ад к Брофи на пятидесятом ударе.

Якоб спрашивает:

— Вы не могли обратиться с апелляцией к более высокому чину?

Ответ Туоми — горький смех.

— После полуночи я услышал шум. Спросил: «Кто там?» — а в ответ мне просовывают в щель под дверью стамеску, хлеб, завернутый в парусину, и бурдюк с водой. Шаги убежали. Ну, со стамеской я быстро снял пару досок. Вылез их «Хлева». Луна светила яркая, как солнце. Никто и не думал огораживать лагерь забором, понимаете, потому что лучше пустыни забора нет. Люди часто сбегали. Многие назад приползали, воды просили. Некоторых местные черные приводили — им за них грогом платили. Остальные померли: на то сомнений у меня сейчас нет никаких... заключенные, в большинстве своем, были необразованные, а тут прошел слух, что можно добраться до Китая, если пойти по пустыне на северо — северо — запад, ага, до Китая — на это я и понадеялся, и направился той ночью в Китай. Прошел ярдов шестисот и слышу, как взводят курок. Это был он. Майор. Он просунул мне стамеску и хлеб, понимаете. «Ты теперь беглец, — говорит он, — и я могу тебя убить без всяких вопросов, ты, ирландский подонок». Он подошел ко мне так близко, как мы сейчас, а глаза его горели, и я уже подумал: «Вот и все», — и он нажал на спусковой крючок, а ничего не случилось. Мы посмотрели друг на друга, удивились. Он пырнул меня штыком в глаз. Я увернулся, но не так быстро, — плотник указывает Якобу на шрам на лбу, — и потом время словно замедлилось, и мы тянули ружье в разные стороны, как два малыша, не поделившие игрушку... и он споткнулся... и ружье перевернулось, и прикладом ему по башке как стукнуло, и у этого козла вышибло дух.

Якоб замечает, как дрожат руки Туоми.

— Самозащита — это не убийство в глазах Бога и закона.

— Я — заключенный, а у моих ног — мертвый морпех. Я помчался на север по побережью, и через двенадцать или тринадцать миль, как день наступил, набрел на болотистый ручей, утолил жажду, лег и проснулся только во второй половине дня, потом съел ломоть хлеба и пошел дальше, и шагал так еще пять дней. Отмахал, наверное, семьдесят или восемьдесят

миль так. Но солнце обожгло меня дочерна, как поджаренный тост, и пустыня высосала из меня все силы, и меня пронесло от каких-то ягод, и скоро я начал сожалеть, что ружье майора дало осечку, потому что теперь меня ждала медленная смерть. В тот вечер перед закатом океан поменял цвет, и я помолился святому Иуде Фаддею, попросил закончить мои страдания любым угодным ему способом. Вы, кальвинисты, в святых можете не верить, но и вы, я знаю, не отрицаете, что каждая молитва будет услышана. — Якоб кивает. — И на рассвете, проснувшись на том самом, всеми забытом, берегу — необитаемом на сотни миль вокруг — я услышал песню гребцов. В бухте стоял потрепанный китобой под звездно — полосатым флагом. Его баркас направлялся к берегу за водой. Ну, я повстречался с капитаном и пожелал ему доброго утра. Он спрашивает: «Сбежал, да?» Я отвечаю: «Так точно». Он говорит: «Найди хоть одну причину, почему я должен пнуть по яйцам моего самого лучшего покупателя в Тихом океане, британского губернатора Нового Южного Уэльса, и помочь беглецу?» Я отвечаю: «Я плотник и поработаю на борту бесплатно целый год». Он говорит: «Мы, американцы, держимся правил, которые очевидны для всех. Все люди равны, всем даны определенные Создателем права, среди которых — право на жизнь, свободу и счастье, и ты проработаешь три года, а не один, поскольку получишь жалованье жизнью и свободой, а не долларами». — Трубка Туоми потухла. Он разжигает ее и глубоко затягивается табачным дымом. — Зачем я сейчас все рассказываю? Ранее, в Парадном зале, Фишер упомянул об одном майоре на британском фрегате.

— Майоре Катлипе? Не самая лучшая фамилия, если перевести.

— Она застряла в памяти беглого заключенного еще по одной причине. — Туоми смотрит на «Феб» и ждет.

Якоб опускает трубку:

— Морской пехотинец? Ваш мучитель? Катлип?

— Казалось бы, таких совпадений в жизни не бывает, только на сцене, но...

О последствиях вслух никто не говорит. Но Якобу они слышатся.

— ...не бывает, а вот, мир все равно... разыгрывает... ту же самую... хренову пьесу. Это он! Джордж Катлип, морской пехотинец, с Нового Южного Уэльса, появляется в Бенгалии, губернаторский приятель по охоте. Фишер упомянул эту фамилию, так что сомнений нет. Ни тени сомнений, — хриплый рык срывается с губ Туоми вместо смеха. — Ваше решение о капитанском предложении и все такое, и без этого очень сложное, но если вы пойдете на сделку, Якоб... если вы пойдете на сделку

и майор Катлип меня увидит, то, Бог свидетель, он с моими долгами разберется. Если только я не убью его первым, то стану кормом для рыб или червей.

Осеннее солнце — раскаленный цветок календулы.

— Я потребую гарантий, защиты Британской короны.

— Мы, ирландцы, отлично знаем, как защищает Британская корона.

Якоб сидит в одиночестве и смотрит на «Феб», принесший столько хлопот. Он занимается моральной бухгалтерией: кооперация с англичанами будет стоить ему выдачи друга на расправу Катлипу и, возможно, обвинения в пособничестве врагу, если когда-то вновь заработает голландский суд. Непринятие условий англичан — годы нищеты и запустения до окончания войны и того времени, когда кто-нибудь подумает о них и решится приплыть. Или про них забудут, в прямом смысле этого слова, и они будут болеть и стариться, пока не умрут один за другим?

— Тук — тук, да — а? — Это Ари Грот, в грязном поварском фартуке.

— Господин Грот, пожалуйста, входите. Я просто... просто...

— Мысли там, да — а? Мно — о-ого всяких мыслей сегодня на Дэдзиме, директор де З.

«Этот прирожденный торговец, — подозревает Якоб, — хочет подтолкнуть меня к подписанию соглашения».

— ...но вот слово мудрого, — Грот оглядывается. — Фишер врет.

Солнечные зайчики, отраженные от волн, мечутся по оклеенному бумагой потолку.

— Я вас очень внимательно слушаю, господин Грот.

— В частности, он солгал о ван Клифе, будто тот в деле. Сейчас я не буду наших карточных секретов открывать, но, к разговору, есть такой метод: чтение по губам. Народ обычно думает, что лжеца можно узнать по глазам, но это не так: губы выдают человека. Разные лжецы по — разному себя проявляют. О Фишере скажу: блефуя, он делает так... — Грот слегка прикусывает нижнюю губу, — ...и при этом не знает, что это делает, в чем вся прелесть. Когда говорил о ван Клифе, так и прикусывал губу. Врал нагло, не подозревая, что это написано на его лице. Вот так. А если Фишер врет по мелочи, значит, нельзя ему верить и по главным вопросам.

Залетевший ветерок раскачивает люстру.

— Если директор ван Клиф не хочет иметь ничего общего с англичанами...

— Его заперли в трюме: это объясняет, почему Фишер, а не директор, вернулся на берег.

Якоб смотрит на «Феб».

— Предположим, я — английский капитан и хочу прославиться захватом единственной европейской фактории в Японии... но местные довольно разборчивы в контактах с иностранцами...

— Так всем известно, что не ведут они дел с иностранцами.

— Англичане нуждаются в нас на переходное время, это ясно, но...

— ...но дайте им год, директор де З., самое большее, два торговых сезона...

— Отличная прибыль, посольство в Эдо, «Юнион Джек» на флагштоке...

— Переводчики выучивают английский, и внезапно все голландцы... ну... «Хватай их, они все военнопленные!» Зачем платить хотя бы шиллинг из денег, заработанных нами на службе Голландской компании, да — а? Я бы не стал, окажись на месте Пенгалигона. Довез бы нас бесплатно прямо до...

— В Пенанге чиновников посадят в тюрьму, а вас, матросов...

— Нас определяют рабами на флот Его королевского величества.

Якоб пробует найти слабые места в доводах Грота, но их, похоже, нет. «Отсутствие письменного приказа ван Клифа, — понимает Якоб, — и есть его приказ».

— Говорили вы об этом с другими матросами, господин Грот?

Повар склоняет лысую хитрую голову.

— Все утро, директор де З. Если и вы унюхали дохлую крысу, то мы голосуем, чтоб порвать этот Англо- Голландский договор... э — э... на квадратики для подтирки в нужнике.

Якоб видит двух дельфинов в заливе.

— А что «говорят» мои губы, согласно методу чтения по губам, господин Грот?

— Моя мадам никогда мне не простит, если я развращу картами молодого джента.

— Мы сможем играть в триктрак в затишье между будущими торговыми сезонами.

— Триктрак — и есть настоящая игра для джентов. Кости я принесу...

Чай — холодная сочная зелень в гладкой белой чашке.

— Мне никогда не понять, — говорит Петер Фишер, — как вы можете пить эту шпинатную воду. — Он разминает и трет ноги, затекшие после двадцати минут сидения на полу. — Хорошо бы эти люди изобрели для себя настоящие стулья.

Якобу не о чем говорить с Фишером, который пришел сюда, чтобы



убедить магистрата разрешить торговлю с британцами под прикрытием Голландии. Фишер отказывается признавать любую оппозицию со стороны матросов и чиновников Дэдзимы, а Якоб пока молчит о ее существовании. Оувеханд дал Якобу право говорить от его имени, а Маринус процитировал что-то греческое. Переводчики Ионекизу и Кобаяши озабоченно переговариваются друг с другом с разных концов приемной, отдавая себе отчет в том, что Якоб может понять их разговор. Чиновники и инспекторы входят и выходят из Зала шестидесяти циновок. Якоб улавливает запахи пчелиного воска, бумаги, сандалового дерева и... — он принюхивается — ...страха?

Фишер продолжает свою речь:

— Демократия — необычный способ отвлечения внимания матросов, де Зут.

— Если вы полагаете, — говорит Якоб, ставя чайную чашку на низкий столик, — что я каким-то образом...

— Нет — нет, я восторгаюсь вашей сообразительностью: самый легкий путь управлять другими — это дать им иллюзию свободного выбора. Вы, конечно, не станете... — Фишер проверяет подкладку своей шляпы, — ...огорчать наших желтокожих друзей разговорами о президентах и так далее? Широяма ожидает переговоров с заместителем директора.

— И вы решили рекомендовать предложение Пенгалигона?

— Только мерзавец и дурак сделает по — другому. Мы расходимся друг с другом в частностях, де Зут, как все приятели. Но вы, я это знаю, не мерзавец и не дурак.

— Судя по всему, — увиливает от ответа Якоб, — принятие решения возложено на вас.

— Да. — Отсутствие возражений Якоба Фишер воспринимает как согласие. — Конечно.

Двое мужчин разглядывают стены, крыши, бухту.

— Когда англичане закрепятся здесь, — говорит Фишер, — мое влияние возрастет...

«Он уже считает цыплят, — думает Якоб, — хотя еще не отложены яйца».

— ...и я вспомню всех моих друзей и всех моих врагов.

Мимо проходит мажордом Томине, глазами здороваясь с Якобом.

Он поворачивает налево, покидает приемную через скромную дверь с изображением хризантемы.

— С таким носом, — делится впечатлениями Фишер, — только

побираться у церкви.

Появляется суровый чиновник и что-то говорит Ионекизу и Кобаяши.

— Вы понимаете, — спрашивает Фишер, — о чем речь, де Зут?

Незнакомых слов много, но общую идею Якоб улавливает: магистрату нездоровится. Заместитель директора Фишер будет консультироваться с высшими по рангу советниками в Зале шестидесяти чиновков. Спустя некоторое время перевод Кобаяши подтверждает, что Якоб не ошибся. Фишер заявляет: «Нет возражений», и говорит Якобу: «Восточные сатрапы — руководители номинальные, не осознающие политическую реальность. Лучше говорить напрямую с кукловодами, а не с марионеткой».

Суровый чиновник добавляет, что из-за суматохи с британским военным кораблем консультации с одним голландцем предпочтительнее, чем с двумя: старший клерк может подождать принятия решения в более тихом месте магистратуры.

Фишера это только радует.

— Логично. Старший клерк де Зут, — он хлопает голландца по плечу, — пока может вдоволь напиться шпинатной воды.

## Глава 36. КОМНАТА ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ

Час                      Быка  
третьего дня девятого  
месяца

— Добрый день, магистрат. — Де Зут становится на колени, кланяется и кивком здоровается с переводчиком Ивасе, мажордомом Томине и двумя писцами в углу.

— Добрый день, исполняющий обязанности директора, — отвечает магистрат. — Ивасе присоединится к нашему разговору.

— Мне потребуется его талант. Вы уже пошли на поправку, Ивасе-сан?

— Это была трещина, не перелом, — Ивасе похлопывает себя по боку. — Благодарю вас.

Де Зут замечает доску для игры го: партия с Эномото еще не закончена.

Магистрат спрашивает:

— Эта игра известна в Голландии?

— Нет. Переводчик Огава научил меня... — он консультируется с Ивасе, — ...основам игры в мои первые недели на Дэдзиме. Мы предполагали начать играть после торгового сезона... но нежелательные события...

Курлычут голуби: мирный звук среди беспокойного дня.

Садовник прочесывает граблями белые камни у бронзового пруда.

— Очень необычно, — говорит Широяма, возвращаясь к делам, — проводить совет в этой комнате, но с присутствием в Зале шестидесяти циновок каждого советника, старейшины и геоманта Нагасаки, он становится залом шести циновок и шестисот голосов. Думать невозможно.

— Заместителя директора Фишера такая аудитория только порадует.

Широяма отмечает про себя, что де Зут вежливо, но твердо противопоставляет себя Фишеру.

— Тогда сначала... — он кивает писцам, — ...о названии корабля «Фибацу». Ни один переводчик не знает этого слова.

— «Феб» — не голландское слово, а греческое имя, ваша честь. Феб был богом Солнца. Его сына звали Фаэтон. — Де Зут помогает писцам с транскрипцией иностранных слов. — Фаэтон хвастался своим знаменитым

отцом, но его друзья сказали: «Твоя мать просто заявляет, что твой отец — это бог Солнца, потому что у нее нет настоящего мужа». Фэтон огорчился, и его отец пообещал помочь своему сыну доказать, что он — на самом деле сын небес. Фэтон попросил: «Позволь мне прокатиться на колеснице Солнца по небу».

Де Зут замолкает, чтобы писцы успели все записать.

— Феб хотел отговорить сына: «Кони необузданные, и колесница летает слишком высоко. Попроси чего-нибудь другого». Но нет, Фэтон настаивал, и тогда Феб согласился: обещание — это обещание, даже в мифах. Особенно в мифах. Тогда на следующее утро, вверх-вверх — вверх — вверх поднималась колесница на востоке, управляемая юношей. Слишком поздно он начал сожалеть о своем упрямстве. Кони действительно оказались необузданными. Сначала колесница взлетела слишком высоко, слишком далеко, и все реки и водопады превратились в лед. Тогда Фэтон повел колесницу поближе, но слишком низко, и сжег Африку, и почернела кожа эфиопов, и предал огню города древнего мира. И в конце концов, богу Зевсу, королю неба, пришлось действовать.

— Писцы, стоп.

Широяма спрашивает:

— Этот Зевс — не христианин?

— Грек, ваша честь, — отвечает Ивасе, — похожий на Аме — но — Минаку — нуши.

Магистрат взмахом руки разрешает де Зуту продолжать рассказ.

— Зевс стрельнул молнией по солнечной колеснице. Она взорвалась, и Фэтон упал на землю. Он утонул в реке Эридан. Сестры Фэтона, Гелиады, так сильно горевали, что стали деревьями — в Голландии мы называем их «тополями», но я не знаю, растут ли они в Японии. Став деревьями, Гелиады заплакали... — Де Зут консультируется с переводчиками, — ...янтарем. Так произошел янтарь, и это конец истории. Простите мой жалкий японский.

— Вы верите, что есть какая-то правда в этой истории?

— В этой истории нет никакой правды, ваша честь.

— Значит, англичане называют военные корабли в честь ложных богов?

— Смысл мифа, ваша честь, не в словах, а в образе.

Широяма пропускает последнюю фразу и возвращается к безотлагательным действиям.

— Этим утром заместитель директора Фишер привез письма от английского капитана. В них — приветствия на голландском языке от

английского короля Георга. В письмах указано, что Голландская компания — банкрот, самой Голландии больше не существует, и британский генерал — губернатор находится в Батавии. Письмо заканчивается предупреждением, что французы, русские и китайцы планируют нападение на наши острова. Король Георг называет Японию «Великая Британия Тихого океана» и убеждает нас подписать договор о дружбе и торговле. Пожалуйста, поделитесь вашими мыслями.

Вымотанный своим рассказом — переводом, де Зут поворачивается к Ивасе и отвечает на голландском.

— Директор де Зут, — переводит Ивасе, — верит в то, что англичане хотят запугать его соотечественников.

— Как его соотечественники относятся к предложению англичан?

На этот вопрос де Зут отвечает на японском:

— Мы воюем с Англией, ваша честь. Англичане нарушают свои обещания очень легко. Никто из нас не желает с ними сотрудничать, кроме одного человека, — он бросает взгляд в сторону Зала шестидесяти циновок, — которому сейчас платят англичане.

— Разве не ваша обязанность, — Широяма спрашивает де Зута, — подчиняться Фишеру?

Котенок Кавасеми выбегает на веранду, гонясь за стрекозой.

Слуга смотрит на хозяина, который качает головой: «Пусть играет...»

Де Зут раздумывает над ответом.

— У человека несколько обязанностей и...

В затруднении, он обращается к Ивасе.

— Господин де Зут говорит, ваша честь, что его третья обязанность — подчиняться начальству. Его вторая обязанность — защищать флаг. Но его первая обязанность — следовать своей совести, потому что Бог — его Бог — дал ему совесть.

«Иностранный кодекс чести», — думает Широяма и приказывает писцам пропустить сказанное.

— Заместитель директора Фишер знает о том, что вы его не поддерживаете?

Кленовый лист, сорванный ветерком, — огненный, широкий, растопыренный, — ложится рядом с магистратом.

— Заместитель директора Фишер видит и слышит только то, что хочет видеть и слышать, ваша честь.

— Директор ван Клиф не посылал вам никаких инструкций?

— Мы не получали ничего. И пришли к очевидному выводу.

Широяма сравнивает прожилки на листе с венами на кистях.

— Если мы захотим удержать фрегат в бухте Нагасаки, какую стратегию вы можете предложить?

Де Зут удивлен вопросом, но дает детальный ответ Ивасе.

— Директор де Зут предлагает две стратегии: обманный маневр и силу. Обманный маневр включает в себя вступление в затяжные переговоры с фальшивым договором в конце. Достоинство этого плана в отсутствии кровопролития. Недостаток — англичане хотят сделать все быстро, до наступления зимы в Северном Тихом океане, и они уже встречались с такой стратегией в Индии и на Суматре.

— Значит, силой, — кивает Широяма. — Как можно захватить фрегат, если у нас нет своего фрегата?

Де Зут спрашивает:

— Сколько солдат у вашей чести?

Магистрат сначала говорит писцам, чтобы они перестали записывать. Затем приказывает им выйти.

— Сто, — признается он де Зуту. — Завтра будет четыреста, скоро — тысяча.

Де Зут кивает.

— Сколько лодок?

— Восемь сторожевых, — отвечает Томине, — у береговой охраны.

Затем де Зут спрашивает: может ли магистрат реквизировать рыбацкие и грузовые лодки в бухте и по всему побережью?

— Представители сегуна, — отвечает Широяма, — могут реквизировать все.

Де Зут рассказывает Ивасе, а тот переводит: «Мнение исполняющего обязанности директора такое: тысяча хорошо обученных самураев легко победят врага на земле или на борту фрегата, но проблема перевозки неразрешима. Пушки фрегата уничтожат флотилию прежде, чем самураи приблизятся к кораблю. Более того, морские пехотинцы «Феба», располагают новейшими... — Ивасе использует голландское слово «ружьями», — ...мушкетами, у которых пороховой заряд в три раза больше, и заряжаются они гораздо быстрее».

Пальцы Широямы разрывают кленовый лист.

— Значит, нет никакой надежды на захват корабля силой?

— Корабль нельзя захватить, — отвечает де Зут, — но бухту можно запереть.

Широяма бросает быстрый взгляд на Ивасе, подозревая, что голландец сказал неправильное слово по- японски, но де Зут, продолжая речь, теперь обращается к переводчику на голландском языке. Его руки показывают

цепи, стену, лук и стрелу. Ивасе уточняет несколько терминов и поворачивается к магистрату:

— Ваша честь, исполняющий обязанности директора предлагает воздвигнуть, как это называют голландцы, «понтонный мост»: мост, сделанный из связанных вместе лодок. Двухсот, думает он, будет достаточно. Лодки должны быть реквизированы в деревнях вне бухты и собраны у горла — связаны вместе с одного конца к другому, чтобы образовать плавающую стену.

Широяма представляет себе эту картину.

— Разве военный корабль не сможет ее пробить?

Исполняющий обязанности директора понимает и обращается к Ивасе на голландском:

— Де Зут — сама говорит, ваша честь, что военный корабль, чтобы пробиться сквозь понтонный мост, должен опустить паруса. Материя парусов связана из пеньки и часто пропитана маслом, чтобы не намокала. В сезон теплой погоды, как сейчас, промасленная пенька легко возгорается.

— Горящие стрелы, да, — понимает Широяма. — Мы можем спрятать лучников в лодках...

На лице де Зута читается неуверенность:

— Ваша честь, если «Феб» загорится...

Широяма вспоминает рассказанный миф:

— Как солнечная колесница!

«Если этот план удастся, — думает он, — нехватку солдат могут простить».

— На «Фебе» многие моряки, — объясняет де Зут, — не англичане.

«Такая победа, — заглядывает в будущее Широяма, — может принести мне место в Совете старейшин».

Де Зут беспокоится:

— Должны быть обеспечены условия почетной сдачи в плен.

— Почетной сдачи в плен не бывает. — Широяма хмурится. — Мы в Японии, исполняющий обязанности директора.

## Глава 37. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА

*Примерно шесть часов вечера 19 октября 1800 г.*

Темные облака сгущаются, и сумерки наполнены насекомыми и летучими мышами. Капитан узнает европейца, сидящего на носу сторожевой лодки, и опускает подзорную трубу.

— Посол Фишер подплывает к нам, мистер Толбот.

Третий лейтенант ищет правильный ответ:

— Хорошие новости, сэр.

Вечерний бриз, пахнувший дождем, шуршит страницами книги расходов.

— «Хорошие новости» я как раз ожидаю услышать от посла Фишера.

Отделенный от корабля милей спокойного моря, Нагасаки зажигает светильники и закрывает окна.

Гардемарин Малуф стучится в дверь и просовывает в щель голову:

— Поздравления от лейтенанта Хоувелла, сэр: мистера Фишера везут к нам.

— Да, я знаю. Скажите лейтенанту Хоувеллу, чтобы он сразу провел мистера Фишера в мою каюту, как только тот поднимется на борт. Мистер Толбот, передайте майору Катлипу: мне нужны несколько морских пехотинцев с заряженными ружьями, на всякий случай...

— Есть, сэр, — Толбот и Малуф убегают на молодых подвижных ногах.

Капитан остается с подагрой, подзорной трубой и закатом.

На берегу зажигают факелы на сторожевых башнях, в четверти мили за кормой.

Через минуту — две в дверь стучится хирург Нэш — каким-то своим, особенным стуком.

— Заходите, господин хирург, — говорит капитан, — вы вовремя.

Нэш входит, в этот вечер он хрипит, как порванные мехи.

— Подагра — это ингравесцентный [\[112\]](#) крест, который приходится нести страдальцам, капитан.

— «Ингравесцентный»? Пожалуйста, в этой каюте говорите на простом английском, мистер Нэш.



Нэш садится на скамью у окна и помогает Пенгалигону поднять ногу.

— Подагра сначала становится хуже и лишь потом идет на поправку. — Его пальцы касаются осторожно, но прикосновения обжигают.

— Вы думаете, я не знаю этого? Удвойте дозу лекарства.

— Разумность удваивания количества опиатов на столь ранней стадии...

— Пока мы не подписали договор, удвойте дозу этого чертова Дувера!

Хирург Нэш развязывает повязки и шумно выдыхает от увиденного.

— Да, капитан, но я добавлю хны и алоэ прежде, чем в вашем пищеварительном тракте все замрет...

Фишер приветствует капитана на английском, пожимает ему руку и кивает сидящим за столом Хоувеллу, Рену, Толботу и Катлипу. Пенгалигон откашливается:

— Садитесь, посол. Мы все знаем, по какому поводу собрались.

— Сэр, один маленький момент, прежде чем мы начнем, — говорит Хоувелл. — Мистер Сниткер набросился на нас, пьяный, как старина Ной, требуя присутствия на нашей встрече с послом Фишером и клянясь, что никогда не позволит чужаку «высосать все, что по праву принадлежит мне».

— Что по праву ему положено, — вставляет Рен, — так это гвоздь в зад.

— Я сказал ему, что его позовут, когда надо, капитан, и полагаю, что поступил правильно.

— Безусловно. Кто у нас человек часа, — Пенгалигон галантно указывает на пруссака, — так это посол Фишер. Пожалуйста, попросите нашего друга рассказать о проделанной сегодня работе.

Пенгалигон вслушивается в тон ответа Фишера, пока Хоувелл записывает ответ. Речь на голландском летит без запинки.

— Согласно приказу, сэр, посол Фишер провел день в консультациях с голландцами на Дэдзиме и с японскими официальными лицами в магистратуре. Он напоминает нам, что Рим строился не один день, но верит — камни фундамента Британской Дэдзимы заложены.

— Мы рады это услышать... «Британская Дэдзима» — звучит замечательно.

Джонс приносит латунную лампу. Чигуин ставит на стол пиво и кружки.

— Начнем с голландцев: согласились ли они, в принципе, на сотрудничество?

Хоувелл переводит ответ Фишера как:

— Дэдзима почти совсем наша.

«Это «почти совсем», — думает капитан, — первая кислінка».

— Признают ли они легитимность Меморандума?

Долгий ответ дает Пенгалигону почву для размышлений о «камнях фундамента». Хоувелл продолжает писать по ходу речи Фишера.

— Посол Фишер докладывает, что новости о банкротстве голландской ОИК вызвали отчаяние среди голландцев и точно так же — среди японцев, но без наличия «Куранта» голландцы не желают верить. Он использовал это отчаяние, чтобы представить «Феб» как единственную надежду для голландцев на возвращение домой с прибылью, но один раскольник, клерк по имени... — Хоувелл уточняет у Фишера, который повторяет имя с явным неудовольствием, — ...Якоб де Зут, назвал британскую нацию «тараканами Европы» и поклялся убить любого «сотрудничающего с ними мерзавца». Несогласный с такими сравнениями мистер Фишер вызвал его на дуэль. Де Зут трусливо спрятался в своей крысиной норе.

Фишер вытирает рот и добавляет еще пару предложений, которые тут же переводит Хоувелл.

— Де Зут был лакеем и у директора Ворстенбоса, и у ван Клифа, в чем убийстве он обвинил вас, сэр. Посол Фишер рекомендует заковать его в кандалы и изолировать от всех.

«Сведение старых счетов, — думает Пенгалигон, согласно кивая, — как, собственно, и ожидалось».

— Очень хорошо.

Затем пруссак достает запечатанный конверт и клетчатую коробочку. Их он запускает по кругу, сопровождая продолжительным объяснением.

— Мистер Фишер говорит, сэр, — переводит Хоувелл, — что его дотошность заставила его рассказать вам об оппозиции де Зута, но, будьте спокойны, потому что клерк «нейтрализован». Во время пребывания на Дэдземе мистера Фишера посетил доктор Маринус, врач фактории. Все сотрудники фактории, за исключением этого подлеца де Зута, попросили Маринуса заверить Фишера в том, что им всем известно об оливковой ветви мира, протянутой Британией. Доктор доверил ему этот замечательный конверт, адресованный вашему вниманию. В нем находится «коллективная воля европейцев Дэдзимы».

— Пожалуйста, поздравьте нашего посла, лейтенант. Мы довольны.

Легкая улыбка Петера Фишера отвечает: «Конечно же, вы довольны».

— А теперь спросите мистера Фишера о его *tete-a-tete* [\[113\]](#) с магистратом.

Фишер и Хоувелл обмениваются несколькими фразами.

— Голландский язык, — Катлип обращается к Рену, — хрюканье спаривающихся свиней.

Насекомые облепили окно каюты, привлеченные яркой лампой.

Хоувелл готов к переводу.

— Перед возвращением на «Феб» этим вечером посол Фишер наслаждался продолжительной беседой с главным советником магистрата Широама — мажордомом Томине.

— А что с теплым приемом магистрата Широама? — спрашивает Рен.

Хоувелл объясняет:

— Посол Фишер говорит, что Широама на самом деле — «тонкоголосый кастрат», пустое место, а реальная власть у мажордома.

«Я бы предпочел, чтобы мой подчиненный, — беспокоится Пенгалигон, — врал убедительнее».

— Согласно послу Фишеру, — продолжает Хоувелл, — этот могущественный мажордом отнесся к нашему предложению о торговом договоре с большой симпатией. Эдо устал от батавского нестабильного торгового партнера. Мажордом Томине удивился распаду Голландской империи, и посол Фишер посеял много зерен сомнений в его сознании.

Пенгалигон трогает клетчатую коробочку.

— Это послание мажордома?

Фишер понимает и начинает тут же говорить с Хоувеллом.

— Он заявляет, сэр, что это историческое письмо было продиктовано мажордомом Томине, утверждено магистратом Широамой и переведено на голландский язык переводчиком первого ранга. Ему не показали содержимого, но у него нет никаких сомнений, что вы прочтаете его с удовольствием.

Пенгалигон изучает коробочку:

— Превосходная работа, но как добраться до содержимого?

— Должна быть скрытая пружина, сэр, — говорит Рен. — Разрешите? — Безуспешные попытки второго лейтенанта растягиваются на минуту. — Как чертовски по — азиатски.

— Не устоит она против доброго английского молотка, — добродушно хмыкает Катлип.

Рен передает коробочку Хоувеллу:

— Открывать восточные замки — это ваш конек.

Хоувелл сдвигает боковую панель, и крышка откидывается. Внутри лист пергамента, сложенный вдвое, с печатью на лицевой стороне.

«Такие письма, — думает Пенгалигон, — возвышают человека... или

рушат его карьеру».

Капитан срезает печать ножом для бумаг и разворачивает письмо.

Текст на голландском языке.

— Я опять обращаюсь к вашей помощи, лейтенант Хоувелл.

— Я только рад этому, сэр, — Хоувелл зажигает вторую лампу.

— «Капитану английского корабля «Феб». Магистрат Широяма информирует «английцев», что изменения... —

Хоувелл замолкает, хмурится. — Прошу прощения, сэр, грамматика текста очень своеобразная, «...изменения правил государственной торговли с иностранцами не входят в пределы полномочий магистрата Нагасаки. По этим вопросам решение принимает Совет старейшин сегуна в Эдо. Посему английскому капитану... тут слово «приказывается»... приказывается оставаться на якоре в течение шестидесяти дней, пока возможность договора с Великой Британией обсуждается надлежащими органами власти в Эдо».

Враждебная атмосфера воцаряется за столом.

— Желтушные пигмеи, — заявляет Рен, — принимают нас за банду гайдуков!

Фишер, чувствуя приближающийся взрыв недовольства, просит посмотреть письмо мажордома.

Ладонь Хоувелла останавливает его:

— Подождите. Дальше еще хуже, сэр: «Английскому капитану приказывается перевезти на берег весь порох...»

— Они скорее возьмут наши жизни, во имя всего святого, — клянется Катлип, — чем наш порох!

«А я-то, дурак, — думает Пенгалигон, — позабыл, что дипломатия никогда не бывает простой».

Хоувелл продолжает: «...весь порох и допустить инспекторов на свой корабль, чтобы они убедились в исполнении приказа. Англичане не должны пытаться сойти на сушу». Это подчеркнуто, сэр. «Такая попытка без письменного разрешения магистрата будет расценена как объявление войны. И наконец, английский капитан предупреждается, что законы сегуна запрещают контрабанду и христианские кресты». Письмо подписано магистратом Широямой.

Пенгалигон трет глаза. Болит подагрическая нога.

— Покажите нашему «послу» плоды его хитроумия.

Петер Фишер читает письмо с нарастающим недоверием и, заикаясь, тонким голосом протестует, обращаясь к Хоувеллу.

— Фишер заявляет, капитан, что мажордом не упомянул ни о

шестидесяти днях, ни о порохе.

— Кто бы сомневался, — пожимает плечами капитан, — Фишеру сказали то, что сочли нужным. — Пенгалигон разрезает край конверта с письмом от доктора. Он ожидает увидеть голландский язык, но текст довольно аккуратно написан на английском. — Там, на берегу, есть способный лингвист. «Капитану Пенгалигону Королевского флота! Сэр, я, Якоб де Зут, избранный на сей день президентом Временной республики Дэдзима...

— «Республика»! — насмешливо ржет Рен. — Эти обнесенные стеной паршивые склады?

— «...уведомляю Вас, что мы, нижеподписавшиеся, отвергаем Меморандум, протестуем против вашей попытки незаконного захвата голландской фактории в Нагасаки, отказываемся от Вашего предложения перейти под крыло Английской Восточно — Индской компании. Мы требуем возврата директора ван Клифа и информируем мистера Петера Фишера из Брунсвика, что отныне он изгнан с нашей территории».

Четверо офицеров смотрят на экс — посла Фишера, который сглатывает слюну и просит перевести письмо дальше.

— Продолжение: «Что бы ни говорили Вам господа Сниткер, Фишер и пр., разрешите напомнить, что вчерашнее похищение рассматривается японскими официальными лицами как нарушение суверенности. Ответная реакция не замедлит себя долго ждать, и я не в силах ее предотвратить. Примите во внимание не только команду корабля, невиновную в этих государственных манипуляциях, но также их жен, родителей и детей. Очевидно, что капитан Королевского флота следует приказу, но a l'impossible nul n'est tenu. С уважением, Якоб де Зут». И подписано всеми голландцами.

Смех, лихой и звонкий, доносится из кают — компании внизу.

— Пожалуйста, поделитесь содержанием этого письма с Фишером, мистер Хоувелл.

Пока Хоувелл переводит текст на голландский язык, майор Катлип разжигает свою трубку:

— Зачем этот Маринус накормил нашего пруссака ослиным навозом?

— Чтобы выставить, — вздыхает Пенгалигон, — полнейшим идиотом.

— Что этот жабеныш проквакал, — спрашивает Рен, — в конце письма, сэр?

Толбот откашливается:

— Никому не под силу добиться невозможного.

— Как я ненавижу человека, — добавляет Рен, — который пердит по

— французски и ожидает аплодисментов.

— Что это за... — фыркает Катлип, — ...шутовская «Республика»?

— Укрепление духа. Братья — сограждане будут воевать смелее, чем подчиненные. Этот де Зут совсем не глупец, каким хотел нам представить его Фишер.

Пруссак выстреливает в Хоувелла очередью гневных опровержений.

— Он заявляет, капитан, что де Зут и Маринус все провернули между собой — они подделали подписи. Он говорит, что Герритсзон и Баерт не умеют писать.

— Так покажите ему отпечатки пальцев! — Пенгалигон еле удерживается от желания врезать пресс — папье из китового зуба по бледной, потной, перекошенной от отчаяния физиономии Фишера. — Покажите ему, Хоувелл! Покажите ему отпечатки! Пальцев, Фишер! Пальцев!

Доски скрипят, матросы храпят, крысы грызут, лампы шипят. Сидя за разложенным кабинетным столиком в свете лампы, Пенгалигон чешет кожу между костяшками левой кисти и слушает своих двенадцать часовых, передающих друг другу сообщение: «Три склянки, все хорошо» — вдоль фальшборта. «Нет, не хорошо, черт побери», — думает капитан. Два чистых листа ожидают превращения в письма: одно к мистеру... — «К президенту — думает он, — никогда», — Якобу де Зуту с Дэдзимы, и другое — к его светлейшей персоне магистрату Широяме из Нагасаки. Лишенный вдохновения, он чешет голову, но на промокательную бумагу сыпется лишь перхоть и вши — не слова.

«Шестидесятидневное ожидание, — он сбрасывает упавший мусор в лампу, — еще можно объяснить...

Переход через Китайское море в декабре, наверняка скажет Уэц, не подарок.

...но сдать наш порох — это точно трибунал».

Таракан шевелит усиками в тени чернильницы.

Пенгалигон смотрит на отражение старого человека в зеркале для бритья и читает воображаемую статью, которая появится в конце будущего года в «Лондонской Таймс».

«Джон Пенгалигон, бывший капитан «Феба», фрегата Его королевского величества, возвратился из Японии, где побывал с первой британской миссией в Японию со времен правления Якова Первого. Его сняли с должности и отправили на пенсию без денежного вознаграждения, поскольку ему не удалось добиться ни военного, ни коммерческого, ни

дипломатического успеха».

— Тебе не доставит удовольствия, — предупреждает отражение, — встреча с орущей толпой в Бристоле и Ливерпуле. Слишком много Хоувеллов и Ренов стоят в очереди...

«Чертовы голландские глаза, — думает англичанин, — де Зута...»

Пенгалигон решает для себя, что у таракана нет права на жизнь.

...будь проклято его молочно — сырное здоровье, будь проклято его умение писать на моем языке.

Насекомое убегает от удара кулака человека разумного.

В животе бурлит, нельзя терять ни секунды.

«Или я вытерплю боль от клыков, рвущих мою ступню, — понимает Пенгалигон, — или насру в бриджи».

Боль, пока он ковыляет к двери нужника, невыносима...

...в темном закутке он расстегивает бриджи и плюхается на сиденье.

«Моя ступня, — боль то усиливается, то чуть затихает, — становится окаменевшей картофелиной».

Агония этих десяти шагов свела на нет желание облегчиться.

«Хозяин фрегата, — думает он, — но не собственных внутренностей».

Мелкие волны шлепают по корпусу судна в двадцати футах ниже.

«Прячутся молодки, — бубнит он похабную песенку, — словно птички по кустам...»

Пенгалигон крутит обручальное кольцо на располневшем с возрастом пальце.

«Прячутся молодки словно птички по кустам...»

Мередит умерла три года тому назад, но в памяти ее образ уже размыт.

...и будь я молодым, залез бы в те кусты...

Пенгалигон сожалеет, что не заплатил портретисту те пятнадцать фунтов...

...к моей красоте, прямо к моей красоте».

...но требовалось оплачивать долги брата, а жалованье опять запаздывало.

Он почесывает кожу между костяшками левой кисти, которая отчаянно зудит.

Знакомое едкое жжение в анусе. «Еще и геморрой?» — думает Пенгалигон.

— Нет времени жалеть себя, — говорит он. — Письма должны быть написаны.

Капитан слушает переключку часовых. «Пять склянок, все хорошо...»

Уровень масла в лампе низок, но, если встать, чтобы наполнить ее, проснется его подагра, а ему не хочется звать Чигуина ради такого пустяка. Свидетельство его нерешительности — чистые листы бумаги. Он сгоняет свои мысли воедино, но они разбредаются, словно овцы. «У каждого знаменитого капитана или адмирала, — размышляет он, — есть знаменитое место: у Нельсона — Нил, у Родни — Мартиника и пр.; у Джарвиса — мыс Сент — Винсент». А почему у Джона Пенгалигона не может быть Нагасаки? «Из-за паршивого голландского клерка, звать которого Якоб де Зут, — думает он, — вот почему. Будь проклят ветер, занесший его сюда...»

«Предупреждения в письме де Зута, — соглашается капитан, — блестящий ход».

Он смотрит, как чернильная капля с гусяного пера падает в чернильницу.

«Если я учту его предупреждения, то окажусь у него в долгу».

Неожиданный дождь рябит море и барабанит по палубе.

«Но игнорирование предупреждения может оказаться опрометчивым...»

Уэц руководит сегодня ночной вахтой левого борта: он приказывает натянуть полотнища и поставить бочки, чтобы набрать дождевой воды.

...и привести не к англо — японскому договору, а к англо — японской войне».

Он вспоминает о примере Хоувелла с сиамскими торговцами в Бристольском проливе.

«И парламенту потребуется шестьдесят дней на ответ, это точно».

Он расчесал комариный укус между костяшками до большущей бляшки.

Он смотрит в зеркало для бритвы: его дед смотрит на него.

«Есть свои иностранцы, — думает он, — и есть чужие иностранцы».

«По части французов, испанцев или голландцев информацию покупают у шпионов».

Лампа фыркает, мерцает и гаснет. Каюта погружается в темноту.

«Де Зут, — видит Пенгалигон, — пустил в ход едва ли не лучшее свое оружие».

— Короткий сон, — советует себе капитан, — может развеять туман в голове.

Часовые перекликаются: «Две склянки, две склянки, все хорошо». Пропитанные потом простыни завернулись вокруг Пенгалигона паучьим коконом. Внизу, на жилой палубе, скоро заснет вахта левого борта — гамаки натянуты бок о бок — с их собаками, кошками и обезьянами.



Последняя корова и овца, две козы и полдюжины куриц спят.

Ведущие ночной образ жизни крысы, скорее всего, трудятся на продуктовом складе.

Спит Чигуин — в маленькой каморке у двери в капитанскую каюту.

Спит хирург Нэш — в чреве корабля, в теплой, уютной каюте на нижней палубе.

Лейтенант Хоувелл, командир вахты правого борта, уже проснулся, а Рен, Толбот и Катлип могут спать до самого утра.

Якоб де Зут, видится капитану, наслаждается ласками куртизанки: Петер Фишер клянется, что тот содержит целый гарем за счет Компании.

«Ненависть пожирает ненавистников, — говорила Мередит маленькому Тристаму, — как злые великаны пожирают мальчиков».

Мередит сейчас на небесах, вышивает подушки...

Начинает ритмично клацать водяная помпа «Феба».

Уэц, должно быть, посоветовал Хоувеллу последить за трюмом.

«Небеса — не самое желанное место, — думает он, — лучше наслаждаться ими издалека».

Капеллан Уайли отвечает довольно уклончиво, когда его спрашивают, похожи ли небесные моря на земные.

«Была бы Мередит счастливее, — спрашивает он, — если бы сейчас жила в своем маленьком домике?»

Сон целует его веки. Мерцает свет грез. Он бежит вверх по лестнице старого дома на Брюстер — стрит. Звенит голос девочки: «Джонни, про тебя написали в газете!» Он берет «Таймс» и читает: «Адмирал Джон Пенгалигон рассказал присутствующим лордам о том, как незамедлительно почувствовал подвох, получив приказ магистрата Нагасаки сдать пороховой запас. «Поскольку на Дэдзиме не хранилось ничего ценного, — доложил адмирал Пенгалигон, — а голландцы и японцы отвергали все наши попытки торговли через Дэдзиму, мы столкнулись с необходимостью нацелить наши орудия на Дэдзиму». Мистер Питт, выступая в Палате общин, похвалил смелые действия адмирала, нанесшего *coup de grace* [\[114\]](#) голландскому торговому присутствию на Дальнем Востоке».

Пенгалигон резко садится, стучается головой и громко смеется.

Капитан с трудом поднимается на палубу, опираясь на Толбота. Трость больше ему не помощница, а необходимость: подагра превратилась в тугий бандаж шипов и игл. Утро без дождя, но влажное; набухшие, клубящиеся облака до краев заполнены водой, которая в любой момент может излиться на землю. Три китайских корабля плывут вдоль противоположного берега к

городу. «О — о, вы увидите замечательное зрелище, — обещает он китайцам, — понравится вам или нет».

Две дюжины моряков сидят на шкафуте, ожидая приказа парусного мастера. Они отдают честь капитану, заметив его забинтованную ступню, слишком распухшую, слишком больную, чтобы натянуть на нее обувь. Он дохрамывает до позиции вахтенного у штурвала, где Уэц держит на весу чашку кофе, чтобы небольшая качка «Феба» не расплескала его.

— Доброе утро, мистер Уэц. Что можете доложить?

— Мы наполнили десять бочонков дождевой водой, сэр, и ветер переменился на северный.

Жирный пар и облако ругани поднимаются над камбузом.

Пенгалигон разглядывает сторожевые лодки.

— А наша не знающая усталости охрана?

— Кружили всю ночь, сэр, как и сейчас.

— Мне бы хотелось услышать ваше мнение, мистер Уэц, об одном гипотетическом маневре.

— Да, сэр. Тогда лейтенанту Толботу лучше встать к штурвалу.

Уэц идет, а Пенгалигон хромает к поручням на юте, где их никто не услышит.

— Вы сможете подвести нас на триста ярдов к Дэдзиме?

Уэц показывает на китайские джонки:

— Если они могут, то и мы тоже.

— Сможете удержать нас три минуты на одном месте без якоря?

Уэц раздумывает о силе и направлении ветра.

— Пара пустяков.

— А как быстро мы сможем оттуда доплыть до горла бухты?

— Будем ли мы... — штурман, сощурившись, оценивает расстояния до Дэдзимы и до горла, — ...пробиваться с боем или без повреждений?

— Моя карманная предсказательница заболела, и теперь я не могу выжать из нее и слова.

Уэц разглядывает нагасакскую бухту, как пахарь поле.

— Если ситуация не изменится, капитан... выйдем из бухты за пятьдесят минут.

— Роберт, — зовет Пенгалигон в переговорную трубу. — Я вас тревожу. Зайдите ко мне.

Небритый первый лейтенант лишь несколькими секундами раньше поднялся с койки.

— Сэр, — Хоувелл закрывает дверь, отсекая шум ста пятидесяти моряков, завтракающих бисквитами с топленым маслом. — Говорят

«хорошо отдохнувший первый помощник — самый нерадивый первый помощник». Позвольте спросить о вашей... — он смотрит на перевязанную ступню Пенгалигона.

— Раздулась, как гриб — дождевик, но мистер Нэш напоил меня лекарством, так что сегодня я еще буду на плаву, а этого времени должно нам вполне хватить.

— Да, сэр? И на что?

— Ночью я подготовил пару посланий. Не могли бы вы внимательно прочитать их? Письма важные, при всей их краткости. Я не хотел бы замарать их ошибками, а на «Фебе» вы дружите со словами, как никто.

— Вы мне льстите, сэр, хотя я думал, что капеллан лучше...

— Прочитайте их вслух, пожалуйста, чтобы я послушал, как они звучат.

Хоувелл начинает: «Якобу де Зуту, эскайру. Во- первых, Дэдзима — не «Временная республика», а заброшенная фактория, чей предыдущий владелец, Голландская Ост — Индская компания, прекратила существование. Во — вторых, Вы — не президент, а мелкий лавочник, который, поставив себя выше заместителя директора Петера Фишера во время его кратковременного отсутствия, нарушил устав вышеназванной Компании. — Сильно сказано, капитан. — В — третьих, если полученный мною приказ занять Дэдзиму дипломатическим или военным путем окажется невыполнимым, я обязан предпринять все необходимые меры, чтобы дальнейшее использование фактории стало невозможным», — Хоувелл удивленно вскидывает на капитана глаза.

— Мы почти закончили, лейтенант Хоувелл.

— «Спустите флаг по получении сего письма и приготовьтесь к приезду на «Феб» к полудню, где Вам будут обеспечены все привилегии, предоставляемые военнопленному благородного происхождения. Игнорируя это требование, Вы приговариваете Дэдзиму к... — Хоувелл замолкает на какое-то время, — ...к полному уничтожению. Искренне Ваш, и так далее...»

Матросы пемзой трут кварталдек над каютой капитана.

Хоувелл возвращает письмо:

— Там нет грамматических ошибок, сэр.

— Мы одни, Роберт, так что вам не надо кривить душой.

— Некоторые могут подумать, что такой блеф слишком... дерзкий?

— Никакого блефа. Если Дэдзима не будет британской, она станет ничьей.

— Таков был приказ губернатора в Бенгалии, сэр?

— «Ограбить или торговать, как позволят обстоятельства и посоветует ваша интуиция». Обстоятельства поставили крест и на грабеже и на торговле. Уйти с хвостом между ног — нежелательная перспектива, поэтому я обращаюсь к своей интуиции.

Где-то поблизости лает собака и верещит обезьяна.

— Капитан... вы учли все последствия?

— В этот день Якоб де Зут увидит все последствия.

— Сэр, поскольку вы дали мне разрешение высказать свое мнение, я должен указать, что неспровоцированная атака на Дэдзиму очернит Великобританию в глазах Японии на два последующих поколения.

«Очернит» и «неспровоцированная», — отмечает про себя Пенгалигон, — это непродуманные слова».

— Разве вы не почувствовали вчера в письме магистрата намеренной попытки оскорбить нас?

— Письмо меня разочаровало, да, но японцы не приглашали нас в Нагасаки.

«Надо быть осторожным в понимании врага, — думает Пенгалигон, — чтобы не наживать себе новых».

— Второе письмо, сэр, я полагаю, магистрату Широяме.

— Вы полагаете правильно, — капитан передает лист.

— «Магистрату Широяме. Сэр, мистер Фишер протянул Вам руку дружбы от лица короны и правительства Великобритании. Вы эту руку отвергли. Ни один британский капитан не сдает пороховой запас и не допускает иностранных инспекторов на свой корабль. Предложенный Вами карантин для фрегата Его королевского величества «Феб» нарушает обычную практику, принятую в отношениях между цивилизованными странами. И все же я готов забыть оскорбления, если Ваша честь решит принять наши условия: выдать к полудню и доставить на «Феб» голландца Якоба де Зута, назначить посла Фишера директором Дэдзимы, отозвать невыполнимые требования о нашем пороховом запасе и инспекторах. Без принятия этих трех условий голландцы будут наказаны за их непримиримость по законам военного времени, и случайные повреждения собственности или человеческие увечья будут отнесены на Ваш счет. С сожалением, и прочее, капитан флота Его королевского величества Пенгалигон». Сэр, это письмо...

Пульсирующая вена на ступне Пенгалигона невыносимо болит.

— ...однозначное, — говорит лейтенант, — как и первое, сэр.

«Где, — думает капитан с горечью и злостью, — мой благодарный юный протезе?»

— Спешно переведите письмо магистрату на голландский язык и затем отправьте Петера Фишера к одной из сторожевых лодок, чтобы он их доставил.

— «Вскоре после этого, — лейтенант Толбот, устроившись на сиденье под окном капитанской каюты, читает вслух книгу Кемпфера, пока помощник хирурга Рафферти скребет бритвой скулы капитана. — В 1638 году сей языческий суд не испытал ни малейшего сомнения в том, чтобы подвергнуть голландцев тяжелейшему испытанию, дабы определить, что для них является главным: приказы сегуна либо любовь к их братьям во Христе. От них потребовали услужить Империи, приняв посильное участие в уничтожении местных христиан, остатки которых, числом около сорока тысяч, в ожидании мученического конца собрались в старой крепости провинции... — Толбот затрудняется с произношением, — ...Симабара и занялись приготовлениями для защиты. Глава голландцев... — Толбот вновь делает паузу, — ...Кокебакер самолично направился в то место, и за четырнадцать дней осажденные христиане испытали на себе четыреста двадцать шесть пушечных выстрелов с моря и с суши».

— Я знал, что голландцы — сучьи мерзавцы, — Рафферти выщипывает волосы из носа Пенгалигона хирургическим пинцетом. — Но чтоб они христиан губили за свои торговые права, капитан! Почему бы не продать заодно и свою старую мамашу вивисектору?

— Они — самая беспринципная европейская нация. Мистер Толбот?

— Есть, сэр. «Помощь сия не вызвала ни сдачи, ни полного поражения, но сломала дух осажденных. И поскольку японцы получили удовольствие от подобного приказа, голландский торговец снял со своего корабля дополнительные шесть пушек — не обращая внимания на необходимость обратного плавания в опасных водах, — чтобы японцы могли и дальше осуществлять свои жестокие замыслы»... Интересно, пушки на сторожевых башнях у входа в бухту — не те ли самые, сэр?

— Такое возможно, мистер Толбот. Такое возможно.

Рафферти натирает персиковым мылом капитанские скулы.

Входит майор Катлип.

— Новая сторожевая лодка кружит вокруг нас на том же расстоянии, капитан, и на ней не видно де Зута. Их флаг на Дэдзиме все еще развевается: такой заносчивый, будто нам показывают нос.

— Мы отрубим эту руку, — обещает Пенгалигон, — и срежем этот нос.

— Они эвакуируют Дэдзиму, утаскивают все, что можно утащить.

«Значит, они сделали свой выбор», — думает он.

— Который час, мистер Толбот?

— Час, сэр... чуть больше половины одиннадцатого, капитан.

— Лейтенант Рен, передайте мистеру Уолдрону, если мы не услышим от...

Громкая суматоха и голландская речь доносятся из коридора.

— Не велено, — кричит Бейнс или Пейне. — Только по разрешению капитана!

Голос Фишера выкрикивает гневную тираду на голландском, оканчивающуюся словом «посол».

— Ганноверцы, должно быть, рассказали ему о том, — Катлип прямо-таки мурлычет от удовольствия, — что готовится.

— Позвать лейтенанта Хоувелла, сэр? — спрашивает Толбот. — Или Смайерса?

— Если японцы отказали, то какой нам прок от голландцев?

Долетает голос Фишера:

— Капитан Пенгалигон! Мы говорить! Капитан!

— Квашеная капуста может помочь от цинги, — изрекает капитан, — но сердитый немец... [\[115\]](#)

Рафферти ухмыляется, изо рта плохо пахнет.

— ...скорее помеха, чем помощь. Скажите ему, майор, что я занят. Если он не поймет значения слова «занят», сделайте так, чтобы понял.

За пять минут до полудня, в парадном мундире с золотыми галунами и в треугольной шляпе, Пенгалигон обращается к экипажу, стоя на квартердеке:

— Как и всегда на войне, на чужих территориях все происходит гораздо быстрее. Этим днем состоится сражение. Нет никакой нужды в большой напутственной речи. Я предвижу, что действовать будем только мы: быстро, громко, эффективно. Вчера мы протянули японцам руку дружбы. Они на нее плюнули. Невежливо? Да. Неразумно? Я так думаю. Наказуемо законами цивилизованных стран? Увы, нет. Но этим днем мы накажем голландцев... — хриплые радостные крики некоторых матросов в годах, — ...эту банду изгоев, которым мы предложили работу и бесплатный проезд до дома. Они ответили нам наглостью, которую не простит ни один англичанин.

Полотно дождя накрывает горы над Нагасаки.

— Если бы мы бросили якорь у Эспаньолы или на Малабарском побережье, мы бы наградили голландцев захватом их добра и названием этой глубоководной бухты именем короля Георга. Голландцы знают, что я

не буду рисковать самым лучшим экипажем в моей жизни, начав штурм Дэдзимы в час дня, чтобы уйти с нее в пять, и в этом они правы: у Японии больше солдат, в конце концов, чем ядер у «Феба».

Одна из двух сторожевых лодок спешит в Нагасаки.

«Гребите хоть изо всех сил, — мысленно говорит им капитан, — вы не быстрее моего «Феба».

— Превратив Дэдзиму в руины, мы разрушим миф о голландском могуществе. А после того, как уляжется пыль и будут усвоены уроки, британскую миссию в Нагасаки, которая прибудет после нас, возможно, на следующий год, встретят более вежливо.

— А если, капитан, — спрашивает майор Катлип, — местные попытаются пойти на абордаж?

— Дадим предупредительный залп, а если его не услышат, вы можете продемонстрировать мощь и точность британских ружей. Убейте, сколько сможете.

— Сэр, — старшина — артиллерист Уолдрон поднимает руку, — похоже, без перелетов не обойтись.

— Наша цель — Дэдзима, но если какое-нибудь ядро, случайно, долетит до Нагасаки...

Пенгалигон чувствует осуждение стоящего рядом Хоувелла.

— ...тогда японцы будут более осторожны с выбором союзников. Пусть эта заводь попробует вкус наступающего столетия. — Среди лиц на такелаже Пенгалигон замечает Хартлпула, который смотрит на него сверху вниз, словно коричневокожий ангел. — Покажите этому порту язычников с оспяными рожами, какой урон может нанести врагу военный корабль Британии, когда он полон праведного гнева!

Почти триста человек с уважением и восторгом внимают капитану.

Он бросает взгляд на Хоувелла, но тот смотрит на Нагасаки.

— Артиллеристы — к орудиям! Ведите нас, мистер Уэц, будьте любезны.

Двадцать человек крутят якорный ворот: цепь скрипит, якорь поднимается.

Уэц выкрикивает команды матросам, рассыпавшимся по мачтам.

«Хорошо управляемый корабль, — любил говорить капитан Голдинг, — что плывущая опера...

Опускаются шпринтовые паруса и кливера, а утлегарь демонстрирует свою крепость.

...где режиссер — это капитан, но дирижером выступает мастер паруса».

Опускаются фок и грот, наступает черед марселей...  
Корпус «Феба» напрягается и потрескивает от возрастающей нагрузки.  
Ледбеттер, лотовый с уместной фамилией <sup>[116]</sup>, пробует глубину, держа за гитов.

На полпути к морозящему небу, матросы сидят на брам — реях...  
Нос корабля — выгнутая дуга ста сорока градусов...  
...и, резко дернувшись, фрегат устремляется к Нагасаки.

Просмоленный датчанин никак не может справиться с запутавшейся оттяжкой.

— Позвольте отойти, сэр? — Хоувелл указывает на датчанина.

— Идите, — отвечает Пенгалигон. Краткость подразумевает: «И не спешите возвращаться».

— Может быть, нам, — он обращается к Рену, — насладиться зрелищем с носа?

— Великолепная идея, сэр, — соглашается второй лейтенант.

Сильно прихрамывая, Пенгалигон добирается до вантов фок — мачты. Катлип и дюжина морпехов наблюдают за оставшейся сторожевой лодкой. Она — в ста ярдах впереди, жалких двадцати футов в длину, с небольшой надстройкой, еще более неуклюжая, чем доу. Шестеро солдат и два инспектора, кажется, спорят между собой о том, что предпринять.

— Оставайтесь на месте, красавчики, — бормочет Рен. — Мы разрежем вас напополам.

— Мягкое предупреждение, — предлагает Катлип, — прочистит им мозги, сэр.

— Согласен, но, — Пенгалигон обращается к морпехам, — не убивайте их.

— Есть, сэр, — отвечают морпехи, готовя ружья.

Катлип выжидает, пока расстояние не сокращается до пятидесяти ярдов.

— Огонь, парни!

Щепки отлетают от корпуса лодки; море вокруг нее превращается в дождь брызг. Один инспектор бросается на четвереньки, его коллега ныряет в надстройку. Два гребца хватают весла и уводят лодку с пути «Феба» — как раз вовремя. С носа корабля не составляет труда рассмотреть японских солдат: они грозно глядят на европейцев, не дрогнув и не страшась, но не собираются атаковать корабль стрелами или копьями и не пытаются его догнать. Их лодка неловко качается на поднятых «Фебом» волнах и вскоре остается далеко за кормой.

— Хорошо целились, — хвалит Пенгалигон морпехов.



— Заряжайте ружья, парни, — командует Катлип. — Следите, чтобы дождь не намочил порох.

Нагасаки, спускающийся к бухте по горным склонам, становится все ближе.

Бушприт «Феба» нацелен на восемь — десять градусов восточнее Дэдзимы: «Юнион Джек» развеивается на гюйс — штоке — плоский, как доска.

Хоувелл возвращается к капитану, не говоря ни слова.

Пенгалигон всматривается в крохотный жилой пяточок, высранный мутной речкой.

— Вы выглядите печальным, мистер Хоувелл, — говорит Рен. — Схватило живот?

— Ваша забота, мистер Рен, — Хоувелл смотрит прямо перед собой, — неуместна.

Быстрый Малуф перепрыгивает через якорную цепь.

— Около ста местных солдат собралось, сэр, на площади перед Дэдзимой.

— Но они не спускают на воду лодки, чтобы встретить нас?

— Ни одной, капитан: Кловелли следите фок — мачты. Фактория выглядит брошенной: даже деревья сделали ноги.

— Прекрасно. Я хочу, чтобы все увидели, какие голландцы трусливые. Возвращайтесь наверх, мистер Малуф.

В криках Ледбеттера, докладывающего Уэцу о глубине, нет никакой тревоги.

Морось усиливается, ветер устойчив.

Через две или три напряженных минуты с Дэдзимы доносится тревожный звон колокола.

Старшина — артиллерист Уолдрон командует пушечной палубе: «Открыть люки правого борта!»

Люки оружейных портов с треском ударяются о борт корабля.

— Сэр, — Толбот смотрит в подзорную трубу, — два европейца на Сторожевой башне.

— О? — сквозь восемьсот ярдов дождя капитан находит эту пару, наставив на них свою трубу. На одном, более худом, широкополая шляпа, как у испанских пиратов. Другой, пошире, указывает тростью на «Феб», опираясь свободной рукой на поручень смотровой площадки. Обезьяна сидит на угловой стойке. — Мистер Толбот, приведите ко мне Даниэля Сниткера.

— Они думают, — надсмехается Рен, — что мы не выстрелим, пока

они там стоят.

— Дэдзима — их корабль, — замечает Хоувелл. — Они на своем квартердеке.

— Сбегут, — пророчит Катлип, — как только поймут, что мы не шутим.

«Феб» в семистах ярдах от восточного берега бухты. Уэц ревет: «Левый борт!» — и фрегат разворачивается на восемьдесят градусов правым бортом — параллельно береговой линии, на расстоянии двух ружейных выстрелов. Они проходят прямоугольный отгороженный участок со складами: на крышах — под зонтиками и в соломенных шляпах — люди, одетые, как китайские торговцы, подобные тем, которых видел Пенгалигон в Макао.

— Фишер говорил о китайской Дэдземе, — вспоминает Рен. — Должно быть, это она.

Появляется Уолдрон.

— Заряжать пушки правого борта, сэр?

— Стрелять из всех двенадцати через три — четыре минуты, мистер Уолдрон. Приступайте.

— Есть, сэр! — Внизу он кричит своим людям: — Кормить «толстяков»!

Прибывает Толбот со Сниткером, который не уверен, как себя сейчас вести.

— Мистер Хоувелл, дайте Сниткеру свою трубу. Пусть определит людей на Сторожевой башне.

Ответ Сниткера включает фамилию де Зут.

— Он говорит, что с тростью — врач Маринус, а тот в смешной шляпе — Якоб де Зут. Обезьяну зовут Уильям Питт.

Сниткер по собственному почину добавляет еще несколько фраз.

Пенгалигон определяет расстояние в пятьсот ярдов.

Хоувелл переводит: «Мистер Сниткер попросил меня сказать, капитан, что результат был бы совсем другим, если бы вы послали его, а если бы он знал заранее, что вы — вандал, помешанный на разрушении, то никогда не привел бы вас сюда, в эти воды».

«Как это удобно, Хоувелл, — думает Пенгалигон, — иметь такого вот Сниткера, чтобы сказать то, чего никогда не посмел бы сам».

— Спросите Сниткера, как японцы отнесутся к нему, если мы прямо здесь выбросим его за борт.

Хоувелл переводит, и Сниткер уходит как побитый пес.

Пенгалигон поворачивается к голландцам на смотровой площадке.

На близкой дистанции Маринус, ученый — врач, выглядит неотесанным мужланом.

Де Зут гораздо моложе и симпатичнее, чем он ожидал.

«Давайте проверим вашу голландскую храбрость, — думает Пенгалигон, — английским оружием».

Голова Уолдрона высовывается из люка:

— Готовы к вашей команде, капитан.

Капли дождя стекают по дубленным лицам моряков.

— Дайте им, мистер Уолдрон, прямо по зубам.

— Есть, сэр. — Уолдрон кричит вниз: «Расчеты правого борта, огонь!»

Майор Катлип, стоя рядом с Пенгалигоном, напевает себе под нос: «Три слепых мышонка, три слепых мышонка...»

Из орудийных портов вдоль фальшборта разносятся крики заряжающих «Готов!»

Капитан наблюдает, как голландцы смотрят на жерла орудий.

Чибицы летят над сероватой водой: их крылья касаются поверхности, капли падают, от них расходятся круги.

«Стоять там — дело солдата или безумца, — думает Пенгалигон, — а не доктора и лавочника».

Первый выстрел гремит с оглушительной яростью; сердце Пенгалигона бьется так же, как и в первом бою с американским корсаром четверть столетия тому назад; одиннадцать остальных укладываются в следующие семь — восемь секунд.

Одному складу достается: обращенная к морю стена рассыпается в двух местах, черепица крыш летит брызгами, а самое приятное, — и капитан в этом убежден, всматриваясь сквозь дым и разрушения, — что де Зут и Маринус скатились со смотровой площадки на землю и прижались к ней, поджав хвосты между голландских ляжек.

— ...она отрубила им хвосты, — поет Катлип, — своим кухонным...

Ветер задувает пушечный дым на верхнюю палубу, окутав офицеров.

Толбот видит их первым:

— Они все еще на башне.

Пенгалигон ковыляет к люку на пушечную палубу: нога воет от боли, трость стучит по палубе. «Будь ты проклят, проклят, проклят...»

Лейтенанты следуют за ним, как нервные спаниели: каждую секунду ожидают его падения.

— Приготовиться ко второму залпу, — ревет он вниз Уолдрону. — Десять гиней тому расчету, кто снесет Сторожевую башню!

Голос Уолдрона прилетает криком: «Есть, сэр! Расчеты, слышали

капитана?!»

Разъяренный Пенгалигон хромает обратно на квартердек. Офицеры идут следом.

— Удержите корабль на месте, мистер Уэц, — обращается он к мастеру паруса.

Уэц решает в голове сложное алгебраическое уравнение, учитывающее скорость ветра, площадь парусов и угол поворота руля.

— Удержу, капитан.

— Капитан, — подает голос Катлип, — со ста двадцати ярдов мои парни изрешетят этот наглый дуэт из мушкетов.

«Тристама, — как рассказал Фредерик, капитан линейного корабля его величества «Бленхейм», — разрубило цепным ядром [\[117\]](#) на квартердеке: он мог бы спастись, распластавшись на палубе. Так сделали его уоррент-офицеры, но только не Тристам, который никогда не кланялся опасности...»

— Я не рискну посадить нас на мель, майор. Тогда день закончится слишком плохо.

«Помнишь бульдога Чарли, — вздыхает Пенгалигон, — и крикетную битву?»

— Дым, — моргает капитан и бормочет себе под нос, — режет глаза.

«Трусы, как вороны, — верит он, — пожирают мертвых смельчаков».

— Все это напоминает, — рассказывает Толботу и гардемаринам Рен, — мою маврикийскую кампанию на борту «Колючего»: три французских фрегата сидели у нас на хвосте, как свора гончих...

— Сэр, — тихо говорит Хоувелл, — могу я предложить вам мой плащ? Дождь...

Пенгалигон предпочитает не идти на мировую:

— Я уже глубокий старик?

Роберт Хоувелл возвращается в лейтенанта Хоувелла:

— Не хотел обидеть вас, сэр.

Уэц кричит, впередсмотрящий отвечает, канаты натягиваются, лебедки скрипят, дождь льет.

Высокий, длинный склад на Дэдзиме с опозданием рушится, во все стороны разносятся грохот и скрежет.

— ...и я обнаруживаю, что заблудился на вражеском корабле, — продолжает рассказывать Рен, — в темноте, в дыму, в суматохе. Тогда я натянул на лицо капюшон, взял лампу и полез за пороховой обезьяной [\[118\]](#) вниз, к складу пороха, — там было темно, как ночью — залез на

канатный склад, рядом с пороховым, и там притворился жуком — пожарником...

Вновь появляется Уолдрон.

— Сэр, орудия готовы ко второму залпу.

«Распрямитесь, как морские офицеры... — думает Пенгалигон, наблюдая за де Зутом и Маринусом.

...хоть погибнете, как морские офицеры».

— Десять гиней, мистер Уолдрон.

Уолдрон исчезает. Сквозь шум внизу доносится его крик: «Ну-ка, врежем им!»

Время растягивается. Заряжающие кричат: «Готов!»

Запаленные пороховые заряды с грохотом посылают ядра по прекрасным, ужасным, воющим дугам...

...в крышу склада, в стену, и одно ядро пролетает в ярде от де Зута и Маринуса. Они падают на пол смотровой площадки, но все остальные ядра пролетают над Дэдзимой...

Остров застилает влажный дым, наконец, ветер уносит его.

Грохот доносится до корабля, словно пронзительно завизжал тромбон или, переламываясь, повалилось большое дерево...

...доносится из-за Дэдзимы устрашающий шум разваливающихся бревен и камней.

Де Зут помогает Маринусу встать, тот потерял свою трость: они смотрят на сушу.

«Смелость заклятого врага, — думает Пенгалигон, — неприятное открытие».

— Никто не обвинит вас, сэр, — говорит Рен, — что вы никого не предупреждали.

«Сила — это человеческое средство, — думает капитан, — создания будущего...

— Эти средневековые азиатские пигмеи, — заверяет его Катлип, — не забудут этого дня.

...но его создание, — он снимает шляпу, — иной раз идет само по себе».

Жуткий крик доносится с пушечной палубы.

Пенгалигона мутит, потому что он со всей определенностью знает причину: кто-то поймал отдачу.

Хоувелл спешит к люку, чтобы узнать, в чем дело, но ему навстречу уже вылезает голова Уолдрона.

В глазах старшины отпечатались ужасная картина случившегося внизу.

«Еще один, сэр?»

Джон Пенгалигон спрашивает:

— Кому досталось, мистер Уолдрон?

— Майклу Тоузеру. Крепежной веревкой чисто срезало...

Резкие всхлипы и приглушенные крики с пушечной палубы обтекают его спину.

— Вы полагаете, ногу придется ампутировать?

— Она уже отлетела, сэр, да. Беднягу понесли к мистеру Нэшу.

— Сэр?.. — Хоувелл, уже знает Пенгалигон, сейчас попросит разрешения спуститься к Тоузеру.

— Идите, лейтенант. Вы не станете возражать, если я все-таки одолжу у вас плащ?

— Нет, сэр, — Роберт Хоувелл отдает плащ капитану и уходит вниз.

Гардемарин помогает Пенгалигону надеть плащ, от которого еще пахнет Хоувеллом.

Капитан поворачивается к Сторожевой башне, пьяный от злобы.

Башня стоит, как и люди на смотровой площадке, и голландский флаг все так же развевается.

— Продемонстрируйте наши карронады. Четыре расчета, мистер Уолдрон.

Гардемарины переглядываются. Майор Катлип шипит от радости.

Малуф тихо спрашивает Толбота: «Карронады разве не дают отдачу, сэр?»

Пенгалигон отвечает: «Они предназначены для близкого боя, да, но...»

Де Зут, видит он, смотрит на него в подзорную трубу.

Капитан объявляет:

— Я хочу разорвать этот чертов голландский флаг в клочья.

Дом на горе выплевывает маслянистый дым в плотный, пропитанный дождем воздух.

Капитан думает: «Я хочу разорвать тот чертов голландский флаг в клочья».

Четыре артиллерийских расчета неуверенно вылезают на верхнюю палубу: по лицам видно, что они еще не отошли от увиденного. Они отодвигают панели фальшборта квартердека и устанавливают короткоствольные карронады на колесах.

Пенгалигон приказывает:

— Заряжайте цепными ядрами, мистер Уолдрон.

— Если мы будем целиться во флаг, сэр, тогда... — старшина — артиллерист Уолдрон указывает на Сторожевую башню, в пяти ярдах ниже

флагштока.

— Четыре конуса свистящих, визжащих цепей... — майор Катлип сияет, как возбужденный распутник, — ...и зазубренные звенья металла сотрут улыбки с этих голландских рож...

— ...а рожи — с их голов, — добавляет Рен, — и головы — с тел.

Подносчики уже вылезают из люка с пороховыми зарядами.

Капитан узнает в одном Моффа, парнишку из Пензанса. Тот бледен как мел.

Порох засыпается в короткие, толстые жерла, уплотняется матерчатым пыжом.

Потом в ствол закладывают цепные ядра, ржавые звенья позвякивают.

— Целимся во флаг, — приказывает Уолдрон. — Не так высоко, Хол Йовил.

Правая нога Пенгалигона уже превратилась в столб обжигающей боли.

«Подагра побеждает меня, — знает он. — Не пройдет и часа, как я буду лежать в постели».

Доктор Маринус, похоже, в чем-то убеждает своего соотечественника.

«Но де Зут, — успокаивает себя капитан, — умрет через минуту».

— Крепежные веревки вяжите на двойные узлы, — приказывает Уолдрон. — Видели почему?

«Может, Хоувелл прав? — спрашивает себя капитан. — Может, моя боль думала за меня последние три дня?»

— Карронады готовы, сэр, — докладывает Уолдрон. — Стреляем по вашей команде.

Капитан набирает воздуха в легкие, чтобы выкрикнуть приговор двум голландцам.

Они знают. Маринус держится за поручень, смотрит в сторону, морщится, но не сдвигается с места. Де Зут снимает шляпу: волосы у него медного цвета, непослушные, спутанные...

...и Пенгалигон видит Тристама — его прекрасного, одного и единственного на всей земле, рыжеволосого сына, ожидающего смерть с высоко поднятой головой...

## Глава 38. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ НАДЭДЗИМЕ

Полдень 20  
октября 1800 г.

Уильям Питг фыркает, услышав поднимающиеся шаги. Якоб де Зут, не отрываясь, продолжает смотреть в подзорную трубу на «Феб»: на расстоянии тысяча ярдов отсюда, под парусами, наполненными влажным северо — западным ветром, фрегат проходит мимо китайской фактории — несколько ее обитателей сидят на крышах, наблюдая за зрелищем — и направляется к Дэдзиме.

— Значит, Ари Грот все-таки всучил вам эту шляпу из так называемой змеиной кожи?

— Я приказал всем идти в магистратуру, доктор. И вам в том числе.

— Останетесь здесь, Домбуржец, и вам понадобится врач.

Фрегат открывает орудийные порты, клак — клак — клак, будто стучат по гвоздям.

— Или... — Маринус сморкается, — ...могильщик. Дождь будет идти весь день. Посмотрите, — он чем-то шуршит. — Кобаяши прислал вам плащ, чтобы укрыться от дождя.

Якоб опускает трубу.

— Прежний хозяин умер от оспы?

— Немного щедрости для мертвого врага, чтобы ваш дух не преследовал его.

Якоб накидывает соломенный плащ на плечи.

— Где Илатту?

— Там же, где все здравомыслящие люди: в казармах магистратуры.

— Ваш клавесин перевезли благополучно?

— Клавесин и фармакопею. Пойдемте и присоединимся к ним.

Дождь хлещет Якоба по лицу.

— Дэдзима — мое рабочее место.

— Если вы полагаете, что англичане не начнут стрелять, потому что какой-то зазнавшийся клерк...

— Я так не полагаю, доктор, но... — он замечает, что двадцать или больше ярко — красных мундиров морских пехотинцев залезают на ванты. — Они готовятся отражать атаку... возможно. Чтобы стрелять из мушкетов, им надо подойти где-то... ярдов на сто двадцать. Слишком рискованно для них: могут сесть на мель во враждебных Британии водах.



— По мне лучше рой мушкетных пуль, чем залп ядер.  
«Даруй мне мужества», — молится Якоб.  
— Моя жизнь в руках Господа.  
— О — о, какую печаль, — вздыхает, устремив взор к небесам, Маринус, — несут эти святые слова.  
— Вот и отправляйтесь в магистратуру, чтобы не слышать их.  
Маринус облакачивается на поручень.  
— Юный Ост все думал, что у вас в рукаве спрятана какая-то хитрая секретная защита, нечто такое, что может обратить все вспять.  
— Моя защита, — Якоб достает Псалтырь из нагрудного кармана, — это моя вера.  
Надежно укрыв книгу плащом, Маринус внимательно рассматривает старый толстый том и касается пальцем мушкетной пули, вгрызшейся в кожаный переплет.  
— В чье сердце она метила?  
— Моего деда, но эта книга в моей семье со времен Кальвина.  
Маринус читает титульную страницу.  
— Псалтырь? Домбуржец, вы точно двуногий склад чудес! Как же вам удалось протащить на берег эту подборку неравных по качеству переводов с арамейского языка?  
— Огава Узаемон в критический момент закрыл на него глаза.  
— «Тебе, дарующему спасение царям, — читает Маринус, — и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча» [\[119\]](#).  
Ветер доносит приказы, которые отдают на «Фебе».  
На площади Эдо офицер кричит на солдат: они отвечают ему хором.  
В нескольких ярдах за ними развевается и шуршит голландский флаг.  
— Эта трехцветная скатерть не умрет, защищая вас, Домбуржец.  
«Феб» приближается: стройный, прекрасный, грозный.  
— Никто не умирал за флаг: только за то, что этот флаг означает.  
— Мне не терпится узнать, за что вы рискуете жизнью. — Маринус убирает руки под его то ли плащ, то ли пальто. — Не потому же, что английский капитан назвал вас «мелким лавочником».  
— Как нам всем известно, этот флаг — самый последний голландский флаг на всем свете.  
— Как нам всем известно, это так. Но он все равно не умрет за вас.  
— Он... — Якоб замечает, что английский капитан следит за ними в подзорную трубу, — уверен, что голландцы — трусы. Начиная с Испании, каждая нация в нашем беспокойном соседстве пыталась покончить с нами. И ни у кого не вышло. Даже само Северное море не смогло выгнать нас из

нашего заболоченного угла континента, и знаете — почему?

— Ответ на поверхности, Домбуржец: потому что вам некуда уходить!

— Потому что мы чертовски упрямы, доктор.

— Захотел бы ваш дядя, чтобы вы продемонстрировали голландское мужество, погибнув под грудой черепицы и камнями?

— Мой дядя процитировал бы Лютера: «Друзья показывают нам, что мы можем сделать, враги — что должны», — Якоб отвлекается от сказанного, нацелив трубу на носовую фигуру фрегата, который уже в шестистах ярдах. Тот, кто вырезал фигуру, наделил «Феба» дьявольской решимостью. — Доктор, вы должны уйти немедленно.

— Но подумайте о вашей дэдзимской должности, де Зут! Мы же так докатимся до директора Оувеханда и его помощника Грота. Дайте-ка мне вашу трубу.

— Грот — наш самый лучший торговец: он продаст даже овечий помет пастухам.

Уильям Питт фыркает, глядя на «Феб» с почти человеческим презрением.

Якоб снимает с себя соломенную накидку Кобаяши и надевает на обезьяну.

— Пожалуйста, доктор, — от дождя деревянный настил уже мокрый, — не удлиняйте список моих провинностей.

Чайки снимаются с конька заколоченной досками Гильдии переводчиков.

— Это обвинение на вас не повесят! Я не уничтожим, как Вечный Жид. Я проснусь завтра — или через несколько месяцев — и начну все сначала. Поглядите-ка: Даниэль Сниткер на четвердеке. Его выдает обезьянья походка...

Пальцы Якоба касаются свернутого носа: «Неужто это случилось только в прошлом году?»

Рулевой «Феба» выкрикивает приказы. Матросы сворачивают марсели...

...и военный корабль замирает в трехстах ярдах от них.

Страх Якоба — размером с новый внутренний орган, расположенный между сердцем и печенью.

Впередсмотрящие прикладывают ладони рупором ко рта и кричат исполняющему обязанности директора: «Брысь, голландский мальчишка, брысь — брысь- брысь!» — и показывают средним и указательным пальцами, что должны делать его ноги.

— Почему... — голос Якоба нервный и высокий, — ...почему

англичане делают так?

— Мне кажется, началось все с лучников в битве при Азенкуре.

Ствол орудия выкатывается из самого дальнего порта затем еще один, наконец — все двенадцать.

Чибисы низко летят над сероватой водой, с кончиков крыльев капает морская вода.

— Они сейчас выстрелят. — Голос Якоба прямо-таки чужой. — Маринус! Уходите!

— Если на то пошло, Пиет Баерт рассказал мне, что однажды зимой — недалеко от Палермо, если не ошибаюсь, — Грот на самом деле продал овечий помет пастухам.

Якоб видит, как английский капитан открывает рот и орет...

— Огонь! — Якоб закрывает глаза, кладет руку на Псалтырь.

Дождь очищает их каждую секунду, пока не гремят выстрелы.

Громовое стаккато оглушает Якоба. Небо качается из стороны в сторону. Одно орудие чуть отстает от других. Он не помнит, как бросился на пол смотровой площадки, но находит себя там. Проверяет руки — ноги. Все на месте. Костяшки пальцев поцарапаны, необъяснимым образом болит левое яичко, но в остальном он цел и невредим.

Все собаки лают, все вороны каркают.

Маринус облакачивается на поручень.

— Складу номер шесть потребуется ремонт, большая дыра в Морской стене за Гильдией, полицейскому Косуги, возможно... — с аллеи Морской стены доносится громкий треск, что-то рушится, — нет, уж точно придется провести ночь в другом месте, и я от страха брызнул мочой на бедро. Наш победоносный флаг, как вы видите, не пострадал. Половина ядер перелетела через нас... — доктор смотрит на берег, — ... и они вызвали там разрушения. *Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames* [\[120\]](#).

Пороховое облако, окутавшее фрегат, разносится бризом.

Якоб встает и пытается успокоить дыхание.

— Где Уильям Питт?

— Удрал. Один японский макак умнее двух людей разумных.

— Я не знал, что вы — ветеран боев, доктор.

Маринус шумно выдыхает:

— Стрельба артиллерии в упор привела вас в чувство или мы остаемся?

«Я не могу оставить Дэдзиму, — знает Якоб, — и мне страшно умирать».

— Значит, остаемся, — Маринус щелкает языком. — У нас есть короткая передышка, прежде чем британцы продолжат свое представление.

Колокол храма Рюгадзи возвещает о наступлении часа Лошади, как в любой другой день.

Якоб смотрит на Сухопутные ворота. Несколько стражников неуверенно выходят из них.

Отряд бежит от площади Эдо, по Голландскому мосту.

Он вспоминает, как Орито унесли в паланкине.

Он задается вопросом: как она сейчас выживает, и молча молится за нее.

Футляр из кизилового дерева, оставленный Огавой, спрятан у него под камзолом.

«Если я погибну, пусть его найдут, и пусть свиток прочтает кто-нибудь из власти имущих...»

Какие-то китайские торговцы пальцами указывают друг другу на что-то и машут руками.

Суматоха у оружейных портов «Феба» обещает продолжение.

«Если я не начну говорить, — понимает Якоб, — то тресну, как упавшая на пол тарелка».

— Я знаю, во что вы не верите, доктор: так во что вы верите?

— О — о, в методологию Декарта, в сонаты Доменико Скарлатти, в эффективность коры хининового дерева при малярии... Так мало, на самом деле, того, во что действительно стоит верить или не верить. Лучше просто попытаться сосуществовать, а не искать в других...

Облака разливаются на горных склонах, дождь стекает по шляпе Ари Грота.

— Северная Европа — место холодного света и четких линий... — Якоб знает, что несет околесицу, но не может остановиться, — и таково протестантство. Средиземный мир полон солнечного света и непроницаемых теней. Таков католицизм. А здесь этот... — Якоб обводит рукой побережье, — этот... сверхъестественный... Восток... с его колоколами, драконами, миллионами. И эта теория переселения душ, кармы... чистая ересь у нас дома... обретает э... э... — Голландец чихает.

— Будьте здоровы, — Маринус ополаскивает лицо дождевой водой. — Правдоподобна?

Якоб вновь чихает.

— Я говорю чушь.

— Когда говоришь чушь, сказанное иной раз обретает глубокий смысл.

На склоне теснящихся крыш над одним из домов поднимается дым.

Якоб пытается найти «Дом Глициний», но Нагасаки — это лабиринт.

— Те, кто верят в карму, доктор... они верят, что непреднамеренные грехи возвращаются к человеку, чтобы мучить его, не в следующей жизни, а в этой же, продолжающейся.

— Какое бы вы ни совершили преступление, Домбуржец, — Маринус достает для них по яблоку, — я сомневаюсь, чтобы оно было столь ужасным, что в настоящее время мы получаем за него честно отмеренное и справедливое наказание.

Он кусает яблоко...

На этот раз артиллерийский залп сшибает на пол их обоих.

Якоб лежит, свернувшись клубком, словно мальчик, закутавшийся в одеяло, в комнате, полной привидений.

Куски черепицы сыплются на землю. «Я потерял яблоко», — думает он.

— Клянусь Христом, Магометом и Фу Си [\[121\]](#), — говорит Маринус, — нас едва не убило.

«Я выжил во второй раз, — думает Якоб, — но все плохое приходит трижды».

Голландцы помогают друг другу подняться, словно два инвалида.

Створки Сухопутных ворот как ветром сдуло. Ровные шеренги солдат на площади Эдо уже не такие ровные. Два ядра прошили их строй в разных местах. «Как каменные шарики, — вспоминаются Якобу детские игры, — деревянных солдатиков».

Пять, или шесть, или семь окровавленных людей лежат на земле, дергаясь и крича.

Хаос, крики, беготня, дома в ярко — красных языках пламени.

«Новые плоды следования твоим принципам, — насмехается внутренний голос, — президент де Зут».

Моряки «Феба» перестали корчить им рожи.

— Посмотрите туда, — доктор указывает на крышу внизу. Ядро вошло с одной стороны, вышло с другой, и полетело дальше, чтобы крушить все, что встретится на пути. Половина ступеней лестницы, ведущей на Флаговую площадь, сбита. У них на глазах часть конька рушится, проваливаясь в верхнюю комнату.

— Бедный Фишер, — добавляет Маринус. — Новые друзья сломали все его игрушки. Послушайте, Домбуржец, вы четко обозначили свою позицию, и не будет никакого позора, если...

Доски трещат, лестница, ведущая на смотровую площадку, разваливается.

— Что ж, — не унывает Маринус, — мы можем прыгнуть в комнату Фишера... наверное...

«Будь я проклят, — Якоб наводит подозрительную трубу на Пенгалигона, — если сейчас убегу».

Он видит артиллерийские расчеты на четвердеке.

— Доктор, карронады...

Он видит, как Пенгалигон нацеливает трубу на него.

«Проклятие на твою голову, смотри и учись, — думает Якоб, — какие они, голландские лавочники».

Один из английских офицеров, похоже, в чем-то не согласен с капитаном.

Капитан игнорирует его. Пороховые заряды исчезают в широких, заданных к небу стволах самых смертоносных орудий ближнего боя.

— Цепные ядра, доктор, — говорит Якоб. — Не спасись.

Он опускает трубу: смотреть смысла нет.

Маринус кидает огрызок яблока в «Феб».

— *Cras Ingens Iterabimus Aequor* [\[122\]](#).

Якоб представляет себе летящий к ним конус шрапнели...

...расширившийся до сорока футов при подлете к смотровой площадке.

Шрапнель прошьет их одежду, кожу и внутренности и полетит дальше.

«Не позволяй смерти, — укоряет себя Якоб, — стать твоей последней мыслью».

Он пытается вернуться на извилистые тропы прошлого, которые привели его сюда, в настоящее...

Ворстенбос, Звардекрон, отец Анны, поцелуй Анны, Наполеон...

— Вы не будете возражать, если я прочитаю двадцать второй псалом, доктор?

— Вы не будете возражать, если я присоединюсь к вам, Якоб?

Плечом к плечу, они держатся за поручень ограждения смотровой площадки под непрекращающимся дождем.

Племянник пастора снимает шляпу Грота, прежде чем обратиться к своему Создателю.

— «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...

Голос Маринуса ровный и уверенный, Якоба — дрожит.

— ...Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим...

Якоб закрывает глаза и представляет себе церковь дяди.

— ...Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.

Рядом с ним — Герти. Якобу очень хочется, чтобы она встретила с Орито...

— Если я пойду и долиною смертной тени...

...а этот свиток все еще у Якоба, и: «Я сожалею, сожалею...»

— ...не убоюсь зла: потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох...

Якоб ждет грохота, и свиста шрапнели, и боли.

— ...они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу...

Якоб ждет грохота, и свиста шрапнели, и боли.

— ...в виду врагов моих; так, умастил елеем голову мою...

Голос Маринуса смолк: наверное, он позабыл слова.

— ...чаша моя преисполнена. Так, благодать и милость да сопровождают меня...

Якоб чувствует, как Маринуса трясет от тихого смеха.

Открывает глаза и видит уходящий «Феб».

Гротовые паруса опускаются, подхватывают мокрый ветер, раздуваются...

На кровати директора ван Клифа Якобу спится плохо. Следуя привычке раскладывать все по полочкам, он составляет перечень причин, препятствующих крепкому сну: во — первых, блохи в постели ван Клифа; во — вторых, праздничный дэдзимский джин Баерта — так называемый джин, потому что у этого напитка вкус чего угодно, только не джина; в — третьих, устрицы от магистрата Широама; в — четвертых, инвентарный список Кона Туоми поврежденной недвижимости голландцев; в — пятых, завтрашняя встреча с Широамой и официальными лицами магистратуры и в — шестых, его впечатления от «Инцидента с «Фебом», как потом назовет случившееся История, и возможные его последствия. В колонке дебита: англичане не смогли выжать ни одного зубка чеснока из голландцев и ни одного кристалла камфары из японцев. Любые англо — японские соглашения невозможны, по крайней мере, на последующие два — три поколения.

В колонке кредита: личный состав сократился до восьми европейцев и горстки рабов — слишком мало для того, чтобы даже называться «костяком фактории», и если не прибудет корабль следующим июнем — скорее всего, нет, если Ява захвачена англичанами, а Голландская ОИК более не существует, — Дэдзими придется брать займы у японской стороны, чтобы оплачивать текущие расходы. Как отнесется доброжелательный хозяин к

своему «давнему союзнику», особенно если японцы сочтут голландцев частично виновными в приходе «Феба»? Переводчик Хори принес новости о потерях на берегу: шесть солдат погибли на площади Эдо и еще шестеро ранены, несколько горожан получили ожоги, когда начался пожар от ядра, попавшего в кухню одного дома в районе Шинмачи. Политические последствия, опасается он, будут еще более неопределенными. «Я никогда не слышал, — думает Якоб, — о двадцатилетнем директоре...

...или, — он ерзает и ворочается, — о фактории, переживающей такой глубокий кризис, как Дэдзима».

Ему недостает Высокого дома, но директор должен спать рядом с сейфами.

Рано утром следующего дня Якоба встречают в магистратуре переводчик Гото и мажордом Томине. Томине извиняется перед Якобом и просит оказать им услугу перед встречей с магистратом: вчера вечером у горла бухты рыбацкая лодка подобрала тело иностранного моряка. Не смог бы директор де Зут взглянуть на тело и определить, принадлежит ли оно матросу с «Феба»?

Якоб не боится мертвецов: он помогал дяде на каждых похоронах в Домбурге.

Мажордом ведет его через двор к пустующему складу.

Он произносит неизвестное Якобу слово, Гото переводит:

— Место, где ждет мертвое тело.

«Покойницкая», — понимает Якоб. Гото просит Якоба научить его этому слову.

У здания их ожидает пожилой буддист с ведром воды.

— Чтобы очиститься, — объясняет Гото, — когда мы покинем... «покойницкую».

Они входят. Маленькое окошко, и запах смерти.

Единственный узник здесь — лежащий на соломенном тюфяке молодой матрос, метис с забранными в конский хвост волосами.

На нем парусиновые штаны моряка, на руке вытатуирована ящерица.

Из-за открытой двери в покойницкой сильный холодный сквозняк.

Воздух шевелит волосы парня, подчеркивая его неподвижность.

Мажордом берет поднос, на котором лежит британский фартинг.

На аверсе монеты надпись «КОРОЛЬ ГЕОРГ III», на реверсе — Британия [\[123\]](#).

— У меня нет сомнения, — говорит Якоб, — что это матрос с «Феба».

— Са, — кивает мажордом Томине. — Но он англичанин?

«Только его мать и Создатель могут дать точный ответ», — думает



Якоб. Он говорит Гото: «Пожалуйста, передайте Томине — сама, что его отец, возможно, был европейцем. Его мать, возможно, была негритянкой. Это все, что я могу сказать».

Мажордом ответом недоволен:

— Так он — англичанин?

Якоб обменивается взглядом с Гото: переводчики часто должны давать перевод и объяснять, что означает то или иное.

— Если японская женщина родит мне сына, — Якоб спрашивает Томине, — он будет голландцем или японцем?

Невольно Томине кривится от такого бестактного вопроса:

— Полукровкой.

— Тогда, — Якоб указывает на труп, — и он такой же.

— Но, — настаивает мажордом, — директор де Зут говорит, что он англичанин?

Только курлыканье голубей из-под карниза нарушает утреннюю тишину.

Якобу не хватает Огавы. Он спрашивает Гото на голландском: «Я чего-то не понимаю?»

— Если иностранец — англичанин, — отвечает переводчик, — тело выбросят в канаву.

«Благодарю», — думает Якоб.

— А в противном случае его похоронят на кладбище иностранцев?

Сообразительный Гото кивает:

— Директор де Зут прав.

— Мажордом, — Якоб обращается к Томине. — Этот молодой человек — не англичанин. У него слишком темная кожа. Я хочу, чтобы его похоронили... — «как христианина» — на кладбище горы Инаса. Пожалуйста, положите монету ему в могилу.

На полпути по коридору к комнате Последней хризантемы небольшой внутренний дворик, где растет клен над маленьким прудом. Якобу и Гото предложено подождать на веранде, пока мажордом Томине проконсультируется с магистратом Широямой перед их аудиенцией.

Опавшие красные листья плывут по размытому отражению солнца на поверхности темной воды.

— Поздравляю, — произносится на голландском, — с повышением, директор де Зут.

«Встречи никак не избежать». Якоб поворачивается лицом к убийце Огавы и похитителю Орито.

— Доброе утро, Владыка-настоятель, — отвечает он на голландском, чувствуя, как прижимается к ребрам свиточный футляр из кизилового дерева. Длинный тонкий выступ, должно быть, заметен на левой стороне.

Эномото поворачивается к Гото:

— Тебя наверняка заинтересуют некоторые картины в коридоре.

Гото кланяется:

— Владыка-настоятель, правила Гильдии переводчиков запрещают...

— Ты забываешь, кто я. Я прощаю только один раз.

Гото смотрит на Якоба, Якоб кивком соглашается.

Он старается чуть развернуться, чтобы скрыть футляр.

Один из молчаливых слуг Эномото сопровождает Гото, другой остается неподалеку.

— Голландский директор проявил смелость против корабля, — Эномото с удовольствием практикует голландский. — Новости путешествуют по всей Японии, даже сейчас.

Якоб может только думать о Двенадцати догмах ордена Ширануи. «Когда члены ордена умирают, — думает Якоб, — разве не открывается всем фальшь догм? Разве Богиня — не просто безжизненный деревянный чурбан? Разве все страдания сестер и утопленные младенцы не становятся тогда напрасными?»

Эномото хмурится, словно прислушивается к дальним голосам.

— Впервые увидев вас в Зале шестидесяти циновок год тому назад, я подумал...

Белая бабочка медленно пролетает совсем близко от лица Якоба.

— ...я подумал: «Странно: он иностранец, но чем-то нас тянет друг к другу. Понимаете?»

— Я помню тот день, — подтверждает Якоб, — но никакой тяги не почувствовал.

Эномото улыбается, как улыбнулся бы взрослый неумелому вранью ребенка.

— Когда господин Грот говорит: «Де Зут продает ртуть», — я думаю: «Вот оно: общее».

Черноголовая птица наблюдает с полыхающего красным цветом дерева.

— И я покупаю ртуть, но при этом думаю: «Взаимосвязь остается. Странно».

Якоб гадает, как страдал Огава Узаемон перед смертью.

— Затем я слышу: «Господин де Зут сделал предложение Аибагаве Орито». И думаю: «О — о-о — о!»

Якоб не может скрыть изумления. Листья на воде крутятся, очень медленно.

«Как вы... — и он думает: — Этим я только подтверждаю его слова».

— Ханзабуро выглядит очень глупым, поэтому он очень хороший шпион.

На плечи Якоба словно навалили камней. Болит спина.

Он видит, как Ханзабуро вырывает страницу из его тетради...

«...и та страница, — думает Якоб, — проходит перед чередой похотливых глаз».

— Что вы делаете с монахинями в вашем храме? Почему вы должны... — Якоб едва успевает остановиться, не выболтать то, что знал аколит Джирицу. — Почему вы украли ее, когда человек вашего положения может выбрать кого угодно?

— У нас с ней тоже есть что-то общее. Вы, я, она. Приятный треугольник...

«И есть четвертый угол, — думает Якоб, — имя ему Огава Узаемон».

— ...а сейчас она всем довольна, — Эномото переходит на японский язык. — В Нагасаки она занималась важным делом, но ее миссия на Ширануи еще более важна. Она служит феоде Киога. Она служит Богине. Она служит моему ордену. — Он снисходительно улыбается, видя бессилие Якоба. — Я теперь понимаю. Наше общее — это не ртуть. Нашим общим была Орито.

Белая бабочка пролетает совсем близко от лица Эномото.

Рука настоятеля описывает круг над бабочкой...

...и она падает, безжизненная, как бумажный лист, в темную воду.

Мажордом Томине видит голландца и настоятеля и останавливается.

— Теперь нас более не тянет друг к другу, директор де Зут. Наслаждайтесь долгой — долгой жизнью.

Тонкие бумажные шторы закрывают прекрасный вид на Нагасаки, придавая комнате Последней Хризантемы почти траурную атмосферу, у Якоба ощущение, будто он в тихой часовне на шумной улице родного города. Розовые и оранжевые цветы в вазе наполовину выцвели от штор. Якоб и Гото становятся на колени на маты лишайникового цвета перед магистратом. «За эти два дня, — думает Якоб, — он постарел на пять лет».

— Так любезно со стороны голландского директора посетить нас в такое... заполненное неотложными делами время.

— Уважаемый магистрат, несомненно, занят делами ничуть не меньше. — Голландец просит Гото отблагодарить магистрата надлежащим

официальным языком за поддержку во время недавнего кризиса.

Гото успешно переводит: Якоб узнает слово — кризис.

— Иностранные корабли, — отвечает магистрат, — заходили в наши воды до этого. Рано или поздно, их пушки должны были заговорить. «Феб» стал нашим учителем, и в следующий раз... — он резко вдыхает, — ... слуги сегуна будут лучше подготовлены. Ваш «понтонный мост» указан в моем отчете для Эдо. Но сейчас судьба не оказалась столь благосклонна ко мне.

Накрахмаленный воротник царапает шею Якоба.

— Я наблюдал за вами вчера, — говорит магистрат, — на Сторожевой башне.

— Благодарю вас за... — Якоб не уверен, как ответить, — ...за ваше беспокойство.

— Я подумал о Фаэтоне, вокруг которого летали молнии и гремел гром.

— К счастью для меня, англичане целились не так хорошо, как Зевс.

Широяма открывает свой веер и вновь складывает его.

— Вы боялись?

— Я хотел бы сказать, «нет», но, честно говоря... никогда раньше не испытывал такого страха.

— И все же, имея возможность убежать, вы остались на посту.

«Но не после второго залпа, — думает он. — Лестница- то обрушилась».

— Мой дядя, который заменил мне отца, всегда ругал меня за... — он просит Гото перевести слово «упрямство».

Снаружи бамбук покачивается под морским бризом. Шорох такой печальный.

Взгляд Широямы цепляется за выпуклость от футляра на одежде Якоба...

...но говорит магистрат о другом:

— Мой отчет для Эдо должен ответить на один вопрос.

— Если я смогу помочь, ваша честь, с превеликим удовольствием.

— Почему англичане уплыли до того, как полностью разрушили Дэдзиму?

— Та же загадка мучила меня всю ночь, ваша честь.

— Вы, должно быть, видели, как они заряжали свои пушки на кварталдеке.

Якоб просит Гото объяснить, что пушки годятся для пробивания больших дыр в кораблях и стенах, а карронады — для пробивания малых

дыр во множестве людей.

— Тогда почему англичане не убили карронадами вражеского директора?

— Возможно, капитан захотел не усугублять разрушение Нагасаки, — Якоб пожимает плечами. — Возможно, это был... — Он просит Гото перевести — ...акт милосердия.

Доносится детский голос, приглушенный стенами двух — трех комнат. «Сын магистрата, — полагает Якоб, — которому помогла родиться Орито».

— Возможно, — размышляет Широяма, разглядывая большой палец, — ваша смелость устыдила врага.

Якоб, вспомнив четыре года жизни в Лондоне, сомневается в правильности предположения, но кланяется в ответ.

— Ваша честь повезет в Эдо свой отчет?

Боль перекашивает лицо Широямы, и Якоб гадает, в чем причина. Магистрат отвечает, но у Гото явные проблемы с переводом.

— Его честь говорит... — Гото замолкает. — Эдо потребует, э — э... этот термин в ходу у торговцев, «окончательного расчета»?

Якоб достаточно хорошо знает японцев, чтобы понимать, что лучше обойтись без уточняющих вопросов.

Он замечает доску го в углу, видит, что партия та же, с его прошлого визита, двумя днями раньше: сделано лишь несколько ходов.

— Мой соперник и я, — говорит Широяма, — редко встречаемся.

Якоб представляет себе, с кем может играть магистрат.

— Владыка-настоятель феода Киога?

Магистрат кивает:

— Владыка-настоятель — мастер игры. Он распознает слабости противника и использует их, чтобы связать его силы. — Он с сожалением смотрит на доску. — Боюсь, что моя позиция безнадежна.

— Моя позиция на Сторожевой башне, — говорит Якоб, — тоже была безнадежной.

Кивок мажордома Томине переводчику Гото означает: «Время».

— Ваша честь, — Якоб нервно вытаскивает футляр из-под камзола. — Почтеннейше прошу вас прочесть этот свиток, когда вы будете в одиночестве.

Широяма хмурится и смотрит на мажордома.

— Порядок требует, — Томине объясняет Якобу, — что все письма от голландцев должны переводиться двумя членами Гильдии переводчиков Дэдзимы, и лишь потом...

— Британский корабль приплыл к Нагасаки и открыл огонь, и как установленный порядок помог в борьбе с ним? — раздражение вырывает Широюму из меланхолии. — Если это петиция для увеличения квоты меди или какая-то другая просьба, тогда директор де Зут должен знать, что моя звезда в Эдо не поднимается к зениту...

— Откровенное, личное письмо, ваша честь. Пожалуйста, простите за мой жалкий японский язык.

Якоб чувствует, что его ложь успокаивает любопытство Томине и Гото. Невинного вида футляр со свитком переходит в руки магистрата.

## Глава 39. С ВЕРАНДЫ КОМНАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ

*Девятый день  
девятого месяца*

Чайки мчатся сквозь колонны солнечного света, прорвавшегося в разрывы облаков над изящными черепичными крышами и грязными соломенными, подхватывают куски потрохов на рыночной площади и бросаются прочь, пролетая над внутренними садами, огороженными стенами, которые усеяны заостренными штырями, с воротами, запертыми на три засова. Чайки парят над домами с выбеленными фронтонами, скрипящими пагодами и воняющими навозом конюшнями, над башнями и пузатыми колоколами, закрытыми чуланами, где сосуды с мочой стоят рядом с дырой в настиле, под которым — выгребная яма. За чайками следят погонщики мулов, сами мулы и собаки с волчьими мордами, и они совершенно безразличны сгорбленным обувщикам, которые тачают башмаки на деревянной подошве. Чайки набирают скорость над забранной в камень рекой Накашима и пролетают под арками мостов, где попадают на глаза тем, кто выглядывает из кухонных дверей, да крестьянам, которые бредут по высоким каменистым хребтам гор. Чайки летят сквозь облака пара, поднимающегося над чанами прачечных, над воздушными змеями, уносящими в последний полет кошачьи трупы, над учеными, ищущими истину в хрупких творениях природы, над купающимися в банных домах любовниками, над шлюхами с разбитым сердцем, над женами рыбаков, разделяющими омаров и крабов, их мужьями, рубящими на куски выпотрошенную скумбрию, над сыновьями дровосеков, затачивающими топоры отцов, над свечниками, заливающими воск в формы, над остроглазыми чиновниками, собирающими налоги, над чахнувшими лакировщиками дерева, над красильщиками, кожа которых вся в разноцветных пятнах, над предсказателями судьбы, не сомневающимися в знании будущего, над бесстыжими лжецами, плетельщиками циновок, рубщиками тростника, каллиграфами с чернилами на губах, книготорговцами, которых разорили непроданные книги, придворными дамами, дегустаторами, портными, вороватыми пажамы, поварами, у которых течет из носа, над емными чердаками, где швеи колют свои мозолистые пальцы, над хромоногими симулянтами, свинопасами,

жуликами, над кусающими губы должниками, у которых всегда находится причина, чтобы не платить по счетам, над знающими все и вся кредиторами, затягивающими петли, над узниками, которых преследуют видения прошлого: счастливых лет и беспутного времени, проведенного с чужими женами, над высохшими учителями — наставниками, над пожарными, превращающимися в воров при удачном стечении обстоятельств, над свидетелями, боящимися открыть рот, над продажными судьями, над свекровьями, затаившими злость и помнящими все прежние обиды, над аптекарями, приготавливающими порошки в ступах, над паланкинами еще не выданных замуж дочерей, над молчаливыми монахинями, девятилетними проститутками, над когда-то красавицей, а теперь покрытой язвами, над статуями Дзизо [\[124\]](#), украшенными букетиками цветов, над сифилитиками, чихающими сквозь провалившиеся носы, над гончарами, парикмахерами, разносчиками масла, дубильщиками, торговцами ножами, золотарями, сторожами, пасечниками, кузнецами и драпировщиками, над палачами, кормилицами, лжесвидетелями, ворами-карманниками, новорожденными, растущими, волевыми и мягкотелыми, больными, умирающими, слабыми и дерзкими, над крышей художника, ушедшего сначала от мира, потом от семьи, в картину — шедевр, которая, в конце концов, и сама ушла от своего создателя, и все по кругу, вновь туда, где начинался полет, над верандой комнаты Последней Хризантемы, и на полу высыхает лужа воды от дождя, пролившегося прошлой ночью, лужа, в которой магистрат Широяма наблюдает за расплывчатым отражением чаек, мчащихся сквозь колонны солнечного света. «У этого мира, — думает он, — есть только одна картина — шедевр, и она — сам этот мир».

Кавасеми держит белое нательное кимоно для Широямы. Ее кимоно украшено корейскими голубыми цветками «утренняя слава». «Сломана чередка сезонов, — говорит ее весеннее кимоно в осенний день, — и я тоже».

Широяма всовывает пятидесятилетние руки в рукава.

Она нагибается перед ним, расправляя и разглаживая материю.

Обматывает его кушаком оби выше талии.

Она выбрала бело — зеленые цвета: зеленый для жизни, белый для смерти?

Вымуштрованная дорогая куртизанка завязывает кушак сложным узлом «десятерной крест».

«Завязать такой узел у меня всегда получалось лишь на десятый раз», — обычно говорил он.



Кавасеми подает накидку хаори длиной до бедер. Он берет ее и надевает. Тонкий черный шелк прохладен, как снег, и тяжел, как воздух. На рукавах вышит его семейный герб.

Он слышит, как топает в двух комнатах отсюда двадцатимесячный Наозуми.

Кавасеми подает шкатулку инро: в ней нет ничего, но без нее никак нельзя: таков обычай. Широяма продевает шнур сквозь брелок — нэцке — она выбрала для него Будду, вырезанного из клюва птицы — носорога.

Надежные руки Кавасеми подают ему кинжал танто в ножнах.

«Как я хотел бы умереть в твоём доме, — думает он, — где провел самые счастливые часы...»

Он затыкает ножны под кушак оби, как и положено.

...но этикет этого не позволяет».

— Шуш! — в соседней комнате утихомиривает малыша нянька. «Сюс!» — смеется Наозуми.

Пухлая ручонка сдвигает дверь, и мальчик, очень похожий на Кавасеми, когда смеется, и на Широяму, когда хмурится, стрелой вбегает в комнату, оставив позади помертвевшую няньку.

— Прошу прощения у вашей светлости, — говорит она, падая на колени у порога.

— Нашел тебя! — нараспев говорит зубастый, улыбающийся малыш и тут же шлепается на пол.

— Заканчивай сборы, — говорит Кавасеми няньке. — Я позову, когда наступит время.

Нянька кланяется и уходит. Ее глаза красны от слез.

Маленький непоседливый человечек встает, трет колено и ковыляет к отцу.

— Сегодня важный день, — говорит магистрат Нагасаки.

Наозуми полупоет, полуспрашивает:

— Уточка в пруду, ичи — ни-сан?

Взглядом Широяма просит свою наложницу не сердиться.

«Он слишком молод, чтобы понять, — думает Широяма, — так что для него это даже лучше».

— Иди сюда, — зовет Кавасеми, садится на пол, — иди сюда, Нао — кун...

Мальчик залезает к матери на колени и запускает руку в ее волосы.

Широяма садится в шаге от них, как волшебник взмахивает руками...

...ив его ладони — замок из слоновой кости на горе из слоновой кости.

Мужчина медленно поворачивает его, совсем близко от зачарованных

глаз малыша.

Крохотные ступеньки, плавные переходы, сосны, стены, вырастающие из камней...

— Твой прадедушка вырезал это, — говорит Широяма, — из рога единорога.

...арка ворот, окна, амбразуры и — на самом верху — пагода.

— Ты его не видишь, — продолжает Широяма, — но принц живет в этом замке.

«Ты забудешь эту историю, — знает он, — но твоя мать будет помнить».

— Имя у принца такое же, как у нас: широко — это замок, яма — гора. Принц Широяма — он особенный. Ты и я, каждый в свое время, должны попасть к нашим предкам, но принц в этой башне никогда не умрет. Пока жив Широяма вне замка — я, ты, твой сын, — он охраняет свой замок, живя внутри.

Наозуми берет вырезанную из кости статуэтку и подносит поближе к глазам.

Широяма не обнимает сына и не вдыхает сладкий аромат его тела.

— Спасибо, отец, — Кавасеми наклоняет голову мальчика, имитируя поклон.

Наозуми прыгает с добычей с одной циновки на другую, до самой двери.

Он поворачивается, чтобы посмотреть на отца, и Широяма думает: «Вот и все».

А потом шаги мальчика уносят его навсегда.

«Похоть уводит родителей от их детей, — думает Широяма, — несчастья, долг...»

Бархатцы в вазе точного цвета лета, каким он его помнил.

«...но, возможно, самые счастливые — те, кто рожден от безрассудной мысли: через непреодолимую пропасть между влюбленными можно перекинуть мост из косточек и хрящиков нового человеческого существа».

Колокол храма Рюгаджи возвещает о часе Лошади.

«Теперь, — думает он, — мне предстоит убить».

— Будет лучше, если вы уйдете, — говорит Широяма своей наложнице.

Кавасеми смотрит вниз, дав себе слово удержаться от слез.

— Если мальчик покажет успехи в го, пригласи мастера школы Хонинбо.

Вестибюль у Зала шестидесяти циновок и длинная галерея, ведущая к Переднему двору, забиты коленопреклоненными советниками, инспекторами, старостами, стражниками, слугами, чиновниками казначейства и работниками его дома. Широяма останавливается.

Вороны разносят слухи в тусклом, влажном небе.

— Всем поднять головы. Я хочу видеть ваши лица.

Поднимаются двести или триста голов: глаза, глаза, глаза...

«...смотрят на призрака, — думает Широяма, — хотя он еще не умер».

— Магистрат — сама! — старейшина Вада решается выступить от лица всех.

Широяма смотрит на нервничающего, верного ему человека.

— Вада — сама.

— Службу магистрату я всегда полагал особенной честью...

Лицо Вады напряжено, его распирают эмоции, глаза блестят.

— Каждый из нас учился у магистрата мудрости и видел в нем пример...

«Научились вы у меня только одному, — думает Широяма, — отныне в береговой охране всегда будет тысяча человек».

— Воспоминания о вас будут вечно жить в наших сердцах и умах.

«А мои тело и голова, — думает Широяма, — будут гнить в земле».

— Нагасаки никогда... — по щекам Вады текут слезы, — ...не оправится!

«О — о, — полагает Широяма, — к следующей неделе все станет, как обычно».

— От лица всех, кто удостоился... удостоен... чести служить под вашим началом...

«Даже неприкасаемые, — думает магистрат, — которые чистят выгребные ямы?»

— ...я, Вада, выражаю нашу вечную благодарность за ваше покровительство!

Под карнизамы курлычут голуби, словно бабушки, радующиеся появлению внуков.

— Благодарю вас, — говорит он. — Служите моему преемнику, как служили мне.

«Это самая глупая речь, которую я когда-либо слышал, — думает он, — она же и моя самая последняя».

Мажордом Томине открывает дверь для его последней деловой встречи.

Дверь Зала шестидесяти циновок с грохотом задвигается. Никто не смеет войти сюда, пока не выйдет мажордом Томине и не возвестит о почетной смерти магистрата Широямы. Почти безмолвная толпа в галерее возвращается к повседневным делам. В знак уважения магистрату, все крыло здания будет пустовать до прихода ночи, за исключением редких обходов стражниками.

Только одна высокая ширма наполовину сложена, и потому зал темен и напоминает пещеру.

Владыка — настоятель Энмото изучает положение игры на доске го.

Настоятель поворачивается и кланяется. Его аколит низко кланяется.

Магистрат идет к центру зала. Тело рассекает застывший воздух. Шаги тихо шуршат по полу. Мажордом Томине следует за своим хозяином.

Зал шестидесяти циновок, похоже, в ширину около шестисот шагов или все шесть тысяч шагов в длину.

Широяма садится по другую сторону доски го, напротив своего врага.

— Совершенно непростительно и эгоистично с моей стороны взваливать два последних обязательства на такого занятого человека.

— Для меня выполнить ваши просьбы, — отвечает Энмото, — особая честь.

— Я услышал о достижениях Энмото — сама по части владения мечом, и говорили об этом всегда с восторгом, задолго до нашей первой встречи.

— Люди склонны к преувеличениям, но это правда, что за всю мою жизнь пять человек попросили меня быть каисяку [\[125\]](#). Я выполнил все мои обязательства с честью.

— Ваше имя сразу пришло мне на ум, Владыка-настоятель. Ваше, и ничье другое. — Широяма бросает взгляд на кушак Энмото в поисках ножен.

— Мой аколит, — настоятель коротко смотрит на юношу, — принес его.

Меч, завернутый в черную материю, лежит на квадрате красного бархата.

На стоящем рядом столике — белый поднос, четыре черные чашки и красный тыквенный сосуд.

Белое покрывало — размер достаточен, чтобы завернуть тело — тактично сложено вдалеке.

— У вас все еще есть желание, — Энмото говорит о партии в го, — закончить начатое?

— Перед смертью надо обязательно закончить. — Магистрат

обертывает лапами хаори колени и погружается в игру. — Вы решили, каким будет ваш следующий ход?

Эномото кладет белый камень, угрожая черной восточной группе.

Осторожное «клик» камня напоминает удар трости слепца.

Широяма не форсирует события, создавая и мост, и плацдарм для наступления против белой северной группы.

«Чтобы выиграть, — учил его отец, — надо очиститься от желания выиграть».

Эномото защищает свою северную армию, создавая глаз.

Слепец теперь идет быстрее: «клик» трости — «клик» камня.

Несколько ходов спустя черные камни Широюмы захватывают в плен группу из шести белых.

— Они прожили сверх ожидаемого, — отмечает Эномото. Ставит шпиона позади западного фронта черных.

Широяма игнорирует его и начинает строить дорогу между западной и центральной армиями.

Эномото кладет еще один камень — вроде бы в никуда: где-то на юго — западе.

После еще двух ходов, для завершения черного моста Широюме остается поставить три камня. «Естественно, — думает магистрат, — он мне просто так этого не позволит?»

Эномото кладет камень невдалеке от своего западного шпиона...

...и Широюма видит бреши в черном кордоне, выгнутом полумесяцем с юго — запада до северо — востока.

Если белые не дадут черным армиям сомкнуться на столь позднем этапе игры...

«...моя империя, — понимает Широюма, — развалится на три части».

Мост — всего в двух пересечениях: Широюма занимает одно...

...а Эномото кладет белый камень на другое: начинается битва.

«Я иду сюда, он — туда; я сюда, он — туда; я сюда...»

После просчета пятого хода и ответа Широюма забывает, каким был первый ход.

«Го — дуэль пророков, — думает он. — Кто увидит дальше, тот и победит».

Его разделенные армии могут уповать только на ошибку белых.

«Но Эномото, — знает магистрат, — ошибок не делает».

— У вас не возникала мысль, — спрашивает он, — что не мы играем в го, а, скорее, го играет нами?

— У вашей чести монастырский склад ума, — отвечает Эномото.

Все больше камней ложится на доску, но игра уже потеряла остроту. Широяма ненавязчиво подсчитывает захваченные территории и камни. Эномото делает то же самое для белых и ждет магистрата.

Результат настоятеля — восемь очков в пользу белых, у Широямы — выигрыш настоятеля восемь с половиной.

— Дуэль, — говорит проигравший, — между смелостью и тонкостью.

— Моя тонкость почти подвела меня, — признается Эномото.

Игроки собирают камни в две чаши.

— Сделай так, чтобы этот набор для игры в го попал моему сыну, — Широяма приказывает Томине.

Широяма указывает на красный тыквенный сосуд.

— Благодарю вас за sake, Владыка-настоятель.

— Благодарю вас за уважительное отношение к моим предосторожностям, магистрат, даже сейчас.

Широяма ищет в словах Эномото иронию, но ее нет.

Аколит наполняет четыре черные чашки из красного сосуда.

Зал шестидесяти циновок становится тихим, как позабытое кладбище.

«Мои последние минуты», — думает магистрат, наблюдая за осторожным аколитом.

Черная бабочка — парусник пролетает над столиком.

Аколит подает первую чашку с sake магистрату, затем — своему учителю, еще одну — мажордому и возвращается на свою циновку с четвертой.

Чтобы не смотреть на чашку Томине или Эномото, Широяма представляет себе загубленные души — сколько десятков, сколько сотен? — наблюдающие за ними из черной тьмы, жаждущие мести. Он поднимает свою чашку. Говорит:

— Жизнь и смерть неразделимы.

Остальные трое повторяют избитую фразу. Магистрат закрывает глаза.

Шершавая поверхность чашки из лавы Сакурадзимы трет губы.

Жидкость, густая и резкая, уже во рту магистрата...

...и послевкусие полно аромата... добавки не чувствуется.

Не открывая глаза, он слышит, как пьет его верный Томине...

...но ни Эномото, ни его аколит не следуют за ними. Проходят секунды.

Отчаяние охватывает магистрата. «Эномото узнал о яде».

Открыв глаза, он услышит злую шутку.

«Планы, подготовка и ужасная жертва Томине — все напрасно».

Он не смог отомстить за Орито, Огаву, де Зута, за все загубленные души.

«Поставщик Томине предал нас? Или китайский аптекарь?»

«Должен ли я убить дьявола своим церемониальным кинжалом?»

Он открывает глаза, чтобы понять, какие у него шансы, и в это время Эномото допивает свою чашку...

...и аколит опускает свою, пустую, через мгновение после учителя.

Отчаяние Широямы ушло, ее место со следующим ударом сердца занимает непреложный факт: «Они тоже все узнают через две минуты, и мы будем мертвы через четыре».

— Не смогли бы вы разложить покрывало, мажордом? Прямо здесь...

Эномото поднимает руку:

— Мой аколит может заняться этим делом.

Они смотрят, как молодой человек разворачивает покрывало из белой пеньковой материи. Оно нужно для того, чтобы впитать кровь из обезглавленного тела, но этим утром его роль — отвлечь Эномото от настоящего окончания игры, пока sake впитывается их телами.

— Мне начать, — предлагает Владыка-настоятель, — с молитвы искупления?

— Если кто может сейчас рассчитывать на искупление, — говорит Широяма, — так это я.

Эномото не комментирует, но достает свой меч.

— Ваше харакири, магистрат, будет истинным — с ударом кинжала танто, или просто символическим касанием веера, как нынче принято?

Чувствительность покидает пальцы рук и ног Широямы. «Яд глубоко проник в наши вены».

— Сначала, Владыка-настоятель, я должен вам кое- что разъяснить.

Эномото кладет меч на колени.

— Касательно чего?

— Почему мы четверо умрем через три минуты.

Владыка-настоятель всматривается в лицо Широямы: ищет подтверждения, что ослышался.

Хорошо тренированный аколит вскакивает, оглядывает пустой зал в поисках угрозы.

— Темные эмоции, — снисходительно говорит Эномото, — могут затуманить сердце в такую минуту, но ради имени, данного вам отцом, магистрат, вы должны...

— Все молчат, когда магистрат выносит вердикт! — провозглашает мажордом привычно властным голосом.

Эномото моргает:

— Обращаться ко мне в таком...

— Владыка-настоятель Эномото — но — ками... — Широяма знает, как мало остается им времени, — даймё феода Киога, главный жрец храма на горе Ширануи, властью, которой наделил меня светлейший сегун, я нахожу вас виновным в убийстве шестидесяти трех женщин, похороненных за гостиницей Харубаяши на ариакской дороге к морю, в похищении и содержании в заключении монахинь храма на горе Ширануи и в постоянном и намеренном умерщвлении младенцев, чье отцовство принадлежит вам и вашим монахам. Посему вы ответите за эти преступления своей жизнью.

Снаружи доносится приглушенный звук лошадиных копыт.

Эномото невозмутим.

— Меня чрезвычайно огорчает, что когда-то блестящий ум...

— Отвергаете ли вы эти обвинения? Или считаете себя неподсудным никакому суду?

— Ваши вопросы постыдны. Ваши обвинения презренны. Ваше предположение, что вы, обесчещенный назначенец, можете наказать меня — меня! — поразительное тщеславие. Подойди ко мне, аколит, мы должны покинуть это жалкое место и...

— Почему ваши руки и ноги так холодны в этот теплый день?

Эномото открывает рот — губы только что кривились в пренебрежительной усмешке — и хмуро смотрит на красный тыквенный сосуд.

— Я не спускал с него глаз, учитель, — заявляет аколит. — Ничего не было добавлено.

— Во — первых, — говорит Широяма, — я изложу вам мои причины. Когда два — три года тому назад до нас дошли слухи о телах, погребенных в бамбуковой роще за гостиницей Харубаяши, я не обратил на них должного внимания. Слухи — это не доказательства, а ваши друзья в Эдо могущественнее моих, и дела даймё обычно никого не касаются. Но вы похитили акушерку, которая спасла жизнь моей наложницы и моего сына, и мой интерес к храму на горе Ширануи возрос. Владыка Хизена привел мне шпиона, который рассказал неправдоподобные истории о ваших, ушедших на пенсию, монахинях. Вскоре шпиона убили, подтвердив тем самым достоверность его сведений, поэтому, когда мне передали один футляр для свитков из кизилового дерева...

— Отступник Джирицу показал себя вероломным человеком, предавшим своих собратьев.



— А Огаву Узаемона, естественно, убили горные бандиты?

— Огава был шпионом и собакой, который заслужил смерть шпиона и собаки, — Энмото поднимается, качается, пытается удержаться на ногах, падает и рычит:

— Что ты... что ты...

— Яд действует на мышцы тела, начиная с конечностей и заканчивая сердцем и легкими. Его выделили из желез древесной змеи, которую можно найти только в джунглях Сиама. Она известна, как четырехминутная змея. Умелый аптекарь знает, почему так. Яд невероятно смертелен, и найти его невероятно трудно, но Томине — удивительный мажордом, со связями. Мы проверили яд на собаке, которая жила... как долго, мажордом?

— Меньше двух минут, ваша честь.

— Умерла собака от остановки крови или задохнувшись, мы скоро узнаем. Говоря с вами, я уже не чувствую ни локтей, ни колен.

Аколит помогает Энмото сесть.

Сам аколит валится набок и лежит, пытаясь все-таки подняться, словно отрезанная от нитей марионетка.

— В воздухе, — продолжает магистрат, — яд отвердевает, превращаясь в тонкие, прозрачные чешуйки. Но жидкость, особенно алкоголь, как sake, растворяет его мгновенно. Посмотрите на чашки из лавы Сакураджимы: поверхность скрывает нанесенный яд. Вы увидели всю мою атаку на доске го, но не разглядели такую простую стратегию, и мне этого вполне достаточно, чтобы осознавать, что я не зря отдал свою жизнь.

Энмото — на лице написаны страх и гнев — хватается за меч, но рука онемела до такой степени, что вытащить его из ножен не удастся. Он смотрит на руку в полном непонимании и, рыча, как зверь, бьет кулаком по чашке.

Она скользит по ровному полу, словно голыш — по темной воде.

— Если бы ты знал, Широяма, навозная муха, что ты наделал...

— Я знаю, что все души неоплаканых женщин, похороненных за гостиницей Харубаяши...

— Тем обезображенным шлюхам судьба при рождении уготовила смерть в канаве!

— ...теперь могут успокоиться. Справедливость восторжествовала.

— Орден Ширануи продлевает их жизни, не укорачивает!

— Чтобы «Дары» могли рождаться и рождаться, подкармливая ваше безумие?

— Мы сеем и жнем наш урожай! Наш урожай — наш, и мы

пользуемся им, как хотим!

— Ваш орден сеет жестокость во имя сумасшествия и...

— Догмы работают, ты, человеческое насекомое! Масло душ работает! Как мог орден, основанный на безумии, выживать столько столетий? Как мог настоятель пользоваться благосклонностью самых хитроумных людей империи, будучи шарлатаном?

«Истово верующие, — думает Широяма, — и есть настоящие монстры».

— Ваш орден умрет с вами, Владыка-настоятель. Признание Джирицу ушло в Эдо и... — его дыхание становится все более редким: яд вызывает онемение диафрагмы, — ...и без вашей защиты храм на горе Ширануи незамедлительно закроют.

Отлетевшая чашка катится в широкой дуге, постукивая, что-то бормоча.

Широяма, который сидит, скрестив ноги, пытается шевельнуть руками. Они уже умерли.

— Наш орден, — Энмото хватает ртом воздух, — Богиня, ритуал жатвы душ...

Булькающий хрип срывается с губ мажордома Томине. Его челюсть дрожит.

Глаза Энмото яростно сверкают.

— Я не могу умереть!

Томине падает на доску го. Камни из обеих чаш рассыпаются.

— Старения нет... — лицо Энмото застывает, — ...кожа чистая, силы не занимать...

— Учитель, мне холодно, — едва слышный голос аколита. — Мне холодно, Учитель.

— За рекой Саншо, — Широяма произносит последние слова, — вас ожидают ваши жертвы. — Язык и губы больше не подчиняются ему. «Кто-то скажет, — тело Широямы каменеет, — что нет загробной жизни. Кто-то скажет, что человеческие создания не более вечны, чем мыши или мухи — однодневки. Но ваши глаза, Энмото, доказывают, что ад — это не выдумка, потому что он — в них». Пол вздыбливается и становится стеной.

Энмото не успевает проклясть его, проклятье обрывается на полуслове.

«Оставь его здесь, — думает магистрат. — Оставь все здесь...»

Сердце Широямы останавливается. В ухе бьется пульс земли.

В дюйме лежит ракушечный камень для игры в го, идеальный и гладкий...

...черная бабочка садится на белый камень и раскрывает крылышки

# Часть четвертая. Сезон дождей

*1811 год*

## Глава 40. ХРАМ НА ГОРЕ И НАСА НАД НАГАСАКИ

*Утро пятницы у 3  
июля 1811 г.*

Торжественная процессия движется по кладбищу, ведомая двумя буддийскими священниками, черные, белые и сине — черные цвета рясы напоминают Якобу о сороках — птицах, которых он уже не видел тринадцать лет. Один священник бьет в глухой барабан, а другой стучит палочками. Следом за ними — четверо эта с гробом Маринуса. Якоб идет со своим десятилетним сыном Юаном. Переводчики первого ранга Ивасе и Гото — в нескольких шагах позади, рядом с убеленным сединой, неувядаемым доктором Маено и Оцуки Мондзуро из Академии Ширандо. Замыкают шествие четыре стражника. За надгробие и гроб Маринуса заплатили академики, и директор де Зут благодарен их помощи: три последних сезона Дэдзима зависит от займов у казны Нагасаки.

Капли тумана собираются на рыжей бороде Якоба. Другие капли сбегают по шее под его менее всего заношенным воротником и теряются в теплом поту, покрывающем тело.

Иностранцев хоронят в самом конце кладбища, у опушки леса, которым зарос крутой склон. Это место напоминает Якобу угол для похорон самоубийц, примыкающий к церкви дяди в Домбурге. «К бывшей церкви дяди», — поправляет он себя. Последнее письмо из дома пришло на Дэдзиму три года тому назад, хотя Герти написала его за два года до получения. После смерти дяди сестра вышла замуж за директора школы в Гравенполдере — небольшом городке к востоку от Домбурга, и там же она учит малышей. Французская оккупация Валхерена делает жизнь трудной, призналась Герти, большая церковь в Вире, к примеру, превращена в казармы и конюшню для наполеоновского войска, но ее муж, написала она, хороший человек, и они счастливее, чем большинство.

Кукушкина песня разносится по туманному утру.

На участке захоронения иностранцев ожидает большая группа скорбящих, половина укрывается зонтиками. Медленный ход процессии позволяет ему внимательно рассмотреть несколько надгробий из двенадцати или тринадцати десятков, установленных здесь: он — первый голландец, когда-либо попавший в это место, — так, по крайней мере,

думает Якоб, если верить записям в регистрационной книге. Имена на самых первых надгробиях заросли лишайником, но, начиная с эры Генроку — с 1690-х годов, прикидывает Якоб — надписи можно разобрать. Йонас Терпстра — скорее всего, фрисландец, умер в первый год Хоеи, в начале прошлого века, Класа Олдеварриса Бог призвал на третий год Хорияку в 1750-х, Абрахам ван Доизелар, земляк из Зеландии, умер в девятый год Аньеи за два десятилетия до прибытия «Шенандоа» в Нагасаки. Здесь же могила молодого метиса, упавшего с британского фрегата, которого Якоб назвал посмертно Джек Фартинг, и Вибо Герритсзона, умершего от «разрыва кишок» в четвертый год Киовы, девять лет тому назад: Маринус подозревал аппендицит, но сдержал свое обещание не вскрывать тело Герритсзона, чтобы узнать диагноз. Якоб помнит агрессивность Герритсзона, но его лицо уже ушло из памяти.

Доктор Маринус прибывает к месту своего последнего пристанища.

На надгробии надписи на японском и латинскими буквами: «ДОКТОР ЛУКАС МАРИНУС, ВРАЧ И БОТАНИК, УМЕР В СЕДЬМОЙ ГОД ЭПОХИ БУНКИ». Священники бормочут мантру, когда опускается гроб.

Якоб снимает шляпу из змеиной кожи и в тон языческому песнопению про себя повторяет сто сороковой псалом: «Как будто землю рассекают и дробят нас...

Семь дней тому назад Маринус не жаловался на здоровье.

— ...сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, очи мои...

В среду сказал, что умрет в пятницу.

— ...на Тебя уповаю, не отринь души моей! [\[126\]](#)

Медленно растущая аневризма мозга, объяснил он, лишит его чувств.

— Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицом Твоим...

Он выглядел совершенно спокойным — как всегда — и написал завещание.

— ...воздеяния рук моих — как жертва вечерняя».

Якоб не поверил ему, но в четверг Маринус слег.

«Выходит дух его, — сказано в сто сорок пятом псалме, — и он возвращается в землю свою...

Доктор шутил, что он — уж, сбрасывающий с себя кожу.

— ...в тот день исчезают все помышления его» [\[127\]](#).

Он заснул после обеда в пятницу и больше не проснулся.

Священники закончили службу. Присутствующие смотрят на директора.

— Отец, — спрашивает Юан на голландском, — вы скажете несколько слов?

Старшие академики занимают центр, слева от них пятнадцать учеников доктора, прошлых лет и нынешние, справа — люди, признательные доктору за помощь, и любопытные, несколько шпионов, монахи храма и еще кто-то, кого не разглядел Якоб.

— Прежде всего, я хочу, — говорит он на японском, — выразить искреннюю благодарность вам всем...

Ветер раскачивает деревья, и крупные капли падают на зонтики.

— ...за то, что дождливый сезон не остановил вас в желании попрощаться с нашим другом...

«Я не почувствую его смерть, — думает Якоб, — пока не вернусь на Дэдзиму и не захочу рассказать ему о храме на горе Инаса, но не смогу...»

— ...перед его последним путешествием. Я благодарю священников за то, что они предложили моему другу место для упокоения и разрешили мне присутствовать здесь этим утром. До самых последних дней доктор делал то, что любил больше всего: учил других и учился сам. Когда мы будем думать о Лукасе Маринусе, давайте вспомним...

Якоб замечает двух женщин, укрывающихся под широким зонтиком.

Одна помоложе — служанка? — с капюшоном на голове, закрывающим уши. На другой, постарше, — головной платок, скрывающий левую часть лица...

Якоб не может вспомнить, о чем он говорил.

— Как вы добры, Аибагава-сенсей, что решили подождать... — надо было сделать пожертвования храму, обменяться любезностями с учеными, и Якоб опасался, что она уйдет, как ранее нервничал от того, что она останется.

«Ты. — Он смотрит на нее. — Настоящая ты, на самом деле здесь».

— Это, конечно, проявление эгоизма, — начинает она по — японски, — навязывать свое присутствие столь занятому директору, которого я знала короткое время и так давно...

«В тебе столько всего, — думает Якоб, — но только не эгоизм».

— ...но сын директора де Зута передал просьбу отца с такой...

Орито смотрит на Юана — тот совершенно ею очарован — и улыбается.

— ...с такой вежливой настойчивостью, что я не смогла уйти.

Якоб бросает взгляд на Юана.

— Надеюсь, он не проявил излишней назойливости?

— Невозможно даже представить, что такой вежливый мальчик может кому-то показаться назойливым.

— Его учитель — художник старается, как может, приучить его к дисциплине, но после смерти матери мой сын стал неуправляемым, и боюсь, останется таким же. — Он поворачивается к спутнице Орито, не понимая, кто она: служанка, ассистентка или коллега. — Я — де Зут, — говорит он. — Благодарю вас, что пришли.

Молодую женщину не смущает, что он иностранец:

— Меня зовут Яиои. Я не должна рассказывать, как часто она говорит о вас, а не то она будет дуться на меня весь день.

— Аибагава-сенсей, — Юан передает отцу, — сказала, что знала маму еще до того, как вы, отец, прибыли в Японию.

— Да, Юан, Аибагава-сенсей была очень добра и иногда помогала твоей матери и ее сестрам в чайных домах Маруямы. Но по какому поводу, сенсей, вы находитесь в Нагасаки в это... — он оглядывает кладбище, — ...в это печальное время? Я слышал, что у вас акушерская практика в Мияко.

— Да, так и есть, но доктор Маено пригласил меня сюда помочь советами одному его ученику, который планирует открыть Школу родовспоможения. Я не была в Нагасаки с... ну, с тех пор, как покинула город, и подумала, что пришло время вернуться в родные края. Мой приезд совершенно случайно совпал со столь печальным событием: уходом доктора Маринуса.

В ее объяснении планы посещения Дэдзимы не упоминаются, и Якоб понимает, что заглядывать туда она не собиралась. Он чувствует любопытные взгляды зевак и указывает на длинную каменную лестницу, спускающуюся от храма к реке Накашима:

— Не желаете пройтись со мной, госпожа Аибагава?

— С превеликим удовольствием, директор де Зут.

Яиои и Юан идут за ними следом в нескольких шагах, а в самом конце — Ивасе и Гото, и Якоб со знаменитой акушеркой могут разговаривать в относительном уединении. Она осторожно ступает по мокрым, покрытым мхом камням.

«Я мог бы рассказать тебе многое и многое, — думает Якоб, — и совсем ничего».

— Я слышала, — говорит Орито, — ваш сын — ученик художника Шунро?

— Шунро-сенсей пожалел талантливого мальчика, да.

— Значит, ваш сын унаследовал талант художника от отца?



— У меня нет талантов! Я неумеха с двумя левыми руками.

— Простите, что не соглашаюсь. У меня есть доказательство обратного.

«Так она по — прежнему хранит тот веер!»

Якоб не может удержаться от радостной улыбки.

— Растить его, должно быть, тяжело после смерти Цукинами — самы.

— Раньше он жил на Дэдзиме. Маринус и Илатту учили его, и я нанял, как мы называем, «няню». А теперь он уже два года живет у учителя, но магистрат позволяет ему посещать Дэдзиму на каждый десятый день. И пусть я очень жду прихода корабля из Батавии, чтобы поддержать Дэдзиму, меня страшит перспектива расставания с сыном...

Невидимый дятел выстреливает короткие очереди где-то неподалеку.

— Маено-сенсей сказал мне, — говорит она, — что доктор Маринус умер очень спокойной смертью.

— Он гордился вами. «Такие ученики, как госпожа Аибагава, придают смысл моей жизни, Домбуржец», — так говорил он, и: «Знания существуют, лишь когда их передают...» — «Как любовь», — добавил бы от себя Якоб. — Маринус был циничным мечтателем.

На половине пути они слышат и видят вспенившуюся кофейно — коричневую реку.

— Великий учитель обретает бессмертие, — замечает она, — в своих учениках.

— Аибагава-сенсей может сказать «в ее учениках».

— Ваше владение японским языком достойно восхищения, — хвалит его Орито.

— Такие комплименты доказывают, что я до сих пор делаю ошибки. В этом сложность статуса даймё: никто не смеет поправить меня. — Он замолкает на какое-то время. — Огава-сама поправлял, но он был особенным переводчиком.

Выше по склону, на укрытой туманом горе, голосистые птицы зовут и спрашивают о чем-то.

— И смелым человеком. — Тон Орито говорит Якобу, что она знает, как погиб Огава и почему.

— Когда мать Юана была жива, я просил ее поправлять мои ошибки, но учительница из нее получалась никудышная. Она говорила, что мои промахи «звучат так мило».

— И все же ваш словарь теперь можно найти в каждом феоде. Мои студенты не говорят: «Дай мне голландский словарь», они говорят: «Дай мне Дазуто».

Ветер треплет длинные ветви ясеней.

Орито спрашивает:

— Уильям Питт еще жив?

— Уильям Питт сбежал с обезьяной на «Санта — Марии» четыре года тому назад. Утром, когда отчалил корабль, он поплыл за ним. Стражники точно не знали, распространяются ли на него законы сегуна, и дали ему возможность уплыть. Без него только доктор Маринус, И во Ост и я оставались с тех времен, когда вы приходили сюда ученицей. Ари Грот возвращался дважды, но только на время торгового сезона.

Позади них Юан говорит что-то забавное, и Яиои смеется.

— Если бы Аибагава-сенсей пожелала когда-нибудь посетить Дэдзиму, тогда... тогда...

— Директор де Зут очень любезен, но я должна вернуться завтра в Мияко. Несколько придворных дам беременны, и им нужна помощь.

— Конечно! Конечно! Я не подразумевал, что... в смысле, я не... — Якоб замирает, не в силах выразить, что он не хотел подразумевать. — Ваши обязанности, — бормочет он, — ваши обязанности, они... важнее всего.

Внизу, у последней ступени лестницы, носильщики паланкинов натирают маслом свои бедра и голени, готовясь к возвращению с ношей в город.

«Скажи ей, — приказывает себе Якоб, — или всю оставшуюся жизнь будешь упрекать себя в трусости».

Он решает провести остаток жизни, упрекая себя в трусости.

«Нет, я не могу».

— Я должен вам кое-что рассказать. В тот день, двенадцать лет тому назад, когда Эномото похитил вас, я был на Сторожевой башне и все видел. — Якоб не осмеливается взглянуть на нее. — Я видел, как вы пытались убедить стражников у ворот, чтобы они пропустили вас на Дэдзиму. Ворстенбос только что обманул меня, и я, как надувшийся от злости ребенок, только смотрел на вас, но ничего не сделал. Я мог бы прибежать, начать спорить, шуметь, позвать нужного переводчика или Маринуса... но я этого не сделал. Бог свидетель, я не мог предположить последствий моего бездействия... представить себе не мог, что не увижу вас до сегодняшнего дня... а когда ко мне вернулся разум, то... — в горле словно застряла рыбья кость, — ...когда я прибежал к воротам, чтобы... чтобы... помочь, я опоздал.

Орито слушает, ступает осторожно, глаз ее не видно.

— Год спустя я попытался исправить случившееся. Огава-сама

попросил меня спрятать в надежном месте свиток, который попал к нему от беглеца из храма, вашего храма, храма Эномото. Через несколько дней пришли новости о гибели Огавы — самы. Месяц за месяцем я учил японский язык, чтобы перевести свиток. День, когда я понял, что выпало на вашу долю из-за моего бездействия, стал самым худшим днем в моей жизни. Но мое отчаяние не могло вам помочь. Ничто не могло вам помочь. Во время инцидента с «Фебом» я заслужил доверие магистрата Широама, а он — мое, и тогда я решился на смертельный риск и передал этот свиток ему. Ходили разные слухи о его смерти и смерти Эномото, я так и не смог понять — где правда, а где вымысел, но вскоре узнал, что храм Ширануи разгромлен, а феоде Киога передан владыке Хизена. Я рассказываю вам это... я рассказываю вам, потому что... потому что не рассказать — ложь по умолчанию, а я не могу вам лгать.

Ирисы цветут в подлеске. Пунцовый Якоб вымотан рассказом.

Орито отвечает не сразу.

— Когда боль острая, когда решения животрепещущие, мы верим, что мы — хирурги. Но по прошествии времени все видится гораздо яснее, и сейчас я воспринимаю нас лишь хирургическими инструментами, использованными миром, чтобы избавиться от ордена горы Ширануи. Если бы вы укрыли меня на Дэдзиме в тот день, я бы не испытала той боли, это так, но Яиои до сих пор пребывала бы там узницей. Догмы соблюдались бы по — прежнему. За что мне вас прощать, если вы не совершили ничего неправильного?

Они спускаются к подножию горы. Река ревет.

В ларьке продают амулеты и жареную рыбу. Скорбящие становятся обычными людьми.

Кто-то говорит, кто-то шутит, кто-то просто смотрит на голландского директора и акушерку.

— Должно быть, это тяжело, — говорит Орито, — не знать, когда вы сможете увидеть Европу.

— Чтобы облегчить боль, я стараюсь думать о Дэдзиме как о доме. Мой сын, в конце концов, здесь.

Якоб представляет себе, как обнимает эту женщину, которую он никогда не обнимал...

...и как целует ее, всего один лишь раз... между бровей.

— Отец? — Юан хмурится, глядя на Якоба. — Вам нездоровится?

«Как быстро ты взрослеешь, — думает отец. — Почему меня об этом не предупредили?»

Орито говорит на голландском:

Похоже, директор де Зут, наш общий путь завершен

# Часть пятая. Последние страницы

*Осень 1817 год*

## Глава 41. КВАРТЕРДЕК «ПРОРОКА», НАГАСАКСКАЯ БУХТА

Понедельник 3  
ноября 1817 г.

...и когда Якоб смотрит вновь, Утренней звезды уже нет. Дэдзима отдаляется с каждой минутой. Он машет рукой фигуре на Сторожевой башне, и фигура отвечает ему тем же. Прилив сменяется отливом, но ветер дует в обратную сторону, и потому восемнадцать японских восьмивесельных лодок тащат «Пророка» по длинной бухте. Гребцы поют песню в ритм взмахов весел: их хриплый хор сливается с шумом моря и кряхтением корабля. «Четырнадцать лодок справились бы, — думает Якоб, — но директор Ост добился очень крупной скидки на ремонт склада «Роза», поэтому, скорее всего, ему посоветовали уступить в этом вопросе». Якоб стирает с усталого лица легкую морось. Лампа все еще горит в Морской комнате его дома. Он вспоминает трудные годы, когда ему пришлось продавать библиотеку Маринуса — книгу за книгой, — чтобы покупать масло для ламп.

— Доброе утро, директор де Зут. — Появляется молодой гардемарин.

— Доброе утро, хотя я уже — просто де Зут. А кто вы?

— Бурхаве, господин де Зут. Я буду вашим помощником на корабле.

— Бурхаве... замечательная морская фамилия [\[128\]](#), — Якоб протягивает руку.

Гардемарин пожимает ее:

— Мое почтение, господин де Зут.

Якоб поворачивается к Сторожевой башне — человек на смотровой площадке теперь не больше шахматной фигурки.

— Простите мое любопытство, господин де Зут, — начинает Бурхаве, — но лейтенанты рассказывали за ужином о том, как вы противостояли в этой бухте британскому фрегату, один на один.

— Все это случилось, когда вы еще не родились. И я не был один.

— Вы хотите сказать, что само Провидение помогло вам выстоять, защищая наш флаг, господин де Зут?

Якоб чувствует благоговение в голосе.

— Можно и так сказать.

Заря дышит болотистой зеленью, и краснота тлеющих углей

пробивается сквозь серые деревья.

— А после этого вас заточили на Дэдзуме на семнадцать лет?

— «Заточили» — слово неправильное, гардемарин. Я трижды побывал в Эдо: и это были невероятно увлекательные путешествия. Мой друг доктор и я собирали ботанические экземпляры вдоль побережья, а в последние годы мне уже гораздо чаще разрешалось посещать знакомых в Нагасаки. Жизнь стала больше напоминать обучение в школе со строгим расписанием, чем тюремное заключение.

Моряк, стоя на рее бизань — мачты, кричит что-то на скандинавском.

Через некоторое время в ответ слышится долгий и нахальный хохот.

Команда довольна тем, что закончились двенадцать недель якорной стоянки.

— Вам, должно быть, не терпится попасть домой, господин де Зут, после столь долгого отсутствия.

Якоб завидует его юношеской определенности и ясности.

— На Валхерене будет больше незнакомых лиц, чем знакомых, из-за войны и двадцатилетнего отсутствия. По правде говоря, я подавал в Эдо прошение, чтобы остаться жить в Нагасаки в качестве какого-нибудь дипломатического представителя новой компании, но в архивах не нашли подобного прецедента, — он протирает покрытые моросью очки, — и потому, как вы видите, я должен уехать. — Сторожевая башня без очков видится лучше, и дальнозоркий Якоб кладет их в карман камзола. С испугом внезапно обнаруживает, что нет карманных часов, но тут же вспоминает, что оставил их Юану. — Мистер Бурхаве, вы не знаете, который теперь час?

— Не так давно отбили две склянки левобортовой вахты, господин де Зут.

Прежде чем Якоб успевает объяснить, что хотел узнать обычное время, колокол храма Рюгадзи отбивает час Дракона: четверть восьмого в это время года.

«Час моего убытия, — думает Якоб, — это прощальный подарок Японии».

Фигура на Сторожевой башне уменьшается до крохотной буквы «i».

«С кварталдека «Шенандоа» я смотрелся точно так же, — думает Якоб, хотя и сомневается в том, что Унико Ворстенбос хоть раз оглянулся на Дэдзиму. — Капитан Пенгалигон, возможно, посмотрел...» Якоб надеется, что однажды пошлет письмо англичанину от «голландского мелкого лавочника» и спросит, что остановило того от залпа из карронад «Феба» тем осенним днем: христианское милосердие или что-то другое, более

прагматичное?

«Скорее всего, — признается он себе, — Пенгалигона уже нет в живых».

Чернокожий моряк карабкается по канату, и Якоб вспоминает, как Огава Узаемон говорил ему, что иностранные корабли кажутся управляемыми призраками и зеркальными отражениями, появляющимися и исчезающими через тайные порталы. Якоб коротко молится о душе переводчика, наблюдая за покачиванием корабля.

Фигура на Сторожевой башне — крошечное расплывшееся пятнышко. Якоб машет рукой.

Пятно в ответ — двумя расплывшимися руками.

— Ваш близкий друг, господин де Зут? — спрашивает гардемарин Бурхаве.

Якоб перестает махать. Фигура тоже.

— Мой сын.

Бурхаве не знает, что и сказать...

— Вы оставляете его здесь, господин де Зут?

— Нет выбора. Его мать была японкой, и таков закон. Закрытость для других — передний край обороны Японии. Страна просто не желает, чтобы ее узнавали.

— Но... значит... когда же вы вновь увидите с сыном?

— Сегодня... в эту минуту... я вижу его в последний раз... по крайней мере, в этом мире.

— Если желаете, я могу принести вам подзорную трубу.

Якоб тронут заботой Бурхаве.

— Благодарю вас, не надо. Я не увижу его лица. Но мог бы я попросить у вас фляжку горячего чая с камбуза?

— Конечно, господин де Зут, хотя, наверное, это займет какое-то время, если плита еще не разожжена.

— Никакой спешки нет. Просто он... изгонит холод из груди.

— Будет исполнено, господин де Зут, — Бурхаве идет к трапу и спускается вниз.

Силуэт Юана уже совсем неразличим на фоне Нагасаки.

Якоб молится и будет молиться всю ночь, чтобы жизнь Юана сложилась лучше, чем у туберкулезного сына Тунберга, но бывший директор хорошо знаком с недоверием японцев к иноземной крови. Юан может быть самым талантливым учеником, но он никогда не получит по наследству титул учителя, не женится без разрешения магистрата, даже не выйдет за пределы города. «Он слишком японский, чтобы его отпустили со



мною, — знает Якоб, — но недостаточно японский, чтобы являть собой часть Японии».

Сотня лесных голубей поднимается над березовой рощей.

Даже доставка писем будет зависеть от честности незнакомцев. И ответ придет через три или четыре года, а то и через пять лет.

Высланный отец трет веко слезящегося от ветра глаза.

Он переминается с ноги на ногу, борясь с утренним холодом. Колени отдаются болью.

Оглядываясь в прошлое, Якоб видит месяцы и годы будущего. По прибытии на Яву новый генерал — губернатор приглашает его в свой дворец в славящемся здоровым климатом Бейтензорге, подальше от миазмов Батавии. Якобу предлагают выгодную должность при губернаторе, но он отвечает отказом, настаивая на возвращении на родину. «Раз я не могу оставаться в Нагасаки, — думает он, — мне лучше совсем покинуть Восток». Месяц спустя он наблюдает закат, накрывший Суматру, с борта корабля, направляющегося в Европу, и слышит доктора Маринуса так же ясно, как медленный рефрен клавесина, который рассуждает о бренности жизни, похоже, на арамейском языке. Очевидно, это воображение играет с ним злую шутку. Шесть недель спустя глазам пассажиров предстает Столовая гора, возвышающаяся над Кейптауном, и Якоб вспоминает отрывки истории, рассказанной ему директором ван Клифом на крыше борделя много лет тому назад. Сыпной тиф, жуткий шторм у Азорских островов и стычка с корсаром осложняют путь по Атлантике, но он благополучно прибывает на Тексел под ледяным дождем. Начальник порта передает Якобу вежливое приглашение от муниципалитета Гааги, где его давнее участие в войне празднуется короткой церемонией в Министерстве торговли и колоний. Он направляется в Роттердам и стоит у того же причала, где когда-то обещал молодой девушке по имени Анна, что в течение шести лет он вернется из Ост — Индии состоятельным человеком. Сейчас у него достаточно денег, но Анна умерла при родах много лет тому назад, и Якоб уезжает в Вире, на остров Валхерен. Ветряные мельницы на острове, потрепанном войной, вновь отстроены и заняты работой. Никто в Вире не узнает вернувшегося домой домбуржца. Гравенполдер — в получасе езды на лошади, но Якоб предпочитает пройти пешком, чтобы не помешать своим прибытием послеобеденным классам Герти в школе мужа. Его сестра открывает дверь, когда он стучится. Она говорит: «Мой муж в своем кабинете, не могли бы вы...» — затем ее глаза широко раскрываются, и она начинает рыдать и смеяться.

В воскресенье Якоб на службе в церкви Домбурга среди знакомых лиц,

состарившихся, как и его. Он идет на кладбище, к могилам матери, отца и дяди, но не принимает приглашения нового пастора отужинать с ним в его доме. Он отправляется в Мидделбург на встречу с директорами торговых домов и импортных компаний. Делаются предложения, принимаются решения, подписываются контракты, и Якоба выдвигают в члены масонской ложи. Между цветением тюльпанов и Троицей он появляется из церкви под руку с флегматичной дочерью одного из деловых партнеров. Конфетти напоминает Якобу цветы вишни в Мияко. Жена господина де Зута вполтину моложе мужа, но возражений ни у кого нет: ее молодость стоит его денег. Муж и жена находят компанию друг друга приемлемой большую часть времени, по крайней мере, в первые годы их совместной жизни. Он намеревается опубликовать свои мемуары о годах директорства в Японии, но каким-то образом жизнь крадет у него время, необходимое для их написания. Якобу исполняется пятьдесят лет. Его избирают в совет Мидделбурга. Якобу исполняется шестьдесят лет, а его мемуары все еще не написаны. Медного цвета волосы теряют блеск, лицо обвисает, и линия волос отодвигается ото лба, а вскоре и его макушка уже ничем не отличается от выбритой макушки пожилого самурая.

Обретающий популярность художник, который рисует его портрет, удивлен меланхолической отстраненностью Якоба, но на законченной картине ее нет и в помине. Приходит день, когда Якоб передает семейный Псалтырь своему старшему сыну — не Юану, который родился гораздо раньше, а старшему голландскому сыну, добропорядочному юноше, совершенно не интересующемуся жизнью за пределами Зеландии. Поздним октябрем или ранним ноябрем на город спускаются ветреные сумерки. Ветер срывает последние листья с вязов и сикомор, а фонарщик идет привычным маршрутом от одного фонаря к другому, когда семья Якоба собирается у постели патриарха. У лучшего доктора Мидделбурга на лице серьезность и печаль, но он доволен, что успел сделать все необходимое во время короткого, но прибыльного заболевания пациента, и еще успеет домой к ужину. Пламя очага отражается в маятнике часов, и в последние мгновения Якоба де Зута, когда дыхание с хрипом срывается с губ, янтарные тени в дальнем углу сливаются в женскую фигурку.

Она проскальзывает между стоящими у кровати — все они выше, крупнее, — не видимая никому...

...и поправляет головной платок, чтобы получше закрыть ожог.

Кладет свои прохладные ладони на лихорадочно горящее лицо Якоба.

Якоб видит себя — молодым — в ее раскосых глазах.

Ее губы касаются местечка между бровями.

Воцная бумажная дверь сдвигается.

## Выражение признательности

Во — первых, Нидерландскому институту прогрессивных исследований гуманитарных и социальных наук, Голландскому литературному фонду за предоставленную бесценную возможность поработать в ГИПИ первую половину 2006 года.

Во — вторых, Надиму Асламу, Пиету Баерту, Мануэлю Берри, профессору Арьо Вандергиагту, профессору Хенку Весселлингу, Класу и Герри де Врис, Толли Гарнеру, Джонни Геллеру, Тису Голдшмидту, Харму Дамсме, Генри Джеффрису, Уолтеру Донахью, доктору Джорджу Э. ван Занену, Хари Канзру, Ивену Касфилду, Триш Керр, Мартину Кингстону, Шарон Клейн, Тане Кутевой, Джинни Мартин, Нийку Мийдеме, Сизу Нотбуму, Элу Оливеру, Хейзел Орм, Лидевид Парис, Джонатану Пеггу, Ноэлу Реддингу, Алану Спенсу, Дугу Стюарту, Рут Тросс, моему терпеливому редактору Кэрол Уэлч, Джонни де Фалбу, Уэйсону Чою, Михаэлю Шелленбергу, Майку Шоу, Дэвиду Эбершоффу.

В — третьих, Кисту Харту, управляющему кораблем Роберту Хоувеллу с фрегата Ее величества «Единорог» в Данди, архивариусу Петеру Сийнке из Миддлбурга и профессору Синтии Виалле из университета Лейдена за ответы на лавину вопросов. Информация собиралась из множества источников, но этот роман в огромном долгу перед Таймоном Скричем, профессором Школы исследований Востока и Африки Лондонского университета, аннотированным переводом книги Кемпфера «Япония: наблюдения за культурой Токугавы», выполненным Беатрис М. Богарт — Бейли (эту книгу и читал капитан Пенгалигон) и переводом Анник М. Доуфф мемуаров ее предка Хендрика Доуффа «Воспоминания о Японии».

В — четвертых, благодарю домашних иллюстраторов Дженни и Стэна Митчелл и домашнюю переводчицу японских источников Кейко Йошиду.

И наконец, спасибо Лоренсу Норфолку и его семье.

## **Примечания**

# 1

Геомантия («гадание по земле») — популярный метод гадания, основанный на толковании отметок на земле или рисунков, которые образуются в результате подбрасывания горсти чсмли, камешков или песчинок. Геомантией иногда называют также фэн — шуй.

2

Конникяку — растение, родственное ямсу.

# 3

В морском сражении при Кампердауне (Капердуине) между английским и голландским флотами 11 октября 1797 г. в Северном море победу праздновали англичане.



## 4

Коромандельский берег — часть побережья Индостанского полуострова.

## 5

Гросс — ныне редко используемая мера счета, равна 144 предметам.

## 6

Гонения на христиан начались в Японии в 1612 г. Принадлежность к христианству каралась смертью. Выжили лишь незначительные, глубоко ушедшие в подполье группы верующих. Символы христианства запрещались даже на острове Дэдзима, формально считавшемся голландской территорией

«Сара Бургерхарт/Sara Burgerhart» — роман голландской писательницы Бете Волфф/Betje Wolff (1738–1804), опубликованный в 1782 г.

# 8

Тернате/Ternate — один из индонезийских островов

**9**

Место рождения (*иск. фр.*).

## 10

Хантер, Джон/Hunter, John (1728–1793) — шотландский хирург, считавшийся одним из самых выдающихся ученых и хирургов своего времени.

## 11

Полное название книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.).



**12**

Адам Смит умер в 1790 г.

**13**

Буйвол невыносимый (фр. — англ.)

## 14

Последнее слово Якоба — «adultyrants» (примеси). Баерту слышится «adultery» (блуд, прелюбодеяние).

Династия Мин правила в Китае с 1368-го по 1664 г.

## 16

Пикуль /Picul — мера веса в странах Юго — Восточной Азии, примерно 60 кг.

**17**

Непреодолимая сила, форс — мажор (фр.).

## 18

На английском языке сходства больше: при произношении слова lewdness (распутность) и rudeness (бестактность) отличаются практически только первой буквой.

**19**

В смысле, участники семинара.



Виола да гамба/*viola da gamba* (дословно ножная виола) — старинный струнный смычковый музыкальный инструмент семейства виол, близкий по размеру и диапазону современной виолончели. На виоле да гамба играли сидя, держа инструмент между ног или положив боком на бедро, — отсюда название.

И так далее (*лат.*).

Румоленстрат/Roomolenstraat — район Амстердама.

**23**

Обычным способом (*лат.*).

«Картина скелета и мышц человеческого тела» (лат.).

25

Молитесь, чтобы не поддасться искушению (*лат.*).

Шейка матки (*лат.*).

27

Наружное отверстие (*лат.*).



В данном контексте — зад (*лат.*).

**29**

1 стоун/stone = 14 фунтам (6,35 кг).

**30**

Псалтырь, 59:3,4.

На английском слова «ki» (его произносит Ионекизу) и «key/ключ» произносятся одинаково.

И так далее, и тому подобное (*лат.*).

Гавот (фр.).

Сапановое дерево/sappanwood — другое название красного дерева.

Пагодное дерево/Pagoda tree — другое название «Со-фора японская».



Обон (o-bon) — трехдневный праздник поминовения усопших. Согласно традиции считается, что в это время года души усопших возвращаются к живым и посещают своих родных. Исторически Обон праздновался с 13-го по 15-й день седьмого месяца по лунному календарю.

— Прошу меня извинить, мсье, но мне кажется, здесь что-то нечисто  
(фр.).

— Молю Бога, не ошибитесь в этом. И без вашего вмешательства ситуация наша оставляет желать лучшего (фр.).

Корнифель — едва ли не самая старинная карточная игра в Европе. Первые упоминания о ней датируются 1426 г.

**40**

Стювер/stuiver — мелкая голландская монета.

«Мститель// Vengeur du Peuple» — легендарный линейный корабль французского флота.

Речь об Уильяме Гершеле/William Herschel (настоящее имя Фридрих Вильгельм Гершель/Friedrich Wilhelm Herschel, 1738–1822) — выдающемся английском астрономе немецкого происхождения. Прославился открытием планеты Уран, а также двух ее спутников — Титании и Оберона. Также является первооткрывателем двух спутников Сатурна и инфракрасного излучения. Менее известен двадцатью четырьмя симфониями, автором которых он является.

Дается прямой перевод из Библии: «Praise him with the psaltery and harp», необходимый по контексту. В русскоязычной Библии: «Хвалите Его на Псалтыри и гуслях».



Дается прямой перевод из Библии: «Praise him with the timbrel and dance», необходимый по контексту. В русскоязычной Библии: «Хвалите Его с тимпаном и ликами».

В оригинале не поговорка, а афоризм Томаса Джефферсона, высказанный по поводу религии соседа: «It neither picks my pocket nor breaks my leg».

**46**

В оригинале *impotent*. Выбор автором этого слова (синонимов много) определяется контекстом сюжета.

**47**

Псалом 146:11.

Которые не переступить (*ит.*).

**49**

Синий чулок ( *нидер.*).

Genus *Taraxacum* — род одуванчика (*лат.*).

Asteraceae — астровые (*лат.*).



Бог создает, Линней распределяет (*лат.*).

Бытие, 9:25.

Бытие, 9:27.

Тунберг, Карл Петер/Thunberg, Carl Peter (1743–1828) — шведский ученый — натуралист, прозванный за вклад в науку «отцом южноафриканской ботаники» и «японским Линнеем».

Кемпфер, Энгельберт, Engelbert (1651–1716) — немецкий путешественник и натуралист. Наиболее известен написанным по — немецки и переведенным на английский язык сочинением «History of Jaraп» («История Японии»; Лондон, 1727), которое затем появилось на нескольких других языках.

Даймё/daimyo (букв, «великое имя») — крупнейшие военные феодалы средневековой Японии. Если считать, что класс самураев был элитой японского общества X-XIX вв., то даймё — элита среди самураев.

Псалтырь, 21:15,16.

Между нами (фр.).



Исторически коку определялся как среднее количество риса, потребляемое одним взрослым человеком в течение года. Вес 1 коку риса приблизительно равен 150 кг. Число коку риса являлось также основной мерой богатства и служило денежным эквивалентом в средневековой Японии.

Кулмус, Иоганн Адам/Kulmus, Johann Adam (1689–1745) — немецкий врач, автор анатомического учебника, опубликованного в 1722 г., ставшего очень популярным и позже переведенного на голландский и японский языки.

Звезда Георга (лат.). Гершель хотел назвать открытую им планету в честь короля Георга.

**63**

Блоха человеческая {лат.}).

Между прочим (фр.).

**65**

Лобковая кость (лат.).

Нижняя часть (*лат.*).

**67**

Вот он (*лат.*).



Гамамелис японский (*лат.*).

Венки из остролиста — традиционное рождественское украшение.

Ронин — деклассированный самурай феодального периода Японии (1185–1868), потерявший покровительство своего правителя (хозяина) либо не сумевший уберечь его от смерти.

Идзанами и Идзанаги — божества синтоистского пантеона. Их имена не расшифрованы, есть предположение, что они означают «первый мужчина» и «первая женщина».

Додзё/dojo (букв, «место, где ищут путь») — изначально место для медитаций и других духовных практик в японском буддизме и синтоизме. Позже этот термин стал употребляться и для обозначения места, где проходят тренировки, соревнования и аттестации в японских боевых искусствах, таких как айкидо, дзюдо, дзю-дзютсу, кэндо, карате и т. д.

Тории/tori (букв. «птичий насест») — ритуальные врата, устанавливаемые перед святилищами японской религии синто. Традиционно они представляют собой выкрашенные в красный цвет ворота без створок, из двух столбов, соединенных поверху двумя перекладинами.

Кожа ската/gau skin — самая прочная кожа в мире. В средневековой Японии из нее изготавливали боевые доспехи, которые успешно выдерживали самые кровавые бои и защищали воинов от острых мечей противников.

Элефантиаз (слоновья болезнь) — стойкое увеличение размеров какой-либо части тела за счет болезненного разрастания кожи и подкожной клетчатки, которое вызывается постоянным застоем лимфы с образованием отека.



Аче́хи/acehntse — один из народов Индонезии, проживающий в большинстве своем на севере острова Суматра.

Готтентоты/Hottentots — этническая общность на юге Африки. Ныне населяют Южную и Центральную Намибию

Мастер паруса/Sailing Master (более широкое название — кормчий) отвечает за управление кораблем.

Речь о короле Англии Вильгельме II и его супруге Марии II, которые вместе правили Англией в конце XVII в. (Мария умерла в 1694 г.)

Форт Корнваллис/Fort Cornwallis — опорная база Англии на о. Пенанг в Малайзии.

Сражение произошло 14 февраля 1797 г. у мыса Сент- Винсент в Португалии. В этой битве британский флот под командованием Джона Джервиса победил численно превосходивший его испанский флот под командованием Хосе де Кордобы.

Английская (скорее, американская) идиома to get a round of applause (букв, «получить порцию аплодисментов») — заразиться гонореей..

Снадобье Дувера/Dover's Remedy — противовоспалительное и болеутоляющее средство, изобретенное английским врачом Томасом Дувером/Thomas Dover (1660–1742). Использовалось более 200 лет



Другое название ипекакуаны — рвотный корень

В силу самого факта (*лат.*).

Карронада/Саггопас1е — короткое относительно калибра корабельное чугунное тонкостенное орудие, имеющее сравнительно небольшой, для своего калибра, вес и стреляющее тяжелыми ядрами или картечью с малой скоростью на небольшое расстояние.

Псалом 48:5. Каноническое «на гусях» заменено «на арфе», как в оригинале.

Псалом 57:8.

Псалом 57:9.

Господи *(гол.)*.

Агапантус/Agapanthus (другие названия: цветок любви, африканская лилия, абиссинская красавица) — многолетние травянистые растения с мясистыми корневищами. Во время цветения выпускает длинный цветонос, который может достигать в высоту 1 м.



Зондский пролив/Straits of Sunda — пролив, разделяющий острова Ява и Суматра и соединяющий Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.

Приватир/privateer — тот же капер и корсар (вооруженное судно, которое с разрешения верховной власти воюющего государства захватывает купеческие корабли неприятеля, а в известных случаях — и нейтральных держав), но подчеркивающий английскую принадлежность корабля.

Порт-Махо н/Port Mahon — город с большой (5 километров на 900 метров) и глубокой естественной гаванью на Балеарских островах. В период с 1798-го по 1802 г. принадлежал Англии.

Ян/Johan (1625–1672) и Корнелис де Витт (Cornells de Witt) — известные политические деятели Нидерландов XVII века. Растерзаны и съедены пьяной толпой 20 августа 1672 г. в Гааге.

Кто много на себя берет, с того многое спросится (*лат.*).

Фактически (*лат.*).

За пределами Великобритании «Таймс» зачастую именуется «Лондонская Таймс/The Times of London», чтобы отличаться от других газет, в название которых входит «Таймс». В 1800 г. такой необходимости не было, поскольку первая такая газета, «Индийская Таймс/The Times of India», издается с 1838 г.

Вильгельм (Виллем/Villem) V (1748–1806) — король Нидерландов с 1766 г. В 1795 г. свергнут с престола французской революционной армией и партией патриотов и бежал в Англию. Батавская Республика возникла на его наследных землях.



«Друри-Лей Н»/Drury Lane — старейший из непрерывно действующих театров Великобритании. В XVII — начале XIX вв. считался главным драматическим театром Лондона. В 2013 г. театр отметил свое 350-летие.

## 101

В оригинале «piss and vinegar» — идиома, в данном контексте переводится как «хвастуны».

В XVII в. Брунsvик/Bronswiek официально уже назывался Брауншвейгом/ Braunschweig и был столицей одноименного герцогства

Уоррент-офицер/Warrant officer — категория военнослужащих, следующая за старшинским составом.

Деяния Святых Апостолов, начиная с 27:18.

Три Эр/Three Rs — письмо, чтение и арифметика (reading, 'righting and 'rithmetic).

Псалом «Путь паломника» написан англичанином Джоном Баньяном/John Bunyan (1628–1688) в 1684 г.

Этих слов: «Since, Lord, Thou dost defend us with Thy Spirit» в оригинальном тексте псалма нет. Они появились в 1906 г., при переработке псалма Питером Диамером/Peggy Dearmer (1867–1936).



Бэнкс, Джозеф, сэр/Banks, Joseph (1743–1820) — английский натуралист, ботаник. Президент Королевского общества (1778–1820).

Переворот (*φρ.*).

В этой битве Наполеон выказал личный героизм, возглавив одну из атак на Аркольский мост со знаменем в руках. Вокруг него погибло больше десятка солдат, включая адъютанта Наполеона Мюирона, прикрывшего Бонапарта своим телом от вражеских пуль.

Штатгальдер (гол.).

Ингравесцентный — от английского *ingravescent* (букв, утяжеляющийся)

Tete-a-tete — разговор наедине (*фр.*).

Смертельный удар, нанесенный из милосердия, чтобы прекратить страдания (фр.).

Игра слов: sauerkraut (квашеная капуста) sour Kraut (сердитый немец) произносятся практически одинаково.



На английском Ledbetter (Ледбеттер) означает «веди лучше».

Цепное ядро/Chain shot — старинный артиллерийский снаряд, использовавшийся в XIV–XIX вв. Представлял собой два ядра или полуядра, соединенные вместе цепью (подчас достаточно длинной — длина цепи могла достигать до 3–4 метров).

Пороховая обезьяна/Powder monkey — подносчик пороховых зарядов.

# 119

Псалтырь, 143:10 (первое слово — последнее в 143:9).

«К чему не склоняешь ты смертные души, к проклятому золоту  
страсть» (*лат.*).Вергилий «Энеида», перевод В. Брюсова.

Фу Си — легендарный первый император Китая (Поднебесной), божество — повелитель Востока.

«Завтра мы выйдем в широкое море» (*лат.*).Цитата Квинта Горация Флакка.

Британия /Britannia — персонифицированный символ Великобритании. Изображается в виде молодой женщины в коринфском шлеме и с гербовым щитом и трезубцем (палицей) Посейдона в руке.



Дзизо/Jizo — популярное в Японии божество, которое изображают в виде нищего монаха, в скромном традиционном одеянии, лысого, с чашей для подаяний или руками, сложенными в молитвенном и приветственном жесте. По преданию, он охраняет детей и путешественников, поэтому скульптуры Jizo часто встречаются на обочинах дорог.

Каисяку/kaishaku — обязательное лицо при исполнении самураем харакири, «секундант», отрубаящий голову.

После седьмого стиха по воле автора следует второй стих.

Псалом 145:2.

Якоб шутит, поскольку первая часть фамилии Воег — крестьянин, землепашец (*гол.*).

# Table of Contents

Дэвид Митчелл. Тысяча осеней Якоба де Зута

Авторское предисловие

Часть первая. Невеста, для которой мы танцуем

Глава 1. ДОМ КАВАСЕМИ, НАЛОЖНИЦЫ, НАД НАГАСАКИ

Глава 2. КАЮТА КАПИТАНА ЛЕЙСИ НА КОРАБЛЕ  
«ШЕНАНДОА», БРОСИВШЕМ ЯКОРЬ В ГАВАНИ НАГАСАКИ

Глава 3. НА САМПАНЕ, ПРИШВАРТОВАННОМ К  
«ШЕНАНДОА» В ГАВАНИ НАГАСАКИ

Глава 4. РЯДОМ С УБОРНОЙ У САДОВОГО ДОМИКА НА  
ДЭДЗИМЕ

Глава 5. СКЛАД «КОЛЮЧКА» НА ДЭДЗИМЕ

Глава 6. КОМНАТА ЯКОБА В ВЫСОКОМ ДОМЕ НА ДЭДЗИМЕ

Глава 7. ВЫСОКИЙ ДОМ НА ДЭДЗИМЕ

Глава 8. ПАРАДНЫЙ ЗАЛ В РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА  
ДЭДЗИМЕ

Глава 9. АПАРТАМЕНТЫ КЛЕРКА ДЕ ЗУТА В ВЫСОКОМ  
ДОМЕ

Глава 10. ОГОРОД НА ДЭДЗИМЕ

Глава 11. СКЛАД «ДУБ»

Глава 12. ПАРАДНЫЙ ЗАЛ В РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА  
ДЭДЗИМЕ

Глава 13. ФЛАГОВАЯ ПЛОЩАДЬ НА ДЭДЗИМЕ

Часть вторая. Горная твердыня

Глава 14 НАД ДЕРЕВНЕЙ КУРОЗАНЕ В ФЕОДЕ КИОГА

Глава 15. ДОМ СЕСТЕР В МОНАСТЫРЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ

Глава 16. АКАДЕМИЯ ШИРАНДО В РЕЗИДЕНЦИИ ОЦУКИ В  
НАГАСАКИ

Глава 17. АЛТАРНАЯ КОМНАТА В ДОМЕ СЕСТЕР ХРАМА НА  
ГОРЕ ШИРАНУИ

Глава 18. ОПЕРАЦИОННАЯ НА ДЭДЗИМЕ

Глава 19. ДОМ СЕСТЕР, ХРАМ НА ГОРЕ ШИРАНУИ

Глава 20. ДВЕСТИ СТУПЕНЕЙ К ХРАМУ РЮГАДЗИ В  
НАГАСАКИ

Глава 21 КЕЛЬЯ ОРИТО В ДОМЕ СЕСТЕР

Глава 22. КОМНАТА ШУЗАИ В ЕГО ДОДЗЁ В НАГАСАКИ

[Глава 23. КЕЛЬЯ ЯИОИ В ДОМЕ СЕСТЕР ХРАМА НА ГОРЕ ШИРАНУИ](#)

[Глава 24. КОМНАТА ОГАВЫ МИМАСАКУ В РЕЗИДЕНЦИИ ОГАВЫ В НАГАСАКИ](#)

[Глава 25. АПАРТАМЕНТЫ ВЛАДЫКИ — НАСТОЯТЕЛЯ В ХРАМЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ](#)

[Глава 26. ЗА ГОСТИНИЦЕЙ ХАРУБАЯШИ, К ВОСТОКУ ОТ ДЕРЕВНИ КУРОЗАНЕ ФЕОДА КИОГА](#)

[Часть третья. Мастер го Седьмой месяц тринадцатого года эпохи Кэнсей](#)

[Глава 27. ДЭДЗИМА](#)

[Глава 28. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА НА БОРТУ КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ», ВОСТОЧНО — КИТАЙСКОЕ МОРЕ](#)

[Глава 29. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО](#)

[Глава 30. КОМНАТА ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ НАГАСАКИ](#)

[Глава 31. У ПОРУЧНЕЙ БАКА КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ»](#)

[Глава 32. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ ДЭДЗИМЫ](#)

[Глава 33. ЗАЛ ШЕСТИДЕСЯТИ ЦИНОВОК В МАГИСТРАТУРЕ](#)

[Глава 34. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА НА БОРТУ КОРАБЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА «ФЕБ»](#)

[Глава 35. МОРСКАЯ КОМНАТА РЕЗИДЕНЦИИ ДИРЕКТОРА НА ДЭДЗИМЕ](#)

[Глава 36. КОМНАТА ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ](#)

[Глава 37. КАЮТА КАПИТАНА ПЕНГАЛИГОНА](#)

[Глава 38. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ НАДЭДЗИМЕ](#)

[Глава 39. С ВЕРАНДЫ КОМНАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ ХРИЗАНТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ](#)

[Часть четвертая. Сезон дождей](#)

[Глава 40. ХРАМ НА ГОРЕ И НАСА НАД НАГАСАКИ](#)

[Часть пятая. Последние страницы](#)

[Глава 41. КВАРТЕРДЕК «ПРОРОКА», НАГАСАКСКАЯ БУХТА](#)

[Выражение признательности](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42



[43](#)  
[44](#)  
[45](#)  
[46](#)  
[47](#)  
[48](#)  
[49](#)  
[50](#)  
[51](#)  
[52](#)  
[53](#)  
[54](#)  
[55](#)  
[56](#)  
[57](#)  
[58](#)  
[59](#)  
[60](#)  
[61](#)  
[62](#)  
[63](#)  
[64](#)  
[65](#)  
[66](#)  
[67](#)  
[68](#)  
[69](#)  
[70](#)  
[71](#)  
[72](#)  
[73](#)  
[74](#)  
[75](#)  
[76](#)  
[77](#)  
[78](#)  
[79](#)  
[80](#)  
[81](#)

[82](#)  
[83](#)  
[84](#)  
[85](#)  
[86](#)  
[87](#)  
[88](#)  
[89](#)  
[90](#)  
[91](#)  
[92](#)  
[93](#)  
[94](#)  
[95](#)  
[96](#)  
[97](#)  
[98](#)  
[99](#)  
[100](#)  
[101](#)  
[102](#)  
[103](#)  
[104](#)  
[105](#)  
[106](#)  
[107](#)  
[108](#)  
[109](#)  
[110](#)  
[111](#)  
[112](#)  
[113](#)  
[114](#)  
[115](#)  
[116](#)  
[117](#)  
[118](#)  
[119](#)  
[120](#)

[121](#)  
[122](#)  
[123](#)  
[124](#)  
[125](#)  
[126](#)  
[127](#)  
[128](#)